

М.М.ПРИШВИН



Кашеева
Леня

Annotation

В настоящее издание вошел автобиографический роман Михаила Михайловича Пришвина (1873 — 1954) «Кашеева цепь». Русский писатель. Философско-лирическая проза, связанная преимущественно с темами природы, историко-народным бытом и фольклором. В дневниках запечатлены жизнь России с 1910-х гг., социально-нравственная трагедия народа в эпоху тоталитаризма, раскрестьянивание России в годы коллективизации.

- [Пришвин Михаил](#)
 -
 - [ЗАЙЧИК](#)
 - [КНИГА ПЕРВАЯ](#)
 - [ЗВЕНО ПЕРВОЕ](#)
 - [ВЕТОЧКА МАЛИНЫ](#)
 - [ХРУЩЕВО](#)
 - [КУРЫМУШКА](#)
 - [БЛЕДНЫЙ ГОСПОДИН](#)
 - [ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ](#)
 - [ГУСЕК](#)
 - [ТАЙНА СУШЕНОЙ ГРУШИ](#)
 - [ОЗОРНАЯ ТРОПА](#)
 - [БОЛЬШОЙ ГОЛУБОЙ](#)
 - [БОЙ С ГОЛУБЫМ](#)
 - [ПЕЧЬ КАМЕР-ЮНКЕРА](#)
 - [ТАЙНА ИВАНА](#)
 - [КАЩЕЙ](#)
 - [СУД](#)
 - [ОТКРЫТИЕ](#)
 - [ТИХИЙ ГОСТЬ](#)
 - [ЗВЕНО ВТОРОЕ](#)
 - [ОТ АВТОРА](#)
 - [АРХИЕРЕЙ](#)
 - [КОРОВЬЯ СМЕРТЬ](#)
 - [КОЗЕЛ](#)
 - [ЗАБЫТЫЕ СТРАНЫ](#)

- [КУМ](#)
 - [ЛОБАН](#)
 - [ПОДПОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ](#)
- [ЗВЕНО ТРЕТЬЕ](#)
 - [ОТ АВТОРА](#)
 - [САМЫЙ ВЫСШИЙ](#)
 - [ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ](#)
 - [ЛЕНА](#)
 - [КОМПАНИЯ](#)
 - [ШКОЛА НАРОДНЫХ ВОЖДЕЙ](#)
 -
- [ЗВЕНО ЧЕТВЕРТОЕ](#)
 - [ЗОЛОТАЯ КНИГА](#)
 - [СОЛОВЬИ](#)
 - [ИТАЛИЯ](#)
 -
 - [БОЙ](#)
 - [АКУШЕРЫ](#)
 - [ПЛАМЕННЫЙ ПРОЗЕЛИТ](#)
 - [КЛАВЕСИНЫ](#)
 - [ОДУМКА](#)
 - [ЦВЕТ И КРЕСТ](#)
- [КНИГА ВТОРАЯ](#)
 - [ЗВЕНО ПЯТОЕ](#)
 - [БЕССМЫСЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ](#)
 - [ОЛИМП](#)
 - [ПТИЦА В КЛЕТКЕ](#)
 - [БУДТО-ПУТЕШЕСТВЕННИК](#)
 - [РАССТРЕЛ ВАСИЛЬКОВ](#)
 - [ФОМКА](#)
 - [НА ВОЛЮ](#)
 - [ЗВЕНО ШЕСТОЕ](#)
 - [НАЧАЛО ДОБРА И ЗЛА](#)
 - [ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРШ](#)
 - [РУССКИЙ](#)
 - [ВОЙНА И ПОЖАР](#)
 - [АРОМАТ ЗЕМЛИ](#)
 - [КАТАСТРОФА](#)
 - [ЯЙЦО БЕЗ СОЛИ](#)

- [ПРАВДА НЕМЕЦКОГО ПИВА](#)
- [САКСОНСКАЯ ФЕЯ](#)
- [РАХМАНЬИ ЛЕСНИК](#)
- [СТУПЕНЧАТЫИ СОН](#)
- [ЗЕЛЕНАЯ ГЕРМАНИЯ](#)
- [«СИКСТИНСКАЯ МАДОННА»](#)
- [ПЕТУХ В КОРЗИНЕ](#)
- [ПРОБУЖДЕНИЕ](#)
- [ЗВЕНО СЕДЬМОЕ](#)
 - [ИММАТРИКУЛЯЦИЯ](#)
 - [АПРИОРИ](#)
 - [МАЛЕНЬКАЯ ВЕСНА](#)
 - [СТАРУШКА ВИТА](#)
 - [ПОЯВЛЕНИЕ МЕФИСТОФЕЛЯ](#)
 - [ТРЕТЬЯ ЖЕНА](#)
 - [ДУЭЛЬ НА ШЛЕГЕРАХ](#)
 - [НОВЫИ ГОД](#)
- [ЗВЕНО ВОСЬМОЕ](#)
 - [ПУД СОЛИ](#)
 - [БАХРОМА](#)
 - [РОЖДЕНИЕ ВОЛНЫ](#)
 - [МИКАРЭМ](#)
 - [ЛУЧ ПАРИЖА](#)
 - [ДЕТИ](#)
 - [АРФА ИЗ ШВЕЦИИ](#)
 - [СВЕТОЛЮБИВАЯ БЕРЕЗА](#)
- [ЗВЕНО ДЕВЯТОЕ](#)
 - [ПОХОРОНЫ ГУСЬКА](#)
 - [КОРОТЕНЬКАЯ ПРАВДА](#)
 - [ПОЛОЖЕНИЕ](#)
 - [ФЛОРА И ФАУНА](#)
 - [ПРИЧИСЛЕННЫИ](#)
 - [СЛЕДЫ НА НЕВСКОМ](#)
 - [ВАЗА С ГЕНИЕМ](#)
 - [ALTER EGO](#)
 - [ЛЮБОВЬ ПО ВОЗДУХУ](#)
- [ЗВЕНО ДЕСЯТОЕ](#)
 - [КРАСНОЕ СОЛНЦЕ](#)
 - [ТОК](#)

- [ЗВЕНО ОДИННАДЦАТОЕ](#)
 - [ПОСЛЕСЛОВИЕ](#)
 - [ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ](#)
 - [ТРУДНОЕ ПРИЗНАНИЕ](#)
 - [ВЫСШАЯ ОТМЕТКА](#)
 - [СЧАСТЛИВЫЙ РЫБАК](#)
 - [ЗВЕНО ДВЕНАДЦАТОЕ](#)
 - [МАТЬ-РОДИНА](#)
 - [ЖИТИЕ](#)
 - [РИЖСКОЕ ДЕЛО](#)
 - [ИГЛА ПРОФЕССОРА](#)
 - [ОПТИК](#)
 - [НА ПОЛУСТАНКЕ](#)
 - [ВЫХОД](#)
 - [ВСТРЕЧА С РЕДАКТОРОМ](#)
 - [ЛЕСНАЯ ТРОПА](#)
 - [ВМЕСТО ПРЕАМБУЛЫ](#)
 - [ПРИМЕЧАНИЯ](#)
-

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](#)

[Все книги автора](#)

[Эта же книга в других форматах](#)

Приятного чтения!

Пришвин Михаил
Кащеева цепь

Михаил Михайлович Пришвин

Кащеева цепь

ЗАЙЧИК

Однажды осенью под вечер я проходил мимо усадьбы, из которой мужики только что выгнали хозяев. Я остановился, пораженный красотой тройного умирания: усадьба умирала, год умирал в золоте листопада, день умирал. А на самом конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, сидел заяц...

Я не поверил своим глазам, — подумал, мне это чудится, а заяц как ни в чем не бывало сидел на той самой ступеньке, где так часто, бывало, я сам любил под вечер присесть.

Я знал историю этого дома, собирался давно ее написать, материалы были прекрасные, а главного лица не было; как я ни бился, герой не показывался. Теперь же вот, как будто в насмешку надо мной, на место героя уселся заяц. И горько мне стало: неужели действительно моя родная, любимая земля не даст героя? Я пробовал думать о множестве замечательных людей, рожденных на этой земле: вон там, не очень далеко отсюда, пахал Лев Толстой, там охотился Тургенев, там ездил на совет Гоголь к старцу Амвросию*, да и мало ли из этого черноземного центра вышло великих людей, но они вышли действительно, как духи, а сама земля через это как будто даже стала беднее: выпаханная, покрытая глиняными оврагами и недостойными человека жилищами, похожими на кучи навоза. И мне стало казаться, что один старичок, совсем незначительный, укреплявший овраги садами, был достойней для моего романа, чем все эти великие люди. Я готов был остановиться на этом старике, но вспомнил, что, кроме садов и оврагов, он по воскресеньям тоже занимался литературой: писал листки под названием «Двенадцать добрых дел» и рассылал их знакомым с просьбой отсылать дальше. Вспомнив про это, я отказался от старика: невозможно же, правда, сделать героем большого романа человека, заключенного в кругу двенадцати добрых дел. Между тем таинственный заяц все сидел на террасе и тоже как будто о чем-то мечтал. Было уже довольно светло, и я знал, что наши обыкновенные зайцы в это время еще плотно лежат по дубовым кустарникам.

«А что, — подумал я, — случай, быть может, посылает мне этого зайца на помощь: «Смирись, мол, писатель, не умствуй, герой — это выдумка, а личность, наверно, есть и в этом зайчишке».

— Что вы тут, батюшка, разглядываете? — спросила меня старуха, дьячи-хина мать.

— Марья Васильевна, — сказал я, — слышали вы, чтобы где-нибудь заяц днем ходил по домам?

Старуха всмотрелась и вникла. Я подсказал:

— Заяц ли это?

Она перекрестилась. Заяц, верно, заметил движение и вдруг пропал.

— Вот видите, — сказал я, — креста боится. Не сам ли это хозяин тут баламутит?

Старуха еще раз перекрестилась, уже не из страха, а из благодарности за действие креста, и тоже очень таинственно мне прошептала:

— И очень просто, — прикинулся, да и высматривает. Не миновать какой-нибудь беды мужикам.

Старуха потом, конечно, рассказала и на деревне о явлении зайца, и, кто знает, не из-за этого ли зайчика наши суеверные крестьяне через несколько дней разнесли усадьбу в пух и прах.

После того я окончательно убедился, что герой может быть не только не героем, но даже и личность в нем необязательна: он может просто, как зайчик, выйти посидеть на терраску, а из-за этого произойдут события грандиознейшие. Так бывает!

К сожалению, в этот раз мне все-таки не удалось сделать вполне героем зайца; мало-помалу я с ним так сроднился, что дал ему черты мальчика, каким я сам был, хотя имя оставил ему все-таки заячьё: Курымушка.

Некоторые из моих друзей, прочитав рассказы о Курымушке, однако совершенно не догадались, что рассказывается в них о каком-то таинственном зайчике, и всё приняли как автобиографию и семейную хронику.

Что же делать? Ведь от себя самого не уйдешь. Мы не маленькие дети, и не спасет нас от скуки чтения даже самая хитрейшая фабула. Пора уже знать, что только близость автора к себе самому и способность его приблизить других к себе так, чтобы они были как будто совершенно свои, родные, находят отклик в читателе. Тогда зачем же ходить далеко? Вот моя собственная жизнь и с ней те, кого я любил, кого боялся и ненавидел. Рано или поздно все тайны будут непременно раскрыты — не мной, так другим: нет ничего тайного, что не стало бы явным.

Вот пень огромного дерева, выросшего от семени, занесенного когда-то птицей в эту усадьбу. Дерево перебыло здесь прекрасную жизнь и раскрыло все возможности, заложенные в семя. Но правда ли, что, сосчитав

все годовые круги огромного пня, я узнал что-нибудь о тайнах прекрасного дерева? Так едва ли стал бы кто-нибудь читать рассказ о моей совсем обыкновенной, измеренной и сосчитанной жизни, если бы однажды в конце длинной аллеи, засыпанной кленовыми листьями, на террасе, обвитой красными лозами дикого винограда, не явился мне таинственный зайчик и я, пораженный красотой тройного умирания, не задумал сделать эту сказку — и очень близкую к моей собственной жизни, и очень далекую.

КНИГА ПЕРВАЯ

Курымушка

ЗВЕНО ПЕРВОЕ ГОЛУБЫЕ БОБРЫ

ВЕТОЧКА МАЛИНЫ

В Ельце, моем родном городе, все старинные купеческие фамилии были двойные: первое имя, хотя бы наше, Пришвины, было имя родовое и официальное, а второе имя считалось «уличным»: наше уличное имя было Алпатовы. И так точно было у всех: Лавровы, Ростовцевы, Горшковы, Хренниковы, Романовы, Заусайловы, Лагутины — у всех решительно были вторые «уличные» имена.

Разделение купеческих имен — явление до того заметное и всюдное, что, наверно, есть этому и какое-то разумное объяснение, но до всего не дойдешь, а когда потребуется самому объяснить, и не знаешь, для чего и как это делалось. Мне всегда казалось, будто вторые имена являются простейшей попыткой вывести живое современное имя из его родовой заключенности на суд общества, пусть хотя бы и уличного.

Еще я так думаю о вторых именах и о первых, что первое имя от тебя никак не зависит, и когда его давали кому-то, это родовое имя, ты еще не существовал. Второе имя пришло, опять не глядя на тебя, а на какого-нибудь твоего, быть может, очень отдаленного, предка. Третье — твое собственное, личное имя открывает путь тебе самому и представляет собой как бы право на усилие сделаться таким, как хочется тебе самому и что можно назвать поведением.

Так вот и выходит, что у одного и того же человека может быть три имени: с одним он родился, другое ему пришло с улицы, а третье, его собственное, личное, живое «я», каждый чувствует, и отвечает за него, и создает с помощью его небывалое.

С малолетства чувствовал в себе напор сил для борьбы за свое собственное имя. Редко, очень редко удавалось мне в те времена оставаться победителем. Так было раз в детстве: я признался своему маленькому другу, что я, может быть, вовсе даже совсем и не Пришвин.

— Кому ты говоришь! — ответил мой друг, — я ли не знаю, что вас, Пришвиных, на улице везде называют «Алпатовы»?

— Вот еще! — воскликнул я почти обиженно, — я тебе хотел свою

большую тайну открыть, а ты говоришь о том, что всем известно: Алпатовы — это наша старинная уличная кличка.

— А если ты не Пришвин и не Алпатов, то кто же ты?

— А вот угадай, — ответил я.

И прочитал ему первое мое стихотворение:

Скажи мне, веточка малины, Где ты росла, где ты цвела, Каких холмов, какой долины Ты украшением была?

— Понимаешь меня теперь? — сказал я. — Стихотворение Лермонтова «Ветка Палестины» и мое «Веточка малины» так близки друг другу и так далеки и от Пришвиных, и от Алпатовых, что скорей всего, мне кажется, по-настоящему я Лермонтов.

— Позволь, — сказал мой друг, — твоя «Веточка малины» всего только двумя словами разнится от Лермонтовой «Ветки Палестины», так может каждый подделаться легко, и от этого сам не обернешься ни в Лермонтова, ни в Пушкина.

Каждый, конечно, по себе испытал, что иная душевная рана держится на тебе гораздо дольше и причиняет всякого рода беспокойства гораздо сильнее раны физической.

Вполне допускаю, что этот первый самообман и породил во мне особый стыд к писательству, и не только в стихах, но и в прозе: только после тридцати лет я решился попробовать писать прозой. А в стихах у меня бывает стыд не только за себя, но и за всякого порядочного человека: я краснею за него, стыжусь по-настоящему и непременно вспоминаю свою «Веточку малины».

Вот какой срам пришлось пережить еще в детстве, и вот какая ясность чего-то настоящего, и, в свете этого настоящего, какое высокое представление о настоящей поэзии: что чуть только фальшь в чем-нибудь, так и сейчас стыдно!

И все это оттого, что автор, даже такой, как маленький я со своей «Веточкой малины», сам-то про себя думает, что он приходит с новорожденным словом, что он несет в свет своим словом нечто новое, небывалое.

Мало того! Если бы каждый из нас начинал свою жизнь попыткой сказать или сделать что-нибудь совершенно новое, небывалое, а не повторял бы, как попугай, слова, сказанные кем-то другим, и не только бы в поэзии, так и во всем своем поведении, то мир человеческий очень скоро переменялся бы.

И вот что тоже замечательно: сколько уже лет смеялись над бедным Дон Кихотом, что он сказал длинную речь своему коню Росинанту, а конь

после того вернулся в конюшню. Но мало того, что над Дон Кихотом добродушно смеялись: Дон Кихотом некоторые даже прямо бранились. И все-таки, несмотря ни на смех, ни на брань, этот герой человечества, неудачник из всех неудачников, не обозлился на человечество и тем самым сохранил свое человеческое право на дружбу: мы дружим все с Дон Кихотом до сих пор, и так будет всегда.

Так было и с этой оглушительной оплеушиной в самое место начала сознания своей личности, когда в тени гения Лермонтова я хотел было со своей «Веточкой малины» оторваться от родового имени Пришвиных, занятых когда-то полезным делом вытачивания необходимой части ткацкого станка, пришвы.

Оказывается, что не так-то легко оторваться от прошлого и объявить себя не связанным родом своим и племенем. И уж если рассказывать о том, как я сделался писателем, то надо рассказать прежде всего о том времени, когда я вовсе и не помышлял делаться писателем.

ХРУЩЕВО

Родился я в 1873 году в селе Хрущево, Соловьевской волости, Елецкого уезда, Орловской губернии, по старому стилю 23 января, когда прибавляется свет на земле и у разных пушных зверей начинаются свадьбы.

Село Хрущево представляло собой небольшую деревеньку с соломенными крышами и земляными полами. Рядом с деревней, разделенная невысоким валом, была усадьба помещика, рядом с усадьбой — церковь, рядом с церковью «Попов-ка», где жили священник, дьякон и псаломщик.

Одна судьба человека, родившегося в Хрущеве, родиться в самой деревне под соломенной крышей, другая — в Поповке и третья — в усадьбе.

Мне выпала доля родиться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом — уходящими в бесконечность черноземными полями. А в другую сторону от белых столбов, в огромном дворе, тесно к садам, стоял серый дом с белым балконом.

В этом большом помещичьем доме я и родился.

С малолетства я чувствовал себя в этой усадьбе ряженым принцем, и

всегда мне хотелось раздеться и быть просто мужиком или сделаться настоящим принцем, как в замечательной детской книге «Принц и нищий».

Это маленькое имение, около двухсот десятин, было куплено дедом моим Дмитрием Ивановичем Пришвиным, елецким потомственным почетным гражданином, у дворянина Левшина, кажется, генерала.

После семейного раздела Пришвиных Хрущево досталось моему отцу, Михаилу Дмитриевичу Пришвину.

Вот так и случилось, что елецкий купеческий сын, мой отец, сделался помещиком.

В барском имении мой отец вел себя не по-купчески: весь огромный усадебный двор он окружил строениями для кровных орловских рысаков, вдоль ограды тянулась длинная и новая маточная [Маточная — помещение для кобыл с маленькими жеребятами. (Здесь и далее примеч. М. М. Пришвина.)], поперек под углом — старая маточная и за нею — варок [Варок — огороженное место для выгула коней.]. В доме всюду во множестве были развешаны потреты отечественных рысистых коней, написанные знаменитым в то время художником Сверчковым.

Рассказывали мне, что отец сам выезжал рысаков и не раз в Орле брал призы. Еще отец мой был замечательным садовником, и некоторые его цветы, поддержанные после его смерти моей матерью, и особенно фруктовые деревья так и остались со мною на всю мою жизнь.

А еще отец, конечно, был превосходным охотником. Догадываюсь, что среди хороших знакомых отец был веселым затейником, и та чудесная музыкальная речь, которая мне везде и всюду на родине слышится, может быть, тоже была украшением веселой жизни хрущевского «принца».

Скорее всего, я думаю теперь, кроме маленького имения, отцу при разделе досталось немало тоже и денег, а то откуда же взять средства на такую веселую жизнь! Как жаль мне отца, не умевшего перейти границу первого наивного счастья и выйти к чему-нибудь более серьезному, чем просто звонкая жизнь.

Где тонко, там и рвется, и, наверно, для такой веселой, свободной жизни у отца было очень тонко. Случилось однажды, он проиграл в карты большую сумму; чтобы уплатить долг, пришлось продать весь конский завод и заложить Имение по двойной закладной. Тут-то вот и начинать бы отцу новую жизнь, полную великого смысла в победах человеческой воли. Но отец не пережил несчастья, умер, и моей матери, женщине в сорок лет с пятью детьми мал мала меньше, предоставил всю жизнь работать «на банк».

Вот почему теперь я и держусь своей матери: через мать я природе

своей получил запрет, и это сознательное усилие принесло мне потом счастье.

Я был еще совсем маленьким, когда умер мой отец, и до того еще был неразумным, что событие смерти отца в нашем хрущевском доме не переживал глубоко. Если теперь говорю, что жалею отца, то не его именно жалею, а того отца, кто мог бы своим вниманием указать мне в жизни истинный путь. Всю свою жизнь я чувствовал недостаток такого отца, и, мне кажется, в своих скитаниях и по земле, и по людям, и по книгам я искал себе такого отца-наставника.

Мать моя, Мария Ивановна Игнатова, родилась в городе Белеве, на берегу самой милой в России реки Оки. Далеко ли Белев от Ельца, но какая разница в природе! Черноземная земля под Ельцом представляет собою край того обезлешенного, выпаханного чернозема, где богатейшая когда-то земля нашего центра покрылась оврагами из красной глины, как трещинами, где крытые соломой лачуги были похожи на кучи навоза. И человек «культурный» укрылся от нескромного глаза в барских усадьбах.

Совсем другое — родная земля на родине моей матери, легкая, покрытая лесами земля по Оке.

Работая неустанно с утра до вечера, учитывая каждую копейку, мать моя под конец жизни все-таки выкупила имение и всем нам пятерым позволила получить высшее образование.

КУРЫМУШКА

В нашем доме сохранилось старинное, сделанное еще крепостными руками огромное кресло Курым. Никто не знал, что это значит, слово «Курым», и откуда оно взялось, но если скажешь: «Курым», то каждый почему-то ищет глазами кресло. Говорят, будто в этом кресле я родился и за то получил с малолетства прозвище «Курымушка».

Говорили, что мальчиком я был очень похож на кресло, но чем же именно похож, об этом никто верно не знал.

Часто я раздумывал, сидя в этом огромном кресле.

Я думал, что у каждого из нас жизнь, как наружная оболочка складного пасхального яйца; кажется, так велико это красное яйцо, а это оболочка только, — раскроешь, а там синее, поменьше, и опять оболочка, а дальше зеленое, и под самый конец выскочит почему-то всегда желтенькое яичко, но это уже не раскрывается, и это самое, самое наше.

Бывает, при переломах душевных сосредоточишься в себе, и вот начинает все нажитое отлетать, как скорлупки. И со мной раз так было: все отлетело и вышел маленький мальчик Курымушка у постели своего больного отца. Мать сказала:

— Папа просит тебя на постель, полезай к нему! Отец сделал губами, глазами, единственной здоровой рукой какие-то знаки, понятные матери, и она сейчас же дала ему лист бумаги и карандаш. Он хорошо рисовал, одним движением сделал на бумаге каких-то необыкновенных животных в елочках и подписал: голубые бобры.

Этой же ночью представилось Курымушке, что в его полог над кроватью залетела огромная муха и жужжит на весь дом, никому спать не дает, все бегают с огнем, стучат, шепчутся. Он плачет, зовет в темноте, кусает в отчаянии бахрому полога, — нет ответа! Так всю ночь муха хрипит, и только под утро стало тихо, но все — не так, что-то большое случилось в доме. И с этим темным предчувствием Курымушка выходит из детской. В передней на пороге стоит неизвестный мужик, староста Иван Михалыч машет ему рукой:

— Уходи, уходи!

— Надо бы...

— Не до тебя: Михаил Дмитрич помер.

— Царство небесное! — перекрестился неизвестный мужик и вышел.

Курымушка входит к отцу. Он лежит на своем месте такой же, только совсем голый, и няня намыливает ему палец, стягивает золотое кольцо. Особенного, страшного тут ничего не было, и Курымушка просто переходит в другую комнату, где сидит Софья Александровна и еще дамы, тоже из соседей, помещицы.

— Миленький, поди-ка сюда, папа твой умер, ты теперь сирота.

— Ну, что ж, — ответил Курымушка, — зато у меня вот что есть!

— Что это?

— Папа вчера мне дал: голубые бобры.

— Фантазер был! — улыбнулись дамы и заговорили между собой, будто тут и не было возле них Куры-мушки.

— И правда — одни голубые бобры! Бедная Мария Ивановна! Имение под двойной закладной, пять человек детей!

— И еще купцы! Последний дворянин живет на земле — и это у него естественно; разорится и все живет, и все. естественно, а купцы полезли на землю зачем? Что им земля? Простой выгоды нет, масло в городе купить дешевле обойдется.

— Хотят жить, как господа!

— Вот и пожилы: все профуфукал покойник, и, правда, остались какие-то голубые бобры.

— Сиротка, — погладила Софья Александровна по головке Курымушку. Бедная Мария Ивановна, совсем еще молодая женщина.

Пришла мать с платком в руке, в слезах, обнялась со всеми, сказала:

— Теперь всю жизнь работать на банк!

— Эх, Мария Ивановна, мы все на банк работаем.

— Ну, вы — дворяне, вас все-таки опекают.

— Зато вы такая здоровая и сильная.

— Да, это была наша коренная ошибка, не нужно было нам забираться в деревню, все равно земля рано или поздно перейдет мужикам.

— Почему вы так думаете?

— Потому что им волю объявили, а земли не дали. Их много, они одного хотят — земли и своего добьются: земля непременно перейдет мужикам.

Из всех этих разговоров Курымушка заметил себе много неприятных вещей: какой-то Банк схватил маму, и она теперь будет на него работать; еще нехорошее, что он — сирота, что «мы — купцы» и что земля перейдет мужикам. Хороши были только голубые бобры, но и то над этим смеялись.

БЛЕДНЫЙ ГОСПОДИН

Далеко до солнца, но мать всегда до солнца встает и уходит в поля, никогда ее летом поутру не увидит Куры-мушке. Только за обедом она сидит загорелая, как бронзовая, и могучая, ест и сама разговаривает со старостой Иваном Михалычем.

— Рыжка — того?

— Причиняет, Марья Ивановна!

— А Бурьшка?

— Не того!

— Опять ты за свое: «не того, не того»! Говори языком человеческим, я тебя спрашиваю: Бурьшка... того?

— Пошла в передои.

Вот те раз! Ну, как же ты это допустил?

— Да это не я.

— А кто же, не ты?

— Бык ослабел.

— Вот те раз! Ты с ума сошел! «Бык ослабел»! Ты сам ослабел.

И так весь обед точит она Ивана Михалыча. Ничего в этом не понимает Курымушка, и только жалко ему и даже страшно бывает подумать, что старшие от ранней весны и до поздней осени должны работать на Банк.

Кто это Банк и где он? (На небе господь живет, а Банк — в городе, на синее небо летают птицы, в город ездят на лошадях, и там — Банк.) Все работают с утра до вечера на Банк, — Иван Михалыч, мать и особенно мужики.

Только поздней осенью, когда начинает рано темнеть, навещает часто соседка Софья Александровна, ходит по коридору до забитого на зиму зала и обратно в столовую, до самого кресла Курым, откуда он все слушает и обо всем думает. Бывает, приходит из своей школы тетя Дунечка; с ней мать говорит про Софью Александровну, а с той про Дунечку и о том, как можно освободиться от Банка.

— На ле-галь-ном положении, — говорит Дунечка, — я долго работать не буду, это я временно.

— Да, только бы освободиться от Банка! — постоянно говорит мать.

— Нужно терпеть, — учит Софья Александровна, — наша вся жизнь есть долг и терпение.

Про это вот больше и спорят все: ни мать, ни Дунечка не хотят терпеть, им только бы как-нибудь освободиться от Банка, а Курымушка мало-помалу складывает себе историю про Софью Александровну и про Дунечку.

Было, представляется Курымушке, три жениха у Софьи Александровны, два были хорошие и один Бешеный. Софья Александровна посоветовалась со старцем, ей было велено идти за хороших. Но это Курымушка хорошо понимал, — если велят по-хорошему, то хочется идти по-плохому: Софья Александровна вышла за Бешеного. И началась беда: Бешеный барин раз все стулья поломал, и как ругается! Его слышно здесь на балконе. А еще Бешеный барин — и это хуже всего — был а-те-ист. Что это значит, Курымушка думал-думал и не понял. Раз Софья Александровна убежала из дому сюда и не знала, как быть ей дальше, но вспомнила старца, написала ему. «Сама виновата, — ответил старей, — не нужно было выходить, а если вышла, терпи до конца и спасешься». С этого дня Софья Александровна стала все терпеть и во всем слушаться старца.

Все это шепотком от прислуги, — это все большие тайны, а про хозяйство начинают всегда громко:

— У вас почему стала рожь?

— По восемнадцать копен.
— Хорошо! Вязь большая?
— Не обхватишь снопища.
— Как все у вас ладно выходит!
— Я во всех даже мелочах со старцем советуюсь. А как вы с травой на валах? Бабы тащут у вас?

— Мешками тащут, ничего не поделаешь, за ними ведь не угонишься.

— Я научу вас, как нужно.

— Ну те-с?..

— Я незаметно к бабам подхожу, кустами, и будто их не вижу, а сама покажусь, когда им уж бежать нельзя, тогда они непременно залягут в канаву. Я сяду будто отдохнуть на край канавы, над самыми бабами, и дожидаясь, пока они встанут; они думают меня перележать, а я думаю их пересидеть, но я непременно их пересажу, зашевелятся и сами отдают мне мешки. Выходит двойное наказание — и время потеряли, и мешки.

«Вот какой хитрый старец, — думает Курымушка, — и почему это мама борется с Банком сама и не хочет слушаться старца?»

Другая история была про Дунечку. Но это еще много чуднее, чем про Софью Александровну. В большом купеческом доме на маминой родине у одного из ее братьев был мальчик по прозвищу Га-ри-баль-ди. Когда он стал довольно большим, то поднял в этом доме восстание, и с ним ушла его сестра Дунечка. Куда они делись, нельзя было узнать; мать говорила: «Все покрыто мраком неизвестности». Мать признавалась, что сама в этом плохо понимает, почему-то они ненавидят царя, такого хорошего, освободителя крестьян.

— Вы-то как думаете про это, Софья Александровна?

— Я тоже в этом мало понимаю, но думаю — из них могут потом выйти очень хорошие, умные люди; у них это от гордости, хотят все сами. А что сами! Вот я хотела сама выйти замуж, и что вышло! Нужно терпеть! Потом они тоже смиряются и будут умные люди.

— Умные, что и говорить, в нашем роду глупых не было, — он был умница во всем городе и по-ра-жал всех. Дунечка за ним, как за богом, шла, как вы теперь за старцем идете: бес-по-во-рот-но! Он был в тюрьме, и это у них за святость считается, страдал за народ, как Христос.

— Не говорите так, Мария Ивановна!

— Нет, отчего же, мне кажется, Христос был очень хороший.

— Да разве так можно?

— Господи, я же знала его гимназистом, какой он был хороший, как заступался при малейшей обиде за прислугу, за бедных родственников, за

больную собаку, птицу, замерзающую на улице, увидит и приголубит. И Дунечка пошла за ним, они были в Париже, учились, но, должно быть, не-ле-галь-но.

— Не-ле-галь-но, — твердит Курымушка.

— Что ты там шипишь? — спрашивает его мать. — Не уснул еще? Подожди, не спи, скоро ужинать.

И опять Софье Александровне:

— Он остался там, она приехала по его приказу работать на ле-галь-ном положении, пока...

— А потом?

— У них про-грам-ма: жить без царя.

— А потом?

— Я не знаю, но у них потом выходит как-то очень хорошо, я сама не понимаю, как люди вдруг переделаются, если не будет царя. Но она такая милая и такая хорошенькая, хотя и ми-ниа-тюр-ная, кулачки свои крошечные подымет: царь такой большой, она такая маленькая, мне это нравится.

— Очень миленькая! А вы бычка своего продали?

— Симментала? Нет еще.

— Вы променяйте мне его на телушку, я давно мечтаю о симментальском бычке.

Курымушка все это слушал и по-своему понимал. И когда Дунечка прочла ему свое любимое стихотворение:

Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный,
Полуиссохший господин,

Курымушка понял, что бледный господин и есть он, тот Самый Га-ри-баль-ди, и он Дунечке все равно как старец Софье Александровне; а у мамы только Банк и она сама. Но Почему же, бывает, мама иногда так просияет, будто всем солнце взошло, а Софья Александровна и Дунечка так не могут? «Работать на ле-галь-ном положении хуже», — думал Курымушка.

ЗЕМЛЯ И ВОЛЯ

Задавались вечера, и это называлось «гости», когда и Дунечка была, и Софья Александровна, и еще другие соседи — все больше женщины. Тогда

ужин оттягивается надолго и Курымушку развлекают, чтобы не уснул. Кто-то поет ему песенку:

Ах ты, воля, моя воля, Золотая ты моя. Воля — сокол поднебесный,
Воля — светлая заря.

Матери песенка эта очень нравится, она говорит:

— Какая все-таки светлая эпоха была. Я венчалась как раз в шестьдесят первом году.

А за дверью громкие вздохи и кашель.

— Кто там?

— Я!

— Гусёк?

— Так точно!

— Тебе что, Гусёк?

— К вашей милости.

— Ну, что? — Землицы!

— Вот те раз! Ты с ума сошел. Какой тебе землицы?

— Дозвольте крайнюю десятину взять, я отработаю.

— Ты отработаешь? Господь с тобой, знаю я, как ты работаешь: тебе бы только перепелов ловить.

И просветлив потемневшее лицо:

— Нуте-с?

Это значит: «Ну, продолжайте то, хорошее, о чем говорили».

— Тетенька, милая, не говорите этого нашего ужасного купеческого «нуте», ведь это с лошадей взяли, лошадям «ну», людям «нуте». Слышать этого не могу! Да еще слово-ер.

— Спасибо, Дунечка, правда, нехорошо, надо отвыкать. Не буду, не буду.

И, вспомнив опять это светлое время эпохи освобождения крестьян, вся сияя от радости, гостям говорит:

— Нуте-с? Прежний голос поет:

Не с росой ли ты спустилась, Не во сне ли вижу я?

Знать, горячая молитва

Долетела до царя.

Дунечке это не нравится, она не любит царя: — Какое старье ты поешь! И читает:

Добрый папаша!

К чему в обаянии

Умногу Ваню держать,

Вы мне позвольте при лунном сиянии
Правду ему показать.

— Какую же правду? — спрашивает Софья Александровна.

— Правду какую? Вот:

В мире есть царь, этот царь беспощаден...

— Ты, Дунечка, — говорит тот голос, певший «волю», — вся на мужиках сосредоточилась, тебе безлошадные, двух-лошадные больше значат, чем Пушкин и Лермонтов.

И поет этот голос такую песню, лучше какой Курьмушка после уж никогда не слышал:

И звук его песни в душе молодой Остался без слов, но живой.

А мужик все вздыхает в передней.

— Ты разве не ушел, Гусёк?

— Никак нет.

— Что тебе от меня надо?

— Землицы.

— «Землицы, землицы!» Затвердил Якова, одного про всякого. Я бы на твоём месте и носа не показала сюда. Ты намедни скородил?

— Скородил.

— Борону ты сломал?

— Я? Лопни мои глаза, провалиться на месте, ежели я.

— Кто же сломал?

— Сама сломалась.

— Сама! Уходи, уходи, нет у меня для тебя земли! Откуда я тебе землю возьму? Не могу же я всех земель наделить.

— Сделайте божескую милость.

— Ухо-ди! Нет у меня земли.

— Какую-нибудь завалящую.

— Господи, закройте ж там дверь, что же это такое, собрались посидеть, и нет ни покою, ни отдыху! Такая жажда земли, а мы тогда думали, ка-ак хорошо будет, такая светлая эпоха была!

Только собралась опять с духом и сказала свое «нута-с» — в передней новый шум, топот, отхаркивание, отсмаркивание; староста Иван Михалыч робко приотзынул дверь.

— Что там?

— Мужики пришли.

— Вот те раз! Те?

— Те самые, намеднишние.

— Что им надо?

— Земли просят: запольный клин.

— Рожна им! Запольный клин хотят энти снять.

— Энти посильнее.

— Ну, скажи им: «У Марьи Ивановны гости, занята». И только выбрались те мужики, Иван Михалыч опять приотзынул двери.

— Энти! — шепнул. Мать моргнула.

«Энти» — богатые мужики, они, может быть, даже и задаток принесли, их, может быть, надо и водкой угостить. Дверь отворяется настежь, вся столовая наполняется запахом тулупов. Мать делает вид, будто ничего не знает, зачем пришли мужики, и даже старается их припугнуть.

— Что вы пришли?

— К вашей милости.

— Ну что... к милости?

— Пожалейте нас!

— Мне вас нечего жалеть, вы меня пожалейте. Перечисляет все их преступления за лето.

— Это не мы, — защищаются «энти» мужики, — это те, они разбойники, а мы...

— Те, те! — сердится мать. — А чьих загоняли лошадей?

— Мы прикоротим!

— И в саду копыта видела!

— Это те.

— Ваши копыта!

А задаток уже показывается в руке старшего из «энтих». Поладили скоро. Мать, довольная, направляется к горке, и там, в этой горке, там наверху только для виду стоят красивые вещи, на нижних полочках за дверцами четверти с водкой, бутылки с наливкой, уксус, пузырьки с лекарствами. Мать переливает, подливает, отцеживает мух, не раз, наверно, попадает в сивуху уксус, и постное масло наверх кружками всплывает. В дверь, теперь уже настежь раскрытую, Иван Михалыч входит, выходит с большим стаканом, подносит. «Энти» выпивают по очереди, без закуски, рукавами отирая бороды.

— Все?

— Никишке красное.

Тот всегда пьет вино только легкое, но если бы знал, что пьет! — в стакане та же сивуха, но для цвету из незаткнутой бутылки наливки, наполненной мухами так, что уж и не жидко, добавляется еще немного. И

это он пьет по фасону своему, как легкое.

— Извините, я сейчас! — повторяет хозяйка гостям. И последнее короткий наряд на завтра:

— Хватаю — солому возить, Кузьме — дрова рубить. Позови плотника сбить кормушку, съезди в ночное, не пасут ли на клевере. Слышишь?

— Слушаю.

— Ступай!

Кончено, садится в кресло, тасует карты, хочет раскладывать свой любимый пасьянс: «Николай умирает, Александр рождается», но опять что-то темное мелькнуло в лице, и «свой глаз» тревожно смотрит на дверь.

— Там кто?

— Я!

— Кто ты? Гусёк?

— Так точно!

— Тебе что?

— Землицы!

Пока мать, измучив себя и Гуська, решается сдать ему «заваливающий клок» под работу в кружок, Курымушка под шумок перебирается на свой диван, по-своему молится, засыпая: «Господи, благодарю тебя, что не создал меня этим Гуськом».

ГУСЕК

Много думал об этом Курымушка, почему такие бедные и несчастные мужики бывают в доме, когда приходят за чем-нибудь к матери, и самые веселые люди, самые хорошие — на полях они — те же самые мужики. «Это не они виноваты, решил Курымушка, — это наш дом такой: мы купцы».

Было однажды весной у колодезя, Павел с Гуськом воду качали. Курымушка стал Гуську под руку, и тот сказал:

— Посторонись, барин!

— Какой он барин, — сказал Павел, — он купец.

— А что значит купец? — спросил Курымушка. Павел ответил:

— Индюх!

Было очень обидно.

— Нет, брат, — успокоил Гусёк Курымушку, — ты не горюй — купец нам с тобой самый хороший человек; купец — человек богатый. Что барин! Тому были бы собаки, а купец любит птицу.

— Какую птицу?

— Птицу какую! Пойдем-ка, брат, ко мне в избу, я тебе покажу.

И тащит его за рукав к себе в избу. И что там у него в избе! Тут и петух-дракун, и курица кахетинская, и скворец-говорец, и голуби-космачи, и голуби-воркуны, и куропатка ручная, а перепелов! Всякие есть, но Гусёк подводит к любимому.

— Люб ли тебе?

Перепел серый, с подбитым затылком. Какое-то сходство с Гуськом. У Гуська лицо заросло волосами, у перепела — перышками, нос голый и чуть-чуть крючком, как перепелиный клюв.

— Люб ли тебе?

— Они все одинаковы.

— Во-она! Да ты знаешь ли, братец мой, этого перепела верст за двадцать слышно, а ежели он у попава огорода треснет или у Горелого пня, так ты, братец...

— Что, Гусёк?

— Ножками брыкнешь, вот что, милый. Перепела в поле разные, хорошие редки и дороги. Вот почему купцы сидят в городах, а чуть прослышат залетел к нам звонкий, сейчас лошадей запрягать — и в поля. В прежнее время, — рассказывает Гусёк, — купцы к нам в каретах съезжались, с женами, слушать голосистого. Вот, брат, что значит купец, это — богатый человек. Да поймай я настоящего купеческого перепела, он озолотит меня.

— Озолотит?

— Озолотит! Буду богатый и куплю себе тульский самовар: чай буду пить. Вот что значит купец. Ну, так люб ли тебе мой перепел?

— Серенький...

— Вот то-то и горе, мой милый, что серый: настоящий купеческий белый.

— Белый?

— Как бумага! Не веришь? Покажу. Сам своими глазами видел. Приходи на вечернюю зорю к Горелому пню.

Это недалеко за садом. Вечером Курымушка пробирается к Горелому пню. Понемногу смеркается. Едет мужик в ночное, будто черный парус плывет по зеленому морю. Лягушки-квакушки стихли, зато лягушки-турлушки завели трель на всю ночь. Кукушки охрипли и смолкли. Черный дрозд пропел. А перепела все не кричат.

— Рано?

— Погоди, — шепчет Гусёк, — соловьи еще зорю играют, а дай

стихнуть...

— Закричит.

— Во-она!

Гусёк шепчет «во-она» совсем на перепелиное, любовное, «ма-ва».

Стихают один за другим соловьи: «чмок-чмок», и конец.

И кажется, звенит тугая струна.

— Жук?

— Жук прожундел. К чему-й-то много жундит жуков, — шепчет Гусёк.

— К чему?

— Да бог его знает к чему. Молчи.

Молчит Курымушка, ни жив ни мертв. Но лягушки-квакушки отчего-то вдруг проснулись, взгомонились и заглушили лягушек-турлушек.

— Ку-а, ку-а! — передразнивает недовольный Гусёк. Квакушки замолчали. Заголосили девки в деревне.

— Пропадите вы пропадом!

На колокольне сторож ударил, глянула на небе первая звезда.

Пахнуло от озими рожью. Пала роса. Тогда-то наконец по всему росистому полю — от попова огорода и по Горелый пень, будто кто-то невидимый хлопнул длинным-предлинным арапником, — крикнул перепел.

— Голосистый? белый?

— Купеческий.

И тихо, как полевые звери, крадутся охотники по росистому полю вниз, к оврагу, и на ту сторону, к попову огороду. Старик на колокольне еще звонит, и еще глянула в уголку небес молодая звезда, и еще, и еще.

Голосистый не шутит: бьет — в ушах звенит. Самка Молчит. Берет опаска: тюкнет не вовремя. Расстелить бы и оправить поскорее сеть. Слава богу, молчит, чуть копается в своей темной лубяной клетке, обвязанной бабьим платком. Сытая она теперь и довольная: перед ловом Гусёк напоил ее Для чистоты голоса теплым молоком.

Зовет голосистый. Она молчит под сетью в пахучей росистой ржи. Осторожно берет Гусёк свою кожаную тюколку и тюкает. Когда самка молчит, необходимо подтюкнуть:

«Тюк-тюк!»

И наступает решительный миг, самка взяла:

«Тюк-тюк!»

Если бы можно было теперь съежиться в маленькие комочки, как перепела, и притаиться под глудкой! Если бы уйти по самое горло в землю и покрыться краешком сетки! И загорелось же там у голосистого белого

перепела! Мечется он по полю, выбегает, как мышь, на межу, поднимает головку, смотрит над стеблями. И опять в рожь со всего маху:

«Пить-полоть!»

А она в ответ тихо:

«Тюк-тюк!»

Но ему ли отвечает она? Вот теперь по всему полю кричат перепела.

Она отвечает ему. Конечно, ему!

Он егозит на рубеже, поднимается на цыпочки. Нет, не видно. Он мечется и лотошит, перескакивая с глудки на глудку. Пробует взобраться на сухой татарник — колко! На прошлогоднюю полынь — гнется! Хочет крикнуть — голос пропал: вместо прежнего звонкого «пить-полоть» — хриплое и неслышное, страстное — «ма-ва».

«Тюк-тюк!» — отвечает она.

Он хлопает крыльями о сырые темные комки и больше не слышит земли под ногами. Летит. Куда летит? Бог знает. Свет велик!

— Летмя, летмя! — шепчет Гусёк, сгибаясь над сетью в три погибели.

Хочет уменьшиться — и не может. Хочет быть как перепел — тесно.

И вдруг упал возле сетки. Шуркнул в зеленях, шепчет страстно:

«Ма-ва».

«Тюк-тюк!» — отвечает она.

«Иди, иди, любезный перепел», — замирает сердце охотника. Он ходом идет, шевеля верхушками озимых стеблей. Перед самой сетью — плешинка, вымочина, рожь едва-едва прикрывает ее. Он останавливается, боится. Может быть, видит уже, что тут в десятке шагов другой огромный перепел сидит, согнувшись над полем, и отблеск зари зловеще сверкает на его голом перепелином носу. «Видит или не видит?» — замирает охотничье сердце.

Не видит! Идет напролом. Последнее «ма-ва», последнее «тюк-тюк», и рожь шевелится под сетью возле самой клетки.

Теперь самка высунула свою серую головку из лубяной темницы в окошко, где привязана фарфоровая чашечка для питья, а он — тоже у чашечки. И глядят друг на друга: очи в очи, клюв в клюв. Густые озими пахнут, призывают: «Разбей, голосистый белый перепел, лубяную темницу. Думать тут нечего!»

Где тут думать: он ерепенится, хохлится и бьет грудью и крыльями о сухой лубок.

Час пробил: пора!

Встряивают сеть. Перепел висит в петле, как раз против стаканчика с водой, где он только что видел склоненную головку. Не упустить бы только

теперь. Не ускользнуло бы из рук его тепленькое бьющееся тельце. Голосистый туго завязан в мешочке из-под проса. Полевая песнь его спета. Теперь он будет петь в городе, в железных или рыбных рядах, услаждая купеческое ухо.

Охотники, мокрые от росы, шагают по полю домой, будто водяной со своим маленьким сыном переходит из озера в озеро.

Церковный сторож давно отзвонил. Давно уже небо покрылось звездами. Месяц взошел. И тысячи малых земных звезд засияли на стеблях озими, на сапогах, на чекмене, на бороде Гуська, на завязанном мешке, где в тьме притих голосистый. Все птицы притихли. И лишь лягушки-турлушки ведут свою вечную трель от вечерней зари и до утренней.

И чудится Гуську, будто четверка белых коней мчит из оврага карету в зеленое поле. Едет купец, не глядит, что топчет чужие поля: у него ли не хватит денег! Вот остановился. Гусёк будто открывает дверцу:

— Ваше степенство, извольте слушать: кричит! Кричит белый перепел. Задумался купец в карете, забыл

он счета, кули, мешки, трактиры и мельницы. Разгорелось сердце.

— Поймай, Гусёк, Христа ради!

— Сию минуту, — отвечает Гусёк, — не извольте беспокоиться, самка у меня хорошая, молочком ее тепленьким попоил для голосу, для чистоты. Для вас старался. Вас ждал. Сию минуту.

И будто уходит Гусёк и возвращается с перепелом.

— Ваше степенство, извольте!

— Белый?

— Так точно, ваше степенство, купеческие перепела — белые.

— Что же ты хочешь за белого?

— Сколько пожалуете!

Озолотил купец Гуська. Мчится в своей карете на белых конях, с белым перепелом целиком по полям, по оврагам, по мужицким и поповским огородам.

И чудится Гуську: из своего собственного самовара поит он всю деревню и рассказывает быль о праведном купце и белом перепеле.

Дома при огне охотники хотят полюбоваться драгоценной добычей, пересадить из мешка в клетку. Развязывают, вынимают.

— Во-она!

— Что ты, Гусёк? Покажи.

— Серый, — качает головой Гусёк. — Опять мимо капнуло — русака ловили.

Что это! Или вовсе на свете нет белого? Тускло горит копчушка в избе

Гуська. Спит петух-дракун, спит соловей-певун, спит скворец-говорец, спит плотный ряд космачей и турманов на шесте. Нет купеческого перепела, нет у Гуська тульского самовара.

— Так и нет их на свете?

— На све-те! Что тебе свет-то клином у нас сошелся? Перешли на новые места.

— А где новые места?

— Известно, в Сибири.

— И там, верно, есть белые?

— Там перепела все белые.

— И бобры голубые?

— Синенькие, зелененькие. Там всякие есть — по дорожкам бегают. Надо бы и нам подаваться туда.

ТАЙНА СУШЕНОЙ ГРУШИ

На том месте, где была наша усадьба, теперь новая деревня построилась, и в старом саду — сенокос, но трава на когда-то удобренных клумбах и теперь растет выше, косцы узнают, вспоминают, что тут раньше были цветы. Но это еще что — трава на клумбах! Отцовские маргаритки я нахожу в траве и думаю это непременно отцовские, потому что матери уже было некогда заниматься цветами. Все-таки был у нее хромой садовник Евтюха, лениво иод-скребал бороздником сорные травы, и розы целыми аллеями долго росли после отца. Только это — розы, это — вишни и яблони, а людей-то под липами не было, и бегали по дорожкам желторотые галчата и вовсе одичавшие братья Курымушки гимназисты. Бывало, только слышатся бубенцы и топот, сломя голову несутся ребята из сада на двор смотреть, кто едет, куда. Как за оградой из-за кустов акации покажутся гнутые шеи пристяжных, как одна пристяжная завернет между каменными столбиками, — тут нечего уже дожидаться. Далеко позади себя дети слышат ужасный крик няни:

— Гости!

Ласковым, но необыкновенным голосом долго мать зазывает детей, думает: «Выйдут и попадутся». Но по одному этому голосу о гостях легко догадаться, если бы и не видели их своими глазами. Залегают Курымушка всегда под Розанку: в этой старой яблоне ствол у корней расщеплен, и, как в окошко, можно смотреть через ствол в аллею на лавочку, где почти всегда

гости садятся и разговаривают. Сладкой стрелой вонзается ему в сердце радость при виде подъезжающих гостей, но бежать от них нужно, а то не миновать колотушки от братьев за отдельную радость. По липовой аллее на дорожке, желтой от троичных песков, разгуливают краснозобые снегири, зяблики, и заяц тихо проковыляет, и уж проползет, а ступит нога человека — и все разбегаются и разлетаются. Им тоже, быть может, очень хотелось бы в душе побыть вместе с людьми, но, верно, и у птиц на деревьях, и у козявок в траве есть своя какая-то страшная тайна, и оттого-то все разбегается и разлетается, когда слышатся шаги человека. Так тихо бывает в саду на дорожке, когда все спрячется. Но как ни будь тихо, все кто-то сзади шепчется... Обернулся — и нет никого, только мелькнули в воздухе чьи-то копытца. В страхе бежит от них Курымушка и вдруг остановится на площадке возле дома и рассыпает вокруг себя крестики.

— Что с тобой?

— Ничего, я обедню служу.

Сбылось однажды тайное желание Курымушки, — всех детей гости захватили, и за торжественным столом, накрытым белой скатертью, они сидели, как привязанные за жабры ерши.

Блюдо с грушами, сушенными на солнце, мягкими, сладкими, стояло как раз возле Курымушки, и он изловчился, как будто незаметно для всех, стянул одну — и в карман. Только брат Коля это заметил, шепнул: «Отдай, а то скажу!» Курымушка старшему подчинился, отдал.

— Стяни мне сухарь.

— Вот еще!

— Ну, так я покажу сейчас грушу. И кончик ее показал ему под столом.

«Не покажет, — думает Курымушка, — не осмелится». А Коля руку из-под стола поднимает все выше и выше. «И вдруг покажет: нет, не осмелится!»

— Последний раз спрашиваю: стянешь сухарь?

— Не стяну.

— Не стянешь... Ну, так вот же тебе! Кладет руку на стол и медленно открывает.

— Подожди, подожди!

— То-то.

Курымушка изловчился, вытянул и потихоньку под столом передал Коле сухарь. Слава богу, благополучно сошло! — Ну, отдавай теперь грушу.

— Как бы не так! Стяни мне конфетку. Пришлось и конфетку стянуть.

И пошло, и пошло с тех пор: под страхом открыть всем тайну сушеной груши, Коля распорядился Курымушкой. Раз даже двугривенный пришлось

незаметно вытащить из кошелька матери, и как это страшно было и гадко: мать спала после обеда, на маленьком столике возле кровати лежал большой полуоткрытый серый замшевый кошелек; Курымушка подкрался и, не сводя глаз с лица матери, вытянул двугривенный. А в дверях уже дожидался страшный мучитель. Хорошо еще, отпустил и не велел другого стянуть! С каждым днем нарастала сила тайны сушеной груши, а тут еще скоро подросла другая беда.

ОЗОРНАЯ ТРОПА

В зарослях вишняка подслушал Курымушка разговор старших братьев:

— Давай убьем гуся: они нашу пшеницу клюют.

— Давай.

— И зажарим на вертеле, как Робинзон.

— Какого же гуся?

— Поповского. Поповские самые жадные!

Как раз тут и подходили поповские гуси. Братья отбили самого большого белого гусака и сначала камнями швыряли, а потом добились палками. Весь гусак был в крови. Хватились — нет спичек. Один побежал добывать и вернулся:

— А не вытрем ли из дерева?

Долго трут палку о палку, ничего не выходит.

— Нет, ступай скорей за спичками.

Один побежал, другой караулит, а Курымушка в кусту сидит, хочется ему очень, до смерти хочется вместе с братьями отправиться жарить гуся на вертеле, но что, если и его они палками: «Не подглядывай, не подсматривай!» Невозможно.

Вот бежит, запыхался.

— Добыл?

— Есть!

— Ура!

Озорная тропа, выбитая больше босыми ногами, гладкая, твердая, как мозолистая ступня, уходит в пшеницу неизвестно куда. Братья по ней исчезают в пшенице, а за ними босой Курымушка идет, крадучись, а пшеница ему — как лес, конца этому лесу, кажется, нет, и только небо одно голубое, и тихо, даже не шепчутся колосья между собой. Вот это самое страшное, что пшенице конца нет, что тихо, а большой Голубой смотрит и

все видит. Жутко стало Курымушке красться за братьями, захотелось назад, но как назад: там, позади, давно уже сомкнулась пшеница. Курымушка решил подойти к братьям, — будь что будет, — только бы не быть одному! Но только что стал он к ним подходить, вдруг тот, кто гуся тащил, уронил его, и гусь гокнул о сухую, набитую озорную тропу, гулко ударился и — как закричит! Братья от гусяного крика — прысь назад и, не посторонись Курымушка, сбили бы его с ног. Но он, услышав крик, прыгнул в пшеницу и пустился дуром, оставляя за собой широкую дорогу. По этой дороге за ним пустился кровавый гусак. Это был Голубой, кто все видит, это он покарал злодеев и пустил на них гусака. Ему молится на ходу Курымушка: «Избави нас от лукавого». Упадёт, прошепчет молитву, гусак подождёт и опять бежит, сзади шумит и гогочет. «Богородица, дево, радуйся», — обороняется Курымушка другой молитвой. И когда, наконец, он прочёл: «Господи, милостив буди мне, грешному», пшеница кончилась и по дорожке знакомого вала он вернулся к себе.

Будь Курымушка такой же, как его братья, из большой тайны кровавого гусака он бы мог себе против них сделать маленькую тайну, подобно сушеной груше, но Курымушке это и в голову не пришло. Только он понял из этого, что есть тайны большие, которые остаются с самим собой, и есть тайны маленькие — они выходят наружу, и ими люди постоянно мучат друг друга. Вот эта мучительная тайна сушеной груши, — как бы просто, казалось, открыть ее, рассказать всем и сразу покончить, а поди открой, — ведь не в груше тут дело, а в тайне, и тайна эта с каждым днем все нарастает и нарастает. И у старших есть свои тайны, — у Софьи Александровны со старцем, у Дунечки с Бледным господином, и старец, и Бледный тоже, наверно, пугают какой-нибудь сушеной грушей. А поди-ка вот скажи вслух про нее!

БОЛЬШОЙ ГОЛУБОЙ

До сих пор не могу без тревоги слышать жалобного крика уносимой ястребом птицы: как услышу, так сиротею. И как увижу осиротелых ребят, спешу купить чего-нибудь и раздаю по конфетке, по прянику; эта милостыня мне доступней, чем калекам и уродам на паперти церкви. Я часто вижу тайное страдание на лице мальчугана, и тогда мне кажется, будто кто-то большой Голубой вышел с ним на борьбу. В жизни нужно

уметь бороться Голубого, я это знаю, не миновать этого. Но все-таки совсем он один, мальчуган, и я, сам отец, тогда прошу, умоляю: «Отец, отец, если уж неизбежно страдать, то помоги этому мальчику побороть Голубого, не сделай его напрасной жертвой, не доведи мне слышать его стон, подобный крику уносимой ястребом птицы».

Есть тайна у Курымушки, и такая страшная, что если бы ее братья узнали, так лучше съел бы в пшенице кровавый гусак. Пришло это не от греха, а как-то само собой, когда он смотрел в окошечко яблони на гостей и слушал, как они, такие радостные, хорошо одетые, между собой говорили:

— Бедная Мария Ивановна, вот уж как трудно ей, наверно, с хозяйством. Некогда за детьми посмотреть, и не на что, должно быть, гувернантку нанять. Дети совсем одичали.

— А как хорошо бы здесь жить богатым! Это — настоящее дворянское гнездо. Смотри, Катя, вот это дерево называется голубая сосна.

Ее звали Катя.

В другой раз Курымушка слышал другой разговор, и ее звали Маруся. Но когда пришла Маруся, Кати не было, и когда Надя пришла — не было Маруси, она всегда была одна, и эта она так радовала и так мучила Курымушку. Она всему радуется и от всего спасает, но тайну эту никому сказать нельзя, и если узнают, то пусть тогда лучше уж явится кровавый гусак. Тайну легко выдать за обедом, когда в разговоре скажут «Маруся», и вдруг огненно покраснеешь, — раз обмануть, два обмануть, но когда-нибудь догадаются. Спасение тут бывает одно: когда скажут «Маруся», нужно самому прошептать «кровавый гусак», и тогда встают перед глазами ужасные картины: и ад, и сатана, и небо по краям загорается, конец мира наступает, архангел трубит, встают мертвые. Тогда он бледный сидит за столом, и мать участливо спрашивает:

— Что с тобой? Отчего ты такой бледный?

— Должно быть, муху проглотил, — отвечает Курымушка.

Какой-то старший, большой, и добрый, и Голубой чудится иногда Курымушке, ему бы все это как другу сказать, и он, ведающий всеми тайнами, улыбнулся бы и все с него снял. %що этот желанный чудился Курымушке? Не отец ли?

Отец, отец, пожалей своего мальчика!

МАРЬЯ МОРЕВНА

Голубой услышал Курымушку, улыбнулся ему: в дом шла прекрасная девушка, у нее были солнце и месяц во лбу и звезды в тяжелых косах настоящая Марья Моревна!

Она вошла и сказала:

— Мама моя велела спросить вас, Марья Ивановна, не разрешите ли вы ей побродить в саду и в парке, ей хочется побыть с родными, — у нас столько здесь воспоминаний.

Потом вошла и сама генеральша, бывшая хозяйка имения, в золотых очках, еще не старая женщина в черном.

Долго они потом ходили, обнявшись, по аллее, сидели на лавочке, и Курымушка из-за своей яблони в окошко ствола видел, как генеральша вытирала слезы платком, слышал все их разговоры между собой.

— Там было бабушкино дерево. Цела ли еще эта яблоня? — спросила дочь генеральши.

— А вон стоит.

— Возле нее был налив?

— И налив на своем месте.

«Не убежать ли, — схватился Курымушка, — а то еще вспомнят и Розанку». Но подняться было опасно, а главное, в это окошко, поверх зеленой травы, так хорошо было смотреть на Марью Моревну и думать: «Вот это она, вот это она пришла, настоящая».

Генеральша говорила:

— Нужно отдать справедливость этим купцам: они хорошо берегут сад, и сколько цветов у них, — у нас этого не было. А помнишь, где-то была тут старая яблоня Розанка, и внизу в стволе ее было окошко.

— Помню, как же... Да вот и она стоит!

— Ну, пойдем посмотрим.

Курымушка не успел убежать. Марья Моревна заглянула в окошко и сказала:

— Посмотри, мама, какой тут в траве чудесный бутузик лежит.

Подошла няня, очень важная, подобралась вся и осмелилась:

— Мария Ивановна просит вас откушать, ваше превосходительство.

— Какая там уж превосходительство! — улыбнулась генеральша.

— Вот настоящие господа! — говорила няня после Курымушке.

— А мы-то не настоящие?

— Ну, какие мы господа, мы купцы!

Никто не мог так радоваться гостям, как мать, она вся сияла, встречая, и шептала Дунечке про дочь: «Вот настоящая тургеневская женщина!» Чего, чего тут для них не наготовили!

За обедом Курымушка узнал отличие настоящих господ: они ели, не церемонясь, сами просили подложить, если есть хотелось, и отказывались сразу, если кушанье не нравилось. Еще думал Курымушка, что Марья Моревна, конечно, и есть та самая она, про которую все говорят — кра-са-

ви-ца, но что это значит, как узнают это сразу — взглянут и скажут: кра-ви-ца! об этом он так решил: «Простая женщина с разными людьми говорит разным голосом и улыбается разное, а красавица одинакова со всеми — богатыми и бедными, большими и маленькими, да! вот это главное ее отличие: с маленькими она говорит, совсем как с большими. Но что, если вдруг, — в ужасе подумал Курымушка, — она — эта настоящая и единственная она — за столом ему что-нибудь скажет, ведь он непременно тогда ужасно покраснеет, и всем откроется его тайна, что это она!» На всякий случай он приготовился и стал держать в уме кровавого гусака, чтоб сразу пустить и вызвать ужасную картину ада и светопреставления. И вот, правда, Марья Моревна смотрит прямо на него, улыбается...

«Господи, милостив буди мне, грешному!» — готовит Курымушка своего гусака.

Марья Моревна спрашивает:

— Ты умеешь читать? Курымушка сказал про себя:

«Ад, сатана!» — и сразу пустил гусака.

Земля, там, где небо к ней прикасается, красным заревом вспыхивает, огромная черная гора открывается, на вершине архангел трубит, покойники встают, и кто, как няня, всю свою жизнь отрезал себе ногти и берег их в мешочках, — теперь ногти эти срываются, и, цепляясь ими за камни, лезут праведные люди на гору к архангелу, а грешники скрежещут зубами, обрываются и падают в адский огонь. И не красный, а смертельно бледный сидит Курымушка: он победил. Мать говорит:

— Что с тобой? Отчего ты вдруг побледнел? Курымушка ответил:

— Должно быть, муху проглотил.

— Вот всегда ты хапаешь ртом. Ну, выпей поскорей воды, может, пройдет.

Курымушка выпил воды и спокойно сказал Марье Моревне:

— Я умею читать.

— Хорошо, я тебе отличную книжку дам, любимая моя детская: Андерсен. Не читал?

— Нет, не читал.

После обеда она пошла, порылась в своих вещах и принесла эту книжку с картинками.

БОЙ С ГОЛУБЫМ

В старую беседку, обвитую хмелем, с зелеными замшелыми половицами, забрался после обеда Курымушка и читает рассказ за рассказом и картинку за картинкой рассматривает внимательно. Не слышно теперь ему ни птиц, ни голосов на дворе, и если бы даже правда архангел затрубил — он не слышал бы трубы. Вот подходит одна картинка, в ней есть череп и крест, поскорей эту страшную картинку перевернуть и дальше читать, но какая-то сила не голосом, прямо своей силой велит ему обернуть картинку и смотреть на нее. Перевертывает — ужасно! Попробует дальше читать, сила опять велит посмотреть, посмотрел — еще страшнее! Нет, дальше так нельзя, надо поскорее куда-нибудь книгу спрятать, и чтобы уж к этому месту никогда не подходить: место будет заколдованное. Зеленая половица под его ногой скрипнула и качнулась. Вот куда! Поднимает половицу, хоронит туда книгу с крестом и черепом, закапывает и хочет бежать, но у входа в беседку стоит Марья Моревна, улыбаясь, с венком из одних лиловых колокольчиков. Вокруг нее зеленый вьется хмель, и совсем недалеко на яблоне, не пугаясь, спит птица сойка, свесив от полднего жара голубое крыло.

— Ну, что? Читал мою книжку? — спросила Марья Моревна.

В это самое время вдруг всколыхнулись все птицы на дереве, захлопали крыльями, взлетели, закружились над садом. Но как ни было шумно, все-таки явственно слышался жалобный стон уносимой ястребом птицы.

— Что с тобой? — спросила Марья Моревна.

— Как что? Ты разве не слышишь: это ястреб уносит птицу.

— Чего же ты дремлешь? Слышишь и так стоишь, беги скорей, отбивай!

Прямо против беседки была аллея тонких пирамидальных тополей, сзади нее стоял Голубой, и туда, видно было на голубом, огромный ястреб уносил птицу. Туда за ястребом пустился Курымушка на своих крыльях. Много он уже пролетел и вдруг застрял в кустах вишняка, в непроницаемых никогда зарослях и вспомнил: нет у него крыльев, и ястреба ему невозможно догнать. Но крик был слышен, и опять он забыл, что нет крыльев, и снова летит, шумя по зарослям, прыгает; только что выбрался... что же там под голубым небом и палящими белыми лучами полднего солнца? Там — то самое страшное, желтое, непреходимое поле пшеницы, где живет ужасный кровавый гусак. И там, где-то в этом же поле, на одном месте все кричит и стонет жалобно птица. Курымушка слушает и стоит у входа в пшеницу на озорной тропе.

Большой Голубой стал против него: «Кто у нас одолеет?»

Маленький знал в своем сердце: если броситься назад, то за ним все бросится вслед — и ад, и сатана, и все, что шепчется за спиной, когда идешь в тишине, и кровавый гусак. Маленький сжался, его кулаки стиснуты, и от этого руки стали дубовые, голова наклонилась, и, рассекая воздух, он несется вперед на Голубого по озорной тропе. Голубой это любит, ничего нет страшного впереди, всюду он, Голубой, и золотые колосья пшеницы.

Вот он, тот самый овраг, где тогда гокнулся и закричал кровавый гусак; сюда, в этот овраг, он тогда свалился, и тут его страшное царство, тут он живет, и в этот самый овраг теперь нужно спуститься и перебраться на ту сторону. А на той стороне светло, пшеницы нет, только стоит один кустик, и прямо за ним слышно — пищит птица, и ястреб торжествующий хлопает в воздухе крыльями.

На краю оврага опять в последней страшной борьбе стал маленький, и против него опять стал Голубой. Но теперь уже знает маленький, как нужно бороться с ним, теперь он только слушает и думает, как это нужно сделать. Он спускается в овраг, в пазуху набирает камней, карабкается наверх, ползет прямо на куст.

За кустом распласталась по земле, кричит и трепещет птица с голубыми крыльями, и полдневный ветерок, будто мелкие корабли, уносит куда-то перышко за перышком. А над птицей, впусив в нее когти и себя поддерживая в воздухе взмахами огромных серых крыльев, круглыми огненными глазами, не моргая, смотрит на солнце хищник, шипит, выпускает красный язык из гнутаго клюва: ему бы еще долго тут плясать в воздухе и шипеть, наслаждаясь криком птицы с голубыми крыльями. Но камень из-за куста сшибает его, другой летит прямо в голову, третий, чет вертый...

Умиравший пахарь в последнюю минуту, часто бывает, выходит из дому и говорит, уходя умереть в поле, «домой иду», и умирающую птицу сразу узнаешь в лесу, когда она — хлоп! хлоп! хлоп! о землю крыльями, и это у них тоже значит свое: «домой, домой улетаю». Белой пленкой завешивается у ястреба огненный глаз. А помятая птица с голубыми крыльями оправляется, обирается и улетае жить в сад. Теперь все это разбросанное в мире: голубое небо — все, желтое поле — все, и лес далекий впереди — весь, и сад назади — весь, — все вместе собирается и летит сюда в гологе, и голос этот милый зовет и все близится, близится, и вот она, Марья Моревна, идет по полю, у нее и солнце, и месяц, и звезды, она встречает, обнимает, целует, надевает на голову мальчику венок из одних только лиловых колокольчиков и говорит:

— Ты — герой!

Счастливые проходят дни, и, как тяжелый сон иногда по частям вспоминается, открываются тайны одна за одной. Над сушеной грушей много смеется Марья Моревна, легко ее добывает и бросает к лягушкам. Из-под гнилой половицы в беседке появляется на свет Андерсен. Теперь там картинка, больше уже не пугают. Зато у Андерсена есть другая картинка: на ней лицо с такой же улыбкой, как у Марьи Моревны, и, как у ней, брови раскинуты птичьими крыльями.

— Знаю теперь, знаю, — говорит Курымушка.

— Что ты знаешь?

— Красавица, это значит — ты на картинке.

— Ну, и я хочу что-то сказать... хорошее.

— Я — гадкий.

— Почему ты это знаешь?

— Я видел себя в зеркале: я — Курымушка.

— А не смотришь в зеркало. Хуже всего, когда мальчик смотрится в зеркало.

Из Андерсена она читает ему, как гадкий утенок все смотрелся в воду и узнавал все плохое, а когда лебеди пролетали, то взяли с собой.

— Ты лебедь?

— А ты — лебеденок. Я унесу тебя далеко.

— Где живут голубые бобры?

— Там все голубое.

ПЕЧЬ КАМЕР-ЮНКЕРА

Бывает летом, — накроют стол на балконе, и так хорошо бы тут, в тени, под навесом, чаю попить, но выходит мать, осматривает: ей видно, как на своих полях крестьяне уже работают, а на дворе работники только что запрягают.

— Что-то я заспалась сегодня, — говорит она, — мужики уж на работе. И все так: пока сам не проснешься, никто у нас не начнет.

Она всегда про себя говорит сам.

— Сам встал до свету, — ворчит она, — кажется, после обеда имеешь право на отдых, а они и пальцем не шевельнут, пока не выйдешь сам.

Далеко видно с балкона в поля, из полей тоже виден далеко самовар на белой скатерти в тени, под навесом балкона.

— Нельзя, — говорит мать, — там работают, а мы будем за чаем рассиживаться. Переносите все в комнату, живо.

— Мама, — просит Курымушка, — зачем в комнату? Мы жене будем работать, все равно будем чай пить.

Стыдливо бормочет мать:

— Мало ли что!

И пьет в комнате чай, в жаре и с мухами.

«Она боится мужиков, — думает Курымушка, — так же, как мы боялись раньше гостей, мы от гостей в сад бегали, она от мужиков в дом. А чего их бояться?»

Всегда смело ко всем мужикам подходит Курымушка; только один Иван недобрый, у него есть тайна, и, должно быть, большая и страшная. Нанялся Иван в конюхи уж осенью, и сразу от него на дворе все стало не так.

— Вот конюх так конюх, — говорит мать, — и лошади чисты, и кормушки все починены, он и конюх, и плотник, и бредень починит рыбу поймать, и за собаками ходит, таких еще у меня не было!

Только одно плохо, — на него кричать нельзя. Мать попробовала как-то свое начать:

— Что тебе говорят, Иван! Раз я тебе сказала, ты должен исполнить немедленно: вчера я тебе приказала починить колодезь.

А он как посмотрит на нее из-под своей черной бороды, сразу мать переменялась:

— Иван, как бы круг на колодезе починить.

С тех пор всегда говорит ему: как бы. А отойдет от него и жалуется:

— Боюсь я этого Ивана, какой-то он страшный. Курымушка тоже раз пробовал подкатиться к Ивану с яблоками, а он сказал:

— Ешь сам. Что, у меня рук, что ли, нету яблок нарвать?

— Тебя поймают.

— За что?

— Яблоки не твои.

— А твои, что ли, они?

— Мои!

Тут Иван посмотрел на него страшно, как на мать тогда, и сказал:

— Ты — головастик.

С тех пор Курымушка не мог уже просто, как прежде, к работникам бежать с пазухой яблок, — везде был Иванов страшный глаз. Так и было в этом глазу и в этих руках, за что он ни возьмется: за дугу — в глазу его «ну, разве у настоящих такая дуга?». Конь застоялый взовьется у него в руках,

как огненный, а он хлестнет его, и так, будто это последняя кляча; и все так, и этот двор с постройками, и сад, и земля, не смотрел бы на все, да так уж, не за что ухватиться пока.

«Не Балда ли это? — думал Курымушка. — Тот ведь тоже был хороший работник, а что из работы вышло: от одного его щелчка поп улетел».

Он попросил даже Дунечку прочесть ему еще раз «Балду» — и когда прочел:

— Нет, Иван не Балда.

Про Ивана каждый день говорили: «Вылитый он».

А он — был Бешеный барин, атеист.

И это было как-то связано с тем, что постоянно бывало в кухне на печке, где спала горничная Настя, потом Дуняша, потом Катя. Одна горничная уходила, нанимали другую, а перед уходом всегда няня таинственно шептала матери:

— Зажгла свечку, а на печке коленки, кра-асные. — Кто же?

— Да все Кирюшка.

— Опять сваялись?

— Баламутный малый.

Что-то очень гадкое бывает на печке, и лица у мамы и Дунечки, когда про это говорят, бывают такие странные.

В этом ли была тайна Ивана?

Старшие говорили: «Их много. Едешь иногда, встречается, ну, вылитый, только одет мужиком». Но это говорили уже не про атеиста, а про самого большого барина — ка-мер-юн-ке-ра. У него есть лакей тоже вылитый, и лакей ходит к дьячихе, и у дьячихи семь человек детей, и все вы-ли-тые. Многое множество вы-ли-тых было, и Курымушка иногда думал, какая же огромная печь должна быть у камер-юнкера.

С тьмою зимних вечеров и ночей приходило это «на печке», когда сверчок неустанно поет, рыжие тараканы снуют на лежанке, неустанно щелкают счеты в комнате матери, и стук! стук! — оледенелые ветки и замороженное окно. Вздогнет няня от стука, спустится с огнем посмотреть в кухню, вернется оттуда...

Курымушка спит и не спит, видит, как осторожно няня шевелит ручкой двери маминой комнаты.

Щелканье счетов обрывается.

— Тебе что, няня?

— Опять Баламутный на печке.

— Вот те раз!

И начинается долгое совещание.

Из всего этого вышел Иван, вылитый Бешеный барин.

ТАЙНА ИВАНА

Такой был вечер зимой. В полднях пригревало. Курымушку выпускали на угреве сосульки сшибать, а вечер был еще долгий, зимний; где-то в гостях очень редко случалось — были мать и Дунечка; вышла такая минута, куда-то няня ушла — не проверять ли, что было на печке? Совершенно один был в старом доме Курымушка, и вдруг слышит голос: «Царя убили!» Какие голоса, кто это крикнул, только явственно слышал: «Убили царя». Курымушка, услышав, подумал сразу о Дунечке: «Теперь Дунечке хорошо будет». Но за криком и плач начался, шум, топот: это няня с Настей бежали по лестнице. И Курымушке стало жутко отчего-то.

— Да вот убили царя-батюшку, — всхлипывает няня.

— Чего ты плачешь, няня? — спросил Курымушка. — Что будет от этого?

— Как что! Теперь мужики пойдут на господ с топорами.

«Топорами на печи сено косят раки», — подумал Курымушка в первую минуту, а потом стало вдруг от этого очень страшно, и как видение: мужики идут на господ с топорами, вроде светопреставления.

— Ай-ай-ай! — вдруг залился Курымушка. Няня испугалась:

— Что? что ты?

— Как что? Мужики пойдут с топорами!

— А может, и не пойдут.

— Пойдут, непременно пойдут.

— Ты-то почему знаешь?

— Царя убили.

— Царя-то убили.

— И пойдут.

— Очень просто, пойдут.

Настя плачет, няня плачет, Курымушка плачет.

— Что же делать-то, няня? Разве спрятаться?

— Нужно позвать мужиков посидеть, пока наши подъедут, а то жутко одним. Настя, позови мужиков!

— Как мужиков?

— наших ребят, наши смирные.

Скоро входят и мужики, тот самый Иван и Павел. Няня говорит Ивану:
— Теперь всех перечистят? Иван отвечает:
— Всех под орех. Курымушка:
— И нас?
— Какие же вы господа? — усмехнулся Иван.
— Слава богу, — обрадовался Курымушка и с легким духом смело спросил: — Почему не тронут купцов, Иван, открой мне всю тайну!
— Купцы на капиталы живут, — сказал Иван. — Да ты этого еще не понимаешь, я тебе растолкую. Сотворил бог Адама на земле?
— Ну, сотворил.
— Адам согрешил, и бог его выгнал из рая. Знаешь?
— Слышал.
— А знаешь, что бог сказал человеку, когда выгнал из рая?
— Не знаю.
— Бог сказал: в поте лица своего обрабатывай землю.
— Это знаю.
— А вот Гусёк есть человек. Почему у него нету земли? Куда его земля делась?
— Перешла к маме.
— Твоя мама купила у господ. А как она к господам от Гуська перешла? Они ее не покупали. Кто ее дал господам?
— Царь, должно быть?
— Царица Катерина. Кто ей, бывало, полюбится, тому и дает.
— Да вот, — сказал Павел, — у вас в саду есть большое дерево Лим, веку ему никто не запомнит, на этом Лиму дедушка мой хомут вешал: мужицкая земля была, потом перешла к господам, а от господ к купцам.
— И теперь опять к вам перейдет?
— Вот будут землю столбить, тогда разберут.
— Как столбить?
— Ну, барин, тебе всего не расскажешь. Иван усмехнулся по-прежнему:
— Барин, барин без портков, а пляшет.
— Как без портков? Я в штанах.
Все так и покатались со смеху, и, отсмеявшись, Павел сказал:
— Это, брат, тебе на ночь Иван задачу дал. Ложись в кровать и подумай, что это мужики говорят: барин, барин без портков, а пляшет.

КАЩЕЙ

С тех пор как Марья Моревна уехала, — обещалась ненадолго, а прошла почти вся зима, — собрались опять разные тайны; то показывалось раньше в саду, в лесу, полях, а теперь стало в людях, и спросить про это опять некого: на такие спросы в ответ только смеются или говорят: «сам догадайся», а есть такое, — спросишь и пропадешь. Поговорили на деревне про Адама, что бог создал его из земли и велел ему землю пахать, тот Адам успел землю получить, и так стали мужики, про которых мать говорила «энти мужики». И еще говорили на деревне про второго Адама, что ему бог тоже велел обрабатывать землю, но земли уж больше не было, от этого второго Адама начались, как мать называла, «те мужики», и вот те мужики задумали землю столбить.

Приехал становой узнавать, кто хотел землю столбить.

Все сказали на Ивана. И увезли куда-то Ивана.

— Куда увезли Ивана?

— Куда Макар телят не гонял.

— Какой Макар?

Все засмеялись, и это значило: «Сам догадайся!» Царя убили, и опять стал царь, сразу большой, с бородой.

Мать раскладывает: «Николай умирает, Александр рождается». Не с бородой же рождается царь? Опять сам догадайся.

— Отчего это, мама, — спросил он, — все догадываются сразу, а я после?

— Оттого, что ты очень рассеян.

Вышла новая загадка, — все люди как люди, а он какой-то рас-се-ян-ный. Вот если бы хоть на один день увидеть Марью Моревну, она бы все тайны и загадки сняла.

Светлый день пришел: на земле снег лежал, на небе облака растаяли, солнце показалось. Сказали: «Как день-то прибавился!» Еще сказали: «Это весна!» А еще сказали: «Сегодня Маша приедет!»

Мать говорила:

— Не узнаю своих детей, что сделала с ними за одно лето эта милая Маша, как они ее слушаются, скажет: «Нарвите цветов», — и они собирают, но мало того: часами сидят, подбирают цветочек к цветку, — и букет выходит. Скажет: «Найдите хорошее яблоко», — и сколько они натрясут, насшибают, перекусают, пока не найдут янтарное, наливное.

Скупая Софья Александровна против этого:

— По-моему, и не очень хорошо.

— Как нехорошо? Что вы! Пусть перекусают все яблоки, только бы на людей были похожи, а то ведь было совсем одичали, чуть кто к нам — и

бежать. Теперь сами гостей встречают и радуются. Удивительно! Какие у нее способности! Вот бы каких нужно для воспитания детей, а не старых дев и уродов.

— Очень горда. Она и детей этим заражает, возбуждает их к чему-то необыкновенному, а жизнь требует в смирении и терпении учиться класть кирпичик к кирпичику.

— Этому сама жизнь научит, а Маша... тургеневская женщина.

— Экс-пан-сив-на-я! Ее бросает в разные стороны: то она цветами осыпает певцов, то вдруг окажется на ма-те-ма-ти-чес-ком, то в Италии, то доит корову у Толстого в Ясной Поляне. Все это от гордости: красавица, порода, а самого главного для жизни нет. У вас они не занимали?

— Пустяки, я бы очень рада была поблагодарить: дети мои неизвестны, в гимназии начали хвалить.

— Ей бы устроиться гувернанткой в аристократическую семью. Но разве она пойдет? Я, право, не знаю, что ждет ее в будущем.

— Пустяки! Такая красавица и не найдет партии себе?

— Искать, конечно, найдет, да позволит ли она себе искать, и сами знаете, какие у нас женихи.

— Женихи, правда, у нас никуда.

— Я хочу ей посоветовать к старцу съездить. Вы не знаете, сколько там теперь бедных девушек из отличных дворянских семей собирается, каждая находит себе утешение. Там и на нее пахнет этим духом смирения, а то, право, уж она чересчур горда.

А Курымушка в кресле сидит и все наматывает себе на клубочек; он это понимает, что Софья Александровна хочет отдать Машу старцу, и теперь старец ему кажется Кашеем Бессмертным. Но он, Курымушка, этого не допустит. Вот Маша сегодня приедет, и он все ей перешепчет. Марью Моревну он не отдаст Кашею Бессмертному.

СУД

Мать всегда такая: одна радоваться не может; по случаю приезда Маши созывает гостей, просит Софью Александровну с мужем, — она и не подумает, рада ли будет сама Марья Моревна Бешеному барину.

«А главное, — опасается Курымушка, — при гостях как я ей перескажу про заговор с Кашеем Бессмертным?»

Так он думал. Крикнули: «Едут!» Он бросился.

— Оденься, оденься!

Но было уже поздно. Курымушка, раздетый, без шапки, вылетел вон на снег и там машет, и пляшет, и поет, встречая Марью Моревну. Вон она выходит из саней, целует его, вот сейчас бы тут ей на лестнице все и пересказать, но за Курымушкой погоня. Дунечка выходит, мать. Потом дома начинаются совсем ненужные разговоры, приготовления к вечеру, и в ожидании гостей все сидят за столом. Опять мать раскладывает и рассказывает:

— Какие удивительные перевероты бывают, я это знаю: он был настоящий атеист.

— Какой там атеист, — отвечает Дунечка, — просто и верно говорят мужики: Бешеный барин.

— Но все-таки Александр Михалыч в бога не веровал, везде этим выставлялся, и вдруг...

— Как же это вышло? — спросила Маша.

— А так вышло. Очень странная история: после убийства царя он стал сам не свой и даже заболел, — на желудочной почве начались экс-цес-сы.

— Тетенька, — засмеялась Дунечка, — вы ужасно смешно рассказываете.

— Я не смеюсь: это мне все она так передала, а знаете, какая она хитрая, — воспользовалась этим его состоянием и уговорила спросить у старца совета. Ответ был, как всегда, лак-о-ни-чес-кий: «Пусть ест гречневую кашу и соленые огурцы». И что же вы думаете! Все у него прошло, настроение прекрасное, и говорит: «Православные посты — великое дело».

— И уверовал?

— Не сразу. К старцу съездил и тогда вдруг святошей стал: свечи продает в церкви, с тарелочкой ходит. Софья Александровна в восторге, у нее теперь с ним печки и лавочки. Вот увидите: сегодня они вместе придут. Очень интересно.

Дунечка тяжело вздохнула, она теперь стала совсем невеселая: убили царя, и царь опять сразу явился, а Дунечке еще стало хуже, и работает она по-прежнему на ле-галь-ном положении и по-прежнему стоит, маленькая, у печки, читает:

Жандарм с усищами в аршин,
И рядом с ним какой-то бледный,
Полуиссохший господин.

Мать не может выносить, когда кто-нибудь недоволен, страдает и отдельно живет, — украдкой на нее посматривает через очки и робко спрашивает:

— Милая Дунечка, все-таки я этого вашего никогда не пойму. Бывают все-таки и жандармы хорошие?

— Тетенька!

— Вот для примера становой Крупкин у нас уничтожил все конокрадство в уезде, — какое он сделал для крестьян колоссальное дело!

— Тетенька, это совсем другое.

— Но почему же другое, и как это у вас разделяется? Жандарм, положим, исполняет честно свои обязанности, чем он хуже других людей, а вы всякого жандарма презираете! Царь был тоже человек, освободитель крестьян, и его убили. Ну, как это понять? Объясни, пожалуйста, ведь я на медные деньги училась.

— Вы правы, — сказала Маша, — убийство — это несчастье, убийство задумывать нельзя, и если оно выходит, то это несчастье.

— Маша, Маша, — воскликнула Дунечка, — как ты этого не понимаешь! Это не убийство.

— А что же это такое?

— Это? Это — суд!

Маша хотела что-то ответить, но на дворе сразу все собаки загамели, и обычный ужасный крик раздался, будто кого-то собачка за ногу схватила:

— Гости идут!

— Тетенька, милая, отпустите меня, я спрячусь, не могу я видеть его, слушать и молчать.

— Нет, Дунечка, останься, мы же тебя не дадим в обиду, что ты будешь одна сидеть, и знаешь, у нас сегодня твой любимый постный пирог с грибами, жареные пескари. Накрывайте же на стол, няня, няня!

ОТКРЫТИЕ

Случилось это первый раз за все время: Софья Александровна вошла вместе со своим мужем Александром Михалычем, и под руку. Но зато как неловко было всем сидеть за столом — разговор обрывался, мать нетерпеливо говорит в дверь: «Ну, скоро ли у вас будет готово? Подавайте же!» И опять занимает гостей:

— У вас, Александр Михалыч, червяк сильно точил озими?

— Пустяки! У нас каждую осень бывает червяк.

— Осенью все-таки зеленыя очень зажухли, весной, вы думаете, отгрызнут?

— Какая будет весна.

— Я спрашивала и старца про это, — сказала Софья Александровна, — он тоже ответил: «Осень — выключу, а весна — как захочу».

— Разве старец и в этом понимает? — спросила Маша.

— Ну, как же, он все понимает, ему это дано. Вы послушали бы, что у него бабы спрашивают, — в каком платье венчаться: в голубом или розовом, какого поросенка оставлять: белого или пестрого...

— А это уж глупо!

— Как вам сказать... Он так говорит о себе: монах — сухой кол, а вокруг него вьется зеленый хмель, и для того существует монах, чтобы поддерживать хмель.

— Как это прекрасно! Какой он мудрый человек! Я только про баб думаю. Можно ли такими глупостями его затруднять? А что он отвечает на это?

— Он отвечает всегда: «Ты сама как хочешь?» — и благословляет то, что они сами хотят.

У Марьи Моревны вдруг загорелись глаза и брови раскинулись птичьими крыльями.

— Значит, — сказала она, — они идут к нему с сомнением, а по пути сами догадываются?

— Конечно, так просто.

— И это он благословляет их собственную догадку в пути к нему?

— Их догадку.

— Так они и старца рожают в своем сердце? Как это прекрасно! Я непременно хочу увидеть его поскорей.

— Поезжайте завтра, у меня будут лошади, только приходите пораньше.

«Конец, конец, — думает Курымушка, — теперь все пропало, он не успеет ничего ей рассказать, она рано уедет, и Кащей Бессмертный никогда не выпустит от себя Марьи Моревны; но во что бы то ни стало нужно добиться разговора с ней и предупредить». Полный тревожных дум, рассеянно он стал катать шарик из хлеба, заложив палец за палец, и выходило очень странно: шарик был один, а казалось — два.

— Убери руки со стола! — сказала мать. — Что ты там делаешь пальцами?

— Шарик катаю, — ответил Курымушка. — Удивительно: шарик один, а кажется — два.

— Как это? — спросил Александр Михалыч.

— Вот так.

— Аи правда!

Все очень обрадовались, что не нужно стало заниматься разговорами, и все стали катать шарики!

— Ну, молодец! Вот так открытие!

Как сказали открытие, высоко взлетел Курымушка, и так сладко стало ему там, наверху. «И почему бы, — думал он, — теперь не спросить их всех сразу обо всем, они все хорошие, и сам Бешеный барин катает шарики, как маленький».

«Спрошу! — решил Курымушка. — Может быть, и это будет открытие».

Уже хотел спросить про царя, почему он, не как все люди, рождается сразу большой, с бородой, про тайну Ивана, почему он вы-ли-тый Александр Михалыч, и про все, ни раньше его мать свое начала:

— Я думаю завести четвертый клин с клевером и тимофеевкой, хочу посоветоваться с Данкевичем.

— Что же, посоветуйтесь, — сказал Александр Михалыч, — у него хозяйство образцовое. Он только что вернулся из Петербурга.

— .Представлялся царю?

— Я его вчера видел, он в восторге от царя: «Лицо русское, борода широкая».

Все опять замолчали. Дунечка упорно смотрела в тарелку, мать стеснялась Дунечки. Маше тоже отчего-то было неловко. А Курымушка решил окончательно: «Спрошу! И, может, опять это будет открытие». Какой-то крючок соскочил, и звонко спросил он при общем молчании:

— Царя убили, и он сразу родился с бородой, — как это может быть?

Вышло второе большое открытие: все, даже Дунечка, долго смеялись, и Александр Михалыч наконец объяснил:

— Царь рождается, как и все, маленьким и растет наследником, а потом, когда царь умирает, наследник прямо же становится на его место и делается царем.

— А если так, — спросил Курымушка, — если царь всегда, непременно рождается, то зачем же его убивают?

Тогда вдруг что-то злое стало в лице Александра Михалыча, он посмотрел на Дунечку и сказал:

— Ты, мальчик, лучше спроси об этом свою тетю, она в этом больше меня понимает.

Дунечка вся вспыхнула. Все глухо замолкли. Открытие было какое-то ужасное. Но Курымушка уже был высоко, он хотел делать все новые и новые открытия и спросил про тайну вы-ли-тых.

— Бог сотворил Адама на земле?
— Ну, хорошо, сотворил.
— И велел землю пахать?
— Велел.
— Почему же он земли не дал?
— Вот ты какой! — удивился Александр Михалыч. — Неужели это ты сам догадался?

— Я не умею догадываться, — ответил Курымушка, — мне это Иван сказал.

— Тебе это Иван сказал?

— Иван, а про Ивана почему-то все говорят: вылитый Александр Михалыч.

Тогда случилось, как бывает часто во сне: по стеклянному полу в большом зале идет Курымушка, по сторонам много людей, смотрят на него, как он пройдет, а пол стеклянный вдруг наклоняется, и — «ай-ай-ай!» — он катится торчмя головой и куда-то «бух!» — просыпается.

Пол наклонился, Курымушка полетел и видит, как моргает ему мать черными глазами, как махала ему белой салфеткой, слышал, как сказал Александр Михалыч: «Рано тебе за столом разговаривать, ты еще дурак!» Все встали, благодарили мать за ужин, и ему строго велели: «Ступай спать».

ТИХИЙ ГОСТЬ

Велика эта ночь вышла Курымушке, уснуть не мог и все думал, будто это он что-то неловко тронул, сорвался с цепи Кощей и теперь всех закует своей цепью, и с Марьей Моревной теперь простись навсегда. В приоткрытой двери маминой комнаты светится лампада, и долго слышится оттуда, как Дунечка плачет и шепчется с матерью.

— В письме так и сказано: «работать неопределенное время на легальном положении». Это значит — всю жизнь в этой тьме в глуши.

— Милая, поезжай в город.

— В городе таких, как я, много.

— Ну, не плачь, не плачь, привыкнешь, обойдется. Что же делать? Вот я работаю на банк, и, видишь, совершенно одна.

— Вы все-таки любили.

— Что ты! Как я любила? Помню, вывели меня к нему, посадили на зеленый диван, и увидела я черную бороду — вот и все.

— А потом?

— Я не скоро к этому привыкла, и тебе не это нужно — не это любовь.

— Не говорите так, у вас есть дети, мне и того не достанется.

— Полюбишь чужих детей, как своих.

— Полюблю, я знаю, но все это «не то».

«Бедная, бедная, — шепчет Курымушка, — всех вас опутал Кощей своей цепью, но как быть? Ведь это я виноват, это я выпустил Кощея. Как быть? Надо покаяться, — решил он, — во всем покаяться Марье Моревне, все ей сказать, и тогда будет опять хорошо, а главное, нужно открыть заговор на нее. Как бы ей это открыть? Разве пробраться к ней в спальню, «в маленькую комнату», разбудить? Она все поймет. Но как пробраться туда через мамину комнату, по коридору, и как дожждаться, пока все уснут?»

«Надо, надо!» — решил он, и с этой минуты началось ему это «надо» на всю долгую ночь.

Долго шепчутся мать с Дунечкой. Курымушка нарочно не закрывает глаз и видит голубой снег, по снегу идет он к дереву и там у дерева долго стоит. Дед-Мороз спрашивает: «Тепло ли тебе, Курымушка?» — «Очень тепло!» отвечает он Морозу, а со стороны голос: «Надо, надо!»

— Слышите? — спрашивает Дунечка. — Слышите?

— Кажется, плачет. Надо посмотреть. Вот всегда так дети при гостях нервничают, — что он сегодня разделявал!

— Ужас! Всегда один, вот нехорошо: в одиночку у детей складывается все особенно.

— Спишь? — тихонько спрашивает мать. Курымушка нарочно сопит.

— Спит!

И обычное: рука на голове.

— Кажется, есть жарок, но это нервное, в другой раз непременно буду раньше укладывать. Давай-ка и сами ложиться, очень уж поздно.

Пока они раздевались и укладывались, Курымушка все боролся со сном; ему представилось, будто он машет ладонями по воздуху, как крыльями, и поднимается, пробуя еще раз — выше поднимается, к самому потолку в зале, всю залу у самого потолка облетает, как муха. Он заявляет об этом открытии всем, и множество народу собирается на двор посмотреть, как полетит Курымушка. Вот он выходит, машет ладонями, разбегается, опять машет, но земля, как магнитом, держит его ноги, и все хохочут, ругаются: «Вот собрались, дурака-то мальчишку послушались!» Но когда все разошлись, он попробовал и опять поднимается, и все выше и выше. Так ужасно его мучит, что нельзя им показать свое открытие. Было бы так хорошо всем летать.

— Опять плачет, слышишь? — говорит Дунечка.

— Не дать ли ему брому? — спрашивает мать.

— Нет, подождите, — кажется, опять спит. Курымушка нарочно сильно сопит, но глаз больше не закрывает и опять видит белую поляну, спящая красавица Марья Моревна лежит под сосной, Иван-царевич подходит к ней, и надо ему разбудить Марью Моревну, а не знает, как тронуть ее, и чтобы не испугалась, так и стоит и стоит Иван-царевич возле спящей красавицы, вот-вот и сам заснет. Вдруг как из пушки ударило: «Надо, надо!»

Курымушка проснулся, и так ему стало невозможно и трудно сделать задуманное, ему кажется верным делом спать, и задуманное, как страшный сон, прошло и не надо.

«Нет, надо!» — опять вспомнил он и прислушался: все спят, слышно даже, как Настя в коридоре храпит, и там крыса пол грызет, у няни сверчок, темно, у мамы лампада. Нет, надо идти, надо, надо! Холодно в одной рубашке, но где тут искать штаны в темноте! Открывает дверь, громко скрипнула под ногой половица, он сел и ползет между кроватями. Мать спит, и Дунечка спит. Вот медная ручка, которой няня с той стороны шевелит осторожно, когда хочет мать разбудить. Эту самую ручку и он теперь шевельнул.

— Ты что, няня? — спрашивает мать.

— Живот болит, не знаю, что делать, — отвечает Курымушка. Кажется, сказал вслух, а ничего не сказал, и мать это спросила во сне. Вот теперь коридор этот, темный и длинный, где Настя храпит и крыса скребет. Вот «маленькая комната», и у нее ручка точь-в-точь такая же, точно медный пестик, но тут хорошо, пусть Марья Моревна услышит и спросит. Нет, она не слышит — спит. Открывает дверь и вдруг, как сон: на белом лежит спящая красавица, и темные ее волосы разметались и даже свесились с подушки, и он, как Иван-царевич, стоит, хочет, и страшно будить: она вскрикнет на весь дом — и все откроется, и что тогда скажешь при всех? Иван-царевич долго стоит и дрожит от холода в одной рубашонке. «Не убежать ли?» — спрашивает себя. «Надо, надо!» — кто-то велит.

Тихо шепнул он:

— Марья Моревна! Открыла глазок и закрыла.

— Марья Моревна! Опять открыла глазок.

— Марья Моревна! Другой.

— Ах, как я долго спала! Кто это? Ах ты, Курымушка?

Странно смотрит, и страшно от этого. И уже хочет сказать Иван-царевич в ужасе: «У меня живот болит, не знаю, что делать».

«Надо, надо!» — требует ночной голос.

И падает маленький гость, как в «Отче наш», на колени:

— Прости меня, прости меня, милая Марья Моревна!

— Ну, что ты, родной, что, милый мальчик? — шепчет Марья Моревна. Иди сюда на кровать, ложись. Вот так. Ну что? Рассказывай все!

Про Кашея Бессмертного рассказывает Курымушка, — как он спустил его сегодня с цепи и что там уже есть заговор на нее, — отправить завтра к старцу, а старец и есть Кашей, и что он велел себе не упустить Марью Моревну, — все рассказал, все тайны открыл и даже, как он во сне куда-то летал, и при людях это не удалось, и его засмеяли.

— Не уезжай, не уезжай к старцу!

С улыбкой счастья глядя куда-то, кажется, на эту картину прекрасной дамы с младенцем на руках, Марья Моревна сказала:

— Милый сыночка, ты разбудил меня, и я тебе обещаю: никто никогда меня не возьмет.

— Не поедешь завтра к старцу?

— Зачем теперь мне к старцу ехать, я без него знаю, что мне нужно делать.

— Неужели ты пойдешь в гувернантки?

— Ив гувернантки не пойду. Я всегда буду с такими, как ты; кто меня будет любить и звать, к тому я и буду ходить.

— Я всегда тебя буду любить и звать.

— И я всегда буду с тобой.

Тогда показалось Курымушке, будто кто-то третий тихим гостем явился сюда и стоит.

— Кто это?

— Кого ты видишь?

— Вон, Голубой!

— Ах, это уже рассветает. Спи, сыночка!

— Но отчего же там голубое?

— Это всегда так, весной на рассвете так голубеют снега.

— Мне показалось, будто кто-то вошел.

— Сыночка, спи, дорогой, ничего не бойся и не летай во сне без меня; может быть, когда-нибудь я научу тебя летать по-настоящему, и никто над этим не будет смеяться.

— И все полетят?

— Все, все полетят!

— Куда же? в рай?

— Какой тебе рай, это близко, — далеко за рай, — в страны зарайские!

— Где живут бобры голубые?

— Там все голубое.

Сладко спит победитель всех страхов на белой постели Марьи Моревны. Тихий гость вошел с голубых полей. Несет по облакам светлого мальчика Сикстинская прекрасная дама. Гость пришел не один, с ним вместе с голубых полей смотрят все отцы от Адама с новой и вечной надеждой: «Не он ли тот мальчик, победитель всех страхов, снимет когда-нибудь с них Кощееву цепь?!»

ЗВЕНО ВТОРОЕ

МАЛЕНЬКИЙ КАИН

ОТ АВТОРА

С тех пор как я задумал свой старый роман «Кашеева цепь» сделать романом автобиографическим и, значит, героем в нем выставить самого себя, ко мне в роман постучалась сама правда. И это дело! А то как же без правды я удержал бы себя в автобиографическом романе героем.

Но тоже, оказывается, нельзя было оставить и правду одну без себя, без своего вымысла. Вот почему, наверно, она и постучалась.

Представляю себе на аэродроме самолет: без горючего он не летит, а торчит и ожидает, пока я не принесу свое горючее — вымысел. И как только я налил в самолет-правду горючее, так самолет поднимается на воздух.

Это значит, что без моего вымысла правде определено неподвижно лежать на земле.

То же самое и блестящий-разблестящий вымысел рассыпался бы весь малыми искрами в глазах самых ничтожных людей, если бы у нас исчезла последняя надежда всем вместе сойтись и дружным усилием поднять нашу правду на воздух и всем полететь.

Давно я так про себя думаю о правде и вымысле. До сих пор, когда собираюсь что-нибудь написать, пользуюсь пониманием правды в ее устремлении лететь и моим собственным вымыслом как горючим для правды. Так моя домашняя гипотеза, пособие в работе, никогда не изменяла мне: отдаешься одной правде — вымысел напомнит о себе, забудешь правду в вымысле — она постучится.

Так вот, когда я выдумал сделать себя самого по всей правде героем романа, забытая правда постучалась ко мне, и я вспомнил, что роман «Кашеева цепь» был написан больше тридцати лет тому назад.

Вместо Кашеевой цепи я стал воспевать радость жизни в природе под предлогом охотничьих рассказов, приближая мало-помалу к моим рассказам внимание людей, ничего не имеющих общего с охотниками.

Так я приспособлялся к новой читательской среде, не рассчитывая ни на что, отдаваясь только чувству той современности, где рождается наше будущее.

Пришло время, правда постучалась ко мне, и я вспомнил, что не довел до конца давно когда-то начатый роман.

Бывало часто со мной как писателем, что вскоре после окончания своей какой-нибудь работы являлся тот, скажем, символический читатель: вопрос о том, будет жить моя вещь или заляжет в темном углу, как залегла безответно «Кашеева цепь»?

Символический читатель — это, конечно, я же сам. Можно же себе представить, в какого читателя разросся я, не издавший тридцать лет текста своей собственной книги! Взять хотя бы только одну бомбу, брошенную в царя в 1881 году! Она залегла неподвижной правдой в сердце мальчика Курымушки, и во что она разрослась потом! А так ведь и за тридцать-то лет разлуки романа с автором сколько было перемен всяких, сколько пар очков надо было переменить, чтобы почувствовать жизнь в ее цельности!

Читая по-новому «Кашееву цепь», я только слушал правду, которая стучалась ко мне независимо от горячего текущего времени.

И я что-то услышал.

Вот почему теперь и пришлось мне затянуть эту оговорку о собственном творчестве. Роман, получив назначение автобиографического, требует там и тут указаний, а я все эти тридцать лет — подумать только, наших революционных лет! — ни разу не прочел «Кашеевой цепи», написанной в первые годы революции.

Как это могло случиться, что автор за тридцать лет революции ни разу не прочел свой роман?

Мне кажется, это произошло оттого, что по выходе книги я не нашел на месте своего читателя. Раньше со мной всегда было так, что, написав частичку, какую можешь написать в один раз, ты поневоле расстаешься с написанным и потом возвращаешься к нему не писателем, а читателем. Бывает, что сам как писатель вчера наслаждался написанным, а когда пришел как читатель, то сгоряча разорвал рукопись и бросил ее в корзину.

Это самое случилось с «Кашеевой цепью». Написав роман, я не почувствовал на обычном месте своего читателя.

К этому надо понять, что я сейчас говорю о читателе не в смысле читателя-потребителя. Книга неплохо написана, и по литературному каналу тиражи ее разбегались в какие-нибудь две-три недели. Я говорю сейчас не о читателе, который кушает книгу, вернее слизывает ее вкусную часть для своего личного отдыха. Мой же органический читатель книгу не кушает, а переживает ее и вовлекает себя в сотворчество.

И вот этого-то органического читателя не было при выходе в свет книги, и мне это передалось: в воздухе что-то не то, и дым несет с другой

стороны.

Это расхождение с читателем-другом не повергло меня в отчаяние, потому что литературная жизнь не закрывала мне собою всю человеческую жизнь и бесконечную радость в природе.

Вместо «Кашеевой цепи» я стал писать охотничьи рассказы, прославляющие радость жизни, а «Кашеева цепь» эти все тридцать лет так лежала и лежала без движения, ждала меня как современного автора, и я хочу теперь получить право врываться в рассказ, где мне только захочется, и тем самым сохранить в творческом соотношении и правду, и вымысел.

1954

АРХИЕРЕЙ

Иногда попадешь в такую полосу жизни, плывешь, как по течению, детский мир вновь встает перед глазами, деревья густолиственные собираются, кивают и шепчут: «Жалуй, жалуй, гость дорогой!» Являешься на зов домой и там будто забытую страну вновь открываешь. Но как малы оказываются предметы в этой открытой стране в сравнении с тем, что о них представляешь: комнаты дома маленькие, деревья, раньше казалось, до неба хватали, трава росла до крон, и все дерево — как большой зеленый шатер; теперь, когда сам большой, все стало маленьким: и комнаты, и деревья, и трава далеко до крон не хватает. Может быть, так и народы, расставаясь со своими любимыми предками, делали из них богатырей — Святогора, Илью Муромца? А может быть, и сам грозный Судия стал бесконечно большим оттого, что бесконечно давно мы с ним расстались? Так и случается, как вспомнишь, будто вдвойне: одно — живет тот бесконечно большой Судия, созданный всеми народами, и тут же свои живут на каждом шагу, на каждой тропинке, под каждым кустом маленькие боги-товарищи. Никогда бы эти маленькие свои боги не посоветовали ехать учиться в гимназию, это решил Судия и велел: «Собирайся!»

Милый мой мальчик, как жалко мне с тобой расстаться, будто на войну провожаю тебя в эту страшную гимназию. Вчера ты встречал меня весь мой, сегодня я не узнаю тебя, и новые страхи за твою судьбу поднимаются, как черные крылья.

Ехали по большаку. Город показался сначала одним только собором. Эта белая церковь в ясные дни чуть была видна с балкона, и что-то слышалось с той стороны в праздники, о чем говорили: «В городе звон». Теперь таинственный собор словно подходил сюда ближе и ближе. Изредка

в безлесных полях, как островок, показывалась усадьба с белыми каменными столбиками вместо ворот. Очень странно думалось, глядя на эти ворота: что, если заехать туда, будет казаться, будто много там всего и самое главное — там; а если выехать, то главное кажется тут, на большаке, этому конца нет, а усадьба — просто кучка деревьев. «Неужели и у нас так же?» — подумал Курымушка, но отстранил эту неприятную мысль хорошей: «У нас лучше всех». Показалась рядом с белым собором синяя церковь, сказали: «Это старый собор». Показались Покров, Рождество и, наконец, Острог — тоже церковь; среди зеленых садов покраснелись крыши; сказали: «Вот и гимназия!» В это время на большак с проселочных дорог выехало много деревенских подвод, растянулись длиною цепью, и это стало — обоз. Помещицы тряские тарантасы обгоняли обозы, а какие-то ловкачи на дрожках на тугих вожжах, в синих поддевках и серебряных поясах, обгоняли тарантасы. Всем им навстречу возле кладбищенской церкви выходил старичок с колокольчиком. Никто почти ему не подавал, а он все звонил и звонил. В Черной слободе все подводы будто провалились: это они спустились тихо под крутую гору до Сергия. Ловкачи в серебряных поясах пускали с полгоры своих коней во весь дух и сразу выкатывались на полгоры вверх. Когда выбрались наверх из-под Чернослободской горы, тут сразу и стал перед Курымушкой собор, и тут на соборной улице, в доме, похожем на сундук, у матери прямо же и начался разговор о Курымушке с тетушкой Калисой Никаноровной.

— Необходимо свидетельство о говений, — говорила тетушка Калиса Никаноровна. — Неужели он у тебя еще не говел?

— Не говел. Какие у него грехи, вот еще глупости!

— Ну, да, конечно, ты — ли-бе-рал-ка, а все-таки без свидетельства в гимназию не примут. Веди сегодня ко всеобщей, сговоришься с попом: он как-нибудь завтра его исповедует.

Какая-то не то музыка, не то работа большой молотилки чудилаась теперь Курымушке, но совершенно не так, как в деревне: там гудит на гумне молотилка, а в саду сами по себе птицы поют, — тут все и ездят, и ходят, и говорят под эту музыку. Не успел о чем-нибудь подумать, как это прошло, и под музыку началось думанье о совершенно другом; в голове стало тоже все быстро крутиться, как в молотилке. Даже и в соборе это не успокоилось, напротив, тут уже совсем разбежались глаза — столько людей! И между ними дорога малиновая уходит к золотым воротам, слышится оттуда ангельское пенье, и батюшка в золотой ризе копается над чем-то. Чудесно! Хотел Курымушка о чем-то спросить мать, оглянулся, а ее нет как нет! Спросил господина, тот улыбнулся и ничего не сказал. Другой

показал на малиновую дорогу, и Курымушка по дороге этой идет вперед, всех спрашивает: «Где моя мама?» Ничего не отвечают, а только улыбаются, а он все дальше и дальше идет по малиновой дороге, и страх, похожий на прежний детский в лесу, одолевает его: он один среди этой толпы, где никто не знает ни его, ни его маму. Вот эта малиновая дорога ступеньками поднимается к золотым воротам, туда, конечно, надо идти, узнать у батюшки, тот все должен знать. Со всех сторон, слышит, кричат: «Куда, куда, вернись, стой!» — но это ему только ходу поддает, он почти бежит к батюшке для защиты от страшной толпы. И когда он прошел в царские врата, — «ах!» кто-то сзади. Кто-то фыркнул, батюшка обернулся, спросил:

— Тебе что, мальчик?

— Маму потерял, — ответил Курымушка.

И только он сказал, мамин голос зовет: «Иди, иди сюда скорей, я тут!» Хотел броситься назад, но батюшка ухватил его сзади за пискун-волос, потом за руку, ведет его куда-то, ставит перед иконой на колени, велит строго положить двенадцать поклонов. «Господи, милостив буди мне, грешному», шепчет Курымушка свою любимую молитву. Через какие-то боковые двери батюшка ведет его, и тут ожидает мать.

— Что же он у вас, неужели в церкви никогда не бывал? — спросил батюшка.

— Мы в деревне живем, — конфузливо ответила мать, — в городе никогда не бывал.

— Ну, ничего, — заметив смущение матери, сказал батюшка, — всему свое время, а признак хороший — через царские врата прошел, он еще у вас архиереем будет.

— Архиерей, архиерей! — засмеялись на клиросе певчие. И пока шли до самого своего места, везде смеялись и шептали:

— Архиерей, архиерей!

На другой день Курымушка был опять в соборе, но все было тут по-другому: ни малиновой дороги, ни огней, ни толпы, и только черные старушки в мантильках с гарусом впились кое-где глазами и сердцем в иконы. Курымушка стал, подражая старушкам, так же впиваться в иконы, а мать ему тихо шептала, что на исповеди все нужно открыть: все грехи, все тайны. Вот думать про это стало почти непереносимо, — разве можно так вдруг все и открыть, а если что-нибудь забудешь?

— А если забудешь, — спросил он, — господь покарает?

— Забудешь, ничего, — ответила мать, — а будешь помнить, да утаишь, то покарает.

Но легче не стало от этого: «захотеть», — казалось ему, — можно все вспомнить, а можно не захотеть и будто все забыл; как же тогда быть, — за это покарает господь, что захотел или не захотел?

— Надо полное раскаянье, — сказала мама.

— С чего же начать?

— Батюшка сам тебя спросит, и ты ему отвечай на все: «Грешен, батюшка».

Вот это очень хорошо, это твердо запомнил Курымушка и спросил последнее:

— Если я не грешен и скажу «грешен, батюшка», за это покарает господь?

— Нет, это ничего, мы во всем немножко грешники. Тогда из боковой двери вышел батюшка в черном, кивнул головой, мать сказала сначала: «Иди», — а потом: «Стой, подожди, вот возьми двугривенный и отдай батюшке за исповедь».

Так было с этим «грешен, батюшка» все хорошо наладилось, и вдруг этот несчастный двугривенный все дело испортил, явилась дума: «Когда отдать его и как отдать, а главное, если надо говорить «грешен» и открываться во всем, то как в то же время держать в зажатой руке двугривенный и думать, как его отдать?»

— Веруешь в бога? — спросил батюшка.

— Грешен! — ответил Курымушка. Священник будто смешался и повторил:

— В бога отца, сына и святого духа?

— Грешен, батюшка! Священник улыбнулся:

— Неужели ты сомневаешься в существовании божием?

— Грешен, — сказал Курымушка и, все думая о двугривенном, почти со страстью повторил: — Грешен, батюшка, грешен.

Еще раз улыбнулся священник и спросил, слушается ли он родителей.

— Грешен, батюшка, грешен!

Вдруг батюшка весь как-то просветлел, будто окончил великой тяжести дело, покрыл Курымушке голову, стал читать какую-то молитву, и так выходило из этой молитвы, что, слава тебе, господи, все благополучно, хорошо, можно еще пожить на белом свете и опять согрешить, а господь опять простит.

Главное же Курымушке стало хорошо оттого, что двугривенный можно теперь и не отдавать: вывел он это, верно, из того, что раз всякая тяжесть с души снималась, то и двугривенный тоже. Он поцеловал крест и спокойно опустил двугривенный в карман. С сияющей улыбкой ожидала его мать,

встретила, будто давно с ним рассталась, спросила:

— Ну, как, все свои тайны открыл?

— И открывать-то нечего было, — победно ответил Курымушка, — он их и так все простил, он добрый.

— И ты отдал двугривенный?

— Нет, не отдал, это не нужно.

— Не взял?

— Я не давал. Это не нужно оказалось; молитва такая есть — все прощается.

— Как не нужно? Иди сейчас, отдай и покайся.

— Не пойду!

— Как ты смеешь! Так завтра нельзя причащаться, ты деньги притаил, это грех, пойдем вместе, пойдем!

Больно было, что мать не понимала, как прощен был двугривенный, и вот это всегда самое плохое на свете: «Я не виноват, а выходит, виноват, и никак нельзя этого никому объяснить, даже мать не понимает». Курымушка заплакал, мать приняла это за каприз, тащила его за рукав, громко шептала у алтаря, вызывая: «Батюшка, батюшка!» Он вышел. Мать объяснила ему грех Курымушки: не отдал деньги и теперь вот плачет.

— Ничего, ничего, бог простит, — ответил батюшка, поглаживая его по голове, — и смотрите еще — он у вас архиереем будет.

На другой день после причастия было получено свидетельство о говений, мать спешила в деревню к посеву озими. Из окна своей комнаты у доброй немки Вильгельмины Шмоль Курымушка видел, как гнедой Сокол долго поднимал мать на Чернослободскую гору и у кладбищенской березовой рощи, где выходит непременно старичок с колокольчиком, мать скрылась. Березки кладбищенской рощи уже стали желтеть, и это как-то сошлось с желтой холодной вечерней зарей, и желтая заря сошлась с желтобокой холодной антоновкой в крепкой росе; все свое, деревенское, встало неизъяснимо прекрасным и утраченным навсегда. Особенно больно было какое-то предчувствие, что мать никогда уже не вернется такой, как была. Это схватило, сжало всю душу мальчика, он положил голову на подоконник, зарыдал и так все плакал и плакал, пока не уснул под уговоры доброй Вильгельмины.

КОРОВЬЯ СМЕРТЬ

Бывает, на берегу лежит лодочка, к ней уже и чайки привыкли, садятся

рыбу клевать; странник лег отдохнуть, но вот подошла волна, схватила и понесла куда-то лодочку с человеком, только человек тот ни при чем: нет у него ни весел, ни руля, ни паруса. Так вот и Курымушку волна подхватила и выбросила на самую заднюю скамейку. Тут сел он рядом с второгодником, по прозвищу Ахилл. Гигант второгодник был всем хорош, слабость его была только одна: несчастная любовь к Вере Соколовой. Ахилл сразу все рассказал Курымушке про учителей.

— Директора, — сказал он, — ты не бойся — он справедливый латыш! Был бы ранец на плечах, все пуговицы пришиты, не любит, если сморкаешься на себя и носишь на куртке сморчок, разное такое — к этому привыкнешь. Инспектор тоже не страшен, — он любит читать смешные рассказы Гоголя и сам первый смеется; угодить ему просто: нужно громче всех смеяться. Когда он читает, то хохот идет в классе, как в обезьяньем лесу, за это и прозвали его Обезьян. Есть еще надзиратель Заяц, сам всего до смерти боится, но ябедничает, доносит, нашептывает; с ним надо поосторожнее. Козел, учитель географии, считается и учителями за сумасшедшего; тому — что на ум взбредет, и с ним все от счастья. Страшней всех учитель математики Коровья Смерть; тот как первый раз если поставил единицу, так с единицей и пойдешь на весь год. Твоя фамилия очень плохая — начинается с буквы А, первый всегда будешь попадать, тебе нужно хорошо выучить первый урок, а то сразу под Коровью Смерть попадешь, и тут тебе крышка.

— Почему же он называется Коровьей Смертью? — спросил Курымушка.

— Вот почему: ежели он тебе единицу вначале поставил и ты с этой единицей пошел на весь год, то ты уже больше не ученик, а корова.

— Ты сам — корова?

— Был прошлый год коровой, тут все назади были коровами, но я надеюсь в этом году попасть в ученики. Ты это сам поймешь сразу. Вот он идет.

Коровья Смерть, рыхлый и серый лицом, вошел с костылем, сел на кафедру и ногу положил отдельно на стул: в ноге, сказали, у него подагра. Все вынули синие тетрадки и стали под его диктовку писать весь час правила.

— Это вызубри, — учил Ахилл, — назубок, тебя завтра первого спросит. Смотри не подведи, а то с тебя рассердится и пойдет — много лишних коров наделает.

«Не подвести бы класс!» — опасливо думал Курымушка дома, приступая к зубрежке. В слове «класс» ему сразу далось что-то очень

хорошее, за что нужно стоять и боже сохрани подвести. А что учителя — враги классу, то это само собой понятно: зубрить Курымушка начал возле того самого окошка, откуда виднелась кладбищенская березовая роща, за которой далеко в полях был рай. Так ему теперь представлялся их дом в саду. Очень было трудно зубрить, думая о желтобокой антоновке, но он честно вызубрил, а утром повторил, и когда в гимназию шел, все твердил: «Сложение есть действие...»

— Хорошо вызубрил? — спросил Ахилл.

— Хорошо.

— Ну-ка!

— Сложение есть действие... И стал.

— ...посредством которого... — подсказал Ахилл.

— Да, да... посредством которого...

— Стой, идет!

— Идет, идет, идет! — прошумело в классе и стихло, как перед грозой.

Далеко слышался в коридоре стук костылем. Коровья Смерть приближался, в классе все мертвело и мертвело. А когда Смерть вошел и сел на кафедру, Курымушке все стало бледно вокруг и слабо в себе. Немо прозвучало какое-то ужасное слово, невозможно было его принять на себя, а все-таки слово это было: Алпатов.

— Тебя, тебя! — шептали вокруг.

— Алпатов здесь?

— Здесь, здесь! — крикнули за Курымушку и толкали его вперед между партами, дальше еще толкнули, и так дошло до самой кафедры, и все шло как с самого начала: без весел, без руля, без паруса волны несли куда-то Курымушку.

— Дай тетрадь! Курымушка подал.

— Что есть сложение?

— Сложение есть действие... Запнулся.

Везде в классе, как тетерева в лесу, шипели и бормотали:

— ...посредством которого, посредством которого...

— Молчать! — крикнул Коровья Смерть. Курымушка погрузился куда-то в глубокую бездну и уходил туда все глубже и глубже.

— Долго ли ты будешь молчать?

Жужжала муха осенняя, летала по классу, будто над ухом молотилка гудела, и стучалась в стекло, как топором: бух! бух! Тут было как на стойке по зрячей дичи.

Есть такие шальные лягаши: видит, у самого носа его птица сидит в траве, и стоит, не тронет, только глаза огнем горят и где-нибудь у задней

ноги еле заметно шерсть дрожит и дрожит, так стоять бы ему до смерти, но птица шевельнулась... и — вот зачем левая передняя нога на стойке у лягаша подогнута, — эта левая нога теперь метнулась, как молния, и полетел шальной пес с брехом по болоту за дичью.

Курымушка тоже, как птица, шевельнулся и посмотрел искоса на учителя: у-у-у! — что там он увидел: у-у-у, какая страсть! Коровья Смерть, чуть-чуть покачивая головой сверху вниз, выражая такое презрение, такую ненависть, будто это не человек стоял перед ним, а сама его подагра вышла из ноги и вот такой оказалась — в синем мундирчике, красная, потная, виноватая. Курымушка скорей отвел глаза, но было уже поздно — раз птица шевельнулась, стойка мгновенно кончается. Коровья Смерть спросил:

— Отец есть?

— Нет отца, — ответил тихо Курымушка.

— Мать есть?

— Есть!

— Несчастливая мать!

Надорвал синюю тетрадку до половины, сказал:

— Стань в угол коровой.

Вот если бы теперь, в этот миг, Коровья Смерть не грозил каждому в классе, с какой бы беспощадной жестокостью все крикнули бы Курымушке: «Корова, корова!» — но уже и другой стоит, потупив глаза.

— Отец есть?

— Есть.

— Несчастный отец. Стань в угол коровой. Третий потупился.

— Мать есть?

— Есть.

— Несчастливая мать. Стань в угол коровой.

Вторая корова, третья, четвертая, и Ахилл тут с разорванной тетрадкой на второй год в коровы попал.

«Раз это так водится, — подумал Курымушка, — то с этим ничего не поделаешь, я тут не виноват, так и маме скажу: не виноват, и, конечно, она это поймет».

— Теперь, брат Алпатов, — сказал после урока Ахилл, — можешь не учить правила совсем; выучишь, не выучишь — на весь год пойдет единица: ты теперь — корова.

И правда: на другой день у Курымушки было опять то же, очень коротко и легко, на третий, на четвертый; в субботу выдали «кондуит», и единицы в нем стояли, как ружья.

С легким сердцем возвращался домой Курымушка, решив твердо, что он не виноват: только эта легкость была совершенно особенная, не прежняя птичья, а вот как полетчик в цирке на канате: можно и оборваться. Но и это все прошло. Как только он увидел на дворе Сокола, все забыл и бросился на лестницу наверх и на ходу уже чуял носом: яблоки, яблоки, яблоки. Мать тоже услышала его и тоже бросилась к лестнице, тут они и встретились и слились, как два светлых луча.

Только скоро набежала туча на солнышко.

— Как твои дела? — спросила мать.

— Ничего, — ответил Курымушка, — дела как дела. — Кондуит отдали?

— Отдали.

— Покажи!

Тучка растет, растет, и вот они, единицы, как ружья, стоят.

— Что же это такое?

— Я не виноват, — сказал Курымушка, — учителя несправедливые.

Мать заплакала. Курымушка бросился к ней и вместе заплакал.

— Мама, милая, ты не на меня это... не на меня... это они несправедливые, я не виноват.

И этого она понять не могла. Как она не могла этого понять! Ее лицо говорило: «Может быть, это правда, — ты не виноват, но мне-то что! Мне нужно, чтобы у тебя выходило».

Сразу она стала будто чужая, так и уехала будто чужая. Сухими глазами провожал ее из окна Курымушка на Черно-слободскую гору, предчувствие тогда не обмануло его, маму он теперь совсем потерял.

Грустно качала головой добрая Вильгельмина.

КОЗЕЛ

В актовом зале, где каждый день в без четверти девять вся гимназия, от пригостишек до восьмиклассников, выстраивалась на молитву амфитеатром, большое огорчение Зайцу доставляло параллельное отделение первого класса: великаны этого класса каким-то островом торчали среди всей мелюзги первых рядов, и на острове этом Рюриков был еще головой выше всех. Случилось, кто-то при постройке колонны задел этого Рюрика, тот ударил ответно и нечаянно сильно задел Курымушку. В этот самый момент проходила колонна восьмиклассников, и Курымушке при них особенно стыдно показалось спустить Рюрику свою горячую

затрещину. Маленький Курымушка разбежался и со всего маху ударил Рюрика в ноги; тот хлопнулся плашмя — лицом в пол, а Курымушка сел на него верхом и лупил по щекам: вот тебе, вот тебе!..

— Молодец, свалил Голиафа! — одобрил весь восьмой класс.

В это время звякнул камертон инспектора и запели: «Царю небесный...»

— «...иже везде сый!» — подхватил Курымушка, стараясь как бы спрятаться от инспектора громким пением.

Но это было напрасно. Как только певчие дотянули: «...твое сохраняя крестом твоим жительство», — Обезьян обернулся и сказал:

— Рюриков и Алпатов за драку на молитве отправляются в карцер, — там они могут драться весь день.

Сказав это, Обезьян сам первый засмеялся, а за ним, доставляя ему удовольствие, засмеялась и вся гимназия, и у Зайца по всему лицу пошли мелкие бороздки, будто лицо его было полем, по которому неумелой рукой пахарь накривил бог знает сколько борозд и огрехов.

Карцер был просто пустой класс. Рюрик и Курымушка сначала сели, как враги, в разные концы. Однако молчание в пустом классе было непереносимо.

— Ты за что меня ударил? — спросил Курымушка.

— Я нечаянно, — ответил Рюрик. — А ты меня за что?

— За то, что ты меня нечаянно.

— Ну, давай мириться.

— Давай!

Враги помирились и сели рядом.

— Ну-ка, посмотри эту штуку, — сказал Рюрик.

И вынул из кармана настоящий шестизарядный револьвер. Мало того, он сказал, что отец его — офицер и дома у них еще есть три револьвера, четыре охотничьих ружья, три сабли.

Из того же кармана, где был револьвер, Рюрик вынул жареную навагу, очень пострадавшую от падения. Пощелкали револьвером, закусили навагой. Курымушка, достав из ранца любимую свою книгу «Всадник без головы», спросил:

— Не читал?

— Нет, не читал.

— Ну, брат, что теперь с тобой будет! И зачитал ему.

Прошел и час и два. Читали напеременку, и так, будто сами там, в Америке, все и переживали, без отрыву на все пять часов, не слышали звонков, не заметили, как Заяц ключ повернул в двери: им хоть бы и совсем

не выпускали, хоть бы так и всегда жить.

— Знаешь что, — сказал на улице Рюрик, — давай-ка завтра на молитве опять подеремся.

— Рано, — ответил Курымушка, — дня два поучимся, а то выгонят.

— Нас с тобой все равно выгонят.

— Ну?! — удивился Курымушка.

Эта мысль ему еще не приходила в голову, и он про себя решил этим заняться, но сейчас из осторожности сказал:

— Все-таки, брат, лучше денька два погодим.

Дома он засел учить географию. Задано было нарисовать границы Америки. И вот когда он рисовал по атласу и заучивал названия, вдруг такие же названия пришли ему из «Всадника без головы», и стало представляться, будто он продолжает путешествовать с Майн-Ридом.

Долго он провозился над этим приятным занятием и сам даже не знал, выучил он урок или не выучил.

На другой день, как всегда, очень странный, пришел в класс Козел; весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые и острые, зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица. Курымушкина парта как раз приходилась на линии этой дрожащей половицы, и очень ему было неприятно всегда вместе с Козлом дрожать весь час.

— Почему он Козел? — спросил Курымушка. Ахилл ответил:

— Сам видишь почему: козел.

— А географию он, должно быть, знает?

— Ну, еще бы! Это самый ученый: у него есть своя книга.

— Про Америку?

— Нет, какая-то о понимании, и так, что никто не понимает и, говорят он сумасшедший.

— Правда, какой-то чудной. А что не понимают, мне это нравится, милый Саша, — ты этого не замечал, как тебе иногда хочется сказать что-нибудь и знаешь, ни за что тебя никто не поймет; вот бы хорошо иметь такую книгу для понимания.

Ахилл на это ничего не сказал, верно ему не приходилось страдать болезнью непонимания, а Козел обвел своими зелеными глазками класс пронзительно, и как раз встретился с глазами Курымушки. Так у него всегда выходило, — встретится глазами и тут же непременно вызовет.

Ни имен, ни фамилий он не помнил; ткнет пальцем на глазок, и

выходи.

Курымушка вышел к доске.

— Нарисовал карту? — спросил Козел.

— Сейчас нарисую, — ответил Курымушка.

Взял мел и в один миг на доске изобразил обе Америки. Козел очень удивился. А Курымушка отчего-то стал смел — у него из головы не выходило: «Все равно выгонят». И он это не серьезно, а из озорства стал рассказывать про Америку какую-то смесь Майн-Рида и учебника.

Козел удивлялся все больше и больше, и глаз его стал такой, будто видит свое, а ухо, может быть, и не слышит. Курымушке отчего-то страшно даже стало, он остановился, покраснел.

— Ну, ну! — сказал Козел. Курымушка молчал.

— Ты, брат, молодец.

А Курымушка сильнее покраснел и рассердился на это.

— Знаешь, — продолжал Козел, — из тебя что-то выйдет. Тут и случилось с Курымушкой его обыкновенное: вдруг самая ходячая фраза явится ему в своем первом смысле, а то обычное значение куда-то скроется.

— Как же это из меня выйдет? — спросил он, все гуще и гуще краснея, представляя себе приблизительно, как няня ему говорила, будто у одной барыни в животе развелись лягушки и потом вышли через рот.

— Как же это выйдет? — спросил он, краснея и ширя глаза.

— Через верх, конечно, — ответил Козел, — то каждый день через низ выходит, а то через верх.

«Не вырвет ли?» — про себя подумал Курымушка и хорошо еще — вслух не сказал, а то и так в классе все засмеялись; но Козел, как все, не умел смеяться, у него на лице вместо смеха делалось так, будто он ест что-то очень вкусное, сладкое и облизывается, — это и был его смех.

Козел облизнулся и сказал:

— Вот, вот выйдет из тебя, и будешь знаменитым путешественником. Садись. Очень хорошо.

И поставил пять.

— Ну, и счастливец, — сказал Ахилл, — в тебя, кажется, Козел втюрился.

— Вот, Саша, — сказал Курымушка, — я тебе говорил насчет понимания, как это трудно взять и понять. По-моему, это у него хорошая книга о понимании, и вовсе он не сумасшедший.

— Кому как, — ответил Ахилл. — Тебе вот вышло счастье, тебя он понял, а меня не понимает и все единицы жарит, — одному хорошо, другому плохо, это, брат, тоже непонимание.

ЗАБЫТЫЕ СТРАНЫ

Занимаясь теперь с большим удовольствием и даже наслаждением картой Америки, Курымушка все раздумывал, что это значит — быть знаменитым путешественником. Явилась перед ним какая-то страна еще без имени и без территории; вот там, в этой стране, думал он, и есть настоящая жизнь, а тут у нас жить не стоит, тут — ненастоящее.

Он стал догадываться, где находится такая страна, и вспомнились ему голубые бобры, что они в Азии. Не в Азии ли и эта его страна? По карте он стал искать себе путь в Азию и, пока разыскивал, совершенно уверился, что желанная страна без имени и без территории находится в Азии. Путь туда он установил простой: по реке быстрой Сосне в Дон, из Дона — в Азовское море, в Черное, и потом уже и начнется Малая Азия; большую часть пути можно совершить даже просто на лодке; и хорошо, если к лодке приделать колеса, как у речных пароходов, и вертеть его с кем-нибудь поочередно; оружие можно достать у Рюрика.

Вот это и значит быть знаменитым путешественником.

В эту ночь Курымушка уснул очень поздно, все рисовал берега Азии, обводил лазурью моря Индии и Китая, вырезал из бумаги рельефы гор, окрашивал их коричневой краской. Ему казалось все уже готовым в себе самом, только непременно надо было с кем-нибудь поделиться, и тогда все это будет ясно, как в обыкновенной жизни; только для этого поделиться с кем-нибудь планом надо непременно. И он решил встать и пойти в гимназию как можно пораньше, там сговориться с Рюриком, подраться перед молитвой и в карцере все рассказать. С этим он уснул поздно ночью, и виделась ему одна из золотых березок, такая же, как в кладбищенской роще, но только действительно золотая, и чудесно звенит она своими нежными тонкими лепесточками.

«Не сон ли это?» — думает он во сне и берет за пазуху несколько золотых листиков.

— Auf, auf! Пора в гимназию идти! — услышал он над собой голос доброй Вильгельмины. — Hallo, hallo! — И схватился за пазуху, стал искать там золотые листики, посмотрел на простыню, под подушкой — нигде ничего не было.

— Что ты ищешь, милый мой? — спросила хозяйка,..

— Ах, это было во сне, — догадался он.

И потом со страхом подумал, не во сне ли была ему и та удивительная страна без имени и территории.

— Nun, nun, и карту нарисовал. Вот это мастер. Wunderschon! — сказала немка, и Курымушка очень обрадовался: неизвестная страна не была сновидением. Одно было плохо, что проспал. Он попал в гимназию, когда уже пели «...сокровище благих и жизни подателю», невозможно было без предупреждения подраться с Рюриком и попасть в карцер. Тогда мелькнул ему другой план: взять и вызваться на уроке географии, а потом вместо Америки показать карту Азии, рассказать путь туда, и если Козел одобрит — значит, верно, а после, на большой перемене, можно и с Рюриком подраться, и в карцер попасть. Для первой пробы он показал свою карту в классе, там сразу все задивились и, когда Козел пришел, стали ему показывать: им хотелось оттянуть время и заговорить его.

— Почему ты себе выбрал Азию, а не Америку? — спросил очень удивленный картой учитель.

— Америка открыта, — ответил Курымушка, — а в Азии, мне кажется, много неоткрытого. Правда это?

— Нет, в Азии все открыто, — сказал Козел, — но там много забыто, и это надо вновь открывать.

Тогда Курымушка про себя стал вспоминать, когда это он видал сон про забытые страны, и так это его обрадовало, что исполняется наяву.

— Нельзя ли начать открывать забытые страны с Малой Азии? — робко спросил Курымушка.

— Можно, только почему же именно с Малой Азии?

— Потому что туда легче всего проехать по реке быстрой Сосне в тихий Дон, в Черное море, и там прямо и будет Малая Азия.

— Отлично, можно начать с Палестины и, как делали рыцари, поклониться сначала там гробу господню.

Козел увлекся, забылся и стал рассказывать о тайнах Азии, что там находится колыбель человеческого рода, исторические ворота, через которые проходили все народы. Неузнаваем был Козел, и так выходило из его рассказов, что гроб господень и есть как бы могила человечества, а колыбель его где-то в глубине Азии, что все это забыто и нужно все вновь открывать.

— Вот вам пример, — сказал он в похвалу Курымушке, — как нужно учить географию. Вы занимайтесь, как он, вообразите себе, будто путешествуете, вам все ново вокруг в неизвестной стране, вы открываете, и будет всегда интересно.

«А почему бы и не поехать?» — чуть-чуть не сорвалось с языка у Курымушки, едва-едва он успел удержаться и прикусил язык.

— Садись, — сказал Козел, — я тебе еще пятерку поставлю, очень уж

ты хорошо занимаешься.

— Ну, и счастливец, — приветствовал его на задней скамейке Ахилл.

Не знал только Ахилл, чем был счастлив Курымушка, так был счастлив, что больно становилось, и так непременно нужно было, чтобы и Ахилл был счастлив.

— Почему ты не хочешь быть счастливым? — спросил он.

— Не могу.

— Почему ты не можешь? Откройся мне, милый Саша, скажи, ну...

— Ну, я скажу: она меня не любит.

— Вера Соколова?

— Она!

— Ну, вот что я тебе посоветую, если она тебя не любит, тебе нужно уехать в другую страну. Поедем с тобою в Азию открывать забытые страны.

— Я бы поехал. Но как же уедешь?

— А вот подумаем.

На большой перемене Алпатов, Ахилл и Рюрик сговорились, спрятались в шинелях под вешалками против учительской и, выждав, когда Заяц с Обезьяном по звонку вышли оттуда, бросились и вцепились друг другу в волосы. Конечно, инспектор с надзирателем не могли догадаться, что так начинается экспедиция в забытые страны, и прямо же всех троих заперли в карцер.

Счастливо все шло необыкновенно; было так удивительно Курымушке, что Рюрик и Ахилл сразу все поняли. Как только он сказал про экспедицию в Азию через Иерусалим в забытые страны за голубыми бобрами, Рюрик ответил коротко:

— Это можно. Ахилл еще короче:

— Ну, что ж.

Курымушка даже опешил и спросил:

— А как же оружие, лодка, съестные припасы?

— Оружие, — ответил Рюрик, — у меня есть на всех троих: три ружья, три сабли, три револьвера, у отца я стащу золотые часы, — на это дело не грех и стащить, — сегодня же я их продам, куплю лодку, припасы.

— Только надо делать как можно скорее, — сказал Курымушка, — чтоб успеть до замерзания рек пробраться к южные теплые моря.

— Завтра поедем! — сказал Ахилл. Рюрик остановил:

— Не успеем завтра. Послезавтра.

— Я напишу прощальные стихи, — сказал Ахилл.

— Я составлю подробный план путешествия, — вызвался Курымушка.

— Тогда за работу немедленно, — распорядился Рюрик. — Ты, Алпатов, черти план, ты, Ахилл, пиши стихи, я буду считать, что взять с собой, послезавтра едем.

КУМ

Как чудесно бывает, пока что-то заманивает в свою судьбу перейти, в то святое святых, где я сам с собой и, шачит, весь мир со мной. Но сколько людей останавливаются в страхе у порога своей судьбы, у росстани, где все три пути заказаны. Тут, у росстани, впереди хоть и остается приманка, а уже дает себя знать за спиною котомка своей судьбы. Это сразу почувствовал Курымушка, едва только состоялось неизменное решение ехать открывать забытые страны. Началисьзаботы, и открылся чей-то голос, неизменно день и ночь в глубине души повторяющий: «Не надо, не надо, нельзя, так не бывает, этого никто не делает».

Так одному, а другой, как Сережа Астахов, со своими прекрасными бархатными глазами в длинных черных ресницах, ждет и мечтает, что своя судьба тихим гостем придет и ласково, как невесту, поведет его к своему алтарю. Вот тоже и Сережа Астахов, — чем не путешественник в забытые страны? Он знает время прилета и отлета каждой птички, знает, куда они, прилетев, деваются, как живут, где можно разыскать их гнездышко; облюбывал себе в полях и лесах все цветки и хворостинки, ему ли не ехать! А вот и в голову никому не пришло предложить ему путешествие, и, напротив, избрали его хранителем тайн: он передаст письмо Вере Соколовой, он обойдет дома путешественников и скажет хозяевам, что их заперли в карцер на двадцать четыре часа, чтобы о них не тревожились. Стоило бы Сереже сказать: «Я с вами», — и он тоже бы поехал в Азию за голубыми бобрами. Но Сережа проплакал всю ночь и сказать не решился и так по своей застенчивости пропустил случай еще в детстве заглянуть в лицо своей судьбы. В назначенный час, перед уроками, Сережа спустился к реке, перешел деревянный, на бочках лежащий мост, от него завернул по берегу влево и тут увидел, как путешественники уже сдвигали с берега лодку. Какой-то мещанин в синей поддевке любопытствовал, куда едут ребята на лодке.

— В деревню на мельницу.

— Кто же у вас там на мельнице?

— Тетушка Арина Родионовна.

— Не слышал. Есть Капитолина Ивановна, а Родионовны там не слышал.

— Мало ли ты чего не слышал, отстань, не до тебя! Синий отошел к мосту, перешел на ту сторону и по ступенькам стал взбираться, все оглядываясь, на кручу высокого берега, где стоял-красовался собор. Тут на известной скамеечке, где всегда вечером кто-нибудь сидит и любуется далью, сел теперь в утренний час Синий. Он видел отсюда, как путешественники расцеловались с Сережей, сняли шинели, как блеснули на солнце вынутые из-под шинелей стволы ружей, как серебряное весло стало кудрявить тихую гладь воды, как Сережа тоже поднялся сюда, на лавочку, проводил путешественников глазами до поворота реки, где лодка скрылась, всплакнул и пошел. Синий сзади пошел за Сережей.

Возле женской гимназии Сережа умерил шаг и стал прохаживаться взад и вперед. Синий тоже стал прохаживаться по другой стороне улицы. Начали с разных концов показываться маленькие и большие гимназистки. Сережа каждую оглядывал, наконец, увидев одну, похожую на молодую козочку, подошел к ней, передал письмо и направился в мужскую гимназию. За ним вплотную сзади шел Синий. Сережа вошел в калитку гимназии, и только Синий за ним туда ногу поставил, вдруг с той стороны другой Синий закричал:

— Иван Парамонов! Первый Синий обернулся.

— Бежи скорей, свиней резать начали.

Оба Синие сошлись на середине улицы и во весь дух пустились бежать в ту сторону, где начали резать свиней.

Только уже когда в городе появились объявления о трех сбежавших гимназистах, Синий явился в гимназию и дал свои показания. Прикатил в гимназию на шарабане становой Крупкин, за ним следовала телега с двумя полицейскими. Хорош и могуч был в гимназии знаменитый истребитель конокрадов, багрово-синий и весь наспиртованный. Гимназисты всех классов видели, как Заяц и Обезьян в своих синих вицмундирах вертелись около громадного грузного человека, будто они были бумажные, долго ему что-то рассказывали и просили ни в коем случае не применять оружия.

Услыхав про оружие от бумажных людей, становой сказал:

— Едрёна муха!

И, не обращая больше на них никакого внимания, вышел из гимназии, сел в тележку и покатыл. За ним покатылась телега с полицейскими.

— В Азию поехали! — сказали гимназисты.

От Веры Соколовой уже в двух гимназиях было известно и шепотом передавалось из уст в уста, что поехали именно в Азию.

— Как бы не вернули в гимназию?

— Ну, уж, брат, нет, — вспыхнул какой-то горячий гимназист, — теперь уж их не догонят.

Мало того гимназисты — синие прасолы сошлись опять, обсуждали дело серьезно.

— Конечно, — говорил один, — Крупкин ловкач, да ведь мальчишки тоже отчаянные.

— Опять, у них вода, — говорил другой, — река быстрая и сама несет лодку, а ему нужно погонять и погонять.

Весь город ожил. Спроси вперед у любого, каждый бы рассмеялся над путешествием в Азию, ну а как уже уехали, так стало казаться, что хорошо, и отчего бы им и не доехать до Азии. Все спавшие на ноги стали и с радостью передавали друг другу: три бесстрашных гимназиста уехали от проклятой латыни в Азию открывать забытые страны.

Как раз в эти золотые, светлые сентябрьские дни на воле, о которой пишут и мечтают на лавочках, глядя в синюю даль, на этой настоящей воле был осенний перелет птиц с севера на юг над реками быстрой Сосной и тихим Доном, через теплые моря, на берега Малой Азии. Курлыкали журавли и, расстраивая свои треугольники, спускались отдыхать на низком берегу Сосны. Гуси строгими кораблями торжественно летели, отрывисто переговариваясь; они ночевали вместе с утками на воде, выставляя на своем берегу сторожей.

Лебеди совсем не отдыхали и летели так высоко, что только по серебру их грудей в чистом воздухе и по каким-то гармоническим, особенным ладам можно было догадаться о них. Белые рыболовы, чайки разных пород, еще не трогались и вились на своих гнутых крыльях у самой воды.

Этого наш Курымушка еще никогда не видал и не мог видеть, это можно почувствовать всей душой, только если сам сжег за собой корабли и сам вступил в этот птичий путь, исполненный всякого риска, всяких опасностей. Тогда уже знаешь наверное, что и они там в воздухе не просто кричат, а так же как мы, разговаривают. Хорошо было, что Рюрик с пяти лет бывал на охоте со своим отцом, все это знал и умел все объяснить, скажет: «Лебедь!» — и Курымушка на всю жизнь от одного слова знает, как летят лебеди и что это значит; скажет: «Гуси!» — и вот что-то очень серьезное, строгое залегает в душу от гусяного полета. Какие-то маленькие пичужки, серебрясь, попискивая, штук сорок зараз, как стая стрел просвистят; подумать только: завтра они перехватят Черное море! Хорошо на минутку выйти из лодки, выглянуть из-под кручи берега в поле и хоть не подкрасться, — где тут подкрасться в открытом, безлесном поле, — а

просто посмотреть, как без людей хозяевами в полях ходят на длинных ногах журавли. Раз так видели дроф и даже пустили в них пулю из штуцера; столбом взвилась пыль от удара пули о землю, дрофы разбежались, тяжело полетели, встретились в воздухе с цаплями, не понравилось вместе, и разлетелись в разные стороны: цапли к реке, дрофы в степь. Страшно было в первый раз выстрелить из настоящего ружья, но виду Курымушка не подал, туго прижал ложе к плечу, выстрелил, но промахнулся. В другой раз Рюрик ему крикнул вовремя: «Мушку, мушку!» Он мушку навел, и летящая чайка упала; ее с радостью присоединили к мясному запасу в корме. И так весь день прошел, и куда это лучше было, чем самые мечты о забытой стране: это Курымушке надолго осталось, что мысль про себя не обман, как все говорят, а вестник прекрасного мира, и что этот мир существует.

Под вечер странно стали смыкаться впереди берега, кажется кончилась река, вот-вот лодка в берег уткнется, а смотришь — опять берега широко расступаются, проехали, и опять смыкаются, будто хотят лодку взять в плен. Позднее все стало как будто ловить лодку: тростники, кусты, деревья, но она все шла и шла по течению, и только это казалось, будто лодка стоит и вокруг все идет к ее окружает.

В темноте ночью, еще больше, чем днем, несметною силой шел перелет: прямо над самыми головами со свистом проносились чирки, кулики разных пород, тяжело шли кряквы и часто шлепались в воду на отдых. Дикая гуси возле самой лодки иногда спускались всем кораблем, кричали, хлопали крыльями так близко, что брызги летели в лицо. Как хорошо было все это слушать, притаив дыхание, в надежде, что глаз каким-нибудь чудом в темноте рассмотрит и можно будет пальнуть из ружья.

Но холод осенней ночи пробирал все больше и больше, и особенно плохо было ногам в сырой, чуть-чуть подтекающей лодке. Попробовали саблями нарубить тростнику, сложили его на дно лодки, легли, но сырость и холод мешали. Если бы на берегу костер развести! Но условились в первую ночь не разводить огня и не выходить на берег, догадываясь, что Крупкин будет ловить, и так он по огню сцапает, что и за ружье не успеешь схватиться, это нельзя. И что это: сон, бред или явь? Слышно Курымушке самому себя, как сопит, и как зубы вдруг будто сорвутся и начнут сами так яро стучать друг о друга, а на берегу все время без перерыва где-то по самому близкому соседству дикие утки между собой переговариваются, и — что делает этот полусон! — понятен бывает их разговор. Одна говорит: «Пересядь сюда, нам будет потеплее», — другая: «Убирайся с моего места, я тебя не просила, вот еще!..» И так у них всю ночь: то кто-нибудь

недоволен, а то вдруг лисицу или хорька почуют, и сразу все заорут так, что и мертвый проснется. Много разных снов ярких видится, что вот хоть рукой ухвати. Так увидел себя Курымушка на теплой чистой постели, и голова его лежит на пуховой подушке в белой наволочке; вот это настоящее было видение и открытие, — никогда в жизни ему не казалось, что так хороша может быть обыкновенная подушка, какая бывает у всех, на каких теперь все, все люди спят в городах и в деревнях, в богатых домах и в бедных.

Ужасный утиный крик перебил его сон. Он проснулся, понял, где он, но подушка так и осталась неотступным видением. В эту самую минуту слышит он у самого своего уха шепот Ахилла:

— Отпустите меня!

«Куда?» — хотел спросить Курымушка, но вместо звука вылетел с яростью треск зубов, челюсть о челюсть.

— И у тебя зубы трещат, — сказал Ахилл. — Ты их рукой придерживай, как я.

Курымушка попробовал, и, правда, вышли слова:

— Куда тебя отпустить?

— Я по бережку тихонько пойду, согреюсь как-нибудь и дойду.

— Куда ты дойдешь?

— Домой.

— До-мой! Ах, ты...

Не то было главное обидно, что вернуться задумал, а что мог себе представить, будто это так близко, что вернуться можно. Курымушке было, будто он уже и в Азию приехал.

— Баба, баба! — повторил он со злостью.

— От бабы бежал и к бабе тянет его, — сказал Рюрик.

— Ну, не буду, ребятушки, не буду, — спохватился Ахилл и, отпустив челюсть, затрещал зубами, будто фунтами орехи посыпались.

— Ишь сыпет, ишь сыпет! — засмеялись товарищи.

А Курымушке скоро опять подушка привиделась, и он стал с этим бороться, но только напрасно, — чем больше он ее отвергал, тем ярче она вновь показывалась: небольшая подушка, такая же чудесная, как на подушке чудесной снилась когда-то страна голубых бобров. Но вот между утками и гусями пошли совсем какие-то иные разговоры.

— Ты знаешь, о чем они сейчас говорят? — спросил Рюрик.

— Не знаю, а что-то случилось, и по всему берегу одно и то же.

— Это значит — скоро рассвет.

— А как будто еще темнее стало: звезд не видно.

— Всегда перед самым рассветом темнеет, и звезды скрываются: меркнет. Я много с отцом ночевал на утиных охотах: всегда меркнет.

Правда, скоро стало белеть. Теперь не страшно и костер развести. Вот вспыхнуло на берегу маленькое пламя, на востоке начался огромный пожар, и потом, когда солнце взошло, как добродушно оно встретило это маленькое человеческое пламя, и как вкусен был чай с колбасой, и какая радостная сила от солнца вливалась в жилы: этой силой опять все живое поднималось и летело на юг, в теплый край.

— Гуси, гуси летят!

— А там смотри, что там?

— Тоже гуси.

— А там?

— И там гуси.

— Ложись на землю, готовь ружье, кряквы летят.

— Стреляй!

Одна шлепнулась, другая подумала, споткнулась и тоже упала.

— А ты, дурак, хотел к бабам идти!

— Дурак я, дурак!

На охоте всегда так: нужно одну только удачу вначале, и потом пойдет на весь день, будто каждая новая минута готовит новый подарок. Так прошел этот прекрасный день, и ночь прошла у костра в тепле, на сухом тростнике. И еще одна утиная ночь. В полдень третьего дня путешественники услышали далеко на берегу колокольчики.

— Не становой ли нас догоняет? — спросил Курымушка.

— Очень просто, — ответил Рюрик. — Вот сейчас я это узнаю, он нам кум. Кроме шуток, с отцом ребят крестил, приятель отцу: кум.

Было там на берегу высокое дерево. Рюрик вышел на берег, взобрался на самый верх.

— Ну что, видно?

— Видно, едет шарабан.

— Становой?

— Не знаю, не разберу.

— Скорее же разбирай. Ну?

— Разобрал: становой!

И так он это спокойно сказал, будто в самом деле он своего кума встречает.

— Скорей же слезай!

— Подожди: за ним в телеге два полицейских.

— Слезай же, слезай! Эта за нами!

Но Рюрик слезал не так, как хотелось Курымушке, и Ахилл равнодушно смотрел.

Курымушка вспыхнул от злости, но вдруг ему пришла одна мысль.

— Он нас не поймает, — сказал Курымушка, весь просияв, — слушайте только меня. Вытаскивай живо лодку на берег.

— Как вытаскивать, что ты? Удирать надо.

— Вы-тас-ки-вай!

Послушались, вытащили на берег лодку.

— Перевертывай вверх дном.

Тут все и поняли: под лодкой пересидеть станового. Выбили живо лавочки, нос пришелся как раз в ямку из-под камня, и лодка плотно закрыла путешественников.

Колокольчики все приближались. Вот если бы мимо промчался! Но нет, колокольчики затихли, и голос послышался:

— Едрёна муха! Зачем тут лодка на берегу? Стой-ка, я посмотрю.

Подъехали полицейские.

— Это их лодка! — сказал становой. — Только где же они сами?

— В деревне, ваше благородие, — сказал полицейский, — они там, наверно, заночевали, отдыхают, как-никак, а ночки зябкие.

— Ну, вы поезжайте в деревню, а я вот здесь вас подожду и закушу. Еремей, привяжи коня к дереву, Кузька, подай сюда из шарабана кулек.

Полицейские уехали. Становой вытащил из кулька четверть с водкой, поставил на дно и подумал, удивился: «Ночью дождя не было, а лодка мокрая».

— Вот едрёна муха! — сказал он.

Выпил чайный стакан, закусил, посмотрел следы на траве, как они все выходят от воды и уходят под лодку... И запел почему-то:

Чижик, чижик, где ты был?

На Фонтанке водку пил...

Выпил стаканчик, выпил другой и вдруг заплясал, припевая:

Выпил рюмку, выпил две

Зашумело в голове.

— Молодцы, — сказал он вслух, — взяли себе да и поохотились, самое время: осень, перелет. Вот как найду их, так им дня три еще дам пострелять.

— Слышишь? — шепнул Рюрик Курымушке. — Надо бы сдаваться.

— Да, надо бы, — шепнул и Ахилл.

В ответ Курымушка ткнул в нос сначала одному, потом другому.

— Вот как поймаю, — продолжал становой, — прежде всего им

водочки, ветчинки, чайку с французской булкой, а потом с ними на лодке дня на три зальюсь, будто их все ловил: отпуск себе устрою. А то и неделю промотаемся, надоели мне эти черти — конокрады.

Рюрик тихонечко пальцем тронул Курымушку, а тот ткнул его в бок кулаком.

С каждой минутой все ненавистней и ненавистней становились Курымушке его товарищи: превратить всю экспедицию в охоту, вернуться с позором в гимназию? Нет, если они сдадутся, он один убежит, но так не вернется.

А полицейские катили обратно.

— Вы, умные люди, — сказал становой, — хорошо сделали.

— Точно так, — ответили полицейские.

— И порядочные дураки.

— Точно так, ваше благородие.

— Вот что, умные дураки, постелите-ка все это вон там, на траве, костер разведите, чайник согрейте. Так! Живо! Теперь нужно гостей звать.

— Слушаем.

— Куда же вы пойдете?

— Не можем знать, ваше благородие.

— Ну, так я вам скажу: лодку эту поставьте на воду и поезжайте гостей звать.

— Слушаем! — сказали полицейские и, взяв лодку за край, повернули на бок.

— Чижик, чижик, где ты был? Пожалуйте, гости дорогие.

— А! и кум тут! Ну, давай поцелуемся.

Становой с Рюриком обнялись, но Курымушка, пока они целовались, схватил ружье, отбежал к дереву и стал за него, как за баррикадой.

Ахилл как ослабился, так и остался с такою же глупою рожей стоять.

Не обращая внимания на Курымушку, такого маленького, Кум угостил вином Рюрика и Ахилла и, увидев четырех убитых крякв, так и ахнул:

— Да мы тут сейчас пир на весь мир устроим: ведь они теперь осенью жирные.

И велел четыре ямки копать; в эти ямки прямо в перьях уложили уток, засыпали горячей золой, костер над ними развели.

— А еще бы хорошо осеннего дупеля убить, да его бы во французскую булку сырого, а булку тоже бы в ямку, пока она вся жиром его пропитается. Ну, вот закусим, такая закусочка — едрёна муха, скажу я вам... Ну, вы чего дремлете, ребята здоровые, вам еще по стакану под ветчину, а потом и под утки начнем. Выпили еще по стакану.

— Меня самого из шестого класса выгнали. Эх, было время! Вот было время! «Gaudeamus» знаете?

— Ну, как же! И запели:

Gaudeamus igitur juvenes dum sumus.

[Начальные строки студенческой песни «Гаудеамус»: «Будем радоваться, пока мы молоды» (лат.)]

А Курымушка так и стоял, все стоял за деревом, ожидая на себя нападения; первым выстрелом он думал убить станового, вторым полицейского, затем броситься вперед, схватить второе ружье, другого полицейского взять в плен и на этих лошадях продолжать путешествие.

Так он думал вначале, а кумовство у костра все разгоралось, товарищи его покидали; они, пожалуй, пойдут за Кумом. Знал ли Кум его мысли? Верно, знал: он лежал на полушубке брюхом вниз, пел «Gaudeamus», а сам все смотрел на воду, будто чего-то ждал, потом вдруг крикнул Курымушке:

— Не зевай, не зевай!

А у воды совсем низко, будто катились, летели два чирка и прямо на Курымушку.

— Не зевай! — крикнул Кум. — Так-так-так-вот-вот-вот... стреляй!..

Курымушка выстрелил раз — промахнулся, два — чирок свалился в воду у самого берега. Сразу бросились и Курымушка, и Кум к утке, у Курымушки руки не хватало достать, а Кум дотянулся и, подавая ему утку, сказал:

— Молодец, азиат!

Обнял его вокруг шеи правой рукой и, повторяя: «Молодец, азиат», усадил, его возле костра на полушубок.

— Ну, ребята, — сказал он, — кажется, ужин поспел, давайте-ка под утку, я сам гимназист, да из шестого класса.

Gaudeamus igitur juvenes dum sumus.

Все выпили, Курымушка тоже первый раз хватил, и прямо целый стакан.

— Молодец, азиат! — похвалил становой.

Тогда мало-помалу Курымушке стала показываться та желанная теплая подушка в белой наволочке; еще он сопротивлялся, отталкивал ее, а она все наседала, наседала.

— Нет, нет! — крикнул он.

— Добирай, добирай! — кричал Рюрик. — Мы без тебя сколько выпили, добирай!

Курымушка выпил еще, и подушка, огромная, белая, теплая, сама легла ему под голову. Хор пел:

Наша жизнь коротка,
Все уносит с собой,
Наша юность, друзья,
Пронесется стрелой...
Только под вечер Курымушка проснулся и услышал голос Рюрика:
— Куда же ты, Кум, нас, пьяных, теперь повезешь?
— Ко мне на квартиру, мы там еще под икру дернем — и спать, а
утром вы по домам, и будто сами пришли и раскаялись.

ЛОБАН

Вот если бы знать в свои ранние годы, когда встречаешься с первой волною своей судьбы, что та же волна еще придет, тогда совсем бы иначе с ней расставался, а в том и беда: кажется, навеки ушла и никогда не воротится. Старшие с улыбкой смотрят на детские приключения; им хорошо, они свое пережили, а для самих детей все является, как неповторимое. Долго не мог взять себе в ум Курымушка, почему так издевались над ним в гимназии, как за зверем ходили и твердили: «Поехал в Азию, приехал в гимназию». Разве нет забытых стран на свете, разве плана его не одобрил сам учитель географии, и если была его одна ошибка в выборе товарищей, то ведь от этого не исчезают забытые страны, — их можно открывать иначе. В чем же тут дело? «Уж не дурак ли я?» — подумал он. И стал эту мысль носить в себе как болезнь. Пробовал победить сам себя усердием, стал зубрить уроки, ничего не выходило: Коровья Смерть как заладил единицу, так она и шла безотрывно. Смутная была догадка в душе, что если бы что-то не мешало, то мог бы учиться, как все и даже много лучше. Однажды Коровья Смерть задал такую задачу, что все так и сели над ней, все первые математики были спрошены, никто не мог решить. Вдруг Курымушке показалось, будто он спит-не спит и ему просто видится решение отдельно от себя; попробовал это видимое записать, и как раз выходил ответ. Всю руку поднять он не посмел, а только немножко ладонь выставил, и то она дрожала. Соседи крикнули:

— Алпатов вызывается!
— Ну, выходи, — сказал Коровья Смерть, — опять какую-нибудь глупость сморозишь. Это тебе не Азия!

Курымушка вышел и стал писать мелом на доске по своему видению.

— Как же это так ты? — изумился учитель. — Откуда ты взял это

решение?

— Из головы, — ответил Курымушка очень конфузливо, — мне так показалось. Это неверно?

— Вполне верно. Только ведь как же ты мог?

И, к великому изумлению всего класса, сразу после единицы поставил три, и не простое, а, как воскресение из коровьей смерти, на весь год. После этого случая он стал усердней учить уроки, но так всего было много, что от силы было все выучивать только на три. Как учатся иные всегда ровно на четыре и даже на пять, понять он не мог. Тупо день проходил за днем и год за годом: глубоко где-то в душе как засыпанная пеплом страна лежала, дремала, и вот, — когда у Алпатова стали виться кольцами русые волосы и чуть-чуть наметились усики даже, когда почти все ученики стали мечтать о танцах и женской гимназии и писать влюбленные стихи Вере Соколовой, в начале четвертого класса, — будто из-под пепла вулкан вырвался, и опять пошло все кувырком.

Мысль, что он дурак, все-таки не оставляла Курымушку и втайне его очень даже точила: он не верил себе, что может окончить гимназию, так это было трудно и скучно, предчувствие постоянно говорило, что все оборвется каким-то ужасным образом. На первых учеников он не смотрел с завистью, они просто учились, и больше ничего, — но настоящие умные были в старших классах, и многим он очень завидовал. Эти умные держались как-то совершенно уверенно, им было наплевать на гимназию, и в то же время они знали, что кончат ее и непременно будут студентами; это были настоящие умные — таких в его классе не было ни одного. Против его четвертого класса был физический кабинет, в нем были удивительные машины, и там восьмиклассники занимались, настоящие умные ученики, и среди них Несговоров был первый, к нему все относились особенно. Раз Курымушка засмотрелся в физический кабинет, и Несговоров, заметив особенное выражение его лица, спросил:

— Тебе что, Купидоша? Каким-то Купидошей назвал.

Робко сказал Курымушка, что хотелось бы ему тоже видеть машины.

Несговоров ему кое-что показал.

— Перейдешь в пятый класс, — сказал он, — там будет физика, все и узнаешь.

— А сейчас разве я не пойму?

— Отчего же. Вот тебе физика, попробуй.

Дома Курымушка нашел в книге одно интересное место про электрический звонок, стал читать, рисовать звонки, катушки. На другой день случилось ему на базаре увидеть поломанный звонок, стал копить

деньги от завтраков, купил, разобрал, сложил, достал углей, цинку, банку и раз — какое счастье это было! — соединил проволоками, звонок задергался; подвинтил — затрещал, еще подвинтил, подогнул ударник — он и зазвенел. Через два месяца у него была уже своя электрическая машина, сделанная из бутылок, была спираль Румкорфа: в физическом кабинете Несговоров показал ему все машины, и при опытах он там постоянно присутствовал. Как-то раз он сидел у вешалок с одним восьмиклассником и объяснял большому устройство динамо-машины. Несговоров подошел и сказал:

— Вот Купидоша у себя в классе из последних, а нас учит физике. Почему это так?

— Да разве нас учат? — вздохнул ученик и запел:

Так жизнь молодая проходит бесследно...

Несговоров тоже запел какую-то очень красивую французскую песенку.

Когда ябедник Заяц показался в конце коридора, Несговоров перестал петь.

— Спой, пожалуйста, еще, — попросил Курымушка, — мне это очень нравится.

— Нельзя, Заяц идет: это песня запрещенная.

Так и сказал: за-пре-щен-на-я. С этого и началось. Запрещенная песенка навела на мысль Курымушку взять как-нибудь и открыться во всем Несговорову. Но как это сделать? Он понимал, что открываться нужно по частям, вот как с физикой: захотелось открыться в интересе к машинам, сказал, его поняли, а что теперь хотелось Курымушке, то было совсем другое: сразу во всем чтобы его поняли и он бы сразу все понял и стал, как все умные. Ему казалось, что есть какая-то большая тайна, известная только учителям, ее они хранят от всех и служат вроде как бы богу. А то почему бы они, такие уродливые, держали все в своих руках и их слушались и даже боялись умные восьмиклассники? Просто понять, — они служили богу, но около этого у восьмиклассников и было как раз то, отчего они и умные: им известно что-то запрещенное, и вот это понять — сразу станешь и умным. Каждый день с немим вопросом смотрел Курымушка во время большой перемены на Несговорова, и вопрос его вот-вот был готов сорваться, но, почти что разинув рот для вопроса, он густо краснел и отходил. Мучительно думалось каждый день и каждую ночь, как спросить, чтобы Несговоров понял.

— Чего ты смотришь на меня так странно, Купидоша? — спросил однажды Несговоров. — Не нужно ли тебе чего-нибудь от меня? Я с

удовольствием.

Тогда желанный вопрос вдруг нашелся в самой простой форме.

Купидоша сказал:

— Я бы желал прочесть такую книгу, чтобы мне открылись все тайны.

— Какие такие тайны?

— Всякие-развсякие, что от нас скрывают учителя.

— У них тайн никаких нет.

— Нет? А бог! Ведь они богу служат?

— Как богу?

— Ну, а из-за чего же они и мы переносим такую ужасную скуку, и родители наши расходуются на нас; для чего-нибудь все это делается?

— Вот что, брат, — сказал Несговоров, — физику ты вот сразу понял, попробуй-ка ты одолеть Бокля, возьми-ка почитай, я тебе завтра принесу, только никому не показывай, и это у нас считается запрещенной книгой.

— За-пре-щен-ной!

— Ну, да что тут такого... тебе это уже надо знать; существует целая подпольная жизнь.

— Под-поль-на-я!

По этой своей врожденной привычке вдруг из одного слова создавать себе целый мир Курымушка вообразил сразу себе какую-то жизнь под полом, наподобие крыс и мышей, страшную, таинственную жизнь, и как раз это именно было то, чего просила его душа.

— Та песенка, — спросил он, — тоже подпольная?

— Какая?

— Мотив ее такой: там-та-та-а-та...

— Тише! Это «Марсельеза». Конечно, подпольная...

— Вот бы мне слова...

— Хорошо, завтра я тебе напишу «Марсельезу» и при— . несу вместе с Боклем. Только смотри, начинаешь заниматься подпольной жизнью — нужна конспирация.

— Кон-спи-ра-ци-я!

— Это значит держать язык за зубами, запрещенные книги, листки — все прятать так, чтобы и мышь не знала о них. Понял?

— Понял очень хорошо, я всегда был такой...

— Конспиративный? Очень хорошо, да я это и знаю: не шутка начать экспедицию в Азию в десять лет.

— Еще я спрошу тебя об одном, — сказал Курымушка, — почему ты называешь меня Купидошей?

— Купидошей почему? — улыбнулся Несговоров. — У тебя волосы

кольцами, даже противно смотреть, будто ты их завиваешь, как на картинке, и весь ты скорее танцор какой-то, тебе бы за барышнями ухаживать.

Курымушка посмотрел на Несговорова, и до того ему показались в эту минуту красивыми его живые, умные, всегда смеющиеся глаза и над ними лоб высокий, с какими-то шишками, рубцами, волосы, торчащие мочалкой во все стороны, заплатанные штаны с бахромой внизу и подметки, привязанные веревками к башмакам, — все, все было очаровательно. Всех учеников за малейшую неисправность костюма одергивали, даже в карцер сажали, а Несговорову попробовал раз директор сделать о подметках замечание...

— Уважаемый господин директор, — сказал Несговоров, — вам известно, что на моих руках семья, и у сестер и братьев подметки крепкие; вот когда у них будет плохо, а у меня хорошо, то очень прошу вас сделать мне замечание.

— Вам бы надо хлопотать о стипендии, — робко заметил директор.

— Обойдусь уроками, — ответил Несговоров. — К Пасхе у меня будут новые подметки, даю вам слово!

Как это понравилось тогда Курымушке!

— Знаешь, — сказал он теперь, — я сегодня же остригу волосы свои под машинку, с этого начну.

— И очень хорошо; у тебя есть серьезные запросы.

Не так запрещенная книга и «Марсельеза», а вот совершенно новый мир, открытый этим разговором, — ведь только звонок на урок оборвал разговор, а то бы можно и все узнать у Несговорова, всю подпольную и нелегальную жизнь — вплоть до бога, — вот это открылось, вот чем был счастлив Курымушка.

«Начать, значит, с того, — думал он на уроке, — чтобы наголо остричься, это — первое; во-вторых, хорошо бы дать теперь же зарок на всю жизнь не пить вина...» Правда, вина он и так не пил, но хотелось до смерти в чем-нибудь обещаться и не делать всю жизнь. «Вот и вино — если обещаться не пить, то уж надо не пить ни капельки; а как же во время причастия пьют вино... правда, это кровь, но потом за-пи-ва-ют вином... Как это? Надо завтра спросить Несговорова, он все знает, и все теперь можно спросить».

Быстро проходил урок географии, ни одного слова не слышал Курымушка из объяснений Козла, и вдруг тот его вызвал.

— Чего ты сегодня смотришь таким именинником? — спросил Козел.

Но что можно снести от Несговорова, то нельзя было принять от

Козла: «смотреть именинником» было похоже на «Купидошу».

— А вам-то какое дело? — сказал он Козлу.

— Мне до вас до всех дело, — ответил Козел, — я учитель.

— Учитель, ну так и спрашивайте дело. Зачем вам мои именины?

— Хорошо. Повтори, что я сейчас объяснил. Курымушка ничего не мог повторить, но очень небрежно, вызываясь сложил крестиком ноги и обе руки держал фертом, пропустив концы пальцев через ремень.

Тогда Козел своим страшным, пронзительным зеленым глазом посмотрел и что-то увидел.

Этим глазом Козел видел все.

— Ты был такой интересный мальчик, когда собирался уехать в Азию, прошло четыре года, и теперь ты весь ломаешься: какой-то танцор!

То же сказал Несговоров — и ничего было, а Козел сказал, так всего передернуло, чуть-чуть не сорвалось с языка: «Козел!» — но, сначала вспыхнув, он удержался и потом побледнел; наконец и с этим справился и сделал губами совершенно такую же улыбку, как это делал Коровья Смерть, когда хотел выразить ученику свое величайшее презрение словами «есть мать?» и потом — «несчастливая мать!».

— Где ты научился такие противные рожи строить?

— В гимназии.

— Пошел на место, ломака, из тебя ничего не выйдет. С каким счастьем когда-то Курымушка от того же Козла услышал, что из него что-то выйдет, а теперь ему было все равно: он уже почти знал о себе, уже начало что-то выходить, и уже не Козлу об этом судить.

Пока так он препирался у доски с учителем, на парту его Коля Соколов, брат известной всей гимназии Веры Соколовой, положил записку. Письмецо было очень коротенькое, с одним только вопросом: «Алпатов, согласны ли вы со мной познакомиться? Вера Соколова». Получить бы такое письмецо вчера какие бы мечты загорелись! Ведь почти у каждого есть такая мечта — выше этого некуда идти, — как познакомиться с Верой Соколовой, да еще по ее выбору! С каким бы трепетом вчера он написал, что согласен, и просил бы назначить свидание. Но сегодня против этого, совсем даже поперек, лежало решение остричь наголо волосы и всю жизнь не пить вина; выходило — или то, или другое, а остричься и познакомиться с Верой Соколовой было невозможно. «Может быть, не стрижься?» — подумал он и ясно представил, будто он с Верой Соколовой катается на катке под руку и шепчет ей что-то смешное, она закрывается муфтой от смеха и... «Нет, — говорит, — нет, не могу, я упаду от смеха, сядемте на лавочку». Садятся на лавочку под деревом, а лед зимний, прозрачный

колышется, тает, и волны теплые несут лодочку. Кто-то загадывает ему загадку: плывет лодочка, в ней три пассажира, кого оставить на берегу, кого выбросить, а кого взять с собой. «Веру Соколову беру!» отвечает он и плывет с ней вдвоем, а навстречу плывет Несговоров с Боклем в руке, поет «Марсельезу», посмотрел на Курымушку, ничего не сказал, ничего не показал на лице и все скрыл, но все понял Курымушка, как в душе больно стало этому прекрасному человеку.

Звонок последнего урока вывел Курымушку из колебания, он твердым почерком написал поперек письма, как резолюцию: «Не согласен», — передал письмо Коле Соколову и пошел из гимназии прямо в парикмахерскую.

— Nun, nun... wa-as ist's, o du, lieber Gott! [Что же это. боже мой! (нем.)] — встретила его добрая Вильгельмина. — Такие были прекрасные русые волосы, и вот вдруг упал с лестницы: von der Treppe gefallen!

Курымушка посмотрел на себя в зеркало и с радостью увидел, что лоб у него такой же громадный, как у Несговорова, и тоже есть выступы и рубцы.

А прислуга Дуняша как увидела безволосого, так и руками всплеснула: — Лобан и лобан!

ПОДПОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Бывало, бросишь камень в тихое озеро — он на дно, а круги идут далеко, глазом не увидишь, и только по догадке знаешь, что катиться им по всей воде до конца. Брошена была когда-то и где-то одна мысль, как камень в воду, и пошли круги по всему человечеству и докатились до нашего мальчика. Мысль эта была: законы природы.

То был закон божий, а то просто закон. В том законе нужно было только слушаться, в этом — узнавать, и когда узнал и стал жить по закону, то слушаться больше никого не нужно: это знание и дело.

День и ночь мальчик Бокля читает, много совсем ему непонятого было вначале, но когда ключ был найден — этот новый закон, то очень интересно было перечитывать и все подводить под него.

В том законе, которому учат в гимназии, есть какое-то «вдруг!», все учителя очень любят это слово: «и вдруг!» или... «а вдруг!», бывает даже: «вдруг — вдруг!». Каждый из учеников ходит в класс и учится, как машина, от часу до часу, но всегда ожидает над собой, или под собой, или

возле себя это «...вдруг!». Надзиратель Заяц постоянно под страхом... «и вдруг!» оглядывается, прислушивается, лукавится. Козел, самый умный, и то, бывает, ни с того ни с сего мелко мелко перекрестится, и Алпатов узнает в этих крестиках свое детское в саду, в полях, когда, бывало, идет по дорожке, и вдруг начинает из кустов такое показываться, чего отродясь не видал.

А если по новому закону жить, то никаких «вдруг» быть не может, всему есть причины. Так он, читая и думая, думая, потом добрался и к богу, что он есть тоже причина, но вспомнил о причастии, когда священник говорит: «Со страхом Божиим и верою приступите», — вот тут-то и может быть больше всего это «вдруг», об этом страшно и думать, и кажется, сюда не подходит новый закон.

Каждую большую перемену Алпатов ходит теперь с Несговоровым из конца в конец, восьмиклассник сверху кладет ему руку на плечо, Алпатов держится за его пояс, и так они каждый день без умолку разговаривают.

— Последнее — это атом, — говорит Несговоров.

— Но кто же двинул последний атом? бог?

— Причина.

— Какая?

— Икс. А бог зачем тебе?

— Но ведь богу они служат, наши учителя, из-за чего же совершается вся наша гимназическая попытка?

— В бога они верят гораздо меньше, чем мы с тобой.

— Тогда все обман?

— Еще бы!

— Я сам это подозревал. Но неужели и Козел не верит?

— Козел очень умный, но он страшный трус и свои мысли закрепощивает, он — мечтатель.

— Что значит мечтатель?

— А вот что: у тебя была мечта уплыть в Азию, ты взял и поплыл, ты не мечтатель, а он будет мечтать об Азии, но никогда в нее не поедет и жить будет совсем по-другому. Я слышал от одного настоящего ученого о нем: «Если бы и явилась та забытая страна, о которой он мечтает, так он бы ее возненавидел и стал бы мечтать оттуда о нашей гимназии».

— Но ведь это гадко, — почему же ты говоришь, что он умный?

— Я хочу сказать: он знающий и талантливый.

— А умный, по-моему, — это и честный.

— Еще бы.

После этого разговора стало очень страшно; про это свое, что ему

страшно, Алпатов ничего не сказал Несговорову, — как про это скажешь? Этот страх еще хуже, чем в лесу бывало: там догадываешься, а тут известно, что это старшие сговорились между собой и обманывают всех. Как тут жить среди обмана?

Раз он идет из гимназии и слышит, говорят два мещанина:

— Смотри!

— Нет, ты смотри!

— Господь тебя покарает!

— А из тебя на том свете черт пирог испечет.

Сразу блеснула мысль Алпатову, что они считаются маленькими в гимназии и их обманывают богом, а ведь эти мещане тоже маленькие, и мужики, и другие мужики соседней губернии, и так дальше, и еще дальше, — значит, их всех обманывают?

«Кто же виноват в этом страшном преступлении?» — спросил он себя. Вспомнилось, как в раннем детстве, когда убили царя, говорили, что царь виноват, но где этот царь? как его достанешь?..

«Козел виноват!» — сказал он себе.

За Козлом были, конечно, и другие виноваты, но самый близкий, видимый, конечно, Козел-мечтатель.

«Что же делать? как быть дальше?» — спросил он себя, входя к себе.

— О мой милый мальчик, — сказала ему добрая Вильгельмина, — зачем, зачем ты остригся? Ты стал теперь такой умный.

— Чем же это плохо быть умным?

— Всему свое время, у тебя были такие красивые каштановые волосы, тебе надо бы танцевать, а ты по ночам книжки читаешь.

И от доброй Вильгельмины Алпатову так показалось: хорошо это время, когда он хотел танцевать, и как хорошо казалось тогда узнать тайны, а вот узнал... и что теперь делать? В эту ночь в первый раз он узнал, что такое бессонница, долго провертелся на кровати и только под утро уснул.

— Auf, auf! в гимназию! — звала его Вильгельмина. А он все лежал и лежал. Какая тут гимназия! Разве в гимназии дело? И ему захотелось хоть гадость какую-нибудь, но делать сейчас же, немедленно... Вспомнилось, как в саду его братья выстраивались возле бани вместе с деревенскими мальчиками и занимались обыкновенным пороком, как и он тогда пробовал, но у него ничего не получалось. Теперь он тоже захотел это сделать, но опять ничего не вышло. «Этого даже не умею!» — подумал он с досадой, и сильное раздражение явилось: хоть бы кого-нибудь обидеть, но невозможно было сказать дерзость доброй Вильгельмине с двойным подбородком.

— Милый мой мальчик, — говорила она, — отчего ты такой бледный сегодня? О, зачем ты остригся?

Смутно бродил он мыслью в разные страны, как-то ни во что ею не упираясь, будто пахал облака. В гимназию не пошел, а прямо в городской сад, на самую отдаленную лавочку, и стал там думать о последней, казалось ему, неизвестной и большой тайне, — вот бы и это узнать. В классе была целая группа учеников, во главе с Калакутским, они между собой всегда говорили про это и знали все. Но это раньше так чуждо было Алпатову, что он их сторонился и даже боялся. Вот бы теперь их расспросить! И так случилось, что путь Калакутского из гимназии домой как раз был через городской сад, мимо этой лавочки. Алпатов задержал его и прямо спросил про это.

— Можно, — сказал Калакутский, — только тебе первый раз надо выпить для храбрости.

— Ну, что же, давай напьемся.

— Приходи ко мне в сумерки.

Началось ожидание вечера, страх не выдержать и осрамиться борол его. «Ничего. — борол он свой страх, — когда напьюсь, страшно не будет». И всю надежду возложил на водку. С тех пор еще, как он бежал в Азию и напился с Кумом, не пил он ни разу, но воспоминание о действии водки было связано с большой белой теплой подушкой и крепким сном. Хорошее воспоминание! Водка может совершать чудеса.

Как только смерклось и стали зажигать фонари, он явился к Калакутскому.

— Ну, пойдём?

— Куда пойдём? — спросил Калакутский.

Алпатов покраснел, стыдясь напомнить. А Калакутский был такой: у него всегда в одно ухо вскочит, в другое выскочит, и что-нибудь делать с ним можно только в тот самый момент, когда в одно ухо вскочило, а из другого еще не выскочило.

— А! — вспомнил он вдруг. — Водки не купил, нельзя было, у нас сегодня гости.

— И не пойдём?

— Нет, отчего же, пойдём, — там выпьем, у них есть. У меня там есть приятельница Настя, она тебя живо обработает. Ты не думай, что это из корысти, — они нас, мальчиков, очень любят, только надо теперь же идти, до их гостей, и прямо к ним в комнаты. Неужели ты никогда не пробовал?

— Нет, я думал — нам это нельзя.

— Во-от! А я, брат, с десяти лет начал. Как же это ты вздумал?

— Да так, вижу, нет ничего — и вздумал.

— Как нет ничего?

— Учителя — обманщики, сами не верят, а нас учат.

— Неужели это ты только теперь узнал? А я с десяти лет понимал. Ты знаешь, Заяц-то наш к моей Анютке ходит, она мне все рассказывает, хохочет. Он страшный трус и тоже нашим путем ходит: заборами, пустырями, в одном месте даже в подворотню надо пролезть, ну, она и заливается. Ты представляешь себе, как Заяц подлезает в подворотню? А ты думал — они боги. Я тебя Насте поручу, она мальчиков любит. Понравишься, так еще подарит тебе что-нибудь. Ну, пойдем.

«Вся надежда на водку!» — холодея от страха, думал Алпатов.

Шли сначала по улице, Алпатов спросил:

— А Козел тоже ходит?

— Нет, у Козла по-другому: он сам с собой.

— Как же это? Калакутский расхохотался.

— Неужели и этого ты еще не знаешь?

Алпатов догадался, и ужасно ему стал противен Козел: нога его, значит, дрожала от этого.

— Ну, здесь забор надо перелезть, не зацепись за гвоздь, — сказал Калакутский.

Перелезли. Ужасно кричали на крышах коты.

— Скоро весна, — сказал Калакутский, — коты на крышах. Ну, вот только через этот забор перелезем и — в подворотню...

Перелезли, нырнули в подворотню. С другой, парадной стороны двора ворота были приоткрыты, и через щель виднелся красный фонарь.

— Запомни теперь для другого раза, — шепотом учил Калакутский, — этот заячий путь — нам единственный, а с той калитки если войдешь, сразу сцапают. Теперь вот в этот флигелек нужно, и опять осторожно, чтобы хозяйка из окна не увидала: ведь мы с тобой бесплатные. Боишься?

— Нет, не боюсь!

— Молодец. Постоим немножко в тени: какая-то рожа у окна. Ну, ничего, идем.

В темном коридоре Калакутский нащупал ручку, погремел, шепнул:

— Отвори, Анюта!

— Это ты, Калакуша?

Она только проснулась, сидела на неубранной кровати в одной рубашке. Алпатову ничего не показалось в ней особенного: просто раздетая женщина и ничего таинственного, как представлялось.

— Вот этот мальчик, — сказал Калакутский, — его надо просветить.

— Веди к Насте, она их страсть любит.

Пошли дальше по коридору. «Если так, — думал Алпатов, — то не очень и страшно». Но Настя оказалась большая фарфоровая баба с яркими пятнами на щеках.

— Поручаю тебе обработать этого кавалера, — сказал Калакутский.

И втокнул Алпатова в ее комнату.

— Раздевайтесь, — очень ласково сказала Фарфоровая. — Пива желаете?

— Водки, — ответил Алпатов. Она вышла.

Тогда стала ему Фарфоровая, как на первых уроках в гимназии Коровья Смерть: страшно и слабо в себе. «Не убежать ли теперь?» — подумал он, но вспомнил, что еще будет водка и после нее все переменится. Тоже был страшный становой, а потом стал милым Кумом.

Она принесла графин с двумя рюмками, на блюдечке было нарезано мясо: закуска.

— Миленочек, ах, какой ты хорошенький! Пил ли ты водку когда-нибудь?

— Пил! — И налил две рюмки. — За ваше здоровье! Чокнулся и выпил.

И вот странно — обжег себе рот, водка настоящая, а никакой перемены от нее не было.

Налил еще, выпил и — опять ничего, и еще налил и — опять ничего, и еще...

— Миленочек, ты очень уж скоро, так ты совсем опьянеешь.

— Водка на меня не действует, — ответил Алпатов, — мне надо много выпить.

— Вот ты какой!

Она села в кресло, притащила его к себе на колени, обняла.

— Ах, какой ты хорошенький, миленочек, знаешь, я тебе сделаю подарок вот.

И дала ему небольшой перочинный перламутровый ножик.

— Подождите, — освободился Алпатов, — я сейчас на двор схожу, мне нужно.

Шинель надел, а пояс забыл. Выпитая водка стала действовать, только в другую сторону, — видно, напрасно грешат на этот хлебный напиток. Или, может быть, невидимая, неслышимая, притаенная где-нибудь в уголку души детская прекрасная Марья Моревна оттолкнула от своего мальчика фарфоровую бабу с яркими пятнами. Водка действовала, но в другую сторону: бежать, бежать.

Он спрятался в тени ворот, собираясь перелезть в подворотню, но вдруг ему почудилось, что на той стороне есть кто-то.

«Не Заяц ли это лезет?»

Вылез кот и шарахнулся, другой кот бросился на первого, и оба с ужасным криком понеслись на крышу. Две старушки у других ворот разговаривали между собой.

Первая старушка сказала:

— Пост пополам хряпнул! Вторая ответила:

— Коты на крыши полезли. Первая сделала вывод:

— Значит, месяц остался до полрой воды.

«Ведь вот как о»и странно выводят, — подумал Алпатов, — у них причины выходят совсем не так, как у Бокля».

Коты, сцепившись в клубок, лягнулись с крыши прямо ему под ноги и бросились в подворотню. За котом бросился в подворотню Алпатов — и на забор, по кустам до другого забора, по улице.

Добрая Вильгельмина ничего не заметила в дверях, и он прямо пошел в постель, но водка теперь только и начала свое действие; всю ночь ему чудится, будто Заяц его преследует, он в подворотню, и Заяц за ним; по пустырям, по заборам, по крышам мчатся они всю ночь, только где-то у собора ему удалось наконец обмануть Зайца: с высокой горы он катился вниз кубарем, и там у реки опрокинутая лодка, под эту лодку нырнул он, а там... что там он увидел! Там сидел Козел и уединенно сам с собой занимался.

— Auf, auf! в гимназию! — звала его Вильгельмина. С ужасной головной болью он встал и вышел к чаю.

— O mein liebes Kind [О мое дорогое дитя (нем.)], — воскликнула добрая Вильгельмина, — ты совсем больной, не нужно ходить в гимназию!

Но Алпатов пошел, у него было какое-то смутное решение начать свою жизнь совсем по-другому. Первый урок был как раз география. Вошел Козел, сел, заложил ногу за ногу и задрожал, заходила кафедра, затряслась половица и через половицу — и парта. Алпатов стал испытывать точь-в-точь такое же невыносимо противное, как от фарфоровой дамы. Своими зелеными глазами учитель стал перекидываться от лица к лицу. Алпатов упорно смотрел, и когда встретил, то видел, как они зло вспыхнули и остановились, как две кометы злейшие на всем небе светила. Алпатов опять скривил губы, как Коровья Смерть, и от этого Козлу стало, будто он яд принял.

— Ты опять рожи строишь? — сказал он.

— А вы опять дрожите, — ответил Алпатов. — Мне это неприятно.

Класс притих, как перед грозой.

Козел перестал дрожать ногой и даже как будто сконфузился, стал шарить глазами в журнале, слепо вызвал кого-то. Только Алпатову нельзя было так оставаться, было начертано совсем не тут, что идти ему в это утро, идти До конца: далеко где-то в других временах и в других странах камень упал, и пошли круги по человечеству и сегодня докатились до этого мальчика. Он поднял руку.

— Что тебе надо?

— Позвольте выйти.

— Не успели начать урок и уже выйти. Что с тобой? Сердце у него стучало. Он вспомнил, что Вильгельмина, принимая бром, жаловалась на сердцебиение, и сказал:

— У меня биение сердца.

— Ну, что же, — ответил Козел, — сердце у всех бьется. В классе засмеялись. Победа была за Козлом. Алпатов сел на свое место.

Жалобно ударил колокол крестопоклонной недели: в церкви пели «Кресту твоему поклоняемся, владыко». При этом звуке Козел тихонечко и быстро перекрестился,

Алпатов встал.

— Тебе что?

— Пост пополам хряпнул.

— Ну, так что?

— Коты на крыши полезли.

— Что ты хочешь сказать?

— Значит, месяц остался до полой воды. Козел хорошо понял.

Козел такое все понимал.

— Какой ты заноза, я никогда не думал, что ты такой негодяй. Сейчас же садись и не мешай, а то я тебя вон выгоню.

Алпатов сел. Победа была за ним. Козел задрожал ногою, и половица ходуном заходила.

— Вон вы опять дрожите, невозможно сидеть.

— Вон, вон! — кричал в бешенстве учитель. Тогда Алпатов встал бледный и сказал:

— Сам вон, обманщик и трус. Я не ручаюсь за себя, я не знаю, что сделаю, может быть, я убью.

Тогда все провалилось: и класс исчез в гробовой тишине и Козел.

Заунывно ударил еще раз колокол крестопоклонной недели. Козел перекрестился большим открытым крестом, принимая большое решение, сложил журнал, убрал карандаши.

— Ты — маленький Каин! — прошептал он Алпатову, уходя вон из класса.

— Козел! Козел! — крикнул ему в спину Алпатов. Через несколько минут в класс вошел Обезьян; у него было торжественно-мрачное лицо, и он сказал:

— Алпатов, возьми свой ранец, уходи из класса и больше не возвращайся.

Алпатов не надел на спину ранец, как это непременно требуется, а взял его под мышку портфелем, запел: *Allons, enfants de la patrie!*

И пошел в коридор мимо директора, не поклонился и все пел:

Contre nous de la tyrannie... [О дети родины, вперед! На нас тиранов рать идет... (фр.)]

По пути домой он зашел в лавочку, купил себе черные пуговицы.

— Что случилось? Что так рано? — спросила его добрая Вильгельмина. Заболел?

— Меня исключили из гимназии, — сказал Алпатов.

— *Wa-a-as-s?*

Алпатов попросил ножницы, иголку с ниткой и пошел в свою комнату. Там он сел у столика, развернул свою заветную бумажку, положил на стол перед собой. И, отпарывая блестящие серебряные пуговицы, пришивая черные, запел на весь дом:

Allons, enfants de la patrie! Le jour de gloire est arrive...

[О дети родины, вперед!

Настал день нашей славы... (фр.)]

Верно, из всех хозяек этого города одна добрая Вильгельмина понимала эту песню во всем ее ужасном значении.

— *Alles verloren!* — шептала она с ужасом. — *Armes Kind!* [Все погибло! Бедное дитя! (нем.)]

А за дверью до самого вечера гремело:

Contre nous de la tyrannie... ОТ АВТОРА

Так вот теперь мало-помалу определяется, что из моего натурального существа сначала еще в детстве вышло и сложилось стремление уйти куда-то в иную страну, в иное место, где создавалась потом «Ветка Палестины».

И эта первая неудача открыть в себе самом новую страну окончилась позором возвращения в свою конюшню.

Так точно вышло и с побегом в Азию. Все товарищи по классу с каким-то злорадством дразнили меня непрерывно: «Поехал в Азию, приехал в гимназию». Конец же пребывания моего в Елецкой гимназии был не чем иным, как продолжением неудачи побега в небывалое.

Писал я об этой страшной неудаче и с точки зрения натурального человека, и с точки зрения маленького поэта; Курымушки, и с точки зрения автора «Кащеевой цепи»: начала эпохи Октябрьской революции. Но теперь я чувствую, что мало мог тогда разобраться в себе и понять основы своего благодетельного стыда неудачи.

Особенно сильный позор я переживал, когда, выгнанный из гимназии, сам своей рукой отпарывал блестящие серебряные пуговицы шинели и пришивал на их место обыкновенные черные.

При каждом выходе на улицу, при каждой встрече я чувствовал себя тем неудачником, тем отбросом гимназии, какие потом навсегда оставались в родном городке мелкими чиновниками на почте, в архиве и жили какие-то заскорузлые, покрытые чириями и бородавками, в своем непомерном послушании темному быту.

Это была коренная неудача. Казалось тогда: сбили тебя в дорожную канаву на основном жизненном пути, а сами всей массой весело дальше идут по хорошей дороге, — с кого спрашивать?

Торчмя головой полетел ты в канаву, и мечта твоя о небывалом обманула тебя, как снежинка растаяла у тебя на ладошке, — опять, с кого же спрашивать?

Но так уже устроена душа человека-неудачника, что он ищет виновника своей неудачи.

И так великое множество людей больших и малых выползают из канав своих только для того, чтобы рогом своим кого-нибудь чкнуть.

Вспомнить даже великого Пушкина, как он, будучи смертельно простреленным и при всей своей гениальности, не крикнул врагу: «Уходи!» — и не швырнул к его ногам пистолет.

Нет! Нет! Моя нравственная задача, как теперь я понимаю, была в том, чтобы вытравить из жизни своей самое влияние неудачи, чтобы самая кровь моей жизни текла совсем по иному руслу.

Мало того! Я знаю, теперь мой путь подходит и роднится с тем, за что страдал так сильно и теперь бьется весь родной мой народ, заявляя всему миру, что ему не нужно чужой земли.

В глубине души мне казалось и тогда, что от природы все люди достаточно награждены всякими талантами, что есть на свете у каждого человека в душе возможность творческого усилия, позволяющего выскочить каждому из тупика своей неудачи.

1954.

ЗВЕНО ТРЕТЬЕ ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

ОТ АВТОРА

Теперь, когда я пишу, поправляя и переделывая мой старый роман в автобиографический, не много осталось людей, кто бы со свежей головой мог бы рассказать о том, что видело старое дерево где-нибудь на большаке под Ельцом.

Вот это-то и дает мне смелость говорить о самом себе, что я хорошо помню слова последнего гуртовщика Алпатова Дмитрия Ивановича, перегонявшего скот из Украины в Москву.

Все я помню хорошо, но только последний гуртовщик, кто мне так чудно рассказывал, тоже умер, я и буду считать, будто он теперь обернулся в старую-престарую лозинку с окошком в стволе. Сквозь это самое окошко я смотрю из настоящего в далекое прошлое и рассказываю.

Так полагалось в то далекое время всем купцам, торгующим скотиной: при перегоне быков, овец, коров, коз из Украины в Москву непременно и самим лично двигаться вместе со скотом одним шагом из Украины в Москву. Тот старый Алпатов, от кого я это слышал, ездил обыкновенно в плетеной, купленной на Макарьевской ярмарке тележке, и большей частью с кем-нибудь в паре из тех же елецких купцов. Вспоминаю, будто ездил он с Хренниковым. Или нет, кажется, с Ростовцевым, сосланным еще при Петре Первом из Ростова за медный бунт. А может быть, и дедушка мой, Алпатов Дмитрий Иванович, и Хренников, и Ростовцев или тоже и Горшков все в разное время рассказывали подобное, и все потом слилось во мне в общее дело перегона скота из Украины в Москву.

В плетеной корзине тележки сидели хозяева гуртов, и с ними находил себе место петух.

— Зачем петух-то? — спрашивал я дедушку.

— Не брать же с собой золотые часы! — отвечал он. Выходило так, будто у хорошего купца, богатого, часы могли быть только золотые.

— Почему же, — спрашивал я, — нельзя брать с собой золотых часов?

— Убьют, — отвечал дедушка.

А что из-за часов людей убивают, слышал я много раньше при других

случаях и делах купеческой жизни, и удивляться тут нечему.

Царем времени при перегонке гуртов был петух. Сам я никогда не пробовал определяться во времени по петуху, но по голосам диких птиц на охоте хорошо понимаю время и знаю, что по петуху определить во времени тоже не так легко, как оно представляется.

Вот когда закричит петух тем своим степным голосом, то надо непременно слушаться, поднимать стада и надевать козлу на шею звонкий колокольчик. Козел с колокольчиком идет впереди гуртов, и по звуку его колокольчика в строгом порядке идут украинские рогатые степные быки, бараны, коровы и овцы.

Козел у них всех самый умный и показывает им путь.

По крику петуха в полдневный зной снимают с козла колокольчик, стада останавливаются на отдых, и тут-то вот и становится понятным, почему большак делался таким необъятно широким. Конечно, широко стада идут, и много надо земли, чтобы скот не пустился в хлеба, но все-таки можно бы сделать для прогона скота и не такие широкие дороги.

А вот как поглядишь, как ведет себя скот на отдыхе, на полдневном привале, так сразу все и поймешь. Ведь белые тропинки, пыльные дорожки только ниточки на зеленом море всего большака; весь большак покрыт сладкой кудрявой травкой, и эта-то травка и держит гурты и не дает им охоты отрываться и терять золотое время на поиски пищи в хлебах.

Да и сами купцы, гуртовщики, в полдень не очень-то далеко отходят от своей тележки. Тут где-нибудь под старой лозинкой в тени на краю большака прикорнут сколько-то, и петух их опять поднимает, и опять звенит на шее много козла его правильный колокольчик.

Но все это, конечно, только присказка, самое счастье, самый настоящий купеческий рай, о чем потом деды так сладко рассказывают своим внукам, самая соль бывает, когда гурты останавливаются для ночного отдыха, а купцы ставят свой знаменитый в то время «тройной» степной самовар.

Считаю за большое свое счастье, что мне самому не только довелось видеть, но даже в трудное время набега генерала Мамонтова на Елец раздобыть такой самовар и пользоваться им во время набега казаков. Самовар этот был сделан из красной меди ручным способом и разделялся перегородками на три отделения: в одном, соединенном с краном, варился чай, в другом обыкновенно наша елецкая белая просяная каша и в третьем какой-нибудь супишко.

Тут, наверно, где-нибудь под той старой лозинкой, купцы стелили себе коврик, и сама степь во мраке ночи осмеливалась приближаться к самовару,

и обнимать, и нянчить людей и стада.

А чего стоит первый свет на утренней заре, и первый крик петуха, и потом опять колокольчик...

И вот где, очень может быть, и таится моя настоящая автобиография: ведь те же самые облака, та же самая мурава и ночные птицы...

Очень может быть!

Только можно сказать и так: та далекая поэзия моих прадедов чуть-чуть коснулась меня, когда по этому самому большаку ездили мы с моей матерью на своих лошадях в тарантасе. Украинский же скот поехал в то время в Москву в товарных вагонах по железной дороге.

Сказать, что большак без гуртов потерял всякий смысл, нельзя. Напротив, в базарные дни и особенно в ярмарку он наполнялся и людьми, и тоже всяким скотом. Глядя на все это непонятное движение, я мало-помалу уставал от него и переводил глаза на мать, как бы стараясь по ней понять, к чему это все.

Она же все понимала, и это было мне до крайности удивительно, и я думал с завистью: «Вот бы и мне так научиться все бы, все до ниточки понимать на земле!» Не то чтобы она чего-то не знает, нет! Она не может не знать, но она это ей не нужное пропускает. Вот почему-то мама впиалась глазами в идущего мужика на обочине...

— Стой, Глеб! — говорит она кучеру.

— Чего? — обертывается Глеб.

— Это не каменщик Стефан там теленка ведет?

— Он, пьянчужка! — отвечает Глеб.

— А теленок-то, кажется, поеный?

— Конечно, поеный, только что от него останется, пока он его доведет до Ельца!

Мать велит Глебу подъехать прямо к Стефану.

— Жена у него Христина? — спросила мать.

— Христинья из Красной Пальны, — отвечает Глеб.

Теперь мать все понимает. Христина поила теленка, а Стефан пришел домой к празднику без нее: может быть, Христина просто к обедне пошла. Высмотрев теленка, Стефан, не долго думая, привязал его на веревочку и потянул в Елец на ярмарку: продать и пропить.

Удивительно было, как мать о всем догадалась по одному только взгляду на теленка, хорошего, поенного чистым молоком, но еще недопоенного. Не просто от жалости к хорошей женщине, доставшейся пьянице, началось все в душе матери: пьяницам она даже немного сочувствовала. Началось в этом случае все у матери, конечно, через

теленка: теленок был недопоен и на пути в Елец потеряет весь свой нагул. Ей было жалко теленка, но эта жалость текла к людям: устроить теленка бы, и люди сами устроятся. Так оно и выходило.

Разговор со Стефаном был недолгий: мать понимала цель Стефана и дала ему рубль; больше как на рубль ему и не выпить. А теленка мы усадили в тележку и поехали к Христине в Красную Пальну. Тут всем была радость, и первая, конечно, Христине, потом и Стефану, и сам рубль, отданный каменщику, радовался: он пойдет в задаток за новую ограду.

Так с самого раннего детства дивился я глазам своей матери: мне кажется, не было на большаке ни одного человека, ни одной судьбы даже какого-нибудь животного, чтобы в нее не проникал глаз моей матери.

Только много-много лет спустя я успел все-таки порадовать мать свою первой книгой моей о русской природе, и, может быть, она про себя тихонько даже и поняла, что я в своей книге на природу ее глазами глядел.

Погодите, вот вдруг вспомнилось, к чему я начал рассказывать о своих предках-купцах. Перед этим я рассказывал, как это было тяжело гимназисту спарывать пуговицы с форменной шинели, а самому думать о небывалой, неоткрытой стране, куда меня повлекло.

Мне вдруг пришло сейчас в голову: а что, если и это первое путешествие мое в небывалое и потом все эти годы странствий на русской почве и дальше, далеко за ее пределы, все это небывалое: на белых водах и в золотых горах началось и осталось в душе от предков-купцов, собиравших русскую землю? Что, если это еще идет у меня в душе от Садко, богатого гостя?

Что, если и все мое небывалое, как я привык думать, начало моего собственного и всякого творчества, есть не что иное, как замысел нового путешествия какого-нибудь Ермака или нашего Гуська на «новые места»?

Простите, не так-то легко после стольких лет жизни сразу вернуться к тому времени, когда Алпатов, исключенный из гимназии, поехал к своему дяде в Сибирь.

1954

САМЫЙ ВЫСШИЙ

Трудно было! Помню, тихо между собой беседуют мать, рано поседевшая от неустанной работы на банк, Дунечка, учительница «на легальном положении», верующая в старца Софья Александровна и еще

новое лицо — дядя Курымушки, сибирский купец и пароходчик Иван Астахов, горбоносый, с пепельными кудрями, великан и красавец, если бы не темен в лице: не то разбойник, не то старый цыган-конокрад.

Вечереет. В окно смотрит голубая весна. В коридоре кто-то кашляет.

— Кто там? — спрашивает мать.

— Я.

— Кто ты? Гусёк?

— Так точно.

— Ты, наверно, опять пришел землю просить?

— Никак нет, покумекиваю подаваться к новым местам.

— Вали, вали, — сказал Иван Астахов, — голова на плечах, в Сибири все можно.

Сквозь тонкий сон Курымушка узнает голос Астахова и ужасно боится, что он скажет о чем-нибудь: «самый высший». Эти слова его в прежний приезд, сколько-то лет тому назад, подхватили братья и, бывало, только он выговорит «самый высший», зажимают носы и, лопаясь, фыркают. Грозно, орлиным взглядом оглядывает их Самый высший, а они все показывают на Курымушку и говорят, будто это он их смешит какими-то штуками. Вот как было страшно тогда ожидать взрыва смеха, что и посейчас осталось, и скажи дядя сейчас свои заколдованные слова, он непременно расхохочется в своем кресле. С полузакрытыми глазами он слушает разговор с Гуськом и один понимает трудное его положение: ведь это тот самый Гусёк, про которого говорили, будто он, как Адам, был изгнан из рая пахать, но землю всю отняли помещики. И вот он теперь стоит, хочет спросить сибирского купца про землю и не знает, что же именно спросить, с какого конца начать, и уж, наверно, больше всего ему хочется узнать, есть ли там белые перепелки и, может быть, даже голубые бобры.

Долго он мнетя на пороге. Терпеливо ждет вопроса Самый высший.

— А есть на новых местах перепелки? — спрашивает наконец Гусёк.

— Вот он всегда так, — сердится мать, — ему бы только перепелок ловить, все хозяйство из-за таких пустяков пропадает.

Высший смеется. Гусёк просит прощения и уходит. Темнеет в комнате. Мать спрашивает:

— Няня, лампу заправила? Пора зажигать. Няня приказывает:

— Дуняша, поди вздуй свет.

— Ах, тетенька, — просит Дунечка, — погодите немного, смотрите, как хорошо в окне голубеет снег, будто кто-то идет к нам сюда тихо-тихо.

Курымушка смотрит туда в окно, и там, правда, знакомый ему Тихий

гость идет с голубых полей.

— Тише, тише, — просит мать, — кажется, бредит, слышали, сейчас сказал «Марья Моревна».

— А я и забыла, — шепчет Дунечка. — Вчера я от Маши письмо получила из Флоренции.

— Где это?

— В Италии.

— Вот куда прострунила! Ну-те!

— Тетенька, когда же бросите вы свое «нуте»?

— Прости, милая. Что же пишет тебе из Италии наша Марья Моревна?

— Живет в какой-то семье, моет полы, стирает, готовит, учит детей, видно ребятам вскружила головы не хуже нашего и, заметно, ее там боготворят.

— Помните, Марья Ивановна, — вмешивается Софья Александровна, — я вам еще тогда говорила, что ее очарование вредное — настоящий яд для детей, видите сами, пример на глазах, и так ее дети все перестреляются.

— При чем же тут она, если учителя такие мерзкие?

— Мерзкие не одни учителя, в жизни надо уметь приспособляться. Знаете, я все-таки вам советую, как только мальчик оправится, свезите его к старцу, пусть он благословит его жизнь, — видно, мальчик способный и вовсе не злой, но это все от ее очарования, — право же, нет того в жизни, о чем она ему намечтала, надо его расколдовать от нее.

— Как ты думаешь, Ваня? — спрашивает мать своего сибирского брата. Что, если мы с тобой прокатимся к старцу? Там удивительно готовят уху из бирючков и просвирки пекут замечательно вкусные.

— К какому такому старцу? — спрашивает Астахов

— К отцу Амвросию оптинскому: удивительная личность, он творит с людьми феноменальные вещи.

— Какие такие фено... Как ты сказала?

— Ну, просто сказать, чудеса.

— Чу-де-са?

Мать немного сконфузилась и посмотрела на Софью Александровну.

— Не говорю — прямо чудеса, а вроде этого.

— Иконы молодит?

— Не иконы, а вот случай был. Две барыни собрались к нему, сказали: «Конечно, чудес нет никаких, а все-таки поболтаем». Являются к старцу, он велит келейнику принести для них два стакана воды с ложечками и говорит барыням: «Я сейчас выйду к народу, а вы сидите тут и ложечками в

стаканах болтайте».

— Молодец твой старец. Ну, что же барыни?

— Конечно, уверовали.

— Дуры твои барыни, тут и не мудрому просто: каждой такой скажи «поболтай», и верно придется. Ты лучше вот что: поезжай к нему сначала одна, седая, приедешь черная, тут я поверю и отдам ему на монастырь все свои пароходы.

Вышло очень неловко при Софье Александровне, все замолчали, и Астахов одумался.

— Ты, сестра, — сказал он серьезно, — чем к монахам за советами ездить, лучше отдай-ка мне твоего мальчика, у нас там есть своя гимназия, кончит, будет у меня капитаном, а то все у меня такая рвань и шпана, образованных людей у нас вовсе нет.

— У него же волчий билет, — ответила мать, — его с ним не примут ни в какую гимназию.

— В Сибири все с волчьими билетами, сам директор вышел из ссыльных. Покажи мне бумагу.

Мать приносит. Астахов берет и разрывает в куски.

— Что ты сделал? — ужасается мать.

— Какие вы все, барыни, чудные, — смеется Астахов. — Сама говоришь, с этим билетом никуда не принимают, так зачем же его нужно беречь? Ну, говори, отдаешь ты его мне?

— Я не против, только надо же мне и его спросить.

— Так разве это не тот мальчик, что когда-то убежал было в Азию? А если он, так и спрашивать нечего: Сибирь в Азии, — он рад будет ужасно.

— Конечно, будет рад, — согласилась Дунечка, — это единственный выход.

— У меня будто камень от сердца начинает отваливаться, — сказала мать. — Ты что? Серьезно, Ваня?

— А то как еще? Вот сейчас и выпьем отвальную.

Уходит в свою комнату и возвращается с большими гостинцами. Курымушка ни жив ни мертв: он хорошо знает, что «самый высший» всегда говорится при подарках: богатому человеку кажется, что бедные не поймут, какие это дорогие подарки, и потому, выкладывая, прибавляет: «самый высший».

Достает из кулька бутылку шампанского с этикеткой «sec» и говорит.

— Сек.

Не твердо, как по-французски — «сэк», а очень мягко — «сек», все равно как если что по-французски мягко, он непременно скажет по-русски

и твердо: не Золя, а Зола. И не то чтобы не знал или не хотел, а просто ему стыдно быть не самим собой и произносить слова по-иностранному.

— Сек, — сказал он и сейчас же как будто и перевел это слово: — Самый высший!

Внезапно на диване что-то зашипело, засвистало и лопнуло смехом.

Все с удивлением оглянулись туда.

— Ты чего это? Курымушка ответил:

— Я слышал разговор и очень обрадовался, что меня отправляют в Азию.

Мать облегченно вздохнула:

— У меня будто камень отвалился от сердца.

ЗОЛОТЫЕ ГОРЫ

Про этого дядю, сибирского пароходчика, с малолетства в нашей семье был разговор в тех случаях, когда терялась всякая надежда на счастье.

— А как же дядя Иван Иванович, — говорил кто-нибудь в опровержение теории безнадежности.

И тогда начинался рассказ, построенный на сравнении староверского купеческого дома Астаховых в Белеве, на чудесной реке Оке, родине астаховского староверского дома моей матери, и дома Алпатовых в Ельце.

— Что это, — говорили, — елецкий чернозем степного вида — хорош чернозем, да в нем трещинки, куда все утекает.

Вот и Михаил Дмитриевич (мой отец), чем бы дом в Ельце собирать, а он обратился в помещики и... разгуляй-гуляй — все в трещинку убежало.

— А вот в Белеве даже ни один ручей не пропадает даром: всё держат и охраняют леса, и сами люди держатся старой крепкой веры и молятся двумя перстами. И ведут себя люди по-другому, хотели было разделиться, да Иван Астахов не дал. Он забрал в долг у своих сколько-то денег, уехал в Сибирь и через какое-то, даже не очень и долгое время обратился в сибирского знатного пароходчика.

Как уж он сам в душе, был счастлив Астахов, но для родных счастье было в его сибирской стороне, и всем родным он помогал.

Сейчас вот только и догадываюсь: потому, может быть, он и помогал, что своей семьи не было, и жил он во дворце своем на реке Туре совершенно один.

Теперь выпало из моей памяти, почему же появился Астахов как раз к тому времени, когда в доме переживалось несчастье.

Очень может быть, что мать написала ему о беде, и «счастливый человек», соединив ряд дел, присоединил и это: сделать из мальчика своего капитана.

Так скоро все было решено, и Алпатов поехал с дядей в Сибирь.

Правда же, другой раз лучше и много легче идти с поклажей за спиной набитой тропинкой, чем сидеть на бархатном диване скорого поезда против тяжелого человека и не осмеливаться раньше его слова сказать. И в голову не приходит, что тяжелый человек сам дожидается легкого, веселого слова: болтай, что в голову придет, и он будет рад. Но где было догадываться исключенному гимназисту! Тяжелый дядя навис над ним и подавил.

Ехали тяжелыми, черноземными почвами, перекрытыми красными глиняными балками, пересеченными широкими, гуртовыми, большими дорогами, узкими белыми проселочными и зелеными полынными рубежами. За весь день тяжелый дядя спросил:

— Ты ездил когда-нибудь по железной дороге?

— Нет, дядя, не ездил.

— Вот теперь едешь. Удивляйся!

Ехали почвами легкими, светлыми. Целый день мелькали в окне у ручьев скромные рощи, стада гусей, тихие заводы и поруби с немногими тонкими, уцелевшими на них склоненными березками. Тут на легкой почве за целый день тяжелый Дядя сказал:

— Вот и леса пошли.

— Да, пошли, дядя. Где же они кончаются? Дядя, подумав, сказал:

— Они не кончаются.

И опять замолчал. Купил на станции «Русские ведомости» и читал их до вечера, после со свечкой принялся за объявления и вдруг совсем неожиданно спросил:

— Что это значит: эн-цик-ло-пе-ди-чес-кий словарь? Алпатов очень обрадовался вопросу и развязал язык.

— Вы, дядя, — спросил он, — знаете, например, слово «ал-геб-ра»?

— Что это такое?

— Вроде арифметики, только вместо чисел буквы.

— Ну-у-у-у-у...

— В энциклопедическом словаре все сказано про алгебру и про всякое слово, какое только вам в голову придет; если бы хватило памяти, так выучить словарь, и все будешь знать.

— Тогда надо выучить, — сказал дядя. — А есть там, например, слово «пароход»?

— Не только пароход вообще, а все наши русские пароходы названы

по именам, и, наверное, есть ваше имя.

— Кроме шуток говоришь? Вот бы все выучить!

— Для человека это невозможно, дядя: в большом словаре Брокгауза и Ефрона — очень много томов.

— Пустое! Захочется, все можно сделать и выучить. Вот тебе газета, вырежь объявление и напорми в Нижнем: купим и выучим.

— Есть малый словарь Павленкова. Не лучше бы нам сначала купить малый?

— Вот еще! Ты заметь себе правило в жизни и заруби это себе на носу: никогда не становись на второе место. Понял?

— Понял, дядя, и это мне нравится. Но что, если не придется на первое?

— Тогда живи дураком и подчиняйся умному. Еще надо тебе знать, что тише едешь, дальше будешь — от того места, куда едешь. Понял?

— Понял, дядя.

— А еще — и самое главное: не пей из колодца — пригодится плюнуть. Понял?

— Нет, не понял.

— Поживешь и поймешь, теперь ты только запомни, что тебе дядя говорил: не пей из колодца — пригодится плюнуть.

И опять замолчал до самого Нижнего. Там купили большой словарь и сели на пароход.

Словарь спас гимназиста от тяжелого дяди. Он, наверное, тут сто раз проехал, и неинтересно ему на чужом пароходе, — сидит весь день в своей каюте и с жаром учит словарь с бук вы А. Алпатов обегал на пароходе все мышьи норки и, как маленький мальчик, всех спрашивал о всякой безделице: и что это за конусы качаются на воде с фонарями наверху, и почему иногда кричат «под табак», и для чего люди плывут на связанных бревнах и так славно варят себе что-то на огне у самой воды, и почему это дерево не загорается?

— А какой груз на этой огромной барже?

— Живой груз: переселенцы.

— Куда они едут?

— В золотые горы.

Что он, серьезно сказал или пошутил? Неловко переспросить — засмеется, но и так остаться нельзя: вдруг окажется, правда есть золотые горы, и люди туда переселяются, и он это слышал и так пропустил. Вот какой-то человек, высокий, худой, подтянутый ремешком, сидит и читает такую огромную книгу, каких он в жизни своей никогда не видел, в нее

войдет добрая половина энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона, — вот бы кого спросить, но строг этот человек. Нет, его невозможно спросить. На другой стороне парохода в каюте первого класса у самого окошка дядя сидит и тоже учит свою огромную книгу. Спросить разве дядю? Нет, нет! Тот еще вслух заставит читать букву А. Лучше уж спросить незнакомого человека. Поколебавшись еще немного, решается и подходит.

— Какую вы, дяденька, книжку читаете, можно вас спросить?

— Можно: Маргарит-книга.

— Очень большая!

— Пуд десять фунтов.

— Вы ее взвешивали?

— Вешана книга не на казенных весах и меряна не казенным аршином.

— Можно спросить вас еще: тут говорят, будто переселенцы едут в золотые горы, в географии этого названия нет, а как вы думаете, есть золотые горы?

— Что скажет светская наука? Можно ли сосчитать песок на Волге и зачем это нужно? А белые воды есть.

— Белые воды? Я спросил вас — золотые горы.

— Золотые горы стоят на белых водах.

— А где же белые воды?

— Этого сказать нельзя. Пойдешь на восток с верой в сердце, найдешь белые воды и на белых водах золотые горы.

Алпатов замолчал, смущенный и растерянный: никогда, еще в жизни ему не случалось встречать и даже думать, чтобы могли быть на свете люди взрослые и жили бы совершенно, как он хотел в первом классе гимназии, собираясь убежать в Азию.

— Есть еще что спросить? — сказал этот странный человек.

— Откуда вы едете? — спросил он первое, что пришло ему в голову.

— Этого, дитя, я тебе не скажу: мы, странники божьи, ни града, ни веси не имам.

— А куда вы едете — это можно спросить?

— Это можно: еду в Китеж, невидимый град.

— Как — невидимый?

— Был Китеж град большой, но, попущением божьим и грех наших ради, скрылся и невидим стал.

— Как же вы туда едете?

— Иду, дитя, иду, все молюсь и надеюсь: кто праведный, тот приходит, и святой град ему открывается. Так и на белые воды тоже надо с молитвой

идти: кто праведный, приходит и видит золотые горы... Ну, еще есть что спросить?

Алпатов засмеялся, ему еще очень много хотелось спросить, но странник не понял его и, поправив веревочку от очков возле уха, продолжал читать свою огромную книгу.

Возле дядиной каюты он робко остановился и заслонил свет.

— Ты чего это?

— Вот тут говорят все про золотые горы... Есть, дядя, золотые горы на свете?

— Ну, как же. Алтай называется Золотые горы, мы туда возим переселенцев.

— А мне сейчас сказали, что на каких-то белых водах. Может быть, и это есть в географии?

— Нет, этого нет, тебе, наверно, старовер наговорил; и как ты от матери не слышал: мы же прежде были староверами, я сам попал в Сибирь с беловодчиками. Это все сказки, и выкинь ты из головы эту дурь, в науке есть на все объяснение, верь в науку, учи — и все будешь знать. Стой, да ведь Алтай-то у нас с тобой есть, буква А, ну-ка иди сюда, читай, а я послушаю.

Читают географию и час и два... Пароход останавливается на маленькой пристани.

— Ну, ступай посмотри, передохни, — отпускает дядя своего чтеца.

И видит Алпатов, как со своей огромной книгой странник сходит по трапу на берег и тропинкою идет по цветущему лугу. Вот бы бросить мягкий диван каюты первого класса, тяжелого дядю с его ужасным словарем Брокгауза и тропинкой бы идти себе в какой-то невидимый град с этим странником! Но что, если странник тоже заставит читать себе его огромную и наверно тоже страшно скучную книгу?

Смолоду суровая река эта Кама, на берегах только леса, и на лесных просеках изредка только увидишь след человеческий, могильник с восьмиконечными крестами или часовенку с позеленевшей крышей, но и то больше никого не хоронят на этом кладбище, никто не ходит молиться в эту часовенку: нельзя лежать больше в этой земле, опутанной цепью антихриста, нельзя тут молиться, дальше и дальше надо идти, в те леса, где еще не пролегла цепь землемера, где нет меры и счета с царской печатью. Идут, бегут куда-то на белые воды неизвестные люди, а за ними следом паутинною сетью ложится казенная мера и счет. Великих страстей мрачная история раскинулась по лесным берегам, и, верно, потому Кама-река смолоду выглядит такую суровой.

За Камой — тоже суровый Урал. Поезд незаметно ползет с горы на гору, и все только леса вокруг и кое-где долины, покрытые высокой цветущей травой. Сверкает смелая привольная коса, а позади ее — смиренная женщина с граблями. Он косит, она собирает; вечная пара, покорно выполняющая заповедь: в поте лица своего обрабатывай землю.

И вдруг конец библейской картины, показывается не писанное в Библии, товарный вагон все закрывает, и на нем мелом: «Теплушка для людей». В маленькое окошко высунулась всклокоченная голова с бородой и другая — в ситцевом платке, глядят, как лошади с темного двора на светлый день. И это тоже вечная пара — Адам и Ева. Их вот только-только что выгнали из рая, где было им так хорошо. Ева смотрит на угрюмые лесные уральские сопки и говорит своему старику:

— Як бы трошки землицы в Полтаве, так на щоб я в ту бисову землю поихала.

Кто-то ими интересуется, спрашивает кондуктора:

— Обратные?

— Нет, туда. До осени все туда, с осени до масленицы — назад; туда идет — думает, в золотых горах найдет золото, назад идет — лохмотьями трясет, вшей бьет.

Поезд трогается, и — будто занавес открывается: первый Адам и его Ева, прекрасные, косят у самого столба, где написано: «Европа». «Азия» — успел разобрать на другой стороне Алпатов мелькнувшую черную надпись на белом столбе.

И как же вдруг сердце запрыгало: вот наконец-то она, желанная Азия... куда хотелось давно убежать, открывать забытые страны, — то нельзя было попасть в нее с ужасным усилием воли, а то вот стоял себе на площадке вагона, и Азия сама пришла. Радость переливается через край, хочется непременно с кем-нибудь поделиться, сказать, что вот сию минуту мелькнул белый столб с надписью «Азия» и мы теперь уж не по Европе, а по настоящей Азии едем, но никого нет на площадке вагона. Он взялся уже за ручку двери, чтобы войти в вагон и крикнуть дяде про Азию, но вовремя одумался и остался на площадке: дядя сразу догадается, что Азия начинается с буквы А, и непременно заставит его читать букву.

Но ведь это же совершенно не та Азия, которой, он теперь радуется: это он сам тут, а вовсе не географическая Азия.

Дядя никогда этого не поймет, да и сам он вовсе не отдает себе отчета. Это не мысли его, а какие-то лучи проходят через его голову куда-то, и от них остаётся не мысль, а только аромат ее, как от цветка: невозможное достигается, но не как у дяди, насильно. Нет, надо только вначале пожелать

«до зарезу» сильно, а потом и забыть, как пахарь забывает посеянное, и оно потом само вырастает.

«Я счастливый, — думает Алпатов, — хотя и поздно, а у меня вырастает, но почему же вот эти настоящие сеятели бродят по всей нашей земле, и все нет им земли, чтобы посеять свое зерно, и как тут быть, если у меня будет счастье, — я стану на первое место, как дядя советует, а вокруг все будут несчастные, и я буду, как мать, прятаться от мужиков, бояться чаю напиться на балконе из-за того, что увидят эти люди с полей. Но все-таки хорошо, что это настоящая Азия и я своего достигаю. Та самая Азия — колыбель человеческого рода, и Урал — ворота, в которые вышли все народы Европы».

Прыгнула дикая коза на утес, и сверху глянули рожки; прыгнула на другой, подальше, остановилась опять, и рожки стали совсем маленькие и потом совершенно скрылись в лесах. Еще любопытно было смотреть, как стаи тетеревов, напуганные поездом, перелетали дальше и как поезд скоро опять их настигал и они опять дальше летели. Мерный стук поезда сбивает всякие мысли, путает их, в бездумье начинается песня, и так он поет и час, и другой, все поет и поет.

Поезд незаметно спускается, долго бежит по равнине, покрытой перелесками; все реже и реже показываются между перелесками поляны, и, наконец, все смыкается, направо и налево невылазная чаща — начало великой сибирской тайги. Вот и кончился рельсовый путь, и с ним кончилась последняя теплота души, связанная с родными картинками; на великой сибирской тайге незримыми буквами написано:

«Будь холоден или горяч».

Переселенцев выгружают прямо на рельсы; они в лохмотьях; и странно, зачем у них у всех столько ненужного, — даже со связкой самоварных лучинок не могла расстаться деревенская женщина и привезла их из Полтавы в тайгу. Обер-кондуктор брезгливо и осторожно шагает через лежащие на пути тела и очень боится замарать о них свои блестящие сапоги. Он говорит кому-то:

— Вот это самый выгодный груз на пароходе — не подмокнет, не украдут.

Пароход «Иван Астахов» стоит на парах. Переселенцев грузят в баржу, еще грузят керосин в огромных бочках, и масса над этой погрузкой работает каких-то особенных оборванцев с суровой печатью тайги: «Будь холоден или горяч»; они совсем не похожи на теплых Адама и Еву. На своем пароходе дядя совсем другой человек, по-прежнему молчит, но кругом все кипит от его страшного молчания, и бегают капитан бестолково,

руки у него отрываются при страшных взглядах хозяина; ох, он что-то заметил и не спускает глаз с капитана!

Пароход плывет и пугает свистками диких уток, гусей и лебедей; на каждой остановке дядя выходит на пристань; точно такие же оборванцы, как и в начале пути, окружают Астахова, о чем-то тихо просят его, и он сажает их в баржу. с переселенцами.

— Кто эти люди? — спрашивает дядю Алпатов.

Иван Астахов сверху измеряет его взглядом, как будто хочет сказать: «Вот еще какой щенок подвернулся», — но, как бы вспомнив и одумавшись, говорит:

— Отгадаешь загадку — скажу, не отгадаешь — никогда не смей ко мне соваться с вопросами, не будь сам дураком и сам догадывайся.

— Какую же загадку?

— Как перейти непереходимое болото?

— Неправильная загадка: непереходимое нельзя перейти.

— А вот и можно, отгадывай, буду считать до двенадцати: раз, два, три, четыре...

— Может быть, зимой на лыжах?

— Молодец! — сказал дядя и так лицом просветлел, что осветил и капитана.

— Кто же эти странные люди?

— Шпана, — сказал дядя. И на немой вопрос ответил: — Таежные жители: разбойники, воры, всякая рвань с волчьими билетами.

— Куда же вы их везете?

— К себе везу, пароходы строить.

— Но ведь они же с волчьими билетами?

— Ну так что? Ты же сам с волчьим билетом. Понял? Больше ты меня не спрашивай и сам догадывайся. Теперь ты отгадай мне другую загадку: первое ра, второе ки, что будет в целом?

— Раки, дядя.

— Ну, пойдём есть раки.

Чистит рака, а сам прислушивается, — на носу начинают кричать: «под табак», три, три, два с половиной, и как крикнули «два!» — что-то зашипело и затрещало на дне парохода. Астахов бросает раков, выскакивает на палубу и мигом, заметив наседающую на корму парохода баржу, кричит растерянному капитану:

— Полный ход! Капитан кричит в машину:

— Стоп!

Астахов тигром бросается в штурвальную, схватывает капитана,

швыряет за борт и кричит в машину:

— Полный ход!

Пароход срывается с мели. На полной воде равняется с баржей, с борта на борт перекидывают трап. Астахов идет туда, на баржу, его окружает шпана.

— Есть у вас, кто может управлять речным пароходом?

Выходит невзрачный человек желтого цвета, покрытый веснушками.

Астахов его мгновенно оглядывает, сразу что-то понимает и спрашивает:

— Политика? Желтый кивает головой.

— Становись капитаном.

Возвращается на пароход, принимается опять за раков, совсем даже и не спросив, достали из воды прежнего капитана или он утонул... Но это Алпатову кажется так странно: в большом деле трудно одной рукой бросать, другой то же спасать. Астахов бросал, конечно, зная, что другая рука должна вытащить из воды капитана. После раков князь сибирской шпаны, довольный, чувствуя каким-то шестым материнским чувством, что новый капитан ведет пароход очень хорошо, принимается учить из буквы А статью Абиссиния.

От всего чувствует себя Алпатов тем сморщенным темным комочком, который остается, если шилом проткнуть детский красный резиновый воздушный шар. И ему кажется, что все так возле тайги. Вон там на берегу тоже мечется между пнями какое-то существо, похожее на человека, машет руками, а пни огромных деревьев залиты черной водой, и черная вода курится белым паром; далеко эти пни куда-то уходят, до горизонта, и там, на горизонте, синяя полоса не тронутой топором тайги, но тоже, наверно, залитой такой же черной, дымящейся водой.

Человек все машет и машет рукой. Ему посылают лодку, сбавляют ход. Вот он уже лезет про трапу на палубу, и тут все объясняется: тоже второй Адам из Рязанской губернии, пришел ходок для своих земляков искать землю. Его спрашивает желтый капитан и дядя, нашел ли он землю.

Ходок руками разводит:

— Много искал, нет земли.

— Как нет земли? — не удержался Алпатов. — Вон все земля и земля. Все засмеялись.

— Нет, вьюнош, — сказал ходок, — то не земля, много к ней нужно еще капиталу, чтобы вышла земля.

— Зачем же вы землю ищете? Ищите себе капитал.

— Умственный вьюнош! — засмеялся ходок. И все засмеялись.

Но Алпатов не мог понять, чему же они смеялись и почему среди необъятных, никем не занятых земель все кричат: «Земли, земли!» — и никто не крикнет: «Капиталу, капиталу!»

А земля на берегах реки мало-помалу все преображалась, и в одно утро, выйдя на палубу, Алпатов не узнал ее, — все было теперь по-иному: не осталось и следа тайги, она ушла куда-то в другую сторону, а тут везде, казалось, на весь мир раскинулась степь, но совсем не такая, как у Кольцова, желтая, с низенькой, глазу неотличимой от песка травкой, — это была бесконечная, как океан, глазастая степь-пустыня; на ней, как у таинственных каких-то животных, с телом, покрытым бесчисленными глазами, всюду сверкали светлые соленые озера со страшными фиолетовыми краями.

Многие от второго Адама тут выходят. Через большую реку перевозит «самолет» — плот с колесами, как у парохода. Ветер боковой. Самолет не смеет отчалить. Скопляются верблюды, много баранов, коровы. Сзади напирают все новые и новые стада, и, нечего делать, самолет отчаливает как-то сам по себе. Быки давят бока своими рогами, лошади стегают хвостами по монгольским лицам, желтым, как спелые дыни, с маленькими раскосыми глазами. И хохот, и дикие крики, и забавные стегание друг друга нагайками, и, кажется, такая мудрая беседа почтенных людей в чалмах и халатах, сидящих между верблюжьими горбами, — все ново и странно, в глубине сердца как-то знакомо, будто сам когда-то ездил в караванах через пустыни и кочевал, перегоняя баранов с летнего пастбища на зимнее стойбище.

Вот крик из трех согласных, упирающихся на одну гласную, как растрепанные губы старой лошади:

— Тпру-у-у-у-у...

— Как? и у вас «тпру».

— Да, и у нас «тпру».

Корова падает в воду. Плот трещит. Все орут. Верблюд падает. Сильнее орут.

— Господи! — шепчут прижатые к рулю Адам и Ева. Плот кружится, все, кто близко, лупят нагайками усталых, измороженных лошадей, вертящих колесо самолета. Многие животные падают, одни покорно плывут рядом с плотом, другие, сильно фыркая, пробуют опять забраться на плот, и все вместе, и масса животных, и безобразно орущая масса людей, как будто все нарочно стараются поскорее разломить плот и все затопить, но плот все плывет и плывет через огромную реку.

И что удивительно: беседа мудрых людей на верблюжьих горбах

продолжается. А еще больше удивительно, что многие шумят и говорят о пустяках, как будто не были у самого края гибели.

Кошка прыгнула с верблюда на лошадь, с лошади на монгола.

— Брысь! — сказал азиат. Кошка прыгнула на Адама.

— Брысь, — сказал Адам и тут же спросил монгола:

— Стало быть, и у вас тоже «брысь»? Азиат не понял. Ева ответила:

— От сотворения веков было «брысь».

А на той стороне, куда, кружась, плывет самолет, новая собирательная гроза: там возле белых юрт скопилось много животных, и, уже приученные, все они стоят у самого берега в ожидании переправы, и только плот приблизится, все бросятся на него и затопят, может быть, возле самого берега. Но чем сильнее подпирают в бока бычьи рога, чем ближе к уху дышит горбатый верблюд, тем спокойнее на душе: ведь так на Руси вся жизнь проходит вот-вот потонешь, а плот все плывет...

Как-то расходятся, как-то обходятся и вот уже спрашивают вежливо:

— Руки, ноги здоровы?

— Аман!

— Верблюды, кони, бараны здоровы?

— Аман!

Так соединяется караван и плывет по сухому желтому морю между солеными озерами со страшными фиолетовыми краями к одному всем известному дереву с пресным ручьем. Тут караван останавливается ночевать. Собирают кизяк, разводят огонь. Выходит пустынный месяц. Вырисовываются бронзовые профили кочующих народов.

А кто это бородатый там, у костра, с женщиной в платочке?

Все те же изгнанные Адам и Ева ищут себе земли. И повторяют:

— Никто как бог!

Верно, старому богу наскучили жалобы сотворенного им из глины Адама, и он создал другого человека и опять впустил его в рай, и опять этот второй Адам согрешил тем же грехом и с тою же старою заповедью был изгнан из рая в поте лица обрабатывать землю. Только, выгоняя второго Адама, бог забыл, что земля вся занята и новый человек, как забытый, пропущенный на страницах Священного писания, бродит пока с покорным желанием найти землю и выполнить заповедь божию, ищет везде, по тайге, по степям и по тундрам, но все напрасно, нигде не находит, — хорошая земля везде занята.

ЛЕНА

Легка ты, Русь, своими хижинами, сгорела — и будто слезла старая шкура змеи. Но и тяжела же ты своими каменными, похожими на сундуки, домами купцов: один в один и везде одинаково. А хуже того, как задумает купец выстроить что-нибудь свое, небывалое. Так выстроил себе пароходчик Иван Астахов, командир сибирской шпаны, двухэтажный дом с вышкой, огромный, неуклюжий и мрачный, ни на что не похоже: ни дом, ни корабль. Для чего, одинокий, холостой, устроил себе такое большое жилье с танцевальной залой, люстрами и канделябрами на стенах? Видно, в свое время у него тоже был свой расчет на хозяйку, на большое женское приличное общество, но могучий человек на сибирских реках не справился с таким, казалось бы, маленьким делом — разыскать себе подходящую женщину, и от всей этой мечты остался только нелепый дом, похожий на речной пароход.

Внизу двенадцать комнат и вверху столько же, на вышке подзорная труба — смотреть в степь, на пароходы и на пожары; Иван Астахов — создатель и до сих пор начальник вольно-пожарной дружины. Тут же, на вышке, знаменитая лейденская банка, от которой в городе началось просвещение.

Много лет тому назад вместе с солнечными часами и кучей разных разностей Астахов привез ее, как диво, из России, и долго весь город ходил смотреть удивительную лейденскую банку и пробовать своим пальцем силу электрической искры. Случались такие разряды, что у любопытного палец надолго оставался крючком, но хоть умри, а, если уж зашел посмотреть лейденскую банку, Астахов непременно заставит на себе испытать силу разряда. Река вина была выпита за столом с лейденской банкой, горы пельменей были съедены — в уксусе, вареных в молоке и дорожных, сушеных, прямо из мешков. За сибирскими разговорами — кедровыми орешками — и родилась от лейденской банки и от одного ссыльного естествоиспытателя Барабина мысль открыть гимназию и так начать просвещение города, наполненного баранами и верблюдами кочующих народов.

Молчаливой тенью в мягких туфлях ходит по дому дрессированный лакей Александр, лимонно-бледный, с потаенными глазами. Он еще с полночи начинает готовить страшно крепкий чай своему господину: Иван Астахов одинаково зимой и летом встает с петухами и до начала своих пароходных дел занимается чтением. Чего только он не нахватал для своей библиотеки!.. Много тут есть всяких романов, но не в них дело, — Астахову дорога в книге умственность, такое, чтобы можно было поломать свою голову и все-таки до конца не понять и оставить догадку себе: есть

Дрепер и Бокль, есть Дарвин и Спенсер, из каждой такой книги выходит как бы вызов всему свету. Вот это и есть самое драгоценное, заманка всего чтения. Даже Апокалипсис у него не простой, а подделка под XVI век, проданный букинистом за большие деньги как оригинал; такую книгу читать совсем невозможно, а зато как хорошо показать гостям загадочное и шепнуть: «Эта книга тоже с душком». Но есть святая святых библиотеки, тайна из тайн, и показывается только избранным: роман «Что делать?» таинственного автора, «Знамения времени», Ренан «Жизнь Христа» и Кеннан «Сибирь и ссылка», две книги рядышком в одинаковых переплетах, будто два тома одного сочинения; есть и запрещенная «Крейцера соната» Толстого, переписанная со многими ошибками рукой легкомысленной свояченицы самого уездного начальника. Хорошо все-таки не знать методов научных исследований и до старости читать разные книги с постоянной надеждой, — что вот какая-то вдруг откроет сразу все; но без всякой связи этого чтения с делом даже Астахов устал и накинулся на энциклопедию, как ученый на метод. Он уже близился к половине, тома, посвященного букве А, как вдруг ему предстала статья «Азбука» и читать ее не захотелось. Для отдыха он взял том с буквой П и сразу на все утро увлекся Платоном, потому что эта большая статья была ключом к загадочному и везде повторяемому: «любовь платоническая». Начитанный за ночь Платоном, он зовет к утреннему чаю своего племянника с лукавой затеей посрамить гимназиста.

На зов приходит Алпатов, робкий и смутный, как зверек, пойманный и посаженный в огромную клетку.

— Чай пить! — говорит ему дядя.

Пьет и, раздумывая о чем-то своем, забывает на время о племяннике, будто его тут вовсе и нет, и только на половине стакана вспоминает и говорит:

— Чай пить — не дрова рубить!

Но Алпатову кажется, куда легче бы рубить дрова, чем пить чай с тяжелым человеком, молчать и прислушиваться к мертвому ходу лакея Александра в его мягких туфлях. От напряжения молчания у него начинают даже показываться в глазах прозрачные фигуры разного цвета и проплывать справа налево, и все больше и больше их, так что кажется, если Гие разогнать их словом и оставаться в молчании, то и тебя самого утянет в какую-то бездну. Нет, невозможно больше молчать, и Алпатов, с риском сказать непоправимую ерунду, хватается за первое, что приходит ему в голову:

— Нас учили, дядя, что под землю огонь.

— Конечно, огонь, а то от чего же вулканы?

— Вулканы-то, говорят, могут быть и от воды: под землей вымываются громадные пещеры, своды их иногда обрушиваются, и с такой силой, что от удара вода обращается в пар и плавятся металлы, вот почему из вулканов показываются сначала газы, а потом лава, это называется нептуническая теория происхождения вулканов. А то есть еще теория плутоническая.

— Платоническая? — спрашивает дядя, очень довольный, что так можно связаться с Платоном и песрамить этого маленького разумника. — Так, стало быть, о вулканах еще Платон размышлял?

— Не Платон, дядя, а Плутон. Плутоническая теория строится на предположении, что под землю огонь. Плутон был бог огня, а Платон греческий философ, ученик Аристотеля, он...

Дядя не выдержал, ему от слов Алпатова стало почти так же худо, как тому от дядина молчания.

— Ну, ты меня не учи, — перебил он племянника, — Платона я знаю, наверно, получше тебя. А до Плутона еще не дошел.

Испуганный наступлением ужасного молчания, Алпатов опять схватился за первую проходящую через голову мысль и сказал, никак не желая задеть дядю:

— Как это вы, дядя, так скоро могли пройти с буквы А до Платона?

Дядя встает страшно рассерженный: хотел поймать племянника на Платоне, а мальчишка сам поймал его на Плуtone.

В таком настроении Астахов идет в кабинет заниматься пароходными делами, и вот беда теперь, если придет к нему кто-нибудь в себе не уверенный и робкий, как несчастный капитан, чуть не погибший в воде Иртыша. И нужно ж было так случиться, как раз и приходит этот капитан Аукин просить прощения, о чем-то шепчется с Александром, озирается, решается, идет по коридору в кабинет... А через минуту оттуда слышится удар железного костыля о пол и на весь дом:

— Ос-с-сел!

Аукин вылетел из кабинета, как из пушки ядро, и в передней встречается с тем самым желтым капитаном из шпаны, что сменил его на пароходе «Иван Астахов».

Кто он такой? Появляется откуда-то снизу по винтовой лестнице и там исчезает, живет там или приходит? У него какие-то отношения с Александром, и с поваром, и с женой повара Настей, и к дяде он входит просто и во всякое время.

— Вышло? — спросил он Аукина.

— Чуть не убил костылем.

— Погодите немного здесь.

Уходит в кабинет, и через минуту дядин голос оттуда:

— Александр, позови сюда этого осла. Аукин крестится и просит Алпатов:

— Загляните поскорее в окошко, там дочка моя Алена... Что, она стоит там? дожидается?

Алпатов заглянул. Там под тополями стояла девушка в шляпке с лиловыми цветами, с лицом, наполовину скрытым в русых кудряшках.

— Она здесь! — крикнул он.

Аукин еще раз перекрестился и шагнул в кабинет.

Кто же этот таинственный желтый капитан? Откуда у него такая чудодейственная сила? Выходит из кабинета с Аукиным, счастливым, сияющим. Снизу с тряпкой поднимается Настя, манит рукой; желтый капитан опять с ней исчезает по винтовой лестнице. Аукин делится радостью с Александром: он опять капитан «Ивана Астахова». Потом Алпатов видит из окна, как на радостях отец встречается с дочкой Аленой, выделывает ногами и руками какие-то вензеля, будто его дергают за веревочку, как бумажного акробата. Алена быстро, испуганно взглядывает вверх и встречается глазами с Алпатовым; на носу у нее и на щеках такие веснушки, будто из каждой скоро должна вылететь птичка с удивленными глазами и бархатным бантиком на белом горлышке. Она очень смутилась, увидев чье-то лицо в окне, и что-то строго сказала отцу. За тополями они быстро скрываются, но что, если побежать скорей на второй этаж и посмотреть сверху? Так и есть, идут по направлению к пристани по деревянным мосткам. Оглянется или нет? Если оглянется, будет хорошо, нет — худо. Оглянулась на повороте и скрылась за стеной товарной конторы. А что, если теперь забраться на вышку? Бежит скоро туда, и опять видно. Смотрит в подзорную трубу, — вот бы теперь оглянулась: ну же! ну, ну, ну!.. Она оглянулась, и разом из всех ее веснушек вывелись птички, все сорок сороков полетели на вышку и на ту золотую луговину, где стоит певучее дерево; кто-то сорвал на лугу белую ромашку и загадывает: любит или не любит? А наверху-то, на певучем дереве, так хорошо звенят струны святого пчелиного труда, и ничего в том не понимающие шмели дураками густо басят: «Жениться, жениться...»

— Ты кого это смотришь? — грянуло сзади.

— Там в степи, дядя, кажется, дымок показался, — вы ожидаете «Лену»?

Астахов берет трубу — и очень радостный:

— Да, это «Лена» идет.

— «Лену» я еще не видал. Она большая?

— Сейчас увидишь.

Простым глазом видел Алпатов, как шла на пристань с отцом Алена, и думал: она большая, взрослая, барышня, какое ей дело до него, но все-таки почему же она все оглядывалась?

ФЕСТИВАЛЬ

— Ты сегодня, — сказал дядя Алпатову, — постриги свои лохмы и почистись немного к вечеру: у нас будет фестиваль.

— Фес-ти-валь?

— Ну, да. Гости соберутся, и директор приедет. Директор — умнейший человек. Все нонче будут, и немец. Ты по-немецкому как?

— Слабо.

— Я и попа позвал. По закону тоже плох?

— Плох и по закону.

— Держись поумнее. Безобразием нашим не хвались.

— Каким безобразием?

— Обыкновенным безобразием, что бога нету, что царя не надо. Тебя с волчьим билетом выгнали. Все это, знаешь, они, пьяные, наверно, все будут ниспровергать, а ты не встревайся.

Астахов помолчал, приступая к самому главному.

— Вот еще что, должно быть, и уездный начальник тоже будет. Человек он у нас свой. Только ему другой раз бывает неловко, над ним тоже есть начальник. Ты за столом не бултыхни про... нашего гостя.

— Про желтого капитана? — догадался Алпатов.

— Зови как хочешь. Только лучше забудь его совсем: нынче ночью он от нас пропадет.

— Куда же пропадет он, дядя, можно спросить? — В степь пропадет.

— Дядя, — осмелился Алпатов, — вы напрасно со мной говорите, как с маленьким. В гимназии меня уже хорошо научили конспирации. Я хотел бы знать, как это можно пропасть в степи?

— А степь такое дело — в любую юрту пойдешь, и тебе барана зарежут. Все пастухи. Прибейся к любому аулу и гоняй баранов, хоть год, хоть два... Один политик у нас так и вовсе пропал.

— Погиб?

— Зачем погиб. Живет где-нибудь. Слышали даже, что и женился. Только этот аул перекочевал далеко за Голодную степь, оттуда уж ничего не доходит. Другой политик через пятнадцать лет объявился, ребяташек с собой своих привез, желтенькие, косые. Ну, ладно! Лохмы свои ты ступай сейчас же подправь.

От этого разговора у Алпатова на сердце остается что-то хорошее, и по пути к парихмахеру он догадывается: отчего бы это так? Сначала он подумал на желтого капитана, что это от него: так свободно живет, захочет — с каторжниками в тайге, как и со всеми, все его и там слушаются; захочет — в степь, и там будет жить с пастухами. Вот бы уйти с ним. Разве уйти? Нет. Нельзя. Надо вперед непременно сделаться первым учеником и доказать. Кому доказать, — он не спрашивает себя, — куда-то в пространство, доказать, где судят и где — все. Надо всем доказать. Однако от мысли, что нужно себя всем доказать, явилось какое-то очень неприятное раздражение, и, значит, хорошее было не в этом.

— Вы мне волосы постригите, только чуть-чуть, — сказал он парикмахеру. И вдруг, глядя на свои волосы, вспомнил свое хорошее: дядя говорил, вечером будут капитаны с женами, значит, и Аукин будет, и с ним, может быть, придет и она. Нащупав в себе это верно-хорошее, он опять, как тогда на вышке, очутился возле певучего дерева и так и не расставался с ним до самого вечера. Близ заката солнца на эту золотую луговину с певучим деревом стали приходиться гости и бросать на цветы свою огромную тень. Пришел директор гимназии, такой же, как дядя, большой человек и тоже опасный. Он сел в кресло и, задумавшись, стал одной рукой на другую мотать свою длинную, как у Черномора, бороду, а глаза свои забыл на Алпатове. Несколько раз Алпатов украдкой взглядывал и каждый раз с отчаянием замечал, что глаза директора стоят на нем. Потом этим страшные глаза, не отрываясь, начинают смеяться и в то же время разглядывать в глазах Алпатова так пристально, как бывает, если задаться найти в глазу другого обыкновенного, опрокинутого в зрачке человека. Вот он, страшный Черномор, поймал его человека и потянул, потянул к себе. Алпатов, расширив глаза, открыто пошел в эти великаны глаза, и вдруг они стали изменяться и как будто смущенно отступать.

— С волчьим билетом, — сказал дядя.

— Вижу, — ответил Черномор.

— Ну, как же нам с ним?

— Ничего, человечек у него в глазу, кажется, цел, а другое все пустяки.

И, подхрюкнув себе в бороду, быстро стал ее разматывать.

Астахов щелкнул ключом в таинственном шкапчике, где хранились драгоценные сорта вин для самых лучших приятелей, и, оглянувшись на племянника, сказал:

— Скажи там, чтобы начинали. Если Марья Людвиговна пришла, она уж знает, как нужно. А ко мне никого не пускайте — я занят.

Уходя из кабинета, Алпатов слышал, как директор сообщил Астахову

важное известие, что скоро в Сибирь поедет путешествовать наследник и с этим будет связана закладка железнодорожного пути через всю Сибирь.

— Улита едет, когда-то будет, — ответил Астахов.

В передней лицом к лицу Алпатов встретился с Марьей Людвиговной. Играя черными своими глазами, сверкающими камешками на ушах и на шее, вся в чем-то белом с золотом, она подхватила юношу под руку, и ему стало, будто он вышел в какую-то богатую, веселую залу и в ней были все цветы и музыка. Марья Людвиговна достала гребешок, по-своему причесала Алпатова и дала ему роль, — он будет в передней встречать гостей, провожать в гостиную и всем говорить одно и то же: «Дядя извиняется, он сейчас выйдет». Никогда в своей жизни еще не видал Алпатов таких женщин, но знал, что есть такие: или снились, или где-то читал. На мгновение ему стало на душе совсем небывало особенно: будто какой-то окончательный и настоящий праздник настал, и он теперь никого не боится и стал вдруг большим, как все. Но как только раздался звонок, он вспомнил про нее, и от этого стало ему больно. Предчувствие не обмануло: входит капитан Аукин.

— Пожалуйста в гостиную. Дядя извиняется. Он сейчас выйдет.

— Вот как-с, — растерянно улыбнулся Аукин.

В гостиной навстречу гостю встает Марья Людвиговна и встречает Аукина как настоящего гостя. Марья Людвиговна играет и сверкает для всех одинаково.

— Почему же не пришла милая Аленушка?

— Собиралась, да я отговорил, другим обидно очень.

— Вы бы и других взяли.

— Как их возьмешь, ведь их у меня одиннадцать номеров-с.

Печальный возвратился Алпатов в переднюю встречать гостей: она не придет, вечер был пустой. Но все-таки хорошо было догадываться, что не придет она потому, что бедная и гордая, и он такой же, как она, бедный и гордый. После этого богатая и роскошная Марья Людвиговна стала ему враждебной, и он решил с ней бороться.

А гости начали звонить один за другим. Сначала шли все больше капитаны и управляющие пристанями, с сибирскими фамилиями — Россошных, Беспалых, Долгих. Потом начались учителя. Саратовский немец Яков Иванович Мюллер в форменном вицмундире; учитель словесности, тоже в форме, тонкий, как игла, с двоящимся взглядом, с кривыми губами и с рябою, похожей на картошку, женой; инспектор, молодой, ловкий, кругленький украинец Косач-Щученко; чахоточный учитель математики, чех Пикель; лохматый бурсак, учитель истории

Смирнов. Роскошным явился уездный начальник, гигант с открытым лицом и двойной бородой.

— Дядя извиняется, — сказал уездному начальнику Алпатов.

Но тот, не слушая, прямо идет в кабинет и там скрывается от преследующего его Алпатова. Весь красный от гнева, Алпатов бежит к Марье Людвиговне и, запыхавшись, докладывает ей о «безобразии» уездного начальника.

— Пойдемте немного пройдемся, — сказала ему, улыбаясь, Марья Людвиговна.

И, взяв его под руку, идет с ним по коридору в переднюю. Лакей Александр куда-то ушел, никого тут не было. Тут, обняв юношу, она сказала:

— Ты очень мил, давай поцелуемся. Алпатов отпрыгнул в угол, как от змеи.

Но ей он от этого еще больше понравился. Она идет к нему, наступает ближе, и ближе улыбающиеся алые губы с маленькими черными усиками и белые хищные зубы.

— Марья Людвиговна, — говорит он, — я буду драться.

— Дерись, — отвечает она с хохотом, — я очень рада. Запускает ему в волосы обе руки и тянет к себе голову. Он сжал кулаки. Но вдруг все зазвенело.

— Звонок, — сказала она, — открой дверь, но только помни, я до тебя все равно доберусь.

Явился толстый протопоп Иоанн и тоже было направился в кабинет, но встретился в коридоре с директором и Астаховым. Все трое пошли в столовую. Алпатов идет за ними и на пороге стоит в изумлении. На большом столе посредине целая бочка с икрой, обложенная кедровыми шишками и потом дальше аршинными навагами, осетрами, стерлядями, нельмами; там дымились горячие пельмени; из кедровых темно-зеленых веток выглядывали бутылки. Так Марья Людвиговна по своему вкусу создала стиль сибирской тайги.

Из другой комнаты, от карточных столов, чуть видные в облаках табачного дыма, сходятся гости.

— Благорастворение воздуха и изобилие плодов земных! — сказал священник Иоанн.

— Приступим, батюшка, — ответил Астахов. Директор хрюкнул, наматывая бороду. Священник Иоанн благословил все, начиная с икры, обошел вокруг стола, не забыл ничего. После этого все бросились к столу с тарелочками в руках.

— По случаю какого-нибудь события настоящее торжество? — спросил священник Иоанн.

— Определяю племянника в гимназию, — ответил Астахов, — это первое, а второе, по случаю грядущего проезда наследника цесаревича по Сибири и закладки железнодорожного пути.

Тогда, выпивая, все заговорили о значении пути для Сибири и, главное, для паромщиков. Катаев и Китаев, два маленьких паромовладельца, каждый свое доказывал Якову Ивановичу Мюллеру: Катаев — что паромщики выиграют, Китаев — что проиграют.

— Будет всем хорошо, — отвечал Яков Иванович, — Сибирь будет как Америка.

— Вы бы на эту тему речь за ужином сказали, — попросили Мюллера.

— Да, я собирался сказать маленькую речь, — ответил немец.

Аукин душевно открывался:

— Я своего мнения не имею, у меня одиннадцать номеров, и я не могу иметь мнения, я — не я, надо мной одиннадцать номеров!

— Саша, друг, — сказал управляющий Россошных, — лучше расскажи потихоньку, как он тебя в Иртыше искупал.

Аукин боязливо оглянулся на Ивана Астахова и ответил :

— Кто вымочил, тот и высушил.

Все курили и постепенно скрывались в облаках вместе с бочкой икры. Но это было только началом пира — в это время Марья Людвиговна в другой комнате готовила другой стол для ужина в стиле сибирских степей, вкладывая в рот целому жареному барану букет с ковылем. Тут пир открыл Яков Иванович Мюллер своей маленькой речью о значении предстоящего проезда наследника по Сибири и связанной с этим железной дороги.

— Сибирь тогда будет, — говорил Яков Иванович, — совершенно как Америка.

Директор громко хрюкнул и пробормотал:

— Что, к нам Америка из Петербурга приедет?

— Ну конечно, — ответил Яков Иванович, — из Петербурга. Сибирь-колония совершенно соединится с метрополией, и всем будет хорошо, очень даже хорошо.

В середине ужина тонкий учитель словесности начал говорить длинную речь просветителю края Ивану Астахову.

Но у него затянулось, и вдруг ловкий Косач-Щученко вырвал у него всю силу, крикнув:

— Выпьем за лейденскую банку!

Все крикнули «ура» и принялись качать Ивана Астахова.

Порядок исчез, места перепутались, капитаны сбились к одной стороне и запели «Вниз по матушке по Волге», учителя — «Не осенний мелкий дождичек». Те, кто не пел, обменивались через весь стол невозможными криками, взятыми, наверно, у кочующих в степях полудиких народов:

— Эй, бер-ге-ле-гет! — кричали с одной стороны.

— А ба-ба-ба-гыыы! — кричали с другой.

Усердно работая на той и другой стороне по восстановлению порядка, любитель застольного пения Косач-Щученко наконец захватил всю власть. Ему помогала Марья Людвиговна.

— Через тумба, тумба — раз! — пел Косач.

— Через тюмба, тюмба — два! — пела Марья Людвиговна.

— Через тумба, тумба — три! — схватили другие голоса.

— Телеграфный столб! — грянули все. Мало-помалу из всего этого хаоса определилась любимая

всеми «Зимушка» и, наконец, ее знаменитый куплет:

Как у нашего патрона Черт стащил с башки корону, И на нашем славном троне Село чувело в короне!

Начали пощипывать Марью Людвиговну. Иван Астахов даже извинился:

— Это я по-стариковски.

Аукин давно лежал под столом. Из кучи красных, потных, волосатых рож Алпатов заметил, как дядя манит его к себе, протягивает ему двадцатипятирублевую бумажку и необыкновенно сердечным голосом говорит:

— На-ка вот, съезди, пора, брат, я сам начал с двенадцати лет.

Потные рожи советовали дяде:

— Вам бы надо самим, — в первый раз страшно.

— Ну, что же, я и сам свезу. Вели-ка заложить Червончика. Только надо бы директора вперед спросить, как он смотрит на это. Ступай-ка найди его.

Алпатов идет искать и верит, твердо верит, что директор этого не допустит. Только бы поскорей найти его. Проходя коридором, в полутемном углу он заметил и поскорее, испугавшись, что его заметят, бросился в темную комнату: он заметил — в углу Марья Людвиговна целовалась с Косачом. Алпатов приблизил лицо к окну, и там ему за окном открылся мир совершенно другой там над степью открыто правил месяц и дрожала Алена-звезда, его Алена.

«А что, если, — схватился он, — дядя, не дождавшись директора,

велит ехать? Да и непременно же велит. Одно спасенье — найти поскорее директора».

Возле кабинета он слышит возню.

— Это ты, Александр? Чего ты кряхтишь?

— Помогите, — просит Александр, — директора вынести, вот только ноги маленечко попридержите.

Тяжелы ноги директора, но Алпатову очень хорошо, он рад помогать ему, директор очень хороший, и много хороших неведомых тайн, кажется ему, скрыто в его огромной, волнистой, волочащейся теперь внизу бороде.

По винтовой лестнице они спускаются вниз, и там на помощь приходит еще желтый капитан с сумкой за плечами и нагайкой в руке; все вместе переносят директора на пролетку, и Александр, даже без шапки, садится проводить его на квартиру.

— Директор, должно быть, хороший человек, — говорит Алпатов. — Только почему он напился?

— Умный человек любит выкинуть штуку. А вы видели хороших людей? спрашивает желтый капитан.

— Раньше их было много, — ответил Алпатов.

— Их и теперь довольно, только все они несчастные. Вот и директор такой.

— И я думал так.

— Вы много думаете?

— Да, я много думаю. Я постоянно думаю. Но бывают пустые минутки, и тогда мне бывает страшно.

— Чего вам страшно?

— Разное чудится; часто вижу, будто страшный китаец метится в меня из пистолета. Мне хочется, чтобы все время было наполнено.

— Как?

— Вот как эта звездочка — у нее нет темных мест. Капитан вдруг пожал ему руку и ничего не сказал. Сердце сжалось у Алпатова, и он не мог держаться.

— Я все знаю, — сказал он, — мне дядя доверил, и я привык уже заниматься конспирацией: вы сегодня уезжаете в степь. Вот бы мне тоже с вами вместе пропасть.

— Я должен скрываться, — ответил капитан, — а вы еще подождите, вам надо жить иначе.

— Вы правы, — вздохнул Алпатов, — мне еще много нужно доказать.

— Кому и что вы будете доказывать?

— Всем. Я непременно хочу быть первым учеником.

— Первым? Чтобы настоящим быть первым, не нужно много думать о первенстве, а если станете это доказывать, то сверху только будете первым.

— Как это? — живо спросил Алпатов.

Но в эту минуту тихо подъехал верховой киргиз, с ним была другая оседланная лошадь.

— Помогите мне поднять сумку на плечи, — сказал капитан. — Вот спасибо, дорогой, милый юноша, прощайте же.

Алпатов долго стоял на крыльце и думал, что, если бы у него был такой отец, как легко бы жилось, как хорошо бы во всем с ним советоваться. Загадочны слова капитана! Он просит объяснить свою звезду, но она ему шепчет неясное. Слышатся отдельные крики в степи. «Кто это? — спрашивает себя Алпатов. — Может быть, все тот же второй Адам ищет себе землю, вот ищет же, нельзя ему иначе, так и я хочу быть первым, и буду, и докажу это всем».

КОМПАНИЯ

Бежит дорога — иди по ней, широко ляжет вокруг тебя земля, и высоко станут навстречу города. Но если на пути о себе задумался, то это как змея укусила, и в самое сердце. Тогда и дорога, радостно бегущая по зеленой земле к городам, свитком совется вокруг себя самой и закроет хороших людей и природу.

Любят причиной этого считать самолюбие. Скажут: «Потому что у него слишком большое самолюбие». А бывает, и обратно скажут: «У него нет никакого самолюбия». Можно вселенную мерить на свой аршин, а можно себя измерить вселенским аршином: мера одна и та же — аршин. Так, верно, и самолюбие.

Проходит и год, и два. Наступает последний сибирский год. Прекрасно, первым идет Алпатов в гимназии, но все учителя и ученики в один голос говорят про него: «У него слишком большое самолюбие». Сам Алпатов тоже хорошо знает, что причина его одиночества — самолюбие, но как же быть иначе, если задался целью всем доказать самого себя. Ему очень трудно дается положение первого в классе, но еще трудней, достигнув, удерживаться, — чуть отвлекся в сторону, и другой, тоже с большим самолюбием, настигает, и смотришь — четверть прошла, он не король, а принц и платит дань королю. Так все и уходит на достижение первого, а вокруг самому заметно, как складывается среди других учеников

интересная, таинственная и ему не доступная жизнь.

Из всей серой массы обыкновенных учеников мало-помалу выдалась группа, как все ее называли — компания, и директор был ее тайный руководитель; они все собирались у него, будто бы для занятий по естественной истории. Николай Опалин, смуглый юноша и крепкий, как кремень, успевал все делать: и семью кормил уроками, и препарировал директору чучела сибирских птиц и зверей, и все книги перечитал, и вечера устраивал разные в пользу кого-то, и, чуть продремлет Алпатов, занимал в классе его первое место. Но только ему это давалось шутя, он все схватывал на лету, с губ учителя, и дома никогда не сидел, как Алпатов, за уроками. Настоящий ученый вырабатывался из сына директора Левы; он даже на переменах в классе все разглядывал в лупу жучка или цветок, и от него, такого тихого, на весь класс было высшее влияние, — все любили и уважали его. Еще был попович Фортификантов, переведенный за вольнодумство из семинарии, толстый, с квадратной головой, маленькими и страшно умными глазками. Фортификантов читал даже философию, и всякие ученые споры прекращал одной какой-нибудь коротенькой и по-своему сказанной фразой. Еще был украинец, здоровенный малый, лентяй, но зато развитой, и политику знал так, что в этом одним словом каждому рот зажмет. Семен Лунин, бледный, с горящими черными и в то же время добрыми кроличьими глазами, был весь в заплатах, самый бедный в классе, и тоже, как и Опалин, уроками кормил свою семью. Он занимался статистикой по книге Николая-она, в рассуждениях у него непременно были слова: безлошадные, бескоровные, однолошадные, двухлошадные. С компанией еще держался почему-то Соловей, вежливый, очень воспитанный юноша; никакого особенного в нем развития не было, но прекрасно он пел и выступал всегда на вечерах, устраиваемых компанией в пользу чего-то. Еще хорошо пел Земляк, с узенькими татарскими глазками, всем приятель, всем земляк. Эта компания в классе вся рассаживается рядам и на переменах ходит вместе, а на улице часто еще пристаёт к ним гимназистка Жучка, черненькая, с книжкой журнала «Вестник Европы» в руке. Жучка всегда идет впереди, а за ней воя компания. Алпатов слышал, как однажды Фортификантов сказал про Жучку: «Это — женщина будущего».

Кому бы, как не Алпатову, казалось бы, занять в этой компании самое почетное место, но вот как ни старался вначале он, а ничего не вышло. Он выбрал было себе Земляка, самого простого, рассказал ему, как выгнали его из гимназии, как он Бокля читал и понял законы исторические, а все, чему учили с детства, оказалось сказками. Земляк долго его слушал, и, видно,

ему было как-то не по себе. Когда же Алпатов кончил, он ему вдруг и говорит:

— Тебе, брат, надо высморкаться. Алпатов схватился за нос. Земляк засмеялся.

— Дурень, дурень, ты и вправду подумал...

После Земляка Алпатов обратился к самому ученому — Фортификантову, и тот его долго, поощряя частыми репликами, выслушивал, а сам все смотрел своими маленькими глазками в одну точку и наконец осмелился спросить:

— У тебя, кажется, там колбаса? Дай мне немного.

Алпатов дал ему отломить от своего завтрака. Фортификантов стал есть и рассказывать, что исторические законы имеют под собою более глубокие естественно-исторические, а чтобы приблизиться к их пониманию, нужно прочитать книгу Сеченова «Рефлексы головного мозга». Рассказывая, Фортификантов уплетал колбасу и не оставил Алпатову ни крошки. В другой раз было то же самое, и наконец, поняв что Фортификантов расположен к нему только из-за еды, Алпатов попытался обратиться к украинцу. Широкий этот украинец и на вид такой открытый, как большая дорога: приходи и уходи, когда хочешь, и ночью и днем.

— Какие такие законы? — сказал он насмешливо. Разговор был на улице, вся компания шла за Жучкой. Алпатов нарочно громко сказал, чтобы слышала Жучка:

— Ис-то-ри-чес-ки-е.

— Вздор, — ответил украинец, тоже так громко, что Жучка обернулась и внимательно поглядела на Алпатова.

— Ну, естественные, — сказал Алпатов, наверняка пуская в ход мудрость Фортификантова.

— Вздор и это, — воскликнул украинец, — никаких нет законов, все относительно.

— Ну, это вы чересчур, — обернулась Жучка, — есть же все-таки нечто.

— Нечто? — воскликнул украинец. — Я вам сейчас скажу, что это нечто.

— Что?

Украинец поднес палец к самому ее носу и, обрубая им каждый слог, отчеканил:

— Ав-то-ри-тет-с!

— А как же первая причина? Первое движение? — рискнул спросить Алпатов.

Украинец опять отчеканил, рубя пальцем перед самым носом Алпатова:

— Ме-та-фи-зи-ка!

Слово «метафизика» было сказано с таким презрением к ней, с таким авторитетом, что дальше спорить было невозможно.

Алпатов отошел от компании и слышал, как женщина будущего спросила:

— Кто этот франт?

— Купчик, — ответил украинец, — племянник Астахова. Уничтоженный и подавленный, шел Алпатов, и казалось ему, какие-то шкуры стали слезать с него: конечно, у него было это чуть-чуть в уме, что он племянник самого богатого человека, но ведь это случайно. Он кончит гимназию, уедет, и опять он — бедный, просто Алпатов. И потом ведь это отец его был Алпатов, и он отца своего не знал, значит, он же и не Алпатов. Кто же он сам по себе? Как же украинцу нет никакого дела до этого и до самого главного? Смутно, как бы веянием пролетающих над ним мыслей, Алпатов чуял в этом «сам по себе» самую ту первую причину и самое важное, но тут же и упирался в то, чем его все упрекали, — в са-мо-лю-би-е. Раз во время урока Алпатова осенило, что лучше всех из всей компании Семен Лунин, прекрасно бедный, каким бы и он хотел быть и когда-нибудь непременно и будет, вечно занятый своими любимыми вычислениями по статистике. На большой перемене Алпатов подходит к нему и заводит разговор, такой же, как с Фортификантовым. Семен, не отводя карандаша от своих вычислений, обертывается к нему и спрашивает:

— Читал ли ты Чернышевского «Что делать?»?

— Нет, не читал, — ответил Алпатов.

— Прочти, а потом приходи разговаривать.

И принялся за своих безлошадных.

У дяди в библиотеке книга «Что делать?» была на почетном месте. Алпатов ее читает и никак не может понять, чем же эта книга замечательна и почему запрещена. Ему кажется, после социалистов и нигилистов, какими они изображены у Тургенева в «Накануне», в жизни уже не может быть таких людей, и зачем их повторять в жизни, если они уже кончились у Тургенева. Главное же понял Алпатов из чтения Сеченова, Дарвина, Чернышевского, Спенсера, что, должно быть, не развитие разделяет его с компанией. «Тут что-то в директоре», — решил он однажды во время обедни в гимназической церкви. Это он не раз замечал, что, когда священник Иоанн Лепехин говорит свою проповедь, директор вдруг подхрюкнет и начнет сматывать и разматывать свою бороду. Тогда

непрерывно на лицах всей компании отражается та же самая насмешливая улыбка директора. Но Алпатов сначала никак не может понять, что же такого особенного в обыкновенной поповской проповеди, над чем можно такому, как директор, смеяться. Раз священник Иоанн говорил, что вода святая, крещенская никогда не портится; поставить две бутылки — с болотной и святой водой, одна непременно скоро испортится, другая — никогда. Мгновенно, без всякого намерения смеяться, Алпатов подумал: «Вот хорошо бы освящать воду в болотах, где разводятся комары и всякая нечисть, в них вода бы стала живой, как в реке». В то время как Алпатов подумал по-своему об осушении болот, директор хрюкнул, и на лицах всей компании появилась улыбка. Рядом стоял Николай Опалин, и Алпатов перешепнул ему свои мысли о святой воде. Очень понравилось Опалину средство от комаров, и, когда приложились к кресту, он сказал:

— Давай догоним директора и предложим ему твое средство от комаров, он естественник, ему это нужно.

Со смехом они побежали по коридору и настигли директора у самой его квартиры. Опалин сказал:

— Алпатов сейчас выдумал средство оздоровления болот, я не мог утерпеть...

— Где тебе утерпеть!

— Нет, правда, замечательно: в Крещение нужно освящать не только реки, но и болота, а так как святая вода не портится, то комаров в болотах не будет.

— Комар — полезное насекомое, — ответил директор, — он жалил и спать не дает, вы бы что-нибудь от мух придумали, — те сладкое любят.

В это время Алпатов не принял замечания на себя, и, правда, директор, конечно, не намекал на Алпатова, что он, как муха на сладком, живет на всем готовом у богатого дяди.

— Тебе нравится директор? — спросил Алпатов при выходе из гимназии на улицу.

— Еще бы, — ответил Опалин, — наш директор — крупная политическая фигура, это у нас единственный человек с выработанным миросозерцанием.

Так и сказал, как обыкновенное слово: миро-со-зер-ца-ни-е.

Конечно, и Алпатову слово это встречалось в книгах, сам он еще ни разу не произносил его вслух. Краснея от волнения, чтобы как-нибудь не ошибиться в первый раз, Алпатов робко спросил:

— А какое это миросозерцание?

— Человеческое, — ответил Опалин.

Навстречу гимназистам по улице несли большую чудотворную икону, многие падали на землю и потом пролезали под нее.

— А разве может быть и нечеловеческое мирозерцание? — спросил Алпатов.

— Вот! — показал Опалин на икону и толпу. — Это нечеловеческое.

— Как нечеловеческое? — удивился Алпатов. — Это изображен Спас, он был человек.

— Надо сказать — «и человек», а главное — бог. Знаешь, тебе это не приходило в голову, что Христос если бы не захотел страдать, то всегда бы, как бог, мог отлынуть, и у него, выходит, страдание по доброй воле, а настоящий обыкновенный человек не по доброй воле страдает.

— По злой воле? — сказал Алпатов. — Да, мне это часто приходило в голову.

— Вот и директор нас так учил, что люди, берущие себе в образец бога-человека, совершают сделку с самими собою: когда им трудно быть, как бог, они говорят: «Мы же не боги, мы слабые человеки», — а когда им по-человеческому трудно, они прячутся на небеса. Но в человеческом мирозерцании вся ответственность падает на себя, тут человек заперт в себе, не увильнет. Так нас учил директор.

Опалину, верно, очень нравился Алпатов, и по мере того как он говорил, голос его становился все мягче и мягче, и вот какая-то большая тайна готова была сорваться с губ, он даже и начал было:

— Тебе бы тоже надо примкнуть к...

Но Алпатов, раздумывая о своем, не слышал Опалина и вдруг его перебил:

— Ты говоришь «человеческое мирозерцание». Но почему же все такие мысли мне приходят в голову днем, если я, задумавшись, смотрю на птиц, летающих в небе или отдыхающих в зеленых деревьях, а ночью на звезды, особенно звезды, и от них начинается, по-моему, мирозерцание. А ты любишь смотреть на звезды?

— У меня нет времени этим заниматься, — ответил Опалин сурово, — и птиц тоже не видно из моего окошка.

И уже больше не захотел продолжать свою начатую перед этим фразу.

— Так вот, — продолжал Алпатов, — ты сказал — у директора человеческое мирозерцание. Сколько времени прошло с тех пор, как я в первый раз его увидел, а только теперь я вполне понимаю, что он мне тогда сказал.

— Что он сказал?

— Он смотрел на меня долго, я рассердился и стал сам на него тоже

смотреть, и после этого он сказал моему дяде: «Человечек у него в глазу, кажется, цел».

— Он это сказал? — удивился Опалин.

— Что же тут особенного?

— Ничего особенного, я сам знаю, что у тебя цел человек, но положение твое невыгодное: мы собрались вокруг него бедняки, дети ссыльных, а ты племянник самого богатого купца в Сибири.

Мигом вспомнил Алпатов, как Жучка сказала о нем франт, а украинец вслед за нею — купчик и что, может быть, директор своей мухой на сладком тоже намекнул на него. Вдруг ему стало понятно, почему он никак не может сойтись с компанией.

— Мне налево, — резко оборвал он разговор с Опалиным. И пошел налево, по набережной.

А не оборви разговора, он не пошел бы один. Опалин уже с другого конца был опять близок к признанию.

Теперь же он шел совершенно один, возмущенный, погруженный в себя. «Они бедные дети ссыльных, — думал он, — а у меня такого отца не было, я сам себя сослал в Сибирь, я сам поднял бунт в гимназии, они получили от отцов своих это даром».

Вот когда свитком свертывается дорога вокруг себя: он идет по набережной и ничего не видит, он, как теленок, привязанный на колу, кол это они, теленок, идущий кругом, — я, и только всего существует в мире: я и они. «При чем тут Астахов, — говорит он кому-то, — это совершенная случайность, что я с ним, я — Алпатов... да нет, я и не Алпатов, это тоже случайность, я — это я сам, как они этого понять не могут, я сам — и больше нет ничего». И ничего больше не было, ничего вокруг себя он в эту минуту не видел; над необъятной степью-пустыней у берегов могучей бездушной реки носилось какое-то его «я сам», без Астахова, без Алпатова.

Послышались чьи-то шаги, такие гулкие на деревянных мостках набережной и такие страшные, как смерть.

Шел китаец.

Алпатов похолодел. Идет тот самый китаец, что видится ему часто во сне; китаец наводит на него пистолет, стреляет, Алпатов падает, и потом он, этот самый названный «я», с таким участием, с такой болью смотрит в щелку на ноги убитого Алпатова.

Китаец идет ближе, и ближе шаги, сейчас все так и будет, как во сне. Предсмертный холодный пот выступает. Но китаец проходит мимо, шаги удаляются и замирают. Предчувствие обмануло, и, может быть, это даже и не китаец мимо прошел.

А было воскресенье, и солнце, проникнув в пустой сучок одного забора, лучом своим ударило прямо в глаз. Алпатов очнулся, и мимолетное ощущение китайца-убийцы стало теми пустяками, какие бывают у всех и что здоровые люди отгоняют от себя, как святые — бесов. Так и у Алпатова убийца-китаец сменился радостью, широкой на весь мир; он увидел в пустой сучок, откуда на него вырвался солнечный луч, в саду с ножницами в руках бродит Алена и подрезает на яблонях лишние побеги — волчки. Все птички, что гнездились в ее веснушках, теперь вывелись, все щебетало и пело.

Вот бы сказать теперь Алене, открыться, что он не Астахов и не Алпатов, а кто-то совершенно новый и еще неведомый, неназванный. Поймет Алена? Конечно же, Алена все поймет. Но зачем ее беспокоить, искушать, пугать! Все равно она и так с ним идет и наполняет радостью. И туда она с ним идет, в этот большой мрачный дядин дом, и, конечно, это она дает ему смелость просто войти в кабинет дяди и звонко сказать:

— Будет вам, дядя, читать свою ужасную энциклопедию. Какую штуку я сейчас вам расскажу!

И рассказывает ему про святую и болотную воду.

— Вот чудо-то, — говорит дядя, — а ведь я тоже думал до сих пор, что святая вода не портится. Надо бы это попробовать.

— Зачем же пробовать, дядя, — смеется Алпатов, — вода портится оттого, что в ней есть гниющие вещества, и если бы молитвой можно было остановить гниение, то незачем бы и человеческие трупы зарывать в землю.

— А ведь и правда, — удивился Астахов и даже чему-то очень обрадовался. — Но почему же я всю жизнь считал, что святая вода не портится? Бывает же так, вобьют в детстве глупость, и потом всю жизнь ее колом не вышибешь. Надо, брат, учиться, надо учиться, а то заедят попы с бабами.

ШКОЛА НАРОДНЫХ ВОЖДЕЙ

По всем рекам Западной Сибири и даже Восточной: по Оби, Иртышу, Лене и Енисею, от парохода на пристань и с пристани на другой пароход, всем на удивление, бежал слух, что могучий и непреклонный Иван Астахов, поднося хлеб-соль наследнику русского престола, струсил, не договорил свою речь и уронил к ногам его серебряное блюдо.

— Всею шпаной управлял, — удивлялись сибиряки, — а какого-то

Николая струсил.

Удивлялись. Другие злорадно смеялись. Только один капитан Аукин сказал:

— Ничего нет удивительного: будь я на его месте, тоже бы уронил.

Директор сначала не поверил, а когда все заговорили и даже очевидцы приехали, объяснил это странное явление исторически:

— Все наши бесстрашные покорители сибирских татар — купцы — с великим страхом потом припадали с стопам царя. Наш весь купец такой и шебаршит только, если царь далеко.

После всех этих судов и пересудов явился наконец и сам Иван Астахов на пароходе своего имени. Никогда не видал Алпатов дядю таким. Казалось, он теперь с утра до вечера был сильно выпивши и всех встречал одними и теми же своими рассказами о наследнике. Начиналось всегда с глаз: какие у него чудесные глаза, какие глаза, потом, как хорошо он играет на заводной рояли.

— На заводной? — говорили гости. — Что же тут трудного — ручкой вертеть!

— Ты сначала поверти и потом говори, — отвечал недовольно Астахов.

И продолжал рассказывать, как ему раз случилось заглянуть в щелку царской каюты (камердинер устроил за хорошие деньги).

— И что же, — умиленно, как о собственном маленьком ребенке, говорит Астахов, — он протянул себе веревочку от дивана к дивану и прыгает себе, прыгает...

Но самый интересный рассказ был про пажика, что прехорошенький был с ним пажик.

— Конечно, это была девушка, — неожиданно и с тем же умилением, как о веревочке, объявлял он гостям.

Гости (были и дамы) этому очень дивились и почему-то все непременно в этом месте рассказа спрашивали:

— Как же так?

— Очень просто, — отвечал Астахов, — это хоть кому доведись, необходимо для здоровья, мне так и камердинер сказал.

После пажика следовал самый животрепещущий рассказ, из-за чего больше всего и собирались любопытные: о том, как Астахов подносил наследнику хлеб-соль.

— Я сказал кратко, — начинал он этот всеми жданный рассказ: — «Ваше императорское высочество изволили посетить наш отдаленный Север...»

На этом месте рассказа Астахов делал большую паузу, и гости с волнением ожидали, что вот теперь-то и будет сцена падения блюда, но Астахов делал паузу только затем, чтобы с силой ударить на следующее затем слово «мы».

— Мы, представители западносибирского пароходства, в ознаменование сего величайшего события, подносим вашему императорскому высочеству хлеб-соль.

— И все? — спрашивали разочарованные гости.

— Все, — отвечал Астахов. — Я сказал кратко: «Ваше императорское высочество изволили посетить...»

И повторял свою речь еще раз сначала.

Одни уходили, другие приходили, как на выставку, и рассказ повторялся с утра и до вечера. За обедом, за чаем, за ужином, ежедневно слушал все Алпатов, и даже когда забирался к себе наверх, то и туда долетала сильно ударяемая фраза: «Мы, представители западносибирского пароходства...»

Наконец, явился сам директор к Астахову и сразу все прекратил. Увидев в окно директора, Алпатов спустился по лестнице послушать, как отнесется он ко всему.

— Стой! — крикнул директор во время паузы перед «мы». — Стой! стой! Сейчас же мне говори, что в это время случилось.

— Что случилось? — робким голосом переспросил Астахов.

— Ты уронил блюдо с хлебом и солью? Молчание. Голос директора:

— Ты уронил?

— Ну да, уронил, — глухо ответил Иван Астахов.

У Алпатова сердце сжалось, до того ему стало больно за дядю, и, видно, директор тоже не смеялся и только вымолвил:

— Эх, ты...

Чтобы замять эту неловкость, директор сказал:

— А у нас для выпускного класса как раз на эту тему из округа прислали сочинение: «О значении проезда наследника по Сибири»...

— Как же так? — спросил дядя. — Выпускная тема присылается из округа в запечатанном конверте и распечатывается только во время экзамена при всем совете.

— В конверте, — ответил директор, — а умные люди и через конверт видят. Я мальчишек к экзамену вот как налажу.

— Но ведь это же нехорошо, — сказал Астахов. Верно, директор на минутку смешался: было молчание.

— Я тебе не раз говорил, — начал директор небывалым голосом, без

обычной насмешки, — школу в таком виде, как нам задают, я не признаю, внутри этой казенной школы я создаю школу народных вождей. Я делаю большое дело и держусь только тем, что моя гимназия первая.

Видно, и Астахову стало неловко или жалко директора, он сказал ему торопливо:

— Да я ничего. Разве я что... я это так... твое дело, конечно, большое, и не все же в кон, можно и за кон. Давай-ка вот еще...

Звякнули стаканы.

Ошеломленный услышанным, Алпатов идет к себе наверх, бросается в кровать.

«Школа народных вождей! — бормочет он. — А я тут рядом у всех на виду достигаю первого ученика и золотой медали в казенной школе и этим всем хочу себя доказать И вот доказал — дурака доказал...»

Стало вдруг все понятно до мельчайших подробностей, почему все они презирали его достижения, почему смеялись, когда учитель словесности за его сочинения по русскому называл «единственный». Он истратил всего себя в течение трех лет на эти достижения, а они чуть-чуть занимались, только бы переходить из класса в класс, и потихоньку готовили себя к великому делу.

Странно, как долго лежат иногда в памяти большие слова без всякого понимания, будто дожидаются, когда спящий проснется и возьмет их с собой: три года тому назад желтый капитан сказал ему, и только теперь он понял его слова в полном значении: «Не нужно много думать о первенстве, а если это еще доказывать, то будете первым только на поверхности».

И опять он — второй Адам без земли.

Встает с кровати, садится к окну. Вон там, в степи, кочевники большими караванами покидают родную землю совсем, их место заняли русские, они уезжают куда-то на прежнюю свою родину — «Хребет земли», где люди еще вовсе не знают хлеба и, как Авель, только пасут стада, а тот, кто был вторым, теперь занял первое место и на их вольных пастбищах теперь сеет по-каински пшеницу. Но разве он стал оттого первым, что занял чужое место? Вон видны курные хутора, и долетает ругань соседей, а тут же вольные проходят караваны, и на ходу играет молодежь: вон девушка в красном мчится на коне, как огненный пал по суходолу, и за нею джигиты. Едут, играя, куда-то за Голодную степь, где вовсе нет земледелия, может быть, они там и погибнут, но вот они настоящие первые.

А он себе обдуманно устроил хутор с золотой медалью....

Что же делать?

Час и больше он ходит по комнате из конца в конец, открывает окно, в комнату врывается птичий щебет, и одна, совсем в наперсток, тикает возле самого окна; у нее пухлые щеки и на них смешные полоски, нос вострый, как шило. Алпатов долго и любовно ее разглядывал, и мало-помалу начинает ему показываться след какой-то огромной мысли и тут же дела. Он успевает схватить из этого могучего радостного источника только самое начало: что эта птичка, и зеленые сопки в степях, и все в природе уже дано в душе человека и радость оттого, что узнается свое же, родное. Больше он ничего не может развить, а знает, что если бы развить и записать, то и был бы в этом ключ ко всему. Опять он ходит, ходит, и вот вдруг мелькнуло все, теперь бы только бумаги. Хватается за тетрадку, вырывает лист. Но это очень мало, тут не упишется. Там у дяди, внизу, для чертежей пароходов приготовлены огромные листы. Вот какой нужен лист. Спускается вниз, тащит громадную бумагу, расстилает на полу и, окунув спичку в чернильницу, выводит ею заглавие:

Миросозерцание

Берет чертежную линейку, проводит две диагонали, находит центр всего листа; отсчитав от центра вправо и влево по ровному числу мест для букв, он опять тою же спичкой, но громадными буквами надписывает:

ЧЕЛОВЕК

Теперь от центральной черты проводит множество лучей во все стороны. И когда все готово и надо на каждом луче внизу что-то написать, вдруг все забылось. Он возвращается мыслью назад, от чего все началось, — к той маленькой птичке. Догадывается, что эта птичка прилетела от Алены, думает про Алену и ее веснушки, берет фуражку, выходит, а чертеж человека так и остается на полу неоконченным.

Через две недели Алпатов приходит к дяде проститься: он окончил курс и уезжает в Россию.

— Достигать? — спрашивает Астахов. — А то, может быть, останешься у меня?

— Нет, я хочу достигать.

— Ну, с богом.

На пристани много народу и все прибывает, весною полгорода сходится провожать пароход. Алпатов сидит на палубе, ищет глазами Алену и не находит. Второй свисток, третий — ее нет и нет.

Но что из этого? За годы сибирского одиночества он привык вызывать ее сам, когда только захочется, и она всегда приходит к нему, как весна. Теперь ему кажется — она села тут рядом с ним на лавочку и говорит с ним первый раз, как настоящая, живая Алена.

Пароход отчаливает. Вдали показывается, спешит к пристани девушка, ее лицо уже не узнать, но тем лучше — можно сказать себе, что это она.

Пристань скрывается из глаз; но она все ясней и ясней, она догоняет, она — здесь, рядом.

— Я вас знаю.

— Нет, Алена, вы меня не знаете. Меня никто не знает.

— Вы — Астахов.

— Астахов — моя дядя.

— Вспомнила. Ваша фамилия Алпатов: вы родственник Астахову по матери.

— Да, для всех я Алпатов, но вы должны знать мою тайну, я и не Алпатов. Это моя большая тайна.

— Но матушка ваша была за Алпатовым в законном браке.

— Алпатов — моя законная фамилия, но это ничего не значит, все-таки я не Алпатов.

— Ах, наконец-то я поняла...

В уголках ее синих глаз на белом мелькнуло желтенькое, то набитое, что непременно бывает у всех, кто вырос в маленьких мещанских домиках на краях городских слобод. Алпатов сразу понял это желтенькое пятнышко в синем глазу...

И так он предал свою мать, кто всю жизнь работал только для детей и, когда оставалось время, всех уверял, что любовь розовая. Но как же объяснить ей, этой мещанке с желтеньким пятнышком в синем глазу, что он не Астахов, и не Алпатов, и не побочный сын?

— Да нет же, нет, — говорит он в отчаянии, — мать моя святая, она себе даже не позволяла думать об этом.

— Как же иначе?

Желтое пятнышко все растет и растет, еще момент — и будет смеяться мещанка.

Во что бы ни стало надо Алену спасать.

— Как иначе? — говорит он сурово. — Что же, вы думаете, и я вас за этим искал и стерег вас из года в год у пустого сучка?

— Нет, нет! Ах, что я сказала, что я сказала! Желтенькое пятнышко вдруг смыла слеза.

— Я вас совсем, совсем понимаю.

Какое великое счастье! Она единственная в мире теперь знает его тайну, и теперь он не один.

Она понимает, она не спрашивает, она знает, а для них пусть он будет Алпатов, племянник богатого купца Астахова. Это его теперь больше не

будет задевать, рано или поздно он заставит их признать себя и без Астахова и без Алпатова, и потом, может быть, он и будет народным вождем.

Иван Астахов и виду не показал, что ему жалко расставаться с племянником, — раз тот решил достигать, надо достигать.

Но почему же дымок давно скрылся в степи, а он все смотрит в подзорную трубу? Дрожит труба в старой руке, опускается. Глаза падают на огромный чертеж человека с заглавием «Миросозерцание» и лучами во все стороны от «человека». Астахов берет загадочный лист, уносит к себе, расчищает место на своем столе, расстилает. Астахов — большой любитель всяких шарад и загадок, он догадается, непременно догадается. Вот только надо выпить, только одну рюмочку. Идет к шкапчику, отпирает, выпивает рюмку, возвращается. Нет! еще нужно рюмочку. Еще выпивает и больше не закрывает шкапчика. Что-то знакомое шевелится в памяти. Он роется в книжном шкапу, достает том энциклопедии, слю-квя пальцы, долго перелистывает, наконец находит что-то, закладывает место, идет к шкапчику, захватывает с собой всю бутылку коньяку и, поставив ее на чертеж человека, принимается читать большую статью: «Миросозерцание».

ЗВЕНО ЧЕТВЕРТОЕ БОЙ

ЗОЛОТАЯ КНИГА

У Алпатовых умерла старая няня, и это, казалось бы, такое незначительное событие совершенно переменяло все планы Марии Ивановны Алпатовой и даже грозило расстроить приближение ее юбилейных лет.

И, казалось бы, она заслужила это счастье здоровых и много поработавших в жизни людей, тот отдых с приятным чувством, когда все идет по своему загаду, и оттого является спокойное понимание жизни и способность дать хороший совет. Разумеется, это не шутка — остаться молодой женщине совершенно одной в глуши с кучей детей в заложенном и перезаложенном маленьком имении и в конце концов так устроить, что и залог почти снят, и дети получают высшее образование. Сколько за это время разорилось владельцев из дворян, сколько было споров и доказательств с цифрами в руках, что пореформенное хозяйство совсем невозможно, а вот факт налицо Мария Ивановна не только выкупила имение, а все подновила, покрасила, переложила, завела машины — сеялку, косилку, двухлемешные плуги, конные грабли, ввела четырехполье с посевом клевера, улучшила породу скота, смешав ярославку с симменталом, и — самое поразительное — своих сыновей определила в высшие учебные заведения. Все это совершалось постепенно и так, может быть, и осталось бы никому не ведомым, но случилось однажды — уездный предводитель Раменов, Александр Александрович младший, владелец пятнадцати тысяч десятин земли, разогнал своего жеребца и врезался в огромное стадо домашней птицы Марии Ивановны. За изувеченных и раздавленных птиц предводитель послал с кучером по три рубля с головы, но Мария Ивановна денег не взяла и велела только передать предводителю свой совет в другой раз не очень разгонять жеребца, когда едет усадьбой: птица-то не бог знать что стоит, а можно и самому разбиться. Александр Александрович — большой новый либерал, из которых потом вышли кадеты, впоследствии известный своим дерзким отказом от камер-юнкерского придворного звания, заехал к Марии

Ивановне, побеседовал с ней, посмотрел хозяйство и всему удивился. Вслед за ним вскоре сделал визит брат его, губернский предводитель, Михаил Александрович, блестящий оратор, хотя и не такой либеральный, как брат его, но с более широкими идеями: всюду было известно, что он в мужицких лаптях ходил в Ясную Поляну, туда и назад пешком, и только проехал на извозчике по городу, чтобы не показываться в лаптях; злые языки, впрочем, говорили, что ехал он, все-таки свесив один лапоть на приступ пролетки. Вероятно, и Михаил Александрович увез особенное впечатление от Марии Ивановны, потому что вслед за ним явился и сам Александр Александрович старший, глубокий старец, друживший еще с первыми славянофилами. Но этот старичок уже ничего не осматривал, ничего не выпрашивал, а сам рассказывал долго о славянофилах. Потом начали показываться дамы: приехала строгая фрейлина Зося, верхом, с хлыстиком, приехала красивая жена предводителя, урожденная графиня, с французским акцентом, и, наконец, сама татап, важная кавалерственная дама. После этих визитов пришлось поехать к Раменовым и самой Марии Ивановне; чего стоило ей это в первый раз, знает только няня да еще дочь Лидия, но у Раменовых она держалась с большим достоинством, всем понравилось даже, что, когда после обеда лакей уже очень стал приставать к ней с душистой жидкостью для полосканья рта, принятого в высшем кругу, Мария Ивановна гневно крикнула лакею: «Отвяжись».

Через Раменовых слава о Марии Ивановне разнеслась быстро, и стало общеизвестно, что знаменитых хозяек в уезде только две: Мария Ивановна Алпатова и Юлия Милитоновна Ростовцева, тоже вдова и тоже из купеческого сословия. Многие стали заезжать к Марии Ивановне из любопытства, другие серьезно посоветоваться; и так вот подошли было к Марии Ивановне ее почетные юбилейные годы, как вдруг умерла старушка няня, и все хозяйство из-за этого пришлось перестраивать. Все эти заезжие люди дивились, кажется, не тому, что, собственно, помогло Марии Ивановне сделать свое хозяйство доходным, секрет ее успеха был не в тех мерах вообще, к которым сводились все разговоры, а просто в умении держаться за случай. В парадных разговорах она часто употребляла слово «мужики», но на деле мужиков для нее не было, все мужики ей были хорошо известны: Павел, Кузьма, Никифор для нее были разные люди. Привычка разглядывать частности так у нее укоренилась, что и мужики других деревень были самые разнообразные люди, а не мужики вообще. Общие люди для Марии Ивановны были только цыгане и отчасти попы.

В деревне отлично знали, что секрет успеха Марии Ива— новны был не в травосеянии и фосфоритах, а в золотой книге, куда Мария Ивановна

записывала свои договоры с рабочими.

Таинственная золотая книга, о которой так хорошо знали в деревне, была обыкновенная заборная книга из мясной Багрова, Егора Иваныча. Когда-то, может быть тому назад лет двадцать, книга эта была взята в городе, но Егор Иваныч доставил тухлое мясо, отношения с лавкой из-за этого прекратились, а книга с золотыми буквами на переплете и, главное, с золотым быком, была приспособлена для записи договоров с рабочими. Вот тут-то, в золотой книге, и был секрет успеха Марии Ивановны. Записывались в эту книгу только раз в жизни: как записался, так уж на всю жизнь; с какими рабочими началось хозяйство, с теми же самыми и велось через двадцать лет. Исключением был, однако, рабочий, на котором и держалось хозяйство. Он поступал с условием держать при себе жеребеночка-сосунка до трехлетнего возраста: расчет был у Павла — вырастить себе за три года хорошего, коня и заняться в деревне самостоятельным мужицким хозяйством. Все так и было у него, не связись он на всю жизнь с дурной бабой: Фиона его — своенравная, вздорная и, главное, транжирка. Как уж она там умела сделать — неизвестно, только не больше месяца вел Павел свое хозяйство, потом конь продавался и начинался пир на весь мир. И очень скоро Фиона ведет опять своего великана на барский двор записывать на три года в знаменитую золотую книгу. На радостях Мария Ивановна всегда дарит Павлу сосунка от самой лучшей своей кобылы.

Вот если бы кто действительно вздумал вникнуть в секрет успеха Марии Ивановны, то надо бы заглянуть ему именно в тот месяц, когда хозяйка оставалась без Павла, как она тогда металась, как раздражалась, в какой тревоге ждала возвращения Павла! Всегда неизменно это бывало ранним утром, когда Мария Ивановна, вскипятив себе глиняный обливной горшочек сливок, садилась за чай. К звукам в коридоре у нее было такое же особенное шестое чувство, как у спящих матерей к ребенку. Никто бы ничего не услышал, но она вот повертывает голову к запертой двери и спрашивает:

— Кто там? Отвечает:

— Я.

Конечно, она прекрасно знает, кто это «я», но боится радоваться и спрашивает:

— Кто ты? Из коридора:

— Павел.

Но это не все. Если Павел пришел опять записываться в золотую книгу, то с ним непременно должна быть и Фиона. Мария Ивановна

спрашивает:

— Ты один, Павел?

Дверь открывается, и Павел с Фионой вступают в столовую.

Сдерживая свою радость, Мария Ивановна долго упрекает Фиону, всегда называя транжиркою, выспрашивает до точности, куда она истратила деньги, до того доходит, что возмущается: не сатин надо покупать ребятишкам на рубашки, а ситчик. Вовремя этого наставления всегда присутствует и няня и, с своей стороны, дает советы. Все кончается вопросом.

— Ну что же, записываться пришли? Павел говорит:

— Сделайте божескую милость.

Тогда няня торжественно вносит книгу с золотым быком. Мария Ивановна дарит сосунка и вписывает его на трехлетие. Такой это работник, что раз в три года без него все хозяйство дрожало, и Мария Ивановна ужасно боялась остаться без Павла. Но никогда она не догадывалась, какую огромную роль играла в хозяйстве и няня.

С первых же дней после ее смерти вдруг оказалось, что Мария Ивановна могла вести полевое хозяйство только потому, что няня брала на себя все домашние мелочи, кухню, молочное хозяйство, присмотр на дворе, в птичнике, в саду, везде. И только потому, что няня смотрела за мелочами, а мать вела полевое хозяйство, третья женщина, взрослая дочь Лидия, могла заниматься в саду цветами, обшиваться, придумывать для приезда гостей особенные кофейные, ореховые и шоколадные торты. Когда все шло так ладно, Марии Ивановне не приходилось очень задумываться над жизнью дочери: и та ведь что-то делала, необходимо было, казалось ей, чтобы кто-нибудь украшал дом для приема гостей. Но когда на нее обрушилось огромное мелочное хозяйство няни, то совершенно бессмысленной предстала ей жизнь взрослой девушки, погруженной в бесполезные пустяки. Мария Ивановна принялась ворчать на Лидию, попрекать ее чуть ли даже не куском хлеба, под горячую руку называя ее прекрасные букеты цветов вениками. Да, она и умела-таки во время своих точений задеть за живую струну! Лидия отвечала криком, визгом, битьем посуды. Главное, плохо было, что почва, питающая эти скандалы, оставалась неизменною, а память о них изо дня в день царапалась, как алмазом стекло, и наконец дошло до того, что иногда одно какое-нибудь случайное слово с одной стороны обрушивало всю лавину боли и гнева с другой. Последний ужасный скандал вышел на первой неделе Великого поста, и — нужно же! — именно в тот день, когда Мария Ивановна собралась исповедоваться. В этот день поста и молитвы мать и дочь делали

вместе миндальное молоко и заряжены были, как две разные тучи. Обе они делали множество неприятных друг другу движений и про себя вели им счет, и, может быть, это с лучшей стороны характеризовало натуру Марии Ивановны, что она первая бросила возмутительный мелочный счет про себя и, не по, смотрев на неделю говенья, вдруг крикнула Лидии:

— Ах ты, поганка!

В ответ на это Лидия бросила на пол весь кувшин с миндальным молоком, закричала: «Меня оскорбляют!» — бросилась к себе в комнату и заперлась. Мать бросилась вслед за ней, чтобы перехватить и не дать ей запереться, но, не успев, забарабанила кулаком в дверь и закричала:

— Вот я тебе дам, вот я тебе дам, негодница! Вскоре она одумалась, вспомнила про исповедь, что перед этим необходимо даже у тех, с кем не ссорилась, просить прощенья. Спустя час подошла к ее двери и как будто обыкновенным веселым, но на самом деле в высшей степени фальшивым голосом сказала:

— Лида, отвори, пожалуйста, я у тебя забыла что-то. Не потрудились даже придумать что-нибудь.

Лида там промолчала.

— Лида, — сказала еще раз мать, —пусти, мне нужно.

— Не пуцу, — отрезала Лидия.

А уже всю неделю Мария Ивановна постилась и только силой этого затраченного труда она удержалась от выражения гнева и удалилась, зачтя это себе в подвиг смирения.

Прочтенные две любимые главы из Евангелия совсем привели ее в покаянное состояние, она стала одеваться в черное, уверенная, что Лидия не посмеет идти против обряда и простит ее. Совсем уже готовая идти в церковь, она постучала к Лидии в дверь и сказала очень кротким голосом:

— Ну, Лида, я собралась в церковь, прости меня, милая. Лидия молчала.

Мать струхнула, подумав про себя, не случилось ли с ней чего-нибудь, и повторила:

— Лида, ты слышишь, я говорю: прости меня! На это Лидия отчетливо сказала за дверью:

— Не прощаю.

Тогда Мария Ивановна вдруг потеряла себя и, со всего маху ударив в дверь кулаком, закричала:

— Ах ты, поганка! Лидия злобно захохотала.

Так была испорчена исповедь, и вся неделя строгого поста пропала.

Для говенья Марии Ивановне пришлось уехать в Шамордину пустынь,

и оттуда она каждый день писала Лидии, и дочь тоже писала каждый день. И видно было из этих писем, что мать и дочь очень любили друг друга: мать больше жалела, а дочь больше уважала. Дочь писала о всех подробностях деревенской жизни, мать — монастырской. Только одного не писала мать, что советовалась о дочери со старцем, как ее успокоить, — на курсы послать или выдать замуж, — причем совет у старца просила, подчеркивая, что дочь ее девушка, ей кажется, обыкновенная. Старец ответил: «Если девушка обыкновенная, и недурная собой, и приданое порядочное, то и надо стремиться устроить обыкновенное счастье».

Вскоре после Пасхи Мария Ивановна получила письмо из Сибири от младшего сына Михаила, что гимназию он кончает, но служить у дяди, как раньше думал, не хочет, а поступит в политехникум и сделается инженером. Конечно, радостно было узнать, что Миша хорошо кончает, но что он действительно сделается инженером, не поверила. «У него семь пятниц, сказала она, — и еще сюда не доедет, что-нибудь придумает новое». Расстроенная мелочами упавшего на нее няниного хозяйства, Мария Ивановна при получении известия, что и четвертого сына ей придется содержать в высшем учебном заведении, смутилась: это, кажется, было уже не по средствам. Тогда с особенной тревогой стала она думать о Лидии: ведь она ничего не умеет делать и ничему не научится, пока будет жить с ней. А вдруг замуж не выйдет? Не вернее ли отдать ее в учебу, на курсы.

Мария Ивановна судила о курсах по семидесятым годам и по своей необыкновенной племяннице Дунечке, думала, что курсы существуют для исключительных, идейных женщин. Лидия, ей казалось, самая обыкновенная и может вполне удовлетвориться в замужестве. Она не красавица, но и не дурна, дородная — мужчинам это иногда нравится больше красоты; в приданое ей будет собственный незаложенный хутор не меньше как тысяч в десять ценной. Чего же лучше!

Мария Ивановна как-то проглядела, что на курсы стали ездить вовсе не исключительно за идеями, а самые обыкновенные девушки, чтобы потом зарабатывать себе кусок хлеба, и даже кто замуж хотел выйти, так и это стало гораздо удобней на курсах. Эту перемену в женском движении заметила даже Калиса Никаноровна, такая отсталая, презиравшая идейных курсисток семидесятых годов. «Идеи, идеи, — говорила она, — что ж тут хорошего?» А когда местные девушки, поехав на курсы, возвращались иногда через какой-нибудь год с мужьями, очень дивилась: «И где они их там подбирают! У нас хоть шаром покати, ну просто жених стал никуда!» Совет старца на некоторое время совсем было успокоил Марию Ивановну,

но когда в самые последние дни даже лакей Раменовых отправил свою дочь на фельдшерские курсы, она сильно задумалась, не отступить ли от прежнего плана и не устроить ли дочь на какие-нибудь курсы.

В трудных случаях Мария Ивановна всегда советовалась со всеми, ей было все равно, с кем бы ни советоваться, лишь бы свою мысль увидеть в зеркале и думать о ней, как о чужой. Решительно никого не упускала Мария Ивановна, чтобы не посоветоваться, и все, умные и глупые, ученые и невежественные, подтверждали ее мысль, что обыкновенное счастье для девушки лучше всего. Однажды старый князь заехал к ней, совершенный развалина и, как сама же Мария Ивановна говорила, «человек допотопный», но и его не упустила.

— Старею, князь, — сказала она, — работаю всю жизнь на банк и вот только одного достигаю: дети у меня получают высшее образование.

— Это не старость, — ответил князь, — это мудрость, Мария Ивановна. Для мужчин образование теперь дороже всего.

— Да ведь и девушки, — ввернула Мария Ивановна, — теперь очень многие едут на курсы.

Конечно, Мария Ивановна отлично знала, что князь большой враг женского движения, но, может быть, именно потому и подвинула сюда разговор:

— Я сама подумываю, не устроить ли мне свою Лидию на курсы.

— Что вы, что вы, Мария Ивановна!

— Да ведь все же едут!

— Пусть все едут, но я никогда бы не отдал свою дочь в курсистки.

И стал рассказывать долго и с ненужными подробностями, как однажды в Москве был свидетелем студенческого бунта, как нагайками загоняли казаки студентов и курсисток в манеж, и тут было бог знает что: студенты ехали верхом на курсистках, курсистки верхом на студентах.

— Что вы, что вы, князь!

— Ну да, конечно! Чему вы удивляетесь? То ли у них бывает. Нет, будь у меня взрослая дочь, я ни за что бы не отдал ее в курсистки.

Много переслушала Мария Ивановна разных советов, пока, наконец, пришла к убеждению большому, сложному, связанному с переустройством всего хозяйства и всей жизни. Она продаст дубовый лес на своем хуторе и разделит деньги между сыновьями, этого им хватит кончить курс и устроиться. Деньги эти она отдаст сыновьям в уплату своего долга по отцовскому имению, которое она, таким образом, у них покупает, хутор она отдаст Лидии в приданое, имение сдаст в аренду мужикам, себе же оставит самую середочку, двадцать пять десятин. Этим решением она сразу всего

достигает: у Лидии остается неприкосновенное приданое, сыновья получают самостоятельность и заботятся о себе сами, мужики будут платить аренду в банк, а на двадцати пяти десятинах скромно она может существовать, и хозяйство такое маленькое, что она спокойно поведет его, не чувствуя утраты няни. Приятно было также подумать, что теперь она уже не будет опекуной, а хозяйкой, и на старости будет совершенно независима от сыновей: вот это, может быть, и есть самое важное, чтобы не унижать себя на старости зависимостью от невесток, не становиться в положение тещи и свекрови. Порешив, что так этому быть окончательно, Мария Ивановна написала трем своим сыновьям, каждому совершенно одинаково, будто завещание:

«Милые мои дети, простите меня, что не могла нажить вам богатство, но совесть моя покойна за вашу судьбу, вы все образованные люди, нравственные».

После этого она написала им, как трудно было ей сохранить имение, но все-таки она сохранила его, и они могут кончить и устроиться, она же отдохнет. Одинаково всем написала также о Лидии, что ей отдает хутор, свое приданое, если хочет — замуж выйдет, нет — может и так жить. Прибавляла о младшем сыне, Мише, что он ее беспокоит, такой неопределенный и как-то от него можно всего ожидать.

Но самому Мише она писала гораздо теплее, чем другим, намекала ему, что в жизни, должно быть, нет ничего, кроме стремления к чему-нибудь высокому, и она это у него замечает, но только все-таки надо быть определеннее, не разбрасываться. План раздела она ему описала в подробности и заключила:

«И вся эта кутерьма, как ты видишь, вышла из-за няни, никогда и в голову при жизни ее не приходило, что все наше существование зависело от старушки».

СОЛОВЬИ

Старший сын Марии Ивановны, Николай, узнав о разделе, очень обрадовался, он даже не стал и зачеты сдавать, чтобы не затянуло потом продолжать получать это ненавистное ему образование: терпеть не мог он своей агрономии. Он так рассудил, что образование в конце концов непременно приведет к казенному или частному месту и тогда неминуемо придется делить себя надвое: неприятная часть будет на службе, приятная

— дома. Эту приятную и настоящую часть существования своего он видел в совершенно свободном пользовании чувством лени: устроился бы он где-нибудь в глухом городке и ловил бы раков и рыбу. Он и сейчас в Москве большую часть своего времени проводил на речке с удочкой и сачками на раков. Там, на излюбленном месте, у него всегда огонек, варятся раки или окуни. Иногда он захватывал с собой живительной жидкости и устраивал себе маленькую нирвану. Он был такой стыдливый, застенчивый, что в обществе, вероятно, боялся даже своего собственного голоса, но когда случалось с кем-нибудь разделить часы «маленькой нирваны», то беседовал задумчиво, высказывался весь до конца и был очень упорен в отстаивании своего лучшего для себя самого. Да никому и невозможно было спорить: ведь он же никому на свете не мешал своей мечтой о лени. Всех людей Николай разделял на Служащих и на Жильцов, причем внутри каждого Служащего он видел Жильца, забитого, запуганного, застенчивого, как он сам чувствовал себя в обществе. В его глубоком сознании, впрочем, было что-то вроде веры в какого-то, как он называл, светлого человека: тот был и Жилец, и Служащий вместе, совершенно бесстрашный и настоящий. Но в жизни таких людей нет, и появление даже в мечте такого человека Николай считал величайшей загадкой. Но раз Жилец в человеке есть самое его настоящее и лучшее, то зачем же забивать его окончательно и достигать большого казенного или богатого частного места? Зачем тоже ломать из себя святого, какого-то подвижника? Зачем мучить себя такой гордостью? Просто надо повиснуть в какой-то среде безразличной самим собой, Жильцом. Такую безразличную среду Николай уже возлелеял себе в часы нирваны: это будет акциз, где от служащего не требуется ума и особенной совести. Так он будет служить где-нибудь в глухом городишке и весь свой досуг будет отдавать реке. Акциз казался ему особенно хорош тем, что внутреннему Жильцу тут нет никакой возможности представляться; вот хотя бы в положении доктора так легко вообразить себя другом человечества, агроному — другом крестьян; в акцизе же, особенно если по винному акцизу пойти, нет никакого искушения Жильцу не быть самим собой. Но ни малейшей даже тени какой-нибудь идеи не было в Николае, как выходит непременно, если об этом рассказывать, и все, что высказывал он в минуты нирваны, потом сплывало и пропадало без следа. В свой большой тайне мать свою он не очень любил и считал за настоящую мать няню.

Что-то враждебно-отцовское чудилось Марии Ивановне в молчании Николая и становилось ей на пути непонятным характером; в одиночку распекать она его не могла и как будто даже немного побаивалась. Но,

конечно, когда он приехал, очень обрадовалась и приготовилась ему рассказать всю драму с Лидией. А Лидия сидела и не уходила от Николая. Ей хотелось залучить его поскорее к себе в комнату и там свободно болтать обо всем, что только придет в голову. Николай так уютно слушает все и улыбается спокойно всем пустякам.

Мало-помалу мать и дочь из-за Николая стали даже и раздражаться.

— Ты не читал, Коля, — спросила Мария Ивановна, — нового романа Потапенки «На действительной службе»? Не читал? Какой ты странный, ничего не читаешь. Там описывается, как генеральская дочь, такая необыкновенная идейная девушка...

Лидия насторожилась: не говорит ли мать о героине Потапенки в пику ей, обыкновенной, безыдейной?

— Это замечательная образованная девушка, — продолжала мать, — училась тоже в Сорбонне, как и Дунечка, потом пошла в народные учительницы, и там в деревне ее совершенно замучили мужики своей темнотой. Кажется так убедительно, что в деревенских условиях должно погибнуть всякое высокое начинание, а между тем наша Дунечка в таких же условиях выходит победительницей: у нее теперь первая школа в уезде, даже не первая, а до нее всем, как до неба. Я всегда очень удивляюсь, почему у нас в романах описываются разные униженные и оскорбленные, а не победители.

— А я не нахожу, — заметила Лидия, — что Дунечка вышла победительницей, она и сама себя не считает такой, и у нас постоянно ноет, жалеет, что жила не для себя, на каком-то легальном положении, и что родилась женщиной, а не мужчиной.

— Это у нее иногда бывает от усталости, но ты же не можешь отрицать, что школа у нее замечательная и она сама, как святая.

— Святая — может быть, — холодно сказала Лидия, — но все-таки не равноапостольная.

— Какая ты все-таки язва! Так нельзя говорить о человеке, который всем пожертвовал для народа, ведь ее в деревне теперь за ангела считают.

— Я думаю, это больше мы ее считаем за ангела, а мужики — люди реальные.

— Мужиков я знаю не хуже тебя, мужики все такие же разные, как и мы с тобой, есть много, как и везде, реальных, но только что же в этом ценного? В человеке дорог порыв, стремление к возвышенному, — вспомни Машу, как она тогда в одно лето наших ребят преобразила, Миша до сих пор ее называет не иначе как Марьей Моревной. Вот и Дунечка делает то же в крестьянской среде.

— Неправда, между Машей и Дунечкой нет никакого сходства. Маша была тоже реальная, она просто интересная женщина и живет, как ей нравится, а Дунечка живет, как ей не нравится, недовольна даже, что женщиной родилась, у Дунечки все надрыв.

— Это ты берешь из Достоевского и смотришь на жизнь его большими глазами, почему ты не возьмешь другого примера? Недалеко от нас живет человек — всемирно знаменитый, в его сочинениях все люди здоровые, никаких нет надрывов, и сам он устраивает школу, даже пашет землю. Почему ты не посмотришь на Дунечку с точки зрения его идеалов?..

— Толстой — фигляр, — ответила Лидия, — он для чего-то притворяется и лжет сам себе, а когда я смотрю на тот портрет, где он пашет, я никак не могу отделаться от мысли, что это даже и неумный человек.

— Ну, что с тобой разговаривать, если тебе и Толстой — неумный человек. Вот, Лида, — выдумала вдруг Мария Ивановна прекрасный предлог, чтобы кончить этот неприятный и втайне личный спор, — сходи, пожалуйста, на парники, вели там рамы приоткрыть, видишь, день какой разгорается. Евтюха непременно арбузы попарит.

Лидия тоже обрадовалась концу и сразу ушла, а мать, сильно понизив голос, стала рассказывать Николаю, как у нее обострились с Лидией отношения, совсем даже и жить стало невозможно.

— Теперь, — говорила Мария Ивановна, — всеобщая тяга на женские курсы, я бы не прочь и Лидию отправить, только решительно не понимаю, зачем ей курсы? Вот сейчас был разговор, ты думаешь, она действительно не признает никаких авторитетов и этим кокетничает? Совсем даже нет, а все из противоречия, в пику мне, у самой же у нее нет решительно никаких идеалов и даже просто интересов. Спросишь ее: «Кого же ты любишь?» Она говорит: «Я люблю естественных людей, самых обыкновенных». Но в чем у нее к ним проявляется любовь, совсем не вижу. Все у нее проходит в мелочах, даже газеты и то по-дурацки читает: начнет с январского толстого номера, читает его целый месяц, потом по порядку очень медленно номер за номером, и получается, что вот теперь май, а она где-нибудь в декабре прошлого года читает и то, по всей вероятности, фельетончики. Намедни такой срам вышел. Пришли Раменовы, разговор держится все о политике, все сочувствуют царю в его недоверии к Германии, одни тревожатся ужасами будущей войны, другие успокаивают, говорят, что — концерт европейских держав этого не допустит. Это слово «концерт» стало только недавно появляться на страницах «Русских ведомостей», я сама не сразу это поняла, что такое, думаю, дела такие серьезные, а тут все концерт и

концерт. Лидия же при своем дурацком чтении совсем еще не дошла до концерта и, как услышала, вдруг и вмешивается в разговор: «В деревне одним плохо жить, что никогда не услышишь хорошего концерта». Решительно ничем не интересуется и вся в мелочах. Тогда зачем же ей курсы? Просто надо замуж отдать. Значит, Коля, ты тоже склоняешься к этому?

— К чему? — удивился, как бы просыпаясь, Николай.

— Я говорю: ее надо замуж выдать. Ты как думаешь? Николай ничего не думал и ничего не мог сказать. Вскоре приехал живой, веселый, и по-цыгански очень красивый медицинский студент Александр. Улучив минутку разговора с ним наедине, мать начала:

— Какой страшный мямля наш Коля, я намедни ему всю нашу драму рассказала, ты знаешь, мы с Лидией теперь переживаем настоящую драму...

Рассказав все по порядку и о мелочных интересах, и о концерте, в беседе с будущим доктором мать еще прибавила некоторые свои догадки о повторяющихся женских днях, что не связано ли у Лидии все ее с этим, что это она переживает тяжело, ходит в эти дни странная, сама не своя?..

— Ты, Саша, скоро будешь доктором, как ты на это смотришь с медицинской точки зрения?

Александр хотел увильнуть, сказав, что до этой науки они еще не дошли.

— Какая же это наука? — спросила мать. Александр думал, что мать не поймет, и бухнул:

— Гинекология.

Но мать, наверно, поняла, потому что разговор с третьим сыном, юристом, с этого и начала:

— Саша совершенно не может рассуждать. По-моему, это

Дунечка своим нравственным чувством сбила его на путь медицины, доктора должны быть серьезными людьми, а Саше бы офицером надо быть, какой бы красивый был офицер, и как, правда, жаль, что у нас нет ни одного офицера. Ты бы, Сережа, все-таки поговорил с Лидией как юрист, может быть, под твоим влиянием она заинтересовалась бы женским движением, что-нибудь такое ей бы подпустил о правах женщины.

Осторожный Сергей, обдумав, сказал:

— Что ты, мама, как я могу повлиять на Лиду, она у нас старшая, и мы в глазах ее остаемся мальчиками.

— Вот как ты верно сказал, — обрадовалась мать хоть какому-то признаку рассуждения. — Вся беда, что Лида старшая и росла как-то совершенно одна, я же, всегда занятая в хозяйстве, упустила, и теперь душа

ее мне кажется каким-то темным омутом: ничего не просвечивает.

Все эти разговоры поодиночке с приезда у Марии Ивановны были бессознательным тактическим приемом; ей нужно хоть сколько-нибудь расстроить сплочение братьев в одну шайку под темным влиянием Николая. Каждый в отдельности сын ей был дорог и мил, но все вместе представлялись какой-то силой против нее, той силой темной, которая раз навсегда порешила ее и осудила всю жизнь работать на банк. В этой силе, казалось ей, таились какие-то страшно грубые мужские страсти к вину и всякому необходимому мужскому безобразию.

Но все приемы были давно уже разгаданы братьями. Пока мать беседует с Сергеем, все братья за дверью только и дожидаются, когда он наконец будет выпущен. А к обеду уже все трое являются выпивши. Они стараются это скрыть, молчат и смотрят в тарелки, но большие черные и омраченные глаза Марии Ивановны сверкают вдоль стола, как молнии. Лидии же как будто и нравится все это, она рассказывает неустанно анекдот за анекдотом из местной жизни, представляет, летает, как чайка перед грозой. Матери кажется, Лидия нарочно ее вызывает, пользуется случаем, чтобы слиться с братьями против нее в одну банду.

— Тебе, Лида, — сказала она, — надо бы в актрисы идти.

Слова были обыкновенные, но голос именно тот фальшивый, вызывающий непременно войну. Лидия побледнела, вся собралась и ответила:

— Недавно ты смеялась над старым князем, что он сказал в курсистки, а сама говоришь в актрисы, так вы скоро выдумаете меня в кухарки отдать.

В ответ на это мать сразу нанесла свой неотразимый удар:

— Я не нахожу ничего унижительного в труде кухарки, гораздо хуже, по-моему, пользуясь чужим трудом, вязать из цветочков совершенно бесполезные веники.

Лидия сразу вскочила, бросила салфетку, ложку на пол, бежит вон, кричит:

— У-у-у-уйду в актрисы, в кухарки, уйду, уйду-у-у... И так далеко бежит куда-то, и все слышится «у-у-у...» Братья смотрят в тарелки, они весь обед так и не видели лица матери, теперь им немного остается дотерпеть, но Саша знает, что ему все равно от смеха не удержаться, что он вот-вот прыснет и все провалит, он спешит, подталкивая ногой под столом, поскорей рассмешить Сергея, свалить на него и, заметив на лице его такую же борьбу, как и у себя, вдруг взрывается и говорит:

— Это Сережа смешит!

Сережа взрывается. Николай взрывается. Мать вскакивает и убегает в

спальню.

Напрасно мать дожидается сыновей к чаю. Раздобыв себе все необходимое, они тихонечко прокрадываются по главной аллее на дорогу в рощицу. Множество соловьев поет в саду, потому что леса в уезде вырублены, только и можно собраться в садах. Их так много, что даже и неприятно, а дальше, когда вышли из сада в поле, то как будто позади осталась какая-то птичья кузница.

Почему же все говорят, что соловьи красиво поют?

Почему же думают, что семья Алпатовых примерная на весь уезд?

Почему в этом роскошном саду в цветущее время не может быть сладостного поцелуя и кажется он тем самым садом, из которого когда-то был изгнан человек навсегда?

— Выпить надо, и хорошенько, — сказал Николай. Братья устроились у самого пруда под елочками, с такой заботой когда-то посаженными собственными руками Марии Ивановны. Тут развели они костер, запрятали в золу картошек, выпивая, разговаривали о концерте лягушек, швыряли в них камнями, лягушки смолкали и опять начинали, а когда наконец было достаточно подготовлено для душевного разговора по существу, Николай сказал:

— Ну вот...

— Да, — ответил Сергей. Александр буркнул:

— Бе-е-е...

— Ты что?

— Ме-е, — промычал Александр.

— Мычишь ты, доктор, а между тем собираешься людей лечить, тебе бы надо в конокрады идти.

— Я, может быть, и пойду, — спокойно сказал Александр, — это как жизнь поведет.

— Поведет она тебя за зеленый стол... У нас в семье только на Мишу можно надеяться, у него искра есть.

— Бродяга будет, — сказал Сергей, — как Михаил Николаевич, помните? Назывался художником, всю Россию обошел, черным хлебом питался, принял на себя великий подвиг, а картины ни одной не написал.

— Вот тут-то и заключается, — сказал Николай, — вот то и хорошо. Я слышал нечаянно о нем разговор: один спрашивает, был ли он талантлив, другой отвечает — нет, он не был талантлив, но он был гениален. Это вот и есть искра, а картину можно и так написать, мало ли пишут картин? Ты, Сережа, скоро судьей будешь, цепь наденешь на себя: Соломон и Соломон! тоже картина, и только мы тут вот знаем, какая цена этой картине. Заберусь

я тогда в эту залу и потихонечку мигну тебе, и вдруг у тебя там внутри воспрянет твой Жилец: Судья будет судить, а Жилец дожидаться, когда же кончит Судья и можно будет с Колей рюмочку выпить.

— Ну, так ведь это обыкновенно, у всех так, что же с этим поделаешь?

— А я в акциз поступлю и буду там делать минимум один процент, все же остальное пойдет в раков. Я тебе тогда мигну, и ты с презрением бросишь цепь судьи: не судите и не судимы будете. Мне нравится, что у Миши сочиняется какая-то «Кащеева цепь». Это я понимаю, чтобы всю цепь разорвать и освободить всеобщего Жильца. Но это уже какой-то максимум, я же себе ми-ни-мум!

Высоко подбросил Александр пустую бутылку и ловко поймал ее. Сергей растянулся на земле с раздутыми синими жилами на висках и вдруг сказал:

— Проехало!

— Что проехало?

— Все проехало. Ездок проскакал и меня не захватил. Но я хочу все-таки достигать, пользоваться.

— И наденешь цепь судьи, а я минимум. — Все-таки минимум себе оставляешь?

— Дурак, не на почту же я поступаю, а в акциз по винному делу.

Потом все помутилось и начало повторяться. А дома Лидия все сидит на замке. Мать дожидается сыновей к ужину и готовит им большую речь. Но, как воры, с величайшей осторожностью студенты пробираются к открытому окну, подсаживают друг друга, взбираются и заваливаются спать на диванах. Только напрасно они так стараются, мать проследила их ход, слышны уже тихие шаги в коридоре.

Николай велит:

— Гаси скорее свечу!

И это напрасно, она войдет, растолкает, добьется, что кто-нибудь огрызнется:

— Что тебе надо?

— А вот что надо, милые дети...

И потекут и потекут жалкие слова с обидными намеками на слабые места, такими, что всего перевернет, и, когда будет реветь в душе, начнутся проекты выхода из положения.

И уже прошла мать два раза по коридору, заложив руки назад и обдумывая речь к сыновьям, и взялась уже за ручку двери, и сложились слова для начала:

«Вы теперь уже не маленькие...»

Николай прошептал:

— Все бежим через окно в сад!

Но как раз в тот момент залаяли на дворе собаки, все до одной собаки, и вскоре послышался стук в дверь. Потом закричала мать радостным голосом:

— Да как же ты приехал? На чем приехал? Неужели пешком? Лида, вставай, Миша пришел! Коля, Саша, Сережа, выходите, Миша пришел!

В счастливую минуту прибыл Михаил, всем нужен был повод отделаться от неприятностей дня — и матери больше всего. Как ни в чем ни бывало все выходят, и кипит уже на столе самовар, всем радостно, весело.

Миша рассказывает без умолку. Он пошел пешком, чтобы с родной землей поздороваться, и какая же, оказывается, прекрасная эта черная земля и как хорошо пахнет!

— Как удивительно на тебя повлияла Маша, — сказала Лидия.

— Марья Моревна! Где-то она?

— Все там же, в Италии. Вот ты говоришь, что земля тебе особенно хорошо пахнет, а она прошлый год выдумала: привезла четырех итальянцев и одного французского аббата исключительно только, чтобы показать им красоту снежных заносов...

Мать, по обыкновению, перехватила у дочери интересный рассказ:

— Французский аббат мне особенно понравился; представь себе, когда снег пошел, он выскочил на двор и стал аплодировать. Работники наши рты разинули, а он смеется и хлопает в ладоши. Я первый раз видела живого француза.

Мария Ивановна не раз думала, что в семейной жизни дорога не жизнь, скучная и нудная, а минута; придет такая минута — и все прощается, и за эту минуту тянется семейная жизнь.

— Ну, Миша, — сказала счастливая мать, — тебе бог дал язык за всех четырех братьев: соловей, ну, просто настоящий соловей прилетел.

ИТАЛИЯ

Иному не хватает, может быть, какого-нибудь сантиметра в руке, чтобы дотянуться и расковать Кащееву цепь, и за этот сантиметр вся жизнь через туман, и нехватящий сантиметр кажется каким-то предвечным проклятием.

Юноша ужасно мучится над вопросом, кем ему быть, загадывает то и другое, между тем самая нехватка против сильной рабочей руки еще в утробе матери обрекла его на художество, — чтобы тайная сила его сверкнула для всех, как искра из оборванного провода. В этом ли искусство? А может быть, искусство значит излучение силы в другого, у кого рука большая и сильная, но не хватает тоже очень немного, чтобы избрать себе верное движение?

В сырые туманные дни юноша непременно рисует на окнах пальцем всевозможное, в солнечный день режет палочкой на песке гравюры, но когда попадает в руки перо или карандаш, то выписывает себе в тетрадку чужие рассуждения. Это значит, он вырабатывает себе мирозерцание по программам Московского общества ревнителей народного просвещения. Можно ли, однако, читая социологию Спенсера и Максима Ковалевского, определить свое значение? В учении о личности он находит себе временный ответ: он сделается цельной личностью, непременно инженером, потому что инженер — ученый человек, но не как доктор Фауст — метафизик, а и ученый, и вроде как бы офицер, живой человек. Так преломляется социология Спенсера и Максима Ковалевского в юной голове.

Одно плохо, что математика — ненавистная наука, но вот именно потому, что она ненавистна, и нужно ею заниматься и восполнить пробел природы; математика будет по долгу, а по любви — загадочная наука химия, и так он сделается инженером-химиком.

Однако верно сказала его мать, что, может быть, и домой он не доедет еще, как все у него переменится. Пришлось ехать на пароходе почти неделю по степям и лесам, где все манило к свободе, и ужасным казалось это будущее с вечной математикой. Нет, нужно найти такое знание, чтобы открывалось все и человек, и природа; наука была бы такая же увлекательная, как искусство, и то же искусство не расплывалось бы в одно удовольствие, а служило бы, как у Шиллера, высоким целям. Точка, за которую бы можно ухватиться и все повернуть, иногда показывалась так близко, что еще какой-нибудь сантиметр, и дотянулся бы и все повернул, но вдруг она ускользала, а в себе все росла и росла пугающая пустота. В последнюю ночь к этому еще прибавилось очень неприятное чувство, что матери он написал так определенно о себе, а вот, оказывается, все уж переменилось, она по копейке собирала, чтобы дать детям образование, а он даже не знает, что делать с собой.

Было очень много совершенно неясного, от чего робеет душа и блуждает, оторванная от жизни, пока вдруг не найдет и не узнает свою

прекрасную родину в самом обыкновенном лице или вещи. Это было уже совсем близко от родного города, в окне мелькнул огромный дуб, какие еще встречаются в черноземном краю, и вслед за этим откликнулся какой-то удивительно радостный Жилец изнутри себя, и в один миг рассказало большое, далекое, что было с ним, когда все еще его звали Курымушкой.

С самого своего малолетства помнит он ожидание красного звона, когда должен прийти к ним какой-то гость с волшебной палочкой. Так рассказывали, что один барин всю землю свою, усадьбу, имущество отдал мужикам и вышел из своих ворот только с палочкой. Курымушке одно было интересно в этом известном рассказе, что барин ушел с палочкой, и казалось, что все тут было в палочке, и она совсем необыкновенная и даже лучше, чем у Гуська его писаная и тоже знаменитая.

Рассказывали, что барин с палочкой иногда приходил в деревню. В эти дни заказывался молебен, и мужики под красный звон жарили общую яичницу. Курымушка ждал его с красным звоном, а пришел он просто, и никак нельзя было подумать даже, что вот настал этот желанный час и пришел этот самый гость с волшебной палочкой. Раз на дворе ужасно всполохнулись собаки и с остервенением кого-то сгребли. В таких случаях из ворот показывается нищий с безобразной длинной палкой, но тут вышел совсем особенный человек в шляпе, — большая редкость! — в синей блузе, — тоже необыкновенно! — сапоги высокие, борода стриженная а в руке отличная суковатая палочка.

С замирающим сердцем спрашивает Курымушка:

— Не такой ли и барин с палочкой?

— Он самый, — шепнула мать и, как всегда, просияв радостью к гостю, сказала:

— Неужели пешком? Вот как вы, художники, путешествуете. Наверно, очень устали?

— Ничего мне не делается, — сказал художник и, просунув через балясики балкона свою удивительную палочку, велел Курымушке:

— Тащи!

Схватив конец суковатой палочки, Курымушка из всех сил потянул, а он в один миг вскарабкался по столбу и очутился на балконе за чаем. Вскоре у них начался разговор о Толстом, о его запрещенном сочинении, где муж убил свою жену, мало-помалу разговор переходит в спор, мать кричит на художника, как на пьяного старосту:

— Поймите же, если мужчины не будут сходиться с женщинами, род человеческий совсем прекратится.

— И пусть прекращается!

— Вы только ходите.

— А вы, как наседка, сидите.

— У меня обязанности, я пять человек ращу, мне нельзя, как вам, отдать мужикам землю, я должна всю жизнь работать на банк, я должна беречь землю, а не бросать, я даже это и заслугой-то не считаю: отдать землю, а самому ходить.

— Не отдадите — хуже: у вас ее рано или поздно отнимут.

— Знаю и всегда говорю, что земля непременно перейдет к мужикам, но у меня есть обязанности, я связанный человек, а вы не от мира сего, и обязанности у вас только к своей палочке.

Курымушка даже визгнул от радости: что за чудесная жизнь открывается ему впереди — вечно ходить и обязанности иметь только к одной своей палочке волшебной.

В разгаре спора мать зачем-то вышла, а художник вдруг схватился за перила, прыг за балясины на землю и скрылся за воротами. Собаки бросились, конечно, за ним, а мать, услышав собак, подумала о нищем и сказала Курымушке, появляясь в дверях:

— На вот, подай копеечку. А где же Михаил Николаевич? — спросила она.

Курымушка с восторгом рассказал ей о великолепном прыжке. Мать ахнула и велела скорей догонять и просить, чтобы непременно вернулся.

Далеко он не успел отойти, сел на валу возле полей под большим дубом. Все передал Курымушка, что ему было велено. Художник заглянул ему в глаза, усадил рядом с собой и сказал:

— Какая тишь! Деревья-то, как восковые!

Стало очень хорошо, и все обыкновенное — и дуб, и поля, и трава показались отчего-то прекрасными. Неужели все это сделалось так от волшебной палочки?

— Ну, посидим же и сами потише, — шепнул художник, — мы с тобой будто на корабле путешествуем. Итак, думай, что земля эта незнакомая и растения эти невиданные. Посмотри, какое кружево!

Взял в руки трилистник.

— Есть у тебя сестренка?

— Лида.

— Лидин листик. Еще кто?

— Кот Васька.

— Васькин. А еще кто?

— Мамин, конечно.

— Нет же ей листика, она очень кричит, на этой земле нельзя кричать,

это — волшебная земля. Ну, помолчи, не спрашивай больше ничего, едем и едем, ты сам живи, а я тоже сам.

Вот как хочется Курымушке спросить, куда они едут, какая это земля, а нельзя: художник уйдет и ничего не будет. Долго ехали, наконец художник сказал:

— Мне пора.

— А где же мы были?

— Конечно, в Италии.

И как же было грустно возвращаться домой. Мать, взволнованная, спрашивает:

— Где был столько времени? ;;

— В Италии, мама, — ответил Курымушка.

— Какие глупости. А Михаил Николаевич?

— Ушел.

— Как же ты его не удержал. Куда он ушел?

— Наверно, в Италию.

И так он больше и не вернулся, а показался опять в городе, когда Курымушка учился в гимназии. Жил он в слободе, в заброшенном большом саду, в бане.

Бывало, все ждет Курымушка воскресенья, чтобы забраться к художнику в баню, но не всегда застаёт, часто на бане висит замок и записочка на двери: ушел. Он везде бывал, все обходил, недаром этих художников звали передвижники.

Курымушка очень любил делать для художника угли: берет березовый сучок, завертывает в просоленную тряпочку, сжигает, и получается то, чем рисуют. Раз он так очинил уголек и одним махом нарисовал замечательного гиппопотама. Художник очень удивился.

— Ну-ка, нарисуй крокодила.

И крокодил вышел удивительный, а слона художник даже взял себе на память.

— У тебя, — сказал он, — большие способности, ты почаще приходи, я тебя буду учить, художником будешь.

Разговор оборвал какой-то толстый человек, вошел в баньку и сказал:

— Ну вот, насилу-то я вас застал, вы только ходите и ничего не работаете.

На это художник очень странно:

— А у тебя есть баба?

— Ну, есть жена, — ответил толстый.

— А тут у ней густо?

— Густо.

— И тут?

— Густо.

— Вот ты и сидишь с бабой. А мне как? Бывает ночью такое представится — у-у-ух! зубами бы разорвал... очнешься, палку в руки, записку на баню, кусок черного хлеба в карман, и пошел и пошел умывать. Так с одним черным хлебом и обхожу, — великое дело, я скажу тебе, черный хлеб, ведь в нем солнышко...

— Так-то так, — ответил толстый, — а почему же вы ничего не пишете и работ своих никому не показываете?

Художник усмехнулся. Из маленького окошка своей баньки он показал на синее небо, удивительно из баньки прекрасное, и по синему плыл плотный белый корабль.

— Ну, как?

— Небо-то?

— Да небо, хорошо небо?

— Ничего себе: лысенькое...

— Сам ты, дурында, скоро будешь лысым, а небо — великая красота, великая святость. Ты, олух царя небесного, думаешь — легко художнику взяться такую-то святость белилом на холсте мазать? Ничего-то вы не понимаете, настоящие художники живут только в Италии, вот соберусь как-нибудь, встану легкой ногой, возьму целую ковригу черного хлеба и уйду от вас в Италию.

Плохо эту неделю учится Курымушка, в гимназии на уро-

ках рисует гиппопотамов, дома готовит к воскресенью заме.» чательные березовые угли. А когда наконец пришло воскресенье, то не дождался и звона к ранней обедне, бежит по безлюдной улице в слободу, сокращает дорогу пустырем, перелезает через забор в сад, спешит и далеко видит на баньке замок, и белеется записка, прибитая к двери гвоздиком. Стоит мальчик на приступочке и разбирает удивительные слова:

УШЕЛ В ИТАЛИЮ

Так вот и оказалось тогда, что уйти можно, и это легло тогда давно куда-то в запас. И не раз в трудные минуты жизни шептал себе Курымушка, как иные шепчут молитвенное утешение: «Буду учиться, страдать, делать все, что только мне велят, но, когда станет так плохо, хоть умирай, я не буду умирать, брошу все, возьму палочку и уйду в Италию». А еще он оставил себе в запас догадку о том, что взрослые люди могут играть и шалить несколько не хуже, чем маленькие, напротив, у них есть свои какие-то необыкновенные прекрасные игры, но они это держат от детей в секрете,

потому что если только дети это узнают, то ни за что не будут учиться и слушаться и все разбегутся в Италию.

Вот теперь, когда Миша Алпатов увидел из окна поезда родной могучий дуб, сразу вышло это из запаса и даже определило движение: Миша Алпатов, конечно, мог бы нанять лошадь, и дома, ни слова не сказав, за нее бы заплатили, но он ехать не хочет, сдает свой чемодан на хранение и, как тот художник, хочет идти пешком. Та слобода, где жил когда-то художник, ему совсем не по пути, но он делает порядочный крюк только затем, чтобы взглянуть, цела ли хоть та банька. Было очень приятно увидеть баньку в подтверждение, в доказательство золотого, похожего на сказочный сон, воспоминания.

Дальше за городом открылся знакомый большак с очень старыми и редкими лозинками, и тропа на стороне осталась точно такой же, как и раньше, с такими же извилинами. Недалеко от сворота с большака в проселок было кладбище с грудой камней, скот между могилами по-прежнему бродил, валил последние уцелевшие кресты; когда-то их ставили вновь, потом махнули рукой, — сколько ни ставь, все равно разломают.

Но юноше нет никакого дела до нагого кладбища; он смотрит на синее небо и думает, что это же самое небо вон там, на горизонте, погибает, и там где-то под ним непременно, — не сказка это, — Италия, настоящая, с Римом, вроде как бы доказательство всегда везде существующих чудес всеобщих Италии и Эллады.

И вот начинает показываться оттуда, выдвигаться мало-помалу большой плотно-белый корабль Одиссея.

А что плыл настоящий Одиссей, это можно доказать по Гомеру: Одиссей плывет, а Гомер в доказательство. Одиссей что-то заметил в синем море, подымает голову все выше, выше, светлея, улыбаясь кому-то. А в той стороне, куда он глядит, разлежся прощенный, лениво отдыхающий от великих своих дел Прометей; он тоже заметил Одиссея, и подымается, и улыбается.

О дорогой Прометей, какой ты хороший!

Михаилу Алпатову не думается, что он идет, любуясь и мечтая, как всякий юноша, а что у него есть доказательства всего этого прекрасного и что вовсе это не пустяки в облаках, вон там, где великан великану улыбается, помахивая широкой полрой.

Он приходит домой в темноте, но и в темноте продолжается прекрасное, мать, встречая его, говорит: «Соловей прилетел», — а братья — не прежние его старшие братья, похожие на братьев Иосифа, а новые, хорошие, и будто не он пришел, а они пришли к нему, как в Египет к

Иосифу.

А когда он лег спать, то соловей сел на форточку и пел до утра.

Встало росистое утро. На липах в зеленом свете поют золотистые иволги. Ну, вставай же, Иосиф! Пришли твои бедные, голодные братья, бери ключи и открывай скорей для них житницы фараона!

И в доказательство из жизни слышится очень добрый голос радостной матери:

— Вставай, Миша, не пропускай: утро какое прекрасное.

БОЙ

Редко бывал у Алпатовых такой день, чтобы все собрались вместе и вдруг решили бы согласно какое-нибудь большое дело. Но тут просто за чаем решили все, как начертала Мария Ивановна, и даже распределили обязанности по хлопотам: Николай с Сергеем будут готовить работу по сводке дубового леса. Александр вызвался съездить в губернию за разрешением на раздел. Михаил будет хлопотать здесь, в городе, у нотариуса. Лидия хотя и не приняла никакого участия, но и то было очень много, что не мешала. Мать упустила из виду в первые дни попытать Мишу о его плане, и сам он мало об этом тревожился. Все осмотрел, день в саду — и все вспомнил, день в лесу узнал все детские деревья, еще один день был в деревне, поймал со старым Гуськом перепела. Все было неизменно, как раньше, только все стало удивительно маленьким.

Пришла Троица. С дикими песнями, горланя во весь дух, пришли к балкону нарумяненные девицы и парни в пиджаках, пробовали под гармонию составить хоровод, но явился пьяный Афонька, всех сбил, все перепутал и, завладев общим вниманием, стал говорить о сотворении мира, и о Ноевом потопе, и как взбунтовались звери в ковчеге, как Ной усмирил зверей и по ошибке очень обидел верблюда и наградил осла.

— Притча эта есть бабам о человеке, — сказал Афонька, — ведь у мужиков бывает по-разному.

— Безобразие, — сказала Мария Ивановна и, сунув бабам на подсолнухи, прогнала хоровод.

На другой день она вышла к чаю уже в другом настроении, и как раз тут в передней кашлянул Павел.

— Ты, Павел, опять ко двору? — спросила она с раздражением. — Лучше и не просись, все равно не пущу.

— Я не ко двору, Мария Ивановна.

— Что же тебе надо? Денег тоже не дам.

— Денег я не прошу. Разрешите, Мария Ивановна, сходить на кулачный бой.

Мария Ивановна замолкла. На кулачный бой Павла не пустить невозможно, это как бы и в договор входит, что в Духов день Павел непременно идет в Пальну биться. Подумав немного, Мария Ивановна сказала:

— Ступай!

— Я тоже на бой пойду, — сказал Михаил.

— Какие глупости, не успел приехать, только что делами занялись...

— Делами я и пойду заниматься, с боя зайду к Дунечке в школу, потом прямо в город к нотариусу. Мне непременно надо с Павлом: я никогда не видал кулачного боя.

— Рвет тебя на части, какой-то непоседа вышел, только бы странствовать, — боюсь, из тебя выйдет что-нибудь вроде Михаила Николаевича.

— Разве это нехорошо?

— Что же тут хорошего! Землю роздал мужикам, а сам пошел, так вот я бы взяла и роздала, а вас бы бросила.

Михаил поспешил поскорее выйти, чтобы мать не заворчала сильнее и не начался бы неприятный допрос, кем ему делаться, в какое поступать учебное заведение. Павла он догнал уже за деревней.

В полях было марево, струйками подымался из черной разогретой земли светлый пар, и за ним дрожали, двоились и оставались висящими в воздухе кроны старых лозинок на большаке. Великан Павел услышал догонявшего его Михаила, оглянулся, остановился и осклабился: хорошо он умел улыбаться, потому что был очень силен и зла ни на что на свете не имел. А почему же все-таки еще с самого раннего детства, помнит Миша Алпатов, сердце всегда сжималось при мысли о Павле, что такой великан живет и не хочет видеть ничего вокруг себя, как его обижают... Кто обижает? Никто Павла обидеть не может, а все-таки, всегда казалось, Павла обижают, и от этого сердце сжимается.

— Помнишь, Павел, я был тогда маленький, и меня звали Курымушкой, у нас жил тогда страшный такой человек, Иван, помнишь?

— Иван Захаров?

— Он самый. Помнишь, царя убили. Ты пришел тогда с Иваном к нам в дом ночевать. Няня говорит: «Теперь зачисто всех господ перережут». Иван отвечает: «Всех под орех». Помнишь, Павел?

Великан улыбается.

— Помнишь, он говорил: «Бог выгнал человека из рая и велел обрабатывать землю в поте лица. Адам стал пахать и заслуживать». Потом я забыл, как он сказывал, мне кажется, вроде того, что в раю опять согрешил человек, и бог опять выгнал его пахать землю, но только забыл, когда выгонял второго Адама, что земля уже занята первым Адамом и выполнить заповедь невозможно. У первого Адама спасение от себя самого зависело, а второму без земли хоть разорвись, не спасешься, ошибка была тут у самого Создателя: выгнать сумел, а земли не прибавил. Помнишь, так, кажется?

— Помню, — сказал Павел, — после того собирались мужики землю столбить.

— Вот — столбить, и, кажется, это ты говорил, что на каком-то старом дереве в нашем саду твой дедушка хомут вешал и, значит, тут надо столб ставить: земля ваша.

— Ну, и память же, — удивился Павел. — Было это так точно: дедушка мой вешал хомут.

— Потом Иван пропал.

— Угнали Ивана.

— И все стихло и кончилось. Что, как ты думаешь, начнется когда-нибудь опять или так навсегда и кончилось.

— Не знаю, — сказал Павел, — как я могу знать.

Он, правда, ничего не знал и не думал об этом с тех пор, как сослали Ивана.

Вышли с проселка на большак. Далеко, как море, раскинулась эта земля, вся разделенная на мельчайшие полоски, с большими островами имений. По большаку толокет в мареве лошаденка, и голос слышится:

— Ну, толокись, толокись, бестолошная!

Когда лошаденка поравнялась, седок в черном новом картузе остановил дрожки и спрашивает:

— Милый человек, скажи, где тут бой?

— Вон, пивнушка на лугу, — ответил Павел, — видишь, там и дерутся. Пальна с Аграмачем.

— Хлестко бьются?

— Жестоко. Обедня отойдет, и примутся морды метить и ребра ломать! Смотри, смотри, вон из города валят смотрители...

Человек в новом картузе хлестнул лошаденку, и опять она толокет, а он покрикивает:

— Ну, толокись, толокись, бестолошная!

Когда Алпатов с Павлом вошли в толпу, все кругом разговаривали, городские и деревенские, знакомые и незнакомые.

— Ну, как вчера дрались?

— Вчера хорошо, но сегодня будет лучше, в Духов день . всегда лучше дерутся, чем в Троицу. Сегодня будет ужасный бой, страшное кроволитие. Поздняя отойдет, и все на луг затравлять, в полдень станут биться и бегать к реке морды мыть. Весь берег будет в крови.

— И насмерть?

— Во-на! Только редко сразу бывает, больше постепенно помирают.

— А не грех это? — спросил Алпатов.

— Какой грех! Это дело любовное, это не от сердца дерутся. Спасибо даже говорят, когда ловко ударят. Даже и на смерть свою скажет иной: благодарю.

— Неужели же и за смерть свою благодарят?

— Собственно за свою же смерть и скажет: спасибо... Ну, как же! А это у нас от сотворения Руси Пальна билась. с Аграмачем. Пальне помогают касимовские и ламские, бойцы. «Грех!» Вот что сказал! Тут греха нет никакого, ведь ежели бы камнем, а кулаком не грех, а честность. Хороший боец никогда даже в морду не бьет, всегда в душу или в ребро. У хорошего бойца кулак, что копыто, так и хрустнет. У меня самого кулаком душевную кость перебили, чуть непогода — не жилец! А винить никого не желаю, это не покор, это дело любовное, вышло — вышло, а не вышло, так дышло.

— Гамят, гамят!

Все ускорили шаг и потом, когда ударили все колокола, побежали. Кончилась обедня, и первые выбежали из церкви мальчишки в белых, красных и синих рубашках. У них началось примерное, потешное сражение.

Оба зеленых склона разделены лощиной с проточком — одна сторона от Аграмача, другая с Пальны. Чья возьмет? Кто кого выгонит из лощины?

Маленькие не бьются, а только примеряются, растравляют больших. Кто-то когда-нибудь вступится за обиженного мальчишку, а против него станет другой большой, а потом целая стена больших. Вот этого-то ждут и следят за мальчишками.

Пожилые почтенные люди приходят на место будущего сражения и чинно рассаживаются по обоим склонам. Но молодые гуляют вдоль реки. Сколько тут расфранченных девиц. Атласные кофты, бархатные, шелковые, переливчатые зонтики, шляпы, калоши, гармоньи.

Но придет время — боец и девку, и гармонью бросит.

— И этот? — спрашивает Алпатов, показывая на красивого молодого

человека в мягкой шляпе, с длинными, до плеч, волосами.

— Нет, этот не бросит, этот монах.

— Нынче монахи-то размонашиваются, — рассказывает про него древний старец с пожелтевшей от времени седой бородой и длинной лозиновой веткой в руке. — Не монах, а только зовем монахом, пахать неохота, вот и пускается на всякие хитрости.

Мало-помалу монах для Алпатова стал Парисом, старец с веткой в руке Приамом. Тут сколько угодно героев. Главный боец из Пальны подымает сорокаведерную бочку, пляшет с тремя кулями, силы, говорят, в нем очень много, а настоящей развязки в бою нет. Лысый касимовский боец всем бы хорош — и сила есть, и развязка, только вот лыс, потому что ему в прошлогоднем бою всю макушку оббили. Вон и ссыльный вор в красной рубашке, юлит, будто кот. А вот еще разбогатевший мужик в английском пиджаке и в желтых американских ботинках, солидный, как председатель земской управы, но, говорят, когда разгорится бой, не выдерживает и бросается. Даже у девятидесятилетних стариков играет кровь, и они, бывает, не жалея седых волос, бросаются, покашливая, в битву.

Приходят женщины с грудными детьми, приходят даже больные, и все кричат «ура!», когда по дороге из города, стоя на телегах, разукрашенных березками и полевыми цветами, с гармоньями в руках показываются ламские смоляные бойцы. Все бойцы скоро смешиваются с толпой, прячутся за спинами и оттуда зорко выглядывают: нет ли и у аграмачинцев каких-нибудь богатырей?

Тень ложится от холма к холму. Все стихает.

— Боятся начинать, — говорит Приам. — Так ли бивались в старое время! Мельче народ стал, больше криком, стеной берет.

— Мельче, — говорит Алпатов. — Почему стал народ мельче?

— Свиной продавать стали. Раньше все ели сами, а теперь продают, чаевой народ пошел, мертвый.

— Год тощий, — возражает ему другой захудалый мужик, — не народ, а год.

— Затянул волынку! — сказал красавец Андрюшка.

— Нет, истинно год, — согласился с захудалым кровельщиком мастеровой человек. — Я хоть бы насчет крыш скажу: господа разорились, крыш не кроют, как тут не отощать?

— Вовсе подтощал народ, — согласились другие, — задумчивый стал, бывало, выпьет и развеселится, а теперь все чего-то ищет, все ищет.

— Уходит! — таинственно шепчет кровельщик.

Тень от Пальны закрыла весь Аграмач. Кто-то сказал:

— Если теперь взорвет, то всех сразу от мала до велика.

— А если остановят?

— Разве можно такой народ остановить?

— Если десять казаков...

— И двадцать не остановят.

Тогда кто-то сказал тихим и убежденным голосом:

— Суд остановит.

Услыхав слово «суд», городская сухая старая мещанка, лицо в кулачок, с сигаркой во рту, сиплая, стала вроде как бы причитывать:

— Суд, батюшки, суд, и такой-то суд будет великий.

— Ну, пошла, Чертова Ступа!

— Великий, Страшный суд, — продолжала Чертова Ступа, — всех зачисто перережут, всех богачей, всех купцов, всех попов, дьяконов, господ, всех без разбору.

— Не грехи, — останавливает серьезная деревенская женщина. — Как так без разбору? Кого и оставят. Это божье дело, без разбору нельзя: кто больше грешен, с того больше спросится, кто меньше, и там будет меньше.

— Ой, нет, ой, милые, нет, — продолжает Чертова Ступа, — всех господ, всех шапочников и всех шляпочников. И восстанут в последние дни сын на отца, мать на дочь, брат на брата, сестра на сестру, все, родимые, как кошки, сцепятся, где тут разбирать, где тут...

Вор вышел затравлять. Другой затравщик в белом картузе слегка дал ему в душу. Вор перекошил рот, выкатил глаза и стал медленно, как мертвый, валиться. Белый опустил руки. Тогда вор вдруг ожил и ударил так, что белый снопом свалился на землю и стал корчиться.

Вор обманул.

Старик с порыжелой бородой поднял свою лозиную ветку и бросился на аграмачинского вора. За стариком бросился Павел и сорокаведерный боец. И все сразу смоляные бойцы. И вся гора.

Высоко взвился в воздухе котелок богатого мужика. Губы кровельщика открываются, но ничего не слышно. Алпатов подставляет ухо, и тот кричит в восторге:

— Как ваш Павел-то рубит!

А у богатого мужика все лицо в морсу. У вора давно выворочены салазки, на лице негде курице клюнуть. Двое покатались к реке. Один схватился за ухо и вертится, как круговая овца.

— Пальна бежит!

Бегут женщины, старухи, мальчишки и тот Парис с двумя монашками.

Ничком на земле лежит мужик в изодранной красной рубашке, возле него стоит женщина, в одной руке у нее шапка мужа, в другой ребенок, убивается она, что новую рубашку на мужа в клочки изорвали.

Щупают мужика.

— Ничего, бока тепленькие.

И тащат к реке. А внизу победные крики:

— Пальна взяла! Аграмач бежит!

Толчет назад лошаденка по опустелой деревне. Седок покрикивает:

— Ну, скорее беги домой, бестолошная!

Из крайней хаты выползает навстречу кто-то козлообразный на четырех лапах. Это больной, параличный дедушка не вытерпел, глядит красными глазами, спрашивает:

— Чья взяла?

— Пальна, дедушка.

— Слава тебе, господи.

И крестится своей старой лапой.

По большаку полями идет юноша с раскрытой душой, как поля, и готов всему на свете дивиться и все любить, но чудится ему, будто где-то у горизонта встает безликая икона страшного черного бога, и навстречу ему из оврага Чертова Ступа читает свои страшные пророчества о всеобщем конце, когда загорится край неба-земли, затрубит архангел и все пойдут на этот ужасный суд. Бывало, в раннем детстве божественная няня пугала этим судом, а теперь Чертова Ступа с сигаркой во рту, — такие разные, няня и злая городская мещанка, а бог все такой же черный, безрадостный.

Поля пересекаются глубокими оврагами, через которые в мареве как будто уходит на небе, складываясь там в свободные облака, дух земли, а сама земля зеленеет нерадостно под вечной угрозой черного бога: «Зеленей, зеленей, а вот придет час, загорится край неба...»

Бывает, ландыши запахнут тем, что для человека считается позорным, а бывает, от стены, облитой животными, повеет чистыми ландышами; зимой станет себе, как весной, летом покажется зима, — все это имеет значение не только в кружевах жизни, но и в делах. Так показалось вдруг Алпатову, когда он вступил в цветущий Дунечкин сад, будто он пробудился зимой, когда выпадет пороша и становится светло в комнатах. Кругом была сирень, цвели молодые яблони, на высокой траве ползали пчелы — весна, но чувство зимней свежести, скользнув, не прошло, а нарастало: и яркое белое здание школы, на которое Дунечка истратила свое приданое, белые фартуки девочек, услужливые мальчики, и эта светлая келья, с гравюрой Рафаэлевой мадонны, с портретами святых писателей: Глеба Успенского,

Гаршина, Надсона... Сама Дунечка была такая же, как говорили о ней, мини-а-тюри-на-я, но только теперь совсем строгая, в таких верных линиях, будто ее на меди вырезал гравер.

Даже самовар у Дунечки был не обывательский, пузатый... а узкий, маленький, и на сверкающем никеле не было ни пушинки золы.

— Этот янтарный крестик, мне кажется, я раньше не видал у тебя.

— Это недавно мне Маша привезла из Италии:, приезжала с итальянцами любоваться нашими снежными заносами, им красота, а мне крестик. ,

— Я этого не понимаю и часто думаю, когда вижу красивый холм, почему мне красота, а мужик пашет и проклиняет и дорого бы дал, чтобы этот красивый холмик сровнять.

— Ты читал Чернышевского?

— Читал, но все равно не понимаю. Раз я видел в Сибири высокий курган, и на нем стояли заповедные сосны. Из-за кургана стало показываться солнце, и мужик, ругаясь на лошадь, медленно, как и солнце, подымается:, солнце с той стороны, мужик с этой, друг другу навстречу. Я бы ни за что не отдал скрыть этот курган, а мужик сроеет с радостью. Итальянцы приедут и скажут, что холм этот должен быть, и французы, англичане, все на свете — это общая красота, а мужик лишен этого чувства и враждебен, я считаю мужика обиженным, он не может участвовать в общей радости. Но это еще хорошо! Есть такой мужик, который завидует пашущему холму: у него лошади нет. А есть, кто не выходит от плавильной печи... Значит, я спутался и не могу поймать... как ты об этом думаешь? Да вот еще: я сейчас был на кулачном бою, и мне про себя потихоньку казалось там хорошо, ведь и в «Илиаде» бой описывается, и у англичан есть бокс, а кулачный бой мужиков считается чем-то презренным. Почему это?

— Не знаю, Миша, все, о чем ты говоришь, было так давно, мы спорили об этом целые ночи, а в жизни оказалось — все это имеет так мало значения...

— Дунечка, чей этот портрет?

— Это моего брата портрет, ты не видел его никогда.

— Гарибальди, как же... Помнишь, ты любила мне читать из Некрасова:

Жандарм с усищами в аршин, И рядом с ним какой-то бледный, Полуиссохший господин.

Я всегда думал, что твой брат и есть этот бледный господин.

— Я теперь Некрасова редко читаю: все у него неверно оказалось, это

он воспевает наш собственный мир, но не мужицкий.

— Разве это два мира?

— Раньше я думала, по Некрасову, что один, а теперь, кажется мне, существуют два разные мира. Я себя, ты знаешь, строго сужу, но спроси других, и все тебе скажут, что школы, подобной моей, далеко вокруг нет. Я веду за собой детей, но только пока они дети. После школы большая часть их возвращается к земле, и все забывается, а выдающиеся «в люди» выходят: среди моих учеников уже есть два попа, семь дьяконов и двенадцать полицейских. Спроси в деревне их родителей, и они скажут тебе, что я их ангел-телохранитель. Понимаешь? Они все мое дело понимают материально: дьякон — это не то что мужик, и за это они меня называют не ангелом-хранителем душ, а хранителем тела, каким-то лейб-ангелом. И так все сводится у них к землице, которая не возвышает их, как мы думали, по Успенскому и Некрасову, а уничтожает, вся душа их выходит в реве: «Земли, земли!» Дунечка вдруг спохватилась: не далеко ли она зашла в этой исповеди мальчику?

— Ну, как тетенька? — спросила она. — Все ссорится с Лидией?

— Она собирается выдать ее замуж. Ты как об этом думаешь?

— Тетенька — совершенный ребенок. А ты что с собой думаешь делать? Пойдем-ка в сад, я покажу тебе, какой я вырастила сад за эти годы.

И опять Алпатову в цветущем саду стало пахнуть порошей, будто каждая частица Дунечки, пережив свое назначение, становилась белым хрусталиком.

— Вот эта аллея из ясеней посвящена брату, в молодости он был чистым, как яшень.

— А помнишь, Дунечка, от него было какое-то письмо тогда, и в нем было назначено тебе работать на легальном положении.

— Как же это ты мог тогда схватить, ведь ты был тогда совсем маленьким Курьмушкой?

— А у меня память неважная, но что-то, мне кажется, совершается в мире, близкое себе самому, и когда это коснется, то никогда не забудется: это не от памяти. Я запомнил, потому что мне было тебя очень жалко: ты очень плакала, тебе не хотелось работать на легальном положении. Я думал тогда — это Кашей захватил тебя в свою цепь, и мама работала на банк, тоже вместе с тобой плакала, что всю жизнь ей придется работать на банк... Но что же это было тогда? «Народная воля»?

— Почти: «Черный передел».

— А теперь как это существует, как это теперь называется?

— Теперь брат работает тоже на легальном положении и такой

раздвоенный, я теперь все связи растеряла, по-моему, они теперь все должны быть на легальном положении.

— Как же все? Ведь Кащеева цепь осталась, значит, непременно должны быть и такие же, какими вы были, ведь куда ни посмотришь, все какие-то связанные, одна только Маша, Марья Моревна, и была и осталась свободной. Дунечка, я скажу тебе свою тайну, или нет, — какое-то предчувствие мое: мне кажется, что когда-нибудь я все пойму сразу, и не по книгам, а через женщину...

Дунечка посмотрела на него внимательно. Миша не покраснел, а тоже смотрел на нее во все глаза.

— Я не знаю, — ответила Дунечка, — откуда у тебя романтизм взялся: такая у нас проза... Разве вот только Маша... Но ты совсем не знаешь женщину, ты присмотришься, это такой узкий круг.

— Я не про это: это все Кащеева цепь, а не сами по себе люди.

Дунечка задумалась и глубоко вздохнула. — О чем ты думаешь, Дунечка?

— Я думаю, какое все-таки несчастье родиться женщиной, если бы я могла быть мужчиной!

Огонек вспыхнул в глазах ее, и на мгновение она стояла совершенно такая же, как в те, — казалось Алпатову, — отдаленные времена, когда она, бывало, греясь у печки в зимние вечера, сжимала свои маленькие кулачки на царя.

Пока Дунечка с Мишей Алпатовым прогуливались в саду, на крыльце школы собрались деревенские бабы. Увидев баб, Дунечка скоро вошла в школу и сказала:

— Сейчас, Миша, я их отпущу, а ты вот посиди у меня в комнате, почитай последнюю книжку журнала, тут есть интересная статья о новом движении в молодежи.

Миша взял книгу и начал читать статью, которая начиналась словами:

«Теперь всюду вы можете встретить юношу, называющего себя материалистом, но вы не подумайте, что речь идет о философской системе в общеизвестном смысле, юноша называет себя последователем материализма экономического...»

Алпатов с трудом мог следить за мыслью автора, потому что за словами пряталась какая-то неизвестная жизнь, и особенно трудно было, когда автор начал с кем-то спорить в формах условной журнальной полемики.

«Вот бы спорить научиться, — подумал Миша, — отчего это я спорить не умею?»

Он вспомнил свои попытки в гимназии спорить. Всегда оказывалось, что его запала хватало только до первого натиска противника, после чего он думал: «А может быть, и тот прав, с другой стороны?» — и отступал, затаивая свое убеждение и сохраняя мысль противника для разговора с самим собой.

С трудом и скукой читал Миша, а из другой комнаты ясно доносилась к нему беседа Дунечки с бабами: одна принесла какие-то вещи, чтобы укрыть их от пьяницы-мужа, спрашивала Дунечку совета, как ей жить с пьяницей; другая просила капле от постоянных болей в животе; третья звала на крестины...

Мише вспомнились бабы у старца Зосимы из Достоевского и то же самое, как рассказывала мать о бабах у отца Амвросия в Оптиной пустыни, и он подумал:

«Им нужен не учитель в школу, а старец, и они сделали себе его из Дунечки и очень радуются, что ее лучшие ученики идут в дьяконы и в полицейские. Она хотела их переделать, а они ее переделали. Вот почему она такая грустная и о всем говорит иронически».

Он думал это, слушая и в то же время читая статью.

«Жив, жив!» — кончалась статья. Это значило, что автор еще жив со своими убеждениями народника, а юноши-материалисты нового ничего не говорят.

«Старик, должно быть», — подумал Миша.

Дунечка покончила с бабами.

— Ну, я пойду, — сказал Миша. Дунечка пошла его проводить.

— Автор этой статьи, — спросил Миша, — из той же группы народников, как и вы были?

— Почти из той же, — ответила Дунечка.

— И тоже работает на легальном положении?

— Я не знаю, что он теперь делает. То, о чем мы думали, не приходится к жизни... Лучше скажи, что ты с собой думаешь делать?

— Вот и не знаю, Дунечка, я очень мучусь и не могу решить... Я желал бы сделаться инженером, но не хочу оставаться в своей скорлупе. Меня влечет это нелегальное как было у вас, и хочется, чтобы потом увидеть границу...

— А что за границей?

— Мне представляется за границей какой-то открытый путь. Вот у нас неправильная жизнь: легальная ненастоящая и нелегальная страшная, как бы найти ясный путь... Нет, я ничего еще не решил о себе. Ты никогда не видела этих новых материалистов экономических?

— Где тут мне увидеть новое. Я читала статью и думала о наших мужиках: вот кто настоящие-то экономические материалисты.

Миша хотел крикнуть: «Где же то настоящее, из-за чего ты живешь в такой глуши?» Но, когда посмотрел на Дунечку, ему стало жалко ее, и он мог только проститься.

— Куда же ты?

— В город к нотариусу: будем землю делить.

И зашагал по большаку, унося от Дунечки что-то светлое, чистое, но с холодком, как бывает в комнатах при первой зимней пороше.

АКУШЕРЫ

По пути к нотариусу была почта. Вздумалось зайти взять сельскую корреспонденцию, и когда он подошел к решетке, за которой, как в клетке, сидел молодой человек, вдруг тот страшно обрадовался, назвал его «Мишка» и вышел из клетки.

— Ну, как живешь? — спросил он, будто встретил родного брата.

Миша, не узнав чиновника, в первый момент не признался, ему показалось это обидным для неизвестного, встречающего его, как родного. «Авось, подумал, — из разговора определится», — и подал, дружески улыбаясь, руку. Они стали возле окна.

— Ну рассказывай, рассказывай, — говорил неизвестный, — как живешь?

— Да ничего себе, живу, — ответил Алпатов, дружески улыбаясь совершенно не известному ему человеку.

— Ты, я слышал, в Сибири кончил гимназию. А я вот с тех пор служу на почте, ты ведь этого не знал: после тебя, тоже за озорство, выгнали и меня, а потом Голофеева.

— Черт знает что! — воскликнул Алпатов, вдруг узнавая товарища, — да ведь ты Малофеев!

— Ну, вот, — обрадовался Малофеев, — ты не узнал меня, то-то я смотрю, ты какой-то связанный. Ведь ты у нас тогда прямо революцию в гимназии начал, и, знаешь, я тебе скажу: так это до сих пор продолжается. Голофеев у нотариуса служит, а линию свою ведет крепко. Несговоров — студент, выслан сюда под надзор.

— Несговоров здесь? — воскликнул Миша. — Неужели здесь Несговоров?

— Он всему городу уроки дает... Смотри, да вот он бежит с книжками.

Несговоров — тот самый, у которого Алпатов тогда в гимназии выучился петь «Марсельезу», с кем он еще в четвертом классе додумался бога отвергнуть, кто дал ему Бокля прочесть и поверить в закон развития жизни, да вообще в закон.

Алпатов наскоро простился с Малофеевым и побежал навстречу Несговорову.

Он был совершенно такой же: неправильное лицо с шишковатым лбом, и в строгих серых глазах, как из талантливой и добросовестной ученой книги, стыдясь, проглядывает теория — родная сестра сказки в искусстве.

И прежнюю сказочку, вечно и стыдливо мелькавшую в зеленых, каких-то лесных глазах Алпатова, Несговоров узнал с радостью, и некрасивое лицо его стало прекрасным.

— Курымушка, бедный мой, — сказал Ефим Несговоров. — Вот еще, бедный, — обиделся Алпатов, — я отлично кончил гимназию и думаю сделаться инженером. Ефим засмеялся.

— Да я разве об этом, чудак? Ты остался совершенно таким же! Я вспоминаю, как тебя выгнали, ведь это не проходит так просто, кончил ты или не кончил. Вот я кончил тоже, и меня лишили золотой медали только за то, что я вольнодумец. Пустяки, и то скребет, но если бы меня, как тебя, я бы никогда не простил... Что это у тебя? Новая газета? Дай-ка...

Несговоров в одно мгновение просмотрел «Русские ведомости», нашел что-то свое и очень обрадовался.

— Вот, — сказал он, — молодцы социал-демократы: . опять единогласно голосовали против ассигновки на флот, все Бебель разделяет и Либкнехт.

Ни Бебеля, ни Либкнехта Миша Алпатов не знал и совершенно не мог понять, как можно так живо обрадоваться какому-то голосованию против военной ассигновки и притом еще где-то в Германии. Он вопросительно посмотрел на Несговорова. Тот сразу понял его и хотел уже что-то сказать, но вспомнил свой урок и заторопился. Он обещается освободиться через два часа, а пока Миша подождет его, может быть, в городском саду. Он юркнул было уже в калитку одного дома, но вдруг вернулся и спросил:

— Ты, Миша, Бельтова, наверно, еще не читал?

— Что же я мог нового читать в Сибири? — ответил Миша. — Я все там старое читал и учился.

— На вот тебе книгу, почитай-ка пока в ожидании меня. Я скажу тебе

по секрету, ты не болтай: эту книгу Плеханов писал.

Имя Плеханова Миша не раз слышал от Дунечки и понимал его как священное народническое имя, вроде Глеба Успенского.

— Плеханов — народник? — спросил Миша.

— Что ты! — воскликнул Несговоров. — Значит, ты совершенно не в курсе движения. Плеханов, конечно, марксист.

Алпатов смутился. Но Несговоров был ему все равно как родной, и потому он сказал:

— Ты, Ефим, не смейся надо мной, извини меня и, пожалуйста, всему научи, как и в наше гимназическое время, я тебе скажу откровенно: я не знаю, что такое марксист.

— Удивительно, как ты при твоих способностях мог так отстать, ведь я помню, ты еще в четвертом классе Бокля прочел.

— Нет, я ничего не слышал о Марксе, и только в прочитанной мной недавно статье это имя много раз непонятно мне повторялось. Меня очень заинтересовали в этой статье какие-то молодые люди, последователи экономического материализма.

— Вот это и есть, — сказал Несговоров, — ты все это найдешь у Бельтова, удивишься, обрадуешься, я твою горячую натуру хорошо знаю, ты непременно будешь с нами работать.

Несговоров уходит на урок. Алпатов направляется к городскому саду и совершенно забывает о нотариусе. В саду он скоро находит ту самую лавочку, где сговаривался бежать с гимназистами в Азию открывать забытые страны. Тут же он когда-то решил себе открыть тайну жизни. Все тут было — на этой лавочке. И опять на ней же он садится теперь и принимается читать Бельтова: «К развитию монистического взгляда на историю».

Алпатов мог очень скоро читать всякую книгу, и самую трудную, по своему особенному способу.

На первых же страницах самой даже разученейшей книги, если только она не была совершенно бездарна, он находил хвостик, за который схватывался, и вертел страницы иногда подряд, иногда через две, через десять, то бросался к концу, то возвращался к началу и подробно читал от строки к строке, как бы в поисках упущенного хвостика.

А то ему иногда казалось при чтении ученой книги, что он на воздушном шаре под небо летит и, чтобы все выше лететь и не спускаться, надо скидывать балласт. И так он прокидывает тяжелые, неясные страницы, перехватывая мысль, как мелькающую в лесных просветах птицу. И вот, когда наконец книга прочитана, хвостик больше не нужен, и

читатель смотрит в лицо автору и узнает его, как знакомое или родное.

— Ты много прочитал, — сказал над головой его Несговоров. — Ну, как?

— Страшно быстро все движется в книге, — сказал Алпатов, — и удивительно надстраивается, только зачем взят экономический базис, почему не просто жизнь?

— А что такое жизнь?

— Какая-то сила.

— Ну вот ты и пошел в метафизику. Ты, Миша, природный шалун, не обижайся, я говорю это в высшем смысле: метафизик, поэт, художник... есть у тебя что-то в этом роде.

Ефим снял свою студенческую фуражку и отер пот с лица.

— Ты очень устал, Ефим?

— Я не могу быть усталым, я должен работать весь день из-за куска хлеба: дома я кормилец. И так ведь живет огромное большинство людей, вот это и есть экономический базис.

— Да, я понимаю, Ефим, я постоянно даже чувствую в себе вину, как шалун, но ведь есть же шалуны соответствующие?

— Ты хочешь сказать: классовая интеллигенция?

— Ну да, что-то вроде этого. Я думаю о себе, что если бы я мог пустить себя куда-то в свою волю, так я не то что к звездам, а и за звезды бы улетел, но что-то меня удерживает, и я хочу тоже всему подвергнуться и пойти изнутри. Вот я знаю, например, что я к чему-то страшно способен. К чему — не определил. Но я нарочно хочу заниматься ненавистной для меня математикой и сделаюсь непременно инженером.

— Это очень легко, — ответил Несговоров, — будешь служить буржуазии, тебе отлично будут платить, если ты будешь даже самым плохеньким инженером.

— Буржуазии! Почему же непременно буржуазии? Я буду служить науке.

— Инженерные науки целиком находятся в руках господствующих классов, и ты будешь делать именно то, что тебе велют капиталисты. Ты хочешь быть механиком?

— Нет, химиком: там все-таки поменьше математики.

— Ну, вот, будешь ты инженером-химиком, посадят тебя на пороховой завод и заставят готовить порох для защиты буржуазии.

— Как, одной буржуазии? А народ?

— На-род... брось ты это, Миша, подумай: из кого состоит народ? Я удивляюсь, как ты не задумался над этим в Сибири: там много ссыльных.

— Там была одна организация у нас, называлась школа народных вождей. Я раньше думал, что они меня не принимают к себе, как родственника очень богатого человека в Сибири, но теперь мне понятно, — я сам не хотел. Это остатки народничества. Через Бельтова я теперь понимаю: мне не субъективно надо войти в организацию, а по закону... Ты понимаешь меня?

— Понимаю: ты ищешь самоопределения в классовом сознании.

— Да, да, чтобы определяло не «я — произвол», а «я — необходимость». Например, мне очень нравится, когда Толстой говорит о крестьянах, но когда он сам начинает пахать, — это противно. Тоже вот и моя Дунечка отдала жизнь свою за народ. Как бы это сделать, Ефим, чтобы не отдавать свою жизнь ни за кого, а в то же время оставаться в законе и необходимости? Скажи, разве инженер не может служить рабочему классу?

— Я думаю, — ответил Ефим, — мы не доживем с тобой до того, чтобы служить рабочему классу специалистами. Оставим всякое спокойствие. Наши дни сочтены. Для колебаний нет времени — туда или сюда. Выбирай... не хочешь умирай обывателем, постепенно.

— Не хочу быть ни обывателем, ни народником.

— Иди с нами.

— С тобой готов, Ефим. Конечно, еще немного подумаю. Скажи, что же делать?

— Ничего особенного мы с тобой сделать не можем против экономической необходимости со стороны, но изнутри много: как разрешается женщина ребенком, так и старая жизнь разрешится новой. А мы призваны облегчить роды — мы акушеры. Ты знаешь, мне очень понравилась эта ваша сибирская школа народных вождей, только нам бы надо устроить школу не народных вождей, а пролетарских.

— Устрой, Ефим, устрой пожалуйста, я первый вступлю. Скажи, что же мне надо прочесть?

— Маркса, конечно, Энгельса, «Эрфуртскую программу», Бебеля, Меринга, Каутского, все это у нас есть, все я тебе дам.

— А еще нельзя ли, чтобы, читая, можно было бы что-нибудь делать, не в смысле Чернышевского «Что делать?» говорю, а просто делать, как ты уроки даешь и этим живешь, так и я желаю просто работать.

— Мы сейчас все переводим те книги, о которых я тебе говорил, с немецкого на русский. Хочешь переводить Бебеля «Женщина и социализм»? Ты не слыхал об этой книге? Тебе работа особенно будет интересна, потому что, я помню, ты мне тогда много говорил о своей Марье Моревне, ты был с колыбели романтиком, и тебе тут будет корректив

действительности: женщина в прошлом, в настоящем и в будущем.

— В будущем! — воскликнул Алпатов. — Как же сказано о женщине в будущем?

— Это вытекает само собой из нашей программы, ты — читатель скорый и угадчивый, ты сразу поймешь...

— И знаешь, — перебил Алпатов, — надо еще что-то делать совсем практическое.

— Совсем практическое тоже есть. Мы сейчас обрабатываем третий элемент, ты, вероятно, слышал, что это такое: не выборные земские деятели, а служащие по найму, разночинцы, статистики, ветеринары, агрономы, учительницы. Мы их постепенно забираем от народников и через них влияем на председателя Александра Раменова. Ты его знаешь: образование гвардейское, а претензии Дон Кихота. Половину своего времени совершенно нормальный человек, и когда нормальный — кулак, а когда в хандре, то раскаивается и становится страшно искренним и готовым на всякую революцию в разговорах. Руки заложит назад по-английски, но пальцам не терпится, заберет пальцами полы сюртука в комочек и мнет, а зад мелькает открытый, и, знаешь, такой пропорциональный зад, такой приличный! Весь проникаешься убеждением, что не в этом у него дело, а там высоко, высоко, в больших горизонтальных усах и маленьких добрых глазах. Так он мелькает и повторяет: «Россия — загадочная страна!» А мы свое мотаем на его ус, и так он у нас почти что марксист, конечно, когда бывает в хандре. Сейчас он занят валютой, бормочет о биметаллизме. Мы ему подсунили социал-демократа Шиппеля. Еще есть у нас член управы из купцов, лесопромышленник, оголяет уезд до конца, а нам сочувствует, деньги дает и называет нас передовой авангард. Но работа с этими людьми требует точных знаний в земском деле, и ценим ее мы больше как средство забирать третий элемент от народников. Ты этим после займешься, если захочешь, а сейчас ты прочитай все и переводы Бебеля «Женщину».

— Давай же книгу, — сказал Алпатов.

— Не спеши, я сейчас опять бегу на урок, а ты пока сходи к нотариусу, там увидишь Голофеева, он тоже наш.

Несговорков уходит на урок. Алпатов, совершенно оглушенный новым, каким-то необычайно заманчивым и в то же время таким ясным миром, садится на лавочку подумать... Так удивительно укладываются в эти идеи его желания, мечты.

Но вот как же это он не спросил Ефима, когда тот обрадовался, что германские социал-демократы голосуют против расходов на флот и на

армию. А если это необходимо для защиты государства, если к слабым немцам без войска и флота явятся их злейшие враги французы и уничтожат Германию совсем — и с Бебелем, и с Либкнехтом, и социал-демократией? И если перевести то же на Россию, если опять к нам придет какой-нибудь новый Наполеон и у нас не будет оружия?

Он взял газету, пересмотрел ее, нашел телеграмму из Берлина, и оказалось действительно так: немцы сами же и голосовали против самих себя... Как же так?

Однако самый факт, что он уже может находить в газете что-то свое, что там где-то у нотариуса сидит Голофеев, который тоже наш, наполнил его радостью.

— Так или иначе разрешаются все эти трудные вопросы, — сказал он сам себе, — но мне — единственный выход из тупика через организацию школы пролетарских вождей.

ПЛАМЕННЫЙ ПРОЗЕЛИТ

Афанасий Голофеев, письмоводитель нотариуса, пришел из конторы кожевенного завода — другой своей службы, и потом после нотариуса у него была третья служба, на железной дороге. У него очень болела голова, и оттого глаза были сердитые, хотя лицом он был совершенно похож на доброго учителя в известной картине Богданова-Бельского. Он был в черной косоворотке, опоясанной узким ремешком.

— Ты не узнаешь меня, Афанасий? — спросил Алпатов.

— Как же, узнаю, — сердито отвечал Голофеев. — Что тебе надо от меня? Я очень занят.

— У меня есть дело к нотариусу, но это пустяки, главное, меня прислал к тебе Несговоров, он мне сказал, что ты наш.

У Голофеева глаза стали совершенно такие же ясные и добрые, как на картине Богданова-Бельского.

Он молча показал пальцем на дверь нотариуса и шепотом прибавил:

— После, в передней.

Когда Миша, переговорив с нотариусом, вышел через другую дверь в переднюю, Голофеев сидел на подоконнике и покуривал в ожидании.

— Ты уже связан с нами? — спросил он.

— Я взял работу: буду переводить Бебеля «Женщина и социализм».

— Да, это очень нужно таким, как я: очень хочу прочесть и не знаю

немецкого. Тебе эту книгу Данилыч дал?

Алпатов схватил, что слово Данилыч, может быть, лишнее было у Голофеева и сказалось потому, что у него болела голова. Алпатов сделал вид, что не расслышал. Голофеев спохватился и спросил:

— Бебеля ты где достал?

— Какой ты чудак, Афанасий, — сказал Алпатов, — как будто не знаешь конспиративной азбуки — ведь это совсем неважно, где достал я Бебеля.

— Вижу, ты не новичок. Это правда. У меня ужасно голова болит. А где ты по-немецки научился?

— Сам научился, читал книги со словарем и привык..

— И по-французски можешь?

— Тоже научился по Туссену, самоучителю. С тех пор как меня выгнали из гимназии, я все чему-нибудь учусь, сам, как будто догоняю и не могу догнать, и все мне кажется, что я невежда.

— Вот и я тоже такой, — с живостью сказал Голофеев. — Только мне еще хуже, у меня три службы, я ночью учусь, и оттого, должно быть, постоянно голова болит.

Нотариус позвал письмоводителя. Голофеев простился... Алпатову стало, будто он себе еще брата нашел.

«И сколько их еще будет здесь, и в другой город приеду — там, и за границей, наверно, то же самое... А кто это Данилыч?»

Алпатов шел по улице, на которой не было никаких памятников пережитого людьми, и настоящее, такое сонное, ничем не намекало на будущее, и потому он витал, не обращая никакого внимания на жизнь возле себя. Но какие-то глаза нездешнего мира промелькнули, он их заметил и вслед за тем оглянулся... Глаза смотрели на него большие, вдумчивые на больном зеленом лице из-под козырька зеленой фуражки студента Петровской академии.

Алпатов уже не удивлялся встречам, ведь это было в городе, где он когда-то учился и где выросли его товарищи: им некуда деться, все тут. Он сразу узнал Жукова.

— Ты нездоров? — спросил он.

— У меня чахотка, — ответил Жуков, — я скоро умру.

— Тебе это кажется только.

— Нет, это верно. Я спешу кое-что сделать. Музей устраиваю. Зайдем посмотреть.

Они поднялись по лестнице и вошли в большую комнату.

Одна девушка с круглым лицом, румяная, как помидор, сидела за

микроскопом. Другие разбирали гербарий, третьи насаживали жуков и бабочек на булавки. Помидорка была самая молоденькая, другие чем старше, тем суше, как будто жили и сохли от жизни.

— Это все учительницы, — сказал Жуков, — мои ученицы. Я хочу разбудить в них интерес к родине. Наш край — совершенно неизвестная страна. Новая Гвинея больше исследована, чем наш уезд. Вот мальчиком ты хотел убежать в Азию открывать забытые страны, тебе бы надо было всего несколько верст проехать на Галичью Горку, и если бы у тебя были знания, ты мог бы открыть на ней альпийскую растительность. Давай посмотрим в микроскоп.

Они подошли к румяной девушке. И она отрекомендовалась:

— Салопова.

Алпатов смотрел в микроскоп, потом гербарий, жуков, уродов в спирту, но в музее все было сухое, учительницы многие тоже уже совершенно засохли и сами годились в музей.

— Все это я натащил сюда всего за год моей ссылки: я очень спешу, сказал Жуков.

— Ты выслан вместе с Несговоровым? — спросил Алпатов.

— Пришлось вместе, но мы по разным делам, он — марксист.

Миша догадался: «Значит, это народники».

— А ты читал Бельтова? — спросил Алпатов.

— Злая книга, — ответил Жуков, — и ужасна своими заблуждениями в оценке личного. Творческая личность стоит не только в основе истории, но и у животных, и у растений, нет ни одного листа на дереве, чтобы складывался с другим. Надо быть только очень внимательным, чтобы разглядеть это творчество. В школе нас не учили этому родственному вниманию, и вот отчего являются такие далекие планы: открывать какую-то забытую страну. Она тут, возле нас, но, чтобы видеть ее, надо уметь везде и всюду выделять творческую личность. А Бельтов эту личность стирает, как пыльцу с бабочкина крыла, и устанавливает какой-то безличный, бескрылый закон.

Алпатов, услышав о родственном внимании, вспомнил в себе, что порывы радости и любви всегда у него бывали при внимательном разглядывании чего-нибудь, и готов был отдаться словам Жукова, но поперек этому стала какая-то старинная обида, боль, злость. И когда Жуков вдруг напал на Бельтова, ему захотелось бороться.

— По-моему, — сказал он, — с этой теорией творческой личности можно себе историю представить, как угодно и как у Иловайского: борьба добрых и злых индивидуальностей. Теория субъективистов совершенно

несостоятельна.

Услыхав эти слова, Салопова оторвалась от микроскопа и с вызовом сказала:

— Значит, вы марксист?

— А что же из этого, если и марксист, — ответил Алпатов, — я ищу закона в истории, а не борьбы духов, понимаете: за-ко-на.

Миша говорил и дивился себе, как будто он спускал с крючка в себе самом совершенно нового человека, и тот говорил отдельным голосом.

Одна учительница, длинная, сухая, с бородавкой на щеке, глаза мутные, навывкате, вдруг бросила разглядывать на стене диаграмму, быстро подошла к Алпатову и представилась:

— Экземплярова. Вы ищете социологического закона? — сказала она спокойно и наставительно, как старшая. — А разве формула прогресса и роли личности в нем недостаточно вам говорят о законе? Вы ведь, конечно, знаете социологическую формулу Михайловского?

Миша не имел понятия о формуле Михайловского, но тому его новому, боевому человеку невозможно было сказать «не знаю» и отдаться в руки врагов. Он ответил на счастье:

— В этой формуле слишком много места отведено личности и очень мало закону. Мы не можем противопоставить себя силе экономической необходимости.

— Значит, по-вашему, нам остается только сидеть сложа руки?

— Нет, — сказал в Мише новый человек, — история, как беременная женщина, несет в себе новую жизнь, мы призваны облегчить эти роды, мы акушеры.

Салопова вспыхнула, стала совсем похожа на помидорку и ответила:

— Вы пятиалтынные, а не акушеры, вас чеканят по одной форме, и все вы говорите одними словами, по Марксу.

Новый человек в Мише тоже рассердился:

— А вы говорите по Михайловскому и сушите цветы. Зачем вы их сушите? Любовались бы их живыми личностями! Сушите растения, жуков, бабочек, и сами вместе с ними засыхаете все...

Это было уж и неловко. Все замолчали. Но стенные часы ударили, выговаривая: «Что правда, то правда».

— Мне надо спешить, — сказал Алпатов, подавая Жукову руку.

А Жуков смотрел на него глазами, полными любви и участия. Ему говорить было нечего. Спор ушел куда-то совсем не в его сторону.

За спиной у себя Миша услышал голос Салоповой:

— Какой пламенный прозелит!

Но сам Миша чувствовал себя первый раз в жизни как победитель и дивился: раньше думал о себе, что совсем не способен к спорам, а тут вдруг сразу взялось откуда-то и как будто совсем из ничего.

Смутно чувствовал он себя виноватым в чем-то перед Жуковым, и от этого немного где-то щемило. Но он и это погасил в себе думой: «Если у меня взялось из ничего, то, наверно, то же и у них, я не знаю формулы Михайловского, а они, наверно, не понимают Бельтова. Куда им!»

КЛАВЕСИНЫ

Давно, еще в четвертом классе гимназии, когда Мише Алпатову с помощью Несговорова приходилось расставаться с детской верой в бога, один только раз Миша, провожая Ефима, дошел до самой калитки его дома в Ямской слободе, на берегу реки. С тех далеких времен у Миши осталось воспоминание, что Ефиму почему-то нельзя было позвать приятеля к себе в дом, а сестры его, гимназистки, выглядывали из-за цветов. Приходилось не раз видеть Ефима на улице с одной из его сестер, но, когда подходил к ним, сестра Несговорова отступала и сторонкой шла сама по себе. Раз, прощаясь с Ефимом, он вздумал и ей поклониться, но она, вспыхнув, отвернулась и на поклон не ответила. Другой раз он ее встретил одну лицом к лицу и кланяться не стал, но хорошо заметил, что она поклона ожидала и потому опять вспыхнула. С этого времени Миша про себя стал звать эту высокую тонкую девочку Спичкой.

«И так это удивительно, — думал Миша теперь, разыскивая в слободе дом Несговоровых, — что пропадет совсем из памяти и вдруг зачем-то встает опять, и с такой ясностью?»

Но где был этот дом, деревянный, покошенный и в два этажа, он никак не мог вспомнить, а путаница переулков все увеличивалась. Это была каша лачуг, серых заборов, завалинок, лавочек, а иногда вдруг ни с того ни с сего, как видение, показывалась и радовала цветущая яблоня. Далеко внизу, у самой воды, кто-то пел прекрасным тенором «Ваньку Ключника». Алпатов спросил у одного старика на завалинке про дом Несговоровых, и он сразу его указал: дом был тут, рядом.

— А кто это там поет у реки?

— Бурьга, — ответил старик.

— Что за Бурьга?

— Ну, известно кто: вор Бурьга, он и поет, больше тут петь некому, в

нашей жизни только вор и поет.

В калитке дома Несговоровых, как обыкновенно, висела веревочка с узелком. Как только Миша потянул за веревочку, калитка сама побежала во двор. Тогда перед глазами Миши все побежало: пожилая женщина, прикрыв ладонью грудь, мальчик, две девушки, а третья, в черной юбке и белой кофте навывпуск, уходила, делая вид, что не спешит. На дворе лежали старинные клавесины с отвинченными ножками. Все, видимо, и хлопотали около этих клавесин, и, когда калитка открылась, вдруг разбежались.

Однако та стройная девушка свой шаг все сбавляла, видно, ей противно уходить и она с собой борется. На крыльце она останавливается, обертывается, высокая, гордая, и будто собирается в случае чего броситься и укусить. Миша сразу узнал в ней Спичку, но сделал вид — не узнал, и спросил, это ли дом Несговоровых. Недружелюбно ответила девушка, что Ефима нет дома.

— Он скоро придет, — сказал Алпатов, — можно мне у вас его подождать?

— Как хотите.

Но не на улице же ему ждать.

— Мне нужно к нему по делу.

— По какому делу?

Миша почти рассердился. Ведь он теперь смелый. Не за пустяками, как обыватели, идет он к Ефиму.

— По какому делу? — говорит. — По кон-спи-ра-тив-но-му.

Спичка вспыхнула и, опустив глаза, сказала:

— Идите.

В это самое время через незакрытую калитку входит Ефим, глядит на клавесины, на Мишу, на сестру, и в глазах его смущение и неудовольствие, как будто Миша не должен был проникать сюда. Но это быстро прошло. В маленькой комнате с покривленным полом и множеством книг Ефим передает Алпатову и «Капитал» Маркса, первый том, и «Эрфуртскую программу», и Бебеля, и Меринга, и Каутского. Немецкие книги были в обложках с французскими титулами муниципальных отчетов. Ефим рассказал, что такие книги можно выписывать от Жерера из Парижа и даже наложенным платежом, только в письме надо упомянуть условные слова: «Прислать в сброшюрованном виде».

И еще много всего конспиративного рассказал Ефим, не догадываясь, что каждое слово его ложится в Мишину душу камнем нового храма, в котором долго он будет молиться по-новому. Когда они потом вышли на двор, Миша спросил, глядя на разобранные клавесины:

— Ведь эта сердитая девушка, с которой я разговаривал, твоя сестра? Да, я помню ее. Почему же она такая сердитая?

Ефим опять насторожился, — поморщился, как будто если бы он позволил себе ответить, то сказало бы: «Оставь, пожалуйста, мою семью в покое, это тебя не касается». Миша быстро понял и, чтобы предупредить, может быть, резкий ответ, сказал шутливо:

— В этих клавесинах, мне кажется, скрывается какая-то мне враждебная сила.

Ефим сконфузился и вдруг, как бы смахнув с себя неловкость, сказал:

— Я купил это сестрам вместо рояля у одного купца за четырнадцать рублей... У нас это маленькое семейное событие: мы стали вроде как бы порядочные люди, а в щелки забора всюду глаза и разговор. Мы этого глазу тут боимся, как дикари. Я не уверен, что сейчас в нас не полетит камень. Они называются мещане, но по существу своему это люмпен-пролетариат. Тут в каждой лачуге злоба шипит. У нас тут всего только два-три человека сознательных.

Совсем недалеко, где-то в сплетении заборов, откашлянулась пропитая и промахренная женская глотка. Услыхав это, Миша сказал:

— Вот Чертова Ступа откашлянулась. Ефим даже вздрогнул.

— Как же успел ты узнать про Чертову Ступу?

— А вот слышишь, это вор Бурьга поет. Но я тебя еще больше удивлю сейчас: скажи мне, Ефим, кто такой Данилыч?

Ефим внимательно и странно посмотрел на него.

— Не удивляйся же, Ефим, это — моя особенность, я давно это заметил, что когда попадаю в новое место, то вдруг все без всяких усилий с своей стороны узнаю, как-то по звукам, по запахам. Вот запахло пряниками, это значит — табатерки идут с фабрики. А там коровы режут, значит, стадо вступает в город, я люблю, что коровы сами расходятся по своим улицам, и когда наконец добредет какая-нибудь к своему дому и нет хозяйки, то ревет она не простым коровьим, а каким-то музыкальным голосом, и если хозяйка это услышит, то выходит из дому и разговаривает с коровой тоже особенным, музыкальным голосом. Почему ты, Ефим, все злобу видишь вокруг? Есть везде какая-то музыка любви...

— Да, — сказал Ефим, — недаром я тебя шалуном назвал, только у нас тут, в Ямской слободе, мало коров, хорошо еще, если кто козу имеет, да и ту мальчишки камнями забивают, тут, я тебе скажу, такая музыка... Но все-таки скажи мне, как же ты узнал про Данилыча?

— Это мне Голофеев нечаянно проговорился, только ты не смущай его. Ты мне скажешь?

— Нет, — ответил Ефим, — не обижайся только: ты должен сам все узнать на деле, болтать не будем. И потом тут надо больше догадываться, вот как ты по звукам... Понимаешь?

Алпатов махнул головой. Он теперь понимал хорошо, почему на него рассердилась та гордая девушка: за то, что из-за него все бежали, и что она сама пробовала — за это, и что ей пришлось остановиться и обернуться, а кофта была выпущена, и ворот пришлось рукой придерживать: пуговка-то, верно, оторвалась.

ОДУМКА

Хорошо ли сделала Мария Ивановна Алпатова, что, задумав выделить сыновей и освободить себя от мелочей хозяйства, выпавших ей после смерти няни, она вдруг им объявила свободу? Не лучше ли было бы ей еще из последних сил поработать два-три года, пока сыновья не кончат, не станут на ноги, а потом бы и начать устраивать себе покойную старость?

Мысль эта однажды ее поразила и остановила ее вечное движение в хозяйстве. Она присела на балконе, глядела в одумке на многими годами пробитую няней очень извилистую тропинку от крыльца дома и до ледника.

Да, что бы ни говорили о свободе живой воды, размывающей даже каменные утесы, но повороты реки и весь ход ее определяются встречными препятствиями, и все это вместе у реки называется берега, а у людей судьба. Но если бы все шло по судьбе, так и не виляла бы жизнь, как тропинка, река. Конечно, и Мария Ивановна вильнула с прямого пути. Но что же теперь делать? Не вернуться ли назад? Нет, теперь уже невозможно назад, так уж, верно, и остаться этой излучине.

Уже расчетливый и холодный Сергей все обделал в губернии, получено разрешение на раздел от опеки, и от банка, и от лесоохранительного комитета, и уже Николай повалил половину дубков, ошкурил, и дубовая кора запродана кожевнику по хорошей цене. Но самое главное, что сыновья, почуяв свободу, совершенно переменились и решительно вступили на самостоятельный путь.

Вначале только Александр порадовал было Марию Ивановну решением жениться на Мане Отлетаевой. Против раннего брака она ничего не имела и так говорила об этом Калисе Никаноровне:

— Я не против раннего брака, а то ведь какая у нас несправедливость:

от девушки требуют, чтобы непременно была чистая и пахла яблоками, а сами женятся, когда от них уже запахнет козлом.

— Эх, Мария Ивановна, — отвечала купчиха Калиса Никаноровна, — до седых волос ты дожила, а все продолжаешь либеральничать. Саше ведь только год остается учиться — кончил бы, а потом доктором уже и женился.

— Он и так кончит: на это у нас есть средства. А Маня на редкость славная девушка. Я считаю, что из среднего дворянства выходят самые лучшие жены; если жаждешь денег, женись на купчихе, но если хочешь обеспечить в семье любовь и долг, то надо жениться на бедной дворянке.

Дворяне — нож вострый в сердце Калисы Никаноровны, но против женитьбы купеческих сыновей на дворянках она ничего не имела: это облагораживает, часто спасает купца от пьянства. И когда сын одного знатного елецкого купца взял себе институтку, и еще смольную институтку, и с шифром даже, то Калиса Никаноровна первая сказала: «У этого мальчишки губа не дура».

— Только вот что, Мария Ивановна, — сказала Калиса Никаноровна, Отлетаевы — самые легкомысленные люди, вспомните, про кого только можно сказать хорошее, кого назвать?

И правда ее: у Отлетаевых мужчины были все незначительные, и часто попадались феномены: один вмиг промотал имение, поступил контролером на железную дорогу и так по легкомыслию своему поставил там дело, что только чудак берет билет, большинство по железной дороге ездит зайцами; другой, когда банк отобрал имение, переселился к мужику и даже мужика испортил, пьянствует с ним, спит с его женой и охотится с единственной уцелевшей борзой.

Подумав, Мария Ивановна сказала:

— Я согласна, да, мужчина у дворян вырождается несомненно, а женщины я не думаю: и у Отлетаевых, и у их родственников Дудениных есть прекраснейшие женщины и девушки. Почему так, не знаю, но факт несомненный: женщины значительней мужчин.

— А потому это, Мария Ивановна, что на женщину все ложится трудное в жизни, мужчины у них — охотники, корнеты, игроки, а женщины хозяйство ведут, одни слабнут, а другие крепнут; не будь этого, наши купцы и мужики давно бы всех этих дворяшек выгнали метлой из уезда.

— Не очень рассчитывай, Калиса Никаноровна, и на купг цов, — говорила Мария Ивановна раздумчиво. — Дворяне все-таки долго существовали и вырождаются постепенно: видишь часто неверный глаз, дубоватость в мозгах, а манеры все-таки дворянские. Не смейся, манеры

очень поддерживают строй жизни и особенно, когда к манерам и образованию. А купцы наши сразу пропадают от обжорства и пьянства. Не надейся и на крепкого мужика, на арендатора: на каждого такого мужика приходится двадцать голоштанников, а то теперь еще разные шахтеры пошли, посадчики. Ведь ни один годовой праздник в деревне без ножа не обходится; как праздник, так уже непременно следовательно скачет в деревню. Наш чернозем страшный, судьба его темная, и это недаром пишут: оскудение центра.

— И-и... брось, Мария Ивановна, пророчить, вот подойдет война, доживем, и людей опять проредят.

— Разве вот только война, да ведь на это как-то все-таки совестно рассчитывать, Калиса Никаноровна, мы же ведь все-таки люди...

— А разве в этом мы виноваты, Мария Ивановна, это уж такая судьба. Вот и ты, разве хотела раздела, а умерла няня, и стало неврагоду. Ты вот гляди, как бы сыновья-то при разделе не подрались.

— Ну, это глупости, — оборвала Мария Ивановна разговор с ретроградской Калисой Никаноровной.

Нет, ее не то мучило, что Саша рано женится, — это даже очень хорошо, — а что Саша совершенно переменялся к ней и стал как чужой. Он появляется только, чтобы всем видом своим, всеми жестами и словами выразить презрение к ее мещанской жизни. С каким глупым восторгом, например, он рассказывает, что один из дядей его невесты, охотник Александр Дмитриевич Отлетаев, никогда не умывается.

— Что же тут хорошего, значит, он всегда грязный?

— Он росой умывается.

— Без мыла?

— Он говорит, что роса чище мыла моет.

И уже явно в пику матери рассказывает, как Отлетаевы умеют ладить с мужиками, что у них даже никакой воркотни не услышишь, отлично живут.

— Саша, — спрашивает мать, — но как же так это может быть? Вот у нас в эту зиму мужики страшно голодали, я раздавала им деньги и муку, но под залог: ты видел сам, у меня вся зала была завалена полушубками и всяким хламом. Теперь они все выкупили, отработали. А думаешь, пошли бы они на работу, если бы я не брала полушубки? Я не знаю, какая может быть у помещика с мужиком идиллия. Расскажи мне подробнее, мне это очень интересно, ведь нечего глаза на жизнь закрывать, мы все живем, выколачивая копейку из мужика.

— Да вот как, — отвечает Саша, — прошлый год после обеда Александр Дмитрич, по своему обыкновению, лег в сарай на сеновал

отдыхать. Стучится мужик. «Ты что?» — «Должок принес». — «Ну, воткни в бревнушко тут, направо от тебя, в щелку, а я пособлю и возьму». Через год приходит тот же мужик и опять просит денег. «Рад бы, — говорит Александр Дмитрич, — да у самого только двугривенный. И потом же ты все равно мне не отдашь, прошлый год я дал тебе, а ты не отдал и еще просишь». — «Как не отдал? — изумился мужик. — Да вы же сами мне велели в щелку сунуть: «Посплю, — сказали, — и возьму». — «А и правда, — вспомнил Александр Дмитрич, — неужели же ты туда сунул?» «Перед Истинным...» — «Не божись... коли там, возьми». Пошли посмотрели: там.

— Высшая безалаберность, — с раздражением сказала Мария Ивановна, настоящий Обломов. А кто же у них хозяйство ведет?

— Все ведет Екатерина Семеновна, но никто не слышит и не видит, как она его ведет.

— А ты бы, Саша, присмотрелся, это бы тебе пригодилось потом. Я теперь совершенно уверена, что вся эта милая жизнь, как ты рассказываешь, ложится на спину Екатерины Семеновны: на одной стороне легкомыслие, на другой долг, вот так и сводят концы с концами. Бедная Екатерина Семеновна, я знаю этот тип: это Долли из «Анны Карениной», мы все такие, и Маня твоя тоже станет такая, если ты будешь продолжать так легко смотреть на жизнь.

Саша после того дуется. Он дома стал совсем как чужой. Но это все бы ничего, это пройдет, Саша поумнеет: будет доктором, сама жизнь поведет к лучшему. А вот с Колей беда настоящая: Коля сходитя открыто с Аннушкой. Все бы это, конечно, пустяки, если бы Коля отнесся обыкновенно, как все, но он берет эту почти публичную женщину и живет с ней открыто, как с женой, может быть, и женится, всего можно ожидать, и тоже уж не без расчета на деньги от раздела.

А что с Мишей творится... Миша был для нее из сыновей единственный светлый, кого она видела насквозь, и если он даже чуть что-нибудь утаить хочет, сейчас же покраснеет. В голове у него, конечно, сумбур и порывы разные, но и в этом во всем раньше она хоть что-нибудь понимала, теперь Миша совершенно закрылся, и такая страшная, необъяснимая перемена с ним произошла буквально в одно мгновение ока.

Но это, конечно, не просто. Тут какая-то затея, и побольше той, когда он хотел убежать в Азию открывать забытую страну.

Думая о Мишиной перемене, Мария Ивановна отложила «Русские ведомости», откинулась к спинке кресла и ушла глубоко в себя, отыскивая решение вопроса по разным подобным случаям в своем роду. Вспомнилось, приезжал по ночам тайный староверский поп и служил

перед старинными иконами: как крепко тогда бабушка связывала астаховский дом. После смерти бабушки все эти молебствия кончились, женщины стали ходить мало-помалу в православную церковь, а молодые люди смеяться над религией и попами. Зато начались всякие неожиданности: брат Ваня маслом торговал на базаре и вдруг исчез в Сибирь и является оттуда богатейшим пароходчиком. Другой брат, Николай Иванович, такой был мягкий сердцем, все ходил в сады соловьев слушать, зато сын его становится революционером и беспощадным, и Дунечка тоже с ним уходит...

Вот оно что, — догадалась Мария Ивановна, — конечно, это есть в нашем роду: Миша в Астаховых, и теперь в нем готовится тоже какой-нибудь необыкновенный переворот, — от Миши можно всего ожидать.

Был такой чуткий к природе, теперь лето, а он весь день читает и пишет, ночью бормочет во сне. Раньше газету, бывало, в руки не возьмет, теперь не только читает, а вырезает, и газета после него, как решето. Обо всем говорил неуверенно, робко, теперь он знает все и всех считает дураками. Тут Марию Ивановну стало подмывать, и вспомнился последний досадный разговор о военных кредитах. Можно понять, как в «Русских ведомостях» пишут часто тоже против излишнего увлечения армией и флотом, имея в виду, конечно, не полный отказ от армии, а только чтобы привлечь большее внимание к народному образованию, и опять и в этом образовании практический расчет: в армии выгоднее развитой солдат. А по Мишиным рассуждениям выходит, что совсем не надо армии, и государство защищать вовсе не надо. Понятно и у Толстого: там и вообще род человеческий не надо особенно отстаивать, пусть себе прекращается, там, у Толстого, это просто мечта какая-то, в нравственности больше. А тут ведь как: для государства армии не нужно, а пролетариат пусть вооружается.

Это что такое?

«Тут-то, наверно, и есть вся затея», — подумала Мария Ивановна.

И решила сейчас же идти к Мише и продолжать с ним этот разговор до конца.

«Буду снисходительна, — заговаривала себя Мария Ивановна, — буду больше соглашаться, а потом как-нибудь он и проговорится, что они там затевают».

— Миша, поди сюда! — крикнула она в его комнату. Из комнаты никто не ответил.

«Как он стал в книги погружаться, — думает Мария Ивановна, — ничего и не слышит, и не видит возле себя».

Она сама идет к его комнате, постучала. Нет ответа. Входит. Миши в

комнате нет.

Что же это значит? Сейчас тут был, и вот уже нет. Подходит к окну, открывает, спрашивает Павла, не видал ли он Мишу. Павел видел: вышел за ворота и по своей дорожке скоро пошел.

— Не в город ли?

— Верно, туда: по этой дорожке больше идти некуда.

Вот оно как стало! Утром за чаем она ему с такой радостью объявила, что сегодня к обеду будут телячьи почки. А вот обед на носу, и он, ничего не сказав, в город уходит. Это уже стало ни на что не похоже.

Мария Ивановна садится на стул и в раздумье начинает пересматривать его книги. Нельзя ничего понять: книги немецкие. Но вот тут лежит перевод. Она долго читает, стараясь понять спор какого-то Энгельса с Дюрингом о скачке в неизвестное. Понять как следует ей невозможно, русское, выходит, труднее немецкого...

«Конечно, — думает она, бросая чтение и откидываясь к спинке, — я так и знала: Миша задумал какой-то новый скачок в неизвестное».

И опять она, такая хлопотунья, погружается в одумку. Так бывает птица прилетает с поля к птенцам, а они, пока она хлопотала, разлетелись. И долго сидит мать на краю гнезда, не зная, что делать с добытым для птенца червячком.

ЦВЕТ И КРЕСТ

Нет, блудные дети не виноваты в измене родному гнезду, нет измены, а в перемене чувства нельзя винить никого: не от своей же воли переменяются снега весны света на разливы, и когда воды спадут, сами собой зеленеют луга, и потом начинается весна человека. Так и Мише Алпатову на большаке теперь не показывается Одиссей в облаках на своем корабле, на ясном небе от пения и кукования птиц не остаются золотые ямки, он не разглядывает с любовью мураву, оплетающую край пробитой ногами человека тропы. Вон там в сторонке живет хозяин и ходит на один двор с животными делать удобрение земле, а сын его почему-то строит светлее дом, чище и место для своего удобрения готовит почему-то в сторонке от скотного двора, как будто стыдится делать это вместе с животными. Но старик, наверно, ворчит на сына, и его усилие жить почище кажется ему недобрым усилием.

Да, нужно какое-то недоброе усилие, чтобы сжать свое сердце и

заклЮчить его в оковы разума. Верней всего, это самое недоброе усилие Миша и называет материализмом, а милое прошлое остается назади, как идеализм. Все это прошлое он переводит на материальное и, читая даже легкие книги, всегда находит в них свое объяснение, уничтожает героев, ставя их на место причины и все причины соединяя в закон развития человеческой жизни.

Материализм понимает Миша Алпатов как сильный упор в самую жизнь. Если так упереться в действительность, то старые идеалы становятся такими же далекими от жизни, как далека от Голгофы рождественская елка, украшенная церковными свечками, мишурой, канителью и ватой, осыпанной кристаллами бертолетовой соли. Если так упереться в действительность, то все начинают вилять и напускать туману. Тогда стоит только сказать презрительно какое-нибудь слово вроде «метафизика», и человек растерянно смотрит и не знает, что ему ответить. Думалось раньше, что старшие что-то знают свое, что-то особенное таят. Теперь все тайны сброшены: старшие — жалкие люди, как животные с двойным взглядом, когда не знают, будет их сегодня хозяин бить или ласкать.

Все эти прежние его старшие, оказывается, потому виляют и путаются, что служат буржуазии, и эти старшие вполне соответствуют тем, кого в далекие времена называли книжниками и фарисеями. Ум и сердце Алпатова теперь обращены к простым людям, которые встречаются везде и сразу понимают его. И редко бывает, чтобы он дошел до города и не присоединил еще кого-нибудь к школе пролетарских вождей.

Идет впереди человек с узелком за плечами. Миша по виду знает, что это посадчик, побывал в деревне и возвращается в город работать на кожевенный завод. Миша догоняет его и через несколько минут, обменявшись обыкновенными фразами, сразу же начинает разговор от Адама, что был сотворен человек Адам и поставлен на землю обрабатывать ее в поте лица, но потом является как будто другой человек, второй Адам, для которого земли не хватило, земля вся была занята уже первым, счастливым Адамом. Вот первый Адам начал пользоваться работой второго, безземельного. Первый Адам — буржуазия, второй Адам — пролетарий. Буржуазия выплачивает пролетариям в заработной плате не все, неоплаченный труд переходит в цену товара и потом в карман капиталиста: это — прибавочная стоимость.

Но понимает ли посадчик о прибавочной стоимости?

— Тут и понимать нечего, — отвечает посадчик, — каждому известно, что богатые живут трудом бедных.

А когда Миша рассказал, как даже и мать-земля обращается в золотую куколку, то посадчик, оказывается, даже знает, и как надо ее освободить.

— Нужно, — говорит он, — чтобы земля стала ничья, а за то, что ей пользуются, ввести акциз: земля ведь сама рождает, вот за это акциз.

Больше всего изумляет Алпатова, что у этих людей, никогда не читавших политической экономии, дается самой жизнью какое-то простое и достаточное знание, что там все обыкновенно и просто, а необыкновенным представляется только интеллигенту.

Все очень похоже становится на силу земли: человек сеет, пашет, а рождает-то земля сама, и эта сила превращается в ренту, или, как говорил посадчик, в акциз. Точно так же и у простых рабочих людей есть такая саморождающая сила, которой, все равно как рентой капиталисты, интеллигенты пользуются для своих личных целей.

Сколько затрачивается золотого времени на пустые споры с народниками и между собой! Явно спорят потому, что каждому хочется быть умнее другого, а со стороны кажется, будто они никак не могут поделить чужого добра. Это искушение Алпатов сразу устранил от себя твердым решением считать себя не вождем, а рядовым, в этом, думал он, и есть отличие пролетарского вождя от феодального и буржуазного: пролетарий сам себя вождем не считает и эту честь ни во что не ставит.

Из всех этих диалектиков Алпатова больше всех смущает разученейший Осип. Откуда он вдруг явился к ним, этот тучный человек, и сразу занял положение, первое после Данилыча? Вот уже немало сделал черной работы Алпатов для школы пролетарских вождей, а Ефим все как-то уклоняется познакомить его с Данилычем. Осип удивляет интеллигенцию своей диалектикой, он читал Гегеля и Канта в подлинниках и это приспособляет для разговоров о марксизме. Ему это легко дается, он семинарист, там этим вздором набивают головы, и это оказывается, странным образом, пригодным для революционного движения. Как это происходит? Конечно, Осип отлично отделяет народников, и многие под его влиянием становятся марксистами, но только что в этих марксистах, не умеющих даже подойти к рабочему! Главное же, эти две холодные зеленые точки злых Осиповых глаз, высматривающих из мясистого лица, — что они значат? Он рассказывает о Марксе совершенно также, как поп о божии, которого нет, но необходимо выдумать. Проповедует, что экономическая необходимость сама собой приводит капитал к концентрации рабочих — к союзу, и делать тут нечего: ничего не нужно делать, все само собой делается.

Почему при этих словах никто не хочет заглянуть в зеленые точки его

глаз и понять, что все это он говорит не для других, а для себя?

— Как же так ничего не делать? — отвечает Алпатов. — У Маркса наше дело точно определено: мы должны облегчить роды истории. Разве это маленькое дело?

— Акушеров зовут, — отвечает Осип, — когда роды начинаются. Не беспокойтесь, когда начнутся, за нами приедут.

Эти слова всегда ужасно возмущают народников, и при них спорить с Осипом невозможно по тактическим соображениям.

Вот бы только добраться до Данилыча, при нем он сумеет раскрыть весь вред, приносимый Осипом школе пролетарских вождей.

Алпатов много думает о Данилыче и, хотя никогда его не видел, как будто хорошо его знает из себя самого. С тех пор как только Миша помнит себя, он все ждет человека Старшего, которому бы можно было все рассказать о себе и во всем посоветоваться. Вот Ефим знает больше его, и на него можно во всем положиться. Но Ефим просто товарищ, а тот, ожидаемый Старший, больше товарища. Ефим знает много, а тот все знает. Ефимова правда — в его вечном труде, но тот за правду пострадал, и от него ничего не укроется, и он очень сильный, он решительно сильный... он — Старший.

Ефиму легче во всем разбираться и быть таким хорошим, потому что, оказывается теперь, у Ефима отец был тоже политический, и он все получил это от отца даром. И Ефиму не понять его чувства к Данилычу, ведь это совершенно другое, если у одного был ученый и добрый отец, а другой не знает отца.

Так идет Миша по большаку и не любит перемену цветов на земле и на небе, далью бескрайных полей, заволоченных фиолетовой дымкой. Только иногда отрывается от своих дум, чтобы удивиться огромному красноглиняному оврагу на черной земле и что там на дне его все еще зеленеет, лежа с обнаженными корнями, поврежденная весенней водой лозинка. Тогда вместе с жалостью к несчастному дереву и к этой прекрасной земле, изуродованной непреходимыми оврагами, является и еще такое сиротливое чувство конца, и потом щемящая серая дума о невозможности все так оставить, как есть, и на этом устраивать свою жизнь. После того вдруг обрывается всякая связь с этой землей, и перекидывается мост в общее дело и в этот такой волнующий спор Энгельса с Дюрингом о скачке в неизвестное. Он перебирает в памяти все возражения Энгельса против скачка не потому, что ему не хочется его, напротив, ожидаемая мировая катастрофа и есть этот самый желанный скачок, но, по Энгельсу, он будет уже непременно, законно, а у Дюринга

скачок субъективный, вроде того как он сам в детстве тоже хотел ускакать в забытую страну и потом пришлось учиться в гимназии. Мало ли есть на свете забытых стран! Мечта была верная, подход неправильный, субъективный. Вот и надо теперь помнить, чтобы на этот раз уж не ускользнула золотым сновидением желанная страна.

А еще Миша во время всех этих дум занимается помимо своей воли и всякого отчета очень странным способом рисования без бумаги и карандаша. Рисует он про себя все, что только попадает на глаза, и это рисование у него кончается находкой слова, отвечающего самой сущности рисуемого лица или вещи, после чего найденное неизвестно для чего складывается куда-то и остается там навсегда. Особенно усиленно он рисует, когда встречается ему перед самым городом обоз. Вот мелькнул парень, такой глазастый, такой до неприятности открытый, будто не парень сидит, а гусь, на гуся льют воду, и ему все как с гуся вода. Едет мужик Лапень-Рогожа и все кричит: «Туды, не туды!» Едет рыжий с трехгранной головой Сколок. А потом черный, глаз строгий, сам не дрогнет, а глаз провожает, и он уже давно проехал, а все кажется, будто глаз и сзади глядит. Так весь обоз зачем-то нарисовался и сложился, а когда Миша вступил в слободу, навстречу ему шел человек в картузе на затылок, из кармана торчит бутылка, а глазенки его рисовались такими словами: «Ну, дурак, нарисовал мужиков, и нет ничего, потому что ты сволочь, и я тебя вижу насквозь, как ты мужиков: самая последняя ты сволочь, и шут с вами со всеми, и нет ничего и никаких».

В доме Ефима Алпатов теперь свой, родной человек. Дальше всех пряталась от него та, как будто ни с того ни с сего враждебная ему девушка, Спичка. Потом она перестала прятаться, а только молча из угла приглядывалась к нему умными, строгими глазами. Никакие попытки Миши заговорить с ней не удавались. Но раз как-то он сел за клавесины и стал напевать свою песенку: такая грустная, тоскливая. Вдруг Спичка подошла к самым клавесинам и запела неожиданно серебряным голосом. Миша изменил голос, стал вторить. Песенка эта была:

Как дело измены, как совесть тирана, Осенняя ночька темна. Темнее той ночи встает из тумана Видением страшным тюрма.

После того Спичка стала ручная, с ней можно говорить обо всем и смеяться. А когда Миша читает Ефиму свои переводы, она всегда тоже молча слушает, смотрит страшно умными глазами и, должно быть, не пропускает ни одного слова.

В этот раз Ефим сказал тихонько даже и от сестры:

— Данилыч очень хвалит твои переводы, очень интересуется тобой и

велел мне тебя непременно привести к нему, когда будешь в городе.

Условились идти, когда стемнеет. А до тех пор отделать, чтобы в конечном виде доставить третью часть «Ди Фрау»: «Женщина в будущем».

До самой ночи, забыв клавишины и умную Спичку, Алпатов сидит за столом, сверяет рукописи с подлинником, не сделал ли он какой-нибудь ошибки, так ли передал пророчество Бебеля о мировой катастрофе. Сто раз и больше читал он это место про себя, и потому представление мировой катастрофы стало у него пульсировать с кровью, исчезать и появляться в красном зареве, как было в детстве, когда няня говорила: «Затрубит архангел на горе, загорится край земли с неба». Только тогда это было, как последний жестокий расчет с жизнью, вроде сожжения Содома; теперь же не конец, а начало жизни совершенно иной.

Много замыслил Миша о Данилыче. Прежде всего ему надо решить вопрос об окончательном отношении к Осипу, и после того, если его мысли будут Данилычем приняты, вступить в беспощадную борьбу. Еще хорошо бы достать у Данилыча в подлиннике Гегеля и Канта, перечитать все это, чтобы Осип не сбивал его противными словечками вроде априори.

К наступлению ночи от всех этих дум Миша потерял даже способность определиться на улицах, и большой деревянный дом, куда привел его Ефим, показался невиданным. По совершенно темной лестнице они поднялись на второй этаж, и тут, на площадке, Ефим два раза стукнул в дверь палочкой. Верно, так это уж было условлено, потому что старуха открыла дверь без опроса и только очень внимательно посмотрела в лицо Алпатову. Через стеклянную дверь коридора Миша увидел круглый стол с висячей лампой, и там прежде всего ему бросился в глаза небольшой, но очень коренастый, совершенно лысый человек в сером пиджаке, густые брови были вниз, щеки чисто выбриты, и оставлена небольшая бородка. Когда раздевались, Ефим шепнул:

— Вот Данилыч. Миша всполыхнул:

— Лысый?

Ему в первую минуту казалось невозможным, чтобы этот ожидаемый им Данилыч оказался таким обыкновенным и даже лысым. Но в следующий момент почему-то обернулось иначе: Данилыч непременно должен быть лысым, и коренастым, и с густыми бровями. Против него за столом сидел Осип, и лицо у него было такое, когда он задумывает во что бы то ни стало, правдой или неправдой, выпутаться из трудного положения. Данилыч читал ему какое-то письмо. Сзади Данилыча стояла высокая женщина с испытующими черными глазами, наверно, жена его, о которой так часто приходилось слышать от Ефима, Софья Федоровна. Тут же, у

стола, был небольшой, так что была видна только голова, мальчик с цветущим лицом, глаза у него живые, блестящие, и было так странно, что такой здоровый бутуз не играет, не бегает, не поет, а тоже смотрит на Осипа и как будто что-то понимает.

Вдруг все переменялось, когда Ефим с Алпатовым вошли в комнату. Данилыч спрятал письмо, мальчик перевел те же серьезные глаза на вошедших.

— Это, наверно, Миша Алпатов, — сказала Софья Федоровна.

И подала ему руку, как будто давно уже была с ним знакома: свои. Данилыч тоже поздоровался просто. Миша сразу заметил, что у Данилыча в глазах была дорогая строгость без обыкновенной хитрости, как у Осипа: Данилыч был настоящий. Взглянув в эти глаза, Миша сразу решил, что свой коренной вопрос он поставит непременно.

Поговорили о Сибири, где Миша учился и Данилыч был на каторге, и о переводе: что замечательный перевод. После того Миша совсем осмелел и решился выступить по главному своему делу. Но когда он раскрыл рот, чтобы заговорить, это самое главное вдруг куда-то исчезло, он ужасно покраснел, но уже нельзя было отступить, и он стал говорить на счастье: куда-нибудь вывезет.

К чему-то ему вспомнился дорожный чайник без ручки, что чайник этот очень жегся, и наливать было такое мученье, и так было долго. Но как-то раз он взял кусочек проволоки, продел в ушки, загнул, ему это ничего не стоило, а чайник стал служить хорошо, вот уже два года служит, и каждый раз он, Миша, наливая, удивляется: он сделал только движение, а чайник за это служит годы...

Но к чему же он рассказывает о старом чайнике? Ах да, вот к чему: чайник служит ему рабски верно за какое-то его одно движение, и вот тоже рабочие служат капиталисту за какое-то движение. Вот это надо отнять у капиталистов и передать самим рабочим, но у нас...

Нет, не то... Главное, что значит, в самом чайнике заключается его дело, и если бы чайник понимал, то непременно стал бы служить себе самому. А рабочий сразу все понимает, и, значит, ему надо и отдать эту страшную силу. Вот что! А у нас интеллигенты берут эту силу для себя и уверяют, что не надо ничего делать, все само собой делается через концентрацию капитала. Этим наносится страшный вред рабочему движению, создается буржуизм ума и стремление каждого быть умнее другого. Это именно и проповедует Осип.

Да, вот оно самое главное, о чем он хочет сказать: рабочее дело очень просто, не более, чем устроить к чайнику ручку, только не надо затемнять

его своим личным умственным интересом, от того получается схоластика, и мы, выгоняя в одну дверь метафизику, в другую впускаем схоластику.

— Я кончил, — сказал Миша, вытирая пот.

— Правильно, Миша, — ответила Софья Федоровна. — Данилыч, скажи ему по-своему, ведь он пришел за самым главным.

Данилыч сказал задушевым голосом, и Мише это было как музыка, и простые слова его зато показались полными какого-то смысла.

Данилыч сказал:

— Да, Миша, у вас в душе большой практический корректив, и потому теория вам будет всегда проста, и она правда очень проста.

Взволнованный Миша не сразу понимает, что слова эти обращены и к Осипу и что теперь, после своего выступления о самом главном, он больше уже не мешает начатому объяснению Данилыча с Осипом. На одно только мгновение он выходит за рукописью в коридор, и когда возвращается, то что-то решительное уже произошло в комнате, верно, Данилыч задал Осипу окончательный вопрос, и затем письмо опять на столе. Софья Федоровна стоит с окаменелым лицом и горящими большими глазами, — смотреть на нее страшно. Но и мальчик тоже серьезно, неотрывно смотрит. Вдруг Осип побледнел и раздел свои глазки, страшно злобные, как у зверя в последней защите.

— А если так... — сказал он, — если так... то мое право жить как хочется не меньше значит, чем ваше непереносимое желание генеральствовать.

Тогда лицо этой женщины, неизменно блекло-смуглое, оказалось способным меняться, побледнело, глаза стали вдвое больше, вспыхнули. Она прошептала:

— Я так и знала!

В это время и Миша знал, и у него отозвалось, как эхо, в душе то, что он хорошо знал в себе, но почему-то не смел назвать.

— Про-во-ка-тор! — сказала бледная женщина с неподвижными глазами и стала медленно, как вдруг подстреленная, падать.

Потом был крик...

В жизни своей Миша еще не слышал такого крика, и он показался ему непереносимым спутником взятого на себя Данилычем дела, как все равно были спутники страшной смерти на кресте, когда настала тьма, земля содрогнулась, и завеса церковная разодралась. Так было в нем, что и всем, кто пойдет этим путем, непереносимо должно быть, как и Данилычу...

Непереносимо было слышать. Миша стоял растерянный. Но, верно, это повторилось в семье политического каторжника.

Данилыч сказал:

— Вася, принеси воды!

И, нагнувшись, стал расстегивать кофту. Ему это было привычно, и провокаторов он тоже, наверно, видал.

Никто не заметил, как вышел Осип. А цветущий мальчик принес воды и по-прежнему серьезно смотрел, как будто учился у взрослых жить без улыбки на лице.

Потом Данилыч распорядился коротко, как на войне, чтобы за ночь замести все следы и потом на допросе запереться всем до конца. Мише Алпатову выпало два дела — перенести всю нелегальную литературу в музей к Жукову и на заре доставить в тюрьму письма заключенным.

С большим тюком, стараясь не показываться на свет фонарей, пробирается Алпатов и все боится не успеть в такую короткую ночь. Ему так хорошо на душе, как никогда не бывало, хорошо потому, что он не один. Вон там из темного переулка на помощь ему с таким же тюком пробирается стеной высокая девушка, так непохожая на женщину настоящего: все проклятые вопросы исчезли, это женщина-товарищ идет.

Какая радость, что в музее огонек, значит, Жуков не спит.

При первом стуке он, покашливая, спускается с лестницы и при первом шепоте все понимает: да, и он тоже думал, что Осип — предатель. Только надо как можно скорее в тюрьму, а то предрассветный час уже наступил. Жуков все сделает сам за Алпатова, пусть только скорее идет он к тюрьме. Миша оставляет товарищей и подкрадывается к огромному зданию.

В тюрьме нет ограды, вместо этого непрерывно шагает часовой, обходя все четыре стороны. Пока он обходит там, Миша перебегает к поломанному забору против окон тюрьмы и скрывается за досками.

Можно заметить, как иногда на часах прыгает стрелка, так бывает и с рассветом: светало скачками. Не было видно окон четвертого этажа, моргнуло — и вдруг показалось. Еще раз моргнуло — и за решеткой явилось бледное пятно. И когда был еще один скачок рассвета — бледное пятно оказалось лицом человека.

Часовой появляется, лицо исчезает, часовой уходит, и в третьем окне опять лицо человека. Тогда Миша выскакивает из своей засады, машет три раза красным платком и опять назад, и сквозь забор замечает, что в ответ ему открывается форточка в третьем окне.

Сколько он ни спрашивал Ефима о том, как все делается, но вот одного не успел спросить, и приходится решать самому: что, если, когда он побежит к тюрьме привязывать на спущенную из окна веревочку записочку

с двумя словами: «Осип выдает», часовой обернется? Он знает, что записку надо проглотить, но как быть самому: сдаваться или убежать под выстрелами? Алпатов решает бежать под выстрелами, потому что до забора всего три десятка шагов и невозможно верно прицелиться. Но если и попадет случайная пуля — ничего: Мише кажется — это будет сладкая пуля.

И то ли выносил Данилыч на каторге, и то ли будет ему, пока он тоже туда попадет. А он будет там, он готов...

Теперь он смотрит на крест тюремной церкви: когда первый луч солнца позолотит крест, часовой непременно задержится на той стороне, — какой же человек не остановит ся взглянуть на восходящее солнце?

Цвет неба меняется с голубого на красный. Крест неподвижный и темный.

Вот и опять явилась на память недоконченная дума о той молитве, где страдающий бог выпрашивает себе у старшего бога кусочек маленького человеческого счастья: «Да минует меня чаша сия».

И чудится юноше, будто из прекрасной страны Италии возвращается на родину светлый странник с волшебной палочкой, управляет переменной цвета на небе и на земле, шепчет ему:

«Земля моя усеяна цветами, и тропинка вьется по ней, будто нет конца ароматному лугу. Я иду по лугу, влюбленный в мир, и знаю, что после всякой самой суровой зимы приходит весна с любовью и что весна — это главное, из-за чего живут на земле люди. Цвет — это главное, это явное, это — день, а крест — одинокая ночь, зима жизни. Я художник и служу тому, кто украшает мир, так, что сам страдающий бог, роняя капли кровавого пота, просит: «Да минует меня чаша сия». Я призван украсить наш путь, чтобы несчастные забыли тяжесть своего креста».

Вот какой шепот бывает в цветах неба при восходе солнца, иным более понятный, чем речь человека.

Но прощайте, небесные цветы: крест засверкал! Каким-то недобрым усилием сжимает в себе Миша Алпатов сердце. Крест заиграл. Часовой уходит и не показывается. Алпатов встает и скачками бежит к тюрьме.

КНИГА ВТОРАЯ

Брачный полет

ЗВЕНО ПЯТОЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК

БЕССМЫСЛЕННЫЕ МЕЧТАНИЯ

Было это давно в Петербурге в белую ночь. На Литейном забыли погасить одну электрическую лампочку, и она как будто совсем напрасно горела всю ночь, такую светлую, что можно было даже газету читать. Но я все забыл, что со мной случилось в эту ночь, а когда вспомнил о лампочке, то все воскресло до мельчайших подробностей. Значит, лампочка не напрасно горела?

Так вот и любовь Алпатова, кажется, совсем напрасно прошла, а не будь ее, не стал бы я возвращаться к эпохе, когда у тучного русского царя заболели почки и он вдруг для всех неожиданно умер.

Царь умер. Будто что-то упало в тихую воду: поверхность заволновалась, а в глубине по-прежнему плавали рыбы и думали о своих червячках. Но поверхность стала неузнаваема, дворяне-политики зашевелились, чего-чего не говорили о новом царе, собирались, совещались и, наконец, как в басне о лягушках, полезли узнать, царь это или чурбан. Какой-то мудрец научил Николая II чуть ли не единственный раз за все свое царствование ответить ясно и твердо: он назвал претензии дворян на конституцию бессмысленными мечтаниями.

Тогда от нечего делать наши мечтатели стали списывать стишки и передавать их с рук на руки, из губернии в губернию, из края в край, так что скоро вся огромная страна говорила о новом царе в стихах.

Но бессмысленных мечтаний Ни за что не потерплю.

К Алпатовым слух о выступлении дворян тоже очень скоро долетел через Раменовых. Мария Ивановна ни одного человека не отпускала от себя, не обменявшись с ним мыслями о приеме царем дворянства. Трудно сказать, что подмывало такую серьезную хозяйку интересоваться новостью, не имеющей в повседневной жизни никакого значения. Вероятней всего, это вытекало из ее большой склонности к литературе.

Ученная на медные деньги, Мария Ивановна постоянно читала классическую русскую литературу — Достоевского, Тургенева, Толстого, Гончарова, а из иностранных — Шекспира, Диккенса и Сервантеса. Часто,

бывало, выслушав какой-нибудь рассказ из семейной жизни соседей, она восклицала:

— Это совершенно так же, как во время родов Кити Левиной.

А то про мужика, обиженного детьми:

— Настоящий король Лир!

И кто слышал, как Мария Ивановна выговаривала это, на мгновение забывал, что и король Лир и Кити Левина взяты из книги. Казалось, что все эти боги живут недалеко. Вероятно, таким же образом и Олимп населялся.

О дворянах, предложивших царю конституцию, Мария Ивановна сказала:

— Какие-то Дон Кихоты!

Мало кто из гостей Марии Ивановны читал полного «Дон Кихота» со всей волшебной затеей вставных новелл и стихов.

Большинство узнало трагедию рыцаря из сокращенного изложения и считало его почти за дурачка. А бывали и такие, особенно из купцов, кто почему-то принимал тон личного врага Дон Кихота и злился при этом. Но если такой гость через Дон Кихота начинал ругать либеральных дворян, Мария Ивановна отчитывала его по «Русским ведомостям», называя ретроградным человеком.

Так, закидывая свою удочку у дворян, у купцов, мещан и даже крестьян, Мария Ивановна заключила, что разговоры о конституции собственно к жизни не имеют никакого отношения, но за столом вызывают всегда интересные споры.

Давно, еще в годы молодости, Мария Ивановна через кого-то усвоила, что при дворе во время парадных обедов полагается оставлять на тарелках немного супа. Мария Ивановна видела в этом смысл: обычай, по ее догадке, из-за того сложился, чтобы царские гости не выказывали на людях свою домашнюю жадность к еде, парадный обед — церемония, а не жратва.

Она признала этот придворный обычай полезным и для воспитания своих детей; приучила их, как у Раменовых, оставлять на тарелке немного супа. Теперь она заметила, что у Раменовых доедают суп до конца и, не смея спросить о причинах перемены, догадывалась о перемене обычая при дворе. Так, вероятно, и все эти разговоры о бессмысленных мечтаниях Мария Ивановна в глубине души своей считала просто принадлежностью стола, таким же обычаем, как при старом Царе оставлять суп на тарелке, а при новом доедать его До конца.

Почти с таким же благодушием она уже давным-давно принимала вести о студенческих бунтах; всякий серьезный юноша, по ее пониманию, непременно должен был побунтовать, чтобы сделаться потом вполне

развитым человеком. И когда на ее глазах ее Миша начал заниматься политикой, ей хотя и показалось, что он взял чересчур серьезную ноту, все-таки она видела в этом что-то хорошее и необходимое. Но когда весть дошла, что Миша арестован по-настоящему и как серьезный бунтарь даже отправлен куда-то не то в крепость, не то в образцовую тюрьму, она очень взволновалась. Скоро, однако, со всех сторон она стала получать выражения сочувствия и понемногу успокоилась. Все либеральные люди говорили:

— Глухая, мрачная эпоха, только молодежь и выносит все на себе.

ОЛИМП

Проходят недели, месяцы, наступает день Марии Египетской в конце жаркого июля. Множество гостей съезжается к Алпатовым поздравить Марию Ивановну с ангелом.

Раньше всех приехала своя купеческая родня, тетушка Калиса Никаноровна и мудрый крупчатник Семен Парфеныч Петров.

— Ты, Мария Ивановна, — говорила Калиса Никаноровна, — не очень беспокойся за Мишу, из таких потом выходят очень умные люди.

Мария Ивановна забеспокоилась: она, воспитанная «Русскими ведомостями», умными людьми называла вообще достойных людей, а старинная купчиха Калиса Никаноровна — ловких в торговой и всякой плутне.

— Какие такие умные? — спросила Мария Ивановна, нахмутив лоб.

Калиса Никаноровна, не желая поднимать спор во время именин и расстраивать Марию Ивановну, ответила:

— Я хочу сказать, дельные люди. Возьми в пример Дунечку, она учит деревенских ребят тоже бунтам и безбожию, а самые хорошие ученики ее выходят в дьякона и полицейские. Почему же в других-то школах, где учат хорошо закону божьему, не вышло ни одного дьякона и урядника? Эх, Мария Ивановна, жизнь любит, чтобы ее царапали, и на это она отвечает по-своему, все равно как пикируют капусту: отщипнут кончики корешков, а капуста от этого сильнее растет. Так вот Мишино дело, посидит в тюрьме и еще какой умница выйдет.

— Нет, Калиса Никаноровна, — ответил Семен Парфеныч, — хотя и умные ваши мысли, а все-таки капуста растет не касаясь жизни садовника: сами садовники и огородники часто сидят без капусты. Я понимаю

молодежь просто как передовой авангард: с них все начинается.

Так ответив Калисе Никаноровне, Семен Парфеныч по-своему стал утешать Марию Ивановну:

— Драгоценнейший камень на земле есть бриллиант. И я говорю всем юнцам: берегите свой бриллиант. Нужно, чтобы юноша в это горячее время не тратил сил. Понимаете? Лучше, много лучше, если он в это время посидит в тюрьме, чем станет расходовать свой бриллиант. А если когда он на всех путях своих потерпит крушение или достигнет высшего, то выберет себе жену и найдет в ней мать натуральную для своих детей.

— Не совсем понимаю ваш бриллиант, — ответила Мария Ивановна.

— Скажу попросту, — замялся немного Семен Парфеныч, — драгоценнейшие капли жизни. Все дело в этом.

Мария Ивановна задумалась. Тяжелые это были часы, когда своя купеческая родня собралась, а веселые люди еще не подъехали.

— Не так в любви, — сказала Мария Ивановна, — купеческие сынки теряют свой бриллиант, как в пьянстве. Дворян сохраняет воспитание, без этого и кровь не поможет.

— Нет, Мария Ивановна, я сознаю, воспитание и образование помогают от пьянства, но дворянство свою кровь истратило, в этом разе не поможет образование. Дворянство нашего времени утратило мать натуральную.

Мария Ивановна уже по прошлым именинам знала все мысли Семена Парфеныча и ожидала, что теперь он непременно перейдет на пользу морковного сока для очищения желудка. Мысли были неплохие, но оставались без движения: все тот же на все время неизменный морковный сок для желудка и охрана драгоценных капель жизни. Она уже не слушала Семена Парфеныча и придумывала разные способы, чтобы освободиться. Между листиками дикого винограда, укрывающими террасу от солнца, она разглядела своего сына Николая, идущего по дорожке, только что для именин усыпанной желтым песком. Она схватилась за мысль усадить сына вместо себя, хотела крикнуть «Коля!», но, как часто бывает у матерей, позвала другого сына, Сережу, хотела поправиться и крикнула Сашу, только уж когда дошло до

Миши, одумалась, но Николай в это время смекнул и скрылся, между липами.

Вдруг, услышав колокольчики, она прямо сказала:

— Извините, Семен Парфеныч, надо гостей встречать. Ехали самые любезные и самые непостижимые в своем счастье для Марии Ивановны гости, дворянская беднота Отлетаевы со всеми своими гимназистами,

студентами и барышнями. Ехали на линейках, голова к голове, и, как только поздоровались, побежали кататься с высоких ометов свежей ржаной соломы. Старшие из вежливости на короткое время задержались в гостиной, но мало-помалу выходили на террасу, потом спускались по ступенькам к цветам и дальше в липовую аллею, в березовую, мелькали между яблонями и скрывались в зарослях родительской вишни.

Все гости были распределены на три группы, как в монастырских трапезных. Высшим накрыли огромный стол в зале, для них готовил повар, привезенный из города, великий обед с торжественными индейками, пломбиром и шампанским. Низший класс валил в людскую, где жили рабочие, там была водка, студень, пироги и рыба (соленая). Средний класс, в котором был приказчик из духовного звания Иван Михалыч, старшина, урядник, некоторые арендаторы из мужиков, старый пьяница-дьякон, размещались в том же большом доме, где и высшие, но не в парадных комнатах, а в няинной, прихожей и коридоре. Тут было лиссабонское, та же, конечно, водка, но подслащенная и окрашенная пережженным сахаром. Студень тут был с мозгами и рыба только свежая (сазан и судак). Из года в год порядок был одинаковый, всегда неизменно пьяница-дьякон был в среднем классе, а дьяконица Евпраксия Михайловна — в высшем для того, чтобы она сдерживала дьякона, когда он, пьяный, врывался к высшему столу под предлогом, что ему, дьякону, надо быть непременно вместе с попом.

Простой народ повалил на именины прямо после обедни, и тут всем сразу и был обед, и что кому полагалось выпить, выпивал сразу все стаканами. И потому тут рано все загудело, как в пчелином улье.

Одни, выпивая и закусывая, говорили:

— Ну, спасибо Марии Ивановне, студень так уж студень, рыба так уж как и надо быть. — Вспоминали для сравнения, что соседка Марии Ивановны, Софья Александровна, настоящая столбовая дворянка, кормила на своих именинах простой народ овечьими головками. Никита Васильев, старый умный мужик и ходок по мирским делам, дал на это объяснение.

— Потому что, — сказал Никита Васильев, — дворянская кровь тощая, а Мария Ивановна из купцов, и купцы вышли тоже из мужиков.

Антропка, тот самый, которым пугают детей, Антропка Неверующий, по своему обыкновению, скоро объелся, около него вышла неловкость, и над ним стали смеяться, вспоминая, как он прошлый год на именинах взялся на спор допрыгать на одной ноге со звуком полторы версты, до леса. Смеялись тоже и над работником Павлом, что целых три года растил жеребенка, рассчитывая сделаться хозяином, вырастил, продал и пропил.

— А что ты выгадал? — окрысился Павел.

— Елду выгадал, — поддержал Павла малоземельный Пахом.

Тогда все малоземельные хозяева поддержали Павла и Пахома: издыхать одинаково и на своих наделах, и в батраках.

Никита Васильев с другого конца стола услышал спор о земле и встрепенулся.

— Погодите, — сказал он хитро и мудрено, — придет время, и вот сколько будет земли, не в силах будет поднять человеку.

Другой затейливый человек, каменщик Стефан ввязался:

— Ты это о светопреставлении?

— Зачем о покойниках, — ответил Никита, — я о живых. Поумнеют люди и землю побросают. Кто землю работает? Дураки. А когда все будут ученые кому захочется быть в дураках, все мужики поступят на должности.

Загадку эту об ученых Стефан как-то понял по-своему и, подмигнув Никите, вышел с ним, как будто до ветру.

— Слыхал ты про сынишку Марии Ивановны, про Мишутку? — спросил он Никиту.

— Слыхал...

Никита и еще кое-что знал.

— Царь-то, — сказал он, — их шугнул.

— А чего же они лезли?

— Как что? Сами в цари хотят.

— Ну, а Мишутка?

— А Мишутка за ученость: этот с ученой стороны. Когда Стефан с Никитой вошли в людскую, там уже состоялось постановление всех пирующих отправить их к Марии Ивановне и загнать ей притчу о евангельском браке, на котором не хватило вина.

Средний класс — богатые мужики-арендаторы в синих поддевках и блестящих сапогах бутылками, дьякон, урядник, старшина с приказчиком Иваном Михалычем во главе в это время чинно сидели в большом доме и дожидались. Из предосторожности Мария Ивановна не давала им вина, пока не начнется торжественный обед за большим столом высшего класса, а там тоже нельзя было начать, пока не приедут Раменовы. Отлично понимала Мария Ивановна, что от беднейших дворян с заложенными по двойной закладной именьями до Раменовых с пятнадцатью тысячами десятин чернозема такое же расстояние, как от безлошадного батрака Павла до мужика большого арендатора, что дворяне тоже разные и что по правде следовало бы и их разделить, по крайней мере, стола на два, но это было неловко, и бедные должны были дожидаться богатых. Первым приехал из

Раменовых губернский предводитель на велосипеде новой конструкции с пневматическими шинами, потом уездный предводитель на английской кобыле и, наконец, сама кавалерственная дама в старинной карете. Важную даму сопровождали верхом бедные родственники, старый гусарский офицер, двоюродный или троюродный брат, просто полубрат, как сами они его называли, с молоденькой племянницей его, какой-то Инной Ростовцевой.

По мере того как подъезжали дворяне, купцы в разговорах теряли всякую развязку, и, когда прибыли Раменовы, сделалось, будто их вовсе и не было. Но случаем почтить Марию Ивановну воспользовались два самых богатых купца, которые совершенно не боялись дворян. Просто Захаров по фамилии, а кончил политехникум в Англии, говорил свободно на трех языках, одевался с иголки и только два имел недостатка в костюме: всегда носил ногти в трауре, и часто виднелось у него при открытом смокинге полпуговицы на недозволенном месте. Он ставил громадный цементный завод с электрической станцией. Всего удивительней, что в этот раз заглянул наконец, всю жизнь собираясь к Марии Ивановне, и совершенно несродный ей по взглядам первый богач из купцов, Иван Иванович Релкин. Он разбогател на махорке и держался в своем деле и всю свою жизнь взглядов самых старинных. Этот маленький старичок, похожий на Суворова, как и Суворов, был способен при всех важных лицах прыгнуть на стол и закричать петухом. Мария Ивановна боялась его и, как сама говорила: пасовала. В этот раз, однако, она решилась интимно побеседовать с ним в уголке гостиной. Она подъехала к нему с разговором о бессмысленных мечтаниях.

Релкин сурово молчал.

Стало очень неловко. Тогда Мария Ивановна, сама изменяя себе, прямо-таки тоном осуждения сказала:

— Какие-то Дон Кихоты!

— Индюхи, — сказал Релкин.

И быстро, громко и надолго забарабанил двумя пальцами по столу, так что Мария Ивановна как бы вдруг исчезла сама от себя и до конца спасовала.

С уездным предводителем Мария Ивановна перешепталась о Мише: «Нельзя ли что-нибудь сделать». Но оказалось, нельзя: дело перешло в Петербург. А в общем, — это уже сказал губернский предводитель, человек с большим кругозором, — «дело это современно-естественное, марксизм теперь в большой моде, есть отличные в столице теоретики, Струве, Туган-Барановский, и за ними сам Витте ухаживает. Пользуясь модностью

марксизма, товарищ прокурора Анацевич сделал себе в смысле карьеры отличное дело, и для молодых людей все кончится пустяками».

После беседы с губернским предводителем Мария Ивановна очень успокоилась и провела торжественный обед великолепно. Неожиданную себе помощницу Мария Ивановна нашла в совершенно до сих пор не известной ей Инне Ростовцевой.

К вечеру Мария Ивановна, проводив Раменовых, уговорила Инну остаться у нее ночевать и, совершенно в нее влюбленная, пошла с ней вдвоем погулять в аллее и отдохнуть от гостей.

— Ты такая образованная, Инна, — сказала она, — объясни мне, пожалуйста, что такое тип?

— Какой тип?

— Как это говорят: тип, и кончено. А ведь есть же и не тип. Я хочу сказать, что нельзя же подвести всех под тип, есть и просто люди сами по себе.

— Боже мой, — воскликнула Инна, — какая вы, Мария Ивановна, хорошая!

И обняла ее.

Мария Ивановна, поглаживая ее по голове, нечаянно раздвинула на лбу ее локоны и вдруг остановилась, крайне удивленная.

— У тебя такой лоб... я тебя принимала за Ирину из «Дыма», а ты, оказывается, вон какая...

— Ученая?

— Нет, это другое. Совсем не тип, как я тебе сейчас говорила. А все-таки ты героиня.

Инна опять обняла Марию Ивановну.

Всю жизнь ждала Мария Ивановна в свой удивительный парк тургеневскую девушку и была уверена, что это она, только Лиза — не Лиза, Ирина — не Ирина, что-то близкое, но как-то не совсем сходится.

Они были в конце липовой аллеи, у крайней лавочки, а в конце березовой, пересекающей дорожку в лес, послышался мужицкий, пьяный хохот и крики.

Сразу Мария Ивановна пришла в хозяйское боевое настроение и, сказав Инне подождать ее немного на лавочке, стала тихонько из-за деревъез подкрадываться к месту безобразия. У нее был отличный навык незаметно подходить. В тот момент, когда выглянула из-за дерева, при громком хохоте всех пьяных работников и других мужиков Антропка Неверующий пустился на одной ноге со звуком скакать в лес.

Забава работников не оставила на Марии Ивановне никакого

впечатления. Это было так известно ей, так обыкновенно, и нисколько не помешало ей вернуться в липовую аллею и там попробовать к тургеневскому женскому Олимпу присоединить еще одну женщину.

Много рассказывала ей Мария Ивановна о своем любимом сыне, как он, с детства настроенный возвышенной девушкой, которую и звали не иначе, как Марьей Моревной, теперь сошелся с новой молодежью и хочет осуществить социализм.

Инна совсем ничего не понимала в социальном движении и, когда Мария Ивановна кончила, ответила ей:

— Как все это странно, ведь у Тургенева в «Нови» все это описано, и, когда описано, мне почему-то представляется, значит, и кончено. Неужели так это и продолжается?

ПТИЦА В КЛЕТКЕ

Политическое дело «школа пролетарских вождей» выкопал и создал, как интересный момент современности, один талантливый товарищ прокурора, маленький чистенький петербургский тип, Анацевич. Равнодушно выслушивая все на свете, этот следопыт политики говорил одно только слово «любопытно» и все-таки держал в своих руках жандармские, сыскные и всякие полицейские управления. Анацевичу пришла в голову мысль собрать из всех высших учебных заведений вступительные прошения студентов, сверить почерки с теми, которые нашлись при обыске, и так установить личности деятелей «школы пролетарских вождей».

Сотни почерков эксперты стали изучать, сличать, складывать из букв прошений слова, переводить их на прозрачную бумагу и потом накладывать слова прошений на такие же слова рукописей.

Экспертиза пользовалась научным способом, и, когда слова складывались, личность устанавливалась безошибочно. Тогда жандармский генерал наряжал ротмистра. Молодого государственного преступника брали в тюрьму и сажали в камеру предварительного заключения, и там он оставался забытым сидеть, пока экспертиза не разберет тысячи других почерков. Счастлив был, кому пришлось попасть под конец, но первые более года сидели в одиночках, пока экспертиза не устанавливала личность последнего и не начиналось настоящее разбирательство дела.

Михаила Алпатова арестовали в самом начале, допросили. Обещали

свободу, если сознается, грозили... Он выбрал себе самый досадный для следствия путь отвергать решительно все. Убедившись, что из него ничего не выпытаешь, его отправили в образцовую тюрьму. Молодого государственного преступника везли в закрытой повозке, потом в отдельном вагоне и опять в повозке до самой тюрьмы. В конторе его обыскали, отобрали все вещи, даже часы и карандаш.

Явился начальник тюрьмы, прославленный жестокой дисциплиной латыш, с ним был очень худой, рыжеватый, весь прокуренный ротмистр и кругленький доктор. Все эти начальники сели за столик и стали записывать черты лица Алпатова и другие внешние признаки его личности. Юноша горел внутри, и, вероятно, потому у него постоянно менялось выражение лица, даже глаза то были зеленые, то голубые, то темные.

Все, однако, сразу согласились и записали: рост средний. Но, когда надо было определить цвет глаз, начальник тюрьмы сказал:

— Большие, голубые. Ротмистр:

— Не очень большие, зеленые.

Доктор попросил посмотреть Алпатова в темный угол, потом на свет и сказал равнодушно:

— Обыкновенные глаза.

Потом все записали, как попало, только в последней Рубрике подбородок — ротмистру надоело подчиняться Доктору, вероятно, ему припомнился Чичиков, и он сказал нерешительно:

— Круглый?

Доктор с усмешкой ответил ротмистру:

— Подбородок после носа самая выдающаяся часть в лице, он не может быть круглым.

— А как же у Гоголя сказано.

— У Гоголя, — засмеялся доктор, — у Гоголя черт луну в карман спрятал.

Ротмистр заупрямился:

— Нет, я помню, там прямо сказано о лице Чичикова: подбородок круглый.

— Я вам объясню, если вы хотите, — сказал доктор. — Чичиков вообще духовно круглый тип, и в соответствии с этим круглым сделан и подбородок. Там образная речь, а у нас обыкновенная.

— Как же запишем? — спросил начальник тюрьмы, очень недовольный болтовней доктора и ротмистра.

— Так и запишем, — сказал доктор, — обыкновенный подбородок.

После этого явился фотограф, сделал несколько снимков, начальник

тюрьмы выписал бумагу и позвонил. Пришел старый, но очень кряжистый, вооруженный надзиратель. Начальник сказал:

— Отведи, Кузьмич, в двадцать седьмой.

Старик повел Алпатова через двор, по которому шагал часовой, и за ним, совершенно ему подражая, на длинных ногах шагал настоящий дикий журавль.

Алпатов решился спросить о журавле надзирателя, и Кузьмич охотно ответил ему, что у журавля повреждено крыло и он тут уже второй год.

— Наверно, у вас его и зовут как-нибудь?

— Ну, как же: Фомкой зовут.

— Почему же Фомкой-то?

— Эх, — досадливо сказал Кузьмич, — почему журавль да почему Фомка, вы это извыше себя спрашиваете.

Это была правда, потому что небывалому очень жутко идти в тюрьму, особенно в одиночку без срока, и всем хочется схватиться за что-то извыше себя.

Алпатов застыдился.

Когда дверь в тюрьму открылась и надзиратель с арестантом вошли в тюремный зал, то на первых порах казалось, будто окунули в какую-то вонючую жидкость: так всегда кажется очень сильно в первый раз и потом послабее каждый день, после прогулки на свежем воздухе.

Алпатов схватился за нос.

— Привыкнете, — сказал Кузьмич добрым голосом. Далеко где-то, в двусветном огромном зале, на том конце, уголовные арестанты в серой одежде подметали пол, и от каждого их движения шваброй через весь зал летела и била в лицо вонючая волна. На чугунных черных ажурных мостиках, соединяющих вверху черные двери камер одиночного заключения, там и тут стояли вооруженные надзиратели и смотрели сверху на Алпатова.

Случилось, что один политический в это время задержался в уборной и вышел оттуда как раз, когда мимо проводили Алпатова. Сразу же на всех мостиках произошел переполох, как будто волк выскочил из канавы и весь обоз на него заорал. Этот политический — был вождь народников Жуков, но ни он, ни Алпатов не подали вида, что знают друг друга.

Жукова повели на ту сторону, Алпатова — сюда, и можно уже по этому было понять, что сидящие по делу народников — на той стороне, а марксисты на этой.

Когда заперли дверь за Жуковым, то это было в зале не тише, чем на воле пистолетный выстрел. Так же раздалось, когда Кузьмич открыл камеру

номер 27-й для Алпатова. Старик привычной рукой прицепил бумагу к серой стене над столиком и сказал:

— Ну, коли что, по малой нужде, — вон там в углу парашка, а по большой постучите. Не хворайте.

И вышел, опять стрельнув ключом на всю тюрьму.

Маленькая комната, семь шагов в длину и пять в ширину, была полутемная, потому что над окном зачем-то висел деревянный колпак. Алпатов с трудом прочитал на бумажке:

№ 27.

МИХАИЛ АЛПАТОВ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

Человека, все равно как и посаженного в клетку зверя, бросило к свету. Он передвинул стол к стене с высоким окошком, прыгнул, приставил лицо к железной решетке, и это стало похоже на известную картину в Третьяковской галерее, возле которой у многих выступали на глаза слезы: картина была, как икона голгофских страданий интеллигенции. Алпатов сам видел эту картину, вспомнил о ней, и, вероятно, потому стало ему, будто все это не взаправду: разве он достоин этого, разве он настоящий государственный преступник?

Но так же часто и встречающие свою смерть не узнают ее, считая себя еще не готовыми к страшному, и это встреченное оказывается не так страшно, как представлялось. А потом это с воли видят железную решетку и за ней бледное лицо арестанта. Сам же арестант не видит железные прутья, заключенный иногда только в первый раз знакомится с жизнью: какая она там за решеткой прекрасная...

На дворе из конца в конец ходил кто-то в черной одежде, за ним солдат с ружьем и за часовым Фомка. А за стеной показалась большая крона светящегося зеленого дерева.

Все это продолжалось только мгновение. В дверь крепко постучали, и там сверкнул из волчка блестящий страшный глаз. Алпатов спрыгнул, подвинул стол на место, сел на табуретку, долго сидел, не расставаясь с видением живого дерева, удивляясь, как он раньше не понимал, что зеленые листья сидят на тонких черенках и трепещут, а ствол, такой большой, крепкий, неподвижный, их держит, и что все там на воле должно быть необыкновенно прекрасно. Так долго сидел человек, и точно так бывает с птицей, когда с воли ее пустят в клетку; сначала она непременно бросится к свету, тукнет головой о проволоку, потом долго сидит и снова начинает бросаться.

Алпатов вскочил и стал обдумывать, как бы сделать, чтобы, не раздражая надзирателя, можно было время от времени глядеть в окно на

сверкающее дерево. Придумав что-то, он постучал в дверь. Глаз показался.

— Можно форточку открыть?

— Форточка открывается во время прогулки: завтра. Алпатов пробует, думая, шагать по комнате, восемь шагов по диагонали. Повертелся немного, и вдруг очень захотелось спать. Ложится на железную кровать, прямо без тюфяка.

— Нельзя днем ложиться, — стучит надзиратель, — вечером ляжете после поверки.

Вот когда вдруг подступила тюрьма, по-серьезному, без Фомки-журавля, без воспоминания картины голгофских страданий.

В раннем детстве Алпатову так пришлось, что кто-то из старших, разыгравшись с детьми, в шутку прикрыл его подушкой и передержал. Мальчик пережил почти все, что переживает человек, задыхаясь от смерти; была зверская злоба на того, кто придушил: будь нож под рукой, пырнул бы, ни мгновения не думая, что родному хорошему человеку наносишь смертельный удар; потом отчаяние, зеленые круги и после освобождения бесконечное смертельное оскорбление. После того еще было вроде этого: как разберешься, душит рука незлобная, только не понимающая ужаса жертвы, и объясниться невозможно, нет языка. И еще воспоминание... есть вообще какой-то черный ужас в родной стране. Этот весь «ужас подушки» вдруг охватил Алпатова, и ему мелькнуло в безумии — разбежаться по диагонали и со всего маху бухнуть головой о стену. А еще лучше и вернее — разбить стекло и запустить себе острый конец под ребро. На стену страшно смотреть — стена соблазняет, и на окно тоже нельзя — окно соблазняет. И слышатся уже насмешливые голоса: хотел освободить людей от Кащеевой цепи, а вместо этого сам разбил себе голову.

Для некоторых птиц в клетках непременно устраивают верх из полотна, иначе птица о железо или дерево непременно разобьется до смерти. Но у человека здорового в предельном унижении является новая, часто ему не известная сила. Почти радостный встал Алпатов с табуретки и принялся ходить по диагонали. Иногда он останавливается и маленьким, найденным в своем кармане, гвоздиком выскребает на меловой стене цифры, делает подсчеты. Он выдумал себе будто-путешествие к Северному полюсу, где, хирея над золотом, сидит Кащей Бессмертный. Он высчитает приблизительно, сколько диагоналей комнаты потребуется на все путешествие до Полюса. Он будет все время считать, значит, ему кажется, что он не помешается и все передумает, о чем читал, что видел в жизни, это будет внутреннее путешествие взамен настоящего.

БУДТО-ПУТЕШЕСТВЕННИК

Очень редко путешественник к Северному полюсу отправляется незаметно, обыкновенно происходит торжественное снаряжение экспедиции при поддержке государства. Государство заинтересовано. Только уж когда путешественник оставляет корабль, затертый льдами, едет на собаках, когда собаки одна за другой умирают и вместе с тем гаснут все надежды на славу, когда уже там, назади, его похоронили и он там все похоронил, начинается проверка человека самого по себе. Кругом только льды, только ночь или ослепляющий свет, никакой надежды на жизнь, на спасение, и все-таки путешественник, замерзая, записывает показания барометра, термометра и секстанта. Он уже не движется, а сидит между ледяными глыбами под навесом из тюленьей шкуры и мало-помалу сам обращается в лед. Какая же сила двигала его рукой в последний момент, когда он записал последнюю цифру?

Не эта ли самая сила является в бедной комнате без всяких игрушек, когда мать, отправляясь на рынок, запирает своего ребенка? Поскучает, поплачет мальчуган, потом берет полено, другое, третье, складывает что-то и говорит: «Пусть это будто-пароход». Мальчуган садится на свой пароход, отправляется в будто-путешествие и, когда мать возвращается, не обращает на нее внимания или даже, гордый в обиде, попросит ему не мешать. А почему же и юноша в тюрьме, предпринявший внутреннее путешествие, шагая из угла в угол, будто к Полюсу для освобождения человечества от Кащеевой цепи, меньше герой, чем путешественник к настоящему Полюсу, где тоже нет ничего, кроме сказки и льда?

Плохо, что в политической тюрьме, в этой строгой и образцовой, не давали бумаги, пера и чернил, а то Михаил Алпатов, наверно бы, написал дневник своего путешествия, и, может быть, оно было бы не менее увлекательно, чем настоящее путешествие. Сколько было замечено им через окошко летом перемен в жизни природы, таких тонких переходов от лета к осени, каких никто не замечает на воле! Сколько было нечаянных радостей и разных событий! В тюрьме были свидания у политических с девушками, не известными заключенным, как с невестами. Раз какой-то будто-жених потребовал себе даже брака, и ему не могли отказать в таинстве. После венчания будто-муж был отведен в одиночную камеру, а будто-жена — в одиночную жизнь на воле. Были ужасы не меньше, чем в полярных путешествиях. Раз был крик на всю тюрьму, и слышно даже

было падение тела, и вслед за этим как стрельба из пушек: так били скамейками все политические в двери своих одиночек. А потом вынесли тело несчастного Элиазберга.

Алпатов слышал и падение тела, и стук скамеек, сам бил скамейкой зачем-то и после того долго дрожал. В ту же ночь полюбивший его старый Кузьмич шепнул ему через волчок, что освободилась светлая камера, и он бы попросил начальника перевести его туда. Утром Алпатов заявил, его перевели, а стекло в окне уже было вставлено, и от Элиазберга никаких следов не осталось.

И прямо после такой беды в той же самой камере ужаса — большая радость, потому что на окне не было деревянного колпака, и открывался большой горизонт для наблюдений. Светящееся дерево стало видно отсюда все до земли, под ним большая зеленая площадка, ниже труба парохода и дальше поворот реки, где показывается весь пароход. Дерево теперь меньше светилось, темная густая крона была тронута осенью, там и тут были желтые пряди. Облюбован один домик на горной слободе, прекрасно сверкающий окнами на солнце. После этой большой перспективы таким маленьким кажется тюремный двор. Фомка начал останавливаться, поглядывать вверх. Не ожидает ли он журавлей, не собирается ли с ними удрать из тюрьмы?

Долго нельзя было привыкнуть жить под волчком, знать, что во всякое время могут наблюдать тебя, и никогда нет уверенности, что живешь один сам с собой. Но всевидящее око не бессмыслица, мы все живем под чьим-то глазом непременно и не обращаем на это никакого внимания. Кузьмич заглядывает к Алпатову, больше только чтобы предупредить, когда приближается начальство. Но когда тихо в лакированных башмаках бродит по залу сам Анацевич, Кузьмич не смеет глянуть в волчок и шепнуть: все до одного человека боятся этого маленького чиновника в штатском. Анацевич заглядывает в камеры не для порядка: он изучает, следит за человеком в щелку и через это что-то получает себе. Не раз он видел и Алпатова, когда тот и не подозревал, что за ним кто-то смотрит. Однажды Алпатов улыбнулся чему-то на пути своем к Северному полюсу. Эту улыбку заметил Анацевич, и она ему не понравилась. Бывает, в одиночестве заключенный улыбается чему-то близкому, общему и понятному всем. К такому интересно зайти, там можно рассчитывать на какое-нибудь соглашение, улыбнувшийся чему-то житейскому может даже сделаться отличным сотрудником. Бывает, улыбается близкой улыбкой и большой умница, у которого все обдуманно и решено. Интересно с таким побеседовать, померяться ловкостью завитушек в придумках. Но какой

интерес заговаривать с юношей, измеряющим шагами целые меридианы?

Мало-помалу, однако, Алпатов почему-то меньше вертится по камере и больше проводит время на столике у окна.

Анацевич хочет узнать, не поумнел ли уж отчего-нибудь этот юноша: бывает, в тюрьме человек вдруг и поумнеет.

Алпатов чуть не упал со столика и растерялся.

— Любуетесь? Алпатов ничего не сказал.

— Как вам живется?

— Благодарю, ничего.

— Не надо ли что-нибудь вам от прокурорского надзора?

— Я хотел бы знать, когда, хотя бы приблизительно, будет конец?

— Это зависит от вас: признайте свой почерк, и завтра вас выпустят.

Экспертиза у нас научная, установлено точно: «Женщина и социализм» Бебеля ваш перевод, а также отдельные главы Меринга, Каутского, спор Энгельса с Дюрингом целиком ваш. Видите, как точно.

Алпатов заметил кончик маленького лакированного башмака товарища прокурора, на который спускались новенькие английские брюки. Когда Анацевич испытующе смотрел на Алпатова, он глядел на этот кончик, и через это ему представлялась квартира Анацевича, его письменный стол, пресс-папье с Эйфелевой башней. И все это как у всех делает его каким-то всесильным. Он идет определенной дорогой, а не по меридиану, будет непременно прокурором, директором департамента или послом во Франции, и даже в Англии среди лордов Анацевич будет нужным, необходимым человеком; он же, Алпатов, — экзотика, невольница восточного рынка.

Стыдно под нагим глазом, потупился, краснеет и не сводит глаза с кончика лакированного башмака с английскими брюками. Это почувствовал в себе Алпатов, схватился и с презрением сказал Анацевичу:

— Даже астрономия ошибается в своих вычислениях, а что же это за наука, экспертиза почерков? Я не писал.

— Очень, очень жаль. Значит, вам ничего не надо от прокурорского надзора? До свидания.

С порога тихо бросил:

— А может быть, вам хочется побеседовать по этому делу углубленно, — я к вашим услугам.

Алпатов опять потупился. И Анацевич опять подходит.

— У вас столько времени думать, неужели вы не поняли своей ошибки?

— Какой же?

— Не будет никакой мировой катастрофы, и все совершится обыкновенно, самое же ваше рабочее государство явится обыкновенным порядком. Ваша ошибка в том, что нельзя в государственных делах руководствоваться любовью к человеку.

— Я не любовью, — вспыхнул Алпатов, — я руководствуюсь экономическими законами: любовь, искусство — это надстройки.

— Я тоже считаю это неоспоримым в общественной жизни, но лично вы живете примером Христа и хотите пострадать за человечество. Это совсем не государственный путь.

Анацевич улыбнулся, подступая к Алпатову, и даже осмелился взять его за пуговицу.

— Вы хотите для спасения рабочих отдать свою молодую прекрасную жизнь и делаете это совершенно напрасно. Сейчас я проходил сюда, в тюрьму, грязной улицей, на дороге лежит без сознания какой-то человек, мертвый, больной или пьяный. Я звоню к дворнику и говорю: «Убери!» Он не слушается. Я беру его за шиворот и говорю: «Убери, негодяй, или я сейчас же тебя отправлю в участок». После того дворник извиняется, свистит извозчика и увозит человека в больницу. Так я делаю, а вы из-за любви к человеку несете его на своих плечах к себе в комнату, пьяница приходит в себя и делает вам же, спасителю, большие неприятности. Вот вы обдумайте это хорошенько, стоит ли идти на Голгофу, если для спасения одного гражданина достаточно взять другого за шиворот и потрясти. Вы это, молодой человек, хорошенько обдумайте, а я как-нибудь еще к вам заверну.

И вышел из камеры.

Алпатов заметался с новой силой по камере, с новым вопросом: как это множество людей, подобных Анацевичу, живут и успевают без всякого знания о мировой катастрофе, с одной только находчивостью в решительный момент поймать гражданина за шиворот? На мгновение он отнимает у себя уверенность в мировой катастрофе, которой должны подчиниться все одинаково и выйти из нее в едином для всех законе жизни.

Страшная картина открывается ему: лес, наполненный обезьянами, с быстрыми движениями, с безобразным хохотом, и среди них он, Алпатов, идет, почти презирающий себя, что не может быть обезьяною.

В этом будто-путешествии по одиночной камере внезапное вторжение другой, чужой жизни оставляет в душе такое же волнение, как на море при безветрии мертвая зыбь. Треплется бедная лодочка по мертвым волнам, не ведающим своего происхождения. Бессильно полощется парус.

Алпатов цепляется за правонарушение, он думает, будто потому он так

взволнован, что товарищ прокурора, который должен быть заступником права перед жандармами, сам является худшим из всех жандармов и пытается утонченно свою жертву. Ему кажется, что на это можно бы кому-нибудь пожаловаться и все дело только в том, что он не знает кому. Он мечется в бессильных придумках, перебирает разные высшие учреждения, сам едва отличая сенат от синода. Наконец ему приходит в голову, что можно послать жалобу на высочайшее имя. И мысленно он стал сочинять жалобу. Ему приходилось, за отсутствием бумаги, писать слова в воздухе, удерживая буквы зрительной памятью. Но уже в самом начале большое И в словах «Высочайшее Имя» стало отделяться, расти выше, выше в небесную бесконечность. Сообразив, что И удаляется в высоту в подтверждение слова Высочайшее, Алпатов одумался и расхохотался; пробовал повторить опыт для потехи, но не захотело смеяться над собою и не поднялось. На несколько минут эта забава с высочайшим именем освободила Алпатова от плена каких-то мельчайших лилипутов, тыкающих его булавками, но скоро вспомнилась другая обида: начальник тюрьмы отказался передать ему присланную с воли книгу Шекспира «Кинг Джон» на английском языке, потому будто бы, что английского языка у них никто не понимает и книга может быть нелегальной. Алпатов сослался на Шекспира, но начальник сказал, что «Кекспира» у них никто не знает и «Кекспир», как всякий писатель, может создать нелегальную вещь. Жестиколируя, Алпатов стал возмущаться, что в образцовой тюрьме нет библиотеки, но начальник крикнул ему: «Руки по швам!» — и потребовал от него, чтобы во время проверки он всегда непременно держал руки по швам.

Кому же на это пожаловаться? Конечно, товарищу прокурора. Но как только мысль вернулась к этому заступнику права, бросились все лилипуты с новой силой колоть своими булавками.

Медленно ползет тюремное шерстяное, колючее время и, когда переползет сегодня, вдруг пропадает, убегая назад с огромной быстротой. Кажется, это вчера только был Анацевич, а уж с тех пор неделя прошла.

В сумерках за воротами раздался выстрел. Алпатов вскочил и успел рассмотреть до наступления темноты: у дерева на площадке вертелась подстреленная кем-то собака. Через минуту собака легла у самого дерева, сплюснулась и скрылась в наступающей тьме. А утром, когда Алпатов поднялся к окну взглянуть на убитую собаку, блеск молодого снега так ослепил его, что голова закружилась и он чуть-чуть не упал. За одну только ночь выпало столько снега, что от собаки под деревом торчало одно только ухо, а след какого-то животного был так глубок, что цепочка его даже из окошка тюрьмы ясно виднелась и, голубея, уходила, теряясь, в перелесок.

Было румяное утро.

Не забылось это румяное утро над свежим снегом. Но когда оно было? Вчера? Нет, не вчера, а недели уже две тому назад: все это время пропало. Теперь уже осадило снег дождиком, и собака вся на виду, вокруг нее все истоптано кем-то, и на дубе воронье. А вот и это переменялось и ускочило далеко назад, все опять завалило, река перестала куриться и скрылась под снегом. Но когда река скрылась, дрова скрылись и небольшие кусты потонули в суметах, собака почему-то поднялась над снегом и лежала вся на виду. Как же это могло случиться?

Алпатов ходит из угла в угол и думает об этом странном явлении день, другой и третий. Ему иногда кажется, что на пути к Северному полюсу он так много передумал, такие большие сделал открытия. Но что же это значит, если вот уже третий день он застаёт себя на одной мысли: «Как поднялась убитая собака из-под глубокого снега?» И что, если все передуманное им в тюрьме тоже вертится около чего-нибудь одного и не движется с места, время летит, и от этого, кажется, мысли летят. Растут сильно волосы; что, если только и есть, что волосы растут и в этом весь смысл тюремного времени?

Последнее открытие было сделано над месяцем. Солнце всегда солнце, хотя бы и в пасмурный день, но месяц пропадает совершенно, неделю, две иногда он растёт невидимо, незнаемо под тучами и вдруг показывается, весь сияющий, над огромной своей волчьей равниной. Раньше всегда думалось о месяце по календарю в виде чередом следующих фаз луны, а в действительности, оказывается, часто бывает, что месяц появляется вдруг и сверкает, — в этом и есть открытие заключенного.

Алпатов поднимается к окну, любуется белой волчьей равниной и замечает под дубом две какие-то мелькающие тени. Он догадывается: кто-то хлопочет по ночам над мертвой собакой. А утром новое небывалое событие: собака немного отъехала от дуба. Собака, оказывается, путешествует.

Приходит вечер, ранняя большая бледная луна укрепляется, разгорается и совершенно овладевает ночью. И опять являются какие-то тени. Сделано наблюдение: собака едет влево от дуба.

Тусклый свет лампы с потолка освещает наблюдателю через волчок бледное лицо молодого, заросшего волосами путешественника к Северному полюсу, а когда подходит к окну, лунный свет заливает его спину. И тут же рядом за стенкой, всего в какой-нибудь четверти аршина, точно так же из угла в угол ходит лучший друг его, Ефим Несговоров. Стучал Ефим не раз, но ответа не получил от Алпатова. И так оба ходят, не

зная друг о друге ничего. Если бы знали?

Тихо. Бархатно в лакированных башмаках прогуливается по залу товарищ прокурора Анацевич и время от времени поглядывает через волчки на маниаков, забравших в голову неподвижную идею мировой катастрофы. Анацевич сегодня собирается сделать интересный эксперимент над Алпатовым. Берет ключ у Кузьмича, открывает, внезапно входит.

— Здравствуйте, как вы поживаете, не нужно ли что-нибудь вам от прокурорского надзора?

— Книг не пропускают, дайте мне книг.

— Я захватил для вас самую интересную, только на немецком языке, но вы, конечно, владеете?

Алпатов молчит. Он подозревает предательство. Ведь он с немецкого языка переводил и на допросе дал показания, что с языком не знаком.

— Бросьте, — говорит Анацевич, — мы же все теперь знаем, ваше сознание нам нужно исключительно для оформления дела и скорейшего решения. Будьте немного деловым человеком, — пока вы не дадите письменного показания, все наши разговоры не имеют для дела никакого значения. Я принес вам новую, интереснейшую книгу Бернштейна.

— Социал-демократа? — спросил Алпатов.

— Да, этих социал-демократов теперь называют ревизионистами. Они доказывают, что мелкое производство не очень страдает от концентрации капитала, что оно очень даже устойчиво, и, значит, концентрация капитала вовсе не имеет того значения, как у Маркса. Словом, мировая катастрофа, на которую вы уповаете, вовсе даже не имеет научного основания. Ревизионисты сильно ее отсрочили. Заметьте, ревизионисты — настоящие социал-демократы. Но чем же мы, буржуазия, гарантированы, что при такой быстрой эволюции партии новые вожди ее не согласятся с нами: дело, может быть, обойдется и совсем без катастрофы.

Анацевич оставляет книжку на столике и уходит из камеры. Алпатов поднимает на стол табуретку, забирается вверх к лампе и читает. Все, конечно, оказывается не так остро, как сказал Анацевич, но все-таки тон книги и общий смысл ее действительно ставят читателя в раздумье о возможности близкой мировой катастрофы. И Алпатову на время ясно теперь видится своя собственная зарубка в уме о мировой катастрофе: он не может опровергнуть Бернштейна, потому что он пришел к идее мировой катастрофы от сердца своего. В раннем детстве он слышал чей-то голос, строго предупреждающий: «Деточки, деточки, по краюшку ходите, затрубит архангел, загорится земля и небо». На место сказки стала теория,

и сердечный поток закрепился железной формулой. Теперь коварная книга размыкает постройку, потому что самое дело, питающее формулы, ускользнуло из рук.

Вдруг падучая звезда перечеркнула решетку тюрьмы. Какое-то небесное тело чиркнуло по земной атмосфере.

А может быть, и потому оно накалилось, что земля слишком скоро мчалась?

Алпатов радостный вскочил и подумал, забывая о диалектическом движении истины: «А вот же это земля вертится и движется, как можно это опровергнуть?» Но сейчас же захотелось это и доказать такому же Антропке Неверующему вроде Бернштейна.

— Сначала опровергну Антропку, — сказал Алпатов, — потом примусь и за Бернштейна.

И вдруг Антропка оказывается не такой уж дурак, он отвечает Алпатову, что, может быть, земля и круглая, и вертится, да ему в этом нет никакой надобности: он живет постоянно на плоской и неподвижной земле. Да и сам-то он, Алпатов, разве на шаре живет? Если бы на шаре жил, то шар бы непременно ему пригодился на что-нибудь, а между тем он до того ему не нужен, что даже забылось школьное доказательство круглой поверхности земли, помнилась только мачта, на морском горизонте выползающая раньше самого корабля, но это же чисто детское доказательство. А жить можно совершенно одинаково, если принять, что земля круглая или плоская.

Тогда вдруг все перевернулось, и Алпатов ответил Бернштейну, как бы став на сторону Антропки:

— Не могу ничего, товарищ, сказать о вашей ревизии Маркса; для всякой научной гипотезы существует практический корректив, а я человек, заключенный в тюрьме, лишенный всякого дела.

Но после такого ответа и путешествие к Полюсу, наблюдения и думы в пустоте представились таким жалким бредом, таким болезненным кошмаром. Все провалилось куда-то, и Маркс, и Галилей, и Антропка, только бесчисленные лилипуты стали колоть не только душу, но даже и тело булавками. Есть ведь у человека такая пята, что уколешь в нее, и никак не поймешь, в душу это или в тело попало. Алпатов место боли даже пальцем прижал, и тут болеть перестало, но зато боль душевная началась с новой силой.

В изнеможении сел он на табуретку, облокотился на стол и держал голову руками, как постороннее тело. Из множества прочитанных когда-то путешествий к Северному полюсу перед ним встали теперь картины

последних усилий замерзающих людей.

Вот, укрываясь от бури, путешественник сел между двумя огромными ледяными горами. Через короткое время он тоже обратится в ледяной комок, прикрытый лохмотьями. И он уже готов отдаться потоку обратному, становится легче, встает даже мысль, что вся жизнь, вся борьба его сплошная ошибка и гораздо легче просто отдаться смерти, что люди оклеветали смерть, и на самом деле, как ясно видно теперь, она вовсе даже не зло, а милость природы. Но когда самому хорошо, то хочется, чтобы и другим было хорошо, жалко стало бедных людей, и вроде того вышло, как если бы чей-то умоляющий дружеский шепот начался во льдах. А это был не друг от людей, это южный ветер ласкал, тот самый, который дальше и дальше к северу угонял ледяные поля. Но путешественник это принимает за ласковый шепот, поднимается, и как отец делает завещание сыну, так он наносит на карту последнюю свою цифру широты и долготы в дар новому путешественнику, которому дано открыть Северный полюс. Явственный шепот раздался в одиночной камере:

— Что, худо вам?

Алпатов встал, подошел к волчку и ответил:

— Худо, Кузьмич!

— Ничего, потерпите, это пройдет, значит, так надо.

— Зачем же надо, кому?

— А как же, вот нынче еще привезли пять человек, каждый день везут, вы не один, это надо понять.

— Да как же понять-то?

— Так и понимать надо, вы же никого не убивали, не грабили и сидите вместе с разбойниками. А что ни день, то все больше и больше везут. Это значит: Израиль вышел.

Алпатов уже не раз слышал от Кузьмича о каких-то сроках, назначенных людям и земле их в Библии, и потому сразу догадался, что значит: вышел Израиль.

— Из Египта в Палестину? — спросил он.

— Да, — ответил Кузьмич, — вы знаете, и еще надо вам вспомнить, что не отцы, а только дети их придут в обетованную землю.

Кузьмич быстро закрыл волчок. Верно, проходил кто-нибудь из начальства. Но Алпатову вдруг стало светло и тепло: он идет к Северному полюсу, рядом идет, наверно, еще кто-нибудь, и еще, и еще, и каждый день прибывает таких все больше и больше, и с ними со всеми старый Кузьмич тоже плетется в свою какую-то землю обетованную.

РАССТРЕЛ ВАСИЛЬКОВ

Невозможная жуть бывает, когда вдруг неожиданный дождь ломает лед, растопит снега, и земля, уже однажды умершая, кажется, второй раз умирает. Собираются на кончину мутные, самые короткие дни, и господствует вдали над городом рыжее электрическое небо. Страшны эти русские ночи, у того, кто их пережил, рука бы опустилась взять свою юность назад и повторить все еще раз. Только одно и утешает, что и южному жителю от чего-нибудь другого приходится так же, как и северному, что каждому, если только он мало-мальски на что-то похож, приходится хоть раз в жизни испытать то же самое, что испытывает настоящий путешественник в полярных льдах.

Алпатова это и поддерживало, что другого нет выхода, что так надо непременно. Только временами встает соблазн, какая-то угадка, что если бы...

Вот что значит это если бы не?

Если бы не... то встает перед ним какая-то сладостная и недозволенная высота. Если бы не... то свои собственные мысли взлетели на вулкане огненной страсти, а не ложились бы на спину где-то эти чужие формулы, как отпечатки шагов ступающего куда-то вперед человека. Вот бы хоть раз взлететь самому на всю свою высоту!

Бывает, смутно мелькает безумная радость, когда поднимаются снежные вихри, и потом наутро солнце встает над снегами, и через форточку пахнет как-то вместе морозом и солнцем. Может быть, это бывает оттого, что великое множество людей в горе своем жаловались морозу и солнцу, в радости, как людей приглашали на пир, и так у них там много накопилось всего человеческого, что достается и заключенному через форточку камеры. Раз в сумерках показалось Алпатову, будто кто-то остановился у окна и светит не последними остатками короткого зимнего дня, а сам от себя. Вспомнилось из раннего детства такое же: он был у Марьи Моревны. Голубой так же стал у окна, и Марья Моревна сказала: «Это, милый мой мальчик, день прибывает».

Больше двух недель после того стояла хмурая оттепель, и прибавка дня была незаметна. Утро в тюрьме всегда начиналось не светом, а хлопаньем замков и потом шар» каньем тувель уголовных, убирающих свои матрацы. Потом, когда это смолкало, раздавались одиночные выстрелы замков политических камер, и уже потом, долго спустя, за чаем

начинается рассвет. Но и шарканье туфель уголовных далеко до рассвета после глухой ночи бывало почти так же радостно, как настоящий рассвет. Пришел же наконец и такой день, что еще до шарканья туфель Алпатов открыл глаза и увидел: там, наверху, за железной решеткой, стоит Голубой.

Не одеваясь, бросился заключенный к окну, а там после первого света начались перемены. Над землей опрокинулось небесное море из малиновых волн. В тишине поднимались дымы, как столбы, и всем своим множеством поддерживали над слободой небольшое серое небо. Летела ворона. Не простая, казалось, ворона начинала торжественный день. Впрочем, она не была просто вороной, она летит клевать мертвую собаку. Но там две лисицы. Ворона делает круг и садится на дуб. Верно, что-то было такое и прошлый год, тоже после долгих пасмурных дней внезапно на свету ночные звери сходились с утренней птицей. Ворона знает порядки, тихо слетает с дуба на снег и начинает к лисицам подпрыгивать. Лисицы оглядываются на ворону и, поняв, что день начинается, бросают собаку и отправляются в лес.

Так новое утро с прибавкой света открыло Алпатову тайну движения собаки: лисицы спорили за нее, тащили каждая в свою сторону, и так, понемногу, собака двигалась в левую сторону, потому что одна лисица была сильнее другой.

Заключенный стоит и не слышит шарканья туфель уголовных, и после отдельные повороты ключа на той стороне у народников, и тут постепенное к нему приближение. Наконец Кузьмич открыл дверь и велит скоро и чисто вымыть камеру: сегодня на поверку с начальником придет доктор и ротмистр. Нельзя знать, зачем придут все начальники, но хуже не будет от них; вот тем и хорошо в тюрьме, что хуже нет ее ничего, и если что случится, то уж скорее в хорошую сторону. Конечно, думать о чем-нибудь хорошем все-таки очень опасно, но мыть камеру очень весело. Захлопали двери, вот подходят сюда ближе и ближе. Алпатов готовится. В тот раз, когда начальник сказал: «Руки по швам», — он опустил только правую руку, левую он оставил на столе, и если бы начальник велел ему и эту руку опустить, он бы не послушался. Начальник понял и не настаивал. С тех пор и установилась определенная поза, одна рука у кармана, другая на столе. Дверь открывается. На пороге начальник, ротмистр и доктор.

— Здоровы? — спрашивает доктор.

— Часто болит голова. :

— Стул?

— Ничего. Начальник сказал:

— Вам письмо. И подал. Жандарм спросил:

— Есть невеста?

Алпатов подготовлен к вопросу.

— Есть.

— Это вам от невесты.

Чуть-чуть не сорвалось «благодарю», но доктор велел:

— Покажите язык. Вынул книжку и записал. Выслушал. Ощупал живот. Все записал. Последние слова были:

— Вам дадут пузырек, пришлите мочу. И все двинулись дальше.

Теперь Алпатов опять совершенно один, но в письме «милый» и «ты». Ни одна девушка ему еще не говорила «милый» и «ты». Конечно, это какая-то неизвестная девушка разыгрывает роль тюремной невесты. Но пьеса прекрасна в тюрьме, особенно если из форточки пахнет морозом и солнцем.

«Милый мой, — пишет невеста, — я по пути к нашей маме, скоро заеду к тебе на свидание и потом передам ей все о тебе. А после Пасхи я непременно за границу. Очень надеюсь, что прямо после Пасхи тебя выпустят. Встретимся за границей и там мы будем жениться. Любящая тебя Инна Ростовцева».

С крыши льется капель. На дворе часовые поставили ружья к стене, и один подсаживает другого ставить скворечник. Откуда-то взялась старая согнутая старуха с бородкой, выпускает Фомку-журавля и, слышно, там говорит:

— Ну, погуляй, погуляй, Фомушка, теперь уж ты не замерзнешь.

Фомка вытягивает шею, смотрит вверх, и оттуда прямо на него падает золотая капель. Выпивает немного из лужицы, чистится, подбирается и начинает шагать.

Возле дуба явилась новая живая большая собака. К этому большому рыжему псу подскочила маленькая пестрая и лапкой ударила по носу. Большой не понял. Она еще раз, и побежала. Он все стоит. Она возвращается, становится на задние лапы, обвивает передними шею, тербит за ухо и бросается. Понял! Она от него. Он настигает. Она же вдруг обертывается и кусает его по-настоящему. Он обижается,лизывает рану, а она опять начинает играть, и опять он бежит и получает новую рану. Так весь день до вечера она заманивает, и он в дураках.

Зачем это так?

Теперь от раннего утра и до вечера Фомка с каким-то, планом шагает по двору, совершенно так же, как и Алпатов, вымеривая шагами длину места своего заключения. Кажется, будто и он получил весть от своих журавлей с таинственными словами, о которых, шагая по— двору, нужно

долго думать, чтобы понять.

Каждый день Алпатов вчитывается в письмо и непременно открывает в нем что-нибудь новое. Ведь не может этого быть, чтобы в письме невесты без всякого смысла были подчеркнуты два раза слова: после Пасхи.

На белой бумаге таинственные следы фиолетовыми чернилами, на белом снегу голубые следы различных зверюшек. Теперь все идет заодно. Стало против тюремного замка солнце. Плынут теплые облака, а мороз сверкает на снегу всеми своими звездами. Солнце склоняется вправо, и на этой же правой стороне всякого следа человека, собаки, лисицы ложится в левую сторону тень, и непременно голубая. А когда солнце село и скрылись следы на земле, голубые звезды на небе показались следами разных небесных зверюшек.

Есть ли там человек?

Таинственные фиолетовые слова на белой бумаге нашептали Алпатову, что везде человек, что мороз не старик, а молодой охотник, бродит днем по голубым следам на снегу, ночью по небесным следам. Луна — это Морозова Прекрасная Дама. Только молодой охотник, переходя с земных следов на небесные, перенес, наверно, свои земные страсти с собой: вдруг закрылась луна и все звезды. Не потому ли все и закрылось, что охотник посягнул на свою невесту: детей от Прекрасной Дамы иметь никому не дано.

Настал великий праздник весны света. Ранним утром все сошлось вместе. Солнце вставало в красном, мороз в белом, луна в бледно-зеленом, звезда без одежды: утренняя звезда была сама голубая. Когда солнце, разгораясь, скинуло свою первую красную рубашку, мороз спустился на деревья и густо покрыл их инеем. Подымаясь из-за деревьев, солнце скинуло вторую красную рубашку — дунул ветер, с деревьев стали слетать снежинки, как лепестки у отцветающих яблонь. И когда, наконец, солнце скинуло последнюю рубашку, весь мороз на деревьях обдался росой.

Тогда внезапно открылась дверь тюремной камеры, и Кузьмич сказал:
— Одевайтесь!

Алпатов прыгнул вниз, но и там не перестали чудеса весны света.

— Кузьмич, куда же это меня?

— На свидание, — ответил Кузьмич, — невеста приехала.

Знал ли Кузьмич, что невеста не настоящая? Едва ли он думал об этом: для заключенного каждая девушка будет невестой, дали бы только свидание.

Она вошла в дверь комнаты свиданий под густой вуалью и стала по ту сторону частой двойной решетки. Он вошел со стороны тюрьмы. Их

разделяла двойная железная решетка. Возле него у окна стал жандармский ротмистр, возле нее за решетками сел на подоконник начальник тюрьмы, вынул часы и сказал:

— Десять минут!

Жених и невеста молчат. Жандарму захотелось помочь:

— Пользуйтесь, всего десять минут. Начальник тюрьмы прибавил:

— Две минуты прошло.

Она делает шаг к решетке, другой шаг — и решается.

— У вас тут, я вижу, на дворе журавль ходит, это настоящий дикий журавль?

Сразу явились слова:

— Да, это просто журавль, меня вначале тоже это больше всего удивило.

— Почему же он не улетает?

— У него заживает крыло.

— А когда заживет — улетит?

— Непременно.

И все кончилось. Осохла земля. Долго молчали. Она повернулась к окну и сказала:

— Вон опять идет. Он ответил:

— Журавли — природные часовые, я сам видел в полях: часовые.

Начальник тюрьмы зевнул и сказал:

— Вам остается всего четыре минуты.

— Да, надо спешить, — решила девушка под густой вуалью. — Я тебе писала, что еду за границу учиться.

— Почему же не здесь?

— Потому что я с детства слышу, что настоящая жизнь на границей, а у нас только перенимают.

— Я тоже так слышу.

— Приезжай же и ты за границу.

— Как?

— Просто поезжай после Пасхи. Там не дороже учиться

— Я догадывался о после-Пасхи из письма — это верно

— Верно. Тебе будут предлагать на выбор разные города, но можно и за границу. Это можно.

Жандарм остановил:

— Прошу перестать говорить намеками. Начальник:

— Остается только одна минута.

Жених и невеста умолкли. Журавль подошел близко к окну.

— У него, наверно, есть какое-нибудь тюремное имя? — спросила она.

— Его зовут Фомкой, — ответил Алпатов. Начальник прекратил разговор:

— Свидание кончено.

— До свиданья!

Она подчеркнула зачем-то слогами:

— За гра-ни-цей.

Единым многоцветным кристаллом просверкал весь день.

Ночью что-то случилось, и в предрассветный час снегом залепило окно. А когда совсем рассвело, то все стало понятно: весна света кончалась.

Снег матовый, лес шоколадный. Алпатов совсем забыл о своем путешествии к Полюсу и разгадывает тайный смысл долетавших на свидании музыкальных слов.

В другую ночь небо опять не открылось. Земля спала под теплым одеялом и надыхала. Утром прилетела синица на тюремное дерево, села возле скворечника и запела весенним голосом: «За границей, почему за границей, а не у нас?» Сдался мороз. Опустились синие тучи. Пошел мелкий дождь, и на окнах тюрьмы показались первые серые слезы весны.

«Почему, — думает Алпатов, — мы должны видеться далеко, за границей, а не встретиться здесь и потом поехать вместе?»

К вечеру небо открылось, и серые слезы весны на тюремном окне стали кристаллами. Закат был раскидисто красный, и когда солнце село, то вырвался вверх красный столб в виде угрожающего перста: «Погодите, вот я вам дам!»

В эту ночь перед сном Алпатову вдруг стало стыдно себя самого. Стало ему на душе, как бывает, когда замерзнет сверху вода, а снизу сбежит, между льдом и водой останется пустое место: внизу бурлит холодная черная вода, вверху на пустоте висит лед-тощак.

На одно мгновение во сне показалась девушка за решетками под густой вуалью и стала вдруг где-то далеко за границей. Он едет за ней, конечно, в Италию, и ему говорят: «Русская девушка остановилась в электрической вилле с померанцевыми деревьями». На улице везде суета, нет никому никакого дела, все встревоженно шепчут: «Начнется в воскресенье в Германии». Он очень смешон тут со своими расспросами о русской девушке и электрической вилле. И там, на вилле, он получает строгий ответ: «Она, конечно, в Германии». Он садится в экспресс, мчитя в Германию и выходит на улицу большого города как раз в воскресенье. Раздаются ужасные взрывы, рушатся дома, но рабочие все идут, идут по развалинам, а там новые, новые взрывы. Почему же Алпатов, ожидавший,

как великого счастья, мировой катастрофы, теперь испугался и прячется за камнями? Новые страшные взрывы, и среди камней мировой катастрофы показывается Бебель. Алпатов хочет спрятаться от него, но Бебель заметил и спрашивает по-немецки: «Кажется, это вы, Алпатов, переводили мою книгу о всемирной катастрофе и женщине будущего, почему же теперь вы прячетесь?» Тогда Алпатов, как на экзамене перед учителями, хочет сказать, что не знал. «А разве это уже мировая катастрофа?» — «Нет, — отвечает Бебель, — это еще не сама катастрофа, это первый расстрел голубых васильков». Алпатов встает, он непременно хочет умереть с васильками. Но Бебель грустно по-немецки, покачивая головой, отвечает: «Поздно, их уже расстреляли».

Алпатов проснулся с ужасной тоской: как будто кто-то железными ногами ломал лед-тощак и текущую под ним живую воду мешал с болотной грязью.

Новая заря открылась тоже красной рукой, из этого родился настоящий небесный пожар, солнце вставало в пышных одеждах, и когда разделось и засверкало, мороз, как в самые лютые зимние дни, встал возле него двумя стражами. Немного упало в этот день с крыши золотых капель, и к вечеру становилось все строже и строже, а закат был в красных мечях. Всю ночь среди путешествующих звезд метался обрывок луны, не зная, куда бы ему только спрятаться. Алпатов лежал без сна, не расставаясь со своим сновидением. Он узнал, как это часто бывает, в своем сновидении музыкальную сказку, сделанную из его собственной жизни. Бебель наяву переделался в Ефима Несговорова, с которым Алпатов когда-то вместе обещался начать мировую катастрофу. И вот теперь Алпатов больше уже не считает шагами меридиан в славной борьбе с тюрьмой. Стало так больно в душе, что Алпатов захотел заменить эту боль обыкновенной легкой физической болью и сильно, чтобы до крови было, ударил кулаком в каменную стену. Ему сейчас же ответили. Он вспоминает далекую радостную учебу в подпольном кружке, когда Ефим Несговоров учил его азбуке тюремного телеграфа, берет маленький гвоздик, чертит на стене квадратик, вписывает в него рядами буквы и, переведя на счет, выстукивает:

— Кто там? Ему отвечают:

— Ефим Несговоров.

Тогда сразу вернулось все прежнее, как будто тюрьмы вовсе и не было. Ефим спрашивает:

— Ты не сознался? Алпатов выстукал:

— Нет, никогда.

Это малое в словах и великое в силе друзья стучали всю ночь. Алпатов утра не видит. Днем ходит по-прежнему или сидит и дремлет у столика. Вечером ждет тишины, когда все улягутся. Всю ночь стучит, и кажется ему, он снова поднимается на высокую гору, похожую на северные ребра в свете незаходящего солнца. Там нет таинственной тьмы и обманчивой весны с загадками, там лунная земля, закрыт доступ женщине настоящего, все в будущем, и товарищи просто говорят друг другу «да-да» или «нет-нет».

Новый день. Алпатов дремлет у столика, не зная, что делается там, за окном. И ночью опять идет на свою правдивую гору. К утру оба осудили книгу Бернштейна как буржуазный уклон социал-демократии. Настал день, они все стучали, стараясь передать друг другу мысль о вреде философии. Но кто-то ходил по залу, заметил.

Ночью стукнул Алпатов. Ему не ответили. Долго, сильно стучал. Пробовал днем. Все кончилось.

ФОМКА

За те дни, когда друзья, впиваясь в непроницаемую стену глазами, стучали друг другу, великие события совершались на воле. Наконец-то силы весны догадались, что солнце им изменяет и тайно служит морозу. Взяв в подозрение солнце, силы весны с утра обступили его и закрыли. Тогда сразу стало тепло, снег раскис, забушевали потоки. А птицы, давно уже летевшие с юга, на границе снегов ожидавшие движения потоков, при первых вестниках в какой-нибудь час поднялись всей массой и полетели на север. В ожидании журавлей Фомка стал непрерывно кричать на тюремном дворе. Этот крик через форточку услышал

Алпатов, поднялся к окну и увидел, что весна воды началась теперь безобманно.

Тогда вместо радости боль с новой силой подступила к нему, он зажмурил глаза и соскочил на пол. Нет, лучше он уж не будет смотреть в окно, а пойдет опять к Полюсу, отсчитывая шаги и записывая числа на стене. Но необходимая сказочка всех таких путешествий в этот раз совсем не развертывалась, после десятка шагов Алпатов забывал считать, ловил себя, возвращался к счету, опять забывал, и все его путешествие стало очень похоже на блуждание в темном лесу, когда непременно почему-то всякий возвращается к исходным каким-то роковым трем соснам.

Бывает, что так и пропадает человек в своем заколдованном кругу, но

больше все-таки выбирается.

Что же спасает его?

Не расчет, не одумка спасают в лесу человека. Чаще всего свои же жизненные силы начинают работать в последний момент отдельно от помраченного разума. Бывает, вдруг сам глаз остановится на клочке приставшего к кусту сена, разум присоединяется к глазу и выводит из порочного круга. Является так простая догадка, что если клочок сена пристал с одной стороны куста, значит, воз сена, терявший эти клочки, ехал в другую, и в той стороне должна быть деревня.

Алпатов до того уж запутался в своем путешествии, что начал дергаться, взмахивать руками, вскрикивать, с испугом оглядываться, не подсмотрел бы кто-нибудь, как он сходит с ума, опять вскрикивать и мелко дрожать от нарастающей злобы. Но совершенно так же, как в лесу глаз отдельно кинулся к клочку сена, так и тут животные силы принудили его постучать в дверь. В этих особенных случаях разрешалось стучаться. Надзиратель слышит стук, но не сразу открывает камеру. Ему надо пройтись по залу и справиться, не выпущен ли в отхожее место еще какой-нибудь заключенный.

Случилось, что старик, когда постучался Алпатов, забыл справиться и прямо после стука выпустил. Когда же Алпатов вошел в отхожее место, там на двух крайних местах сидели два человека, закованные в цепи. Омерзительно было сесть между ними, но Алпатов преодолел это в себе и опустил между двумя разбойниками. Левый разбойник в упор разглядывал юношу. Правый глядел вверх и что-то выслушивал из открытой форточки.

— Бумажка есть? — спросил левый.

Алпатов оторвал кусочек и подал. Разбойник свернул сигарки и одну подал Алпатову. Закурили. Правый разбойник сказал:

— Утки свистят и кулики, скоро пойдет и журавль. Алпатов страшно обрадовался, что разбойники обыкновенные люди и даже интересуются птицами. Он сказал:

— Весна задержалась, птицы сразу все полетят. Фомка очень беспокоится.

— Улетит, — сказал левый разбойник. — Ему забыли крылья подрезать; если не вспомнят, улетит непременно.

Правый разбойник присоединился:

— Стена высока, если плохо разбежится, хватит о стену и кувырком.

— Он не дурак, — сказал левый, — места хватит ему разбежаться, вот как полетят журавли, так и подыметя.

— Неужели догонит? — спросил Алпатов.

— Подождут. У них, брат, дружно: услышат, заметят, закружатся и подождут.

И вдруг в это время явственно послышалось курлыканье журавлей.

Разбойники вскочили.

— Лезь по мне, — велел Алпатову левый. Правый подсадил.

Алпатов стал на плечо левому разбойнику и оттуда сказал:

— Низко летят. Спросили снизу:

— А это Фомка кричит?

— Кричит Фомка. Бежит. Машет крыльями. Подымается...

Тут сильная рука сбросила Алпатова вниз. Четыре молодых надзирателя стояли с наганами, вынутыми из чехлов. Но в присутствии разбойников Алпатов сделался смелым и дерзким. Он закричал надзирателям:

— Как вы смеете, негодяи, драться, вот погодите, я пожалуюсь Анацевичу.

Вышел в зал и дальше к своей камере. Кузьмич стоял у него на окне. Весело подмигнув Алпатову, старик прошептал на ходу:

— Фомка-то улетел!

— Слава богу, — ответил Алпатов. И бросился к окну.

Далеко мелким бисером, расстроив свой деловой треугольник, кружились на месте журавли, присоединяя нового товарища, и какой из них Фомка, было невозможно понять.

У раскрытых ворот тюремного замка стояли оба часовых и тоже глядели, как будто счастливые.

Как только журавли скрылись из глаз, сразу почему-то легко явился ответ, который раньше столько дней не поддавался решению. То было еще весной света, она сказала, разделяя слога: «за гра-ни-цей». Вопрос был: почему они должны увидеться за границей, а не здесь? Весна света прошла, теперь бушевала вода. И, верно, потому, что на расстоянии стало видней, ответ теперь явился такой ясный: «Тебя выпустят после Пасхи, она же раньше уедет, и ты ее догоняй».

НА ВОЛЮ

С полей вода хлынула сразу, реки пошли, началось наводнение, дуб затопило до самой кроны и выше. Проходящие льды много унесли

неподатливых дубовых ветвей. Но одну льдину дуб удержал, и она осталась висеть на дубовых ветвях, как на могучих руках.

Много лет много льдин проходило, а вот случилось, самая большая, небывалая вода захватила ветви высокого дуба, и льдина повисла. Крепко будет держать ее дуб: ведь такое в жизни случается раз. Будет изнывать в лучах солнца холодная льдина, а когда начнется движение сока в дубу, в самое желанное время она вдруг скользнет в реку и станет просто водой.

С утра до вечера теперь смотрит Алпатов, как изнывает льдина на солнце, как многие золотые капли падают прямо на землю, но все множество их стекает с малых ветвей на большие, с больших потоком бегут кругом по стволу и льются на землю. Весь огромный ствол дуба золотым солнечным днем сверкает, как серебро.

Началась не слышная в тюрьме песня воды.

Но у Алпатова в душе еще от весны света осталась своя музыка. Ничего, что лицо ее было закрыто темной вуалью, что явилась она за двумя железными решетками. Он слышал голос, и навсегда будет помнить, как под эту музыку танцевали в лучах солнца многоцветные летающие кристаллы мороза.

Странно было думать, что если встретиться с ней на улице, то не узнать лица. Но музыкальная мелодия чудесней лица.

Где-то в большом городе осенью в холодном тумане многие люди, как рыбы, плывут. У всех серые лица и рыбы глаза. Но вот в этой мутной, неразличимой толпе где-то рожок проиграл, и кажется, это сестра вызывает на помощь из мертвой толпы своего родного, милого брата. А разве, если тот голос позовет его в мутной воде, разве он не узнает, и не все ли равно, какое будет лицо, ему только голос и нужен. Лицо само делается таким, как велит голос. Он узнает лицо непременно по голосу.

Что за счастье, казалось вначале, отсчитывать проходящие дни до после-Пасхи. Но скоро стало, что лучше бы не знать, когда выпустят. Если не знать, то время, набегая из неизвестного будущего, очень скоро переползает через сегодня и пропадает. Но если ждать впереди намеченный день, то время начинает ползти от того самого желанного дня через каждый день, как через сегодня, чем ближе, тем труднее. Конца бы и не было ожиданию и человек бы остановился в своем уме, если бы там где-то, за форточкой, ничего не случилось и не помогало забыть о себе.

Желтые цветы показали.

Сверкающая льдина скользнула по дубу и скрылась в реке.

Прошел жаркий день, позеленели березки, а дуб все стоял и не понимал, что такое случилось, как быть ему негодному среди весны

зеленых покровов и всяких цветов. После великих дней, проходящих, как девушки в хороводе, вдруг похолодело, замерло, перестали пахнуть цветы. Это значило, что наконец-то старый дуб стал в себя приходить и зеленеть. Недолго было прохладно... Теплой ночью даже в тюрьму через форточку ветер нагнал аромат, смолистый аромат березы и тополя. В полночь грянул звон.

В день Пасхи утром к овсянке прибавили коровьего масла, в обед дали щи с мясом и уголовным разрешили весь день звонить в церкви. А на другой день подкрался неслышными шагами ужасный вопрос: что это значит после-Пасхи? Первый день прошел, а второй не значит ли уже после-Пасхи? Нет, надо пропустить всю пасхальную неделю. Прошла и неделя, как обратному путешественнику, все растерявшему, прошел весь ледяной океан до лунеющего мыса какой-то земли. Но лунеющий мыс желанной земли бывает началом огромной пустыни, на которой не растет даже мох. Так и время после-Пасхи не имело предела. Все потерялось в новой безбрежности, но время без перегородок стало опять пробегать, как поток.

И это утро пришло обыкновенно, с шарканьем туфель и с глиняным горшком горячей воды. Алпатов насыпал в горшок щепотку чая. Дождлся настоя, сел за столик. И в этот неурочный час вдруг дверь открывается, и помощник начальника велит:

— Соберите свои вещи.

Алпатов велел себе думать: куда-то переводят, в другую тюрьму или крепость.

Он завязывает все в одеяло большим узлом, одевается, взваливает узел на плечи, выходит в зал.

— На волю! — сказали, увидев его с узлом, два подметавших пол уголовных.

И дальше, в другой кучке работавших арестантов, сказали тоже:

— На волю!

И на верхней площадке лестницы, и на средней, внизу и везде, где только ни встречались люди, слышалось:

— На волю!

Ни зависти, как при счастливых выигрышах и всяких удачах, ни обманчивого восторга толпы при шествии триумфатора не было в этих словах; тут было самое лучшее, чего может желать человек: теплое, радостное сочувствие. Это пленило Алпатова и заставило бросить сомнения.

В конторе жандармский ротмистр с большими рыжими прокуренными

усаами спокойно готовит бумагу, что-то читает Алпатову, велит выбрать ему город на три года, любой, кроме столичных и университетских.

— Я хотел бы учиться, — ответил Алпатов. Жандарм улыбнулся. И Алпатов в этой улыбке понял, что мундир и аксельбанты жандарма висели как бы не на теле, а на вешалке, что человек этот служит и делает не сам, ему все это велят, а сам он многосемейный и очень добрый.

— А если поехать за границу, — спросил Алпатов, — это можно?

Добрый человек ответил:

— Можно-то можно, да трудно будет возвращаться.

— Ничего, — сказал Алпатов, — вернусь как-нибудь.

— Конечно, вернетесь, — ответил добрый человек. И протянул ему лист.

Алпатов подписал: «Обязуюсь выехать через неделю за границу».

После того к другому столу позвал его начальник тюрьмы, тот самый, кто кричал ему: «Руки по швам». И начальник тоже преобразился, как и жандарм; это не был признанный всеми политическими изувер, а честнейший служака, какие выходят только из латышей. Вот он даже теперь, когда Алпатову уже только бы поскорее уйти из тюрьмы, все-таки в строгом порядке разложил на столе все отобранные у него вещи, берет опись их, дает копию Алпатову. Добрый человек читает:

— Четыре сорочки есть?

— Есть, — радостно отвечает Алпатов.

— Где же вы их видите?

Видеть их Алпатов не может, они лежат на стуле за столом. Добрый человек, исполняя закон, строго приказывает:

— Прошу относиться к делу серьезно.

— Портсигар с шестью папиросами есть?

Алпатов открывает портсигар, и в нем действительно сохранилось шесть папирос.

Догадка его подтверждается: начальник не изувер, а честнейший служака. Вот бы хорошо теперь на радостях и закурить, вот и коробок спичек лежит, да не дошло до него.

— Коробок спичек есть?

— Есть.

Алпатов закурил папиросу, и от этого сразу голова у него закружилась. Он говорил только есть, и начальник больше не придирился.

— Вы свободны.

Тюк получился очень большой. Папироса кружит голову, ароматный даже на тюремном дворе воздух пьянит.

Качаясь, с огромным узлом на плече, подходит Алпатов к калитке, и часовой его выпускает.

Освобожденный после года одиночного заключения не знает, что первые дни свободы — опасные дни. Не думает, какое это жестокое дело выбросить заключенного сразу без подготовки, без помощи на свободу с узлом. Даже выпущенная из клетки птица не может лететь и садится одуматься на ближайшее дерево. Но не о жестокости людей думает теперь Алпатов, а, встречая их на дороге, перед каждым замирает от удивления: какие все люди внутри себя прекрасные. Поражает его, что они все такие скромные и до того преданные какому-то делу, что совсем даже и забыли о себе и не знают своего истинного величия. Вокруг лица каждого встречного человека он видит незримый для всех нимб, как у святых на иконах.

Этим же внутренним взглядом он посмотрел и на дуб, с которым весь этот год жил, беседуя с ним через форточку своей камеры. Но что он видел через форточку, было только слабым отблеском действительного великолепия и славы земной.

Эти зеленые граждане на тонких черенках в отдельности едва были различимы в окошке тюрьмы, теперь же все они были видны до мельчайших подробностей и все ликовали и манили к себе. Подчиняясь их ласковой воле, Алпатов хотел было свернуть немного с дороги и подняться к ним, но голова его закружилась, и он понял, что туда он не дойдет. Та березовая роща, откуда выходили к дубу лисицы, была на пути к вокзалу, и когда Алпатов вошел в эту светящуюся, ароматную рощу, то сразу же выбрал тут из всех чудес музыку, исходившую от какой-то знакомой, но забытой птицы.

Придерживаясь за стволы частых берез, чтобы не упасть, Алпатов тихо движется, слушая песню, и выходит на поляну с высокой елью. Дальше он не может идти, да и незачем: управляющий всем большим музыкальным птичьим участком леса, певчий дрозд сидит на самой верхней, последней, поднятой, как указательный палец, еловой ветке и поет свою милую, очень знакомую Алпатову песню. Тут, на краю поляны, под березой, освобожденный человек садится отдохнуть. Только одно слово в песне дрозда узнается, как человеческое: «люби», но голоса других маленьких птиц понятны только в связи с этим главным словом управляющего музыкальным участком леса. Человек начинает искать себе свое слово, чтобы тоже присоединиться ко всей славе земли.

ЗВЕНО ШЕСТОЕ ЗЕЛЕНАЯ ДВЕРЬ

НАЧАЛО ДОБРА И ЗЛА

Друг мой, только теперь, когда умерли почти все родные и половина друзей, я начинаю немного понимать наше старое время. Для меня теперь интерес к новому состоит главным образом в том, чтобы иными, углубленными, глазами смотреть в прошлое, иногда очень отдаленное: читаю Эсхила, и вот даже Эсхил не совсем тот самый, за эти трудные годы что-то и к немуросло.

Особенно это заметно по молодежи, когда сравниваешь, какие стали они и какими были мы с вами. Мой сынишка по всем признакам должен бы выйти таким же застенчивым, как и я в его возрасте, между тем новое время, кажется, совершенно уничтожило в нем этот мучительный недостаток. В его классе всего только трое юношей и сорок девушек. Эти сорок единогласно выбрали его старостой, и он стал общественным мальчиком. Обязанности старосты: вести заседания, наблюдать порядок в классе, быть представителем в школьном совете и множество всего другого. Я спросил его:

— Как же ты управляешься?

— Отлично управляюсь, — ответил он, — ведь если бы мальчики были, то, конечно, едва ли бы я легко справился, а девочек я всегда поверну, как мне хочется.

— Но ты их не стесняешься иногда, знаешь, все-таки девушки...

— Какой ты, папа, чудак, если бы одна была, с глазу на глаз, то, может быть, я бы и постеснялся, а то ведь сорок их под моим началом. Потом они сорок-то! — если бы захотели, могли бы, конечно, выбрать себе своего женского старосту, а вот меня выбрали, значит, они хотят кого-то слушаться, и я их веду.

Так все просто! А мы, бывало, всего один раз в год допускались в женскую гимназию, и не по делу, а только на бал. Дожидаешься там заветного танца, когда дамы сами приглашают себе кавалеров. С трепетом глядишь, как из большой и неопределенной толпы гимназисток выходит одна, приближается и прикалывает к мундирчику красный бант, — это

значило: я избран, и она будет единственная у меня на целый год до следующего бала в женской гимназии.

До сих пор от этих балов осталось что-то похожее на волнующий запах весенних тонко-ароматных цветов. Она раз приколола мне бантик, я танцевал с ней длинный котильон и за все время не сказал ни одного слова. Больше ничего и не было, а значение было безмерное, одно только имя ее, произнесенное вслух, заставляло меня вспыхивать, а когда начинали прямо дразнить, я дрался и часто побеждал сильнейших противников. Притом я хорошо помню, что в то время застенчивость моя была вовсе не от каких-нибудь тайных пороков, я был даже несколько неестественно чист и дрался за свою даму, как рыцарь.

Все это было тогда очень мучительно, слабые погибали в пороках, сильным открывался слишком рискованный путь. И теперь, признаюсь, я с удовольствием думаю, что у моего мальчугана не одна недоступная, а сорок обыкновенных. Правда, присоединив потом к тонкому чувству жизни упорную силу труда, для себя я добился какого-то счастья, были даже восторги, но почему-то не хотелось бы помолодеть и начинать все с начала, а тем более еще желать сыну путь, на котором лишь редкий не свернет себе шею. Да, будь у меня сорок, я, наверно, и не пытался бы изобразить эту любовную историю Алпатова, столь не соответствующую нашему времени.

Но, мой друг, совершенно так же, как я, отец, говорю теперь о своем сыне, так же говорили о нас отцы, когда мы были только сынами. Ведь это дочка шепчется с матерью о своих тайнах, а сыновья редко открываются отцам, и это так хорошо: в этом мужском стыде заложена красота и сила действия на больших кругах. Очень, очень возможно, что и мой сынишка только маскируется своими сорока девушками, опасаясь, как бы не заметил я в нем чего-нибудь особенного и не поднял бы на смех его сокровенные чувства.

Старый друг, вспомните то наше время, когда все хорошее называлось прогрессивным и местом происхождения такого добра считалась Европа. В то время — помните? — слова «европейский прогресс» повторялись у нас так же часто, как теперь «закат Европы». Тогда еще жили святые писатели, предметом любви которых был наш темный мужик. И я еще застал деревенских учителей с филологического факультета и совершенно бескорыстных врачей, иногда отличных хирургов, достойных университетских клиник. Вспоминаю, когда, бывало, сделаешь что-нибудь неладное, наша добрая бестужевка выпалит:

— Какой эгоизм!

И чувствуешь себя совсем уязвленным.

Другое слово у нее было «альтруизм», — когда она это скажет, является предчувствие высокого подвига.

И так через эту бестужевку мы узнавали, что начало добра есть альтруизм и начало зла — эгоизм.

Помнятся ее удивительные рассказы о европейских дорогах — аллеях с фруктовыми деревьями, по которым люди идут и не трогают спелых плодов. От этих рассказов нам грезилось иногда там, где-то в ином прекрасном европейском мире, чудесные аллеи с грушами, яблоками, сливами, неприкосновенными для злых людей. Тем более сладки были эти сны, что у нас в деревенской действительности никакому отдельному хозяину нельзя было посадить огурцов: кто посадил — нарасхват; в полях некоторые сеяли горох и непременно с молитвой, чтобы уродился и на воровскую долю; не помогала молитва: весь горох доставался ворам.

Ужасно скучно, казалось бы, детям читать Глеба Успенского, но мы читали его, как набожные люди читают Священное писание, — с благоговением. Особенно загадочным казался рассказ о Венере Милосской, как она выпрямила душу страдающего человека.

— Милая, — спрашивали мы с братом, — объясни нам это чудо, что значит: выпрямила душу?

И бестужевка отвечала:

— Спасла человека.

Раздумывая теперь об этом, я прихожу к тому, что слова падают ребенку от взрослых, как на землю семена с высоких растений, и начинают прорасти непременно тайнами. И это, конечно, была у нас одна из самых значительных тайн, — что Венера Милосская спасла человека. Помню, через много лет потом, в Лувре как-то нечаянно с левого глаза увидел я настоящую Венеру Милосскую и признаюсь, безрукая каменная женщина, после сообщенной мне в детстве тайны и множества виденных фотографий, в оригинале не была мне большой новостью, сладость ее выпита была мною уже раньше, в детстве и потом в юности, в тысячах зеркальных отражений ее в музыке и поэзии. Мне приходила в голову даже одна дерзкая мысль, о которой я не хочу сейчас говорить, потому что мой современник Алпатов ею больше страдал и в его поступках она будет лучше видна. Не удержусь, однако, и намекну вам: Венера в Лувре в сравнении с той, моей детской, живой Венерой показалась немножечко идиолом...

Еще привозили нам в детстве фотографии отца с сыновьями, страшно напрягающих мускулы в борьбе с обвивающими их тела змеями, и много слышали мы рассказов о Колизее, травле христиан дикими зверями, об

умирающем гладиаторе. Но не так удивительны были все эти чудеса святой земли Европы, как обыкновенные рассказы о жизни современной, что будто бы там самый обыкновенный извозчик в ожидании седока читает газету и курит сигару.

Дивлюсь я живучести и сладости этих своих воспоминаний о читающем извозчике. А мать моя, женщина шестидесятих годов, пела куплеты о каком-то необыкновенном обеде:

Какой обед нам подавали! Каким вином нас угощали!

Помню, что в этих куплетах самыми изысканными блюдами обеда назывались: «И сосиски и компот», — и в то же время сама же мать моя, распевая об этом старом, в восьмидесятих годах ела сосиски и компот как самые заурядные блюда. Совершенно так же теперь, постоянно видя на улицах Москвы извозчиков, читающих и «Рабочую Москву», и в особенности «Бедноту», дивлюсь тому из своего мира немецкому извозчику, читающему «Форвертс»: то были какие-то волшебные извозчики для меня, как для матери моей волшебными казались первые, очевидно в шестидесятих годах получившие у нас распространение, европейские сосиски и компот.

Так, видно, друг мой, пережитое всегда нам является немного с компотом, если мы смотрим только в себя; но стоит вникнуть через своих же ребятишек в настоящее, как является потребность рассказывать о прошлом для понимания настоящего, и оказывается, все прошлое живет в настоящем и через настоящее приобретает какое-то особенное, совершенно иное значение. Будем же, старый друг, скупы на лирику и спрячем ее поглубже в поступки нашего героя Алпатова, чтобы и наш молодой друг мог принять участие в нашей интимной беседе.

Алпатов пересел в иностранный вагон в Вержболове и мчится в ту самую страну грамотных извозчиков, дорог с фруктовыми деревьями и всего светлого, что выражалось в слове «прогресс». Через дым паровоза в наступающих сумерках можно было едва-едва рассмотреть довольно скучные прусские возделанные земли, но Алпатов все глядел туда страстно, как будто пытался через дым и сумерки узнать там где-то спасающую человека Венеру Милосскую. Пусть там пока и нет ничего, но все равно завтра же все непременно покажется, и от этого душа Алпатова переполняется, и хочется ему об этом сказать кому-то, перелить другому избыток своей радости. Он готовится писать своему другу Ефиму Несговорову, и ему просят на язык первые слова:

«Дорогой Ефим, приезжай и ты...»

А дальше, как обыкновенно бывает, когда не пишут, а обдумывают

письмо, обязательство выражения в литературной форме распадается, и чувства непосредственно обращаются к другому лицу. Ни солнце родины, ни детские игры, ни мать, ни сестры, ни братья не приходили на память при этой разлуке, был в прошлом только Ефим Несговоров, единственный по-настоящему близкий ему человек во всем мире. Было что-то крепко решенное вместе и навсегда в этом союзе, похожем на брак, и только через это единственное Алпатов определялся в огромном беспорядочном мире. То было как слепому бы открыли глаза, когда мир предстал разделенным на классы, в которых последний через мировую катастрофу должен сделаться первым, и тоже стало понятно, что господствующий класс находится во власти безумно расточительной женщины и что сила рабочего класса в таком же целомудренном союзе, как вышло у него с Ефимом.

Казалось, ничуть не мешая решенному вместе с Ефимом делу, присоединялась теперь радость увидеть завтра же своими глазами ту самую Европу, где была и Венера Милосская, и грамотные извозчики, и волшебные аллеи фруктовых деревьев на проезжих дорогах. Но вот удивительно было, что, когда Алпатов сел на диван и, желая написать Ефиму именно об этой новой радости, стал пробовать передать свои новые чувства словами на бумаге, все было неопределенно и в отношении к Ефиму почти глупо и сентиментально.

— Вы, наверно, русский студент? — спросила его сидящая напротив белокурая барышня.

Алпатов очень обрадовался выходу из трудного положения и оставил писание. Он поспешил назвать свою фамилию, и барышня ответила ему:

— Нина Беляева.

Алпатов стал разговаривать с ней, как с родной сестрой: ведь у него в душе была его тюремная невеста Инна Ростовцева, и такой был Алпатов, что если место занято, то все другие девушки через это становятся как бы сестрами. Алпатов много рассказывал Нине Беляевой, как было ему в одиночке, и как он обрадовался жизни, когда его выпустили, и что теперь он чувствует приближение чего-то великого в его жизни.

— Хоть вы и много испытали, — говорила она, — все-таки смотрите на жизнь через розовые очки.

— А если вы через дымчатые, — ответил Алпатов, — то зачем же вы едете учиться за границу?

— Есть возможность, и еду: надо же куда-нибудь деваться. За границей интересней.

— Значит, есть для вас интересное, и вы признаете прогресс и радуетесь достижениям?

— Не особенно радуюсь, идеал все равно недостижим.

— Почему? Я достигаю свое и, когда достигну, буду радоваться, а после меня будет другой, и в конце концов так хорошо достигать. Мне кажется, если сильно захотеть чего-нибудь, то всегда и достигнешь, — идеал достижим.

И Алпатов стал рассказывать, как, спасая свое здоровье в тюрьме, он отправился в будто-путешествие к Северному полюсу, целый год, отсчитывая метры, ходил из угла в угол и вышел из тюрьмы невредим: значит, достиг Полюса.

— Так делают все мужчины и забываются в каком-нибудь деле, но я не могу себя забыть: женщина живет только в мелочах, и в этом не может забыться: идеал недостижим.

— Как это, наверно, трудно, — сказал Алпатов сочувственно, — всегда только я и больше ничего, весь мир вокруг я — это болезнь.

Уязвленная Нина стала рассказывать о своем печальном детстве, о братьях-эгоистах, о ссорах с матерью: она всегда оставалась одна, и никто не хотел этого знать, и потому она всегда думает о себе. Только одна у нее была близкая подруга, и то с ней разошлись после Смольного.

— Так вы в Смольном учились, — восторженно воскликнул Алпатов, — а как звали вашу подругу?

— Вы не можете ее знать, — ответила Нина, — я чувствую, вы из какого-то совсем другого нам мира, но хорошего, лучшего, чем наш. Мне с вами удивительно легко говорить, такой откровенной я еще ни с кем не была, и никто не слушал так внимательно и сочувственно: у вас глаза, как у святого. Вы это, наверно, нажили себе в тюрьме?

Алпатов смутился и очень покраснел. Может быть, он немного догадывался о происхождении своей «святости»: он думал об Инне, и какой-то хороший остаток от этого оставался и Нине. Но это было вовсе не потому, что он, как святой, любил всех людей, и безразлично, мужчин и женщин.

Устроившись под пледом, Нина сказала Алпатову:

— Вот удивительно как-то засыпать на людях, не хочется и голову прятать под одеяло, а дома в своей комнате, одна, я непременно сплю с головой: чего-то страшно. Вы верите в бога?

— Ну, вот еще, — ответил Алпатов, — я это потерял в четвертом классе гимназии и не жалею. Я не понимаю, как это можно верить и тут же не делать. По-моему, люди выдумали бога, чтобы увернуться от обязанностей к человеку. Неужели вы все еще верите?

— Не знаю. Сейчас, и вообще на людях, не очень верю, скорее мне все

равно, а когда ложусь спать и закрываюсь одеялом, мне кажется, будто на том свете мы непременно опять все встретимся. Это бывает с вами?

— Бывает, но из этого ничего не следует, мало ли что . может быть, если спрятать от страшного свою голову под одеяло.

Нина весело засмеялась, и последние слова ее перед сном были:

— А на людях я всем кажусь веселой, и меня в институте, знаете, как дразнили?

— Как я могу это знать?

— Меня дразнили Чижиком.

После этого они замолчали, и каждый думал о своем. Алпатов о предстоящей встрече с Ростовцевой, Нина о необыкновенных глазах Алпатова, похожих на глаза доброго зверя, когда он догадывается о значении слов человека. Может быть, эта худенькая белокурая девушка, засыпая, позволила себе слишком подумать об этих глазах. Так очень часто бывает, что после дружеского разговора во сне прибавится что-то свое, и потом уже при встрече не бывает прежней свободы. Во сне Нину окружили разные разъяренные звери, и ей бы очень плохо пришлось от них, если бы вдруг не явился огромный медведь со святыми глазами, не расшвырял все зверье и не провел Нину в Смольный, в дортуар к ее самой близкой подруге — Инне Ростовцевой.

Алпатов в это время видел за границу как огромный парк с фонтанами, и там среди статуй прекрасных женщин была вырублена из финского порфира каменная баба, в которой была скрыта Инна Ростовцева. Она слышит его приближение, и голос ее из глубины порфира звучит как музыка и наполняет весь парк голосами. Она просит его разбить камень, и он берет молот...

А Нина видит, будто медведь ушел, и она ложится рядом с койкой Инны. Та, конечно, только притворяется, будто спит: они перед этим сильно поссорились. Нина тоже притворяется, но нечаянно глаза их встречаются, и вдруг огромное доброе медвежье чувство охватывает Нину, в то же самое время это же происходит и с Инной; обе девушки выскакивают из-под одеял и бросаются друг к другу в крепкие объятия...

Когда утром Нина открыла глаза и увидела, что Алпатов сидит против нее и смотрит на нее точно такими же, как ей снилось, глазами, она вспыхнула, и Алпатов этого не мог не заметить. Он один только раз в тюрьме через двойную решетку видел Инну Ростовцеву, и то под густой зеленой вуалью, и все-таки чувствовал себя до того связанным с тюремной невестой, что приближение другой, какой-то Нины Беляевой, было ему неприятно и как бы отталкивало. Он решил, что эта барышня должна ему в

чем-то мешать, и задумал на вокзале от нее улизнуть. Если бы только он знал, что его таинственная Инна была самая близкая девушка Нине Беляевой! Молодым людям стало даже как будто неловко сидеть друг против друга. Но это продолжалось недолго: поезд подходил к берлинскому большому Центральному вокзалу, все русские ужасно засуетились, и расставание молодых людей вышло естественным. Алпатов сказал:

— Конечно, мы встретимся в университете на лекциях.

ИСТОРИЧЕСКИЙ МАРШ

В Берлине уже давно была круговая железная дорога, но внутри этого круга, по улицам и переулкам, граждане перемещались в конках и более богатые на извозчиках: лошадей на улицах было тогда в Берлине, пожалуй, побольше, чем сколько до сих пор еще их сохранилось у нас в Москве. Возле Фридрихштрассе стоял именно такой волшебный извозчик, о котором нам в детстве рассказывали: извозчик читал социал-демократическую газету «Форвертс» и попыхивал дешевой фурманской [От немецкого Fuhrmann извозчик] сигарой. Даже на самых верхних этажах, не страшась каменной пропасти, горничные в белых передниках, как фарфоровые куколочки, вертелись на подоконниках, иногда улыбались и посылали воздушные поцелуи в окна соседних домов. Всюду, не стесняясь, выставляли, вывешивали на воздух пуховики, одеяла, подушки, а внизу мыли асфальт и чистили щетками так прилежно, так много лилось воды, что все пахло водою и камнем. Сотни тысяч рук свежим утром прибирали город для нового бодрого трудового дня. И вот такое берлинское, едва ли повторимое в других городах Европы, утро встретило русских, приехавших из недр России с подушками, одеялами и чайниками. На первых порах Алпатов, конечно, не мог разобраться и понять что от чего, все главное, казалось ему, было в этом аромате воды и камня. Однако настоящий европейский извозчик, совершенно такой, как рассказывали в детстве, с сигарой и газетой, сразу привлек его внимание. Алпатову лично извозчик не был нужен, его хорошо научили не брать с собой ничего в страну, где все так дешево можно купить, в руке его был только баульчик с одной переменной белья. Но ему надо было сделать опыт с своим немецким языком. Он сомневался в понимании берлинцами лифляндского наречия, которое в Риге считается самым чистым немецким, а в Берлине признается за русский язык. Так с волнением подходит он к простому извозчику и,

переводя в уме русские слова на немецкие, говорит со всей вежливостью:

— Извините меня, господин извозчик, смею ли я вас спросить, как можно найти в Берлине самое дешевое жилище?

Удивленный извозчик поднял голову и оглядел иностранца в довольно приличной одежде: ведь иностранцы самые богатые люди и обыкновенно едут в дорогие отели

Прошло несколько секунд, во время которых Алпатов вверился в доброе сердце извозчика, и в голове его даже мелькнуло, что московский лихач непременно бы ему ответил сразу и высокомерно: «Я почему знаю?»

— Вы, мой господин, — спросил извозчик, — наверно, приехали сюда искать работу?

— Нет, — ответил Алпатов, — я приехал учиться в университете, я студент.

— Вы студент? — изумленно спросил извозчик. — Зачем же вам дешевая квартира?

В это время газета в руке извозчика обернулась титульной стороной, и Алпатов с большой радостью заметил «Форвертс». Это значило, что извозчик был одинаковых с ним убеждений, такой же, как и все его русские друзья.

— Товарищ, — сказал Алпатов, — я потому спрашиваю дешевую квартиру, что у меня мало денег.

— А если у вас мало денег, товарищ, — ответил извозчик, — то зачем же вы приехали учиться?

Теперь и Алпатову настал черед задуматься. Слово товарищ было для него, как перебегающая искра мировой катастрофы: студент и товарищ в России много значит даже для неграмотных людей, а вот в Германии человек читает «Форвертс» и никак не может понять, что бедный стремится к науке.

— У нас в России... — начал было Алпатов, но в это время крикнули фурмана. Извозчик быстро передал Алпатову газету, показал на последнюю страницу объявлений о жилищах для рабочих и поехал на зов.

В объявлениях было множество дешевых квартир в Шарлоттенбурге, были указаны и ночевки в семьях рабочих с бельем и кофеем за несколько пфеннигов. Осмелевший в разговоре с извозчиком, Алпатов спрашивает теперь, совсем не стесняясь, дорогу в Шарлоттенбург. Все указывают ему на городскую железную дорогу: несколько минут езды, и стоит всего десять пфеннигов. Но Алпатов непременно хочет пешком и этим крайне удивляет деловых людей. Однако терпеливо и вежливо ему все-таки объясняют путь пешком, верно, иностранец им кажется вроде ребенка.

Но, может быть, люди потому так предупредительны, что через этого ребенка узнают радости своей собственной жизни? Ведь прошло всего только несколько недель, как Алпатов вышел из тюрьмы и обрадовался людям. Ему представляется, будто это обычное для берлинца мытье улиц, чистка жилищ, бодрый ход масс на работу, заглядывание на ходу в зеркальные стекла магазинов, постоянное узнавание чего-нибудь нового, — все это является городским людям новой даровой прибавкой к жизни, обеспеченной силой земли. Вот это какое-то даром против обыкновенной жизни, к чему в городе привыкли и не чувствуют, светилось в глазах Алпатова, и потому деловые люди при его вопросах охотно останавливались, а иногда и провожали.

В особенности рискованным казалось подойти к прусскому офицеру в шинели-футляре, с волочащейся саблей, с усами вверх, как у императора. Но Алпатов не задумался.

— Смею ли я узнать у вас, очень уважаемый лейтенант, — спросил он, где находится рейхстаг и знаменитая улица Под липами?

На поклон Алпатова офицер приложил руку к козырьку и, улыбаясь, сказал:

— Почему знаменитая?

— Потому, — ответил Алпатов, — что вблизи нее должен находиться и королевский дворец, и рейхстаг, и Аллея Победы. В наших московских газетах постоянно пишут об этом, мне так хочется на все посмотреть.

— Вы из Москвы? — с интересом спросил офицер.

— Нет, — ответил Алпатов, — моя родина Елец. На это офицер вдруг сказал по-русски:

— Елец — это вблизи губернского города Орэль?

Это было так неожиданно для Алпатова, что он приостановился. Офицер взял его под руку и пошел с ним дальше.

— О-рэль, — так ли я выговариваю?

— Орел, — ответил Алпатов, — но зачем это вам?

— Я буду скоро обер-офицером и должен сдавать экзамен по-русски.

— Это для военных целей?

— Очень возможно.

— А мы, русские, все думаем, как бы вообще прекратить войну.

— Вы большой дипломат, — сказал офицер.

Алпатов не понял насмешки и, удивленный, остановился.

— Как дипломат? Я говорю вам искренно, разве не знаете вы, что пишет Лев Толстой о войне?

— Лев Толстой — писатель, — улыбнулся офицер, — вот если бы это

ваш царь написал... а впрочем, тоже ничего бы не вышло, занятия литературой обыкновенно даже и вредны царям.

— Да царю бы никто не поверил, — ответил Алпатов, — ваш император, например, так много говорит о прекрасном, а вы учитесь русскому языку на случай войны.

Офицер испугался, не зная, как быть дальше с ужасным ребенком, но, всмотревшись в лицо Алпатова больше, вдруг что-то понял. Он сказал:

— Ваши глаза очень симпатиш. Потом наклонился к нему и вполголоса:

— Наш император говорит немножечко много лишнего, милый юноша.

В это время налево от них показалось большое тяжеловесное здание с золотым куполом, и Алпатов догадался: рейхстаг.

— Как вам нравится? — спросил офицер.

— Прахт-фолль, — ответил Алпатов.

— Немножечко много плюмп, — сказал офицер, — вы мне не скажете, что значит по-русски немецкое плюмп?

— Тяжеловат, — ответил Алпатов.

— Очень вам благодарен, я с вами прощаюсь, дорога в Шарлоттенбург все прямо. А куда вам надо в Шарлоттенбурге?

Алпатов вынул из кармана «Форвертс».

— Зачем у вас этот глупый лист? — спросил офицер.

Алпатов схватился:

— Как глупый, это «Форвертс»!

— Я же знаю, — сказал офицер, — в этой газете ужасно много врут, она не к лицу образованному человеку, бросьте эту дрянь... Идите все прямо. Живите благополучно.

— Всего хорошего, — ответил Алпатов.

— Благодарю вас, я буду говорить, как и вы: всего карошего.

Офицер потонул в толпе, как в воде, и показался потом перебегающим на ту сторону между экипажами. Алпатов идет все вперед по этой улице, на несколько верст прямой, как линейка, всматривается в отдельные лица, хочет понять страну по выражению лиц, но, сколько ни вглядывается, все ему кажется, что это не новые, какие-нибудь особенные, а обыкновенные люди, такие же, как и в России. А между тем он в Германии же! Вглядывается вновь, чтобы увидеть чисто немецкое, но очень редко показывается какой-нибудь тип немца, и то, появляясь, не оставляет права перенести свои национальные черты на всех. От этого кажется Алпатову, что немцев гораздо больше в России, чем у них на родине. Почему это так?

И все-таки это были и не русские люди. Чудесно было знать, что тут

уж никто не подглядывает, не смотрит в упор, не спрашивает: «Чьи вы?» Казалось, человек тут виден не с лица, а вывернулся всем своим рабочим механизмом наружу и так сошелся в деле с другим. Тут весь человек шагал все вперед и вперед своим историческим маршем.

Вот, видно, почему так и кажется, будто в Берлине немцев меньше, чем в Москве: потому что все моховые извилистые ручейки народностей тут, в огромном европейском городе, вошли в одно прямое широкое русло всего человеческого потока в каменных берегах. Там, далеко, далеко, в моховых истоках, где-то в темной хижине в России мерно всю ночь пилит сверчок. Это вспоминается почему-то, и даже понятно, этот мерный звук не напрасная трата времени: ведь и тростинка в русском потоке не напрасно мерно склоняется, шевелясь в струе, тоже и она отмечает, сколько прошло русской воды в общий поток.

Широко, просторно, пахнет только водою и камнем. и среди грохота и шума русская песня сверчка преобразается в музыкальный исторический марш человека, — всегда человека, вперед и вперед!

Так на ходу представлялось Алпатову, а между тем незаметно и непонятно все стало переменяться. Были все те же огромные городские дома, но уже без украшений: просто дома, очень похожие друг на друга. Раньше между высокими домами была своя загадочная, таинственная сень, как в аллее из густых деревьев: в этой сени деревьев постоянно перебегают или светлые зайчики солнца, или тени пролетающих птиц; так же и в сени высоких, чудесно разукрашенных домов постоянно показывались разнообразные следы сложной жизни: один раз в окне, обрамленном тонкими кружевами, солнечный луч открыл золотую рыбку в изумрудных водорослях, маленькая рука повернула кран, и фонтан аквариума рассыпался радугой. Было много разных чудес в сени каменных домов, и вдруг все переменялось: дома стали похожи один на другой, на асфальте начался сор, из дворов на улицу стали выбегать плохо одетые дети, толпа поредела. Совершенно так же, как и в России, остановились на углу Два знакомых, стали долго разговаривать и загородили собой путь другим. Оба эти знакомые были сносно одеты, у одного в руке был наполненный землей цветочный горшок. Казалось, они разговаривали спокойно и были друзьями, как вдруг один взял свой горшок и с силой бросил его в лицо другому. Тот пошатнулся, схватился рукой за окровавленное лицо, а ударивший бросился бежать. Но человек с разбитым лицом скоро одумался и пустился догонять обидчика. На отлично умытом утром асфальте остались черепки и земля.

Тогда музыкальный марш человека прекратился.

Алпатов был в рабочем квартале.

РУССКИЙ

Странно было юноше, воспитанному в России поколениями революционеров на идее мировой катастрофы, прямо почти из тюрьмы попасть в чистенькую комнату немецкого социал-демократа, с умывальником под мрамор и вышивкой под точеной ручкой для полотенца: «Бог есть любовь».

Это было на Рудерштрассе, номер 3. Металлист-рабочий Отто Шварц занимал здесь квартиру в три комнаты: спальня и столовая были для себя, а третья, маленькая, отдавалась двум ночлежникам по пятьдесят пфеннигов с каждого за ночь, с постельным бельем, утренним кофеем и круглой булочкой с маслом. Отто был на заводе, когда в его квартиру позвонился Алпатов. Мина Шварц, совсем молодая женщина в белом переднике, провела русского студента в крохотную комнату, в которой этим утром был вымыт и вычищен каждый вершок. Кроме двух кроватей, в комнате было на каждого жильца по ночному столику и общий умывальник под мрамор с палочкой для полотенца и вышивкой.

Было так удивительно чисто вокруг, что Алпатов стеснительно посмотрел на свой загрязненный баульчик и нерешительно поставил его возле умывальника. Мина сейчас же взяла его, протерла тряпочкой над умывальником и поставила на полку возле кровати. Она спросила, не нужно ли Алпатову еще что-нибудь, и когда недогадливый русский отказался, сама поманила его и показала в коридоре необходимости. Усталый с дороги из России и от большого перехода по Берлину, Алпатов хотел было прилечь на кровать и открыл одеяло. Но под одеялом оказался пуховик в чистых простынях, и под ним была еще другая перина. Видно было, что Мина целое утро посвятила устройству таких сложных постелей, и Алпатов не посмел расстроить порядок для дневного сна. Подумав немного, он сел на стул и сразу же тут задремал. Тогда ему стало совсем понятно, почему на родине он томился так долго в камере одиночного заключения: потому что там миллионы людей жили под соломенными крышами вместе с животными, с божницами, наполненными черными тараканами.

Там, на родине, был закон для совестливого человека:

«Так жить нельзя». Тюремная камера там казалась единственно

возможным жилищем для совестливого человека, временным страданием до исполнения срока мировой катастрофы, после которой разрешено будет жить хорошо, потому что тогда не будет ужасного неравенства.

Алпатов, конечно, очень устал и потому, засыпая на стуле, возвращался домой: так ведь и все мы в минуты усталости пробуем вернуться на какую-то свою милую родину.

Однако не сразу дается сон в сидячем положении. Засыпающий, убегая мыслью на родину с запрещенной порядочной жизнью для интеллигента, вскидывает голову, узнает новые предметы: чистые кровати с пуховиками, полочки, умывальники под мрамор с вышитыми над ним словами. И ему кажется, что здесь, в этой комнате, весь темный лик русского бога с черными иконами, с лампадами, коптящими усы и бороды изъеденных тараканами угодников божьих, — все это страдание людей и богов на русской земле обернулось в любовь над умывальником социал-демократа, и эта любовь означает: скромная жизнь порядочному человеку в Германии разрешается.

Все это, однако, засыпающему было не материал для критики, как непременно выходит, если записать словами, а скорее он ставил в вину себе отсутствие восторга перед жизнью людей, преданных всецело обязанностям каждого дня.

Между тем Отто Шварц на своем заводе много отвалов и лемехов натаскал за утро из литейного в свое отделение и шел домой обедать, не подозревая, что у него в квартире днем спит русский студент. Узнав от Мины, что к ним явился русский, он заволновался: русских он никогда не видал и только слышал о них много необычайного. Несколько раз во время обеда он тихонько открывал дверь и оглядывал спящего Алпатова и дивился: русский с виду ничем не отличался от молодого немца. Жена, однако, таинственно ему прошептала, что русского ей пришлось познакомиться с «тетей Мейер» («тетей Мейер» у Шварцев называли отхожее место). Мина при этом высказывала догадку, что в России, наверно, как-то иначе обходятся.

— Я где-то читал, — ответил Отто, — что они выходят на двор и зарывают лопаточками, каждый русский ходит с лопаточкой.

— Я слышала тоже, — сказала Мина, — но мне кажется, так делают китайцы.

— Это все равно, — ответил Отто, — Китай и Россия в одной стороне.

Пообедав наскоро, Отто побежал на свой завод и до вечера очищал уголь с лемехов и отвалов. После работы он был на коротком собрании своего профессионального союза и там за кружкой пива рассказал своему

двоюродному брату Августу о русском и просил его завтра утром по случаю воскресного дня непременно зайти к нему: может быть, русский расскажет что-нибудь любопытное.

В этот вечер, однако, не суждено было Отто Шварцу познакомиться со своим жильцом. Отдохнув на стуле полчаса, Алпатов отправился по объявлению в газете и дешево купил себе подержанный велосипед. До вечера он объездил весь Шарлоттенбург, побывал в разных парках, видел озера, и когда вернулся домой, кровать его была открыта. Он забрался в пуховик и заснул по-настоящему непробудным сном до утра.

Первая мысль его была, когда он проснулся, идти к Отто Шварцу, узнать у него о больших рабочих собраниях с Бебелем, Либкнехтом и другими вождями. Но было поздно разговаривать с Отто: он был уже на заводе. Тогда каким-то удивительным образом мысль его перескочила от Бебеля к Инне Ростовцевой. Так, верно, это крепко связалось все в тюрьме: мировая катастрофа с ее пророком Бебелем, Германия с музыкальным голосом его тюремной невесты с лицом, закрытым густой вуалью. Там, в тюрьме, казалось так просто найти ее, узнать и восстановить неясный облик по музыке голоса. Теперь он приблизился к ней, они в одном городе, но почему-то стало казаться, что очень трудно найти. Все-таки она же сама указала путь, она звала его учиться, значит, надо ехать в университет.

Теперь он едет по той же самой асфальтовой улице, где вчера встречал с таким удивлением соединенного человека. По мере того как он приближается к сердцу Берлина, сгущается все больше и больше толпа на панели, теснят экипажи. Но стоит только нажать немного педаль, и все теснящие экипажи становятся неподвижными.

Однако трудно передать это наслаждение от быстрого движения на кипучей улице между экипажами. Так стриж с ликующим визгом проносится между стаей тяжелых птиц и стремительно мчится под облака. Мало движения тела, чтобы это понять, надо вспомнить свою собственную музыку, игравшую когда-то в юности в часы напряженного ожидания встречи с невестой, забыть совершенно серую сеть морщин, причин и теорий...

И вот среди грохота экипажей чей-то голос отчетливо называет по имени.

Алпатов затормозил и прислушался: зоя повторился, рука дрогнула. Сзади насела тяжелая лавина экипажей. Он едва успел соскочить у самого края панели и стал дожидаться. Потом вышла из толпы девушка с лицом, закрытым зеленой вуалью...

...Улыбаюсь вам, друг, через разделяющие нас годы и страны, я

забываю мои толстые щеки, покрытые конской щетиной жизни, мне кажется, щеки мои, как в юности, тонко огибают кудрявую улыбку сохраненного духа. Вспомните же и в это наше время и спешите улыбнуться, потому что рано или поздно начнутся мои письма из ада.

...Встреча была совсем недалеко от университета. Подавая руку, она сказала:

— Вижу, вы меня не узнаете, мы с вами вместе приехали из России, не прошло еще и трех дней, как вы уже и забыли.

Алпатов пришел в себя, узнавая под зеленой вуалью не тюремную невесту, а обыкновенную Нину Беляеву.

— Нет, — сказал он, — я вас узнал, вы Беляева, а растерялся потому, что экипажи могли меня раздавить. Это нелегко ехать на велосипеде по такой улице.

И, болтая, они вместе входят в старое здание университета, столь почтенное и не соответствующее новому времени. Эта простая внешность Берлинского университета не может быть понята русским юношей сразу как прелесть: германские ученые не рядятся в тоги, доктора философии позволяют себе отличаться от других людей только немного более широкими полями своих «докторских» шляп. Конечно, и Нина Беляева, и Алпатов слышали о Паульсене и прежде всего хотят записаться на его введение в философию. Им советуют спешить занимать места в большой аудитории и прибить свои карточки поближе к кафедре: Паульсен уже стар, говорит не очень громко. А ведь непременно Инна Ростовцева, если только она в Берлине, тоже прибила свою карточку на летний семестр. Нина ищет два места рядом на первых скамейках — ей это нужно. Алпатов ищет среди визитных карточек имя своей невесты. Медленно проходит первые ряды, потом быстрее, и, наконец, остается назади одна только карточка, последняя надежда, и вот нет: не она! А Нина нашла два свободные места в третьем ряду. У социолога Зиммеля, в маленькой аудитории, почти одни только русские имена, исчезает надежда: нет, не она! — и опять своя карточка прибита рядом с Ниной Беляевой. Так и у Вагнера, и у Шмоллера, и у историка Маркса — нигде нет желанного имени. Нина допытывается:

— Отчего вы такой рассеянный и как будто печальный?

Алпатов сконфуженно улыбнулся: у него слишком много впечатлений, не может справиться. И прощается, извиняясь, что с ним велосипед, и трудно вместе идти. Нина желала бы, однако, тоже купить велосипед, если это недорого. Алпатов называет цену самых дорогих английских машин. Это невозможно для Нины.

— А, верно, так хорошо? — спрашивает Нина.

— Да, но сильно парит, — отвечает Алпатов, — весь мокрый делаешься, легко простудиться.

Нина опускает зеленую вуаль, исчезает в толпе. Алпатов находит специальную дорожку для велосипедистов и мчится во весь дух неизвестно куда по Тиргартену и дальше через Шарлоттенбург в далекие парки с озерами, пересекает полотно железной дороги. Колесо велосипеда вертится так быстро, что не видно заполняющих его спиц, так точно и в голове своей иногда человек не чувствует мысли только потому, что множество их там слишком часто мелькает. Но вот велосипед остановился у переезда через железную дорогу, и явилась определенная мысль о письме. У одного ларька он сходит с велосипеда, покупает двойную открытку для адресного стола, пишет имя, национальность своей невесты, свой адрес, опускает в почтовый ящик и мчится по шоссе все дальше и дальше, пока вдруг силы совсем не оставляют его. В этом опасность очень быстрой езды на велосипеде: незаметно сразу прекращается способность вертеть ногой колесо, и становится невозможным двигаться дальше. Приходится идти пешком и, когда сошел, хочется есть так, что, кажется, если не съест сейчас же кусочек чего-нибудь, то и не стронешься с места даже пешком, а вокруг лес с отлично отделанными дорожками: для велосипедистов, для всадников и пешеходов. Разве спросить кого-нибудь, где ближайший ресторан? Вот идет старая женщина с большой корзиной. Она говорит, что до ресторана пять-шесть километров. От человеческой речи как будто прибавилось сил. Пробует ехать и опять не может: пять километров кажутся бесконечными. Потом спать захотелось, и это можно... Свертывает на глухую тропинку и дремлет на траве возле дерева; трава такая же, как и русская, совершенно: так же, как и на родине, ползет красная божья коровка. В голове как на тихой воде океана, и нет границ, отделяющих себя от всего; божья коровка сама вползает на палец, палец сам подымается вверх, и все делается как положено: достигнув конца, жучок выпускает из-под красной крышки какую-то свою мятую юбку и улетает.

ВОЙНА И ПОЖАР

Оказалось, что ложь, что за границей не существует «русского» гостеприимства. Разница с Россией только, что за границей время измерено и гостеприимство бывает по воскресеньям. Утром, как только Алпатов умылся, Отто Шварц взял его за руку и повел к своему столу, где Мина

варила утренний напиток в кофейнике, похожем на русский маленький самовар. Кофе в таких самоварчиках получается такой крепкий, что от одной чашки у старых кофейниц щеки становятся красными. На столе были сыр и масло, возле чашек лежали маленькие, уголком сложенные салфетки. Мина очень постаралась для русского.

Видеть раскрытый «Форвертс» за утренним кофе, читать его не таясь, как обыкновенную газету, Алпатову все еще непривычно. И об этом он и начинает разговор:

— Вы социал-демократ?

Отто неохотно пробормотал: а кем же ему еще быть, как не социал-демократом? Алпатов спросил:

— Например, если бы свободомыслящим? Отто спросил, в свою очередь:

— А какая мне выгода быть свободомыслящим?

Странно звучало это слово «выгода».

Алпатов знал и твердил тысячи раз, что рабочее движение все основано на интересе, но в личных отношениях он, русский, не встречал еще у себя на родине ни одного студента, ни одного рабочего, кому революция была бы лично выгодна в данный момент. И потому Алпатов в замешательстве сказал нескладно:

— Выгода... выгода... а я ведь тоже социал-демократ. На это Отто:

— Разве в России тоже есть фабрики?

— Ну как же, никакое большое государство и даже маленькое теперь не может обойтись без фабрик.

Отто обернулся к жене:

— Слышишь, Мина, в России тоже есть фабрики.

— А я слышала, — сказала Мина, — там очень много медведей.

Алпатов улыбнулся:

— Они работе на фабриках не мешают, в лесах есть медведи, но в городах они не показываются.

— Никогда? — спросила Мина таким разочарованным голосом, что Алпатов из вежливости уступил:

— Почему никогда, конечно, бывают случаи. Но зато волки встречаются всюду.

— Вот видите! — сказали вместе и Отто и Мина. Алпатов вдруг понял, чего ожидают от него эти простые, добрые люди, и ему захотелось доставить им удовольствие рассказами о своей необыкновенной стране.

— Сила земли там столь велика, — начал Алпатов, — что люди полей, где нет совершенно лесов, сжигают для отопления своих избушек солому и

навоз земля там родит без навоза.

— Не может родить земля без навоза, — возразил Отто, — это сказки. Вы смеетесь над нами.

— Нет, я не смеюсь, добрый хозяин, — серьезно сказал Алпатов, — там чернозем в аршин толщиной и долго может давать урожаи собственной силой. А в лесу иногда рубят охотники огромное дерево, только чтобы выгнать маленькую белочку: дерево в таком лесу ничего не значит. В России есть края, где летом солнце светит и ночью, а на другом конце не бывает зимы. Там, в России, ни в чем нет счета и меры, как в Германии, и если начнутся поля, то что поля: никакой глаз не может досмотреть их до конца, все рожь или пшеница, овес и картофель. А если начнется где, то и не говорят: «там-то лес», в России скажут: «и вот леса пошли».

— Леса ходят, — смеясь, повторила Мина, — а как же люди сообщаются в таких огромных пространствах?

— Люди мало сообщаются, — ответил Алпатов, — люди там больше сидят, но если встречаются иногда в вагонах...

— А, все-таки, значит, есть и вагоны, — сказал Отто.

— Очень немного, — ответил Алпатов, — совсем пустяки, но все-таки есть. Люди разных стран, лесные и полевые, встречаются в пути очень далеко, в вагонах, иногда на лошадях едут вместе, а то просто пешком идут по тропинкам. На промыслах, в монастырях сойдутся и начинают рассказывать друг другу о своей стране, и так они все узнают не по газетам и книгам, а из устных рассказов: там живут слухом. И для слуха там есть два самые ужасные слова, от которых женщины начинают выть и у мужчин иногда волосы встают дыбом: такие два слова в России: пожар и война. Это очень принижает наших людей, и мы их поднимаем.

— Вы — люди образованные?

— Более или менее, эти люди у нас самые бедные и называются революционная интеллигенция. Против слова «война», мы даем им слово «революция», а против слова «пожар» — «социализм». Мы верим, что в самом близком будущем, еще при жизни нашего поколения, совершится мировая катастрофа, война кончится на всей земле и пожары перестанут в новой культуре.

— Благодаря бога, — сказала Мина, — у нас теперь не боятся пожаров.

— А война?

Мина посмотрела на Отто.

— Война большое несчастье, — сказал Отто, — рабочему человеку война невыгодна, мы, насколько возможно, боремся против войны. Только

сразу ничего не сделаешь.

— А как же Бебель-то сулит мировую катастрофу еще при наших днях?

— Август Бебель, о да, Август Бебель! Отто подумал немного и вспомнил:

— О да, Август Бебель: «Женщина и социализм».

Больше он ничего не мог сказать, и в разговоре получилась заминка. «Хорошо бы теперь вернуться к интересным рассказам о России», — думали Шварцы. Но Алпатов спросил, можно ли ему где-нибудь видеть Августа Бебеля.

— А вам зачем его нужно видеть?

— Он такой замечательный, мне интересно на него посмотреть.

Отто понял Алпатова, вдруг осветился любовью к своей земле, гордостью и счастьем все показать иностранцу. Он быстро заглянул в газету и сказал:

— Бебеля мы сегодня увидим, и еще увидим старого Либкнехта, и еще увидим адвоката Гейне.

Отто совсем повеселел:

— Да знаете что, может быть, нам удастся сегодня, и я вам покажу, я вам покажу такое... я вам покажу самого императора.

— Настоящего императора Вильгельма? — удивился Алпатов.

— Вот погодите-ка только, я вам покажу нашего императора: по будням он гуляет, а по воскресеньям катается в Тиргартене. Выйдет, да, выйдет непременно: я вам покажу. А до этого всего я хотел бы показать вам свой картофельный участок. Поскорей бы только Август пришел.

И тут как раз позвонили.

Август пришел с женой и детьми. Жена его Эльза, дети — Роберт, Эмма и Элла. Они все хотят слышать рассказы Алпатова о медведях. Но Отто теперь уже крепко забрал себе в ум, что даже интересно и свое все показать русскому; есть что показать!

— А есть у вас в России пиво? — спрашивает он весело.

— Есть, — говорит Алпатов, — только наше пиво я не люблю: русские пьют горькое пиво.

— Это не идет: горькое пиво! А если я, например, угощу вас мартовским мюнхенским темным, как вам это покажется?

— Нам так неверно наговорили, — сказал Алпатов, — будто гостеприимство только у русских людей, — оказывается, у вас тоже очень любят гостей.

— Вот погодите, вот погодите только! — радовался Отто. — Кто знает,

может быть, мы успеем попасть сегодня и на праздник стрелков.

Всею семьей, окружающей русского, они выходят на улицу, и еще выходят из того же дома семьями другие рабочие. Неузнаваемо стало теперь там, где вчера несся поток деловых людей. Все как будто замерло, и так заметно было, что посередине улицы бежала трусцой большая сенбернарская собака в ошейнике и с бантиком. Казалось, собака тоже собралась куда-то по случаю праздника в гости, может быть, даже и в церковь: неустанно, ровно, как по метроному, тиликал смешным для русского слуха, каким-то слишком аккуратным звоном, наверно, очень небольшой колокол в кирке.

АРОМАТ ЗЕМЛИ

Алпатов в изумлении стоял на картофельном участке. Вверху по насыпи мчался поезд круговой железной дороги, в дыму паровоза исчезали дома, и снова показывались в верхних этажах маленькие фарфоровые хозяйки, убирающие свои квартиры. Тоскливо сжалось сердце, Алпатов все через себя понимал и себя как-то через право человека на счастье с постоянной готовностью на последнюю беду: от суммы и тюрьмы не отказывайся. Так он, попав на картофельный участок берлинского рабочего, представил себя русским фабричным с мечтой поехать на свой годовой праздник в деревню...

Прощай, Россия, прощай, воля и надежда вернуться к празднику или под старость в свой родной уголок, где покосившаяся на деревянных столбах хижина с забитыми окнами столько лет терпеливо дожидалась хозяина. Все кончено: с двух сторон тесно зажали каменные стены клочок земли величиной в небольшую комнату, на клочке в одном углу беседка, в другом сортир — и все! Рядом с этим соседний участок, точно такой же картофельный с беседкой и сортиром, и так без конца, потому что эти участки рабочих колоний составляют в Берлине кольцо, совершенно так же, как у нас в Москве Садовая улица — Садовое кольцо.

Вдали дым паровоза закрыл ряды огромных, сверкавших на солнце окон какой-то фабрики, тут, ближе, глядели окна рабочих квартир, в этих чистых квартирках была заключена мечта о свободе, и последним вздохом заключенной земли был картофельный участок с беседкой и сортиром. И земля эта уж не пахла. Алпатов даже взял в руку немного, понюхал: совершенно не пахло землей. Отто, и Август, и Мина, и Эльза, жена

Августа, и дети Августа Роберт, Эмма и Элла — все окружали Алпатова и спрашивали, почему он нюхает землю, и разве земля в России как-нибудь особенно пахнет?

Алпатов рассказывал, что у него на родине чернозем толщиной в аршин так прекрасно пахнет, что каждый рабочий, рожденный на этой земле, непременно рано или поздно возвращается на родину. Алпатов замечал по себе, что больше всего связывает с родиной человека запах земли, ее трав, хлеба, цветов. И если земля не пахнет, то, значит, все остальное существует обманчиво.

— О да, да, — ответил Отто, — я и понятия не имею о настоящей земле: мой отец и мой дедушка работали в Берлине на фабрике.

Но Мина вздохнула: она понимала Алпатова. Ведь у нее тоже прекрасная родина — Саксония, там горы и лес. И она очень хорошо знает запах родной земли. А тут какая земля! Да, какая это земля, если даже не пахнет. Но, слава богу, что и это есть: можно немного по воскресеньям тут позабавиться.

— Ну, да, конечно, позабавиться, — сказал весело Август. И, пощупав мускулы Алпатова, предложил ему побороться.

— Можно, — ответил Алпатов.

И, быстро обхватив Августа, уложил его на живот, сам сел на него, Август приподнялся на руках и коленках. Алпатов поехал, как на лошадке. Дети стали смеяться. Все смеялись, и женщины повторяли:

— Эти русские — очень веселые люди!

Потом оказалось, что где-то тут, совсем близко, можно выпить по кружке отличного баварского пива. Только по одной кружке — и на собрание с Бебелем! А Эльза уведет Детей к теще и вернется прямо туда, к ним на собрание.

В маленькой кнейпе и Отто, и Август шепчутся с толстым хозяином, показывают на Алпатова, и хозяин очень доволен, он кивает головой: да, непременно так надо сделать, хотя бочка еще и не кончилась, но для русского гостя надо начать новую, свежую бочку мюнхенского мартовского темного пива. Большой зейдель очень темного пива был на одну треть сверху наполнен буроватой пеной, пахнувшей сильно не то дубом, не то ячменем, как пахнут только первые зейдели из только что пробитой острым концом крана бочки. Верно, много веков трудовой культуры должно было пройти, чтобы научиться сохранять человеку аромат земли в такой напиток. Алпатов одним духом, не отрываясь, опустошил весь зейдель. Но он чуть-чуть ошибся: необходимое прозрит ему надо было сказать перед тем, как приложить губы к стеклу, он же выпил и после сказал. И от этого в ответ на

его запоздалое прозит ему сейчас же налили еще.

Все смотрели на него, и рабочие, и хозяин, с наслаждением, может быть, гораздо большим, чем испытывал гость от питья: ведь гость только пил пиво, а хозяева наслаждались не известным русскому интеллигенту чувством гордости и радости за дело своей страны. Толстый хозяин не удержался и спрашивает:

— Есть ли у вас в России подобное пиво? Алпатов ответил:

— Нет, в России все пьют какое-то горькое пиво. Хозяин очень доволен, он просит еще: ведь он денег ни за что не возьмет. Алпатов настаивает. Нет, он рассчитается только тем, что выпьет еще зейдель пива. И, видно, так уж и надо в Германии.

— Прозит, — говорит Алпатов, выпивая третий огромный сосуд.

— Мойн, мойн, мойн, — дружно отвечают ему все за столом.

А потом на улице, по пути на рабочее собрание, чуть-чуть колышется панель под ногой, но зато оказывается, что на свете нет чужих людей и народов и что это его собственная алпатовская придумка так устроиться в чужой стране; не нужно никаких гостиниц и всяких условностей, и через это просто и сразу понимается все, и вкус германского пива как будто открывает характер народа.

Потом Алпатов с изумлением замечает: посередине улицы легкой рысцей возвращается, как будто из церкви, та же самая знакомая большая сенбернарская собака в ошейнике и с бантиком.

Ему даже представилось, что это действие пива, и вспомнился пудель из «Фауста», и что, может быть, казалось ему, всякий народ создает свои художественные образы отчасти под влиянием своего национального напитка: и пудель у Гёте вышел от пива. А собака все бежала и бежала, вот поравнялась, вот уже назади. Отто заметил интерес Алпатова к собаке и спросил его:

— Бывают ли в России на улицах собаки?

— Очень много, — ответил Алпатов, — но только у нас я не видал больших собак с бантиками, и наши собаки в церковь не ходят.

Алпатов, конечно, шутил, но изумленные Отто, и Август, и Мина остановились: неужели он думает, что в Германии собаки в церкви бывают?

— А как же! — ответил Алпатов. — Когда мы утром выходили из дому, в церкви звонили, и бежала эта собака — помните? А вот теперь тоже звонят, кончилась служба, народ расходится из церкви, и опять эта собака бежит.

Алпатов так серьезно сказал, что все подумали, будто русский и вправду так понимает. Но ведь это же ужасно смешно, это совсем

невозможно! И все стали смеяться так сильно, так заразительно, что некоторые прохожие, и не зная причины веселия, тоже смеялись.

КАТАСТРОФА

Собрание металлистов было в большой танцевальной зале с эстрадой. Для президиума на эстраде теперь был поставлен стол, и около висела черная доска для писания мелом. В зале было множество столиков, за которыми сидели рабочие, иные с женами, многие пили пиво и курили сигары. Президиум, верно, был выбран еще до прихода Алпатова: через боковые двери вошли трое хорошо, по-праздничному, в воротничках и манжетах, одетых рабочих и заняли места за столиком. Потом как-то совсем незаметно пришел и сел тоже около стола скромный старичок, очень похожий на русского кустаря-игрушечника из Сергиева посада или на башмачника из Талдома.

— Август Бебель, — сказал Отто Шварц.

Но Алпатов сам узнал его по много раз виденной карточке и не был смущен; Бебель действительно был очень похож на русского кустаря, а такие старички в России часто высказывают самые удивительные мысли. Вскоре после Бебеля вошел высокий старик с белой бородой, как показалось Алпатову, сердитый. Это был Вильгельм Либкнехт. И, наконец, молодой, вполне интеллигентный адвокат Гейне. Председатель открыл собрание и объявил повестку дня: первым на очереди был вопрос, возможна ли победа, если металлисты в Берлине забастуют? Голос предоставляется адвокату Гейне, и молодой человек подходит к черной доске, начинает мелом выписывать колонки цифр и время от времени пояснять их значение словами, мало понятными Алпатову. Однако и раньше выпитое пиво, и новое, которое как-то само собой у всех появилось, помогло Алпатову понимать все по-своему. Дело шло, как думал Алпатов, о мировой катастрофе, которую должны начать металлисты своей забастовкой. Просто, на глазок, Алпатов догадался, что этому адвокату нет никакого личного дела до переворота и он только оправдывает свое неверие научными вычислениями. Вспомнилось ему детство, когда он с тремя мальчуганами пробовал убежать в какую-то забытую страну Азию и как ужасно было, когда холодной осенней ночью один из ребят стал доказывать, что такой Азии нет на свете и потому надо вернуться домой. У

него тогда нашлась сила зажать рот этому ничтожному малому, и, верно, Бебель теперь тоже сумеет разбить все эти математические доказательства. В конце речи Алпатов ненавидел этого Гейне, хотя настоящего смысла ее почти не понимал. Все рабочие, однако, выразили адвокату одобрение. Но вдруг как будто огонь сверкнул в уголке за столом, и это, оказалось, в глазах Бебеля: глаза его стали большими, прекрасными, а щеки и рот сложились совершенно в такую же усмешку, какую так хорошо знал Алпатов у своего друга Ефима. В глазах Бебеля было что-то от святого разумника Белинского, а улыбка от сатир Щедрина. Это сразу Алпатов узнал, как свое русское, и очень обрадовался. Бебель сказал едва слышно какие-то два-три слова и будто молнию бросил в собрание.

В один миг все вспыхнуло, все хохотали, стучали ногами, кружками по столу, и некоторые кричали и хлопали руками. Председатель долго не мог остановить беспорядка.

— Что он сказал? — спросил Алпатов соседей за столиком. Ему что-то ответили быстро, со смехом, но Алпатов и не мог понять Plattdeutsch [Нижнегерманское наречие (нем.)] и решил, что Бебель смеялся над математическим доказательством невозможности мировой катастрофы.

Однако, переждав смех, Гейне снова выступил с мелом в руке и начал выводить новые колонны своих белых войск на черной доске. После этого Бебель не возражал: не было смысла, казалось Алпатову, тратить слова там, где никому верить не хочется и, кажется, жить и так хорошо. И все единогласно голосовали против забастовки.

Выпив разом свою кружку пива, Алпатов вдруг спросил Шварца, верит ли он, что когда-нибудь пролетарии всех стран действительно соединятся и перевернут весь мир.

— Да, я это слышал не раз, — ответил Отто.

— И что же?

— Да что, мне мало приходится думать об этом, когда мне думать-то?

— Но почему вы социал-демократ?

— А кем же мне быть, как не социал-демократом? Отто посмотрел на часы и вдруг встал, и многие встали: дальше начинались маленькие вопросы текущей жизни. Август разглядел пробирающуюся к нему между столиками жену Эльзу и тоже встал. Все вышли на улицу, а через два-три переулка были в Тиргартене.

Неузнаваемо было в Тиргартене сравнительно с будничным днем. По дорожкам пешеходов движется плотная масса по-праздничному разодетых людей, и все идут в одну сторону, куда-то на праздник стрелков. Всадники на отличных лошадках мелким извращенным галопом скачут по своим

отдельным дорожкам. Алпатов обратил внимание на огромную распаренную женщину на велосипеде, за ней ехали на маленьких велосипедах ее дети и под конец отец со множеством узелков и у себя на пуговицах, и прицепленных сзади и спереди к велосипеду. У небольшого пивного ларька Отто остановился и предложил Алпатову и Августу большую Берлинскую Белую. И когда Алпатов опустошил этот огромный, почти в человеческую голову, стеклянный сосуд солодового пива, ему опять показались все очень добродушными и очень хорошими. Но в толпе началось отчего-то смятение, потом все остановилось, и пешеходы, и всадники, и та толстая женщина стояла с велосипедом у дерева, а вся ее семья собралась кучкой. Вдали раздавались крики, все приближаясь, пока, наконец, ясно можно было различить слово «hoch», и Отто, в восторге схватив Алпатова за руку, вскричал:

— Император, я вам говорил, покажу императора. И показался Вильгельм. Алпатов сразу узнал его по усам, вздернутым вверх. С ним в экипаже сидел генерал. Вокруг все кричали «hoch», и многие бросали вверх фуражки. А когда коляска поравнялась, Отто и Август тоже сняли фуражки.

Мина и Эльза закричали «hoch».

Император проехал, и все снова двинулось вперед в прежнем порядке. Отто обернулся к Алпатову, радостный, и сказал:

— Ну вот, я вам обещал и показал, только, извините меня, если в другой раз вам придется встретиться с императором, надо кланяться.

— Вот еще, — ответил Алпатов, — почему же я должен кланяться вашему императору, если я и своему царю бы не поклонился.

— Потому, — ответил Отто, — что я поклонился, и вы идете со мной как знакомый. Ведь если вы поклонитесь своему знакомому, должен и я поклониться. Такой обычай у нас.

— Но разве император достоин поклона социал-демократа?

Отто смешался и добродушно задумался.

— Август Бебель, например, — продолжал Алпатов, — он бы, наверно, не стал кланяться и кричать императору «hoch».

— Бебель — вождь, — сказал задумчиво Отто, — ему ведь это можно и нужно, я же человек обыкновенный, нечего скрывать от себя, вы сами видели, у нас в народе любят императора, все кланяются, все кричат, зачем же я буду отставать от всех, разве этим возьмешь? ;

И Алпатову показалась в искреннем голосе Отто какая-то правда, маленькая, коротенькая, местная правда, но из-за которой никак нельзя, и неприлично, и глупо ставить ежом большую правду: все равно же и Бебель

не стал говорить о мировой катастрофе, когда цифры доказывали маленькую правду невозможности даже простой забастовки. И эта коротенькая необходимая правда ему опять показалась свойством доброго немецкого пива, каким-то непостижимо простым и необходимо смиренным законом, почти вроде «хлеб наш насущный даждь нам днесь».

Праздник стрелков раскинулся по склону холма у озера. Тут всего было много: палатки, ларьки, музыка, столики, карусели, и в тирах слышались частые выстрелы и разные звуки в ответ попаданиям. Сразу же нашлись у Отто какие-то знакомые, потащили всех к своему столу, и там за столом нашлось еще много других знакомых и незнакомых с пивом, сигарами, некоторые женщины дремали, отдыхая головой на плечах мужей, но все подняли головы, когда узнали, что среди них сел русский.

Алпатову теперь больше не нужно было думать о пиве, что кому-то надо платить, спорить о плате, как в той маленькой кнейпе: пиво само появляется, как только он кончает зейдель, сигарами все угощают, ведь он человек лесов и диких зверей, он явился из страны всяких чудес и сказок. Он теперь хорошо понял, что нужно этим добродушным людям, и рассказывает им о медведях самые удивительные вещи, — как ходят они на овес и их стерегут на деревьях крестьяне, а то и прямо сажают их на рогатину. Удивляются, что до сих пор бьют рогатиной, думают, что в России не умеют стрелять. Но Алпатов уверяет, что русские отлично стреляют, и хочет доказать это. Тогда все с большим удовольствием ведут его к тире. Там множество фигур зверей и людей, звери рычат, люди машут руками, как только пуля попадает в определенную точку. Только в маленький шарик, пляшущий на струе фонтана, никто не может попасть. Алпатову дают ружье, и он, конечно, стреляет в пляшущий шарик. Случайно его пуля разбивает вдребезги шарик, но шарик опять появляется на струе фонтана, и его Алпатов должен три раза разбить: а то, может быть, правда, он случайно попал. Алпатов, однако, хорошо заметил, что курок он спустил, когда шарик был на самом вершине и мушка была под шариком. Он стреляет, как в первом случае, и шарик опять разлетается вдребезги, и когда наконец пуля и в третий раз попадает, Алпатову дают жетон стрелкового общества, и в толпе слышатся замечания: наверно, это переодетый русский унтер-офицер.

— Почему же не офицер? — спрашивает Алпатов. Ему отвечают:

— Офицеры ведь только умеют учить, а попадают лучше всех простые солдаты, и за то их делают унтер-офицерами.

Напрасно хочет объяснить Алпатов, что он студент, а не военный, никто не верит, потому что унтер-офицер почему-то кажется им лучше

студента, и им всем так хочется ему сделать хорошее. Теперь с торжеством его ведут к какому-то огромному столу, и тут он пьет без счета, без меры. Был последний вопрос:

— Много ли вы в своей жизни застрелили медведей? Алпатов на это ответил почему-то:

— Сорок.

Потом все оборвалось между звездами, и он медленно стал опускаться на парашюте в темную бездну.

ЯЙЦО БЕЗ СОЛИ

Отто давно работал на заводе, когда коротенькая правда немецкого пива явилась в сознании Алпатова в сокровенном своем значении, как самый тяжкий грех. Но, с другой стороны, грехом оказывалась и эта большая правда русского интеллигента; так повертывалось, что это именно самый большой грех человека — перескакивать через коротенькую правду маленького человека и вырабатывать законы великой правды, не считаясь с простым существованием. Но, как и в сновидениях, суть бывает не в узорных фабулах, которые так легко пересказать, а в непередаваемой боли и сладости, сопровождающих все явления сновидений, так и тут всякая мысль о большой и коротенькой правде сопровождалась чувством личной ответственности. Такое тяжкое состояние духа в Германии называется катценяммером и у рабочих людей бывает в понедельник, и день этот у них называется синим. Страдают от катценяммера, конечно, все, но больше, конечно, те, у кого больше зарождается при этом всяких вопросов: всякая надежда во время катценяммера, зарождаясь, тут же и погибает в роковом конце, всякое желание, всякая мысль, быстро повертываясь, сопровождается чувством греха и смерти. Алпатов схватился было за самое последнее и, казалось ему, за самое независимое и бескорыстное желание увидеться с своей тюремной невестой, и в тот : самый момент, как только он подумал об этом, голос рока ответил ему: «Не видать тебе ее, как ушей своих». И после того показался ему друг его Ефим — с глазами страдающего Белинского, с улыбкой от сатир Щедрина, и Алпатов прочел в этих глазах упрек за коротенькую немецкую правду, и в улыбке — полное уничтожение блажной и недостойной революционера мечты о невесте с закрытым лицом и музыкальным голосом. Суровый голос рока почти по-

человечески вслух в этой же комнате, как-то из стены, Ефимовым голосом проговорил еще раз:

— Не видать тебе ее, как ушей своих.

И Алпатов быстро вскочил.

Не умываясь, не одеваясь, он подходит к столику и начинает откровенное письмо к Ефиму:

«Дорогой Ефим, я живу у рабочего социал-демократа, вчера своими глазами видел Августа Бебеля...»

Написав эту фразу, Алпатов останавливается, пораженный одновременно и правдой и ложью даже этой коротенькой фразы: это совершенная правда, он живет у настоящего социал-демократа, он видел действительно вчера живого Августа Бебеля, и в то же время эта коротенькая правда действительности не соответствует правде первообраза рабочего-революционера и Бебеля — вождя мировой катастрофы. И самое ужасное, что маленькая виденная им правда совсем не колеблет первообразов рабочего движения и мировой катастрофы: все будет совершенно так, как сложилось в России, капитал очутится в руках немногих лиц и будет взят сознательной массой рабочих. Коротенькая правда не колеблет большую правду, а только себя самого, Алпатова, как участника мировой катастрофы: вот что самое ужасное! Потому Алпатов и не пишет, а кусает, сплющивая деревянный кончик пера. Снова катценяммер заключает свое роковое звено, и Алпатов обвиняет себя в самом презренном, что он когда-то с таким гневом бросал народникам: коротенькая правда оказывается просто мещанством, идеологией мелкого буржуа...

Вдруг позвонили в передней, постучали, и затем в двери показалась рука Мины с письмом. Алпатов взял открытку и прочитал ответ адресного стола: «Русская фрейлейн Инна Ростовцева живет на Фридрихштрассе, номер 14, в квартире номер 12, у пасторши Вейсс».

Вмиг исчезли все наваждения катценяммера, и обыкновенное бытие, заключенное в точном адресе, является Алпатову таким же священным чудом, волшебством, счастьем и силой, как горсточка золота, полученная голодным поэтом, который не знал, что поэма его гениальная...

Он быстро одевается, не забыв приколоть красивый жетон стрелкового общества, и выходит к Мине поскорее выпить кофею.

— Вы очень бледный, — сказала ему, улыбаясь, Мина, — я вам приготовила сегодня черный кофе с лимоном, это очень помогает от катценяммера.

— Есть болезнь, — ответил Алпатов, — против которой не помогает

черный кофе с лимоном.

— Какая же это болезнь?

Никому бы в России даже в шутку Алпатов не сказал бы это слово не только по-русски, но и по-французски, слово это казалось ему достаточно пошлым, чтобы шутить, но по-немецки, но Мине болезнь свою он решился назвать и ответил:

— Любовь.

— Ну, какая же любовь, когда вы еще и не осмотрелись в Берлине.

— Моя невеста, — ответил Алпатов, — из России, она здесь и будет учиться вместе со мной.

— Учиться с невестой! — воскликнула Мина. — Значит, у вас в России с невестами учатся? Почему же вы вчера нам все это не рассказали, всем бы это было очень интересно узнать.

И Мина стала спокойно расспрашивать о родителях невесты, о средствах, и сколько времени продолжается их роман. Будь это вчера, конечно, Алпатов не стал бы об этом разговаривать с Миной, но с точным адресом невесты в кармане ему было очень приятно разговаривать и представлять себе, что у него, как у всех. Он рассказал Мине, что родители его невесты очень богатые и знатные люди, что она их единственная дочь, и воспитывалась в Смольном, и кончила там с шифром. А Смольный создан императрицей Екатериной Великой для воспитания образцовых матерей. Конечно, образование в Смольном вполне достаточно для женщин, но в России модно заграничное образование и дает высшее положение в обществе.

Мина прониклась большим уважением к словам Алпатова и сказала:

— Да, если так, то все это очень и очень даже хорошо. Вы, вероятно, давно знакомы с невестой, и очень может быть, вместе росли.

С точным адресом невесты в кармане Алпатов осмелился ; немного приблизиться к правде и ответил Мине:

— Я невесту свою видел только раз в жизни, в тюрьме через две решетки, и лицо у нее было закрыто густой зеленой вуалью. Я помню только голос ее, очень музыкальный, и по этому голосу должен отыскать ее в Берлине.

Мина, бегая по хозяйству в комнате, была похожа на птицу в клетке, но от слов Алпатова остановилась и покатила со смеху: она поняла, что и весь рассказ его о невесте — выдумка, и он так ловко ее обманул.

— Но почему же, — спросил Алпатов, — это невозможно, ведь вы тоже любите Отто не за усы и бороду, вы полюбили его душу, и о душе его сказал вам его голос; вспомните его первый шепот, первые слова. Вы не

забыли еще, это было в прошлом году: у вас любовь тоже сразу явилась, любовь всегда является сразу, как стрела.

Мина покраснела. Она совершенно согласна, любят, конечно, за душу, но как же это: все-таки усы должны быть у мужчины.

И шаловливо сказала немецкую поговорку:

— Поцелуй без усов — все равно, что яйцо без соли.

ПРАВДА НЕМЕЦКОГО ПИВА

Алпатов подъехал к дому номер 14 на Фридрихштрассе, устроил свой велосипед у швейцара и добрался было по лестнице почти до самой квартиры пасторши Вейсс, но в последний момент ему пришло в голову, что визит его ранним утром покажется очень странным и что так не делают люди: надо явиться позднее. А в университете теперь как раз должна происходить имматрикуляция новых студентов, и, наверно, если только Инна будет учиться в Берлине, он встретится с ней, и все выйдет как бы случайно. Все это было очень разумно, и Алпатов скрыл от себя, что просто сробел.

В университете Алпатов долго мучил канцеляристов справками, на какой факультет записалась Инна Ростовцева, но везде, на всех факультетах, имени этой русской не оказалось. Во время этих справок с Алпатовым разговорился молодой студент из Саксонии, Адольф Мейер, и с интересом стал расспрашивать его о России.

— Мои родители очень бедные люди, — откровенно объяснил он Алпатову, и я подумываю по окончании курса выкинуть какую-нибудь штуку, вроде как вы это делаете.

— Какую же штуку? — спросил Алпатов.

— Вроде того, чтобы поехать в Россию и оттуда вернуться богатым человеком на родину.

— Это можно, — сказал Алпатов.

Мейер очень обрадовался и предложил Алпатову вместе где-нибудь в столовой позавтракать и выпить кружку пива.

— У меня и так от вчерашнего страшный катценяммер, — отнекивался Алпатов.

Но Мейер уверил его, что кружка пива совершенно вылечивает от катценяммера и что именно для этого и создан синий понедельник. Алпатову и самому захотелось полечиться и, главное, поскорее как-нибудь

провести время до приличного часа визита в квартиру пасторши Вейсс.

Студенты вышли на улицу и спустились в одно из бесчисленных берлинских пивных подземелий.

— Вы будете изучать философию? — спросил Мейер.

— Философию, — ответил Алпатов, — а вы?

— Я тоже философию.

Студенты чокнулись за философию с обыкновенными словами «прозит» и «мойн».

Мейер свою Саксонию очень любит, в Берлин он приехал только на один семестр, побродить, как делают многие студенты. А учиться, конечно, спокойней, дешевле и лучше в Саксонии. Там, в Йене, теперь читает Геккель, в Лейпциге — Оствальд и Вундт.

Чокнулись за Саксонию.

— А в России, — сказал Мейер, — наверно, хорошо служить — оттуда можно вернуться богатым человеком.

— Не знаю, — ответил Алпатов, — немцы от нас редко возвращаются: мы, русские, почему-то часто бежим из России, а немцы живут, им там хорошо.

После того Мейер предложил тост за Россию и стал усиленно звать Алпатова учиться в Лейпциг: там читает политическую экономию знаменитый Бюхер. Но Мейер не знал, чем именно Бюхер так прославился, и Алпатов стал ему рассказывать о замечательной работе Бюхера «Работа и ритм». Алпатов рассказывал о сочетании труда и музыки не прямо по Бюхеру, а как идея Бюхера в этот момент в ожидании свидания с Инной Ростовцевой преломилась в нем: ведь его упование на будущее счастье трудового человечества сходилось с музыкальным голосом тюремной невесты. Увлекаясь больше и больше, Алпатов делает смелый вывод из книги Бюхера: очень может быть, что и самый рост органической жизни на земле сопровождается тайной музыкой, поэты и композиторы, вероятно, и передают нам этот ритм, вот пример: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова...

Мейер с изумлением слушает, — кажется, он таких интересных людей еще никогда не видал.

— Вы изучаете философию, — спрашивает он, — а по какой же специальности?

— Моя специальность, — отвечает Алпатов, — вероятно, и будет политическая экономия.

— А что вы с этим будете делать в России?

— Я социалист.

— А это имеет в России применение?

— Это везде необходимо знать: история человечества теперь кончается неслыханной катастрофой. Вы-то разве этого не чувствуете?

— Мои родители, — конфузливо ответил Мейер, — бедные люди.

— Вы находите же возможным для себя изучать философию: значит, имеете время думать?

— Я изучаю ее для педагогики, я буду этим заниматься.

— А педагогика вам для чего?

— На это спрос везде, учитель всегда может получить приличное место.

Алпатов не унимался:

— Для чего вам приличное место?

— Место для чего? — удивился Мейер. — А как же я без приличного места могу добиться приличной жены?

Алпатов откинулся к спинке своего стула и с негодованием отрезал:

— Как вам не стыдно всю свою духовную деятельность посвящать какой-то бабе, притом еще вам не известной, и с единственным атрибутом: «приличная»?

Мейер очень смутился.

— Но как же иначе-то быть, — сказал он, — родители мои небогатые и очень почтенные люди, мое высшее образование берет их последние достатки, в будущем я должен, во всяком случае, быть не ниже их по своему положению, и это возможно только... вы же сами это понимаете, наше положение в обществе определяется приличной женой, и ей нужны для этого деньги. Так живут у нас все трудящиеся люди; скажите, как же это решается у вас, социалистов?

— У нас это решается, — ответил Алпатов, — не индивидуально, а общественно. Семейный и половой вопрос — только часть общего социального вопроса, мы сначала изменим условия экономические, общественные, а потом будем и лично устраиваться по-новому в этих условиях.

— Но если так случится, что ваша природа мужчины потребует удовлетворения раньше, чем создадутся благоприятные для новой жизни общественные формы?

— То же и с вами может случиться, — у вас может явиться приличная невеста, а приличное для нее содержание вами еще не будет достигнуто. Скажите, как найдете вы в этом случае, а потом и я вам отвечу.

Мейер улыбнулся и сказал:

— Студенты обыкновенно у нас много танцуют в веселых кабачках с

девушками, и обыкновенно это бывает портниха, а когда студент кончает курс, то женится на своей любимой невесте.

— Это двойная бухгалтерия, — ответил с негодованием Алпатов, — и такая гадость!

Мейер очень сконфузился и даже покраснел.

— Научите же меня, — стал он просить Алпатова совершенно искренно. Я, право, не знаю, как же иначе быть? Вы лично, простите меня, разве еще совершенно не имеете в этом потребности?..

Алпатов сильно покраснел и смущенно стал смотреть в стакан с пивом. Мейер даже испугался и взял его за локоть.

— Ну, простите, простите меня, добрый камерад, за нескромность, уверяю же, я не вашим личным интересуюсь.

— Нет, отчего же, — поднял глаза Алпатов, — мне кажется, я люблю одну девушку... и это мне не мешает. Я даже в этом чувстве как будто вижу силу, не допускающую мысли о Другой: вы назвали другую, кажется, портнихой?

— Не надо, не надо сердиться, — воскликнул Мейер, — все понимаю теперь — мы маленькие люди, наше чувство надвое: одно для портнихи, другое для невесты; у нас так делают все. Но вы большой человек, вы герой, я только у Шиллера это читал и думал — в жизни этого не бывает: вы хотите жить одним чувством. Вы сильный человек. Но как вы думаете, если произойдет мировая перемена, то и мы тоже будем, как большие сильные люди?

Алпатову стало подозрительно, не смеется ли над ним собеседник, и он испытующе поглядел на него: немец смотрел глазами чистого кролика. Тогда Алпатов стал говорить ему по всей правде:

— Вы очень ошибаетесь, считая меня за особенного и великого человека. Все наши русские исследователи народной жизни: Достоевский, Толстой, Тургенев и с ними вся наша интеллигенция, наши отцы, матери признают, что великое рождается в малом и незаметном, оно живет в массах, и великий человек выделяется только тем, что берет на себя от масс большое поручение. Вот что, а вы хотите составить мораль как будто отдельно, для больших и для малых.

— Вот именно, — ответил Мейер, — все великие люди во все времена заботились о малых и им давали добрые законы обыкновенной жизни, более легкие, чем для себя. Не будем спорить, мне теперь все ясно, вы идете по пути великих людей, но еще не успели приготовить законы жизни для маленьких.

Ничего не было в открытых, чистых глазах Мейера, кроме желания

служить честно коротенькой правде, которая в России называется мещанством.

Но они расстаются, конечно, друзьями, они, конечно, будут встречаться и, может быть, даже готовиться вместе к зачетам по общим предметам. На улице, провожая Мейера, Алпатов разглядел, что ноги у него от детского рахита были немного кривые, трудно было представить его танцующим с веселой портнихой, но в будущем виднелась отчетливо его прогулка в воскресный день по Тиргартену под руку с своей анштендиге фрау [Немецкое *ausfandiger Frau* приличная жена].

«Может ли кто-нибудь со стороны сказать о моем будущем?» — подумал Алпатов, садясь на велосипед.

И, сильно нажав на педали, помчался между экипажами к невесте.

Совершенный вздор мещанской жизни, услышанный им от Мейера, его удивление от рассказа о работе Бюхера сильно ободрили Алпатова. Невеста ему стала представляться реальной в сравнении с фантастической приличной женой, и потому он без робости поднялся по лестнице и уверенно позвонил в квартиру пасторши Вейсс.

На звонок скоро выходит девушка и отвечает, что русская фрейлейн уехала в Йену.

— Давно ли уехала? — спрашивает Алпатов. — Всего час назад, — ответила девушка.

— Но, может быть, она скоро вернется в Берлин?

— Нет, — ответила горничная, — фрейлейн сказала, что совсем не вернется в Берлин.

— И адрес свой в Йене не оставила?

— Я спрошу сейчас фрау Вейсс.

Голос пасторши Вейсс раздался из невидимой комнаты:

— Ничего не оставила!

А из другой какой-то таинственной комнаты был и другой вещий голос:

— Не видать тебе невесты, как ушей своих.

САКСОНСКАЯ ФЕЯ

Далекий друг мой, не удержусь от соблазна передать вам кое-что из близкого, что сейчас окружает меня. Помните сынишку моего, о котором я говорил вам вначале, что сорок девушек выбрали его старостой: он теперь

кончил свою школу и готовится в «вуз». Я прочитал ему эти письма к вам и просил его высказаться о романе Алпатова с Инной Ростовцевой и по возможности представить мне, как отнеслась бы новая молодежь к моему рассказу. Он ответил мне скоро, что лично его рассказ очень волнует, и верней всего потому, что он догадывается немного и о моей личной жизни, но современной молодежью такой рассказ не будет понят, они скажут: «Это не любовь, а только воображение». Долго мы спорили, он приводил мне множество примеров реальной любви в современности, и я каждый раз доказывал, что все его случаи тоже основываются на воображении, только в сторону, нежелательную для творчества на земле хорошего, сильного и умного человека. Но, сказав так, я испугался плена своих лет: ведь все отцы, часто в юности называющие себя материалистами и реалистами, в отношении своих детей потом становятся идеалистами. Итак, очень возможно, что и эти новые реалисты, чурающиеся воображения в любви, готовят для своих детей какой-то новый идеальный сюрприз. Отбросив в сторону дурные возможности в современности, я стал вместе с моим сыном искать тот хороший смысл его реализма, из которого потом каким-то образом получается «идеализм», и мы вместе с ним решили, что этот реализм есть настойчивое требование современной молодежью новых форм быта, согласного с новой необыкновенной эпохой.

— Но тогда, — сказал я сыну, — мы с тобой далеко не ушли друг от друга: у нас в этом тоже не было примера, и каждый решал эти вопросы по-своему.

— Почему же, — спросил меня сын, — эта Инна у тебя все как-то не дается Алпатову и убегает?

— Уверю тебя, сын мой, — сказал я, — что чувствую себя в рассказе не больше как маленьким колесом, через которое перекинут ремень от огромного маховика; я ничего не выдумываю: Инна должна убегать от Алпатова.

Я сделал уступку сыну, принимая во внимание обыкновенную склонность молодежи к натуральным законам.

— Я представляю себе, — сказал я, — что творческая сила природы, ставшая личным делом отдельного человека, преобразуется, но не изменяет общим законам; Инна должна бежать от Алпатова потому же, как в клетке для спаривания животных самка долго бегает по кругам и не дается самцу. И в брачном полете птиц всегда она стремительно летит впереди от него, и он ее догоняет. Вся разница с нами состоит только в том, что у них не обращают никакого внимания на тех, кто погиб в непобедимом стремлении каждого, размножаясь, продолжать свое бытие: роман

животных кончается браком. В человеческом же мире, я так понимаю, чувство жизни разнообразней и тоньше, чем у животных, свадьба у нас не единственный конец, напротив, любовный пробег человека по земле интересует нас, как и его смертный пробег.

После этих слов мой сын глубоко задумался.

Друг мой, эта справка с современностью дает мне еще большую смелость отдаваться своему воображению, потому что я убедился, отцы не передали нашим детям готовых форм брака, матери в революцию променяли на хлеб приданое своих дочерей, и в этой пустоте быта мечты и сны Алпатова реальны и найдут своих толкователей.

Бывают повторные музыкальные сны, которые никогда уж больше не привидятся, если хоть раз попробовать их рассказать даже самому близкому или записать: в словах уходит сон навсегда от себя и больше не возвращается. Вот почему, наверно, так все боятся писать о самом близком и дорогом, почему, наверно, и так редки подлинные поэты. Но эти отпущенные на волю слова сами становятся как люди, часто вмешиваются в дела и переменяют отношения.

Вот так и Мина совершенно иначе встретила Алпатова, после того как он намекнул ей о своей необыкновенной любви. Его слова о своем самом близком хотя и показались молодой женщине шуткой или поэтическим сном, но не прошли даром, и она с играющей улыбкой на своем лице почти дружески спросила его:

— Как у вас дела идут, господин Алпатов, нашли вы свою невесту?

Алпатов грустно ответил:

— Нет, добрая фрау Шварц, моя невеста сегодня уехала в Йену и даже адреса мне своего не оставила.

Мина всмотрелась в Алпатова и поняла, что невеста не выдумка. Она тоже серьезно и задушевно сказала:

— Не тужите, пожалуйста, не тужите, радуйтесь, что ваша невеста уехала из этого военного каменного Берлина. Йена — моя родина, это чудесный маленький городок, и русскую фрейлейн вы там сразу найдете.

Потом она рассказала о какой-то Зеленой Германии. Там, в Тюрингенских горах, покрытых милыми лесами, всегда окутанными фиолетовой дымкой, расположились маленькие города, в которых живут садовники, эти города не враждуют с природой, и люди там очень добрые, совсем не такие, как в Пруссии.

Когда Мина сказала слова Зеленая Германия, Алпатову смутно что-то вспомнилось, но только этой ночью во сне он догадался, что это было: эта Зеленая Германия явилась ему как Зеленая Дверь, сон, повторявшийся, как

ему казалось, тысячи раз. Зеленая Дверь всегда являлась ему в куще деревьев, обвитых хмелем, закрытых внизу высокой, непомятой травой. И он должен идти в эту дверь, не задевая ни одной травинки, не тревожа ни одного жучка...

Весь этот сон был музыкальный, мелодии всякий раз были те же, и такие отчетливые, что каждый раз тут же в конце являлось решение непременно их пропеть. Но каждый раз неизменно все попытки пропеть ему не удавались. Очень возможно, что те, кто утром, отправляясь на службу, иногда насвистывают какую-нибудь общеизвестную мелодию, заменяют этим свою небывалую. Но Алпатов при всей своей музыкальности был человек с неверным слухом, и, кроме того, собственная мелодия казалась ему такой прекрасной, что и в голову ему не приходила возможность отсвистать вместо нее что-то другое. Вместо этого ему хочется двигаться, что-то переменить, что-то начать. И так «пройти в Зеленую Дверь» превращается наяву в решение ехать в Зеленую Германию, и как можно скорей.

А Мина и не сомневалась нисколько в Алпатове: она с вечера уже решила, что жилец ее непременно утром поедет в Йену, кое-что испекла даже для фрау профессорши: Ниппердай, у которой долго служила. Она уверяет Алпатова, что фрау Ниппердай непременно в тот же день, сегодня же, разыщет ему невесту: ведь она же и ей помогла выйти замуж за Отто.

В передней Мина, прощаясь с Алпатовым, настаивает:

— Нет, вы так забудете, вы запишите на бумажке: «фрау Ниппердай» — и завяжите на память себе узелок.

Алпатов завязал узелок и еще раз пожал руку доброй женщине. И, выйдя на улицу, он не забыл поглядеть наверх, и угадал: Мина была у окна. А потом, на повороте, когда он в последний раз посмотрел, там во всех этажах на балконах хозяйки в белых передниках развешивали под действие солнца и ветра пуховики и ночное белье, из-под крыши махала ему Мина белым платком, а внизу щетками чистили, поливали асфальт, и всюду пахло водою и камнем.

РАХМАНЬИЙ ЛЕСНИК

Сон о Зеленой Двери еще не совсем отлетел, когда Алпатов из окна вагона, набитого рабочим людом, женщинами с огромными корзинами,

увидел покрытые фиолетовым лесом отроги Тюрингенских гор. В этих горных лесах было столько простого, к чему так легко привыкать, и такого заманчивого и похожего на сон о Зеленой Двери, что Алпатову захотелось обнять одного чистого старика из Саксонии, сидящего на корзине, и в этот самый момент наконец он отгадал значение одного немецкого слова, сказанного о саксонцах Миной при расставанье. Она своих земляков назвала *gemuthliche Sachsen*, и Алпатов весь день искал в русском языке подобного слова: добрые, простые, уютные — все было не то. Но когда ему захотелось обнять лесника, покрытого добродушными саксонскими морщинами, он вдруг догадался, что значит по-русски немецкое слово: саксонцы рахманый народ. Этот лесник рассказал Алпатову, что в Йене все хорошо, много садов и всяких плодов, и в лесу на каких-то хвойных кустах есть совсем маленькие синие ягоды, они очень рот освежают в жаркое время, и квас из них в Саксонии делают прекрасный. А когда лесник, в свою очередь, поинтересовался, зачем Алпатов едет в Йену, то было так легко и просто сказать ему о невесте и что он прямо из вагона отправится искать адресный стол.

— Не надо время терять, — сказал рахманый старик, — ваша невеста остановилась, наверно, у фрау профессорши Ниппердай.

— Ниппердай! — воскликнул Алпатов. — Но как же вы догадываетесь, что невеста моя у профессорши?

— Очень просто, — ответил лесник, — Йена небольшой город, иностранцы все останавливаются у фрау Ниппердай, у нее комнаты с окнами в горы. Я живу там недалеко от нее, нам по пути, я вас провожу, и вы непременно найдете невесту.

А вишни уже спели, и когда Алпатов с лесником очутились на дороге-аллее из фруктовых деревьев и некоторые спелые ягоды, висевшие над самой боковой тропинкой, стали заглядывать прямо в рот, то Алпатов с восторгом узнал в этом волшебные рассказы в детстве о европейских дорогах-аллеях. Одна спелая вишня была так велика, что Алпатов не удержался и погладил пальцем ее бархатную кожицу. А спутник, обремененный тяжелой корзиной, заметив это, сказал:

— Кушайте, кушайте!

— Боюсь, — ответил Алпатов, — я слышал, что никому нельзя трогать придорожные фрукты.

Старик до того удивился, что даже опустил на землю корзину и присел отдохнуть.

— Кто это вам наговорил, — сказал он, — мы не трогаем сами, потому что нам незачем: у нас почти у каждого есть свой сад. Но я вас очень, очень

даже прошу: кушайте на здоровье. Ведь и саксонцы тоже бывают в России и, наверно, там тоже едят. У нас довольно всего такого, прошу вас, не стесняйтесь нисколько и кушайте, сколько только вам хочется.

Были на пути еще аллеи из груш, яблонь, каштанов и слив. Оставалось уже немного до леса, и показался уже шпиль дачи профессорши Ниппердай, но лесник упросил Алпатова свернуть немного в лес с дороги полюбоваться замечательной, тюрингенской ягодой.

Они прошли немного лесом до полянки с кустами, и тут лесник указал обыкновенные голубые ягоды можжевельника, которыми в России питаются тетерева. Алпатов хорошо знал их по запаху, но никогда не приходило ему в голову попробовать. Ягода оказалась сладковатой, и рот наполнился ароматом леса. Старик заметил, что Алпатову понравилось, и он сказал на прощанье:

— Кушайте, сколько только хотите, это очень рот освежает, а потом идите вот по этой тропинке, мне вот сюда надо, в эту сторону, а вам туда, к невесте, она живет там, вон там!

БЕЛАЯ ШАЛЬ

Очень хотелось Алпатову побыть одному среди высоких деревьев, слегка шумящих вершинами, но вечерело в лесу, и надо было искать ночлега. Он пошел по тропинке, не думая, что усадьба профессорши находилась так близко. И как-то вдруг деревья расступились, и Алпатов очутился среди клумб против террасы, на которой ужинало много людей. Его оттуда заметили, и, видно, все стали с удивлением ожидать выходящего из леса. Но скоро он не мог подойти к террасе, потому что не было ни одной прямой дорожки, мало того, он попал в лабиринт, и пришлось даже вернуться назад. Все это очень смущало Алпатова, ни разу еще не бывавшего за границей в образованном обществе. Лица на террасе долго не определялись, и только уж когда он был совсем близко, глянула на него властная старушка в сером платье. Алпатов снимает шляпу, приветствует фрау Ниппердай. Он — русский турист, ищет себе комнату для ночлега. Профессорша просто ответила:

— Я сама догадалась, что вы ищете пансиона, есть одна свободная комната, прошу вас к столу.

И Алпатов попадает в непрерывный поток небольших тарелок с копчеными рыбками, с маслом, с сыром, колбасами, с хлебом белым, сладким, черным, кислым и каким-то еще кисло-сладким. Каждая тарелочка приходит с любезным пожалуйста, и на это постоянный ответ благодарю, и самому надо проводить непременно с «пожалуйста» и себе остается «благодарю», и только взялся за вилку, является новая тарелочка, и

ее опять надо вежливо встречать и провожать. По всему большому круглому столу не столько едят, сколько угощают, благодарят, и так бегут непрерывные банкеты и битты. Алпатов, однако, очень скоро определяется в этом потоке, ему вспомнилось, как по торжественным дням к его матери приходила старая дьяконица Евпраксия Михайловна с подрастающей дочкой Нюрой и сидела с ней рядом на стульях возле стены, а потом за столом обе сидели ни живы ни мертвы, приглядываясь к другим: как все, так и они. Алпатов смирился до дьяконицы, и в немецком обществе это как раз и надо было, чтобы показаться воспитанным молодым человеком из хорошего общества. Фрау Ниппердай, очень довольная, сказала:

— Как это счастливо вышло, только сегодня выехала от нас очаровательная русская девушка и уступила свою комнату милому земляку.

— Разрешите узнать ее имя? — спросил Алпатов.

— Имя ее, — ответила хозяйка, — фрейлейн Инна Ростовцева.

— Ах!

И когда потом улыбнулась хозяйка, и все улыбнулись, и Алпатов с недоумением поглядел, профессорша объяснила:

— Вы сказали свое «ах!» совершенно так же по-русски, как фрейлейн Инна, мы все учили ее выговаривать по-нашему, гортанно, и она никак не могла. Но почему же вы сказали при ее имени «ах!», разве вы ее знаете?

— Я с ней встречался в России.

— Она рассказывала нам много чудесного, как в России девушка иногда идет на свидание в тюрьму к не известному ей заключенному, будто его невеста, и что она тоже ходила, и у нее есть жених, с которым она виделась только раз через двойную решетку, и она ждет его теперь сюда. Это было очень похоже на роман Вальтера Скотта.

Алпатов успел овладеть собой и ответил:

— А мне кажутся такие романы скорее в духе Шехерезады, тысяча и одна ночь.

С этим все согласились, и один филолог даже пытался подтвердить это фактами влияния арабской культуры на славянскую в древности через торговые сношения в низовьях Волги. После ужина фрау Ниппердай сама ведет Алпатова показывать ему комнату, самую большую и светлую в ее пансионе. Заря еще не совсем погасла, в огромные окна виднелись холмы, покрытые лесом, и, увидев их, Алпатов решился спросить фрау профессоршу, куда же уехала фрейлейн Ростовцева?

— Вы, русские, удивительные люди, — ответила профессорша, — вы можете к поэтическим вымыслам, всяким художественным и музыкальным образам относиться так же, как мы к деловой действительности: фрейлейн

Инна главным образом желает повидать зал на Вартбурге, где состязались певцы Вольфрам и Тангейзер, ее интересует история Веймарского герцога, по-видимому, гораздо больше, чем современного дома Гогенцоллернов или Романовых, а в заключение своей поездки она хочет повидать в Дрездене Рафаэлеву «Сикстинскую мадонну» и некоторые шедевры венецианцев.

Фрау Ниппердай хотела, кажется, еще что-то рассказать о дальнейших планах счастливой русской фрейлейн, но вдруг вскрикнула и всплеснула руками:

— Фрейлейн Инна забыла у нас свою прекрасную шаль!

— Не беспокойтесь, — ответил Алпатов, — в Дрездене-то я уж, наверно, увижу ее, а может быть, догоню еще раньше и передам ей эту шаль непременно, будьте покойны.

— Так, значит, и вы тоже хотите ехать поэтическими следами нашей истории? Какие вы счастливые люди! — сказала профессорша.

И, пожелав Новому жильцу покойной ночи, вышла из комнаты. Алпатов запер дверь на ключ и долго рассматривал старинную шелковую, белой гладью шитую, шаль.

СТУПЕНЧАТЫЙ СОН

Бывает, приснится желанное и совершенно невозможное в жизни и так страстно во сне прирастает к тебе, что, пробуждаясь, не сразу расстаешься с видением, а постепенно спускаешься к действительности, как по лесенке в холодную воду. Алпатову еще в раннем детстве, повторяясь потом не один раз, снилась березка с золотыми, гармонично звенящими листьями. Он подходит к певучей березке и на память берет себе несколько золотых листиков. После того он спускается на одну ступеньку и тоже видит во сне, будто пробудился, и оказывается, что в действительном мире не бывает берез с золотыми поющими листьями. Однако рука что-то нащупала в кармане, сердце забилося надеждой: вот пальцы уже определили предмет, и только страх перед новым обманом запрещает вырваться из груди ликующей радости. Вот в руке наконец сверкает золотой листок, и хочется стремительно бежать к людям, скорей, как можно скорей объявлять им существование чудес на земле, означающих в то же время почему-то спасение мира, полное избавление от Кащеевой цепи несчастных, заключенных и осужденных всюду в поте лица добывать себе хлеб и в

болезнях рождают новых и предвечно проклятых людей. А после великой радости сон спускается еще на одну ступеньку, и все обнажается: в жизни не бывает певучих берез.

В эту ночь Алпатов видел новый ступенчатый сон. Рахманий саксонец будто бы показывает ему прикрытую кустом можжевельника тайную тропинку в лесу и говорит ему: «Идите, мой господин, туда, ваша невеста там, вон там». По этой тропе Алпатов идет недолго, показывается знакомая Зеленая Дверь, закрытая тончайшим сплетением трав, через которые надо пройти, не задев ни одной. И вот, оказывается, нет никакой трудности пройти между травами и не согнуть ни одного цветка, не потревожить ни одного жучка; нужно только для этого отказаться от всякой выгоды для себя. Оказывается, оставлять выгоду сзади себя, по ту сторону Зеленой Двери, очень легко, и обыкновенный страх перед этим — великий обман. Выгодное — это значит мелкое, совершенно лишнее, а большое свободно проходит между травами, обнимая их, как воздух, не шевеля ни одного лепестка на цветках. А на той стороне все те же самые можжевельники, сосны, ели, тропинки, луговые цветы, и только одним она отличается от обыкновенного мира, что растет музыкально, все совершается музыкально, везде вокруг естественная музыка, которой с таким трудом подражают в обыкновенной жизни, проделывая смешные движения локтями и пальцами. Невеста приходит... Сон обрывается. Остается только слабое воспоминание о какой-то вещи, оставленной невестой у него на руке. Но из этого маленького воспоминания мало-помалу разгорается великая радость, потому что ведь не очень трудно жить и страдать, если знать по какой-то вещице о волшебном музыкальном мире, существующем в простых вещах. Вот она, белая шаль, он ее видит, она перешла в жизнь из музыки. Кажется, нет никакого сомнения, но все-таки лучше проверить и спуститься еще на одну ступеньку. Так он спускается все ниже и ниже, а шаль остается. Вот он уже ясно слышит голоса за стеной и в коридоре, узнает даже голос профессорши, понимает, что это на веранде кофе готовят...

В этот раз Алпатову так и не пришлось спуститься с последней ступеньки, и в жизни осталось, как во сне: в огромном окне сияли холмы Зеленой Германии, на голубом великом небе плавали спокойными кругами два коршуна, на некрашенной сосновой стене висела большая белая шаль...

ЗЕЛЕНАЯ ГЕРМАНИЯ

Алпатов не обратил никакого внимания на Германию военную, о которой с возмущением говорили все либеральные люди. Он смотрел в Берлине на жизнь по линии лучших возможностей, главой государства был ему Бебель, а не Вильгельм, господствующими классами не юнкерство и буржуазия, а только пролетариат. И когда он обернулся

в прошлое страны, в провинцию, то на первый план у него выступил не Бисмарк, объединивший все провинции, а веймарский герцог с поэтами Гёте и Шиллером. Волшебная шаль в баульчике, прикрепленном к рулю велосипеда, приглашала русского юношу дивиться земле Зеленой Германии, каждый аршин которой был любовно преображен человеком.

И кто, кроме русского человека, задавленного невозделанной землей, мог бы так понимать по контрасту величие преобразующего труда человека не гениального, а самых обыкновенных людей, которых в России презрительно называют обывателями. Ведь там только врагам говорят скатертью дорога, призывая этим как бы чудесные силы для избавления от врага. Там врагу желают прекрасной дороги, только чтобы он поскорее убрался, а друг осужден всю жизнь тащиться по невылазной грязи. В Германии для всех дорога была скатертью по всей стране, и так было прекрасно катиться по ней на резиновых шинах, так чудесно было остановиться под тенистым деревом и оглянуться с восхищением на преображенную землю. Алпатову казалось, будто библейское проклятие человека — осуждение на подневольный труд — относилось только к России и туда, в черноземный центр России, был низвергнут из рая первый Адам. Сколько слышится там жалоб человека, осужденного обрабатывать землю в поте лица, сколько там стонов женщины, рождающей в муках детей, иногда прямо в полях или на поскотине. Казалось, самому богу наскучили жалобы, и он создал второго Адама, но русская глина не могла дать лучшего, и новый Адам опять согрешил и опять был низвергнут на землю, которая была уже вся занята первым Адамом. Тогда, на удивление миру, в стране бесконечных степей и лесов появился новый человек, безземельный русский крестьянин, возмущенный на бога: осудил обрабатывать землю, а землей обошел...

Алпатов когда-то воспитал еще в себе теоретическое презрение к жизни немецких фермеров и крестьян. Так выходило, что это — самая косная часть населения, закоренелое мещанство.

Что-то мелькало Алпатову теперь еще не совсем ясное, над чем потом, он знал, придется много-много подумать. Волшебная шаль преобразила предметы, и мещанская страна превратилась в прощеную землю, Зеленую

Германию. Казалось, вдали везде синели леса, но когда к ним приближался, то все оказывалось рощами, сажеными рукой человека. Везде были рощи между полями, но в этих саженых лесах птиц пело гораздо больше, чем в огромных диких русских лесах, и время от времени через лесные поляны перебегали настоящие дикие козы.

Мало-помалу все перекинулось и на себя самого: раз он теперь в прощенной стране, то и он может принять участие в ее радостях, пусть временно, пусть как гость, но хоть временно, а все дай сюда, и потому долой все прежнее: худа от этого нет никому.

Кажется, мечты романтиков до сих пор остались фиолетовой дымкой над лесными Тюрингенскими горами. Белая дорога, как волшебная шаль убегающей невесты, вьется между горами. Русский юноша пьет холодную воду из ключа, возле которого шли пилигримы и своим пением напоминали Тангейзеру его рыцарский долг. Вот и зала на Вартбурге, где состязались певцы и Вольфрам пел о вечерней звезде. Алпатов добился своего, ему здесь сказали: невеста его здесь была. А в Веймарском парке он бродит по тем же аллеям, где Гёте бродил, и читает по-немецки вслух его «Ифигению». Новый смысл открывается ему в знаменитой трагедии на месте ее происхождения. Ифигения была в своем роду проклята, но своей волей, разумом, милосердием разбила Кащееву цепь.

Из Веймарского парка можно по тропинке спуститься в крестьянский трактир и за кружкой пива читать весь день том натурфилософии Гёте, купленный в лавочке за несколько пфеннигов. Алпатов поглядывает, читая, время от времени на фиолетовую дымку германских лесов, и ему кажется, что такого ничего не бывает в России. Большое облако подплывает к горе; в тот момент, когда встречается с горой, вдруг является весь смысл прочитанной книги. Впрочем, он знал, конечно, это и раньше, да не смел выразить, а вот в книге нашел подтверждение: эта книга была о внутренних чувствах жизни. Ведь с чем было большее всего расстаться — это с чудесами, когда явился на это запрет, как на обман: что мир в шесть дней сотворен, что Моисей мог добыть воду из скалы ударом жезла, что жезл Аарона расцвел. Но вот теперь, если признать законы естественные, как необходимые берега, то внутри берега течет река чудес, и сотворение мира в законах эволюции не лишается прелести чуда, и, конечно, тоже можно понять и воду Моисея, и цвет Аарона, и так все: только перенести чудо внутрь закона, и чудо начинает свою собственную жизнь, и музыкальная сказка обращается в самый глубокий закон жизни.

Алпатову казалось, что он нашел у Гёте себе целый новый мир, и никак не приходило ему в голову, что и самого

Гёте ему открыла волшебная шаль, заключенная в баульчике, привязанном к велосипеду, и в то же время раскинутая необыкновенно ровной, как скатерть, дорогой.

Волшебная шаль, соединенная с натурфилософией Гёте, обещает Алпатову чудеса не только в этих тенистых аллеях, а в самом черном труде. Почему бы ему вот прямо не подойти к этому великану с синими помочами поверх белой рубашки и не расспросить его о творчестве чудес Зеленой Германии? Великан-садовник что-то делает с большой кучей навоза. Алпатов сходит с велосипеда, кланяется. Великан ждет.

— Я иностранец, — говорит Алпатов, — я очень интересуюсь, как в Германии обходятся с навозом.

— Ах, это очень интересно, — говорит великан. Садовник вполне понимает интерес Алпатова, и это понимание кажется русскому юноше совершенным доказательством, что внутри законов природы живут сказки и чудеса.

А великан с большой охотой и радостной гордостью рассказывает о своем простом деле: из этой большой кучи навоза ночью стекает жидкость в бетонную канавку — это драгоценная жидкость. Каждое утро жидкость надо вернуть навозу, и она потом снова стекает в канавку и опять возвращается.

— Это золото прошлого, — сказал великан, — и мы его охраняем: от нашего ухода навозу бывает очень хорошо.

Алпатов схватился за эти слова: он по-немецки еще не может просто понимать слова, и часто они у него одушевляются, как в раннем детстве свои родные слова, ставшие только долго спустя в привычке обыкновенными.

— Вы сказали, — спросил он, — навозу бывает хорошо от вашего ухода, как будто навоз может чувствовать?

Великан улыбнулся иностранцу.

— А, конечно, навоз может чувствовать! — И, немного подумав, прибавил: — Сначала навозу бывает хорошо, а потом и человеку, потому что это известно, если хорошо навозу, то и хозяину потом бывает хорошо.

Вот и все, что Алпатов узнал от садовника, но ему и в этом было немало. Теперь, на что только он ни глянет, ничто от него не отвертывается и не упрекает, как на родине. Прекрасная, совершенно белая дорога по зеленым полям, ровные канавки возле дороги, плоды на деревьях, свисающие до самого рта, красивые коровы, среди которых ходит и египетский Апис, рабочие кони-великаны с огромными телегами, перелески с поющими птицами, белые двухэтаж

ные дома в деревнях и, главное, сама земля, возделанная, удобренная, с верхним бархатным слоем, — все говорит по-своему:

— Мне хорошо, и потому хорошо человеку.

«СИКСТИНСКАЯ МАДОННА»

По всей Зеленой Германии везде в отелях от служащих девушек, в ресторанах от кельнеров, и от проводников по горам, и от старика в домике Шиллера Алпатов узнает о русской девушке, прекрасной, веселой и щедрой. Были ответы на его вопросы «когда проехала?» сначала «позавчера», потом, когда он весь день просидел над книгами Гёте и отстал, ему ответили «третьего дня», и опять он нагнал, и на горе Венеры барышня, торгующая открытками, сказала: «Русская фрейлейн проехала позавчера, накупила множество открыток, долго писала в беседке и поручила отправить на почту». После того Алпатов почти не сходил с велосипеда, и на Эльбе ему сказали на пристани: «Русская фрейлейн вчера проехала в Дрезден, и ее сопровождал молодой швед».

— Как швед? — удивился Алпатов.

А сам смотрит на дорожку, усыпанную желтым песком, туда далеко, где на скамейке под каштанами, кажется ему, молодой швед целует какую-то барышню.

— Это не она! — сказал Алпатов.

— Вы можете точно узнать в отеле, — ответили на пристани. — Там все иностранцы расписываются в книге.

Долго роется Алпатов в книге, но не может найти желанного имени. Его уверяют, что русская фрейлейн вчера здесь обедала.

— Одна? — спросил Алпатов.

— Совершенно одна.

Алпатов очень обрадовался и подумал: «Ну, теперь уж я, конечно, найду ее, если только она заглянет в музей посмотреть «Сикстинскую мадонну».

День ли удался такой в природе яркий, или у людей был какой-то праздник, или этот праздничный город, как вечнозеленое растение, был сам по себе предназначен для вечного праздника? Алпатов, входя в Цвингер, среди множества людей в богатых одеждах вдруг вспомнил одну, забытую им, прочитанную в раннем детстве сказку-поэму о юноше Нолли и какой-то

девушке, разбившейся о скалу в радостном порыве жизни. Юноша несет на руках хоронить любимую девушку, а везде в воздухе пролетают весенние духи радости и зовут принять участие в великом празднике, и никто даже не понимает его земную скорбь. Кто был автор этой волнующей сказки, Алпатов не помнил, как иной и великий художник не помнит, что все его искусство произошло от волнения, испытанного им при нечаянном взгляде на какой-то лубок, как не помнит поэт и писатель свое начало от нескольких слов, схваченных в бульварном романе, и композитор от шарманки, и великий человек от проникновенных слов, услышанных им в детстве от неграмотной нянюшки...

Весь огромный музей предстал Алпатову как воспоминание сказки, и чудом казалось, что ту же самую сказку переживали все художники с далеких времен. И он шел из одной залы в другую очарованный и как бы пьяный от постоянных рассказов в красках и линиях одной и той же своей собственной сказки. Он не обращал никакого внимания на множество празднично разодетых людей, среди которых, может быть, бродила где-нибудь, рассматривая тех же голландцев и венецианцев, его невеста. Если же случалось ему оторваться от картины и бросить взгляд на живое лицо, то в свете живописи лицо это определялось какой-нибудь школой, встречались лица фламандской школы, голландской, венецианской. Рубенс, Ван-Дейк, Тициан распределялись в живой толпе на лицах людей, как на стенах. Но зачем было собирать в толпе пятна отраженного творчества, если на стенах висели оригиналы великих творений? И потому не было ничего странного в том, что юноша узнавал свою невесту по какой-то детской сказке в картинах великих мастеров и совершенно забыл, что она, живая, бродит где-нибудь тут, возле него. И когда он нечаянно вошел в комнату, назначенную одной только «Сикстинской мадонне», то сразу узнал в ней что-то очень знакомое и совершенно простое и прекрасное. Подумав немного, он вспомнил: это было в жаркий день на опушке дубового леса, жнея подошла к люльке, висевшей под деревом, взяла ребенка, стала кормить и осталась в памяти святая, как и мадонна Сикстинская...

Такое простое внутреннее чудо, такое обычное, ежедневное, почему-то выходило на картине бесконечно значительным, и вся картина была большая, как океан. Похоже было с Алпатовым, как если бы странник, долго, мучительно путаясь в тропинках по тундре, совершенно усталый выбрался на последнюю скалу берега и вдруг увидал океан.

Алпатов не заметил в первое время, что по стенам этой комнаты были красные диваны и что на них сидели люди, смотрели на картину-океан. Некоторые из этих людей уходили домой после звонка только затем, чтобы

переночевать и потом на другой день опять глядеть в простое и бесконечное. Алпатов это заметил вдруг, и ему стало очень стыдно ходить по комнате и невольно попадать между картиной и чьим-то глазом. Он высмотрел себе свободное место и, опять рассматривая мадонну, стал вспоминать святую жнею, чудесную бабу под Ельцом, у колыбели под дубом. Так в этот день странным образом сходилось все к одному: в Ифигении открывался человек, победивший проклятие свое, а картина Рафаэля раскрывала естественную невинность людей...

Потом в комнату вошел какой-то человек и остановился перед картиной так же, как и Алпатов, не замечая, что должен мешать сидящим на диванах. Но Алпатов не посмотрел на вошедшего и только с досадой чувствовал его близость. Скоро он привык к этой тени в глазу, но тень перешла и о себе напомнила. Она странствовала из стороны в сторону и раздражала все больше и больше. Некоторые стали с досадой оглядываться на тень, и кто посмотрел на нее, почему-то уже долго потом не возвращался к картине. Алпатов, заражаемый всеми, тоже поглядел на человека, бросающего в глаза тень, и, как только глянул, тоже забыл о картине: странствующий по комнате человек был его друг Ефим Несговоров. В первый момент Алпатов подумал, что сходит с ума, — до того невероятным было ему встретить Ефима у «Сикстинской мадонны». Казалось, века прошли с тех пор, как он в тюрьме целые ночи перестукивался с Ефимом, и за эти века так сложилось по-новому, что Ефим вдали где-то в России представлялся самым дорогим на свете существом, а вблизи было почему-то за него стыдно и даже не хотелось бы совсем тут его встречать... А когда Алпатов через какое-нибудь мгновение убедился окончательно, что это Ефим, то ему мелькнула даже мысль незаметно удрать из музея, но он тут же себя на этом поймал и перемог силу беспричинного отталкивания. Ефим был такой же, как в России, в черной косоворотке, опоясанной тоненьким ремешком, в яловочных, не имеющих блеска смазных сапогах, с лицом святого разумника, с улыбкой, от глаз без помощи щек переходящей на губы. Мелькнуло Алпатову при виде Ефима что-то задорное в себе, такое новое, за что он, может быть, еще и постоит и даже вызовет Ефима на бой... Вот Ефим был в Цвингере такой же, как и в Ельце, а у него в одной петличке цветок, в другой жетон стрелкового общества, и там, в баульчике, волшебная шаль, и в голове постоянный образ невесты, переменчиво мелькающий в картинах великих художников. Ефим, очень может быть, в это время и творение Рафаэля старался подогнать в цепь причин и следствий монистического взгляда на историю... Все это мелькнуло в одно мгновение как неприятное ощущение чего-то слишком домашнего, но в

следующее мгновение он смахнул с себя это и встал, чтобы радостно броситься к другу. Но раньше Алпатова к Ефиму подошел наблюдатель и попросил его оставить музей.

— Вы можете, — сказал он, — дома переодеться и вернуться: времени у вас еще довольно.

Ефим улыбнулся по-своему.

— В каком же костюме, — спросил он, — надо появиться у вас в музее?

— В каком угодно, — ответил наблюдатель, — такое постановление администрации: каждый посетитель должен быть прилично одет.

В это время подошел Алпатов и, обнимая Ефима, сказал:

— Все дело, Ефим, в крахмальном воротничке, пойдем купим, ты еще не привык к этому.

Потом они вышли на лестницу, и, спускаясь, Ефим осмотрел Алпатова и сказал:

— Зато как скоро ты привык, совсем неузнаваемый. Алпатов покраснел, Ефим это заметил и улыбнулся. — А впрочем, — сказал он, — по существу, ты все такой же, у тебя все на лице написано.

— Ты знаешь, — болтал Алпатов, чувствуя, как все больше и больше деревенеет язык, — в Германии все так дешево.

— Знаю, — ответил Ефим.

— Тут, — продолжал Алпатов, — все так устроено, что и рабочий может нарядиться.

— Едва ли, — промолвил Ефим.

— Как едва ли? Есть крахмальный воротничок за две марки, но есть и за пять пфеннигов; тоже блестящий белый воротничок, конечно, бумажный, но...

— Все-таки бумажный...

После того Алпатов не знал, что сказать, и шел, как привязанный на цепь, убежал бы охотно, да не мог: Ефим молчал и держал. И так они перешли Эльбу. А потом Ефим совершенно спокойно, очень возможно и не чувствуя неловкости Алпатова, спросил:

— Ты зачем здесь?

Но Алпатов не мог так оставаться и вызвал своего старого друга, он сказал, что в России считал самым отвратительным для революционера:

— Я занимаюсь эстетикой.

— Эс-те-ти-кой, — повторил отдельно Ефим.

И засмеялся по-своему отдельно глазами и губами. Алпатов любил, когда Ефим так смеялся над кем-то, но первый раз с отвращением и

ненавистью узнал на себе силу этой улыбки без помощи щек.

— Как же это ты так занимаешься эс-те-ти-кой? — спросил Ефим.

Алпатов ответил:

— Я сегодня видел... — Он хотел сказать — «Сикстинскую мадонну», но злость прилила к его сердцу, и он выговорил: — Я видел мать Божию...

Ефим стал очень серьезным и ничего не сказал. Они прошли немного по бульвару молча. Потом Алпатов спросил:

— А ты учиться приехал?

— Да, между прочим и учиться медицине в Берлине.

— Зачем же ты в Дрезден попал?

— По одному делу.

— А я видел, как ты мадонну рассматривал: мне казалось, ты искал под этой необыкновенной идеологической надстройкой экономический базис.

— Нет, я не об этом думал, — ответил Ефим серьезно и почти грустно, в тюрьме я пережил охоту к этой нашей юношеской схоластике, я думал о другом. — Он остановился в проходе бульвара и сказал: — Я живу в этой маленькой гостинице, там во дворе есть сад, давай пообедаем. Я тебе там скажу, о чем я думал.

Алпатову стало полегче, и, когда кельнер принес, не спрашивая согласия, пива, ему захотелось снова болтать, и он стал объяснять Ефиму значение немецкого выражения Bierzwang — это значит принудительное пиво, хочешь не хочешь, а пей. Выдумывая, Алпатов стал рассказывать историю происхождения этого принуждения, оно будто бы явилось из Пруссии как сопутствующее явление объединения Германии и централизации власти.

Ефим перебил болтовню:

— Ты что-то вертишься и как-то задираешь, мне вспоминается жених из «Дыма» Тургенева, как он тоже вертелся, когда влюбился в Ирину, и вдруг к нему явилась прежняя невеста и теща. В чем дело? Что с тобой произошло? Почему ты разоделся, сидишь среди буржуазии и смотришь на мадонну, как сыч?

Алпатов весь сжался для борьбы и ответил:

— Сознайся, Ефим, ты ведь тоже пришел посмотреть на мадонну, и ты по-своему смотрел с большим любопытством, и если бы не твой костюм, то имел бы время заметить, как ты мешал другим, и тебе непременно пришлось бы сесть на красный диван, и ты бы тоже смотрел на мадонну. Тебя тоже, как и всех, тянет к себе мадонна.

— Меня тянет, — ответил Ефим, — я тебе сейчас постараюсь сказать обещанное: меня тянет затаиться где-нибудь под одним из диванов, на которых сидят созерцатели мадонны, дожидаться звонка и перележать там время, пока уйдут сторожа, а потом вырезать мадонну и уничтожить.

Алпатов опустил глаза и, бледный, тихо сказал:

— Я мог бы за это убить.

Ефим стал в упор смотреть на Алпатова и спросил:

— А можешь?

— Я могу постоять за свое, — ответил Алпатов. — Помнишь, у нас, в Задонске, мы не раз с тобой говорили об этом; рыжий мужик захотел по примеру Христа вознестись с колокольни на небо, бросился и разбил себе ноги. Он погиб бесславной смертью, но я предпочел бы бесславие рыжего мужика, чем бессмертную славу грека, уничтожившего храм Дианы.

— Ты вспомнил рыжего мужика, — ответил Ефим, — вспомни же основного безумца, который сказал: «Разрушьте храм сей, и я его в три дня снова создам», — ты как понимаешь эти слова?

— Понимаю просто: Христос о себе говорил, что идея его бессмертна, и если его убьют, она будет исполняться в другом.

— Тогда почему же ты боишься за мадонну, что готовишься за нее убить живого человека? Если ты уверен, что в ней заключается великая идея, то она непременно возродится в том классе, где станет рабочей ценностью жизни, а не предметом созерцания расслабленных людей на диванах. Мне кажется даже, что человек, выпивший яд красоты женщины из картины, не узнает ее, когда встретит живую мадонну.

— Я узнал! — воскликнул Алпатов.

И рассказал, что первая мысль его при встрече с картиной была об одной жнее, в жаркий день кормившей грудью своего ребенка.

— Я прав, — ответил Ефим, — ты встретил жнею до мадонны и потом узнал мадонну в жнее. «Сикстинская мадонна» только напомнила тебе твою собственную, живущую в грязи под Ельцом. Но если бы ты вперед встретил Сикстинскую, то не узнал бы в деревенской бабе мадонну. И вполне понятно: ты бы тогда вперед жизни забежал, и возвращаться тебе бы стало неинтересно, все равно как мужик, соблазненный фабричным трудом, у нас никогда не может вернуться к земле.

— Плохой пример, — поймал Алпатов Ефима, — никуда не годится — я видел немецких мужиков: их ничем не соблазнишь, наши плохие земледельцы, потому и соблазняются.

— Отличный пример, — вступился Ефим за свое, — не надо только придирааться к словам и переливать из пустого в порожнее. Жизнь и моя, и

даже самого маленького революционера из рабочих дороже этой величайшей картины. В моем примере я фабрику представил как мужицкое небо, а жизнь как землю. И вот эту роль неба играет здесь мадонна. Ее песенка спета давно, все хорошее от нее переместилось в жизнь, и остался на холсте только идол искусства. Потому жизнь маленького революционера и дороже этого идола, что в его крови обращается подлинная мадонна. Посмотри же вокруг себя, какие жалкие, расслабленные люди облепили идола; в одежде рабочего нельзя даже там показаться. Все эти лентяи нашли себе в мадонне счастливый выход, блаженную палестинку для забвения от обязанности к человеку. Вот и ты даже стал говорить матерью божия, когда, наверно, задумал пошалить с какой-нибудь бабенкой.

Алпатов потерял равновесие, побледнел и пробормотал:

— Я вижу, ты серьезно решаешься...

— Успокойся, — ответил Ефим, — у меня обязанности есть посерьезней: я не трону твою картину, ты можешь спокойно заниматься эстетикой. Я тебе только хочу напомнить наше решение. Помнишь? Мы согласились взять на себя долг акушеров и облегчить роды нового мира.

Алпатов не мог ничего сказать и потупился. Ефим встал.

— У меня дело, — сказал он, — завтра я уезжаю в Берлин. Ты зайдешь?

— Не знаю, — ответил Алпатов.

— Не здесь, а в Берлине?

— Не знаю же...

— А я знаю: ты зайдешь, с тобой что-то происходит, и мадонна тут ни при чем.

Алпатов вспыхнул. Ефим на прощанье сказал:

— Мы с тобой акушеры, мы должны человеку пуповину от бога отрезать.

ПЕТУХ В КОРЗИНЕ

После разговора с Ефимом все переменилось Алпатову на улицах саксонской столицы, не звучала ему больше музыкальная сказка, и лица людей не удивляли сходством с оригиналами великих художников. Он был очень смущен и чувствовал, что вступает в какой-то круг, заключающий в себе самое страшное. Вы это поймете, друг мой, если от «Сикстинской

мадонны» я перекинусь к более позднему, к другой картине. Напомню вам пережитое сравнительно в недавнее время. Какой-то итальянец, как всегда в этих случаях говорят — безумный, украл из Лувра «Джиоконду» и затаил ее у себя. В ответ на этот отважный поступок человека, влюбленного в картину и страстного итальянского патриота, фабриканты туалетного мыла, конфет и пудры всех стран во многих сотнях, тысячах, а может быть, и в миллионах, воспроизвели «Джиоконду» на конфетах, мыле и пудре и распространили по всему свету загадочный лик женщины Леонардо. Благодаря этим картинкам на коробках в столицах показались женщины, изображающие из себя Джиоконду, потом такие же дамы и в губерниях и, наконец, в глухих городках: была костромская Джиоконда, и харьковская, и киевская, и даже звенигородская, везде — в театрах, в садах, на волжских пароходах и на всех дворянских улицах — можно было встретить дам с поджатыми губами и таинственной улыбкой. Не помню теперь, сколько времени пропадала настоящая «Джиоконда», но только находка ее далеко не произвела того эффекта, как пропажа, как будто каждый уже удовлетворился своей провинциальной Джиокондой и тайну ее про себя разгадал. Но, вспоминая это, невольно думаешь: а что, если бы веселый женский бульвар усвоил бы действительно страшный смысл красоты женщины Леонардо и этим подменил бы свою обыкновенную любовь? Если бы это случилось, мне так представляется, в один бы миг, как при коротком замыкании, перегорели бы все пробки жизни, и весь веселый бульвар в этой любви сгорел бы, как в крематории. К счастью весельчаков, бульвар не подчиняется страшному в красоте, напротив, приспособляет ее для своего удовольствия, обеспечивая нам отдых на лавочке под каштанами или спокойную прогулку на пароходике. В летнее время такие пароходики на Эльбе похожи на большие плывущие букеты цветов, до того много на их палубах девушек, разодетых в цветное. На одном из таких праздничных парходов, между женщинами всех стран, сидит Алпатов, будто петух в корзине, разглядывает статуи и колоннады чередом следующих на берегу дворцов, не обращает никакого внимания на женщин, не думает, что одна из прекрасных девушек, сидящих возле него, может заменить ему Инну Ростовцеву, такую неясную, что едва ли он мог бы ее даже узнать в этом букете всех наций. А между тем его давно уже рассмотрели, и лицо его, и шляпу, и ботфорты туриста. Одна немочка в прозрачном голубом шепнула своей подруге в прозрачном розовом о петухе в корзине, и та ответила:

— Он и правда похож на петуха, знаешь, которому проводят по носу мелом, продолжают по полу, и он потом, не шевелясь, смотрит на эту черту.

Девушка в голубом серьезно всмотрелась в загипнотизированного

петуха и сказала:

— Он очень интересный, и, мне кажется, такой гипноз его возвышает.

Девушка в розовом ответила:

— Да, и я думаю, что возвышает, но вместе с тем почему-то и унижает.

— Занятно, почему это так, — сказала голубая, а розовая решила разгипнотизировать интересного петуха.

Обе встают, прогуливаются. Голубая тихонько напевает «Лорелею», розовая, будто совсем нечаянно, роняет платок на колени Алпатову.

Голубая видела: Алпатов, продолжая смотреть на черту, уходящую в бесконечную даль, все-таки заметил у себя на коленях что-то белое и, приняв это за неисправность в костюме, одним быстрым движением руки отправляет белый платок за ботфорт. Голубая шепнула об этом розовой, и вмиг голубая и розовая барышни стали совершенно красными. А на другом борту полосатая, как зебра, с фазаньим хвостом в шляпе француженка даже руками всплеснула, и тоже все видели, все поняли, но и виду не подали строгие англичанки в сером, все до одной с маленькими букетами незабудок. Алпатов по-прежнему сидел и смотрел на черту.

Конечно, будь тут вблизи остановка, обе затейницы могли бы выйти на улицу и там освободиться от приступа смеха, но тут, на пароходике, даже и места их скоро заняли, и неминуемо им, сделав круг, придется вернуться к Алпатову. Девушки бросаются лицами к мачте и там умирают. Но француженка их понимает, она хочет умирать вместе, бросается туда и объявляет:

— Я все видела!

Девушки поднимают на полосатую француженку глаза, полные слез, но спасительница, метнув на Алпатова быстрым французским глазом, шепчет:

— Кончик платка торчит из-за ботфорта, и можно попробовать вытянуть.

Но тогда обе девушки, не жалея прозрачного голубого и розового, умирая, ложатся на канат. И улыбаются даже строгие англичанки в сером с небольшими букетами незабудок. Алпатов очнулся, оглядел себя и вынул платок.

— Вынул, вынул! — воскликнула полосатая француженка с фазаньим хвостом.

К счастью, пароход приставал. Девушки, не оглядываясь, бросаются к трапу. Выходя со всеми, Алпатов с удивлением находит себя в тесноте среди шляп и делает маленькое открытие для себя, что на шляпах все больше русские птицы. Тут были хвосты от кавказских фазанов, и

крылышки тундряных куропаток, и султан из лиры хвоста косача, и хохолок белой цапли с Каспийского моря. Было много цветов: незабудки, ромашки, розы, и у одной на голове целый луг из желтых бубенчиков, и в одном из бубенчиков, как в природе бывает направленное к носу жало осы, тут была острая, направленная в глаза стальная игла...

ПРОБУЖДЕНИЕ

На берегу сходящих с парохода дам встретили дамы, желающие прокатиться, получился водоворот, похожий на китайскую игру цветов. Кто-то взял Алпатова сзади за руку возле плеча, он обернулся, но взявший за руку увернулся в толпе, снова взял, Алпатов, приготовленный, схватил за руку, обернулся и увидел Нину Беляеву с поднятой вверх зеленой вуалью.

— Я долго смотрела на вас, — сказала Нина Беляева, — и ужасно смеялась. Можно ли быть таким рассеянным, покажите платок.

Алпатов очень обрадовался Нине, вдруг ему стало так спокойно на душе, как бывает, когда из города после долгой работы приезжают на отдых в деревню к родным.

— Я теперь понимаю, — сказал он, — почему вас в институте звали Чижиком.

— А я не понимаю, — ответила Нина, — почему вы петух, скажите, кто же вас загипнотизировал?

Они болтают. И много им, русским, находится слов для болтовни в саксонском Вавилоне. Под конец они покупают себе еды и отправляются пить чай у Алпатова в комнате.

— Никогда я бы себе там у нас не могла представить, что так скоро можно сойтись, как мы с вами, — сказала Нина, удобно устраиваясь на диване возле круглого столика.

Алпатов сидел возле нее на кресле и отвечал на ее слова:

— Мне сегодня день показался за год, и я не знаю, чем

бы он кончился, если бы не пришел такой спокойный конец от встречи с вами.

— Я это заметила еще на пароходе, когда все смеялись. С вами что-то происходит, что это?

— Не знаю, волна несет, и не могу определиться, как в море на лодочке.

— Очень понимаю, но для себя я нашла: я поеду учиться в Лейпциг к профессору Рейну педагогике, ведь мне, так или иначе, придется сделаться учительницей в женской гимназии, мне это гадалка предсказала, и я пойду навстречу этому: буду учиться у Рейна — и потом в Тулу или в Орел.

— Почему же теперь-то вы в Дрездене?

— Я приехала посмотреть «Сикстинскую мадонну», сегодня видела, а завтра в Лейпциг.

— Я тоже видел сегодня, — ответил Алпатов, — удивительно, как мы не встретились. Мне картина показалась большой, как океан, и все смотрел бы, смотрел...

— Мне было то же самое.

— Потом встретился мне старый друг из России и говорит мне: «Меня тянет затаиться под диваном и, когда все уйдут, изрезать картину». Вы понимаете это?

— Очень понимаю, мне тоже перед сном иногда приходит в голову самое невозможное, и я завертываюсь с головой под одеяло; иначе ни за что не засну.

— А я сказал ему, если бы он изрезал, я мог бы убить за это.

— И я бы тоже могла.

Алпатову стало досадно, зачем он все это говорит институтке.

— Вам ничего нельзя сказать, — бросил он раздраженно, — все как будто уже вперед вы знали, и все пробежало у вас в голове фантастически и без всякой задержки для поступка. Смольный, что ли, вас так подготовил?

А Нина даже обрадовалась и словам, и досаде Алпатова.

— Вот вы теперь, — сказала она, — совсем меня поняли, я фантастическая, и потому я решила, что непременно буду учительницей в Туле или Орле, в этом уж нет ничего невозможного, это вполне основательно; если я это достигну, то буду, как все.

В это время в дверь постучали и потом внесли кипяток. Алпатов берет свой баульчик: там сохранилась еще четвертка настоящего русского чая. Но пакетик оказывается на самом дне, глубоко под шалью, Алпатов шаль вынимает, кладет ее временно на стол, заваривает чай у другого столика, а Нина в это время с удивлением разглядывает, разворачивает...

Алпатов стоял спиной к Нине, когда она его спросила:

— Каким образом попала к вам шаль Инны Ростовцевой? Нина не могла заметить, что рука у Алпатова дрогнула, и много у него пролилось кипятку мимо чайника. Он долго молчал, и Нина повторила вопрос:

— Каким образом к вам попала шаль моей подруги? Алпатов ответил, не обертываясь:

— А разве эта шаль принадлежит Инне Ростовцевой? Потом с чашкой в руке он обернулся к Нине и продолжал:

— Вот как удивительно сошлось, что шаль, оказалось, принадлежит вашей знакомой, она забыла ее в Йене, и мне поручили разыскать ее и передать, но я совсем забыл ее имя.

Он вернулся назад, как будто за другой чашкой, и оттуда спрашивает:

— Эта Инна Ростовцева теперь находится в Дрездене? Нина ответила:

— Мы с ней вместе были сегодня в Цвингере, а потом я проводила ее на вокзал: она уехала в Париж с одним шведом.

Алпатов уронил кусок сахара и долго искал его на полу, а потом вернулся на свое место пить чай, и Нина ничего не заметила.

Немного спустя Нина, однако, с удивлением спрашивает, почему он стал таким бледным и такой задумчивый, как на пароходе.

— Мне одна мысль пришла в голову, — ответил Алпатов, — я хочу идти сейчас к своему другу и предложить ему свои услуги. Мы уничтожим «Сикстинскую мадонну».

Нина как будто не очень удивилась и даже обрадовалась чему-то и с большим любопытством спросила:

— А потом что вы будете делать?

— Потом, — ответил Алпатов, — потом мы постараемся человеку совсем отрезать пуповину от бога.

ЗВЕНО СЕДЬМОЕ ЮНЬИ ФАУСТ

ИММАТРИКУЛЯЦИЯ

Не хочу беспристрастия. И настоящий летописец Нестор, описывая свои войны, пожары, небесные явления, не удерживался от личных чувств и домыслов, давая всему и нелепое, и драгоценное для нас теперь толкование. Так и мне хочется самому, каков я теперь, участвовать в объяснении, поступков Алпатова, следующих так же независимо от авторской воли, как явление комет, войн и великих пожаров от воли их писателя Нестора.

Друг мой, мне часто думается при чтении жизнеописания великих людей, что внутреннее существо их поддерживается детской доверчивостью, с которой они раз навсегда отдались своему делу. Да и в личных отношениях, наблюдая повседневную жизнь разных деловых организаций, постоянно видишь, что более крупный человек и более доверяет другому. Конечно, он более часто и ошибается, чем маленький и недоверчивый опытный человек; но, в общем, доверчивость эта при других достоинствах является как бы радиусом круга: чем больше доверчивости, тем больше и несчастье при неудаче. В этом дети и юноши сходятся с людьми гениальными.

Рассказывая все это, я, конечно, имею в виду Алпатова, который отдался влиянию Ефима с такой страстностью, что предложил ему вырезать из рамы «Сикстинскую мадонну».⁵ Ефим, конечно, отговорил друга от такого индивидуального эксцесса, достойного скорее какого-нибудь анархиста из артистического круга, чем простого серьезного работника социал-демократической партии. Взамен этого он предложил Алпатову ехать учиться в Лейпциг и постепенно организовать там русскую колонию в такой же марксистский кружок, как они устраивали вместе на родине. Ефим обещался потом, когда черновая работа будет закончена, приехать из Берлина и назначить серьезную работу от Центрального исполнительного комитета партии. Алпатов обрадовался и этому, обещался работать, как и на родине, упустив из виду, что сам он стал теперь уже другим, что, упав с высоты личных событий, едва ли он теперь уже

удовлетворится прежней работой рядового марксиста в кружках.

Но и то хорошо: есть хоть с чего можно начать строить себе новую жизнь, а там само дело покажет. После всей этой погони за ускользающей невестой Алпатов хочет большой работой изгнать из головы всякую блажь; теперь каждая минута жизни им будет учтена, как трудовая минута. И на первых порах ему повезло. Оказалось, первый семестр прогуливают в Германии почти все студенты и только на втором начинают работать: выходило, что он не отстал. Теперь, вступая в университет по-настоящему, без сопутствующего образа невесты под зеленой вуалью, Алпатов впервые только глаза раскрывает как студент, и ему из редющего тумана пережитого показываются очертания великого храма германской науки. Сердце его трепещет опять перед возможностью сделаться творцом в какой угодно области наук. Правду кто-то сказал о Германии, что философия там похожа на вымя со множеством сосцов, питающих науку, — и теоретические, и прикладные. В России даже в образованном обществе как-то не всегда удобно сказать: занимаюсь философией, потому что наша философия непрактичная, и философ представляется как бы загипнотизированным петухом. В Германии даже агрономию читают на философском. Стоит только в Германии купить себе черную шляпу с широкими полями, как во всех лавочках будут почтительно называть доктором, и это не будет означать, как у нас, непременно врача, а доктора философии. Социальные науки, уж конечно, на философском, и потому Алпатову факультет предрешен. Ректор вызывает его из толпы студентов:

— Господин Алпатов из Ельца!

Среди студентов некоторые были с разноцветными ленточками на груди, с золотом шитыми шапочками в руках, с рубцами на лицах от дуэльных ударов; в немецкой речи ректора постоянно проскакивали латинские слова, тут современность явно соприкасалась по традиции со средними веками, и вдруг в такой обстановке такие слова: из Ельца! Молодой человек, совершенно такой же приличный, как и европейские студенты, идет по длинному ковру к ректору. Но ему из-за этого Ельца представляется, что он не такой, как другие, что на него все смотрят с особенным вниманием и думают: «Вот они какие в Ельце».

У ректора в руке был пергамент, подавая свободную руку, он спрашивает:

— Философия?

Алпатову очень неловко сказать, но виду он не показывает и бойко отвечает:

— Да, господин ректор, философия.

Потом ректор просто, чтобы не молчать, спросил:
— Из Ельца?

Но Алпатову представилось, будто ректор спросил: «Неужели же вы из Ельца?» — и что глаза ректора насмешливо уменьшились, и что сейчас последует вопрос: «Как же это вы добрались сюда из Ельца?» Ректор, однако, был совершенно бесстрастен и, пожав руку молодому студенту, передал ему пергаментный лист, на котором огромными буквами по-латыни было напечатано:

«VIR JUVENIS ORNATISSIMUS STUDIOUS RUSSUS».

[Молодой человек, высокочтимый русский студент (лат.)]

А после торжественного латинского было по-немецки приписано:

«Из Ельца, Орловской губернии».

Алпатов, однако, был не один русский, их было очень много. Аксенов, барственный блондин с голубыми глазами, очень красивый, с большим достоинством подошел к ректору и сказал, что он из Симбирска. С Аксеновым была студентка такой большой красоты, что в ней совсем исчезала типичность народа, и только по словам «из Гомеля» можно было начать, угадывать ее еврейское происхождение. Алпатов еще обратил внимание на очень высокого брюнета с черными жгучими глазами, с цилиндром в руке, похожего на французского гипнотизера, — это оказался Амбаров из Петербурга. Прямо же после Амбарова странный человек в синей косоворотке под серым пиджаком без жилета, размахивая руками, двинулся большими шагами к ректору, как будто с каким-то дерзким намерением, и заявил: «Чижов из Екатеринбурга». С огненно-красными волосами и веснушками, частыми, как на воробьином яйце, пришла Роза Катценэлленбоген из Пинска! И еще было много разных русских, и все до одного на вопрос ректора, что они хотят изучать, отвечали: «Философию».

АПРИОРИ

Восторг полного обновления охватил Алпатова. Думается, так бывает исключительно только у русских, что эта способность к обновлению у русского интеллигента происходит от пожаров деревенской России, после которых возникают постройки гораздо лучшие, чем до пожара.

Всегда казалось Алпатову на крайний случай, что если только решиться все бросить, то потом вылезешь на свет, как змея из старой

чешуи. Конечно, в этой обычной для русского способности к обновлению нет материального предмета личной жертвы и потому все легче выходит, чем в евангельском совете богатому раздать свое богатство бедным. Алпатову раздавать было нечего, и его все бросить относилось к собственной своей мечте. Правда, волшебная невеста нашей юности дороже всякого богатства, но все-таки раздать это, как в притче о вещественном богатстве, невозможно: что-то надо создать и потом уже раздавать. Бросить куда легче, чем раздать, но и бросить оказалось не так легко. Беда была в том, что раньше Алпатов брался за рабочее движение, как за личное дело, теперь это стало как долг, и он возвращался к тому же, как филантроп. Как личное дело теперь манила его каждая аудитория знаменитого профессора.

Вскоре после имматрикуляции вся колония русских собралась выслушать доклад Аксенова на тему «От Маркса к Канту».

Алпатов встrepенулся: вот случай ему отстоять материализм, как он когда-то сумел так удачно защищать марксистскую идею у народников. Однако теперь все было совершенно иначе, и самый доклад был не как тогда, на тему «Что делать», а скорее на «Как думать о деле». И оратор был настоящий, блестящий, притом окруженный красивыми девушками, как мироносицами. Председателем был Чижев в косоворотке, с блуждающими глазами, похожий на прежних наших народников. Чижев постоянно вскакивал с места, бросался в зал, находил там кого-то, шушукался, записывал, возвращался на место, все что-то соображая, что-то высматривая. Когда, наконец, он так подбежал к соседке Алпатова Розе Катценэлленбоген, то все и объяснилось сразу: Чижев устраивал студенческую кассу взаимопомощи, дело маленькое. Да так и все представилось Алпатову в собрании, что каждый из этих русских за границей был погружен во что-то свое личное, а не так, как это было когда-то... Казалось, что лучшее было давно в подпольных кружках...

В докладе Аксенова «От марксизма к идеализму» была использована вся новейшая модная философия. Алпатов понял, что все его дальнейшее положение в колонии определится сразу, если он выступит против Аксенова более страстно и революционно-победно. Но как выступить, если он не знал ни Рилля, ни Зиммеля и ни малейшего понятия не имел о гносеологии, вокруг которой и вертелся доклад. Но внезапно ему вспомнилась прежняя мысль о практическом коррективе всякой философии, он нащупал в себе реальное, как земля, чувство правды жизненной, для чего нужны простые слова, а не модная философия. Так он и начал говорить, что для философии идеализма нет практического

корректива, и если миновать материализм, то это значит миновать диктующую необходимость жизни, и дальше будет, конечно, все легко и безответственно, сначала от Маркса к Канту, потом от Канта к Христу, от Христа к церкви...

Последние слова Алпатова были:

— А церковное христианство нам твердит все время: грех и грех. И если я твержу себе постоянно: грех и грех, то я действительно становлюсь грешником. Материализм, правда, учит нас считаться тоже с чем-то, твердит об экономической необходимости и разделении людей на классы, но практический корректив построенного на этом социализма дает нам в руки средство обойти необходимость и сделаться акушерами при рождении нового общества.

Председатель Чижов, вслушиваясь и вдумываясь в слова Алпатова, страстные и, очевидно, не придуманные им заранее, долго не смеет остановить его, не догадываясь, что стоит только перебить Алпатова, и он смешается. Наконец он все понял и перебил:

— Я вас прошу говорить в границах темы.

— Тема, — отвечает Алпатов, — «От Маркса к Христу», и я развиваю ее от Христа непременно к попу.

— Да, — ответил Чижов, — вы говорите с точки зрения практического корректива, а докладчик ставит проблему чисто гносеологическую. Вы можете продолжать, если согласитесь свою идею изложить в аспекте гносеологии, то есть науки о границах познания.

Алпатов ответил:

— Это познать невозможно, все равно как сотворить человека в колбе: для чего же нам разговаривать о гомункуле?..

В это время какой-то очень симпатичный блондин с добрыми глазами и задушевым голосом взял слово без очереди, стал извиняться перед всеми, вроде как бы всенародно каяться:

— Извините, извините, вот я всех перебил, а хочется присоединиться: вполне согласен.

— Иван Акимыч, — перебил Чижов извинения, — ты нам портишь дисциплину, так нельзя, надо слова просить: мы в стране парламентаризма, а не на деревенской сходке.

— За то я и прошу извинения, — продолжал Иван Акимыч, — я только коротко хочу сказать, что поддерживаю предыдущего оратора, как же это можно жить с одним априори, нужно дело, а не априори. Совершенное безумие так жить, мне самому хочется, например, рюмочку водки выпить, а в голове априори.

Все весело засмеялись, поняв наконец, что Иван Акимыч говорит сильно выпивши. Алпатов поспешно сел.

— И вот еще, — продолжал Иван Акимыч, — ко всему этому явилась еще какая-то гносеология, и я так понимаю, что вся эта наука вышла из ненавистного мне до глубины души априори. Так ли я понимаю? Я же вполне присоединяюсь к предыдущему оратору и призываю всех к жизни. Вот все, что я хотел сказать. Извините.

И сел.

После того взял слово какой-то агроном Коль, заика, и тоже присоединился к Алпатову. Смысл его долгой и трудной речи был в том, что России теперь нужна не гносеология, а посев клевера, кредитные товарищества, кооперация и конституция.

— Вот и все, — сказал в заключение Коль и опустил на стул.

Тогда взял слово сам докладчик Аксенов и с улыбкой, обернувшись к Алпатову, сказал:

— Ваше пожелание практического корректива вполне осуществилось: ваш предшественник предлагает на капусте вырастить конституцию.

Этот витс [От немецкого Witz — шутка] с фамилией Коль-Капуста был так удачен, что все мироносицы стали аплодировать.

Алпатов был совершенно побежден. Чижов предложил перейти к повестке дня на очереди вопрос об организации кассы взаимопомощи. После того многие стали покидать собрание. Алпатов тоже вышел на улицу, подавленный и ущемленный.

МАЛЕНЬКАЯ ВЕСНА

Бульвар, по которому шел Алпатов, между каштановыми деревьями, к себе на Штернвартенштрассе, был несильно освещен фонарями. Немецкая густая толпа гуляющих ровно гудела, как майские жуки на березах в день массового вылета. Бесконечно далека была в эти минуты Алпатову и эта немецкая толпа, и эти русские за границей. Зато в первый раз еще показалась ему за границей хорошая родина Россия. Только нет, он не сказал бы «родина», это слово никак не отвечало встающему в нем чувству. Сказать «родина» можно только в детском журнале «Задушевное слово», сказать «родина» — значит помириться и вместе с тем опуститься. Настоящая родина очень трудная, и без того, что казалась ему теперь

долгом, она невозможна, родина с нищетой и тюрьмой какая это родина. Он это новое, впервые встающее у него за границей, назвал бы просто пейзаж: большие поля ржи, перелески, большак с муравой и, пожалуй, люди, необыкновенно доверчивые и душевные. Потом из всего этого определилась близкая душа, с которой во всем можно советоваться, все ей открывать. Так незаметно для себя Алпатов встретился опять со своей тюремной невестой. Но тут случилось, как иногда бывает с людьми, когда они забываются совершенно в себе: так, гадающей невесте показывается в зеркале гроб, старухе разбойник представится, а юношам — как если бы враг застал врасплох и остается только нагнуть голову, чтобы он поразил и кончил все. И Алпатову так было, когда в самый момент, когда он встретил в себе не допустимую раньше мысль о прекрасной родине вне революции и к этому сочувственно и радостно присоединилась, казалось, совсем уже забытая невеста, вдруг близко от него кто-то сказал, назвал его имя...

Алпатов в ужасе оглянулся. Высокий, в блестящем черном цилиндре, с горящими глазами, стоял перед ним Амбаров и робко, почти застенчиво, как сильный мужчина начинает иногда с интересующей его слабой девушкой, говорил:

— Я осмеливаюсь заговорить, потому что слышал вас на собрании, понимаю вас и хочу предупредить: не надо с ними так искренне, здесь русские все холощенные...

— Имеем ли право, — ответил Алпатов, — мы с вами заключать о всех?

Амбаров подумал и не спеша сказал:

— Вот увидите, через месяц вы будете, как и я, держаться в стороне от русских, вероятно, займетесь чем-нибудь своим, и совершенно отдельно.

— Мне бы это было тяжело и непонятно, — ответил Алпатов, — я в тюрьме сидел целый год в одиночке, и то не было мне, как вы говорите: мы там перестукивались.

— Русскому за границей — более одиноко, чем в русской тюрьме, к этому надо привыкнуть.

Неприятно было, что новый знакомый во время разговора, высматривая себе что-то в толпе, часто оглядывался, и когда Алпатов тоже оглянулся вслед за ним, то встретился глазами с женщиной, которая отвечала Амбарову и тоже оглядывалась. Теперь Алпатов догадывался, что благородный тон, в котором Амбаров вел беседу, был обычный светский тон высшего класса общества, ненавистный Алпатову с детства своим обманом. Он с досадой и почти со злобой спросил:

— Вы, вероятно, кого-нибудь знакомого ищите?

Амбаров мгновенно понял тон Алпатов и засмеялся как-то совсем ни к чему, холодным, неестественным смехом, как смеются сектанты или безумные. Потом он сказал с прежней робкой вежливостью:

— Я ищу свою жену.

— Вот как, — растерялся Алпатов, — я почему-то думал, что вы неженатый.

— Нет, я женат, — ответил Амбаров, — вот вы, я думаю, нет.

На это Алпатов, как это часто бывает с юношами, взамен нечаянной дурной мысли о незнакомом и, оказывается, хорошем, женатом человеке, выпалил со всей откровенностью:

— Я не только не женат, но... я вообще: я не знаю женщину.

— Я так и думал, — сказал Амбаров ласково и сочувственно, — я этот ваш ответ услышал в первых ваших словах о практическом коррективе, то есть, как я понимаю, о жизни самой по себе, я это очень понимаю: это весна в марте.

В это время вышла из толпы молоденькая немочка, совсем Маргарита из «Фауста».

— Эльза, милая, — воскликнул Амбаров и заговорил с ней по-немецки со всей тонкостью произношения, как будто это был его природный язык.

— Позволь представить, — заговорил он, — тебе моего нового друга из недр России.

В словах из недр России, по-немецки aus dem Schoss des Russlands, слышалась самая легкая ирония, и Алпатов себе это заметил.

— Моя жена, — представил Амбаров свою Гретхен Алпатову и спросил ее очень заботливо и нежно: — Здоров ли наш Отто?

Влюбленная женщина смотрела на мужа светящимися глазами и, счастливая, отвечала, что все идет отлично.

— Иди же, погуляй, — ответил Амбаров, — а я пока пройду с моим новым другом.

Отойдя немного, Алпатов спросил:

— Вы искали жену, может быть, я вам помешал?

— О дорогой мой, — ответил Амбаров, — не знаю, почему мне так хорошо с вами и все меня в вас веселит. Так и быть, я вам скажу: я искал не эту жену.

— Неужели у вас есть другая?

Амбаров опять засмеялся тем смехом ни к чему или как бы в отщепенце кому-то другому, находящемуся, очень может быть, и в себе самом.

— Другая! — повторил он вслед за Алпатовым. — Да у меня их в

одном Лейпциге три, а до этого я жил в Риме, в Париже, в Цюрихе. По тону вашего вопроса я слышу, что вы это считаете безнравственным?

— Не знаю, — ответил смущенно Алпатов, — мне кажется, я это считаю ни нравственным, ни безнравственным... почему вы так страшно смеетесь, как будто над самим собой? И вы только сейчас говорили о весне, что вам у человека весна нравится.

— Вы чудесно слушаете, — мне нравится весна, и я пользуюсь: каждый год у меня бывает своя маленькая весна... Вот она идет, — указал он в толпе на вторую жену.

Он простился с Алпатовым и просил навестить его в технической лаборатории, где он работает ежедневно.

СТАРУШКА ВИТА

[Жизнь (лат.)]

В Германии и теперь продолжается, как в старину, что в первое время студент не очень прикреплен к специальности и бегает из аудитории в аудиторию по любопытству ко всему на свете, пока мало-помалу не определится к чему-нибудь его исключительная способность. У Алпатова это любопытство к знанию еще усилено его обещанием работать для революции, которая теперь ему представляется долгом: он знает, что рано или поздно Ефим явится и придется ему отвечать; так вот, пока не началась такая работа и вместе с тем не определится специальность, он спешит послушать и Вундта, и Оствальда, и Бюхера, и Лампрехта, и всех молодых светил философии. Скоро Алпатов с удивлением вспомнит то время, когда в их подпольном кружке метафизика была почти бранным словом. Вундт читает философию, но его слушают больше врачи, так не похожа его философия на беспочвенную метафизику. И химик Оствальд, точный исследователь, посвящает два часа в неделю, чтобы поделиться со студентами всех факультетов своей философией природы. И, может быть, сам Бюхер додумался до ритмической связи работы и музыки только потому, что в юности занимался философией. В самое короткое время Алпатов переменяет свой русский взгляд марксистского провинциального кружка на философию, в кармане у него постоянно маленькие философские книжки, и «Prolegomena» Канта и «Этика» Спинозы. Он читает и во время обеда, и в постели на сон грядущий, и, — что делает

внутренняя потребность! — вся эта трудная поэзия понятий дается ему не труднее, чем беллетристика. Часто он идет в одну аудиторию и попадает в другую, потому что через плохо закрытую дверь долетели до него какие-то интересные слова.

Так случилось однажды: у гениального химика Алпатов услышал нечто поразившее его и вдруг определил себе как специальность — химию. Довольно сухо читал этот химик свой курс и совсем как-то неожиданно для всех заволновался и даже покраснел. Это Алпатов успел уж заметить у всех. Какой-нибудь знаменитый профессор долго читает, и нельзя бывает понять, чем же он знаменит. Студенты покорно записывают лекции от слова до слова, чтобы выучить потом это к зачету и сдать экзамен совершенно без помощи книг. Но, бывает, ученый подходит к изложению того знания, которым он сам обогатил науку, и тут становится неузнаваемым, волнуется, краснеет, преображается даже в своем внешнем облике: совсем другой человек! Студенты, увлеченные, перестают записывать в свои тетрадки и время от времени топают ногами в знак восхищения. Так было и с химиком, когда он вдруг перестал диктовать и даже попросил не записывать: это не знание, это его маленькая догадка в помощь знанию. Речь была о синтезе белка, над которым теперь работал химик: работа эта еще не закончена, но можно предвидеть, что химический белок скоро будет создан и будет совершенно такой же, каким создает его природа в живых существах. И все-таки этот химический белок не живет, как в природе, чего-то ему не хватает, что это такое? Вот тут профессор, этот человек, пепельно-серый от постоянного вдыхания вредных газов, ожил, покраснел, намекнул:

— Не возвратиться ли, — сказал он, — к прошлому, не поможет ли нам немного старушка Vita?

Конечно, если бы профессор эту старую гипотезу о воодушевленной субстанции, называемой жизнью, излагал бы равнодушно, как чужую мысль, то Алпатов бы не попал под ее влияние, но профессор, хотя и очень осторожный, был виталист, и Vita в его творчестве была как Муза в поэзии и, может быть, как для Алпатова была его ускользающая Инна в поисках призвания и личного счастья.

Удивительно было Алпатову, что ученый, сообщая студентам свою догадку о Vita, покраснел совершенно так же, как он сам в детстве краснел, когда свои тайны, сны или догадки рассказывал старшим. Бессознательно Алпатов себя самого узнал, когда профессор, этот с виду железный человек, вдруг обнажился в своей робкой, застенчивой, колеблющейся сущности. В то самое же время явилось Алпатову почему-то ясное

распределение всего хаоса из прочитанных книг: Кант, и Спиноза, и Декарт становились на свои места.

Вдруг оказалось, что все эти великие мыслители высказывали свои догадки, тоже краснея. Все это было, однако, неотчетливо, и если бы записать, то получился бы вздор, и если сказать другому, то другой ничего не поймет. Но казалось, если бы подойти к этому ученому и ему сказать, то ему оно сказалось бы, и стало бы все ясным, и через это можно бы определить себе в науке свой жизненный путь.

Вслед за этим Алпатову, как и раньше бывало с ним не один раз, явилась неизбежность поступка: раз если так, то он должен идти к профессору, он должен преодолеть все свое смущение, всю неприятность риска и объясниться во что бы то ни стало. Вот почему, как только кончается лекция, он бежит по коридору за профессором.

...Вы представите себе, мой друг, лучше, чем я умею об этом сказать, весь риск такого поступка. Как можно рассчитывать, что профессор, занятой человек, закаливший свой ум огромной дисциплиной труда, станет возиться с бродячим мальчиком из бескрайной русской равнины? Или, может быть, каждый рожденный для настоящего творчества человек проходит в свою пору юности тоже непременно искание философского камня и так может по себе узнать родное, понятное и в дикаре? Часто я думал об этом, беседуя с нашими мужиками, в распоряжении которых имеется так мало понятий и слов, — из каких источников берется возможность продолжительного общения неграмотного и проводящего жизнь свою на две трети с книгами? Я прихожу к заключению, что в последнем, современном, культурном человеке скрывается тоже как творческий фактор и весь дикарь прошлого, и весь романтик знания и чувства. Вот почему, зная в себе хорошо и дикаря, и алхимика, и романтика, я никогда не вздыхаю о прошлом и не зову с собой никого идти в дикари, в мужики, в алхимики и рыцари: все прошлое все равно и так с нами непременно живет.

И вот замечательный ученый, о котором я рассказываю, если только Алпатов сумеет хоть как-нибудь связать свои мысли и расположить к себе, очень возможно, поймет юного русского искателя философского камня. Профессор бежал так быстро по коридору, что Алпатов не успел догнать его, и так он скрылся в своем кабинете как раз в тот момент, когда Алпатов только-только собирался остановить его бег.

Через несколько минут большого волнения Алпатов решается постучать и слышит в ответ из кабинета: «Войдите».

Был беспощадно прост и ужасен первый вопрос ученого:

— Что вы желаете? Алпатов не сробел и ответил:

— Я, господин профессор, догадываюсь, почему Биту невозможно открыть и она от нас ускользает; потому что мы сами ею живем, мы движемся с ней вместе и потому ее движения не замечаем, как, двигаясь вместе с землей, не замечаем ее движения, и вот почему, наверно, не удается синтез живого белка.

Профессор широко открыл глаза. Было бы и всякому учителю, сколько ни привыкай, поразительно: сейчас только были слова в простой, логической связи, и вот они уже воплощены в жизни этого взволнованного юноши, живут в его крови, повышают температуру его тела, вызывают в его лице краску, и все вместе рождает мысль.

— Вы иностранец? — ласково спросил профессор.

— Я русский, — ответил Алпатов.

— Химик?

— Хочу быть химиком. Но только-вы не примите меня просто за мечтателя; я могу работать и достигать своего. Я бы только хотел работать, имея в виду эту Биту, как небо: я вижу в этом подвиг ученого, достигать недостижимое и не забывать о земле. Я, господин профессор, материалист, вы меня понимаете?

Не подавая виду, совершенно как равному, профессор сказал:

— Вполне понимаю, друг мой, только все это очень опасно.

И почему-то рассказал про одного старого еврея, который, прочитав Канта, сейчас же, как только узнал у него, что нет мира без нас, что мир есть только наше представление, не захотел жить в таком неверном мире и повесился над раскрытой книгой о чистом разуме.

— Так может и с вами случиться, — сказал профессор, — когда ваша Вита окажется не прекрасной девушкой, а женщиной трех К: Kjrche, Kinder, Kuche [Церковь, дети, кухня (нем.)].

— Этого я не боюсь, — ответил Алпатов, — я испытал уже с женщиной гораздо худшее, и, вероятно, только потому, что сам сделал какую-то ошибку, хочу это заменить наукой, в которой есть практический корректив ко всякой мечте: работа с мензуркой и весами.

Профессору это очень понравилось, он, улыбаясь, пожал крепко руку Алпатову и записал его в первую химическую лабораторию.

ПОЯВЛЕНИЕ МЕФИСТОФЕЛЯ

Кто много работал по химии в лабораториях, тому в полях, и лесах, и на воде часто, бывает, пахнет какой-нибудь кислотой или газом, совсем неприятным для всех и очаровательным для химика: запах больше всех наших чувств связан с нашими переживаниями, а что может быть лучше времени естественной молодой нашей веры в прекрасную женщину, мать всего сущего, и в силу философского камня? Пусть каждый современный учебник по химии начинается насмешкой над средневековыми алхимиками, искателями философского камня; юноша, вступая в лабораторию, на первых шагах хоть немного бывает тайным алхимиком, и современные научные методы, сравнительно с теми далекими временами искателей начала начал, дают только новую силу, только новый задор. Мы только что пережили трагедию Северного полюса; еще несколько лет тому назад ученые говорили нам, что все-таки еще возможна жизнь на Полюсе, что встретится там какой-то новый материк и какая-нибудь жизнь, даже люди. И вот оказалось, там нет ничего, одна математическая точка. И все-таки мы с новой энергией строим теперь ракету для полета в межпланетные пространства, с трепетом в сердце предвкушаем полет на Марс и Луну, хотя там, по всей вероятности, найдется то же самое, что и на Северном полюсе. Есть такая же безмерная, реальная сила и в наших детских маленьких тайнах, и особенно в нашей первой юношеской любви.

Милая моя маленькая женщина моей юности, самый драгоценный друг мой, я возвращаюсь к нашему роману, открывая в нем силу всего моего счастья, всей радости жизни, школу моего единства и верности. Я горжусь силой, которая позволяет мне сейчас сдерживать слезы восторга, я ликую уверенно, я знаю: есть в пустоте воздух, в тоске радость, в мечте воля к преобразению жизни и в первой любви эта живая мать моих живых детей и лучших минут творческого общения с друзьями...

Преобразив свою Инну в какую-то Биту, Алпатов вступает алхимиком в лабораторию: там и тут бесцветное пламя множеством газовых горелок окрашивается красным цветом, зеленым, фиолетовым; стеклянные реторты и колбы, укрепленные в железных штативах на разных высотах, кипят над пламенем, из них по каучуковым трубкам, невидимые, уходят добрые и страшные газы, заключаясь в газометрах на службу человека. Там кто-то в синем фартуке выпаривает в сушильном шкафу платиновый тигель с осадками до постоянного веса, наблюдает термометр, и вот сегодня он рад: он достиг постоянного веса. Ему после долгой работы остается только снять колпак с химических точных весов, взвесить, вычислить с точностью до четвертого знака. Вот подходит к нему профессор, вынимает свою

записную книжку, слушает. Студент, волнуясь, сдает найденную цифру анализа.

— Четыре! — называет студент. Профессор кивает головой: верно.

— После запятой: пять, три, семь.

Голос студента дрожит от волнения: если последний даже знак неверен, ему еще придется неделю работать над тем же...

Дальше технические лаборатории, дальше святое святых, лаборатория самого профессора, где будущие ученые вместе с учителем делают общую работу — синтез белка. Вот там вплотную подходят к загадке жизни, заключая следы ее в меру и счет. Когда-то хотели заключить в реторту самую жизнь, здесь знают, что догнать жизнь невозможно, и все-таки идут за ней след в след, вплотную, измеряя следы и строя свое по образу и подобию ее. Алпатову кажется, что в этом деле научном требуется больше и ума, и воли, чем раньше, и даже больше остается свободы, — ведь и солнце, и месяц, и звезды через это не меняются: в ночной тишине, глядя на них, человек может и не думать о счете и мере, а совершенно свободно догадываться...

Так вступил Алпатов в лабораторию с тем же самым благоговейным чувством, как если бы родился в средние века и астролог вручил ему гороскоп. Все казалось ему здесь нужным, и люди в фартуках такими привлекательными, и особенно соседка его, Роза Катценэлленбоген: ни у кого на свете нет таких огненно-красных волос. В весовой лаборатории он встретил теперь трезвого и доброго Ивана Акимыча Априори, из технической сам пришел и очень обрадовался ему красивый и странный Амбаров.

Дело рук профессора видно в лаборатории на каждом предмете, по его тетрадкам студенты делают анализы, но на первых порах новичка учат студенты. Есть, конечно, в этом большое удовольствие для старшего поделиться своим опытом с растерянным и очарованным новичком, но Амбаров делает это с особенным вниманием и даже нежностью, как будто Алпатов был исключительно интересующая его девушка. Он показал Алпатову и Розе, как узнавать металлы по их способности окрашивать бесцветное пламя, и маленькие прозрачные стеклышки буры, включенные в колечко из платиновой проволоки, как разбираться обонянием в различных оттенках запахов, исходящих из тел при нагревании, учил, с какой осторожностью надо пользоваться вкусом, осаждая основания солей и отнимая у них кислоты другим основанием. Особенно обращал он внимание на запах тел как на средство их различения, говорил, что нос не то, что язык, нос около глаза и так близок к мозгу, что всякое чувственное

восприятие по запаху надолго остается памятным человеку. И случилось, как раз во время рассказа об этом в лаборатории запахло горьким миндалем. Только Амбаров один из всех это заметил и стал ощупью двигаться, разбираясь по усилению запаха в направлении. Наконец он подходит к одному из сушильных шкафов и достает тигель с препаратом, издающим запах горького миндаля. Кто-то неосторожно поставил препарат с цианистым кали и чуть не отравил всю лабораторию ядовитым газом. Хозяин тигля, бурш с дуэльными шрамами на обеих щеках, выходит, бледный, но Амбаров его успокаивает: в небольшой дозе цианистый кали не приносит никакого вреда человеку. Вот это можно и показать. Все студенты сходятся к Амбарову: русский хочет показать что-то необыкновенное. Из банки с белыми палочками Амбаров берет себе пинцетом частичку цианистого кали, кладет на язык, запивает водой... Через несколько секунд все тело его вздрагивает, он хватается руками за стол, быстро оправляется и, бледный, как бумага, хохочет, предлагая желающим тоже попробовать... Но тут было чего-то чересчур: все, потупив глаза, расходятся на свои места, и Роза, став вдруг чрезвычайно серьезной, осаждает в пробирке гидрат алюминия, усердно потирая ее, как учил Амбаров, о свою упругую коленку.

ТРЕТЬЯ ЖЕНА

Очень возможно, что вся беда вышла у Алпатова из-за этой удивительной книги, о которой он ничего не слышал, а случайно купил в одном магазине. В этой книге каким-то чудесным путем философия соединилась с поэзией, и то самое, что у Канта и других ползло, здесь летело, как метеор, на одно неповторимое мгновение ярко освещая мировое пространство. Узнав эту книгу, Алпатов не мог больше слушать философские лекции, и каждая такая лекция, с записыванием ее в тетрадки, представилась заседанием людей, из которых каждый в отдельности был просто дураком, а в заседании множества все становились умными. Нет, настоящее знание летит, как метеор, и человек истинного знания сгорает и падает, как метеор; и пусть: старый бог умер. Так говорил Заратустра. Алпатов, собрав в себя все лучи этой книги, устремился работой в одну только точку, забросил все лекции и делал только анализы в химической лаборатории. Там же, в промежутки, когда что-нибудь согревалось или долго выпаривалось до постоянного веса, он читал по теории, далеко

забегая вперед. Движение его в лаборатории при такой сосредоточенной энергии приобрело небывалую скорость.

Через месяц он оставляет Розу в качественной лаборатории, титрует в объемном анализе, потом сидит на весах. Профессор давно его заметил и никогда не проходит мимо, не сказав ему несколько одобрительных слов. Но едва ли так можно учиться химии: крепости и баррикады можно брать разом, очень возможно иногда бурным натиском отбить себе прекраснейшую рабыню. Но химия дается мерным трудом. Читая теорию ионов, Алпатов встречается с высшей математикой, — оказывается, она необходима и в химии, а он к ней так неспособен. Но как же он может быть неспособен, он может все! Он берется за высший математический анализ и, пока в этом не достигнет больших знаний, отложит работу по химии. День и ночь сидит он теперь над интегралами, кажется ему, ползет, как черепаха. Но самое главное, что ему показалось при этом занятии, будто у людей два ума, один ум этот по математике, где все только мера и счет, другой ум в мгновенном схватывании без всякого счета и меры. Вспомнилось Алпатову, как ему маленькому мать хотела помочь в арифметике и хуже его решала задачи, а так в жизни все понимала и была, все говорили, необыкновенно умна. И вот еще оказалось, что гениальный автор Заратустры был до крайности, до идиотизма неспособен к математике. Но самое главное, о чем он догадался, что химия берется таким же умом, как математика. Он еще не отказывается, он еще возвращается в лабораторию, а там, пока он возился с математикой, Роза догнала его и сидит, обыкновенная, на тех же его весах, которых он достиг с таким трудом, а Вита бежит в бесконечной дали... С удивлением он обращается к Розе — узнать у нее, каким образом она движется вперед с таким верным успехом, ничуть не изменяясь от работы даже в лице. Она не таится и все объясняет спокойно. Ее отец в Пинске торгует старыми фраками. Ее будущее в пинской аптеке, она изучает химию для фармацевтики и со временем достигнет провизора. Оказалось, что Вита у Розы была внутри и ей не нужно ее догонять...

Алпатов, очень смущенный, выходит из лаборатории, и ему кажется, что все было, как сон, и теперь все прошло: сон забыт. Дома, ни о чем этом больше не думая, свободным движением руки он подвигает к себе книгу «По ту сторону добра и зла» и там, читая до вечера, узнает свою Биту, — это, оказывается, мир в себе, то, что невозможно достигнуть знанием и что если бы это и удалось как-нибудь узнать, то оказалось бы, может быть, очень смешным и ничтожным... Так говорил Заратустра.

Вечером при свете фонарей он идет куда-то неопределенно по бульвару, как бы открывая всего себя для обстрела бесчисленных случаев

большого города. Появляется Амбаров под руку с новой женой, и Алпатову кажется — это самый нужный ему теперь человек: у Амбарова, наверно, все было в жизни. Они спускаются в один из подземных келлеров Лейпцига, садятся трое у белого мраморного столика. Ни на минуту не останавливаясь, сходит вниз по ступенькам уличная толпа, делает оборот в огромном подвале, выходит в другую дверь, бесконечно меняясь под музыку. Амбаров не обращает никакого внимания на свою третью жену. Она сидит, все наблюдая с большим интересом, постоянно поглядывает на корпорантов в цветных шапочках, непрерывно покачивает своей маленькой ножкой. Вдруг Алпатов очень смутился и покраснел: он заметил, что Амбаров поймал его взгляд, следящий за покачиванием ноги его третьей жены. Мало того, Амбаров смеется, подмигивает ему...

Поскорее, чтобы скрыть свое смущение, Алпатов схватился за разговор об умных вещах, он спросил Амбарова, не читал ли он замечательную книгу «По ту сторону добра и зла»?

Амбаров еще сильнее засмеялся. Нет, он ничего не читает, кроме книг по химии, но тема «По ту сторону добра и зла» ему хорошо знакома по жизни бюрократии в Петербурге: по ту сторону находится власть, и к ней постоянно передвигаются люди маленькие, получая за свое терпение ордена различных святых, от Станислава до Владимира. Люди большие берут власть, не обращая внимания на святых.

Однако все это Амбаров говорил как бы шутя и слегка поглаживал кистью мрамор столика.

— Для меня, — сказал он, — большая загадка, почему из этого... — Он глянул на ногу своей женщины и усиленно потер пальцем мрамор. — Из этого простого и чисто физического удовольствия вы делаете себе нечто запретное, почти недостижимое.

Алпатов овладел собой и сказал:

— Как же простое, если от этого рождаются дети; мы не можем посредством химии сделать даже белок живым, а тут дети. У вас-то они рождаются?

— Не от всех, но если родятся, я посылаю содержание: матери бывают очень довольны.

Подали коньяк. Алпатов выпил, и ему очень захотелось во всем договорить до конца: потом всегда можно будет удрать от этого человека. Вот бы хорошо ему все рассказать о невесте, как он ее искал. Быстро, для храбрости, выпил он еще коньяку, но и тогда оказалось, что об этом вслух сказать почему-то нельзя. Впрочем, он расскажет все о Вите в химии, как будто Вита была его невестой.

Очень хорошо пришлось воспоминание о Марье Моревне: он был такой маленький, что не только не задавался вопросом, отчего рождаются дети, но даже не понимал, каких женщин и за что называют красивыми. Явилась Марья Моревна, и вдруг он понял, что она красивая. А после того как он стал все понимать, он чувствует в каждой женщине Марью Моревну, и если этого нет в ней, значит, как будто и невозможно с ней сойтись. Точно так же он не может сейчас выбрать себе специальность без того, чтобы она не являлась делом всей его жизни. Так вот он занялся химией исключительно потому, что профессор увлек его своей догадкой о близости химической реакции к реакции жизни...

Алпатов спросил под конец:

— Как можно сходить с женщиной и не думать, что в ней находится неоскорбляемая Марья Моревна, научите меня тоже, как можно работать без сладости ожидания последнего ответа. Вы-то как работаете по химии, неужели совершенно без Виты?

Амбаров сидел совсем другим человеком, бледный, как тогда в лаборатории после цианистого калия, верхняя губа постоянно вздрагивает в левом углу.

— Я, вероятно, — сказал он, — больной, есть такая страшная болезнь: я всю сладость вперед мгновенно выпиваю про себя.

Алпатов был поражен действием своих слов, и ему стало очень жалко этого большого и красивого человека. С нежностью, с большим участием он спросил:

— Но все-таки вы живете, сходите с женщинами, работаете много по химии. Как это вы можете совершенно бесстрастно переходить туда... по ту сторону добра и зла.

— По инерции, — ответил Амбаров, — но в химии у меня сладость не выпита, я всю вашу Биту разгадал, и все-таки интерес у меня не пропадает это реальность. Я вам открою: это власть, и ее можно добыть только посредством химии. Я работаю над взрывчатыми веществами. Вы понимаете ли, что к власти надо пробиться без ордена, надо, чтобы не давали ее, а взять надо.

Лицо Амбарова исказилось, он наклонился к самому уху Алпатова и прошептал:

— В химии можно добыть такое вещество, начинить одну бомбочку и сказать: «Не подходите близко». Победим мы, химики, и среди химиков — я.

Не мысль, а бледное лицо с кривым, вздрагивающим ртом, и какое-то ужасное напряжение в глазах, и холод, — да, стало в жаре холодно, — вот

что страшно испугало Алпатова, он узнал сумасшедшего. Амбаров по лицу Алпатова догадался, что сказал лишнее. Он принял обычный свой вид франта второго разбора, засмеялся, делал вид: он пошутил.

В это время один грузный бурш из Конкордии так внимательно, так нагло следил за качаньем ноги третьей жены Амбарова, что Алпатов с ненавистью стал смотреть на бурша, и тот это заметил. Амбаров шепнул Алпатову, наливая коньяк:

— Вы ему язык покажите.

Алпатов показал. Бурш вспыхнул. Алпатов еще показал. Бурш поднялся, подошел к Алпатову, подал свою карточку. Алпатов подал свою.

ДУЭЛЬ НА ШЛЕГЕРАХ

В дуэльном уставе всех корпораций есть достаточный повод к дуэли: вызывающе посмотреть одному на другого — *provozierend ansehen*. И оно правда, если от человека спуститься к боям у птиц и более крупных животных: у них тоже почти всегда бой начинается с глаза, один петух посмотрел вызывающе на другого и клюнул на земле, и другой посмотрел вызывающе и тоже клюнул, еще раз, и бросаются.

Бурш из Конкордии на экстренном заседании буршенгерихта, конечно, утаил, что он сильно заинтересовался качаньем ноги дамы, сидевшей с Алпатовым, и что за это Алпатов два раза ему показал язык. Было совершенно достаточно сообщения, что Алпатов бросил вызывающий взгляд, и буршенгерихт разрешил дуэль с иностранцем. Секундант корпоранта, чрезвычайно вежливый молодой человек, явился к Алпатову и сообщил ему постановление буршенгерихта.

— Я не умею фехтовать, — ответил Алпатов, — а на пистолетах драться из-за такого пустяка смешно: я не буду.

— Нет, — ответил секундант, — мы деремся всегда на шлегерах, это не очень опасно, это вопрос чести, но не жизни. Буршенгерихт, предлагая вам дуэль, делает вам честь как иностранцу, — не со всяким вильдером буршенгерихт разрешает драться корпоранту. И вам будет дано шесть недель на изучение фехтования на шлегерах.

Алпатов очень вежливо, с улыбкой поблагодарил за честь, хотел было предложить извинение, но ему пришло в голову, что немцы не его одного, а всех русских будут считать трусами: это как будто неловко...

Он согласился и сейчас же отправился приглашать в секунданты Амбарова.

— Я буду вместе с вами учиться фехтованию, — ответил Амбаров, — а сейчас я расскажу вам другую смешную историю.

Но история совсем не показалась Алпатову смешной. В какой-то сложнейшей формуле органического вещества, над которым Амбаров работал три года в Париже и Цюрихе, при вычислениях произошла ошибка, какое-то альфа-основание перепуталось с бетой, и вместо взрывчатого вещества получилась чрезвычайно прочная краска. Теперь за хорошие деньги Амбаров продает свое изобретение германскому правительству: краска защитного цвета для германской армии.

Алпатов подумал:

«Выдумка это, чтобы замаскировать вчерашнее признание».

Амбаров как будто догадался, о чем будет думать Алпа— : тов, и сказал:

— Так у меня обернулось, как у Мефистофеля: хотел сделать зло и сотворил добро для германской армии и для своего кармана. Но и у вас не лучше, мой милый: какая эволюция, давно ли вы проповедовали практический корректив в русской колонии, и теперь уже деретесь на дуэли с немцами-буршами. Если все будет у вас так быстро катиться под гору, то, возможно, к новому году мы будем с вами в родстве.

Последних слов о родстве Алпатов недослышал, потому что был очень смущен.

— Я не знаю, что делать, — сказал он растерянно, — если бы можно было как-нибудь избежать глупой истории... разве плюнуть?

— Можно и плюнуть, — ответил спокойно Амбаров, — но только зачем? Вся эта дуэль просто игра, не все же вам сидеть с книгами, постарайтесь немцу хорошенько накласть.

До этого Алпатову никогда не приходилось видеть Амбарова без ломанья: теперь он говорил, как старший, рассудительно и доброжелательно. И глаза его, спустившись к маленькому житейскому случаю, стали умными и расчетливыми.

Алпатов подумал:

«Я в нем ошибся, очень возможно, он играет зачем-то роль сумасшедшего, я серьезно принимаю, а он ломается».

— Покажите мне свою краску, — сказал он вслух. Амбаров не только показал краску, но даже и бумагу с предложением германского правительства купить ее.

Алпатов окончательно решил:

«Представляется».

После того ему стало очень весело. Осталась позади эта страшная русская жизнь, где всю молодость отдают идее, где с презрением относятся к своему телу и даже не украшают его красивой одеждой. Алпатов немедленно отправляется в магазин с рыцарскими доспехами в витринах, покупает себе шлегер, проволочную маску, кожаный фартук и со всеми этими покупками идет по адресу, указанному секундантом противника. Учитель фехтования целых два часа подряд сажает ему синяки тупым шлегером на правое плечо. И все это кажется отличным. На другой день он сносно защищается, на третий ухитрился вклеить в маску противника свой шлегер с такой силой, что оторванная проволока насквозь пробилла щеку учителя. Потом каждый день Алпатов выходит на улицу после фехтования, весело чувствуя, что все его тело по-своему как-то поет радостный гимн своему существованию и этому отвечает вкусный воздух.

Незаметно приходит назначенный день дуэли, и Алпатов идет туда уверенный, нисколько не думая, что поплатиться придется ему.

Кто видел когда-нибудь правильно подготовленный бой английских боевых петухов, когда на каждого блестящего черным пером, небольшого, но чуть не стального по крепости бойца поставлены значительные деньги и на это смешное петушиное смотрят серьезно страшно взволнованные люди, тому не будет новостью дуэль немецких студентов. В этих дуэлях все проходит, кажется, еще серьезней, чем в дуэлях с смертельным исходом на пистолетах, и это очень понятно: перед смертью люди могут шутить, но если не смерть, а обряд, то какой же смысл в шутке? Единственная опасность остаться без руки, если острый, как бритва, шлегер перебьет плечевое сухожилие *axillans*, но и то едва ли это возможно: опытный Беспартийный с высоты бочки зорко следит за первой кровью, и как только крикнет свое «halt» — секунданты скрестят свои шлегера между противниками, доктор бросится, схватит своими пинцетами разрезанные концы *ahillaris* и как-то по-своему устроит все к благополучию.

Как вынимают знатоки дела боевые шлегера из футляра и примеряются ими, как смачивают блестящие клинки карболкой и еще раз примеряются и шикарно пересекают острием клинка в воздухе волос: каждое движение родилось в недрах природы, в петушиных, турухтаньих, оленьих боях — вот когда! — и потом сколько совершенствовалось, утончалось в Риме, освежалось варварами, переходило к рыцарям в средние века, блестело при луне у балкона испанки и в нашем военном строю при свете науки...

...Милый друг, я слышу военную музыку и пение:

Высоко в небе ясном Вьется алый стяг...

Все в моем доме бросаются к окнам. Вот впереди под звуки марша Буденного важно, сосредоточенно-серьезно идет красный командир и за ним в шлемах революционная армия, все молодцы один к одному, отлично здоровы, одеты и сыты. Никогда я не был военным, но все равно древнее чувство военного просыпается в моей природе, и тело покрывается гусиной кожей от волнения...

Доктор отлично озаботился проветрить большую залу для поединка, воздух свеж и чист. Секунданты с опущенными шлегедами подходят к Беспартийному и заявляют ему: «Все готово». Тогда Беспартийный становится на бочку и высоко поднимает свой шлегер. Противники сходятся с открытыми лицами, плечами и грудью.

Все начинается с такой же осторожностью и затаенным волнением, как у петухов, вооруженных самой природой боевыми шпорами, тоже долго примериваются тот и другой, ожидая на себя нападения, думая: пусть он первый ударит, а я готов отразить удар и потом ударю по-своему. Алпатов первый не выдержал томительного дрожания шлегедами, и удар его стали о сталь рассыпался искрами. Корпорант с мясистой грудью, как у борцов, согнувшись, быстро отступает, парируя, Алпатов насккивает, стараясь сразу его утомить. Но почти уже у самой стены корпорант внезапно обрушивается на Алпатова, и тот, принимая на ручку шлегеда удар за ударом, быстро отступает назад к стене и, так собравшись с силами, тоже нападает, и корпорант больше не хочет отступать. Теперь все должно скоро кончиться. Беспартийный не дышит, впиваясь глазами, секунданты приготовились при первом слове Беспартийного мгновенно скрестить шлегеда.

Было одно мгновение, когда блестящие глаза Амбарова, сверкнув, встретились с глазами Алпатова, и этого было довольно, чтобы шлегер корпоранта кончиком своим немного задел. Алпатов знал, что во рту у него где-то был кончик шлегеда и, значит, дуэли конец. В это время и противник, вероятно, заметил свой удачный удар, растерялся, когда не последовало «halt» от Беспартийного, и не успел парировать горизонтальный удар. Тогда закричал Беспартийный, и секунданты скрестили свои шлегеда.

Алпатов выплюнул изо рта кровь вместе с зубом, у противника на груди широко развалились мускулы, заливая все кровью. Доктор спешит промывать и сшивать, секундант корпоранта с негодованием бросается к Беспартийному: первая кровь была у Алпатова, почему же он не остановил дуэли? Но оказалось, что первую кровь у Алпатова скрыли усы. Беспартийный прав: он кровь заметить не мог, потому что прямо же вслед

за этим ударом сверху Алпатов ударил по горизонтали. Потом корпорант, не обращая на боль и кровь никакого внимания, просит пива и, улыбаясь, приветствует противника. Алпатов чокается с ним весело: прозит и мойн.

Вот этого в петушином бою не бывает: улыбку над всем происшествием и привет противнику прибавили люди.

А между тем фуксы, эти молодые члены корпорации, еще в черных декелях, фуксы первых семестров, красс-фуксы и старшие брандфуксы, сдвигают столы, составляют один большой, во всю залу. Другие тащат свежую бочку, пробивают ее острием, ввинчивают кран, расставляют по всему столу зейдели. Собираются мало-помалу старшие корпоранты, полноправные члены конвента, в шитых золотом цветных декелях и с лентами на груди, корпоранты первых ступеней молодые дома, корпоранты вторых ступеней — старые дома, третьих — почетные головы и вечные студенты, сидящие и лысые, много лысых, разные филистры, давно уже окончившие университет и сидящие на хороших государственных местах, но все-таки в цветных декелях, совершенно истыканных шлегерами на коммершах своей юности, и какой-то совсем старый филистр в чине действительного тайного советника.

Председатель ударяет по столу шлегером. Все поют старинную студенческую песню: «Ob Fels und Eiche splintern wir werderi nichts erzittern!» [»Если даже скалы и дубы расколуются, мы не задрожим!« (нем.)] И пьют, и говорят приветствия филистрам отдельно, начиная с тайного советника, потом опять поют, и пьют, и говорят о неизменных традициях корпорации «Concordia», благодарят за поддержку почетных филистров, всех от высшего к маленькому, нисходя пирамидально.

Начинается ландесфатер. Все берут в руки по шлегеру, становятся парами — друг против друга, прокалывают остриями шлегеров свои цветные декеля и поют:

Декель я колю тобою, Клятвою клянусь святою Быть достойным и верным Своей Альма Матер.

И когда ландесфатер окончился и фуксы внесли третью бочку и стали разносить филистрам, гостям и членам конвента первые ароматные зейдели тяжелого темного баварского пива, сменившие светлое саксонское, случилось маленькое происшествие, которое всегда неизменно случается и всех развлекает всегда: провинился маленький неопытный фукс.

Вина юноши не была так велика, и, пожалуй, ее совсем и не было, а только действительному тайному советнику вспомнилась его юность, когда он был тоже наказан, и ему захотелось пошутить с мальчиком. Юноша пронес мимо самых губ Алпатова зейдель с пенистым пивом и поставил

перед тайным советником. Старому филистру было неловко перед иностранцем, и, чтобы загладить неловкость, он решил наказать крассфукса ванценкуришем. Все бросают в кружку несчастного фукса окурки, пепел, спички, объедки, всякую невозможную клопиную дрянь. Фукс на виду всех становится на колени, подносит эту кружку к своему рту. Только сразу выпить и отделаться, как все мы выпиваем касторку, фукс не может, он должен медленно тянуть ванценкуриш столько времени, сколько будет тянуться общее пение, а оно умышленно тянется долго на слове: тyani.

Der Fuchs, der hat
Verschiess gemacht
Zum I'erum, larum, leere,
D'rum bist du scheusslich ausgelacht
Zum Iierum, larum, leere,
Ziehe Fuchsschnautz, ziehe-a-i-a,
In Dreck bist du an die Knie-a-i-a,
Ziehe, Fuchsschnautz ziehe-a-i-a...

[Если фукс
Промахнется,
Лирум, лярум, лере,
Весь народ над ним смеется,
Лирум, лярум, лере.
Пойло веселей тyani-и-и,
Морду в лужу окуни-и-и,
Пойло веселей тyani-и-и... (нем.)]

Последнее слово — «тyani» — на звук «и» тянется беспредельно.

...Друг мой, обратите внимание, как часто в нашей стране бранятся дураками, и с детства я слышу даже от образованных русских людей о немцах, что они дураки. Никогда не называют у нас дураками французов, англичан, итальянцев, китайцев, японцев. Я так разбираюсь в этом противоречии, что дураками у нас считают главным образом людей, у которых традиция преобладает над личными качествами, что позволяет даже действительно неумному человеку провести неглупую жизнь. У нас наоборот, не имея возможности жить чужим умом с помощью традиции, наш дурак так исхитряется, что становится умным. А еще мы приладились

юродствовать в положениях, плохо подчиняющихся действию разума, тогда как немцы устраивают и это разумно; я думаю о множестве немецких браков при содействии брачных газет, браков часто многолетних и совершенно счастливых. Точно так же невыносимо нам приспособление рыцарских традиций к современному бюрократическому строю в студенческих корпорациях, где тайный советник дисциплинирует маленького фукса в верных чувствах своему кайзеру и потом приготавливает ему местечко по службе...

Алпатов был оглушен глупостью всего происходящего. Не имея возможности даже посмеяться с Амбаровым, он стал быстро пить зейдель за зейделем золотое саксонское пиво, светлое берлинское, темное баварское.

— Тяни, тяни, — пели студенты во главе с тайным со, ветником.

И Алпатов тянул. Другой маленький фукс, сменивший наказанного, зорко следил за ним, чтобы не попасться, как первому, и быстро ставил ему все новые и новые кружки. Последнее слышал Алпатов, как поперхнулся тайный советник и по-старчески раскашлялся...

Он очнулся поутру на чьей-то широкой двуспальной постели с золотыми шишками, под чистым пологом в кружевах. Рядом с ним спала молодая женщина. Изумленно всмотрелся Алпатов в спящую и с трудом понял злую шутку Амбарова: с ним рядом лежала та самая его третья жена, из-за которой происходила дуэль.

НОВЫЙ ГОД

Старый друг, был у меня клочок земли, где я провел свое детство, я был страстно связан с этой родной землей и не хотел с ней расстаться. Близилась революция, умные люди, соображая, советовали мне поскорее продать чернозем. Конечно, я говорю о них умные в особом смысле, потому что действительно умными считают не тех, кто умеет соображать, а кто в состоянии обдумать все свои переживания и через это понять жизнь других людей. Я не продавал земли, потому что, казалось мне, мои неспелые мысли только здесь могут созреть и обратиться в плоды, необходимые всем. Но я не мог этого объяснить окружающим меня людям, взволнованным борьбою за землю. Я их сам когда-то поощрял в этом движении и потому скрепя сердце отдал свой удел без борьбы. После того, чтобы не утратить воспоминания о земле моего детства, я выдумал себе,

когда не спится, прогулки по саду, вызывал в себе отчетливые представления каждого дерева, каждого куста, сонных белых ночных бабочек, облепляющих днем основания стволов старых лип, неизменно бывающих с ними красных с черным крапом жучков, пурпуровых пауков величиной с булавочную головку... Все это я, лежа на подушке, с закрытыми глазами, представляю себе как-то даже более ярко, чем было в действительности, и потом, как продолжение чувства природы, являются люди... Знаю, конечно, что все эти видения питаются болью, но ясность мысли при этом, углубленное понимание современности обогащают меня, вероятно, больше, чем если бы я теперь обладал любимым уделом. Скажите, друг, мудрее ли меня тот, кто, избегая боли, зная наперед, что всякая страсть вызывает потом страдания, вовсе не стал бы, как я, устраиваться на клочке земли своего детства? Я называю теперь эти мои новые чувства счастьем своим, я понимаю их как награду за мою боль, но скажите, неужели мудрее меня тот, кто не отдавался бы, как я, бессмысленно с доверием к жизни и заморил Оы в себе заранее источник всякой боли и радости? Я не стал бы вас теперь об этом спрашивать, если бы мне не сопутствовал некто через всю жизнь, встречавший каждое мое свободное движение словами: «Грех, грех, грех!» Простите, друг, за это небольшое отступление, вызванное бессонницей. Так в этот раз вышло совсем неожиданное: я закрыл глаза перед сном, отправился в обычную мою мысленную прогулку по аллее, где в действительности теперь стоит ряд новых деревенских изб, сел отдохнуть на несуществующую лавочку, вспомнил вас, начал беседу и... не могу больше заснуть. Вдруг вскакиваю с постели, говорю вслух: «Не надо спать!» Зажигаю лампу и начинаю свою летопись. Так я называю свои писания, потому что, мне кажется, я лет триста прожил, как ворон, и есть мне о чем рассказать.

В свете моих собственных переживаний мне теперь представляется неважным вопрос, было ли что-нибудь у Алпатова с женщиной в эту ночь. Униженный и раздавленный омерзительной шуткой человека, которому неосторожно доверялся, Алпатов, чтобы не разбудить спящую женщину, встает, одевается и выкрадывается на улицу. Время уже близится к полдню, всюду большое движение, все готовятся сегодня вечером встречать Новый год. Как видение из далекого, давно оставленного им мира Алпатов узнает идущую в толпе соседку его в лаборатории Розу Катценэлленбоген. И он решительно направляется к ней, потому что уверен сейчас — в этой рыжей еврейке с предназначенной ей как бы в самом рождении должностью провизора в пинской аптеке заключается и конец его унижения. Роза немного удивлена: почему Алпатов, оказавший такие необыкновенные

успехи в химии, вдруг все забросил, куда-то исчез, что с ним происходит? Алпатов ей лепечет что-то и самому себе мало понятное. Они заходят вместе в одну маленькую кнейпе позавтракать, и тут Алпатов начинает объясняться более связно: химией он потому перестал заниматься, что физика обиделась, а когда занялся физикой, то — история человека, а все науки изучить невозможно.

— Если бы я была мужчиной, — воскликнула Роза, — я бы не тратила время даром, я бы за границей изучила, как осушать болота, и потом я бы наши Пинские болота превратила в плодородную страну. Нет, я не стала бы терять время на раздумье, что изучать: наше ученье здесь дорого стоит. Вы думаете, мало нас, фармацевток? — продолжала Роза. — Что можно заработать в аптеке? А инженер и еще болотный, торфмейстер, я думаю, в России может всего достигнуть, и себе хорошо, и людям самое нужное.

Алпатов, слушая Розу, в одно мгновение представил себе, что сладость занятий науками — это личное дело, и потому нельзя ни на чем остановиться, что смотришь в себя, думаешь о себе: сам живешь, переменяешься, и там снаружи все переменяется. А вот если взять болота, как постоянную величину, как у Розы аптека, то действительно можно достигнуть бесстрастия и независимости. Но в то самое время, как он подумал о постоянстве болот, стала наворачиваться знакомая сладость на достижение независимости, та самая опасная сладость мечты, увлекающая его в беспредельность.

«А что, если закрепить свое решение сейчас, в этот миг навсегда и сделать предложение Розе?» — подумал Алпатов и посмотрел искоса, как она, доедая шницель, вычищала хлебом тарелку.

Выходит как бы ответ трудной математической задачи, ответ — факт: если только он сейчас сделает предложение Розе, то непременно и сделается потом болотным инженером и очень полезным человеком, и ему будет хорошо и совершенно покойно в ту же минуту, как получит согласие.

«Вот тогда все будет кончено», — подумал он в последний раз, чтобы вслед за тем сказать: «Я соглашусь сделаться болотным инженером и осушить потом Пинские болота, если вы согласитесь быть моей женой».

— Кельнер! — крикнула Роза.

Встала, уплатила, подала руку Алпатову и вышла.

Так бывает — на один волосок от себя пройдет что-то огромное и не заденет: не судьба.

«Слава богу, не сорвалось у меня с языка, — подумал Алпатов. — Роза от меня никуда не уйдет».

Он загадывает, с места не сойти, пока не придумает какой-нибудь

выход в постоянство сознания, кроме последнего несомненного средства — жениться на Розе. Медленно, чтобы только показывать вид, будто он пьет и, значит, имеет право оставаться на месте, тянет он из кружки пиво и думает, потом еще спрашивает кружку... Мало-помалу вместо думы ввинчивается боль и живет там, внутри, как дума, все растет и растет, переходит в полное чувство физической боли, как зуб болит...

Вспыхивают электрические лампочки. Два кельнера усиленно гремят, сдвигая столы, наконец с поклоном подходит хозяин и вежливо напоминает: сегодня здесь будет встреча Нового года, сейчас закрываются двери, но потом, вечером, он просит гостя пожаловать к нему лично, если только милость его будет, встречать с его семьей и обычными гостями Новый год. Потом, узнав, что Алпатов иностранец, хозяин кнейпе объясняет ему всеобщий обычай в Саксонии угощать под Новый год всех, кто только бы ни зашел. И, конечно, хозяину особенно приятно будет почтить иностранца, который на чужбине вспоминает свою милую родину.

Алпатову сразу же после слов хозяина с небывалой силой и радостью вспомнилось русское Рождество, снега, узоры на окнах. Он очень благодарит хозяина и обещается. А хозяин считает своим долгом еще раз объяснить гостю, чтобы он не подумал, будто он его желает в интересах своего дела, нет: все угощение будет за счет хозяина, такой обычай во всей Саксонии.

В этом внезапном явлении русского зимнего рождественского ландшафта было Алпатову что-то совсем новое, и он это нес в себе домой до самого момента, когда маленьким ключиком повернул замок своей квартиры. Обыкновенно он входил почти неслышно в свою комнату, и хозяйка никогда не встречала его, чтобы не показать виду, будто он ее потревожил. Но теперь, как только он отворил дверь, хозяйка выходит ему навстречу, и у Алпатова является предчувствие какой-то беды. И когда хозяйка прошептала, что у него сидит давно гость, тоже русский, сердце упало у него: он знал, какой это гость, что это Ефим наконец приехал за отчетом в его революционных делах, тот самый Ефим, который, казалось, всегда был ему на родине всех дороже.

Самое ужасное, что Ефим Несговорцов ничего совершенно не замечает по лицу Алпатова и так же идет к нему навстречу, как было раньше, и это, что было раньше, представляется Алпатову необычайно прекрасным и как-то родственно связанным с тем, что шевельнулось у него в душе, когда хозяин пивной пригласил его встречать Новый год, что-то русское с праздниками, хотя Ефим праздников не признавал, с морозными узорами на окнах, хотя Ефим узоров никаких не видел и занимался только

революцией... Все это промелькнуло мгновенно в одном объятии, хотя никаких объятий не было, и друзья только подали руки, и Ефим улыбнулся только глазами.

Алпатов неестественно ласковым голосом спрашивает:

— Ты меня долго ждал?

Ефим сразу чувствует неестественный тон и спрашивает довольно сурово:

— Где ты был? Алпатов отвечает:

— Так... был в кабаке.

И все кончено, Ефим уже хмурится, уже догадывается.

Спрашивает:

— Ты сделал что-нибудь?

— Ничего, — ответил Алпатов, точь-в-точь как в первом классе гимназии, когда показывал матери журнал и там были одни единицы и хотелось объяснить, что не он виноват, а несправедливые учителя.

— Значит, ты опять в ху-до-жест-ве? — сурово спрашивает Ефим.

— Значит, в искусстве, — отвечает Алпатов.

— И не хочешь работать?

Алпатов назло, как, бывало, учителям:

— Нет, не хочу!

Ефим поднимает голову и смотрит внимательно:

— Что это у тебя губа рассечена, ты упал?

— Я дрался на дуэли за женщину, — ответил Алпатов. Ефим поднимается с кресла и, не прощаясь, идет к двери и на ходу говорит:

— Какой ты шалун!

Знакомая дверь там, в коридоре, захлопывается, запираясь автоматически.

Все кончено.

Случилось гораздо большее, чем Алпатов представлял себе, когда в горячах отвечал Несговорому, но он это не сразу понял и уснул в кресле, как будто ничего не случилось. А когда он просыпается, то ему теперь повторяется совершенно так же, как было, когда его исключили из гимназии. Быстро он одевается, выходит на улицу, идет по круговому бульвару и ничего не видит, впереди только темные стволы каштановых деревьев: все внутри. Выходило немного странным и нелогичным, ведь вместе с этим Ефимом они с детства отрицали все, что называется родным, праздники с попами и иконами, русские неудобные телеги, сохи, овраги — все, даже над русским морозом смеялись всегда, вспоминая: «Крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь». А теперь все это явилось

прекрасным, почему-то неразрывно связанным с Ефимом и вместе с ним теперь утраченным. Алпатов и теперь не знает в своем словаре родины, но ландшафт является ему картиной, которую, кажется, если бы можно в темноте, он точно бы нарисовал, и при этом все располагается в этом ландшафте под музыку.

Далеко где-то молотилка, будто пчела гудит. А в лесу настоящая пчела летит за последним взятком, будто молотилка вдали гудит. Вот как тихо: земля под ногами, как пустая, бунчит. Миновал перелесок, спустился в низину, вспомнилось ее необыкновенное старинное название: ендова. Тут, в ендове, люди в овчинных тулупах перележали холодную осеннюю ночь возле своих лошадей. Люди эти просты, как полевые звери, и разговор их самый простой и веселый про одного зайца, которому корова наступила на лапу, все очень смеются, вспоминая, как вился под коровьей ногой русак, а она так ничего и не знала о нем, и все жевала и жевала. А за ендовой уж начинается чужой лес, и тут ему встречается обрамленный осенними цветами деревьев светлый водоем, как затерянное начало всего прекрасного на свете. Тут с разноцветных деревьев, кленов, дубов, ясеней и осин, юноша выбирает самые красивые листья, будто готовит кому-то цвет совершенной красоты. «Друг мой, — шепчет голос, посвящающий в тайну, — не входи до срока в алтарь исходящего света, обернись в другую сторону, где все погружено во мрак, действуй тут силой, почерпнутой из источника, и дожидайся в отважном терпении, когда голос мой позовет тебя принять свет прямой».

В полях сгущается мрак, и в душе в ответ большая тревога, что не найти потом больше никогда эту тропинку к светлому источнику. Но тьма не наступила: еще не успела потухнуть вечерняя заря, как с другой стороны поднялась большая луна, свет зари и свет луны сошлись вместе, как цвет и крест в ярких сумерках. Вот тишина! Как пустая, бунчит под ногою земля, зажигаются звезды, пахнет глиной родной земли, невозможная красота является в ярких сумерках, и великий художник, управляя волшебной переменной цветов, говорит:

— Юноша, земля моя усеяна цветами, и тропинка вьется на ней, будто нет конца ароматному лугу. Я иду, влюбленный в мир, и знаю, что после всякой самой суровой зимы приходит непременно весна с любовью, и весна — это наше, это главное, из-за чего живут на земле. Цвет — это наше, это — явное, это день, а крест — одинокая ночь, зима жизни. Я художник и служу тому, кто украшает мир так, что и сам страдающий бог, роняя капли кровавого пота, просит: «Да минует меня чаша сия!» Я призван украсить наш путь, чтобы несчастные забыли тяжесть своего

креста.

Другой одинокий человек шел по круговому бульвару с другой стороны и против фонаря стал у дерева, как будто не решаясь идти дальше. Больше никого и не было на бульваре, все люди, встречая Новый год, зарылись в своих каменных муравейниках. Но вот раздаются шаги, и такой же одинокий человек подходит к тому же самому дереву и фонарю. Алпатов очнулся и, увидев другого, узнал то самое место, где сегодня звали его встречать Новый год. Тогда ему показалось, будто это приглашение к встрече праздника каким-то образом связано с его новым чувством особенной своей музыкальной родины и что он непременно должен быть в этом уличном кабачке. А другой тоже идет туда после раздумья, спускается вниз по каменной лесенке; при свете фонаря видна его скромная одежда рабочего человека, борода большая, как у русского. Алпатов спускается вслед за ним...

Не узнать пивную, в которой сегодня же был, все устроено, как будто это внутренняя комната какой-то семьи. Барышня, вероятно, хозяйская дочь, встречает его приветливо, как знакомого, просит раздеться, гости приветствуют его приход, другая барышня играет на пианино, а третья вот уже подходит к нему с подносом, просит взять его стакан с горячим вином. Он узнает за столом рядом с ним только что встреченного им на бульваре пожилого, в бороде, рабочего и прямо обращается к нему, как будто они с ним давно знакомы, и кажется ему, как на родине, вот сейчас, совершенно как там при встрече с незнакомым человеком, начнется душевный разговор о самом близком. Алпатов спрашивает его так же, как и на родине все спрашивают, откуда он, чем занимается.

Но с виноватой улыбкой наклоняется к нему старый человек и просит погромче сказать: он глуховат. А когда понимает вопрос, вот как он просветлел, вот как приятно ему рассказать о себе. Он глуховат, потому что весь день сидит в котле и пробивает дыры, в этом его дело, всегда грохот.

— У вас громкое дело, — посмеялся Алпатов.

— Что же делать? — смеется старик. — Я ничего другого не умею, но есть работы куда хуже моих, мне теперь хорошо.

— Как же хорошо, если вы теперь глохнете от этой работы?

— Это не беда, а была раньше у меня жена и три дочери: вот было трудно. Жена умерла, дочерей всех я выдал замуж, теперь стало легко, очень легко и хорошо. Я теперь даже книги читаю и думаю. А вы тоже имеете возможность читать и думать?

— Я всегда думаю, я с колыбели думаю, — ответил Алпатов.

Рабочий очень обрадовался:

— О, какой вы счастливый человек! Но чем же вы таким занимаетесь, что у вас есть возможность постоянно читать и думать?

Алпатов ответил не ложно, он в эту минуту как бы подписывал вексель с обязательством непременно расплатиться за свои слова.

— Я торфмейстер, — сказал, — я осушаю болота в России.

— Очень хорошо, — обрадовался старик, — в России, наверно, много болот.

Алпатову есть о чем рассказать. В России есть целые большие края, почти как Саксония, под болотами, и очень возможно их обратить в золотые луга, есть огромные залежи торфа, спящие богатства, которые от избытка своей силы летом вечно дымятся и помрачают свет солнца...

Старик сказал:

— Да, вы счастливый человек, вам есть над чем подумать. Но и я скажу прямо: теперь и мне ничего, теперь и у меня тоже есть время о многом подумать...

А стрелка часов мало-помалу подходит к двенадцати. Все три дочери спешат поскорей обнести гостей новыми стаканами глювейна. Вот начинается бой часов, все поздравляют друг друга, и пьют, и опять наливают стаканы, начинают говорить речи. Алпатов тоже встает, извиняется за свой нечистый язык: он иностранец, он русский... Долго не понимают гости, о какой это говорит иностранец волшебной зеленой стране. В этой волшебной стране странник идет даже по обыкновенным дорогам, и в жаркий день над ним склоняются деревья, обремененные сочными плодами...

— Да это у нас, — вдруг догадываясь, перебил речь иностранца старый котельщик.

— У нас! — обрадовались все.

И бросились поздравлять и обнимать иностранца.

ЗВЕНО ВОСЬМОЕ БРАЧНЫЙ ПОЛЕТ

ПУД СОЛИ

Пуд соли съесть, чтобы человека узнать, — плохая мудрость в Европе, где в установленных формах общежития можно десятки лет ежедневно обедать с людьми и произносить одно только слово: «Mahlzeit!» [Приятного аппетита! (нем.)]. Можно и так устроиться, что ежедневно будешь говорить за столом, вечером будешь принимать участие в домашних концертах, вместе ходить раз в неделю в театр, по праздникам прогуливаться на велосипедах, на лодке, и так вместе съесть не один пуд соли и все-таки оставаться совершенно неузнанным. Так жил несколько лет Алпатов на Штернвартенштрассе в Лейпциге в семье одного покойного, известного далеко за пределами Германии композитора. Семья была: вдова музыканта-профессора, седеющая дама с живыми глазами, и студент консерватории, сын ее, для которого она и жила. Не раз, конечно, Алпатов говорил в этой семье о своем плане работать в России торфмейстером, и ни разу никто не поинтересовался интимными причинами выбора им столь скромной профессии. Однако вопрос этот, наверно, не раз уже висел на кончике языка профессорши, и когда наконец она об этом спросила, то поговорка о пуде соли явилась неверной своей стороной. Случилось это под самый конец курса болотных наук. Алпатову оставалось на своем дипломном проекте гидро-торфной машины сделать циркулем мельчайший красный кружок. В чертежной, однако, не находится даже крупинки для этого необходимого кармина. В системе подшипников, где красным кружком подчеркивалось изобретение самого Алпатова, невозможно было ничего так изменить, чтобы обойтись с помощью туши. И вот из-за такого-то пустяка пришлось ехать домой за кармином. В этот час профессорша завтракала в одиночестве. Увидев Алпатова, она очень обрадовалась и просила его побыть минутку с ней за столом. А когда Алпатов сообщил ей, что ему остается только один кружок сделать циркулем и он может наконец-то ехать на родину, то вот тут и спросила профессорша, в какой губернии находятся его болота, сколько их в его владении. Алпатов ответил: в его владении нет ничего. Профессорша глубоко посмотрела на него и сказала:

— Мне казалось, я довольно вас знаю, и думала до сих пор — вы отдаетесь этому скучному и как будто несродному вам делу или как крупный собственник, или как друг человека. Скажите, осушение болот должно сильно изменить жизнь ваших бедных крестьян?

— Мне кажется, — холодно ответил Алпатов, — вы очень ошибаетесь, предполагая, будто хорошо меня знаете: я занимаюсь этим делом по личной склонности.

Тогда у пожилой женщины с молодым инженером произошел разговор.

Профессорша. Такие инженеры, как вы, бывают только у Ибсена.

Алпатов. А какие инженеры у Ибсена?

Профессорша. Инженеры, строители, банкиры, священники у Ибсена все поэты, это даже не легенда о людях, а как бы легенда о легенде норвежских туманов. Так и у вас, мне кажется, ваше болотное дело родилось не в жизненной необходимости, создано в молодой фантазии.

Алпатов. Без фантазии невозможно никакое дело, и притом, я думаю, существует единство жизни: если бы ваш гениальный в музыке муж не узнал бы о себе как музыканте и занимался бы осушением болот, то и тут сделал бы все не по рутине, а как-нибудь совершенно особенно и прекрасно.

Профессорша. Едва ли. У него были слабые легкие, болотный воздух убил бы его раньше, чем он мог бы что-нибудь сделать. Наша жизнь очень коротенькая — все в этом, и потому надо как можно меньше уклоняться в сторону от своих природных склонностей.

По смущенному и грустному лицу Алпатова профессорша вдруг заметила, сколько она лишнего наговорила.

— Простите меня, господин Алпатов, — сказала она, — я никак не хотела вас задеть и сделать чем-нибудь больно, вспомните, как хорошо мы жили с вами изо дня в день три года.

Алпатов встал, наклонился к руке профессорши, и она поцеловала его в лоб.

Ему стало, однако, не совсем по себе от разговора. Захватив с собой кармин, он вышел на улицу и остановился в ожидании электрического трамвая. По молодости этого дела в то время трамваи ежедневно много давили людей на тесных улицах. Вероятно, теперь как раз и случилась одна из этих катастроф: трамвай не показывался. В далеком конце улицы, как в окошке, явилось на небе летнее круглое облако — первый признак февральской весны. Это облако перенесло Алпатова к далекой его весне света, когда он, глядя в окошко тюрьмы или шагая по камере, отмечал себе

каждый миг в движении весны света, потом весны воды, зеленых растений и дожидался себе самому весны человека. Облако было очень знакомое, росло, поднималось, как лебедь, звало сорваться с места, лететь в синий мир. И что же? Единственным препятствием к этому полету теперь была только обязанность поставить на чертеже маленький кружок кармином. Не тюрьма с железными решетками держала человека в плену, а какой-то самолюбивый кружок, весь смысл которого был — подчеркнуть свое собственное пустяковое изобретение. Между тем со стороны, противоположной трамвайному ходу, идет деревенский омнибус, и если сесть в него, то и будешь через малое время в том самом мире, где плывет облако-лебедь.

Алпатов входит в омнибус, и вот такие странные явления происходят в больших городах: там не старухи с корзинами, как обыкновенно бывало, а все только молоденькие девушки. Алпатов не придавал этому значения и в рассеянности приписал преобразование вагона силам весны. Среди этих девушек была одна с лицом, закрытым зеленой вуалью. Никогда без волнения Алпатов не пропускал лиц женщин в зеленых вуалях, но теперь почему-то отвернулся к окошку, хотя эта девушка смотрела на него упорно. На ближайшей остановке входит рабочий в синем и, вероятно, прямо с большой, очень тяжелой работы: весь омнибус наполнился запахом рабочего пота. Некоторые девушки, переглядываясь, зажимают носы, другие догадываются уйти на площадку. Освобождается много места, рабочий садится против Алпатова.

— Вот как просто можно себе место добыть, — говорит Алпатов.

Рабочий добродушно усмехается. Так даже годы жизни в Европе не могли отучить Алпатова от внимания и сочувствия рабочему человеку. Он сказал:

— Вот наши дамы в России привыкли ко всяким духам. И в то же самое время девушка с зеленой вуалью сказала по-русски:

— Вы русский? Алпатов обернулся.

— Я узнаю вас, — сказала девушка, — вы Алпатов — я помню ваш голос, едва ли только меня вы узнаете...

— Нет, — ответил Алпатов, — я узнаю: вы приходили ко мне в тюрьму.

Алпатов пересел к ней и забыл про рабочего.

Вероятно, так зимующие птицы в далеких краях находят друг друга и потом уносятся в брачном полете на места гнездования.

БАХРОМА

В голодное время, бывало, после котлет из картофельных очистков попадет из деревни кусок настоящего ржаного мужицкого хлеба, и тогда в его вкусе и аромате была вся моя любимая земля, и тепло, и свет нашего общего солнца. Я загадывал тогда на случай, если снова начнется для меня легкая жизнь, сохранить в себе хотя бы воспоминание первого вкуса самого простого плода земли, а что сверх этого будет доставаться, то принимать только с благодарностью за свое исключительное счастье жизни. Вот бы такой силой чувства жизни первой любви люди понимали, что родником и всей нашей желанной большой сложной любви был наш первый брачный полет. Вот тогда бы, я думаю, исчезло у нас разделение, как в хлебе на черный и белый, в любви на духовную и животную, мы бы тогда в любовном пробеге зверей и в брачном полете птиц узнавали нашу любовь...

Алпатов ужасно был голоден.

Когда Инна подняла вуаль, едва ли он мог заметить какую-нибудь особенную красоту ее лица. Напротив, ему даже мелькнуло: «Только-то, неужели это и все!» Но было это только в момент замешательства, как бы при мгновенной остановке стремительного движения. После того ему скоро стало, будто он в кругу своих родных людей, где хочешь — говори, хочешь — молчи, и все хорошо. Но самое главное: «у меня теперь, как у всех», и что «я теперь человеком стал».

Они идут по шоссе к горизонту, где все кучней нарастают облака-лебеди первой весны света. И, верно, Инна была тоже сильно голодная, а то почему же она совершенно забыла — и зачем приехала в Лейпциг, и зачем ехала куда-то с девушками в омнибусе, и куда теперь с ним идет.

Впереди на их пути вырастает саксонская деревня, как маленький белый город. Там они себе находят большой пустой Tanzlocal [Помещение для танцев (нем.)] и садятся за столик завтракать, двое во всем помещении. Старый хозяин и его жена подают вместе, он — вилки и ножи, она — тарелки. И когда подано все, они, опытные люди, исчезают, как будто и вовсе их нет, но, конечно, откуда-то все наблюдают, и старуха сразу же недовольна: молодой человек принимается крутить бахрому ее самой парадной скатерти.

Алпатов рассказывает все, что с ним было после тюрьмы. Как узнал он ее адрес в Берлине и явился к пасторше Вейсс всего час спустя после отъезда ее в Йену и как по пути за ней ему привиделась Зеленая Дверь и

показалась Зеленая Германия. Потом лесник проводил его к профессорше Ниппердай, и тут он нашел ее белую шаль и помчался на велосипеде догонять ее по удивительно белой дороге. А белая, шитая гладью шаль и теперь у него...

Вдруг, очень смущенный, Алпатов опускает глаза и, умолкнув, с большим старанием начинает крутить жгутики из бахромы самой парадной скатерти. Инна тоже очень усердно крутит с другого конца.

— Что же это такое? — шепчет хозяйка своему старику.

— Ничего, — отвечает хозяин, — ты вспомни, Alte, наше время, как мы с тобой тоже крутили!

— Дальше, дальше! — настойчиво просит Инна.

— Я приехал в Дрезден на пароходе, и тут все кончилось.

— Почему же все кончилось?

— Она уехала в Париж.

— А он почему не уехал?

— Не мог.

— Не верю, так не бывает: так никогда не кончается. А между тем руки, свивающие жгутики, подходят к середине, встречаются. Инна, бросив крутить, берет его за руку.

— Ну, милый, прошу: вы не знаете, как мне все это дорого, я первый раз в жизни себя человеком почувствовала.

— Я то же самое сказал это себе еще на дороге, но как же это вы говорите в первый раз?

Инна широко открыла глаза.

Алпатов смешался, и ему почудилось, что Инна может опять от него ускользнуть, и что надо сейчас же принять какие-то меры, и что меры эти единственное и простое: надо все рассказать, как бы ни было это стыдно, смешно и до крайности глупо.

— В гостинице на берегу Эльбы, — сказал он, — мне ответили: «Русская фрейлейн обедала с молодым шведом...» Помните?

— Помню, да, я обедала с шведом.

— Я спешу в Дрезден за ней, и мне говорят: Инна уехала с молодым шведом в Париж.

Он снова умолк. Она требует:

— Дальше!

— Ничего не было дальше: она уехала с молодым шведом, вот и все. Я бы давно все это смешал с моими снами, но у меня сохраняется белая шаль.

Тогда наконец Инна все поняла и сказала:

— Шведа не было.

Нет, у нее никого не было. А вот что случилось тогда. Она в ожидании парохода в Дрезден прогуливается в парке. На лавочке в мучительных судорогах корчится молодой швед. Она очень хочет помочь ему, но он может объясняться только на родном языке, и понимает она из его речи только два слова: фрекен и аптека. Наконец у него явилось французское слово, и она понимает и приносит ему из аптеки слабительное. Вскоре причаливает пароход и появляется швед, очень веселый. В Дрездене она была с ним в Цвингере, потом ехали вместе до Брюсселя. Там он вышел из поезда, и с тех пор она его не видела, но всегда вспоминает при расстройстве желудка.

Бахрома на скатерти вся покрывается жгутиками, и на жгутиках начинают появляться узелки. Спасая скатерть, хозяйка выдумала прислать к ним цветочницу с розами: займутся цветами и перестанут крутить. Прекрасные это были розы, огромные, только совсем почему-то не пахли. Говорили много о розах, но все не переставали крутить. И в сумерках были они, казалось, уже совсем близко в полете своем, как у птиц, к местам гнездований, но тут в сумерках явился омнибус, и родная земля стала опять далека.

Ехали вдвоем на площадке и молчали. Это было не на родине: там, если только придется встретить человека, он скоро явится непременно опять. Тут оставить друг друга — проститься, может быть, и навсегда. Но тем хорошо на чужбине, что тут они сами с собой, вожатый видит только путь и не понимает совершенно по-русски. Тут можно вдруг сказать все и, если не будет ответа, навсегда без стыда разлететься. Но все-таки почему-то до крайности страшно, и вспоминается, будто где-то в мире ином тоже совершенно так же скакнул в неизвестное.

Друг мой, быть может, это и не было в мире ином, а где-нибудь очень близко, только у очень отдаленных от нас по своему образу жизни существ. Вот я давно следил за гнездом городской ласточки над окном в шестом этаже и долго не мог заметить последний момент, когда птенец, не учась полету, бросается вниз головой над каменной бездной. В этом году наконец-то я не пропустил случая, все видел: и знаете, я из этого птичьего мира перенесся в наш человеческий и думал: «Пусть у нас нет крыльев и живем мы совсем по-иному, но все равно, мы сохраняем свою древнюю птицу в себе и тоже, чтобы стать вполне человеком, хоть раз в своей жизни должны, как птица, броситься в бездну».

С Алпатовым было как с малым птенцом, тоже он почувствовал время свое, силу и вдруг все сказал.

Она молчит. Омнибус останавливается почти напротив ее дома. У

калитки она спрашивает:

— Что же делать с этим, как быть? Он решается на последнее:

— Вы мне об этом писали в тюрьму, я помню, вы писали по-детски: «Мы поедем за границу и будем жениться». Мы теперь за границей и «подросли».

Потом, оказалось, необходимо было разделить между собой розы и опавшие при этом листки крутить дрожащими пальцами.

В это самое время в деревне, где они были, хозяйка возится над скатертью, развязывая узелки, и ворчит:

— Вот накрутили!

А добрый хозяин ее успокаивает:

— Зато как хорошо заплатили. Ты только вспомни, Alte, сколько мы с тобой в наше-то время намяли белья.

Они поцеловались совсем неумело, только чтобы не говорить. И это еще была не волна любви, а только повеяло ветром, от которого рождаются волны.

РОЖДЕНИЕ ВОЛНЫ

Правду ли говорят, что трагические скалы на берегу Черного моря в Симеизе, «Монах» и «Дива», теперь от землетрясения исчезли под водой? Когда-то, помню, влюбленный доктор сидел возле этих скал, и мы вели с ним беседу о любви и взволнованном море. Мне всегда было как-то странно думать о врачах, понимающих любовь как абстракцию закона размножения, — что эти люди могут быть тоже влюбленными. Я шутя сказал об этом доктору, а он серьезно стал мне говорить о природе волны, что вода, составляющая волну, не бежит, а только на месте колышется, что нам это кажется только, будто волна бежит: на самом деле бежит только форма волны.

— Половое чувство, — говорил влюбленный доктор, — это вода, а сама любовь — это перебегающая форма. Как врач я имею дело с водой любви, как личность я творец формы своей единственной в мире волны.

Мне тогда рассуждение влюбленного доктора очень понравилось, вдруг стало понятным, почему о любви десятки тысяч лет все думают и никто о ней не может сказать до конца: ведь все волны разные, а каждый поэт говорит только о своей неповторимой волне, и так без конца, и так

после гениальных романов у каждого остается возможность сказать новое о своей собственной форме волны.

Я сказал об этом доктору, и он очень удивился моей робости писать о любви:

— Сколько угодно пишете, и все будут читать. Из волн складывается лицо океана, из ваших поэм лицо человека, и этому нет и не будет конца, пока будет жизнь на земле.

Сколько раз в эти годы было: ночами Алпатов вскакивал с постели, обвязывал голову мокрым полотенцем и так до утра ходил по комнате из угла в угол, как в тюрьме. И сколько раз, встречаясь на улице с глазами каких-то женщин, он в этом зеркале узнавал свой ад и, вспыхнув, опускал свои глаза и отходил. Верней всего бессознательно, как девушка — честь, он берег так неясную силу из этого создать свою единственную в мире волну.

Долго сидит Алпатов в старом кресле профессора и не может перейти спать в другую комнату, где он оставил букет своих почему-то не пахнущих роз.

Проходит новое свое неслитанное время. Звенят в ушах серебряные колокольчики. Нет, он не спал, это ему не во сне приснилось, в другой комнате есть доказательство — большие роскошные непахучие розы. Посмотреть бы на них... Открывает дверь и, не видя роз в темноте, чувствует аромат во всей силе: розы не пахли на холоде...

Друг мой, неповинны розы в их аромате, дурные, испорченные и слабые люди создали из этого грех. Розы в эту ночь преобразили свой грешный запах в чистейший аромат краски новой детской лошадки из папье-маше и перенесли спящего в ту пасхальную ночь, когда маленьких укладывают в постельки с пологом, уходят к заутрене и возвращаются в темноте. Спящий знает о каких-то радостных таинственных приготовлениях. Он просыпается, когда старшие спят, а в комнате солнце, и по удивительному аромату Догадывается. Выглянув из-за полога, сразу видит он — не ошибся: это большой новый конь в седле и с уздечкой стоит и пахнет возле кровати. Тогда в великом восторге он тащит коня к себе на кровать.

В первой любви, дорогой мой друг, всегда возрождается детство, и такое прекрасное, каким оно не бывает в действительной жизни. У меня есть подозрение, что и великие мечтатели счастливую жизнь дикарей на лоне природы взяли из нашего первого брачного дня...

В такое утро Алпатов проснулся не обыкновенным капризным ребенком, устремленным к лошадке, а ребенком, готовым обнять весь мир

любовью; не лошадка, а человек ему близок и дорог. Нет, едва ли у кого-нибудь в действительном детстве бывает такое звонкое утро. И если бы не каждый порознь, не в разные сроки, а все в один день переживали такое, то давно бы в одном дружном усилии вдребезги разлетелась вся наша Кащеева цепь.

Алпатов взглянул на часы. Оставалось всего только сорок минут до новой встречи у того же самого прекрасного омнибуса. Вместе с кофеом подают ему на подносе маленькое письмо. Он пьет, положив перед собою часы, и не обращает на письмо никакого внимания: это после, как-нибудь на ходу.

Все моряки говорят, будто крысы предчувствуют гибель судна. Я это понимаю, очень может быть в некоторых случаях крысы как-нибудь по давлению атмосферного воздуха узнают нам непонятное.

В этом маленьком письме была мина Алпатову, и он совсем не предчувствовал взрыва. Мина лежала, смотрела на него, а он пил кофе с сухарями и видел только стрелки часов. Уже в пальто и шляпе на ходу берет он письмо и читает:

«Не думайте только, что я вас обманула вчера. Я искренно увлеклась вашей сказкой. Но я не та, которую вы любите: вы сочинили сами себе невесту и почти ничего не взяли для этого из меня действительной. И я тоже не могу полюбить вас в один день. Прощайте. Ночью я уезжаю».

Алпатов уронил письмо и побежал на улицу, в тот дом, где вчера он с Инной расстался. Не может быть, она не уехала. Но ему ответили в доме: она уехала ночью.

И вот это волна. Да, это родилась и побежала волна.

МИКАРЭМ

Был туман в Лейпциге. Звук рожка омнибуса в холодном тумане звал родным голосом к вчерашнему ясному дню. И Алпатов шел по сигналу друга на то самое место, где вчера ему явилось облако-лебедь. Но там не было друга. Он ехал в том же самом вагоне — в нем были только старухи с корзинами. В деревне добрый хозяин спросил, почему с ним сегодня не пришла его милая барышня. Он ответил:

— Барышня боится холодного тумана, сегодня барышня очень больна. Через несколько дней в солнечное утро, бледный, с темными кругами

на лице от бессонницы, он опять в этой деревне, и хозяин опять спрашивает:

— Сегодня солнечное утро, почему с вами опять нет милой барышни?

— Добрый хозяин, не спрашивайте больше меня: барышня умерла, я сегодня уезжаю на родину.

И после того он решительным шагом направляется в город. Там в чертежной ставит циркулем последний кружок на дипломном проекте. Покупает билет в Москву, прощается с профессоршей.

— Ничего плохого — я встретил друга из России, мы с ним покутили и сегодня вместе едем в Москву.

Идет наверх за вещами, а профессорша снизу кричит:

— Не забудьте: там на столе заказное письмо из Парижа. Так прибежала вторая волна и опять поднимает наверх, и опять форма и тело волны сливаются вместе, и снова кажется — волны быстро бегут и можно довериться им, и унесут эти волны куда-то к началу и своего собственного, и общего всем, и небывалого, и вечного мира.

Барышня жива!

Она пишет ему неверным почерком с кляксами о каких-то своих учебных Людовиках в книгах, что все они полетели у ней. Но она и пальцем не шевельнет для своего счастья. И кончает письмо: судите меня...

...Видите, друг мой, она просит судить. Сколько лет проходит у нас, пока можно бывает об этом судить, а я и теперь не свободен ранней весной: вместо суда весной света в предрассветный час на морозных узорах окна протеплю себе дырочку и смотрю почему-то в восторге на соседку бабу-ягу, отправляющую ухватом в печь чугуны; везде из труб большими колоннами поднимается дым: мало-помалу бледнеет молоденький месяц и с ним его большая звезда, — я давно знаю эту звезду, и видите, какой я смелый, я говорю: «Это моя звезда».

В этот заутренний час я приветствую не совсем ясно доступную моему уму силу стоящего надо мной всеобщего родства и, не зная, кого благодарить, вспоминаю близких людей, и особенно ту маленькую женщину, через посредство которой явилась и эта звезда. Она доверчиво мне отдавалась и тоже шептала: «Судите!» Теперь, в этот заутренний час без суда и раздумья, как исток лучшей творческой силы людей, приветствую глупость влюбленных, когда не только люди, но и растения, и животные, даже каменные планеты являются как родные существа и совершенно исчезают враги, и все человечество, и паровозы, и аэропланы, и фабрики, и города представляются без враждебных слагаемых, как общее дело.

Мчится, мигом пересекая маленькую Бельгию, экспресс Французской республики. Алпатову не только этот экспресс, но и целые государства, Германия, Бельгия, Франция, — его земля, весь мир — это Я и мои близкие. И как думать о парусе, несущем судно вслед за бегущей формой волны, — разве это не благословенная сила? И пар, несущий экспресс почти с быстротой птицы, — это разве не та же самая невидимая сила любви? И парус, и пар, и челнок, и экспресс, и Россия, и Германия, и Бельгия, и Франция, и весь мир, и все миры соединяются, вселенная плавится, и вся она вселенная — это Я сам и мои близкие.

Случайно сошлось, но при этом всегда что-нибудь сходится и кажется чудесным. У Алпатова так сошлось, что влетел он в Париж в тот самый день, когда каждый француз сходит с ума и бросается веселиться со всеми на улицу.

У нас в половине поста одни коты кричат на улицах и лезут на крыши. Французы в середине поста обрывают молитву и труд, все выходят на улицу выбирать себе королеву красоты из прачек, как будто хотят заявить князьям всего мира, что красота больше породы, и попам, что красивая прачка сильнее поста.

У нас в это время в нашей пустыне по утрам царит иней, а потом, позднее, когда иней сойдет, в лучах солнца дрожат, переливаясь всеми цветами, ледяные иголки и сверкают снега. У них уже греет апрельское солнце, и вместо ледяных иголок в воздухе носятся радужные тучи конфетти. Синица и овсянка у нас только-только начинают петь брачным голосом, у них на улицах поют, играют на скрипках и многие прямо возле кафе и пускаются в пляс.

Невозможно в этой французской живой толпе продвижение. Русский спускается с верхней площадки тяжелого омнибуса по лестнице. Русский только по горю своей родины не знает таких больших праздников, но зато теперь на чужбине падает цепь, и он бросается в толпу искать свою королеву.

Какая-то роскошная дама с султаном из белой цапли на шляпе, с двумя кавалерами в цилиндрах, обнажив блестящие зубы, швырнула ему прямо в лицо горсть конфетти. Что же, мало ей двух, или, может быть, никого ей не нужно, и, как солнце, равнодушно и щедро она всем равно бросает лучи? Вовремя протянулась к Алпатову рука с пакетом, он схватил его и обсыпал красивую женщину с головы и до ног цветными кружками. Она засмеялась, и кавалеры слегка поклонились.

Возле открытого кафе немолодой человек с усталым лицом, но живыми глазами играл на скрипке. Алпатов дает ему мелочи и спрашивает

грамматически очень верно построенной фразой, где ему тут можно выпить немного, и не желает ли музыкант тоже выпить рюмочку и закусить. По усталому артисту пробежал ток жизни, он весь встрепенулся и, взмахнув смычком, кончиком очертил воздух и заключил весь Париж в магический круг: весь Париж у иностранца в полнейшем распоряжении. Но далеко ходить незачем, они садятся тут в открытом кафе, и француз после рюмки абсента называет Алпатова другом.

Видел ли уже прекраснейший иностранец королеву северных кварталов Парижа?

Нет, он не видел еще. Он приехал сюда искать свою королеву. Это вполне понятно: у каждого молодого человека должна быть своя королева. Знает ли он ее адрес?

Адрес известен.

Музыкант смычком постучал по столу и вызвал курьера.

Алпатов пишет письмо своей королеве, просит ее прийти... но куда же прийти? Он совсем не знает Парижа. Спрашивает музыканта, где самое лучшее место для свиданий в Париже. Друг задумался и переспросил:

— Вы желаете непременно самое лучшее?

Получил ответ и снова задумался. И это, правда, невозможно трудный вопрос: в Париже такое множество мест для свиданий и все одно лучше другого.

Вдруг ему что-то мелькнуло. Он срывается с места. Поручает свою скрипку попечению друга, извиняется: он сию минуту ответит.

Недалеко он ушел. Тут же против кафе из-под железного цилиндра на ножках вроде огромной конфорки, на которых у нас варят варенье, видны его ноги. Несколько секунд он думает, стоя в этой жаровне, и является оттуда, не помыв даже рук, совершенно счастливым.

— Я нашел, мосье, для вашей королевы самое подходящее место.

Алпатов спросил коньяку. Артист выпил.

— Берите перо, пишите место свидания: Люксембургский сад, фонтан Медичи.

Алпатов отправляет курьера.

— Я всегда замечал, — говорит довольный артист, — самые прекрасные мысли приходят в голову, когда занимаешься этим маленьким и необходимым для каждого делом.

Он указал смычком на жаровню, где уже виднелись ноги другого мыслящего француза.

Расстаются. И нет, Алпатов не ошибся, нет: лицо музыканта стало серьезным и усталым по-прежнему, в глазах музыканта неподдельная

грусть, что они должны так скоро расстаться.

ЛУЧ ПАРИЖА

У них это бывает в феврале, а у нас только в половине апреля, когда почти все растает в полях, на южных опушках лесов солнечный луч как бы впивается в землю, на пути своем сушит листву, и мелкая зимующая в листве тварь шевелится, оправляет крылышки. Луч проникает все глубже, лезет сморчок... Тут не бывает, как у нас, долгой весны света с февраля и потом весны половодья до половины апреля, и если приходит любовь, то минута этой любви в Париже отвечает за час. У них, наверно, к этому привыкли и знают, как обойтись, когда вдруг в это время начинается пожар. Наш северный человек в Париже даже от ресторанной любви сходит с ума, принимая кокотку за свою королеву. Но воробьи в Люксембургском саду до смешного такие же, как и у нас. Это с удивлением заметил Алпатов и остановился возле колючей изгороди, за которой среди разбросанных статуй был фонтан Медичи. Пожилая дама в трауре подошла сюда и стала кормить воробьев. Сколько пережитых страданий открывал солнечный луч в чертах этой дамы! Но воробьи так весело прыгали по газону, что дама им улыбнулась. Алпатов легко прочитал в этой улыбке: жизнь этой женщины не удалась, но она вдумчиво все перенесла, и у нее много еще осталось чего-то для всех. Дама в трауре заметила интерес Алпатова, просто ему улыбнулась, кивнула в сторону воробьев, сказала: «Что за прелесть!» И как раз в это самое время к изгороди подошла королева в новой шелковой кофточке.

Алпатову явление невесты в первый момент было как при остановке поезда бывает непременно у всех: все продолжает по-прежнему двигаться, хотя очень хорошо знаешь, что поезд стоит. Потом обратил он внимание на ее новую шелковую кофточку, прежняя была шерстяная, поношенная шотландка и очень к ней шла, эта была не к лицу. Конечно, они улыбнулись друг другу, но сказать не могли даже здравствуйте. Подала ему руку. Он задержал, и рука осталась у него. Так идут они молча к Дворцу. Алпатов первый решается сказать:

— У вас совсем новая кофточка! Она ответила:

— Я знала, что вы непременно приедете, и купила ее только вчера. Так надо!

После того вдруг объяснилось, почему ей кофточка не к лицу и что это значит: в этом что-то серьезное, гораздо более хорошее, чем если бы шло к лицу, и, конечно, так надо. Но самое главное, что Инна идет против всего, что говорит о лживой природе женщины: он вовсе не просил открываться ему, всякая другая женщина тут непременно бы сделала тайну — эта была единственная не как все. И в то же время все покупают новые кофточки, и, значит, у них с Инной, тоже как у всех. Так получилось из всего, что обычное для всех у них происходило по-небывалому, и через это раньше отвергнутое и уже не признаваемое прошлое как бы воскресало в прелести настоящего и становилось: так надо.

Все это мелькнуло Алпатову в чувстве родного, и так сильно, что перешло в движение, и он прижал ее руку к себе, и она ему ответила. А потом и началось у них понимание.

— Вот странно, — сказал он, — не кажется ли...

Он замялся, не желая сказать вы и еще не смея на ты. Выдумал пошутить.

— Если бы у нас теперь было как в опере, я бы должен был сказать: ты моя!

Она все поняла и ответила:

— Пусть будет, как в опере: я твоя! Продолжай, твои слова были: «не кажется ли».

— Не кажется ли тебе, что сейчас мы живем, думаем, как нас учили, вот ты покупаешь новую кофточку...

— Я вчера, когда покупала, думала точь-в-точь то же самое.

В это время они были уже давно в Дворце и теперь говорили около статуи Родена.

— А еще я думаю сейчас о скульптуре — раньше я, смотрел на форму и потом догадывался о плане художника, находил его и идею, теперь, смотря на тело статуи, на самый мрамор, и так все понимаю: какой он белый, какой крупчатый, видишь ты это?

— Я это еще раньше тебя заметила, когда ты начал о кофточке.

— Нет, — заспорил Алпатов.

— Не будем спорить, — засмеялась Инна, — согласимся: мы об этом вместе подумали. Мне кажется, сейчас мы так похожи, мы такими друг для друга родились и вдруг нашлись.

Им стало тесно в Дворце искусства. Вернулись в сад. Шли под руку. Она сказала:

— Подумать только: всю жизнь вместе идти! Он сказал:

— И хорошо!

На бульваре Сен-Мишель их подхватила толпа. Тут весь воздух дрожал от разноцветных кружков. Все население Латинского квартала провожало свою королеву, победительницу всех местных, королеву всего Парижа. Когда вместе с толпой они вступили на мост, Инна крикнула:

— Сена!

И Алпатов узнал на всю жизнь, какая настоящая Сена. В это время что ни показывалось, то все на всю жизнь оставалось.

— Вот Тюильри!

И стало ему настоящее Тюильри, как природному парижанину.

О Вандомской колонне с маленькой фигурой Наполеона Алпатов сам догадался, и то же с ним было на улице-парке со сверкающими на солнце вечнозелеными растениями, он догадался сам: Елисейские поля.

И так прошел весь день: узнавал от нее или догадывался по Гюго и Золя. Перед самым закатом солнца очутились опять в Люксембургском саду и сели на лавочку против своего фонтана.

— Что я думаю, — сказал Алпатов, — мне кажется, я этот город видел где-то, очень может быть, что во сне, но все равно знал о нем, и что когда народ наш дождется счастья, то у нас сложится, как здесь.

— Опять мы с тобой думаем вместе.

Тогда Алпатов вспомнил то самое, о чем хотел ей еще сказать утром, когда было у них в разговоре: «Мы такими родились и вдруг нашлись». Теперь он взял обе ее руки

и сказал: «Вероятно, все это потому, что мы любим друг друга». Луч Парижа только в эту минуту проник совсем в нее, она вспыхнула, опустила глаза.

ДЕТИ

Анютинны глазки называлась у нас одна милая девушка, и я сотни раз слышал о ней от взрослых: «Вот эта девушка создана для семейного счастья!» За ней было очень большое приданое, и женихов у нее было множество. На каждое лето она приезжала к нам от матери из Москвы одна, и мало-помалу, из года в год, глазки ее начинали терять свежесть полевого цветка. Наконец один из близких нам людей влюбился в нее и поехал в Москву с твердой решимостью добиться от нее если не любви, то хотя бы уважения и непременно жениться. Через несколько дней он бежал

из Москвы, как все женихи, и наконец мы узнали тайну Анютиных глазок. В первый же день появления жениха в доме невесты мать приглашает его к себе в комнату и просит в следующий раз непременно захватить с собой медицинское свидетельство... Так раскрылась тайна выцветающих Анютиных глазок. Но только после смерти ее матери мы узнали все: доктор объяснил странности матери последствием одной страшной болезни. «Но, — сказал доктор, — возможно, сама она ничего о своей болезни не знала, хотя всегда была в смутной тревоге, и это переродило любовь к дочери в эгоистический страх перед ее женихами». После смерти матери было уже поздно добиваться личного счастья, и состоянием девушки постепенно завладели монахи.

И как же хороша она была в своей печали, как ужасно было знать себя маленьким, бесправным, не понимать совершенно тайны медицинского свидетельства, не иметь никакой возможности освободить прекрасную, нежную девушку из ее ужасного плена. Сколько раз потом в жизни своей судьбу ее мысленно я к себе применял и загадывал, бежать мне от этой матери, называемой родиной, или терпеть все ее медицинские свидетельства без всякой надежды на личное счастье...

Была такая ничтожная причина к этому воспоминанию: сегодня на первой проталине я поднял пролежавший зиму под снегом поблеклый цветок анютины глазки. И такая же ничтожная причина была у Алпатова с Инной вернуться мыслью из самого очаровательного города в мире на свою трудную родину. Было это на Вандомской площади, где грязно, почти как у нас, и особенно было грязно после бешеного Микарэм. За много лет выбитые шашки мостовой стали как тарелки, и каждая была наполнена навозной жидкостью.

Влюбленным, конечно, везде хорошо, и они идут, не разбирая пути, но бывают пределы и этому: без калош в новых лакированных башмаках дальше Инна идти не могла и вдруг опомнилась. А он в это неприятное для нее мгновенье сказал:

— В Париже почти такая же славная грязь, как в Москве.

Инна в первый раз ничего не ответила. Это глухое молчание продолжалось и в Тюильри, когда они сели на лавочку.

Алпатов спросил:

— Милая, скажи, что тебя смутило вдруг и в первый раз мы стали думать о разном. Скажи все, так нам нельзя, дорогая.

— Меня вдруг смутила, — ответила Инна, — эта грязь на Вандомской площади и потом твои слова, я задумалась о завтрашнем дне; не все же мы будем в Париже. В России есть для меня ничем не прикрытый ужас жизни,

и без твоей помощи, мне кажется, я не в силах его выносить. Я помню твое бледное лицо за двумя решетками. Жандарм стоял с часами в руках, и это было наше первое свиданье, от чего все началось.

У нее на глазах были слезы. Алпатов первый раз видел слезы любимой женщины, у него сжалось сердце.

— Инна, — сказал он, — я сам то же, наверно, чувствовал, когда с улицы смотрел на заключенных. Мне кажется теперь, мое сострадание было больше страдания заключенных: я лично был счастлив в тюрьме, и там я тебя полюбил.

— Вот я этого больше всего и боюсь, — ответила Инна, — ты не меня, ты свою мечту полюбил, я знаю — это, может быть, и есть настоящее счастье слышать над собой зовущий голос, но это счастье только твое. Я не за тебя, я за себя боюсь: я обыкновенная женщина.

— Какая ты женщина! — улыбнулся Алпатов. Инна удивилась:

— Что хочешь этим сказать?

— Ты ребенок, еще совершенный ребенок, — ответил Алпатов.

— Как раз это я думаю о тебе — какой ты мужчина, ты настоящий ребенок.

Оба смеялись.

Он. Ты думаешь, такое, как у нас вышло с ребенком, у всех бывает?

Она. Да, вероятно, у всех.

Он. Читала где-нибудь об этом?

Она. Нет, сама догадываюсь и, правда, читала у Герцена.

Очень покраснела почему-то. Но скоро справилась с собой и сказала:

— А кроме того, что, наверно, у всех бывает эта мысль о ребенке, сверх всего ты еще и ребенок настоящий. Скажи, например, что мы с тобой будем делать, когда вернемся в Россию?

— Как что! — воскликнул Алпатов. — До встречи с тобой мне, правда, было неловко думать, что придется как-то устраиваться на буржуазный лад, теперь это стало необходимостью, мы устроимся, а потом сама жизнь поведет нас к настоящему делу. Вот твой родной Петербург мне теперь представляется на огромном пространстве болот, как водяная лилия, — видишь как! И лебеди, и дикие гуси летят над городом, и этот город своим электричеством бросает на облака рыжую тень. Это им одно мгновенное впечатление, и они дальше летят. Россия — не Петербург, она огромная! Вот как надо смотреть, я так понимаю жизнь, что мы с тобой, как птицы. Стоит ли думать о пустяках, как-нибудь же непременно устроимся. Разве ты этого не чувствуешь?

Инна, подумав, печально ответила:

— Я это чувствую, милый, только через тебя.

Она взяла его руку к себе на колени, погладила, улыбнулась и потом новым и ласковым, и деловитым голосом, совершенно как мать, сказала:

— Я сейчас смотрю на тебя, и мне так хорошо, мне кажется, ты мой ребенок. — Она опять покраснела. — Но все-таки давай поговорим совершенно практически.

— Я готов — это надо. К нашему счастью, так вышло, что я тогда тебя потерял, и, казалось мне, навсегда. С отчаяния взялся я за выучку. Теперь я хороший, нужный для нашей страны инженер, ценный работник, буду осушать болота, дело будет! Зачем ты вмешиваешь еще, что я поэт или художник, я тебе об этом не говорил и никакой на это не имею претензии, напротив, я горжусь, что научился работать в Германии и никакой серой действительности не боюсь. Притом ты меня еще ребенком считаешь, разве что я сейчас говорю тебе — не как у всех и непрактично?

Инна изумилась:

— Ты как будто обижаешься, милый мой, за хорошее, за самое лучшее, что я открываю в тебе. Я еще больше, скажу: у тебя есть лучшее, чем у поэтов, ты принимаешь к сердцу людей, чувствуешь их — вот что дорого.

— Ты же хотела говорить о практическом, — перебил ее Алпатов, — а теперь сама уходишь в сторону.

— Хорошо, — схватилась Инна, — практическое, милый мой мальчик, не в твоих болотах, а в маме моей... я себе не могу тебя представить возле нее. Сказать ли тебе?

— Все скажи, непременно.

— Трудно все: есть мучительные маленькие тайны — как их высказать? Мама моя урожденная графиня, а папа из купцов, но ради нее сделался действительным статским советником и служит в лесном департаменте.

— Ну вот, — обрадовался Алпатов, — я очень рад, что отец твой из купцов...

— Погоди, — перебила Инна, — я сейчас тебе расскажу, что перенес он из-за своих купцов. Настоящая фамилия его была Чижиков, ему пришлось поднести государю какую-то особенную просфору на каком-то особенном блюде. После того он получил дворянство и переименовал свою фамилию на Ростовцева. И еще он готовился сделаться профессором, но чтобы мама была генеральшей, он бросил университет и поступил в департамент. И все-таки, помню, раз у них подслушала сцену, мама сказала ему: «Помни, для меня ты вечный Чижиков!»

Инна глядела сейчас далеко и там, в России, нашла лицо своей матери.

— Представляю себе, — сказала она, — как она прищурится, когда ты у ней будешь целовать руку.

— Зачем я ей буду целовать руку? — удивился Алпатов. — И не подумаю, я целую руки только милым дамам, ведь я сам из купцов.

Инна смутилась, но сейчас же, как бы что-то смигнув, сказала:

— Конечно, это все пустяки!

Алпатов, однако, заметил не совсем искренний тон.

— Ты сейчас, я чувствую, сделала прыжок, — сказал он, — так нельзя, слышишь?

Инна молчала. Алпатов строго сказал:

— Другой раз так не делай! Она вспыхнула и руку его крепко прижала к груди. Он удивленно смотрит, а она шепчет:

— Ты всегда со мной так, всегда...

— Вот какая ты, — сказал он, смягчая тон, — правда, как ребенок, — ну, скажи мне, что же, если я руку не поцелую у твоей страшной графини, неужели она не согласится на брак?

Инна молчит, как виноватая. И у нее слезы в глазах. Но Алпатов на слезы не смотрит. Он требует:

— Инна, ты мне достаешься немалой ценой. Ты должна, понимаешь ты это: ты должна мне все сказать.

Инна всхлипывала.

— Я жду, Инна. Не согласится твоя графиня, ты со мной не пойдешь?

Она вдруг озлилась:

— Чего ты ко мне пристал? Как я могу сказать тебе, пойду я или не пойду: я сама ничего не знаю...

Она вдруг зарыдала у него на плече, и так сильно, так безудержно рыдала. Алпатов потерялся. Что ему делать? Было такое тупое мгновенье. Она жила и мучилась в какой-то своей женской тайне, а он как на пожаре стоит: видит — горит, а под рукой нет ничего... Но вдруг он понял: это ребенок обиженный, и надо с ней, как с ребенком. Но когда он двинулся к ней, как к ребенку, вместе с тем двинулось в нем и все его безудержно. Он целовал ее в лоб, в глаза, в слезы и говорил ей:

— Успокойся, Инна, я сейчас понял, как мне надо быть, я, правда, эгоист и знаю только себя, я буду смотреть на тебя близко, я буду читать твои мысли: я пойму тебя совершенно, ты будешь довольна. Я поцелую руку страшной графине — пусть! — я постараюсь понравиться ей — пусть! Я даже поступлю в департамент на службу к твоему отцу — пусть! А потом, когда мы крепко, по-настоящему полюбим друг друга, то удерем из твоего гнилого Петербурга в настоящую хорошую Россию. Тебе так

нравится?

— Милый мой, — шептала она, — я никак не думала, что есть еще такие, как ты, я думала, это в сказках только... Вижу теперь, Петербург — это не вся Россия. И вижу я еще, ты не один.

— Нет, нет, — подхватил радостно Алпатов, — нас очень много, ты к нам переходи, будь с нами...

Только едва ли это она слышала. Она уходила куда-то в себя, все дальше, дальше и, вдруг вспыхнув, прижалась к нему.

Но он целовал ее, как сестру, как ребенка, и совсем даже не догадывался, не знал, что теперь бы уже ему можно бы целовать как-то иначе.

— Скажи, — говорил он, — скажи, моя маленькая девочка, нравится ли тебе мой план?

Она ему сказала:

— План? Какой план? Милый мой, ты еще совершенно ребенок, и ничего, ничего еще ты не понимаешь.

АРФА ИЗ ШВЕЦИИ

Тихое солнечное утро. Предраассветный мороз все прибрал, подсушил, где причесал, где постриг, но солнце очень скоро расстроило все его заутреннее дело, пустило в ход все свои лучи, и на припеке под лужами острия зеленой травы начали из-под воды отделять пузырьки своего дыхания.

Не знаю, не хочу вспомнить, как называется то дерево, на котором я увидел родные хохлатые почки, и в этот миг все пережитые мною весны стали мне как одна весна, и вся природа явилась мне как брачный пир.

Мне долго казалось, что это острое, как иголки травы, пускающей на припеке из ледяной воды пузырьки дыхания, чувство природы мне осталось от первой встречи себя как ребенка с природой. Так я долго был под влиянием великих мечтателей и представлял себе, будто и вправду где-то на лоне природы у дикарей существует прекрасная жизнь. Но теперь я понял ошибку этих великих умных людей, и я теперь знаю, что родники этого чувства не тут...

Мне все стало ясно, когда впервые мелькнуло, что, может быть, необходимо навсегда расстаться с такой любовью, и когда наконец дошло

до такой боли, что хоть пальцем потрогай по телу — и душа отзывается, то на другой стороне взамен этого встал великий мир моей радости, и временами оказалось возможным заменить любовь к недоступной невесте любовью к женщине-матери и сладостную боль израсходовать в благословенном труде, где понятно, почему живет красота и радость в цветах, в полете и пении птиц, в гибких движениях зверей и всего бытия. И только тогда, став в ряды живых сил, творящих в настоящем из прошлого в будущее, познал я прелесть человека-ребенка в природе, и родной человек в родной стране мне при всем его горе показался прекрасным.

Друг мой, сегодня, когда я увидел в ледяной луже пузырьки дыхания зеленой травы, счастливо сложился мой день. Вечером пришла ко мне от соседей голодная девочка. Жена ее накормила, а я потом, настроив свой ламповый приемник на волну заграничной радиостанции, усадил крошку в глубокое кресло слушать концерт на арфе из Швеции. Тогда глаза девочки широко раскрылись, и в мою душу от них полились тоже какие-то волны. Я знаю, радиоволны ничего не имеют общего с живыми чувствами и мыслями, исходящими от человеческой личности, но подобие радиоволн с нашими внутренними велико, оно наводит на мысль: углубляя наши знания внешнего мира, мы так близко подойдем к нашему внутреннему, что когда-нибудь и о себе сами вдруг догадаемся. И только тогда, мне кажется, мы будем сознательно и вполне безопасно для себя заниматься науками и пользоваться законами природы для себя самих.

Я отдал обе телефонные трубки, она слушает на два уха и не сводит с меня глаз, и я думаю о том ребенке, который предшествует в нашей любви рождению обыкновенного, как было у Инны с Алпатовым. Друг мой, верьте мне, разбираясь в себе, я могу доказать, что эти привлеченные мною звуки арфы из Швеции для чужой маленькой девочки в лохмотьях явились больше на волне моей первой любви, чем из географической Швеции. Не будь той арфы, не стал бы я обрывать свою работу воем и свистом каких-то чертей в эфире, неизбежных при настройке наших приемников на волну далекой радиостанции. Мне легко об этом говорить, эта сила хотя и не открытая, но естественная и знакомая всем: попробуйте взять на руки чужого ребенка и отправиться с ним в путешествие по городу: вы встретите непременно в трамвайной давке множество людей, готовых защищать ваше дитя от нахалов, потянутся руки к игрушкам, когда заплачет ребенок, вы услышите много советов, удивитесь...

В эту ночь после объяснения на лавочке в Тюильри молодые люди разошлись, настроенные на одну волну. Ночью Алпатов проснулся, как от подземного толчка, и сел на кровати, спустив ноги. Ему представилась

Инна странным ребенком: хочет ребенок идти с ним и не может. Он ищет какую-нибудь забавную игрушку и не может найти. Первый раз в жизни он не знает, за что ухватиться... Но что же раньше-то было, почему все казалось так просто? Раньше была вера в прогресс, что все на свете идет, как поезд по рельсам в лучшее будущее, теперь в настоящем нет поезда, чтобы сесть на него и поехать. Но самое ужасное, что для других все это движение остается по-прежнему, все по-прежнему едут, только я не могу... и распадаюсь...

В тот же час около полуночи Инна прочитала в своей тетрадке запись в день приезда Алпатова: «Он приехал, что я наделала!»

В час ночи она записала еще:

«Я, должно быть, не люблю его, так страшит меня свидание его с мамой: не могу себе это представить! Но самое ужасное, я знаю, это больше не повторится мне в жизни, и я ему отдаю все свое лучшее».

Под самое утро:

«Ясно вижу — не люблю. Какая это любовь, если чувствующие пойду против мамы. Не люблю: он не такой».

В эту самую минуту Алпатов наконец придумал, как ему быть с ужасным ребенком: ему надо переместиться в его душу и представить себя, совершенно как будто он и сам такой, а потом вернуться к себе настоящему и взять в свои руки управление ходом событий. Он перебрал в голове все ее поступки, все слова ее, представил все перемены ее лица, и ему стало так же странно и страшно, когда хочется себе представить бесконечное, голова у него закружилась. Он лег и сразу уснул.

Инна очнулась в большой тревоге и стала быстро собираться, как будто кто-то гнался за ней и нашептывал: он знает, что писала она в дневнике, и теперь вдруг уедет. И как Алпатову показалась страшной, немислимой бесконечность безволия, так же ей оставалось ее одиночество с книгами о чужих Людовиках и так навсегда. Это была та же самая страшная бесконечность Алпатова, добежавшая к ней по волне.

Не дожидаясь утреннего кофею в своем пансионе, она идет на бульвар Сен-Мишель и решает ходить из отеля в отель, пока не найдет, где остановился он.

Инна все угадала. Алпатов в своем коротком утреннем сне, как не раз с ним бывало в гимназии при решении трудных задач, увидел ясно ответ на задачу, от которой закружилась у него голова: это не любовь, и он должен уехать немедленно. Это не любовь, если она боится своей ужасной матери и соглашается подвергнуть его унижению службы для нее в департаменте. Сегодня это, завтра ей покажется необходимым сделаться генеральшей, и

Алпатов из купцов станет ей совершенно таким, как для страшной графини стал Чижииков. Он еще может ее оторвать от себя и заменить это стыдное положение делом. Вот при мысли, что можно как-то заменить одно другим, ему стало легко на душе и уверенно. Ни на одно мгновение ему, однако, не было, что можно Инну заменить какой-нибудь другой женщиной. Но дело взамен Инны, это обыкновенное для всех осушение болот стало заманчивым, и самые болота природой единственно девственной. Может быть даже, как это не раз, наверно, и бывало, что где-нибудь он найдет засоренный сток, расчистит, побежит новая река, и то место, где было огромное недоступное болото, станет для всех золотой луговиной... Какой огромный простор радостного, бодрого мира открывается, если только подойти к нему взамен Инны! И он укладывает в чемодан вещи свои спокойно, дельно. Уверенность его стала наконец так велика, что незачем, оказалось, и очень спешить: он может сейчас пройти по чудесному городу один и так испытать, может ли он и один, без Инны, насладиться полнотой жизни.

На бульваре Сен-Мишель, и на мосту через Сену, и потом в Тюильри, и на Елисейских полях — везде еще не остыли ее следы, и он тут еще был не один. Только пройдя Этуаль, он вступает наконец в мир, который ему заменит любовь.

Тут расходились аллеи, и от каждой из них в стороны было множество тропинок. Алпатов шел, не разбирая пути, и скоро совсем потерялся в незнакомых местах.

Нам в обыкновенной жизни бывает немного похоже на это, когда мы заблудимся в большом лесу и начинаем в незнакомом месте узнавать что-то знакомое: вот как будто эта самая полянка, где мы вошли в лес, вот здесь, возле этого поваленного дерева, должна быть тропа, — и нет ее почему-то! И, значит, поляна не та, а мы сами создали из этой дикой свою, желанную. Страх заблудиться мешает полному наслаждению этим невольным непрерывным творчеством, и только потом, когда все обошлось благополучно, вспоминаются необыкновенно отчетливо разные волшебные мелочи: как испугались два снегиря, когда лисица переходила по бревну ручей и вдруг встретилась с ними, или как на одной поляне береза, теряя золотую листву, осыпалась золотом и как-то этим очень успокоила стоящую под ней елку.

Но это невольное блуждание с постоянным страхом совсем заблудиться и до ночи не выйдя из леса — только слабый намек на то ничем не стесненное творчество Алпатова, блуждающего в Булонском лесу. Волшебна была ему одна тропинка с кустарниками в смолистых

зеленеющих почках. С необыкновенной силой проникал в него свет этой зелени, и аромат, и музыка множества начинающих свою весеннюю работу пчел. Раз он даже ухо приложил к стволу одного дерева, гудящего от пчелиной работы, и слушал долго, как дерево пело. И когда это же самое дерево, вырастающее из земли, предупредило его своими особенными звуками о приближении по земле шагов другого человека, он бросился в кусты, пугаясь свидетеля его особенных чувств к дереву, к пчелам взамен Инны больше, чем если бы кто-нибудь застал его в объятиях с ней. Из кустов он видел, как этот высокий, хорошо одетый и не совсем молодой человек с шляпой в руке остановился, прислушался и тоже, как он, приложил ухо к поющему дереву. Тогда оказалось, что открытый им сегодня мир взамен Инны существует не для него одного, а таится для всех, что, может быть, много людей сегодня перешепчется с этим деревом, но никто об этом не скажет...

Когда этот другой человек удалился и шаги его совершенно затихли, Алпатов продолжал свой волшебный путь по земле «взамен Инны», совершенно как будто знал в предчувствиях давно о нем и теперь его наконец-то открыл во всей действительной его красоте. Главное, что в этом новом мире не было пустот и промежутков, как в старом, и вот если это волшебное поющее дерево теперь оставалось позади и уже не было слышно, то зяблик тоже очень понятно пел невидимый где-то в кустах, и когда шмель с разлету запутался в волосах — освобождение шмеля было тоже, конечно, событием и, если бы рассказать об этом Инне, как он, освобожденный, загудел и пошел наутек, то исчезая в тени, то показываясь в лучах солнца, она бы, наверно, тоже захотела полюбоваться шмелем. Это возвращение из мира «взамен Инны» к ней самой ему не было теперь тревожно и горько, — в эти часы и она стала новая, как весь мир, и эта новая Инна сливалась с ним и со всем в мире. Быть может, скоро после того тут, среди кустов и деревьев, догадался бы он о пути к этой новой Инне, чтобы найти ее и остаться с ней навсегда, но вдруг произошла перемена всего.

Лесная путаница тропинок окончилась, и открылся великий простор. Была синяя гладь, как широкий торжественный путь, по сторонам тесные кущи особенных, сделанных рукой человека похожими на облака, только начинающих зеленеть деревьев, там и тут из этой светящейся зелени выглядывали белые статуи, били радужные фонтаны. Выше этого первого озера было другое, и по берегу шел тот знакомый человек у поющего дерева. Он шел дальше вдоль водного пути и, казалось, поднимался все выше и выше. В конце последнего высокого озера стоял торжественный

дом, хорошо известный Алпатову по многим рисункам: торжественный дом был Версальский дворец.

Статуи были такие белые, а солнце над ними золотое, деревья дымчато-зеленые и над ними золотое солнце, вода синяя и над ней золотое солнце: не король солнце, а настоящее, подлинное солнце одно теперь царило в этой пустыне истории...

А человек продвигался все выше и выше к дворцу, пока не исчез совсем за фонтаном. Алпатов следил за ним почему-то до последнего момента, как будто дожидался его совершенного исчезновения, чтобы в полном одиночестве отдаться влиянию солнца. И правда, когда он остался один, солнце ему открылось: это солнце было живое, а не то ежедневное привычно-заводное солнце. Это живое солнце было перед ним, и он шел прямо к нему и поднимался все выше и выше...

...Вот, милый друг, вспомните, наверно, и вы в своей жизни встречали не раз странных людей, которые, однажды увидев какой-то яркий свет впереди, идут на него, пока не ослепнут, и доктор потом находит у них при жизни неподвижную идею, а после смерти с интересом промывает мозги, стараясь открыть причину неподвижности мысли. Мы все, однако, за исключением людей, от природы совершенно обиженных, продвигались по тому же опасному пути, пока не спасла нас простая догадка, что к источнику ослепляющего нас света нужно обернуться спиной и смотреть не туда, в светило, а на освещенные им предметы. И так выходит, что, с одной стороны, непременно надо вперед идти, а то не будет прогресса, и люди на земле окончатся с голоду, с другой каждому из нас необходимо, чтобы не ослепнуть, вовремя найтись и оглянуться назад. Вспомните, друг, как учили нас в школе: одни звали вперед, другие манили назад, то и другое мы получали как единственный путь. Непостижимо, как мы спасались в этих условиях. Вспомните, звено за звеном всю нашу русскую Кащееву цепь. И как же бесконечно тогда тосковала душа по близкому человеку, кто, не считаясь ни с какими общими правилами, одной силой родственного внимания заглянул бы в тебя и сказал или: «Не бойся ничего, иди смело вперед», или: «Пришло, друг, тебе время обернуться спиной к светилу и заняться собственным своим хозяйством в терпеливом подсчете и точной мере всего».

Алпатов шел прямо на солнце, восторг его нарастал, как звук в сирене, все выше и выше, пока не дошел до последней черты, и все его пламя начало облекаться какими-то сначала очень смутными мыслями. Оказалось, мир устроен не прямо и не устремлен по прямой в бесконечность, а все движется кругами, как солнце. И все, что мы нажили хорошего, — любовь,

истина, правда располагаются вокруг солнца кругами, только лучи их прямые, и вот только эти кончики всего, эти лучи дали нам возможность представить себе бесконечное движение по прямой, этот прогресс.

Мало ли каких миропониманий, известных Алпатову, начиная от Гераклита, не было в истории человеческой мысли, особенность этого своего собственного понимания была в совершенной ясности выводов из него для своего собственного, поведения на следующее после мысли мгновенье практической жизни в полном согласии с этим золотым миром в себе.

Так просто решалась теперь и эта загадка, над которой он думал всю ночь: почему Инна сегодня зовет его, завтра бежит, то хочет идти за ним на край света в болота, то боится ужасной графини, то любит, то не любит. Решение, казалось, невозможной задачи теперь, в свете нового понимания мира, такое простое: их теперь, оказывается, две: одна, которую он любит, настоящая Инна, другая Инна Петровна! И отсюда прямой, как луч, логический вывод: надо не бежать от нее, как он хотел, не прощаясь, а, напротив, как можно скорее спешить идти к ней, рассказать все, что он открыл, и так спасти свою Инну от Инны Петровны. Вслед за этим решением кончились все его колебания, и внешний мир оказался ненужным. Теперь он идет гораздо скорее, почти бежит, и от всего Версальского дворца для него остаются только стены и множество окон. Не нашлось у него даже мгновенья оглянуться назад и посмотреть, в какой нежной зеленой дымке спускалась терраса озер и там вдали намеком обозначалась столица мирового искусства — Париж. Он бежит на улицу и первого прохожего с волнением спрашивает, где находится ближайший ларек с пневматической почтой. Там ему дают голубую бумажку, и он быстро пишет Инне, что немедленно едет в Россию устраивать их общее дело и ему надо теперь как можно скорее сказать ей такое, чему она очень обрадуется и отбросит все свои сомнения и колебания. Это голубое письмо у него взяли, и оно одним дуновением полетело по трубе в Париж вместе с другими деловыми, любовными и просто безумными письмами.

СВЕТОЛЮБИВАЯ БЕРЕЗА

Можно ли сравнить обыкновенный березовый лес высотой и силой с корабельным мачтовым бором? Но, бывает, в боровом редколесье попадает светолубивая береза; и ей так придется, что если отстать, то погибнуть без

света. Тогда начинается бег наобгонки белой березы и ее крас-ноствольных соседей. После многих лет среди неведомых могил берез, угасших в бору без света, иногда мы с великим удивлением находим живую березу, как мачту, такую высокую, что птицу, сидящую на самом верху, ружьем не достать.

Так, бывает, вырастет у нас иная женщина в борьбе за свободу. Я таких знал в своем детстве, думал, и моя будет такая, и я пойду за ней, как слуга. Но когда время пришло, то меня пленила не такая, а совсем маленькая и обыкновенная женщина...

Простите, мой друг, что, рассказывая историю любви Алпатова, не могу удержаться от личных воспоминаний и так невольно делаюсь из летописца как бы своим первым читателем.

Инна добилась своего и нашла небольшой отель, где остановился Алпатов. Тут она все узнала: Алпатов не уезжал. И спокойно стала, как условилась, дожидаться его в Люксембургском саду против фонтана Медичи. Но когда прошел назначенный час, быстро стала нарастать ее тревога, как у матерей бывает, когда ребенок убежит и в голову начинает приходить непременно худшее. Была и другая себялюбивая тревога, что потеряет власть над собой и начнется этот страшный бред, как уже было с ней однажды, когда она оставила его в Лейпциге. Она опять зашла в отель, — его там не было, и консьержка, ей показалось, оскорбительно улыбнулась.

Вспомнилась одна ее подруга, так влюбленная в юнкера, что он гнал ее от себя, как собаку, и все-таки она опять приходила к нему. После того она решила идти домой, взяться за книги и победить свою тревогу. Как раз к приходу ее получилось письмецо по воздушной почте, и все в ней переменялось. Ей пришло в голову, что она сама во всем виновата, она мучит его, а все решается просто. «Во всяком случае, — сказала она, — человек он очень хороший и за него можно выйти замуж». До сих пор она еще ни разу не осмеливалась сказать это самой себе вслух и теперь очень удивилась и обрадовалась простоте решения и ясности последующих выводов. Она даже махнула рукой и уже не про себя, а на всю свою комнату сказала:

— Да, конечно, нужно смотреть проще!

Она еще и еще перечитала письмо Алпатова, в нем тоже, казалось, было все так просто: едет немедленно в Россию устраивать их общее дело. Она поняла это общее дело как необходимое для брака положение в обществе. С своей стороны, она воспользуется остатком времени и напишет письмо родителям.

— Нужно смотреть проще, — сказала она еще раз и принялась за письмо...

Она спокойно писала, что встретила в Париже молодого человека...

Тут она остановилась и подумала, следует ли прямо сначала сказать, что он из купцов, или промолчать. Промолчала и написала: инженер. Опять остановилась и задумалась, следует ли писать, что он болотный инженер, и удержалась. После того до конца писалось легко: кроме того, что он инженер, он очень образованный, владеет европейскими языками и очень хороший человек. Мать его она знала раньше: это простая, но замечательная женщина, всеми уважаемая. Он просит ее руки, и она дала ему свое согласие выйти за него после окончания курса: ей остается немного. Пока она будет кончать курс, он будет в России создавать себе положение.

Перечитав письмо, Инна с особенным удовольствием обратила внимание на слово «положение»: так все пишут, и такое бывает у всех. И еще раз, окончив письмо, она повторила:

— Конечно, конечно, смотреть надо проще на все! Написала на конверте адрес, приклеила даже марку, но не запечатала: она покажет это письмо ему, и ей кажется, он очень обрадуется, это будет сюрприз ему. А между тем и Алпатов думал, что, заключая брак с Инной для борьбы с Инной Петровной, он нашел теперь такой простой исход всем сомнениям.

Как все обманчиво! Перед этим консьержка встречала ее, казалось, с такой противной улыбкой, теперь эта обыкновенная деловая француженка не обратила на нее никакого внимания. Они встретились...

Что же такое случилось? Она несла ему желанное решение, такой большой сюрприз. Он тоже для нее сделал великое открытие. И вот оказывается, и ей, и ему стало как-то трудно быть вместе. Он поцеловал ее руку: она пахла свежей водой, и от этого представилась новая, какая-то третья, просто деловая Инна. Он усадил ее в глубокое кресло и спросил:

— Неужели ты сейчас только встала?

Инна поняла, почему он спросил, с улыбкой понюхала свою руку и сказала:

— Я только что умывалась. А все утро бегала я неумывкой, два раза была у тебя: мне представилось, что ты хочешь бросить меня и уехать в Россию...

Алпатов сразу вернулся к первому свиданию с ней в Люксембургском саду, когда она пришла к нему в новой кофточке, и сказал ей тепло:

— Какая ты, Инна, хорошая...

Он решается теперь начать ей рассказывать о своем видении живого

солнца над версальскими озерами, но оказывается, для этого надо так много и что к двойной Инне он никогда не придет. По какой тропинке он попал в Булонский лес? Где это было певучее дерево? И он долго слушал пчел, приложив ухо к стволу дерева...

— Понимаешь ли ты меня, Инна?

— Да, понимаю, — отвечает она, — рассказывай, рассказывай...

А сама чувствует, как она вместе с ним удаляется от простого сюрприза, принесенного с собой, и опять ей становится тревожно и грустно; в какой мир он уводит ее?

Он был высокий, в сером пальто, с расчесанной волосок к волоску светло-русой бородой; палка у него была черная, блестящая, с рукояткой из слоновой кости, и такой солидный человек стал на колени перед певучим деревом и долго слушал...

— Милая Инна! Я увидел в этом, что новый мир не бред мой, и я подумал тогда: «Если бы Инна была со мной!» Потом шмель запутался у меня в волосах, и я стал его освобождать, и тут явилась ко мне ты, ясная, такая светлая, и я показывал тебе шмеля, как он, удаляясь, мелькал в пронизывающих лучах солнца. Понимаешь ли ты меня, Инна?

Инна лежала, откинувшись в кресле, глаза ее были закрыты. Она чуть слышно сказала:

— Не спрашивай больше: я все понимаю.

— Могу ли я все тебе сказать, Инна?

— Все, все!

— Вот я и увидел тогда — Инна двойная: одна моя, настоящая, и другая, Инна Петровна, дочь ужасной графини. И я решил как можно скорее идти к тебе, все сказать и начать вместе борьбу с Инной Петровной... Вот я все сказал: теперь, Инна, суди меня...

Она молчала. Ему стало страшно смотреть на нее: да или нет, родная, светлая Инна или Инна Петровна?

Она молчала. Он обернулся. Это была в кресле ни та, ни другая: женщина лежала с закрытыми глазами, сгорающая...

Алпатов очнулся и вдруг сам сделался таким же, как и она. Все загорелось, и это новое стало больше всего. Он бросается к ней, лицо его у нее на коленях, в крепких руках такая маленькая, и это уже все, это настоящее.

...Друг мой, я возвращаюсь к светолюбивой березе. Этот взлелеянный мной образ мне помешал. Да, когда время пришло, меня пленила не такая, а совсем обыкновенная маленькая женщина. Она бежала от меня наполовину с мечтой о женской свободе, как все живое бежит от самца, и наполовину с

желанием, чтобы я догнал ее и овладел. И как же просто оказалось потом все, что делают все обыкновенные умелые люди. Но меня от этого уменья удержал образ светолюбивой березы; смущенный, отступил я, стыдясь в себе «зверя» и, страдая, предоставил свободу маленькой женщине...

Случайно движение руки задело у Инны ее локоны, и Алпатов увидел что-то в ней новое. Он оставил ее колени и обратился туда, к лицу: ведь и это все было свое. За локонами ему открылся невиданный лоб, такой большой, прекрасный. Но лицо Инны совсем переменялось. Нет, через это не утратилась прелесть его Инны, но весь пожар как бы мгновенно погас, и ему стало совершенно как в детстве, когда он с таким страхом крался в спальню Марьи Моревны и увидел ее спящую и дрожащим голосом позвал: «Марья Моревна!» А потом оказалось, бояться-то было нечего: Марья Моревна просто взяла его к себе на кровать.

Инна пришла в себя, открыла глаза, улыбнулась и сказала:

— Милый мой мальчик!

И мальчик стал ей рассказывать, как было с ним давно на постели у Марьи Моревны, там, в России, где лежат теперь еще совсем нетронутые глубокие, сверкающие на солнце снега, где так заметно теперь прибавляется день и после темноты утром и вечером голубеет. Но тогда, маленьким, он не знал, отчего голубело в окне, когда он был у Марьи Моревны: ему казалось тогда, будто тихий гость в голубом подходит к окну.

Теперь Инна ласкает его, как Марья Моревна, и им не о чем спорить и тревожиться. Они вместе читают и смеются над ее письмом: какой вздор приходит в голову при непонимании! Да разве не пойдет она за ним на край света, не обращая внимания на родителей? Но положение, конечно, создать ему необходимо, это не то, как все говорят, а настоящее положение.

Какое же это настоящее положение?

Им кажется сейчас оно ясным: для нее он легко сделает все.

— Знаешь, Инна, — говорит он, — мне даже страшно: с тобой все могу, но без тебя, мне кажется, все мое пропадет, без тебя во мне и нет ничего.

Инна что-то вспомнила, отстранилась, вдумалась: лоб у нее так и остался после ласки Алпатова открытым. И такая она была грустная, когда сказала ему:

— Нет, это у тебя не пропадет и без меня, это не пропадет...

Так они расстаются... Он бодрый, счастливый, едет создавать какое-то особенное положение. Она остается.

В раздумье возвращается к себе Инна. Посмотрела на себя в зеркало, такая растрепанная! Умылась, причесалась. Разобрала забытые книги,

нашла нужную. Села за письменный стол, читает немного... Потом берет маленькое зеркало, всматривается, шепчет:

— Только лоб, только лоб, остальное все женское, если бы родилась я мужчиной!

Долго, неутешно она рыдает над книгой.

Друг мой, у меня больше нет никаких догадок об Инне Ростовцевой. Та маленькая женщина моя, нечаянно отдав мне свое, как говорила она, лучшее, конечно, затерялась и угасла, как простая березка в бору.

ЗВЕНО ДЕВЯТОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ПОХОРОНЫ ГУСЬКА

Растет могучее дерево, сменяются человеческие поколения. Наконец рождается новое существо и в своей коротенькой жизни видит, как дуб распадается. Так пережил я существование величайшей в мире империи.

Мы теперь, оглушенные падением царства, с большим трудом можем определить в этой эпохе без ярких событий перед японской войной: помнится смутно расцвет винной монополии, окончание Великого Сибирского пути, выборы в земствах, волнения на Юге крестьян, унылая песня умирающей чеховской интеллигенции и крик буревестника, прославляющего людей, не имеющих никакого положения в обществе.

В эту эпоху явился инженер Алпатов на родину создавать себе положение.

Сколько раз приходилось мне встречать в лесной полосе чащи, выросшие на месте когда-то бывших в обработке земель: самый дальний уступ леса, край чащи, относился к эпохе освобождения крестьян, когда помещики сокращали запашки, а потом по неизвестным причинам ярус за ярусом лес опускался к внутренней поляне, где виднелись иногда кусты акации, сирени, смородины и валялись камни от фундамента когда-то стоявшего на этом месте здания.

В черноземной полосе, где жили Алпатовы, леса давным-давно были вырублены, на этой богатой земле было часто и густо людьми, как дровами в лесу. Размножаясь и делясь между собой, этот мелкий люд из года в год наседали на имение Алпатовых, десятину за десятиной сдавала Мария Ивановна в аренду, и так мало-помалу получилось у нее на черноземе, как чаща зарастания в лесной полосе.

Вокруг все множилась беднота. Овраги росли, статистики цифрами доказывали: оскудение центра через столько-то лет постепенно обратит богатейший в мире край в совершенно бесплодную пустыню. Никто, однако, цифрами не мог доказать, что через какие-нибудь два года начнутся первые страшные толчки, от которых потом скоро величайшая в мире империя рассыплется в прах.

В это время Алпатов, образованный заграничный инженер-торфмейстер, приехал создавать себе положение.

— Помнишь, Миша, — стала говорить Марья Ивановна любимому сыну, — ты тогда был совсем еще крошка, я предсказывала: земля непременно перейдет мужикам. Вот так теперь и выходит.

— Я это помню очень ясно. Это было еще раньше, чем убили царя, как только я родился, кажется, так и слышал, ты повторяла дворянам: «Помните, земля непременно перейдет мужикам». Но я всегда представлял себе: мужики придут с топорами и выгонят помещиков.

— Погоди... это еще не исключается. Сейчас одна лестница ведет в банк дворянский и крестьянский: дворяне закладываются, мужики закабаляются. Я по себе знаю, что значит работать на банк: мужик лезет, как саранча, и при малейшей оплошности правительства все разгромит... — Она понизила голос: Царишка-то, говорят, никуда. Что ты думаешь?

— Я, мама, за границей мало думал об этом, приходилось очень много работать изо дня в день.

Марья Ивановна повеселела.

— Я сама тоже лично не беспокоюсь, моя жизнь кончена. Вот, правда, Лида только замуж не вышла и донимает меня своими кошками, одно только это и беспокоит, остальные все создали себе положение...

— Положение, — встрепнулся Михаил Алпатов, — по твоим рассказам мне начало чудиться, будто у нас ничего прочного нет... Неужели и Коля тоже создал себе положение?

— Как тебе сказать, Аннушка его, конечно, почти публичная женщина была, но у него выправилась: живут. Он так об этом говорит: «Вам это нехорошо, а мне отлично, неужели же я свои семейные дела должен по вашему вкусу устраивать?» И, как сказать, ведь он прав, я примирилась. Служит он сборщиком по винной монополии, семь дней в месяц ездит, собирает деньги, в остальное время ловит на реке раков и рыбу, а в зимнее время вытачивает трубочки на токарном станке. Говорит, ему больше ничего не надо, и эта жизнь всегда была его идеалом. Выходит, тоже какое-то положение. А как ты, что ты думаешь делать с собой?

— Я инженер и тоже намерен создавать себе положение.

И когда мать на эти слова улыбнулась, спросил:

— Почему ты улыбаешься?

— Тебе это не понять, я мать, вы мне до старости будете ребятишками: я вспоминаю, как ты из гимназии хотел убежать в какую-то Азию, потом, я помню, читала у тебя в записках о каком-то прыжке в неизвестное, письма из тюрьмы от тебя перекрещивались желтыми знаками, и вот никак не

верится, что ты инженер и намереваешься притом создавать положение. Вот бы теперь тебе хорошую невесту найти, тогда я бы поверила.

Алпатову очень захотелось сделать матери удовольствие, и, хотя его невеста была не совсем то, о чем думала Марья Ивановна, и положение не совсем совпадало с обыкновенным положением в таких случаях, он все-таки не удержался и сказал:

— У меня, мама, невеста есть.

Мать просияла, но, хитрая, быстро скрыла сияние, чтобы потом подойти к этому как-нибудь осторожнее и побольше выпытать. Сказала почти совсем равнодушно:

— Это очень хорошо, но, конечно, дело твое, и я не вмешиваюсь.

Она принялась усердно мыть посуду и помещать ее постепенно в буфет. В то же время она сообщала разные новости из деревенской жизни, кто на ком женился, кто умер, и что Гусёк сильно болен и вот-вот умрет. Было жалко Алпатову Гуська: с этим стариком связывалось все лучшее в детстве, и всегда казалось: из всех людей на свете нет лучше и нет роднее Гуська. Мать нашла этот момент его грустного раздумья очень удобным, чтобы попробовать выпытать о невесте, заперла буфет с перемытой посудой, под села к сыну и спросила:

— Ну, Миша, если это не секрет, скажи, из каких же она?

— Не беспокойся, мама, тебе, наверно, моя невеста придется по вкусу: она училась в Смольном и теперь кончает Сорбонну по историческому.

— По исто-ри-чес-ко-му? — И сразу затем восхищенно: — У тебя не дура губа!

Алпатов засмеялся.

— А ты знаешь, тут ничего нет смешного, это моя старинная мысль, что образованным купцам надо жениться на дворянках или в крайнем случае на поповнах: у них есть устойчивость в семьях, а купец наш деньги копит и не думает о самом главном, из чего, собственно, и складывается счастье. Наш купец живет весь на фу-фу.

Алпатов немного струсил, что мать так скоро сделала бытовой вывод из слов, сказанных почти что шутя.

— Но, мама, — сказал он, — я не руководствовался такими соображениями о семейном счастье: все вышло совершенно случайно.

— Не скажи — совсем случайно, знаю, конечно, не по рассудку, да кровь-то все-таки у тебя наша, купеческая. Там, в Париже, учится теперь тоже отличная девушка, Инна Ростовцева, она тоже кончила в Смольном, и та еще лучше твоей: та с шифром кончила. Она раз была у меня на именинах, когда ты в тюрьме еще сидел, много о тебе спрашивала, и

много я ей о тебе рассказывала. Такая прелестная, почти тургеневская женщина, и только, если локоны поднимаешь, открывается лоб: умница, передовая. Эта, если не удастся личная жизнь, не останется, как наша Лида, в старых девах с кошками. Неужели ты с ней не встречался в Париже?

— Я в Париже был очень недолго.

— Признаюсь, желала я очень, чтобы ты с ней встретился, я за тебя ее прочила. Но и как ты рассказываешь, это не хуже моего. Любовь к такой девушке заставит каждого подтянуться и создавать положение.

Услыхав опять положение, Алпатов даже вздрогнул и понял окончательно: он сделал большую ошибку, что, желая приятного матери, сказал лишнее. А повторяемое матерью положение привело его к довольно тревожному раздумью о действительности. Он пересел к окну и затерялся глазами в снегах: то положение создавалось на версальских озерах, в зеленеющих деревьях, под жужжание пчел. Тут еще не прилетали грачи, и только что побурела дорога. Вдали по невидимой тропе в снегах, то показываясь, то исчезая, шел с кадилом в руке деревенский священник, за ним на полотенцах несли тесовый гроб, и за гробом ныряли бабы в снегу.

— Гусёк! — вскрикнула Марья Ивановна. — Это его несут. Господи, да как же это я прозевала!

И перекрестилась. В коридоре кашлянул староста.

— Ты что пришел?

— Гуська вынесли, пришел доложить.

Все вышли к воротам. У каменных столбиков остановилась деревенская процессия с покойником. Отец Афанасий поет тонким тенором. Как все постарели! Работник Павел тоже седой. Тихонечко спрашивает его Михаил Алпатов, почему же покойника полем несли.

— Вершину оврага промыло, — сказал Павел, — живые-то еще ходят по гребешку, а покойников носят кругом. Случай уже был такой: сами удержались, а покойника выпустили, так и съехал в гробу, как на салазках, в овраг.

Отец Афанасий недолго поныл у ворот. И в церкви все у него наскоро, и вот уже дальше, на кладбище идет, помахивает кадилом.

Оттепель. Снег сливается с небом. Горизонт совершенно исчез. Рыжая дорога, кажется, поднимается все выше и выше на небо, и туда уносят Гуська.

— Дорога-то как подопревает, — сказал Иван Михалыч, — вот-вот просовы начнутся. Вот-вот грачи прилетят.

— Видели, — сказал о грачах Павел. — А там и перепелки прилетят, да некому будет ловить.

— Отловился!

— Крышка! — ответил ему Павел. — И чудака же был покойник. Все знали: помирает старик. Вижу, в поле идет человек. Я пригляделся: Гусёк. Я его догоняю, я ему: «А, сказывали, ты помер. Куда ты идешь?» Он мне говорит: «Я, Паша, домой». Подивился я и пошел от него.

— Чего же ты его в деревню не вернул?

— Чего его вертать, все там будем, все домой придем. Ну, конечно, потом хватились, нашли: сидит в ендове на горелом пне, где вы с ним все, бывало, перепелок ловили, сидит, как живой. Ну, а видно, не хотелось уходить домой-то: на щеках, на бороде слезы замерзли.

Поравнялись с соседней усадьбой. Запел отец Афанасий. Вышла из ворот седеющая Софья Александровна. Крестилась, крестилась. А потом присоединилась к Марье Ивановне, и такой у них живой разговор. Алпатов услышал слова: «инженер», потом «невеста» и, наконец, «положение»...

Софья Александровна даже перекрестилась и сказала, посмотрев на Алпатова очень внимательно:

— Ну, Марья Ивановна, поздравляю; теперь он проскочил.

— Кто бы думал!

— Мы думаем, а господь по-своему.

И еще, и еще перекрестилась зараз и потому, что бунтарь и безбожник Михаил проскочил, и что показалось близко деревенское кладбище.

В поле, где глазу уже и совсем схватиться не за что и совсем уже было, как будто отец Афанасий, помахивая кадилом, пробирается к небу, остановились наконец среди небольших кустов. Крестов на кладбище почти не было, почти все были повалены летом коровами и свиньями, а кустики почти начисто были обкусаны овцами.

Тут зарыли Гуська, перепелиного охотника.

КОРОТЕНЬКАЯ ПРАВДА

Ночью нажимает мороз. Утром деревья одеваются инеем. А в полдень разгорается небосвод, исчезает иней, каплет с крыш, дорога сильно бурее, синица поет брачным голосом. Синицу ли русскую слушать после птиц в Булонском лесу!

Вот почему, верно, и не удаются все письма Алпатова к невесте в Париж: как будто раньше его кто-то приходил к этой снежной русской

весне, взял от нее все лучшее и оставил ее медленно тянуться в тревожной тоске. Он, однако, не может писать о тоске русской природы и убожестве вековой работы своей матери в маленьком имении на банк. Он пишет о будущем и рассуждает, доходит до цитат из умных книг. И так обманчиво это писание. В ночной тишине кажется ему во время писания, будто само это маленькое имение движется под напором его мысли и чувства... Так бездарный писатель заменяет себе жизнь бумажной работой; находятся такие же, как он, жалкие читатели, поощряют его, и он верит в себя и так проводит всю жизнь на свободе вместо заключения в больнице для умалишенных.

К счастью Алпатова, далеко до рассвета в коридоре начинается удивительный шум, и весь дом наполняется ароматом ржаной соломы. С детства знакомый таинственный шелест и чудеснейший в мире аромат побеждают раздумье над этим чудовищным для европейца хозяйственным преступлением — сжигать вместо дров солому, силу земли выпускать в дымозую трубу. Привязанность с детства к этому шелесту, к этому аромату столь велика, что обращается не только против агрономического раздумья, но и против умственных писем к невесте. Перечитав написанный вздор, он идет в коридор, совершенно заваленный, и в печке вместе с соломой сжигает всю исписанную за ночь бумагу. Родная ржаная солома в этот раз спасает Алпатова и внушает ему решимость немедленно ехать и достигать не бумажного, а действительного положения.

— Ехать так ехать, — сказала ему за чаем Марья Ивановна. И тут же распорядилась запрягать лошадей. — Стало быть, — сказала она, — положение вы считаете все-таки необходимым. Это что же, она поставила тебе такое условие или вместе надумали?

Как ни мучительно было Алпатову ответить, но все-таки почему-то было и приятно, чтобы мать как можно лучше думала о его невесте. Он сказал:

— Да, это она поставила такое условие.

— Умно, очень умно. Только одного я не понимаю, зачем она тебя в этот гнилой Петербург тянет, лучшие люди у нас теперь собираются в земстве: болота есть недалеко и от нас, поступай в земство и осушай. Болотный ценз можно по три рубля за десятину купить. Поступай сначала инженером, пролезешь с цензом в члены управы, будешь получать и как инженер, и как член управы: это уже будет довольно кругленькое положение.

— Нет, мама, ты себе не так представляешь, мне нужны огромные пространства болот, чтобы развернуться, и не земские, а большие

государственные средства. Придется, может быть, для этого дойти и до царя. Вот у меня какой план.

— Такие планы, знаешь ли, Миша, рождаются у многих, у нас никто не хочет работать и достигать положения постепенно, одни только латыши да немцы.

— Я знаю, как немцы работают, я ученик немецкой школы.

— Это большой плюс. Но все-таки в таком деле необходима протекция.

— Она у меня есть, отец моей невесты в лесном департаменте, действительный...

Надо бы сказать затем статский, но Алпатов сказал тайный советник. Такое бывает со всеми и потом с большим стыдом вспоминается.

— Ну, тогда картина совершенно переменяется! — воскликнула Марья Ивановна. — Помню, когда тебя в тюрьму посадили, одна только Калиса Никаноровна меня успокоила. «Поверьте, Марья Ивановна, — говорила она, — из таких потом выходят самые умные люди». Софья Александровна каких только бед не сулила, а теперь говорит — «проскочил».

Алпатов посмотрел внимательно на мать, не смеется ли она над ним. Но нет, она просто радовалась.

— Боюсь, мама, ты не совсем верно все понимаешь мое, — помню, когда я был маленький, ты говорила кому-то из наших народников, вероятно, Дунечке: «Почему-то русские писатели всегда описывают униженных и оскорбленных, как будто нет у нас победителей». Мне это глубоко запало в душу, и, верно, потому я терпеть не могу народников. И наши писатели большей частью народники: их привлекает ленивый раб-мужик. Но почему никто не опишет человеческий труд в его достижениях: наш Николай Иванович в слободе гармоньи чинил, а теперь у него миллионы. Писатель свободен, он может посмотреть на это с лучшей стороны. Вот и я так хочу победить. После я вернусь к общему делу, но раз поставлен вопрос, быть или не быть, я хочу счастье свое завоевать, перед этим должно все отступить, и живой я не сдамся.

Марья Ивановна потемнела в лице при последних словах.

— Только не преувеличивай, Миша, и не будь чересчур скор, ведь это я говорила о романах, что хорошо бы нам от униженных и оскорбленных отдохнуть на победителях, а в жизни победы даются годами, и часто о своих победах сами победители не знают до конца своих дней. Вот хотя бы и Николай Иванович: всего себя и убил на достижении богатства, дети идиоты, после него все пойдет прахом. Если по большой правде говорить, то какой же он победитель!

— Я, мама, не о большой правде говорю — я о своей маленькой, без этой маленькой правды ведь жить нельзя, я у немцев не чужими глазами смотрел, я же видел, как они своей коротенькой правдой преобразили всю свою землю. Без своего личного устройства стыдно людям даже в глаза смотреть, а не то что проповедовать большую правду. Я ничего не утратил из того, за что сидел в тюрьме, ты вот знаешь — земля перейдет мужикам — и все-таки не бросаешь ее, а я знаю, государственная власть перейдет в общее дело, и еще много знаю всего, но не могу жить в этом без себя самого...

Не часто жизнь баловала Марью Ивановну такими душевными разговорами с сыновьями, и она была счастлива, и все, что говорил ей сын, казалось таким верным, как будто он высказывал ее же затаенные мысли. Но тревога материнского сердца не считается с верными выводами: было, казалось ей, в словах сына какое-то слишком повышенное отношение к коротенькой правде, к тому, что само собой разумеется, о чем люди молчат, что растет и созревает у людей, все равно как у животных и растений, и достигается больше способностью ждать, чем стремиться. Опасливо посмотрела Марья Ивановна на сына, как на маленького ребенка, бывало, на беззащитное существо, открытое для жестоких ударов со всех сторон. Этот внутренний опасливый взгляд матери Алпатов хорошо знал, и всегда он вызывал в нем желание защитить себя от него логическим доказательством. Теперь он истратил все свои аргументы, и все-таки таинственный, недоверчивый взгляд матери почивал на нем, как и в детстве. Чем бы его теперь победить? Мать говорила:

— Я радуюсь всему, что ты говоришь, все верно, только одно тревожит меня: ты преувеличиваешь значение своего личного счастья. Посмотри на меня, я всю жизнь вдовой работала на банк в глуши и все-таки не могу сказать, чтобы несчастна была. Счастье само приходит, а ты за ним гонишься.

— Понимаю, — воскликнул сын, — в этом расходимся мы, в этом новое время сказалось, у вас этого не было.

Услыхав «новое время», Марья Ивановна сказала:

— Ну да, конечно, мы по заграницам не ездили, мы учились на медные деньги.

А уже давно сказали, что лошади поданы, и Марья Ивановна терпеть не могла заставлять кучера зря сидеть на козлах перед крыльцом, вида этого не выносила. Надо было торопиться, но нельзя было расстаться в момент столкновения счастья нового времени и этой жизни на старые медные деньги. И сыну, и матери хотелось поскорее найти из этого выход.

Вдруг мать что-то придумала.

— Миша, — сказала она, — мы сейчас должны расстаться, бог знает когда еще прилетит ко мне опять соловей, я же хорошо понимаю, откуда идет вся твоя перемена: все от нее. Скажи на прощанье мне, старухе, кто она.

— Да я же тебе говорил, — удивился Алпатов, — ты же мне сама сказала: «У тебя губа не дура».

— Как ты не понимаешь, Миша, ты мне говорил о ней вообще.

— Что же тебе надо еще?

— Ну хотя бы, как зовут ее...

Алпатов очень смутился, но вдруг ему мелькнуло: сказать — это значит победить все сомнения матери о нем в его охоте за счастьем. И ведь рано или поздно — он победит, и достигнет, и все откроется...

— Я скажу тебе, мама, — ответил он, — только под величайшим секретом, дай мне слово.

Марья Ивановна, почуяв, что дверь открывается, не обратила даже внимания на какой-то секрет, на какое-то честное слово, она, просияв, сказала:

— Знакомая?

— Да, — ответил Алпатов. Сияние матери усилилось.

— Мне кажется, я догадываюсь... Инна Ростовцева?

И когда сын ответил и догадка оказалась верной, мать сияла, как солнце.

ПОЛОЖЕНИЕ

На дворе усадьбы довольно было простора пошалить лошадям, запряженным гуськом, поработать арапником кучеру, осыпающему их и бранными, и ласкательными словами, совершенно как если бы эти существа с хвостами и гривами хорошо понимали русский простонародный язык. Но как только выбрались со двора на ту самую рыжую дорогу, по которой недавно унесли Гуська на кладбище, передней лошади стало невозможно вилить: снег всю зиму валил без осадки, и даже рослому коню в нем было почти что по самую шею.

Было очень пасмурно. Снежная земля и небо совершенно сливались, и рыжая дорога на слегка уже оседающем снежном поле, выпуклая, как

железнодорожная насыпь, отчетливо и вполне определенно поднималась в небо... Алпатову захотелось крепко подумать о большой и коротенькой правде, о своей охоте за счастьем, но в полях без горизонта мысль расплывалась, а рыжая дорога возвращала к детству, к Гуську с его перепелами. Но как только он закрыл глаза, ему представилось, будто он едет не вперед, а назад, и он стал думать об этом странном явлении, стараясь установить в себе разумное соответствие с действительностью. Из этого усилия явилось нелепое представление лошадей, бегущих хвостами вперед, в саней впереди их. Он стал упрячиться: «Ни за что не открою глаза, пока не докажу себе разумно движение вперед». И когда он твердо установился в борьбе с обратной силой движения, случилось еще хуже, чем было: он все забыл...

Кто много ездил в санях по снежной стране, наверно, хоть на одно мгновенье испытывал и чувство этого обратного движения, и особенно страшное, когда вдруг оказывается — человеку нечего вспомнить о себе самом... Я обыкновенно в такие минуты или больно кусал себе язык, или заговаривал с кучером: «Ну, Глеб, расскажи мне, как теперь ты живешь?» Алпатов перестал сопротивляться, открыл глаза. Движение вперед сразу определилось, но мало радостного было и в этом движении: рыжая горбатая дорога поднималась на скучное небо, где покойники лежат совершенно забытые. Алпатову, как и всем нам, едущим по таким бескрайным снежным полям, пришлось отказаться найти определенную мысль о себе и обратиться к кучеру с каким-то самым нелепым вопросом. И только уже когда наконец-то доехали и поезд понес его в Москву, наладилось соответствие внешнего мира с внутренним и Алпатов вернулся к мысли своей о большой и коротенькой правде. Он даже себе план придумал побывать в Москве несколько дней и тут перед поездкой в Петербург посмотреть не прежними детскими глазами, а новыми, как иностранец, что же такое особенно хорошее сравнительно с европейцами нажили русские люди в Москве, исполняя законы естественной коротенькой правды.

И, вернее всего, этот влюбленный молодой человек увидел бы на родине какую-то прелесть, — почему же столько иностранцев навсегда остаются в Москве? Но не успел он устроиться в своем номере, хорошенько чаю напиться, его попросили явиться в охранное отделение.

Его спросили, тот ли он Алпатов, который устраивал школу пролетарских вождей, сидел за это в тюрьме, по особому ходатайству был отпущен за границу и теперь явился сюда без разрешения въезда в столицу.

Бывало, в прежнее время Алпатов был так находчив в ответах

жандармам, теперь он растерянно спрашивает:

— Вот этого я и не знал, ведь это было уже так давно, стало быть, мне нельзя жить в столице, как же так?

— Я не говорю, что нельзя, — улыбнулся жандармский полковник.

И подвинулся к Алпатову так близко, что коснулся его ког своими жирными ляжками в синих штанах.

— С вашим старинным другом Ефимом Несговоровым не встречались ли вы за границей?

— Нет, я его там не видал.

— Неужели ни одного разу?

— Ни разу.

Больше ничего бы и не надо говорить, жандарму спрашивать было нечего. Но верней всего эта мысль о коротенькой правде и готовность в этом делать опыты смягчила Алпатова, и он сказал жандарму совершенно ненужную фразу:

— Я все время за границей провел в упорной работе. Жандарм почему-то очень обрадовался.

— Очень, очень похвально, что же теперь вы намерены делать в России?

— Конечно, применять свои знания.

— Применять, применять! — добродушно воскликнул жандарм. — А на чем же применять?

— Я торфмейстер, у нас такие болота, буду осушать. С полной искренностью и сочувствием опять воскликнул жандарм:

— Осушать, осушать!

И предложил даже сигару.

В сигарах Алпатов кое-что понимал, и ему захотелось продолжать свои опыты: жандарм такой добродушный, почему бы и не покурить.

— Бразильский лист? — спросил он.

И так он обрадовал полковника: так мало людей, понимающих толк в хороших сигарах!

— Это мексиканский лист, — сказал он. И бросился к ящику... Пожалуйста, вот вам и бразильский. Раньше я тоже был страстным поклонником бразильского листа, теперь перехожу на мексиканский.

Поговорили о сигарах, — что в Германии в этом отношении очень хорошо, но в Париже из рук вон плохо, а в России за деньги можно такое достать, чего нет в Германии. С деньгами в России можно что угодно достать, и если только умеючи жить, денег в России для умного человека найдется сколько угодно.

Под конец Алпатов, вставая со стула, — жандарм тоже встал, — спросил, как же дальше быть: ему теперь в Петербург надо ехать, не будут ли там его тоже беспокоить.

— Будут-то будут, — ответил жандарм.

— Как же выйти из такого положения? Полковник задумался.

— Вот что, — сказал он, — вы же в Петербург зачем едете, наверно, устраиваться?

— Да, я вам сказал, я затеваю большое дело с осушением болот, мне там надо получить назначение.

Полковник чрезвычайно обрадовался.

— Осушать, применять, — воскликнул он, — самое разлюбезное дело! А пока они о вас за границей будут справляться, вы создадите себе в Петербурге отличное положение.

Да, вот так сказал и жандарм: положение.

И с этим Алпатов вышел на улицу.

Будь он свободен в себе, как не раз бывало ему за границей в промежутках упорной работы, конечно, он зашел бы в Кремль; очарованный, долго бы оттуда сверху смотрел на Москву, отличая тут великое движение Востока на Запад, и сокрушающие победы Запада, и беспричинное сияние Востока. Теперь ему было не до того: последние слова жандарма о положении все перемешали в нем. Расстроенный, он обратил только внимание, что огромные зеркальные окна магазина Елисеева на Тверской были почему-то мутные. Он даже провел пальцем по стеклу и оставил резкую линию: то была, значит, пыль. Но мало того, что пыль; вокруг были снега, и, значит, пыль на зеркальных окнах роскошного магазина оставалась еще с прошлого года! Неприятно было ему, и что московские люди на узкой Тверской так сильно размахивали руками, что иногда задевали. Один раз возле витрины магазина кто-то сзади привалился к нему. Какой-то старик, пробиваясь сквозь толпу, назвал его дьяволом. Кто-то хлопнул его сзади со всего маху по плечу и, когда все разъяснилось, даже не извинился, а просто сказал: «Я вас за Ивана Петровича принял».

Все это нам привычное и такое смешное мало-помалу начало бить в Алпатова, как бьет капля воды с крыши в камень и на камне через множество лет от этого получается углубление, — у Алпатова теперь уже в сердце было что-то размыто и там скопилось непрерывной ноющей болью.

Но самое главное, что эта ноющая боль, все более и более ввинчиваясь, с одной стороны, перешла в точку почти физической боли, а с другой — именно в этой точке и помещалось свое собственное «я», как будто в чем-то виноватое.

Когда-то Алпатов, чутьем угадывая это состояние у других, глубоко его презирал, называл «самоковырянием» и думал — каждый, если захочет, может выйти из такого порочного круга усилием собственной воли. Теперь он сам был в плену. Раньше Кащеева цепь, ему казалось, была в мире внешнем, огромная цепь, теперь не цепь, а цепочка завертывалась вокруг своего «я», и эта цепочка оказалась сильнее, чем вся великая цепь. Мало помалу, ничего не видя вокруг себя, он заметил в ужасе, что мысли его, и боль, и даже все внешнее, что попадалось в глаза, и особое новое чувство своей вины, протекая кругом, начиналось, как танец от печки, и эта неподвижная печка была положение, а конец — по больному месту острые слова: «я» — маленький.

В номере он с удивлением вспомнил о своем решении несколько дней шататься без дела в Москве. Теперь только поскорее бы уехать отсюда подальше, в Петербург, и там начать все по-новому, по-настоящему. Только перед этим захотелось ему снова избавиться от проклятого самоверчения, рассказать об этом искренно другу в письме.

И он пишет ей о себе, уверенный, что когда он выскажет все совершенно, то непременно и сбросит с себя эту новую маленькую, но еще более страшную цепь. Его обманывает теперь увлекающее сладостное чувство писать ей о себе, он забывает, что если другому прочитать написанное им, то как раз это и будет изложение самоверчения, начиная от печки положение и кончая осью всего порочного круга: «я» — маленький.

Исписав несколько листов почтовой бумаги, Алпатов зовет курьера и велит ему немедленно отнести на почту и отправить заказным. Но как только уходит курьер и невеста его оказывается не здесь, в комнате, как было, когда он писал, а далеко в Париже, то вдруг переменяется весь смысл написанного: все письмо сплошное издевательство над положением, которое сам же он вызвался создавать ради нее. Это письмо, он теперь понимал так ясно, было бредом, в котором он бормотал о своем великом «я», назначенном разбить Кащееву цепь, и что это великое «я», встретив на пути своем положение, обернулось в сидящее на цепочке «я» — маленькое.

Он бросился по лестнице, чтобы вернуть курьера, но было поздно: получив приказание поспешить, курьер убежал.

От кого же он сам бежит теперь из этого номера, где явилась ему несчастная мысль написать? Он еще не знает, что бежит от самого себя и что от этого никуда нельзя убежать. Все, что было в номере, сейчас же явилось к нему, как только сказали на Николаевском вокзале, что поезда ждать придется ему еще час. Он спрашивает себе чаю и садится за столик писать. На диване рядом с ним, обернувшись лицом к спинке, храпит на

весь зал толстый человек. Не обращая внимания на храп, он пишет в Париж, что под минутным впечатлением от разговора с жандармом о положении он немного сошел с ума и написал ей бессмысленное письмо. Но пусть она не обращает внимания: это все эгоистический бред, а в будущем он непременно сумеет забыть себя и вернется к тому положению, о котором они вместе думали в Париже...

Он перечитал письмо свое несколько раз и совершенно уверился: письмо было очень хорошее. Теперь, если он это письмо сейчас опустит в ящик, оно придет, может быть, днем раньше, чем заказное. Вот хорошо бы еще приписать сюда: что он просит ее не читать и разорвать заказное письмо. И он опять берется за перо, но как раз в эту минуту храпящий человек обертывается, не открывая глаз, отхаркивается, плюет и своей мерзостью обдаёт все письмо. Алпатов бросает перо. Сильной рукой хватая толстого человечка за ворот, трясет его, и тот медленно открывает налитые кровью глаза...

— Пьяный! — сообразил Алпатов.

И, бросив письмо, спешит удалиться. Но пьяный только теперь пришел в себя и узнал, кто это вдруг потряс его с такой чудовищной силой.

— Караул! — закричал он. — Держите, держите, он чайник украл у меня!

ФЛОРА И ФАУНА

Поэты берут красоту северного света белой ночью, когда закончится брачное время у многих интересных наших растений и животных, птицы сели на яйца, все в природе занято делом, а человек, не зная покоя, бродит белою ночью по улицам огромного города... Сказал ли кто-нибудь о красоте света на Севере, когда после тьмы человек пробуждается в засыпанном снегом и сияющем в новом свете городе? Многие обратили внимание на такой Петербург только в тот день, когда замолчал пулемет и все вышли на улицу, чтобы во время великой войны народов сказать о мире всего мира всем — всем!

Нет, кажется, о весне света до тех пор еще мало кто говорил, считая болезненную белую ночь истинной весной петербургского человека. Но Алпатов, никогда еще не видавший Петербурга, сразу обратил внимание на сияние снега в большом городе: ни в Москве, ни в одном европейском

городе такой роскоши архитектуры, украшенной снегом и так освещенной, он еще не видал. А между тем шел он по солнечной стороне Невского не для того, чтобы о вечном мире народов сказать всем — всем, а просто в департамент шел, как множество других, создавать себе положение. Ему представлялся департамент по Гоголю местом издевательства над убогим, но сложным существом человека вроде того, как было в его гимназическом классе, когда все мальчики мучили одного странного. По Достоевскому, в департаменте служили бедные люди, униженные и оскорбленные. По Щедрина, там лютые хищники делили казну. Казалось бы, всего ближе был Алпатову департамент у Гончарова в «Обыкновенной истории», где молодой человек, в юности почти революционер, просит дядюшку устроить ему положение. Да, тут в красоте на болоте люди так много всего намечтали, что каждому оставался в наследство двойник. Но красота весны света была сама по себе так велика в Петербурге, что Алпатов, думая по авторам о департаменте, не вспомнил пока своего двойника из «Обыкновенной истории» и свой путь по коротенькой правде все еще считал каким-то особенным и небывалым у других.

На углу Невского и Литейного в книжном магазине огромная красная книга «Весь Петербург» в издании Суворина сразу дала Алпатову и адрес действительного статского советника Петра Петровича Ростовцева на Захарьевской, и его служебный телефон в департаменте на Мойке. Он, представляя себе департамент исключительно по литературе, позвонился с большим волнением. Но деловой голос просто и даже довольно любезно ответил ему: его превосходительство не имеет особых часов для приема, и видеть его можно в Ученом комитете в служебные часы.

Мартовский свет, разгораясь все больше и больше ближе к полудню, во всем помогал Алпатову.

Сверкает алмазная весна. Многие синицы в Лесном поют брачным голосом, самые красивые маленькие птички, кочуя, рассыпаются по темнеющим дорогам, снегири, свиристели, овсянки. На Невском возле Пассажа продают мимозы, тепличные фиалки и ландыши. Ярко освещенная студенческая молодежь на верхнем этаже конки показалась Алпатову букетом цветов. На углу Невского и Михайловской под капелью одна улыбающаяся девушка показалась ему очень похожей на Инну Ростовцеву.

Если в мрачном Петербурге на Невском Алпатов открыл себе весну света, то почему бы и департаменту не выйти таким же удачным и положению в нем совершенно особенным: очень возможно, еще ни один инженер не приходил сюда с таким великим планом осушения русских

болот. Швейцар в этом изящно одетом молодом человеке сразу же увидел его счастливое будущее и не только вежливо помог ему раздеться, но и проводил немного по лестнице и в Ученом комитете указал кабинет его превосходительства. Секретарь, который разговаривал с ним по телефону, был очень похож на скромного, изысканного, вежливого немецкого молодого ученого и действительно оказался временно служащим здесь лаборантом. Он тоже скоро получает командировку в Германию и смотрит на Алпатова из Германии почтительно. Пока его превосходительство занят в кабинете с посетителем, есть время покурить и расспросить лаборанта, можно ли рассчитывать на успех.

— Как понравится, — сказал секретарь. — Петр Петрович ученого склада человек, место его на кафедре, да вот только жизнь заставила его заняться производством бумаг.

— Вы так смотрите...

— Коллега, весь город занят производством бумаг. Но редко вы встретите человека совершенно мертвого и преданного только одной бумаге. Огромное большинство в Петербурге живет двойной жизнью.

Мгновенно вспомнив, как в Париже Инна ему показалась двойной, Алпатов сказал:

— Я это очень понимаю, жизнь вообще двойная, протекает в большой и в коротенькой правде, и люди живут обыкновенно надвое. Но я думаю, задача каждого сделать коротенькую правду большой, и человек должен соединить все правды в одну.

Удивленный лаборант ответил:

— Сбываются мои предчувствия: наверно, у нас преувеличили значение военной Германии, и в сущности своей она остается по-прежнему страной мыслителей. У нас в Петербурге едва ли кто-нибудь из служащих думает в своем деле соединять разделенную жизнь. Мы все служим здесь исключительно для производства бумаг, а дома занимаемся личной жизнью, которая и кажется нам настоящей. Я лично занимаюсь наукой, другой сидит просто в кафе.

— Чем же занимается его превосходительство в другой своей, настоящей, жизни?

— Лучшую часть своей жизни его превосходительство посвятил созданию лесной энциклопедии, другой стороной он, как все мы, раб и исходящих, и входящих бумаг. Если вам удастся подойти с его лучшей стороны, он все вам сделает, а если не удастся, то просто расскажет длинную историю, как он ездил в Карлсбад растворять камень в печени, и почему из этого ничего не вышло, и камень не дает ему жить.

В это время из кабинета вышел посетитель в мундире с учеными знаками, и лаборант, пригласив Алпатова к двери, шепнул:

— Будем надеяться на лучшее!

Его превосходительство бессменный секретарь Ученого комитета лесного департамента Петр Петрович Ростовцев сидел за большим письменным столом, заваленным горою бумаг. Была видна входящему в кабинет только пепельная голова с желтым лицом. Взглянув на прекрасный лоб Петра Петровича, Алпатов сразу узнал происхождение закрытого локонами лба своей невесты и почтительно, гораздо усерднее поклонился, чем если бы перед ним сидел не отец Инны, а просто действительный статский советник. Но Петр Петрович даже и головы не поднял, а только указал рукой на стул. Алпатов сел и замер. Петр Петрович погрузился в работу и о просителе совершенно забыл.

По длинным корректурным гранкам быстро гуляла рука с красным карандашом, одна рука красила, другая синила. Мало-помалу весь лист сделался похожим на трехцветный флаг из белого, красного и синего. После того рука берет пачку каких-то картинок, выбирает из них подходящие, иные припиливает к флагу-листу, иные наглухо приклеивает синдетиконом. С одной гранкой было покончено, началась другая, Алпатов кашлянул, и Петр Петрович поднял на него свои усталые и очень добрые глаза.

— Я, ваше превосходительство, пришел к вам посоветоваться...

— Рассказывайте, слушаю, — ответил Петр Петрович, снова погружаясь в работу.

Алпатов побоялся упустить Петра Петровича и поскорей протянул ему руку с бумагой.

— Вот мой диплом. Я иностранный инженер. Хочу просить вашего совета, можно ли мне как-нибудь устроиться на живую работу.

Петр Петрович взглянул и просиял.

— Торфмейстер! — воскликнул он. — Да вас ко мне прямо же бог прислал. Помогите мне, а потом я вам все сделаю. Садитесь удобнее.

Оказывается, русские ученые не умеют писать для энциклопедии и надо у них из десяти слов оставить два-три, а то и всю статью самому изложить по-другому.

Алпатов с удовольствием берет корректуру статей о торфе, усердно красит, синит, переписывает вновь и наконец показывает.

— Что значит немецкая школа, — восхищается Петр Петрович, — наши растрепы могут только выдумывать, а вещь показать — это не их дело. Я в вас как будто alter ego [Второе я (лат.)] нашел. Но в чем же дело, в

чем я могу вам по-мочь?

— Я ищу живую работу, чтобы жить не надвое — для службы и для себя, как тут все живут, а целиком отдаться интересному труду.

— Понимаю, — грустно и ласково сказал Петр Петрович, — что вы хотите создать лучшее.

Конечно, Петр Петрович это совсем просто сказал, но у Алпатова это «лучшее» соединилось с тем, что он слышал от своей невесты: «Помни всегда, я отдала тебе все свое самое лучшее».

— Вот верно-то, — воскликнул Алпатов совершенно по-детски, — именно лучшее.

Петр Петрович с удивлением опять повторил:

— Право, я, кажется, в вас alter ego нашел. В свое время я тоже, как вы, хотел цельного дела, хотел быть только фаунистом, воображал себе даже, что и жена моя тоже будет зоологом. А вот теперь, видите, как во всем разделился надвое.

Алпатов с глубоким сочувствием и искренним состраданием смотрел на Петра Петровича.

— Да, — сказал он, — я только теперь понимаю, что моей главной задачей будет не разделяться.

— Как же вы думаете этого достигнуть? — спросил Петр Петрович. Извините меня, я спрошу: вы не женатый?

Алпатов покраснел и не знал куда деваться. Петр Петрович даже глаза отвел. Потом Алпатов справился с собой и рассердился даже:

— Я не женат, но какое же это отношение имеет к нашему делу?

— Не сердитесь, милый мой, — ласково сказал Петр Петрович, — в большинстве случаев наше лучшее зависит только от этого...

— Я сам так думаю.

— Вы можете всячески думать, но беда...

— Никакой беды, беда у сильного человека — это вызов к борьбе.

— Скажите... — улыбнулся Петр Петрович, — вы не совсем уже юноша и отличный работник, до чего же, значит, можно за границей консервироваться. Кроме того, я думаю, вы приходите прямо от матушки сырой земли...

Алпатов вспомнил, что рассказывала ему Инна об отце, что сам он из купцов, был Чижииков и стал Ростовцевым и потом для графини своей стал генералом. И почти с гордостью он сказал:

— Я происхожу из купцов.

— Так я и знал, и еще догадываюсь, — наверно, вы до границы бунтовали...

— Как это вы можете догадываться, ваше превосходительство?

— Очень просто: никто из проходящих ко мне за местом в департаменте не говорил еще мне: «Беда — это вызов к борьбе». Только не думайте вовсе плохо о бюрократии: Петербург высасывает из страны все лучшее, и оно уже потом здесь хиреет. И если с этим вздумать бороться, то надо уничтожить весь Петербург.

— Вы забыли, ваше превосходительство, я с самого начала сказал, что ищу живого дела, понимая, конечно, на болотах, а не в департаменте.

— Вот это верно, — обрадовался Петр Петрович, — если есть охота работать в болотах, то это мы с вами можем устроить. Но, конечно, не сразу. Есть ли у вас хоть что-нибудь пока перебиться? Для существования вы можете подработать у меня в энциклопедии; мы поделимся с вами: я себе возьму редактировать фауну, вы — флору.

Алпатову хотелось броситься на шею Петру Петровичу: ведь он будет работать у него по ночам в той самой квартире, где выросла Инна!

Лаборант показался в дверях. Петр Петрович весело ему сказал:

— Ну идите, идите сюда, молодой человек, мы тут вот сейчас заключили союз флоры и фауны.

Алпатов в приемной подождал лаборанта и все ему рассказал с восхищением: ему даже и не снилось, чтобы были такие превосходительства и такой департамент. Лаборант соглашался с ним, но про себя думал: все это выходит потому, что Алпатов приехал из Германии.

Потом был Алпатов на Невском проспекте под вечер, когда на нем все кипит и бурлит. Зажигались лампочки. Начинался снег. Уйти, оторваться не хочется. Долго смотрит Алпатов на цветы за огромным зеркальным стеклом. Снег падает, а там целое дерево цветущей сирени. Но лучше всего одна вазочка в ювелирном магазине, небольшая античная вазочка с гением прельстила его. Она ли, такая совершенная сама по себе, взяла его в плен, или раньше того пришла ему в голову прекрасная мысль и случайно сошлась с формой изящного сосуда. Вот он что-то придумал. Поскорей бы только добежать к себе и написать это своему другу.

И он пишет в дешевых номерах Пименова на Пушкинской улице, рядом с банями того же Пименова, представляя себе вместо женщины маленькую вазу с гением.

«В какой пленительной силе встает теперь моя первая детская встреча с природой, и каким прекрасным кажется мне родной человек в родной стороне! Вспомните же, друг мой, я настаиваю, я буду радостно трудиться изо дня в день, чтобы вы наш брачный день приняли навсегда как единственную творческую силу природы, все, что мы называем

неопределенным словом «любовь». Соберите же черепки вашей расколотой жизни, уверяю: есть на свете живая вода, я найду ее, и она опять даст черепкам форму единого прекрасного сосуда!»

ПРИЧИСЛЕННЫЙ

На Невском была суматоха. Коты с финскими ножами в карманах, встречая проституток, говорили им: «Облава! облава!» — и незарегистрированные женщины бросались в боковые полуосвещенные улицы. Особенно удобно было им пережидать облаву на Пушкинской возле номеров и бань Пименова: тут можно было и спастись от облавы, и замарьяжить кого-нибудь в номерах или банях.

Но Алпатов и не подозревал, что он поселился в вертепе. Какое дело ему было до всего этого низкого, когда он так ясно видел само лицо жизни в форме античной женственной вазы с гением. Он бы и долго писал, и пропустил бы назначенный час для ночной работы в квартире отца своей невесты. Но ветер, как часто бывает в Петербурге, вдруг переменялся, сильно повеяло теплом, и с грохотом обрушился снег. Алпатов очнулся, посмотрел на часы, запечатал письмо и вышел на улицу. Проститутки десятками бросились к нему, называя красавчиком. Некоторые были пьяны, хрипя и отхаркиваясь, тоже предлагали любовь, преследовали, хватались руками за пальто. Алпатов пробивался через их толпу с таким чувством, как на войне нам, живым, приходилось быстро ехать по полю, усеянному трупами: не так было страшно, как описывают, забываются страшные трупы, когда самому очень хочется жить...

...Друг мой, в любви нашей, конечно, скрыта война, и улицы большого города политы гораздо больше нашей кровью, чем поля обыкновенных сражений. Ночью на улицах бой, днем идем мы все как следствие великой войны: мы, победители и побежденные. Но редко доходит до того, чтобы всех сразу коснулась война. В мирной жизни все проходит невидимо, как у маленьких животных в густой траве. Но мы были свидетелями, когда война всех коснулась и потом улицы большого города начали было даже покрываться действительно настоящей зеленой травой: во многих местах на Васильевском острове, где я жил, это было. Но скоро снова человек все взял в свои руки: опять везде загорелись огни, опять начали везде торговать и любить. Я шел, как лунатик. Мне казалось, будто я, как ворон, прожил

лет триста, возвращался на давно оставленное привычное место и все узнавал. «Вон там, — угадывал я, — должен быть крендель булочной, описанный Блоком, — как-то теперь? И что же: хотя золотой крендель куда-то исчез, но булочная была на том же самом месте, и продавали тут прежние французские булки и русские крендели. Через два дома от кренделя была пивная, и опять вот она: люди по-прежнему сидят и пьют у окна. А потом я завертываю за угол, и волнение мое доходит до последних пределов: тут должна быть маленькая подвальная лавочка, где в роковой вечер я купил себе папиросы «Кадо». У меня сердце больно забилося, когда я в действительности увидел ту же самую лавочку с папиросами. Спускаюсь туда, и тот самый хозяин с усами, как у Бисмарка, подает мне папиросы «Сафо». С сожалением говорю ему: «Когда-то было «Кадо»! Он мне моргнул и покосился на публику. Я подождал немного, и, когда все вышли из лавочки, Бисмарк, обдувая пыль с коробочки, подает мне «Кадо». Я закурил и, как лунатик, продолжал свой путь, и всюду, где я жил, где так смутно мыслил и смешанно чувствовал, на кровавых местах побоищ нахожу выпрямленное чувство и созревшую мысль. Мало-помалу я уже не лунатиком, а хозяином прохожу по полю сражения и собираю урожаи на крови и сею. Неужели я сею только для того, чтобы скрыть повседневный бой и создать иллюзию мира? Не знаю, друг мой, мне так хочется жить, я плыву, поминая милых умерших, втайне радуюсь сердцем, что сам остался в живых...

Это напряжение жизни у Алпатова было так сильно, что из обыкновенного светящегося номера 25 на Захарьевской он создает себе в один миг на всю жизнь, конечно, такого же фетиша, как вышло у меня с папиросами «Кадо» в подвальной лавочке. Для других людей был самым обыкновенным серый каменный в четыре этажа дом с подвальной лавочкой, от которой проходим днем и ночью пахнет морковью и кислой капустой. В этом доме для других людей, может быть, самая неинтересная квартира пепельно-серого с желтым лицом действительного статского советника, не сумевшего в Карлсбаде растворить камень своей собственной печенки. Для Алпатова это был дом его невесты, и он, волнуясь, не мог даже сразу войти: прошел до угла, вернулся, прошел до другого угла, снова вернулся и тогда уже вошел с трудом, сам себя заговаривая. Как условились, чтобы не беспокоить кого-то звонком, он тихонечко с лестницы стучит в стену. Петр Петрович сам открывает дверь чуть-чуть, только для глаза, спрашивает: «Вы?» — и снимает цепочку. Он в халате и туфлях, неслышно закрывает дверь на французский замок, умоляет шепотом, раздеваясь, что-нибудь не задеть в передней и потом идти за ним

совершенно неслышно. Алпатов крадется на цыпочках через анфиладу неосвещенных комнат на огонек. И потом, когда закрывается дверь кабинета за ним, то кажется ему, будто попал в мышеловку: книги высоко вверху под потолок, и в шкафах, и в вертящихся этажерках, и внизу, даже на полу разложены диаграммы и карты. Они садятся у письменного стола рядом и начинают работать.

Час ночи.

Что-то грохнуло и покатилося. Петр Петрович вопросительно поднял голову. Алпатов ему подсказал:

— Это весна: в желобе лед покатился. Петр Петрович:

— Неужели весна?

Он сказал это в особенном смысле: «Продолжаются разве весны на свете?» Алпатов ответил в своем смысле, что эта весна для него совершенно особенная, что он уже видит третью весну: в Париже было, как в апреле, проезжая назад по Германии, видел март, и в России началось все с начала.

— Так вы и в Париже были, а у меня там теперь учится дочь.

Как вертелось на языке сказать: «Я с ней встречался». Но вместо этого он спросил:

— Почему учится она в Париже, а не здесь?

— Результат семейной борьбы, я настаивал, чтобы здесь училась: у нас тоже неплохо на высших курсах. Но

для некоторых в нашей семье неприемлемо слово «курсистка».

Алпатов догадался, кому неприемлемо.

Опять грохнуло и покатилося в желобе. Петр Петрович сказал:

— Так, стало быть, это весна. Ну, давайте еще поработаем.

Два часа ночи.

Редактор. Может быть, вы подкрепитесь шоколадом? Бывало, всю ночь жую шоколад. Теперь все запретили.

Кушайте, мне доставляет наслаждение смотреть, как люди с аппетитом едят. Неужели вы, правда, теперь третью весну переживаете?

Помощник редактора. Это неважно. Петр Петрович, весна у человека бывает одна.

Редактор. Да, это правда. Потом короткое лето и осень, неизбежная зима — и конец. А вам как представляется?

Помощник. Мне представляется так же, как вам, для всех неизбежно, но в отношении себя я всегда почему-то думаю о смерти: пусть у всех, а я-то как-нибудь проскочу.

Редактор. Мне вы очень, очень нравитесь: в молодости я думал

совершенно, как вы.

В четыре утра белый тюль на окнах становится снежным узором на голубом. Алпатов положил карандаш и любуется.

Редактор. Вы, наверное, устали?

Помощник. Рассветает. Я думаю, вот бы такие занавески делали на окна, как выходит теперь: кружева на голубом шелку. Давайте, если можно, закончим работу: мне хочется посмотреть, как теперь на улице. Вы, наверно, тоже немного устали?

Редактор. Я совсем не устаю от этой работы: ведь это я делаю для себя и получаю гроши. Мне трудно в комитете, там я секретарь, здесь председатель. Лесная энциклопедия — мое собственное дитя. Но давайте кончать, ведь вы секретарь и должны уставать.

Алпатов убирает бумаги. Петр Петрович ему говорит:

— Я заметил, у всех складывается понимание жизни двойное, как бы направо и налево; у меня сложилось, на одной стороне председатель, на другой секретарь: у председателя талант и слава, но живет он трудом секретаря. Вы себе нашли что-нибудь в этом роде?

— Я хотел бы соединить в себе то и другое, чтобы для всех со стороны я был секретарь, а внутри себя председатель.

— Совершенно удивительно! В своей молодости я думал так же, как вы. Но вот вам мой совет: если только вы хотите сделать карьеру, о секретарстве надо выбросить всякую мысль.

— Я не карьеру хочу делать, я хочу создать себе положение.

— Положение? — удивился Петр Петрович. — Как положение? Вы об этом не говорили. Я слышал от вас о каком-то большом деле. А положение это совсем другое; хотите, я похлопочу: вас причислят к министерству.

Алпатов опять замялся: нельзя же было ему посвятить отца Инны в евой план, — для виду скоро создать положение, а потом увезти ее с собой на большую работу. Но Петр Петрович полюбил его и стал по лицу все понимать. Он сказал:

— Не трудитесь мне объяснять: вам нужно положение, и это я постараюсь вам сделать; вас причислят.

— Что же, — спросил Алпатов-Причисленный, — есть ли это уже положение?

— Причисленный, — ответил Петр Петрович, — это вроде как бы представленный. У нас в министерстве есть около тысячи представленных к чину действительного статского советника, но удовлетворяют их не сразу, всего несколько десятков около Пасхи из всей тысячи делаются настоящими генералами. Вот я, кажется, нашел точное определение:

представленный — это скорее состояние, чем положение. Точно так же Причисленный — это состояние, а когда Причисленный получает место — это уже положение.

В передней Алпатов очень тихо напомнил:

— Вы не забудьте, ваше превосходительство, может быть, и сегодня уже для меня это сделать.

Бесшумно, привычной рукой опуская пружинку дверного замка, Петр Петрович ответил:

— Ступайте, любуйтесь весной и считайте себя как бы Причисленным.

На рассвете успело уже слегка подморозить. Пока Алпатов достиг Невского, уже совсем рассвело. Всюду на улице было много некрасивых остатков, как после боя на поле: там обрывки газеты или разорванный конверт, иногда тесемка, была одна калоша и футляр от финского ножа. Электричество забыли погасить, и этот бледный свидетель пересказывал весеннему свету о ночных делах человека. Непривычная ночная работа поселила великий сумбур в голове Алпатова: электричество стало ему как вечный секретарь, и он жалел его так же, как и Петра Петровича с секретарской работой его в департаменте.

СЛЕДЫ НА НЕВСКОМ

Весна задержалась. Каждый день одинаково к полудню согревается воздух, до вечера бывает тепло и на улице исчезают все признаки снега. В полночь летит пороша, на рассвете скрепляет порошу мороз, и следы немногих людей в заутренний час отчетливее виднеются на Невском.

Странный след оставлял Алпатов на невской пороше в заутренний час. По Литейному след был очень извилистый, неровный: человек шел, поминутно останавливаясь, вероятно, о чем-то раздумывая, топтался на месте. Можно было подумать, что с Литейного на Невский выходил совершенно пьяный человек и свертывал к большому цветочному магазину. Тут возле цветов очень много натоптано, охотник по зверю сказал бы, что зверь тут жировал. После того пьяный след переходил к магазину, где была на выставке маленькая керченская ваза с гением. Тут след был твердый и насквозь до асфальта: тут он долго стоял. И отсюда обратно, пересекая свой извилистый след верными шагами, шел по Невскому к Пушкинской.

Если бы мог только Алпатов понять свой собственный след, как бы он ужаснулся себе самому, оставляющему ежедневно на мостовой изо дня в день совершенно одинаковые отпечатки. Но и на рукописях исправляемых им статей тоже остаются следы. Каждый раз, приступая к работе, на полях первой рукописи он ставит множество точек, заключая каждый десяток в кружок. На второй статье точек меньше, и дальше все меньше и меньше. Так ему необходимо считать точки, пока не войдет в работу. А днем, когда всф работают, он пишет невесте, похожей на вазу, письма безо всякой меры и счета. Можно ли так жить изо дня в день и оставлять на заутренней невской пороше правильный, деловой след человека?

Каждый день он входит с надеждой — вот сегодня Петр Петрович объявит ему радость: он причислен к министерству, ведь нужен только первый шаг в каждом деле, а потом обыкновенно все спокойно идет своим чередом. Но Петр Петрович упорно молчит. С ним тоже что-то происходит: Алпатов все бледнеет. Петр Петрович желтеет и очень часто теперь, не работая, лежит на диване. В последний раз он долго не отворяет. Алпатов стучит в стену еще и еще. А когда наконец отворяется дверь, Алпатову приходится своего редактора под руку вести до дивана.

«А что, если придет такой день, — думал Алпатов, — и к Петру Петровичу вовсе не пустят, и нельзя будет спросить о своем?»

Он решается сегодня и спрашивает. И Петр Петрович говорит:

— Все сделано, но почему-то не отвечает департамент полиции. Я вижу, вы очень волнуетесь, почему вам не терпится?

Смущенный Алпатов:

— Так, весна задержалась: на меня это всегда сильно действует.

— Проехались бы пока, — советует спокойно Петр Петрович, — вот я поеду в Карлсбад, и вам бы можно омандировку устроить за покупкой гидроторфных машин, да, едьте вместе. Алпатов смекнул: «Вот бы воспользоваться и заехать в Париж».

— Но как же поехать, — сказал он, — для этого, верно, надо быть тоже причисленным?

— Это можно по вольному найму. И я вам о поездке так, между прочим, сказал, а по вольному найму на всякую работу легко можно устроиться.

Алпатов встрепнулся:

— Так почему же вы раньше-то не сказали!

— С вами происходит что-то мне непонятное, молодой человек, вы пришли ко мне в первый раз и объявили желание работать. Я хотел вас устраивать. Потом вы заявляете, вам здесь необходимо некоторое

положение. Я начал хлопотать о положении, и теперь вы опять хотите работать.

— А разве по вольному найму это не положение?

— Какое это положение, если при первом недоразумении вас могут уволить! Это волчье положение и — вернее сказать — не по вольному найму, а по волчьему найму.

После того Петр Петрович закрыл глаза. В этот раз Алпатов напрасно ставил и считал точки на рукописи: длинные периоды статьи сфагнум не сокращались, и один раз он даже приставку к глагольной форме отнес, как в немецком, на конец предложения. И все-таки досидел до конца, когда стали на окне голубеть занавески.

Неизменная пушистая пороша лежала на мостовой. Занималась заря, бледнела луна. И начался в этот заутренний час опять этот пьяный извилистый след с Литейного по Невскому к огромной витрине с цветами.

Вот почему виляет след на пороше: в холодном утреннем воздухе является ему третий образ невесты — не его маленькая желанная Инна, готовая идти за ним, не считаясь ни с каким положением, не Инна Петровна, подобная страшной графине, а утренняя, умытая и деловая. Собираясь в университет, может быть, даже к зачету, она читает на ходу из бедной России признание в любви от маленького, не имеющего положения торфмейстера, его рассуждение о творческой силе любви. Как будто жизнь, ежедневная масса деловых людей тоже питается любовью! «Батюшки мои! — восклицает она. — Он обещается найти живую воду и воскресить мой разбитый сосуд». Может быть, зачет она прекрасно сдала и по доброте своей хочет ответить сегодня маленькому торфмейстеру, но получается новое письмо в десять почтовых листов, а к завтраму предстоит сдавать новый зачет, и утром ей подадут пакет в десять листов.

Вот отчего Алпатов пьянеет в утреннем воздухе и так неверной походкой идет к окну с цветами. Но и цветы не дают ему отдыха: это праздничные цветы для подарков людей с большим положением. Большая, бледная, почти бесцветная луна тоже рассказывает о своем обыкновенном положении: совершенно холодной, не имеющей на себе ни малейших признаков жизни, вечно вертеться вокруг себя и ходить без малейших признаков личного праздника вокруг земли. Луна утренняя, бледная при солнечном свете, с полной откровенностью говорит: «Я знаю только необходимость вертеться, остальное все придумали маленькие горячие люди».

И после того Алпатов сам себе говорит: «Я маленький торфмейстер, и больше нет во мне ничего».

Вот почему возле цветочного магазина так много притоптано; с этого места, сделав ужасное открытие посредством луны в себе самом, он долго не может сойти. Ему представляется, он дошел в себе до последнего, и больше идти некуда. Но это еще не правда. Он, шатаясь, проходит несколько шагов к ювелирному магазину и впивается глазами в маленькую керченскую вазу с гением.

ВАЗА С ГЕНИЕМ

Когда-то в детстве нас с братишкой ставили на коленки перед иконами и заставляли читать «Отче наш» и «Богородицу». Это были не молитвы: какая молитва может быть у пригвожденного к полу ребенка? Но однажды в скуке я придумал читать как можно тише, чтобы не расслышали старшие, в тон и ритм «Богородицы»: «Скажи мне, ветка Палестины, где ты росла, где ты цвела, каких холмов, какой долины ты украшением была?» И это теперь, после многих лет жизни, оказалось молитвой: ни «Отче», ни «Богородица» мне теперь ничего не дают, но с трудом могу без слез прочитать это стихотворение Лермонтова и в особенности его же «Я, мать божия, ныне с молитвою».

Может быть, и Алпатов, глядя на античную вазочку вместо иконы, тоже шептал какое-нибудь стихотворение вроде молитвы и так мало-помалу создавал из ужасной астрономической луны привычное нам, родное, хорошее, небольшое светило?

А еще однажды, переживая большую беду, лежа в кровати, я как-то нечаянно через окно с подушки увидел на рыжем от электричества небе маленькую бледную петербургскую звезду. В полном соответствии с этой звездой в моем внутреннем хаосе явилась светлая точка совершенного спокойствия, как будто на земле ко мне подошел мой собственный меридиан и я на него прочно стал. Время от времени светлая точка в моем хаосе и свой меридиан стали появляться, и долго был я так наивен, что в такую драгоценную минуту бросался убирать свою комнату и наслаждался чудесным порядком, когда все вещи становились на свои собственные места. Много я таких минут упустил, пока не догадался пользоваться ими и, когда под ноги попадает свой меридиан, а наверху загорается светлая точка, заниматься не расстановкой вещей в комнате, а своих собственных мыслей. Я начал эти мысли посылать своему другу, и когда мой друг стал

меня понимать, то все мучения кончились: я узнал, что для творчества не надо родиться непременно великим человеком и что создаваемая нами в творчестве форма — все равно книга, сад или машина — есть форма совершенного и длительного общения людей.

После того как Алпатов сосредоточился на волшебном предмете, и прочитал свою «Ветку Палестины», и увидел свою светлую точку, у него сейчас же сложилась в голове ясная форма письма, которое должно бы непременно вернуть ему утраченную невесту. Он только боится, как бы не забыть ему все по пути в номера Пименова или чтобы не встретился бы какой-нибудь человек и не расстроил бы его порядок. Вот почему следы его теперь располагаются по такой правильной линии. Но так он каждый день приносил в свою комнату порядок в мыслях и уверенность в сердце, что в этот раз непременно он выразит наконец себя в новом письме, и от этого все переменится и начнется новая, бодрая, уверенная жизнь.

...Но, мой друг, в любви к женщине, вероятно, бессильна молитва.

Неизбежно каждый раз, когда письмо бывает отправлено Инне, похожей на античную вазу с гением, является Инна Петровна и обнажает все эгоистические претензии маленького торфмейстера. А потом, после ночной работы, утром непременно показывается самая ужасная третья — деловая, как астрономическая луна, и тут бы конец всему, но в последний конец опять непонятная сила дает оружие в новой борьбе.

Вот теперь ранним утром он спешит снова к себе и очень боится швейцара: разбуженный швейцар обыкновенно ворчит, и не это ли в конце концов отнимает у него силу написать настоящее письмо? Сегодня он приготовился сунуть в руку швейцару целый рубль. Но когда он с Невского свертывает на Пушкинскую, швейцар, оказывается, в этот ранний час стоит на улице около входа в гостиницу, с ним рядом стоит какой-то мизерный человечек с большим кульком и, запуская туда время от времени руку, достает кедровые орешки и щелкает.

Вероятно, и швейцара это он угостил, швейцар тоже грызет. В этом щелканье орешков, как все равно и подсолнухов, Алпатов с детства в родной стороне видел самое ему ненавистное: люди совершенно ничего не думают, и глаза у них в это время бывают такие, как будто ждут всякого повода, чтобы над чем-нибудь по-обезьяньему захохотать. Не захотелось и на чай давать. Он прошел было мимо зевак, как вдруг швейцар вернул его одной лениво сказанной коротенькой фразой:

— Поглядите, тут, кажется, есть вам письмо.

Нечего было ему разглядывать: среди нескольких десятков писем он сразу видит это свое. Наконец он дождался!

И швейцар получает свой рубль.

Трудно читать!

Письмо лежит на столе, а он в «Новом времени» читает бюллетень природы профессора Кайгородова: «Началась массовая перекочевка всех придорожных маленьких птиц, все синицы в Лесном поют брачным голосом».

В этот раз беду он предчувствовал и малодушно даже хотел бежать от письма и вскрывал его, как яд себе в стакан наливал...

Потом залпом вдруг выпил свой яд:

«Слишком уважаю, чтобы отдаваться жалости. Прошу, не пишите больше. Я теперь все разглядела, все поняла: мы говорим на разных языках, нам не по пути. В этот раз твердо и решительно говорю: нет».

Нет! И все переменялось. Вдруг оказалось, что мира этого взамен совсем не существует, все было обман. В особенности удивительно стало с тем большим делом в болотах, куда он в конце концов должен был увезти свою невесту. Болота оказались не заманчивой девственной природой, а просто дикими кочками с чахлыми деревцами, холодные, пустые.

Но как же революция, борьба за освобождение людей от Кащеевой цепи? Это все оставалось, но только не больше как факт: от его участия в этом деле ничего не переменится. Все равно как и та бледная астрономическая луна не устанет вертеться, будет он или не будет встречать ее вечерами и провожать по утрам. Мать его у себя на хуторе тоже будет дожидать свой век, брат любимый, Николай, будет собирать деньги от винной монополии и ловить раков, сестра останется с кошками. Все пойдет по своим неизменным законам, и мира взамен Инны не существует. Но почему-то ему все-таки оставались синицы в Лесном: все до одной поют теперь брачным голосом, — вот бы послушать! На тонких неодетых веточках берез, раскинутых по голубому небу, ему представилось в лучах весеннего солнца великое множество синиц, раскрывающих тонкие носики.

Он быстро схватывается и выходит только затем, чтобы увидеть синиц на березах. Идет быстро пешком по Невскому. За ним, отступая, но не выпуская из виду, идет небольшой человечек с кульком кедровых орешков и неустанно пощелкивает.

Был на пути мост с гигантскими конями, но Алпатов не только этих коней, но и Казанский собор не заметил. Не видел Дворцовую площадь с опушенной снегом колоннадой. Все сверкало искрами на солнце, и везде переливалась всеми цветами капель. На Неве вырубали для ледников красивый лед. На небе был свой небесный ледоход весны света, и сам

тяжелый Исаакий поднялся. Но Алпатов ничего не видал, и спокойная линия дворцов ушла вдаль без него... Он видел где-то впереди только паутинки сплетающихся веток берез и множество маленьких птиц, раскрывающих носики.

Мало-помалу людей на улицах становится меньше, среди каменных домов все чаще и чаще попадаются деревянные, крашенные охрой постройки, и белый каменный город становится желтым. Он еще прибавляет шагу и скоро пересекает все кольцо деревянного желтого города. Начинается настоящая деревенская дорога с раскатами от розвальней и скоро уводит в лес, еще совершенно по-зимнему засыпанный снегом. Вокруг только березы, и среди них изредка темные елки. Тут Алпатов остановился, прислушался и ему показалось — не синица пела, а где-то щелкнула белочка, разгрызая орех. Он оглянулся туда, где щелкнуло: то не белка, а человечек с бумажным кулком в руке догонял его и пощелкивал. Алпатов хотел пропустить. Но человек, вероятно, тоже заинтересовался синицами, остановился и слушает. Алпатов идет вперед. Тот идет сзади в пяту и мерно щелкает. Вместо синиц Алпатов теперь представляет, будто Петр Петрович взял себе в рот орех и силится разгрызть, и его умное и доброе лицо становится тупым. Вместо синиц он видел лучшие лица разных людей с орехами во рту в обезьяньем лесу. Он прибавляет шагу, а тот сзади себе прибавляет и щелкает. Перешел на тропинку по другой стороне дороги. Человек-обезьяна переходит за ним и все щелкает. Явилась вырубка при дороге и с ней, казалось, такая счастливая мысль: сесть на пень, будто бы отдохнуть, и человек-обезьяна мимо пройдет. Садится на пень, а человек-обезьяна тоже рядом садится и щелкает. С чудовищной злобой Алпатов наводит свои глаза в маленькие серые щелки и вдруг все понимает: за ним послали филера, и самого глупого. А тот спокойно, отставляя орех, поднесенный ко рту, спрашивает:

— Сами-то чем занимаетесь?

— Чем занимаюсь? — ответил Алпатов, не сводя с него глаз. — Я учу обезьян.

И, протянув руку, с наслаждением сжал ему шею. Человек-обезьяна высунул язык, уронил кулек с орехами, но успел схватиться за нож. Алпатов схватил его за руки. Нож упал в снег.

Подтолкнув его сзади коленкой, Алпатов велит ему скоро бежать. И тот убегает.

ALTER EGO

Певчие птицы негусто распределены в лесах, и такие все они маленькие. Нужно сделаться властелином молчания, чтобы в лесах наслаждаться пением птиц. А у Алпатова кровь звенела, время скакало: в Лесном не мог он слышать брачным голосом поющих синиц. Шесть дней он колот лед на Неве и на Выборгской стороне набивал ледники военно-медицинской академии. На седьмой день он ушел на Галерную гавань и там у водоразбора сел на бревно. Пришли две пожилые женщины с ведрами. Одна была слабая, шла с ведрами и задыхалась. Другая, помоложе, сказала:

— Вам бы отдохнуть: к зятю поехать.

— И-и-и... милая, — ответила больная, — к зятю поехать, так ведь надо подольше пожить, а на кого же я брошу своих?

Женщина помоложе больше ничего не могла сказать, и ее тропа уходила в сторону, могла она сказать только слова:

— До свидания, родная!

— Спасибо же, милая, спасибо на добром слове, — пропела больная женщина.

Серебряная волна голоса слабой женщины достигла слуха Алпатова, он встал, взял, как игрушку, в одну руку ведро, другой поддержал женщину, проводил...

После того ему пришло в голову: почему не понимает Инна, что в любви его есть и такое, вот как у этих женщин между собой, и он мог бы от всего отказаться, только сохранить бы ему непомятенную память о ней...

Почему?

Тогда собственная его светлая точка совершенного спокойствия показалась где-то вдаль, и он идет к прежнему месту на Невском, входит в магазин, покупает маленькую античную вазу с гением, уносит ее к себе в номер, ставит на столе, смотрит и на вопрос свой: почему Инна не находит в себе для него простого, любовного слова, какое нашлось у этих чужих друг другу женщин у водоразбора, — получает ответ. Вазочка, теперь такая близкая, такая спокойная, своя вазочка отвечала ему: «С Инной, как со мной, надо, чтобы она была тут возле, надо помочь ей нести свое ведро, как женщине у водоразбора, и отбросить в сторону всякий свой интерес».

Светлая точка спокойствия находилась теперь в зените. Оставалось теперь только ставить вопросы, и ответ ему там где-то готов: в эти минуты весь мир — магазин для ответов, успевай только ставить вопросы. Прежде всего, конечно, ему нужна близость: невозможно так сгустить слова на бумаге, говорить здесь с ней, как с живой. Он просто пойдет сейчас к Петру

Петровичу, к ее отцу, к его другу, все расскажет ему, объяснит причину колебаний своих между работой и положением. Петр Петрович, конечно, устроит ему командировку за гидроторфными машинами, сам поедет в Карлсбад, вызовет Инну к себе из Парижа...

Друг мой, вот теперь я понимаю, что рано было мне говорить о бледной звездочке, показавшейся когда-то мне после многих мучений на рыжем от электричества петербургском небе: надо, чтобы она показалась, когда все лишнее совершенно сгорит в груди, и с этой молитвой «Ветка Палестины» чтоб уж не было связано затаенное желание приблизить к себе женщину: «Детей от Прекрасной Дамы рождать никому не дано». Бесплезны молитвы в любви к ускользящей женщине... тут нет выхода... каждый поступок разоблачает обман и обнажает свое ничтожество до страстного и последнего желания истребить себя самого. Я бы не стал и рассказывать, конечно, эту интимную историю, если бы не взял на себя долг летописца. Не смейтесь, мой друг, эта история не случайного человека, подлежащего клиническому лечению холодными душами или теплыми ваннами в двадцать семь градусов. Это было время такое, вспомните, с чего началось, когда безумный Евгений грозил: «Ужо тебе!» И после того сколько людей предсказывали конец ему, и как страшно потом перед концом все у нас разделилось в стране на Петербург и Россию.

Нет, мой друг, молитва не может приблизить к себе женщину живую, от которой хотелось бы иметь детей в неудержимом стремлении продолжения в детях собственной жизни. Так хорошо было придумано у Алпатова после семидневного скитания в окрестностях Петербурга, — открыться во всем полюбившему его отцу Инны и ехать вместе с ним за границу. Все было ясно теперь, и он, уверенный, пошел в департамент. Случилось, в приемной отсутствовал лаборант и не мог ни о чем предупредить Алпатова. Он сам подошел к двери его превосходительства и, как делают все чиновники, бесшумно открыл себе щелку и посмотрел в кабинет. Все было в комнате, как и раньше: за письменным столом из груды бумаг виднелись пепельные волосы Петра Петровича и возвышался его желтеющий ученый лоб. Алпатов входит. По своему обыкновению, увлеченный работой Петр Петрович не поднимает головы, с молчаливой просьбой дожидаться.

Так немало времени прошло, и много хорошего пробежало в голове Алпатова. Он чувствовал себя как мастер, совершенно овладевший формой, в которую после долгих усилий наконец входят его непокорные материалы. Как теперь обрадуется Петр Петрович, когда, подняв голову, увидит его, пропадавшего где-то семь дней! И как легко теперь будет все ему

объяснить.

Но когда наконец его превосходительство поднял голову, то холод пробежал по жилам и волосы шевельнулись: его превосходительство, поднявший голову, был не Петр Петрович! Ужас, однако, был не в том, что вместо Петра Петровича сидел кто-то другой, а что сходство этого нового человека со старым было так велико, что вслед за первою мыслью «не тот!» явилась другая: «А может быть, я сошел с ума и в действительности сидит настоящий прежний Петр Петрович?»

Человек, подобный Петру Петровичу, спросил:

— Что вам угодно?

«Другой!» — поверил себе Алпатов и ответил:

— Я к Петру Петровичу.

— Как, — сказал другой Петр Петрович, — разве не знаете вы, что Петр Петрович шесть дней тому назад скончался?

Алпатов попятился и закрыл свое лицо ладонями.

— Вы что же, — ласковым голосом спросил другой Петр Петрович, приехали откуда-нибудь из провинции, наверно, родственник покойному?

— Нет, я так... мы работали вместе над лесной энциклопедией, сдружились.

— Так вы инженер Алпатов, alter ego Петра Петровича! Как я вас ждал! Садитесь, пожалуйста, садитесь вот тут: мы с вами закончим его дело.

И Алпатов сел на тот самый стул, где привык сидеть рядом с настоящим Петром Петровичем. Теперь ему невыносимо стало видеть такого же человека, с теми же синими и красными карандашами, но не отца Инны.

— Извините, — сказал он, — я сейчас не могу...

— Вполне понимаю, — сказал другой Петр Петрович, — вы ко мне на дом приходите вечером, как у вас было: все пойдет по-старому.

Алпатов спросил:

— Мы с Петром Петровичем все ожидали одну бумагу из департамента полиции, быть может, она за эти дни получилась?

— В этом отношении не все благополучно. Подумал немного и махнул рукой.

— Хотя бумага и секретная, да уж куда ни шло, ведь покойный Петр Петрович, наверно бы, ее вам показал.

И живой Петр Петрович из ящика достает отношение директора департамента полиции. Алпатов читает справку о себе самом, что в таком-то году он был одним из основателей школы пролетарских вождей, что он

был судим и приговорен к тюремному заключению на год с последующей ссылкой в места не столь отдаленные; год предварительного заключения, однако, ему был зачтен, а ссылка по особому ходатайству заменена пребыванием за границей. В настоящее время выясняется самая возможность пребывания названного Алпатова в столице. Директор департамента полиции в заключение писал:

«Свидетельствуя совершенное почтение вашему превосходительству, настоящим имею честь запросить: после всего вышеизложенного находите ли возможным причислить названного инженера Алпатова к министерству?»

Алпатов равнодушно положил бумагу на стол и спросил нового Петра Петровича, на каком кладбище похоронили покойника.

— Среди литераторов, — ответил новый Петр Петрович, — его энциклопедию признали за великий труд. Хорошо похоронили Петра Петровича на Волковом кладбище.

ЛЮБОВЬ ПО ВОЗДУХУ

Теперь на Октябрьской железной дороге в каждом пассажирском поезде, в каждом вагоне непременно кто-нибудь из москвичей назовет Ленинград мертвым городом. А тот, кто пережил его запустение, когда иные мостовые зарастали травой, начинает доказывать, будто Октябрьский проспект стал теперь таким же оживленным, каким был Невский при Гоголе.

— Тот, да не тот, — отвечает москвич.

И он прав, я там был: около четырех часов вечера на бывшем Невском проспекте движение, пожалуй, не меньше прежнего, да вот нет чего-то, назовем это, как Гоголь, мечтой, из-за чего у него маленький задумчивый чиновник попадает под лошадей. Нынешний гражданин, хотя и не богаче гоголевского чиновника, да зато осмотрительней, и у него уже нет в голове прежних мыслей о Медном Всаднике.

Не знаю верно, сколько погибло бумаг в революцию, пусть все цело и хранится в архивах. Но с этим никто уж спорить не будет: бумаги в архивах сами по себе мертвые существа, и нужен особый творческий человек, чтобы они показались нам интересными. А тогда были такие живые бумаги, что в своем самопроизводстве собирали людей часто мертвых, и они нам казались живыми.

Белые ночи такие же и теперь прозрачные, но линия дворцов иначе выглядит теперь нам белою ночью. Бывало, каким-то Евгением из «Медного Всадника» проходишь по гранитному берегу и, как на болоте бывает, видишь возле себя белую лилию и не можешь достать, так бывало тогда с плененной красотой в Петербурге, — манит красота, а сам грозишься, как Евгений: уж тебе, Петра творенье!

Все это теперь кончилось. Я иду гражданином, любой дворец мне открыт: уплатив двадцать копеек за вход, а то вовсе бесплатно, я могу любоваться вещами царей и великих князей. Но я ничего не нахожу себе в этих дворцах и думаю о мертвой скуке их прежних обитателей. Сбылся мой старый сон, много раз мне повторявшийся: будто бы весь город-призрак исчез, а я хожу по болоту наедине с осушительной затеей Петра и слушаю, как уцелевшие где-то куранты свидетельствуют совершенное почтение давно исчезнувшему высокопревосходительству.

Этот сон тогда многие видели, но Алпатову было не ночью, а днем при полном блеске весны света на Волковом кладбище. Оказалось, что этот город мертвых, из-за того, что каждому мертвецу места нужно очень немного, гораздо более населен, чем город живых. В тесных проходах он даже при помощи сторожа не может найти свежую могилу действительного статского советника Петра Петровича Ростовцева.

— А может быть, вам надо могилу не Ростовцева, действительного статского советника, — спросил сторож, — а писателя Ростовцева?

Тогда все и объяснилось: Петра Петровича по его желанию и признанию за ним большой заслуги в деле создания лесной энциклопедии похоронили на Литературных мостках.

Там Алпатов скоро находит могилу Белинского, Тургенева, читает благоговейные надписи молодежи карандашом на чугуне и железе, рассматривает букетики засохших цветов. Наконец внимание его останавливает фигура издателя энциклопедического словаря Павленкова. Ему показалось издали, будто на животе у Павленкова было выбито слово: «энциклопедия». Вблизи он рассмотрел — бюст помещался на книге и слово было выбито на корешке, но не на животе. Все равно — первое впечатление не прошло, и он покачнулся от боли, представляя в будущем и себя самого с такою же надписью на животе стоящим среди настоящих творцов.

Вот когда и явилось ему это, как многим, колеблющееся видение города-призрака, и захотелось, как безумному Евгению, скорее бежать куда-то к своему домику. Чудом могло, конечно, случиться, что Инна там ожидает его. Но и без чуда возможно: она приехала, узнав о смерти отца,

она раскаялась в своем жестоком письме и теперь дожидает его в номере, как уже было тогда с ней в Париже. Но самое главное, кажется ему, что он верит: ведь нужно только горчичное зерно веры, чтобы гора сдвинулась и подошла...

Что это, неужели он молится о чуде у свежей могилы?

Друг мой, в любви к женщине бессильна молитва, нельзя читать утром, вечером, ночью и достигать мало-помалу сближения: никаким трудом, никаким талантом не возьмешь свою возлюбленную, если только нет решения в природе, в этом от нас не зависимой. Впустую все молитвы в любви, самые усердные, даже до кровавого пота, и такие, что с ними можно бы каменную гору обнажить со всеми драгоценными недрами. Волоска не шевельнут эти молитвы на голове желанной женщины, никогда не дойдут до нее даже во сне: в любви нет усердной молитвы, все напрасно, если сойтись, как говорят, не судьба.

Я вспоминаю Гришу, когда он приходил играть к нашему балкону на своих тростниковых жалейках (с рожком). Был я такой маленький, что совсем не понимал ничего не только в любви, но даже в движении стрелки обыкновенных стенных часов. Боюсь сказать, было ли мне два года, но знаю наверно, не более трех. Мы жили в небольшом каменном доме с железным ажурным балконом. На этой тихой улице в каждом домике плела кружевница, и через открытые окна к нашему балкону постоянно неслись особенные мелодичные звуки кленовых коклюшек. Только теперь, через десятки лет, я угадываю все значение этих звуков нашей улицы. Как настоящая тишина бывает много сильнее, если в ней слышится неустанный сверчок, так и затаенный человек, исполненный трепетной силы, показывается мне на нашей скромной улице, когда я представляю себе звуки кленовых коклюшек, перебираемых пальцами девушек, и я говорю себе: человек везде человек.

Каждое утро к нашему балкону приходил Гриша и начинал играть на жалейках. Было хорошо его слушать, но я не понимал тогда всего значения этой музыки. Нам давали по медной монете. Мы бросали ему с балкона в шапку. Он кланялся и уходил за угол, дальше и дальше, играл, и мы все слушали, пока не оставались у нас на улице только звуки осиротелых кленовых коклюшек.

Не знаю, может быть, я никогда бы и не догадался о молитве любви в этих звуках, если бы вдруг мелодию не оборвали грубой силой: однажды во время игры подошел городской, взял Гришу за ворот и увел его от нас навсегда. Я очень хорошо помню это предчувствие, что Гришу увели навсегда.

Мы несколько дней все-таки выходили на балкон, все-таки ждали, но предчувствие конца не обмануло нас: музыка исчезла навсегда, и даже так странно сошлось, что потом я, бродя много по всей стране, никогда не слышал больше нигде игры на жалейках.

Когда Гришу увели навсегда и музыка его перестала, я понял ее. Никто из старших, однако, не догадывался, почему я плачу по ночам: мне было жалко Гришу, и я о нем проплакал много ночей.

После, когда я стал все понимать, не раз мне передавали историю любви этого Гриши, десятки лет потом эта маленькая история повертывалась ко мне своей то грустной, то смешной стороной. Только никто не разделял мои чувства, я это очень таил, все смеялись, не было ни одной души со мной, и даже брат, с кем вместе мы слушали музыку и вместе горевали, потом все совершенно забыл. Старушка няня, всегда выходившая тогда с нами на балкон слушать Гришу, не могла вспомнить, как городской тогда на ее глазах увел Гришу, и на вопрос мой:

— За какую вину увел городской Гришу? — отвечала равнодушно:

— Что-нибудь сбондил.

Я остался на всю жизнь наедине с этим для всех ничтожным событием, и оно так затронуло мое маленькое трехлетнее сердце, что чужой рассказ о смешной любви, мне кажется, я могу передать, как будто сам был кровным свидетелем и почти участником для всех потешного романа по воздуху.

Он пел тенором на правом клиросе собора. На левом пели приютские девочки и с ними взрослая дочь соборного протоиерея, отца Потамия Махова. В городе постоянно смеялись, пересказывая как местный курьез, что соборный протопоп, отец гшшо-Потамий, назвал свою дочь Музой. Гриша, уличный оборванец, влюбился в эту совершенно недоступную ему дочь протоиерея и сделал ее своей музой. Он был так прост, что о любви своей кому-то рассказал, и это дошло до ужасно смешливых наших купцов. Смеялись над ним: за такого оборвыша не пойдет даже последняя постирушка Феша Ламская, а не то что дочь соборного протопопа Махова. Гриша широко открыл удивленные глаза и говорил купцам:

— Мне этого и не надо.

— Врешь, — говорили купцы, — подсолнухи ты любишь?

Гриша отвечал простодушно:

— Подсолнухи я люблю. Купцы ему:

— А ежели ты их любишь, то и грызешь. Но Гриша возмущался и однажды сказал:

— Я люблю по воздуху.

Вот с этого разу и пошло по всему городу: Гриша влюблен по воздуху в дочь соборного Гиппопотама Музу. Гимназисты и гимназистки переменили обычное условное название любви платонической и называли это коротко по воздуху. Мальчишки толпами бегали за Гришей и совсем задразнили.

Но самое главное началось, когда Гриша надумал своей Музе писать и в своих письмах переменял свою фамилию Отрезкова на Отрепьева. Верней всего, он взял это как украшение себе, из любви самозванца Григория Отрепьева к Марине Мнишек. Все свои письма вначале он подписывал:

Известный Вам
Григорий Отрепьев.

Вскоре Муза вышла за дьякона Фортификантова в Лебедянь.

Гриша писал в Лебедянь матушке Музе Потамьевне Фортификантовой, но в этих письмах подписывался уже не как известный, а как бывший:

Ваш бывший
Григорий Отрепьев.

Все эти письма, обежав Лебедянь, возвращались к соборному протопопу и у нас в городе переходили из рук в руки. Все покатывались со смеху, и гимназист гимназистке в то время писал или «Ваш известный», или «Ваш бывший».

Последнее -письмо Гриши не дошло по адресу и хранилось у швейцара орловской гостиницы, и он часто потешал им всех, кто хорошо давал ему на чай. Последнее письмо из романа по воздуху было адресовано не Музе Потамьевне Фортификантовой, а пресвятой пречистой деве Марии и подписано: не известный, не бывший, а совсем по-новому:

Будущий
Григорий.

Друг мой, звуки жалейки с рожком были прекрасны, я не могу их забыть. Это была великая молитва любви, хотя я знаю: в любви к женщине все молитвы бессильны.

«Верю, верю, верю!» — заговаривал себя Алпатов. И уверился: Инна дожидается его. Он без колебания спросил швейцара:

— Меня ждут?

Швейцар открыл ему дверь широко и сказал:

— Да, вас ждут.

Двери комнаты Алпатова были открыты. По одну сторону стола сидел жандарм, по другую маленький человек в штатском. Алпатов сразу узнал маленького с серыми щелками вместо глаз. Не хватало, видно, ему кулечка

с орехами, и вместо этого он вертел в руке вазочку с гением.

ЗВЕНО ДЕСЯТОЕ ЖИВАЯ НОЧЬ

КРАСНОЕ СОЛНЦЕ

Всегда, если самого внезапно схватит сильная боль, вдруг открывается слух на боль у других людей. В их словах слышится шорох, будто это не слова, а в замерзающей реке быстро бегущая вода шелестит тонкими, острыми льдинками заберегов. И забывается время в природе. Широко открываются глаза, спрашивая, весна это или осень, весенний мороз-утренник схватывает прибережную воду или кончает привольное житье всей твари кузнец-зазимок?

Ум ничего не может ответить. Так бывает всегда, что, когда весна придет к самому себе, не помнишь числа, глаз не мерит, ум не считает, не можешь сказать себе, конец это или начало, смерть или любовь.

Тогда, бывает, и сильный человек, в другое время умевший крепко молчать, вдруг, как ребенок, спрашивает первого встречного о трудных случаях в своей жизни и рассказывает все о себе. До крику бывает потом стыдно вспомнить об этих слабых минутах; вспомнишь... и как будто всего насквозь прокололо иглой. У нас множество таких людей, застигаемых внезапной болью. Оттого на каждой железной дороге почти во всяком вагоне можно слышать исповедь одного человека другому, совсем ему незнакомому.

Нет, не зазимок, это весна половодья начиналась в природе. Солнце, большое, красное, опускалось в грязно-кисейную мглу. Молодой человек с невыносимой болью в ясных глазах слушал вагонные разговоры, и на лице его, как на тихой воде, рябью отражалось скрытое даже иногда за козлиным смешком и самым неизвестное, привычное страдание затертых жизнью пассажиров последнего класса. Он отвернулся к окну, к солнцу, но и большое, красное солнце в кисейной мгле, казалось ему, тоже, как люди, чем-то болело. Большое солнце не отвечало молодому человеку, не могло ответить: оно было солнце.

От вида этого расплывшегося в красно-кисейной мгле огромного красного солнца молодому человеку стало много больнее. В это время с верхней полки, лежа на подушке в красной насыпке, прикрытый серым

люстриновым пиджаком, на него внимательно смотрел, казалось бы, самый неинтересный пассажир: какой-то рябой человек в синей косоворотке. Упорный взгляд его привлек наконец внимание молодого человека, он взглянул в это лицо и ничего в нем не открыл: ни боли, ни радости жизни. Человек показался ему как вещь, что-то вроде мелькающих в окне железнодорожных значков, приметных только специалистам путейского дела. Но тот этого мгновенного взгляда только и ждал. Поймав его, он сказал:

— Осмелюсь побеспокоить, не Алпатовой ли Марии Ивановны сынок будете?

Досадливо и даже как бы с ненавистью ответил Алпатов:

— Не все ли вам равно, чей я сынок, зачем вам это нужно?

— Очень виноват перед вами, так и предчувствовал, что побеспокою, и долго не осмеливался заговорить. Да ведь скушно! А уж с кем как не с вами поговорить, вы такой ученый, а я такой маленький.

Алпатову стало совестно.

— Откуда вы сами и как меня знаете?

Человек очень обрадовался, быстро спустился с верхней полки и сел у окна против Алпатова.

— Я краснорядец, Павел Филиппович Черномашенцев. Матушка вам про меня ничего не изволили сказывать?

— Не помню, нет... с каким-то в красных рядах толстовцем она, помню, любила беседовать и долго с ним носилась. Собаки там у вас в красных рядах были страшные привязаны. Целы собаки?

— Собаки-то целы, да я больше там не служу и в толстовцах не состою, а матушка ваша это обо мне вам говорили.

Алпатов еще раз искренно извинился. Рябой человек быстро его к себе привлекал.

— Вот бы спросить вас, — осмелился краснорядец, — как люди живут за границей.

— Как! И это вы знаете, что я за границей был?

— Ну как же, я все про вас знаю. Бывало, матушка придет в красные ряды и непременно ко мне, я два стула готовлю, для них и для вас, и раскладываю разные материи, вырезаю образчики, занимаю приличным разговором, и потом начинаем торговаться: ваша матушка — ух! — не передадут лишнего, но любезные чрезвычайно, и, когда замечают, что из-за ситца начинается промеж нас вроде как неудовольствие, вдруг переходят на разговоры религиозно-нравственные. Я же вопросами этими в то время болел и читал, даже сам переписывал запрещенное сочинение графа

Толстого «Крейцерову сонату». Вот матушка ваша, хитрые, как только в торге нашем случится заминка, на мое слабое место и ударят. «Лев Толстой, — скажут, проповедует прекращение человеческого рода», — и в этом роде поведут и поведут. Я заступаться, нуте, а в конце концов матушке вашей и спущу копеечку, вот, извольте видеть, с каких лет я вас знаю и, можно сказать, слежу за вами неустанно.

— Следите?

— Слежу с восхищением с самого того раза, как вы убежали из первого класса гимназии открывать какие-то забытые страны.

Алпатов обрадовался, как ребенок, и сказал:

— Лучше этого путешествия у меня ничего не было в жизни и, верно, не будет. А впрочем, вы мне даете мысль: почему бы в крайней беде, когда уж ничего больше не останется, не попробовать опять вернуться к этой забытой стране.

— Вот видите, как я все ваше знаю: матушка, бывало, все-то рассказывает о вас, и все я слушаю. Барышня у вас жила... вот только забыл, как это вы ее называли.

— Марья Морезна?

— Вот, вот, Марья Моревна! Мальчиком вы поклялись Марье Моревне снять с людей Кашееву цепь. Очень я вами заинтересовался, и с тех пор, как ни встречу с вашей матушкой, непременно у нас разговор о вашей судьбе, все знаю — и как вы страдали за ваши идеи в тюрьме, и как потом уехали за границу. Знаю даже, что и теперь вас беспокоят, слышал — сейчас контролеру сказали, в Петербург едете, и обрадовался: значит, с вас уже сняли теперь запрещение въезда в столицу?

— Еду потихоньку, — сказал Алпатов и так по-детски доверчиво улыбнулся, будто маленькую шалость свою открыл другу с просьбой никому не рассказывать.

— Вылитая вы матушка ваша, — улыбнулся и краснорядец.

— Як невесте своей еду в Петербург, — еще более откровенно и неожиданно сказал Алпатов.

— Нуте?

— Еду вот. А у вас была невеста, вы семейный человек?

— Я матушку свою содержу, еще тетка-дьяконица с кучей детей на моих руках, пришлось отказаться от собственного счастья. Невеста, знаете, все-таки ведь заменима...

— Как заменима?

— Очень просто: с одной разошлись, успокоились и выбираете другую по собственному вкусу, и даже очень спокойно, а матушка у нас у всех

бывает одна, и она раньше нас приходит в мир, и у всех матушка бывает одна-единственная. Извините за нескромность, а вам сколько годков исполнилось?

— Много, даже совестно сказать...

— И не говорите, я к тому это, что интересуюсь, как вы обходили наш коренной вопрос: ведь у вас все выходило необыкновенно в другом, не может быть того, чтобы вы, как все, по нужде имели женщину, а теперь, когда можно стало создать положение, собираетесь вступить в законный брак с образованной женщиной и ту оставляете другому для временного пользования.

— Нет, нет, — живо отозвался Алпатов, — я всегда был против этого. Меня, видите, мальчиком в публичный дом привели, и я там напугался на всю жизнь. Потом студентом я поверил в близкую перемену всей жизни и ждал женщину будущего. В нашем кружке все были такие: мы временно отказывались, только временно...

— Иуте-с, временно, а как же и того?

— Вы хотите сказать, как я буду устраиваться с моей действительной невестой? Она пришла ко мне не из будущего, а из прошлого. Она говорит, что та женщина будущего только моя мечта и я в ней живой вижу только свою мечту и совершенно ее не понимаю. Мне кажется, она ее даже и ненавидит, как свою соперницу. Но сейчас она пишет мне, что со мной живет все ее лучшее, я не утерпел... Так вот меня выслали на родину из Петербурга, но это оказалось сильнее...

Алпатов вдруг остановился и понял, что рассказывать этого ему не следовало, что сейчас он что-то потерял безвозвратно. Со страхом посмотрел он на краснорядца, и ему стало еще хуже: краснорядец отчего-то преобразился, лицо его было строгое, глаза умные и неласковые... А поезд как раз в это время остановился, и в тишине послышался разговор. Кто-то рассказывал откровенно, так же как и Алпатов, другому — и, верно, тоже незнакомому — свою жизнь, и незнакомый человек после каждой фразы, настроенный перед этим мерным громоуханием поезда, говорил: «Так!»

— Я говорю жене: «Давай сдадим комнату».

— Так!

— «Я, — говорит жена, — согласна». Сделали объявление.

— Так!

— Приходит жилец. Осмотрел комнату, понравилась. Говорю жене: «Согласна пустить?» Посмотрела на него и отвечает: «Согласна».

— Так!

— Пустили. Жилец живет. Я хожу на фабрику, ухожу и прихожу.

— Так!

— Вот раз пришел я на работу. Хватился я — забыл кисет с табаком. И вернулся домой.

— Так!

— Вернулся я, друг мой, домой. В жилецкой комнате нет никого. Перехожу я к жене...

— Так!

— Перехожу я, милый мой, к жене, а она под ним.

— Под ним!

Поезд тронулся и заглушил разговор. Алпатов сидел весь залитый лучами огромного красного солнца, сходящего к самым вершинам темного леса. Краснорядец жутко глядел на него и как будто чуть-чуть подмигивал.

— Сколько на свете неразрешимых вопросов, — сказал он, — семейных, и говорить нечего. Слышали разговор? Вы вот такой превосходно ученый, вам все-таки легче, а у меня вопросы на каждом шагу. Вот сейчас солнце садится такое большое и красное, я думаю: почему оно красное? Вы, наверно, это знаете, объясните мне, почему это?

В первую минуту Алпатов обрадовался и приготовился этим разговором о солнце погасить свой стыд. Но когда он хотел начать рассказ о преломлении лучей в парах воды и посмотрел на краснорядца, глаза его не были такими наивными, как бывают обыкновенно у простых людей, начинающих интересоваться знанием. Краснорядец это не просто спросил: он издевается. И все-таки надо было ответить.

— Вас не удовлетворит, конечно, если я отвечу, что красный цвет солнца при закате бывает от преломления лучей в парах воды.

— Это я еще и в церковно-приходской школе учил. Выходит, вы ничем не отличаетесь от меня, хотя и получили высокое образование.

Серыми маленькими глазками, как стальными клинками, краснорядец впивался в ясные глаза Алпатова все глубже и глубже, вызывая в них новую боль.

Спасаясь от призрака человека-насекомого, растущего с каждой минутой, Алпатов отвернулся к окну: там в насыщенном парами воздухе весны половодья большим кораблем, тяжело справляясь с противным воздушным течением, летели на родину дикие гуси.

— Гуси, гуси летят! — крикнул кто-то, захлебнувшись от радости.

Многие бросились к окнам, и все заговорили о весне, о земле, о семенах.

— Вот гуси летят, — сказал краснорядец, — и всем стало весело, а ведь гуси о нашем удовольствии и ле мечтают, им некогда думать про

Кашееву цепь и спасать людей, им бы только долететь, у них у каждого от перелета мозоль под крылом, не думают, а спасают: всем удовольствие, все стали веселые и добрые.

— Где вы научились своей философии?

— В полицейском управлении, — спокойно ответил краснорядец, — на должности агента по делам политическим.

У Алпатова дрогнула рука, лежавшая на саквояже, там были и письма ее, и фотография, и сухие розы, и ее белая шаль.

— За чемоданчик не извольте беспокоиться, я вас душевно понимаю, я доложу только, что вы ездили на свидание с невестой, и там это даже понравится, в провинции у нас совсем не как в столице, у нас тут по-семейному, кровь-то все-таки родная.

Алпатов, подавленный, с глухой злобой сказал:

— Не родились же вы агентом?

— Не рождался, но и не от себя стал: приехала, видите ли, дьяконица с кучей детей, жена моего любимого брата. Собственно, через эту самую дьяконицу я мечту свою потерял и придумал, как вы изволили сейчас сказать, философию: смотрел из окна полицейского управления на гусиный перелет и придумал.

Агент приподнялся, зевнул, залез на свою верхнюю полку и лежа тихо сказал:

— Как весна-то задержалась, свет апрельский, снега все еще белеются, зато и пустит же сразу! Солнце-то красное, я по-своему понимаю, к чему было: гусь пошел, и в эту ночь все оборвется. Так вот, молодой человек, и у вас весна задержалась, и вдруг все пошло. Не дай бог вам, как и мне, с мечтой своей тоже попасть в полицейское управление, Алпатов молчал, совершенно подавленный, опустив голову, долго сидел неподвижно и, когда слышался сверху ровный храп, взял свой небольшой сак и вышел. Было уже совсем темно, поезд подбирался к какой-то захолустной станции. Он не знал, какая это станция, не поинтересовался даже взглянуть.

Он просто выходит в темную неизвестность. Так бывает у людей иногда на последнем распутье, идет один, вовсе ни о чем не загадывая, а потом вдруг оказывается — его паровоз переехал. Но бывает и совсем по-другому. Это у нас на земле совершается над человеком Страшный Суд, где защитником и обвинителем бывают то кровь, то мысль.

Прошло много поездов. Алпатов все сидел на лавочке и не решался. Наконец подошел последний, и он встал...

Странный крик раздался в огромных болотах, окружающих станцию. Его нельзя передать никакими словами, это ни на что не похоже, и мало кто

может сказать, какое живое существо в природе так странно кричит. Сторож станции знал этот крик и понимал хорошо, что он значит: это ранней весной среди ночи заяц решает крикнуть от любовной радости.

Была ночь у людей. Светил ярко исходящий месяц. Птицы узнавали в этом свете луны конец ночи и начало утреннего света, или, может быть, они ошибались? Началась таинственная лесная песня, похожая на спокойный, грустно-ласкающий ропот потока. Со всех сторон большим кольцом окружали маленькую станцию баюкающие звуки: весь горизонт пел.

— Как тетерева-то бормочут, — сказал кто-то невидимый в темноте, — а лягушки еще не выползали.

— Нонче все поползет, — ответил ему голос с полотна. Какие же это звуки милые, где их слышал, кто это поет?

Знакомые, родные, забытые...

И вспомнилось Алпатову, как он в детстве уехал на лодке открывать забытые страны: какая живая ночь тогда была на реке, сколько удивительных птиц пролетало и каким ароматом веяло с берега! Но самое главное было потом, по возвращении в гимназию, все так потешались и так верно доказывали, что все это было обман, и забытых стран никаких нет, и невозможно открывать страны гимназистам на лодках. А между тем, несмотря на эти доказательства, в глубине души оставалась полная уверенность в своей правоте, и что если бы взяться как-то иначе за дело, то можно бы и открыть...

И вот теперь бояться некого, терять нечего, страшные экзамены по латинской грамматике бывают только во сне, и если навсегда оставить мысль о невесте, то не нужно и никакого положения в обществе. Почему бы теперь на остатки не пожить самому, как будто нигде не учился, ничего еще не достиг?

Что это, птицы поют?

«Пойду-ка поближе, узнаю».

И пошел по шпалам в ту сторону, откуда звуки были сильнее. С каждым шагом ясней и ясней вставало перед ним детское путешествие в забытые страны и росло все больше и больше доверие к милым, родным, ласкающим звукам.

— Кто идет? — спросил сторож.

— С поезда, — ответил Алпатов.

— Куда?

И теми же словами, как тогда в детском путешествии, он ответил:

— Иду на мельницу. Можно пройти?

И теперь было так же удачно, как и тогда. Сторож сказал:

— Пройдешь, дорога еще держит.

Все это было для Алпатова, как будто на вопрос сторожа: «Куда идешь?» — он ответил: «Иду открывать забытые страны», — и сторож сказал: «Иди, забытая страна тут возле».

Идет все дальше, звуки все ближе. Полотно поворачивает в сторону. Идет по ледяной дороге. Начинаются кусты, потом деревья между ними, и лес, и опять кусты с редкими высокими деревьями, большая проталина, и вот тут звуки совсем уже близко, и... вдруг он их узнал. Переходит проталину, ставит ногу на белое, проваливается, и с хлопанием больших крыльев все разлетается. Он провалился до шеи в ледяную воду, выбирается и действует, как тогда в детском путешествии. Вспоминаются большие хвойные деревья и на них всегда сухие торчки. Ощупью находит сосну, обламывает сучки, достает из сумки спички, зажигает, и освещается большая сушина. Разгорается костер.

— Теперь гори все!

Горят бумаги, и сухие розы, и роскошная белая шелковая, шитая гладью шаль...

— Гори все!

Долго не может оторваться от карточки и разглядывает ее, прислонясь к кусту можжевельника, при свете костра. Сколько раз казалось ему это лицо двойным, скрывающим ведьму. Какая это ведьма, просто милая девушка, счастье...

И бросает счастье в огонь.

Нет, в лесу огонь — не в камине: это почти тот самый огонь, о котором в великой борьбе догадался наш предок по молнии. Это не каминная шутка, это сам огонь, и беспощадный, и добрый. Вон там в красном свете показываются рога, да, в лесу не бумажный принцип зла, а если является черт, то с рогами, и если покажется бог, то с бородой...

Счастье сгорает. Нога поскользнулась. Интеллигентный человек падает на куст можжевельника, и тот его держит, подпирая мохнатыми лапами. Лежит на спине, как в кресле, — куст держит. Поворачивается на бок — хорошо, прочно держит. Видит, как загорается край сумки с ее письмами. Закрывает глаза и засыпает.

ТОК

Проталина с кустом можжевельника была в заполье села Спас во мхах,

на яру у реки. Тут, на старом осечище, спасовцы взяли когда-то три урожая и ляду забросили. Как будто робея перед новой сечей и пожаром, лес осторожно обсевал заброшенные полосы: возле самого леса молодь засела часто, как конопля, и к середине все меньше и меньше. Тут были березки маленькие, как трава на забытых полосках. Вот в этой середине лесной чащи, на лядах, по старому осечищу, у реки, высоко над поемными неприступными болотами, у самого куста можжевельника всегда каждую весну непременно токовали тетерева, и тут старинный охотник Чурка всегда ставил свой весенний шалаш.

Птицы, обманутые светом исходящего месяца, в этот раз слетелись много раньше положенного им предрассветного часа. Месяц померк, они бы тут и придремнули в ожидании света, но пришел человек и их испугал.

Сквозь тонкий сон охотник Чурка слышал бормотание тетеревей в непоказанное время, и его тоже, как старого тетерева, беспокоил свет исходящего месяца. Старый два раза слезал с полатей поглядеть в окошко, не пора ли отправляться на ток, и оба раза его хватал бес за ребро. Оба раза молодая вдовья сноха Паша хорошо огрела его рогачом. Наконец, видно, самой неумоготу: взбеленная гневом, встала, зажгла огонь и села за кросна.

Что она, быть может, нарочно хотела его подразнить? Известно, как молодая баба кросна ткет: пристукнет голыми руками, и запрыгают груди, как снопы на пожарном ветру, подберет подол да двинет ногами, так и пойдет у старика дурь через голову в пятки.

Что он делал там на полатях, что показал... Как глянула туда молодуха своими черными блестящими глазами-бобинами, будто молнии в разные углы поскакали ив — печку! Взяла рогач, достала посудину, отлила в ковш кипятку и шарк: на полати в самое место.

— Вот тебе, не дразни, окаянный!

Бросилась вон, а за ней с воем, не забыв и ружье, пустился и Чурка.

Разахалась в чуланчике Авдотья Тарасовна, не убил бы ее милую дочку старик: с ним станется. Но Паша скоро возвращается.

— Матушка, зачем вы спите в чуланчике?

— Доченька, я же тебе добра хочу... ну, много ли ему жить осталось? Все твое будет...

— Матушка, вы не знаете, я с мужем только три ночи спала, и он пожалел меня: я девушка.

— Дурочка, так же еще лучше, так родная кровь не смешается.

— Грешно, матушка.

— Всякую тварь, дочка, надо жалеть, трудно им переносить, чужих — и то бабы жалеют, а своего-то пожалеть богом указано. Что ты из гордости

себя будешь беречь, так это своя утеха, а пожалеешь человека, так богу доходней будет.

— Нет, матушка, у меня выходит по-своему.

— Вот и горе, доченька, все вы теперь по-своему хотите жить. Покойница жена его тоже по-своему хотела... под Благовещенье отказала. Наш старый батюшка шунял ее, шунял за это: «Не вправе жена мужу отказать, хоть и под Благовещенье, это с него взыщется, а не с тебя, ты ему отказала, а он согрешил, теперь ему по гроб жизни попрекать будут в деревне и смеяться».

Паша улыбнулась, вспомнив, как деревенские мальчишки смеются над Чуркой:

Чурка телочку пасет, пасет, пасет, Телка хвостиком трясет, трясет, трясет...

— Матушка, неужели же мне, девушке, после этого не будет зазорно?

— А я-то сама, ня-ж, не жалею тебя? Ну, говори, что вы там с ним не поделили?

— Он мне с полатей...

Паша матери шепнула на ухо. Авдотья Тарасовна громко:

— Во кобель!

— А я его кипятком ошпарила. Ну, как я так его погубила?

Засмеялась Авдотья Тарасовна.

— А вы меня за него прочили...

— Эх, ничего-то не понимаешь ты... мало ли что люди болтают, я тебе только счастья хотела: после него нам все останется. А об этом ты не сумлевайся нисколечко, им кипяток, вот как яйцо об стену ударишь, так и им кипяток, все скатится. Другое боюсь, как бы его обида не взяла, возьмет себе назло какую-нибудь старушонку и женится, а нас с тобой выгонит. Про то же не сумлевайся. Как ты от него увернулась?

— Месяц светил ярко, он за мной с ружьем бежит, месяц вдруг померк, стало темно, я в ров, он через перескочил и в лес поскакал.

— Слава тебе, господи, вот хорошо-то, что месяц померк. Ну, иди спи, не сумлевайся, почувствуется, придет шелковый, ихнего брата тоже надо учить, это хорошо, поделом, ему так и надо.

И Авдотья Тарасовна весело засмеялась, приговаривая:

— Во кобель, во кобель, ну, и поделом же ему! Когда месяц померк, Чурка в лесу вдруг пришел в себя, долго ругался, чесался, хлебнул из лужи холодной воды и вовсе одумался. Только сказал: «Вот бабы!» — и, отложив расплату до утра, пошел к лядам на старом осечище:

Это у охотников самое последнее дело, если в ночь перед охотой мало-

мальски в бабьи дела замешаешься: никогда не будет удачи. Всю жизнь не случилось Чурке ночью свой шалаш потерять, и тут вот как раз и вышла беда: где-то стороной, должно быть, мимо своего шалаша в сердцах прокатил и в такой залез рагульник и чепушняк, грязь по колено и вокруг все колпашник, прошлогодняя высокая некое. И главная беда, как залез в колпашник, с неба заблеяло барашком.

— Ну, божий баран закричал, — сказал Чурка, — , сейчас и тетерева забормочут, ежели сейчас не попаду в шалаш, пропала охота. И-их, бабы, и сладки же вы, ну и будьте же вы прокляты!

Испытал последнее средство от баб на охоте: снял штаны и омылся холодной водой, после стал к дереву, перекрестился, оглянулся и сразу заметил под яром верхушку залитого водой девятиголового дуба: как заметил, все сразу стало понятно и к шалашу своему прямо как в дом пришел. Подстелил елового лапнику, заделал разные щелки, устроился, сел, прислушался, и вот опять наваждение; ну, вот, хоть конец отсеки, а где-то спит человек, посапывает, похрапывает, нет такого зверя в лесу, чтобы с заливом храпел: человек и человек! А как он может быть тут, человек, весною, в полуию воду, ночью? Или это какой-нибудь невиданный зверь забежал и уснул?

Прислушался. Нет, не бывает на свете таких зверей, чтобы храпели с заливами.

— Не Обезьян ли? — пришло ему в голову. В это время опять показался месяц.

— Опять обманул, — ругнулся Чурка на месяц, — будет же свет, аи так и останется?

При свете месяца он оглядел всю осечину и так решил в уме, что Обезьян спит не иначе как в кусту можжевельника.

— Попытать разве счастья?

И стал собираться ползти, но уж такая задалась неудачная ночь: только выполз из шалаша, под ним что-то трр-р-есь! Обезьян перестал храпеть. Чурка пятиться, пятиться и задом вполз обратно в шалаш.

Затих. Стал дожидаться, пока опять захрапит.

Раздался странный крик. Его нельзя передать никакими словами, это ни на что не похоже, и мало кто может сказать, какое живое существо в природе так странно кричит. Чурка знал хорошо: это ранней весной в своей любовной радости так заяц кричит.

Заяц вышел на светлинку возле самого куста можжевельника. За первым другой вышел, третий, четвертый... Они шли, как лесные актеры, на свое обычное представление при месяце, и с отпарин на склоне яра к

реке, верно, для их актерского дела уже зарождался первый туман.

Там в струйках тумана ползла и лисица, красный зверь, и, высунув мордочку из куста на полянку, устроилась тут смотреть на заячье представление.

Из куста можжевельника, между сучками смотрел лесной гость. Из шалаша — Чурка, большой любитель таких представлений.

Кажется, зайцы в этот раз играли сцены христианского смирения: один выскочил на серединку светлинки и бац другого по щеке. Тот сел на задние лапки и подставил другую щеку. Разбойник одумался, тоже сел на задние лапки и просит прощения. Так долго сидят, и, видно, кроткому зайцу скучно стало жить без разбойника, смотрел, смотрел на раскаянного и бац его сам по щеке, бац по другой. Разбойник все терпит. Вдруг между ними зайчиха, и скок на нее кроткий заяц. Ну, этого разбойник уже не мог вытерпеть и с такой силой стал тузить и за это, и за прежнее свое смирение, что кроткий заяц, только начавший линять, в один миг из белого сделался серым. А большая зайчиха все стоит и дожидается, когда кончится потасовка и можно ей будет хоть с кем-нибудь спариться: с кротким, с разбойником, ей не до этого, ей теперь все равно. Вот тут осенний познушок, маленький зайчик, и притом еще хроменький, пробует приладиться к зайчихе. Это все замечают, и все принимаются тузить познушка, маленького, хроменького: он виноват во всех грехах заячьего мира и, если даже не виноват, должен взять грех на себя и пострадать.

Лисица, красный зверь, все ползет и ползет, прикрываясь началом тумана, еще первого в этом году, ползет, ползет и скок! Зайцы все — кто куда, и только хромой познушок не мог скакать, добрался до сопки, высшей точки яра, покрытой прошлогодними цветами и всегда сухими бессмертниками. Лежит себе там смирно и смотрит открыто на красного зверя, и тот — вот чудо! — больше не ползет, а только изумленно и, видно, с большим страхом медленно подается вперед, переступая с лапки на лапку.

Заяц смотрит.

Красный ближеет, ожидает обыкновенное: побежит, а он схватит, все живое смерти боится, побежит непременно.

И нет, не бежит, глядит смерти прямо в лицо.

Красный нюхает его, а он все глядит.

Видно, зайчик умер со страха.

Красный поджимает хвост и убегает.

Внизу у реки собираются лунные туманы, заканчивая собой мистерию победы смерти. Но туманы ошибаются: заяц слишком много терпел в действительной жизни, его гоняют и люди, и собаки, и лисицы, и совы, ему

не до мистерии.

Хромой вскакивает, садится на задние лапки и умывается; он перехитрил красного зверя. Сходятся и все другие актеры, и начинается второе представление.

Лежащему в кусту можжевельника кажется — зайцы разыгрывают его самого. Вот она выходит на полянку со всеми своими поклонниками. Все они в котелках, аккуратные, приличные люди. Она подходит к своему прежнему жениху, лежащему теперь в кусту можжевельника, и спрашивает голосом перелетной кукушки: «Узнаешь эту картину?» — «Да, я знаю», — говорит он, но не он теперешний, а окончательно уже отделенный от «я», — конченный аккуратнейший, деловой человек, и рассказывает своему первому «я», что положение он составил себе очень хорошее, женился и вот что вышло из этого: привязались поклонники, с женой он почти не остается наедине, а впрочем, он занят, и так это у всех: он достигает всего, совершенно как все, и этим сознанием вполне удовлетворяется.

«Неужели это я сам? — думает лежащий в кусту можжевельника. — Неужели это я так умер?»

И с таким любовным вниманием смотрит на зайчиков в котелках, так он жалеет их, бедных. Вот за то, что он мог все умершее пожалеть, полюбить и простить, она окончательно говорит ему настоящим, прежним своим голосом:

— Успокойся, поверь, зайцам никогда не удастся тебя разыграть до конца, потому что с тобой осталось мое лучшее и ты воплощаешь его в жизни, побеждая вместе со всей весной Кащееву цепь.

Вдруг тень пролетевшей совы страшно испугала зайцев. Все бросились огромными прыжками кто куда и, отбежав на хорошее расстояние, стали на задние лапки посмотреть, как сова, и увидели: сидит на елке чурбаком и фи-ло-соф-ствует... Проклятая философия! Зайцы бросились в лес.

Чурка тоже с большим удовольствием смотрел на заячье представление, и, не будь у него в голове этого Обезьяна, уж он так не пропустил бы лисицу, хотя и линияю, не пожалел бы заряда на красного зверя, но уж очень хотелось ему поглядеть на свет, какой Обезьян, и не стал его пугать выстрелом.

Кулик высоко просвистел, этот уж никогда не ошибается. Ему уверенно ответила ведьминым хохотом белая куропатка. И вот наконец Токовик, старый тетерев, крикнул свои таинственные заклинания тьмы на Чу, на Фы и на Ши.

Чурка забыл Обезьяна, собирается с духом, надувается и тоже, как

тетерев, шипит три заклинания тьмы на Чу, на Фы и на Ши.

Токовик сразу снимается с места на дереве и летит биться с соперником. С громким хлопанием крыльев падает он возле самого Чуркина шалаша и повторяет свои заклинания тьмы на Чу, на Фы и на Ши.

При заклинаниях тьмы начинает чуть-чуть приподниматься край серого одеяла с востока, и ничего тут еще никому не понять, какое сложится утро.

Птицы спешат на ток, садятся на деревья, смотрят сверху на Токовика и спускаются на токовище. А серое одеяло еще приподнимается, и тут оказалось, надо спешить: праздник давно уже начался. Тогда, став против этой лучезарной полоски, Токовик поднимает вверх свою хвостовую лиру, голову опускает к самой земле. Напряженно краснеет на голове его огненный цветок, крылья страстно трепещут, касаясь земли, и так он начинает свою серенаду. Поет и движется по кругу, как светила, как весь мир, и первосвященником проходит в святые ворота с приподнятой лирой, неся огненный цвет у самой земли. Все младшие делают, как Токовик, их отдельные серенады сливаются, и вот эта их хоровая песня во славу расцветающей от солнца земли далеко, за версты, наполняет души случайно не спящих людей тоской о настоящей родине в какой-то забытой стране.

«Вот оно что! — догадался человек, лежащий в кусту можжевельника. Вот она где моя родина, я не один». И, затаив дыхание, стал при начинающем свете ближе и ближе все узнавать и открывать в забытой стране.

Казалось, начинается утро одной только славы горячему солнцу, на светлом уже метнулись два огромных крыла, и уже крикнул журавль: «Да будет свет!» — как вдруг вместо солнечных лучей, закрывая всю светлую полосу, показались громады синих кораблей, все затемнили и скрыли под серое. Как длинные волосы, серое спустилось на лучезарность восхода, и план на сегодня был установлен: день был назначен серый, теплый, самый лучший для перелета птиц, для оживания коры, движения сока в березе, омовения корешков озими, и для всего был нужен такой полновидный хозяйственный день.

Квох! квох! квох! — закудаhtала в кусту хозяйственная тетеревиная курочка.

Поющие рыцари прекратили свою серенаду. Довольно, она их услышала, она тут вблизи, довольно: они готовы теперь отдать жизнь за нее. В последний раз они совершили свои заклинания тьмы на Чу, на Фы, на Ши и, подпрыгнув, бросились в бой за свою Прекрасную Даму.

«Квох-квох!» — умоляет их курочка.

Никто ее больше не слушает. Она выходит из кустов на самое токовище, потеряла всякий стыд и каждого зазывает к себе в кусты. Но все от нее отвертываются: ведь она только серая курица, а они бьются за Прекрасную Даму.

— Я был прав, — шептал сидящий в кусту можжевельника, — я не один! Вот оно откуда пошло!

Она просит жизни, а они обагрят свой брачный наряд. В бою за недостижимое, вечное — готовы найти свой конец. А ей бы сесть на яйцо и сохранить на земле жизнь тетеревиного рода.

— Это и у нас было так! — удивляется все больше и больше сидящий в кусту можжевельника. — Я вовсе не маленький, я пропустил свое маленькое из-за большого.

Неподалеку от тока сидит в кусту один Черныш, он не может творить заклинания тьмы на три стороны, крикнет Чу — и как подавился. У него в суставе крыла есть слабая точка, и драться ему невозможно за Прекрасную Даму. А серая курочка вон сама просится, вон сама бежит к его кусту. Смешно и глупо драться за Прекрасную Даму. Он просто берет себе курочку и с ней убегает дальше в глухие кусты.

— Но ведь это может сделать каждый из тех больших и сильных легко, шептал, думая о всем, лежащий в кусту можжевельника, — и я тоже всегда могу, и это от меня не ушло! Кто же это наговорил, будто самки достаются сильнейшему? Берет просто хитрый, кто умеет рассчитать и примериться... Так это все была песня моя! — воскликнул громко лежащий в кусту можжевельника.

И приподнялся с своего сурового ложа. А Чурка, не сводя глаз с куста, давно его держит на мушке, для него вкачена в ствол свинцовая медвежья пуля.

— Черт с ним, с этим током, — шепчет себе Чурка и ползет к спящему в кусту Обезьяну.

И до чего же раскипелся ток: не сразу обращает внимание на ползущего ужасного, старого, без шапки, лохматого, с седой бородищей до самой земли.

— Но это же настоящая горилла ползет, — сказал другой, поднимая голову.

Ток вмиг разлетелся.

Горилла осела.

Зверь-Обезьян был в картузе, и сапог торчал из куста. Чурка пришел в память и приподнялся на задние ноги.

Тот в кусту сел.

Между ними какая-то малая пташка летела из далеких стран, будто она последние силы теперь собрала, поднялась и упала, опять поднялась, и так все вперед и вперед, за одной другая, за этой третья, и еще, и еще...

С восторгом узнавая далеких своих детских друзей, смотрел на пташек Алпатов, насчитав их уже более ста, когда зверь ползущий поднялся и оторопелым голосом спросил:

— Ты чего же это там?

— Какие-то птички...

— Это фиалки летят.

— Фиалки — это цветы.

— То цветы, а то птушки.

— Чего ты не стрелял? Были тетерева, приходили зайцы, лисица...

Вспомнив о пропущенной дичи, Чурка наконец и совсем приходит в себя.

— Да ты что, дурачок ли какой, или как тебя считать, откуда ты взялся?

— Я из города вышел, места себе ищу, да вот заблудился, могу патоку гнать и деготь.

— Чистый деготь?

— Всякий могу, и патоку, сладкое и горькое. Могу ситцы красить.

— Ситцы! И охотник?

— Нет. В детстве очень любил, теперь, наверно, и стрелять разучился. Дай-ка скорей ружье, попробую, вон утки летят.

Алпатов взял ружье и выстрелил в уток. Как мальчик, старый Чурка бросился за упавшей уткой, веселый и, как всегда у охотников, сразу влюбленный в товарища, — сказал:

— Ну, брат, вижу, не брешешь, можешь гнать чистый деготь. Как же! Я его спрашиваю, может ли стрелять, а он говорит: в детстве! — и на вот, утку на лету враз отпустил. У нас тут на заводе приказчик был, вот тоже стрелок, Иваном Семенычем звали, не слыхал про него?

— Иван Семеныч? Нет. Может быть, Иван Евдокимыч?

— Будет брехать: Иван Семеныч. Ну и морда же была у него, вот какое рыло, вот рыло!

— Какое же у него было рыло?

— Да в аккурат, как твое, тоже брат родной, тоже нарыльный был.

Птицы маленькие без перерыву проносились в воздухе, трясогузки, раскачивая длинными хвостами, перескакивали с кочки на кочку, рассыпались коротенькой песней веселые зяблики, на каждом дереве играл

певчий дрозд и распушенный чепушил скворец.

— Ты как насчет баб? — спросил Чурка.

— Что-о?

— Любят тебя бабы?

— Ну, вот еще о чем завел. Не сказал я еще тебе: я водку умею курить.

— Водку умеешь? Ну, брат, ты теперь из нашего края так не уйдешь. Завтра же пойдем с тобой за реку на завод, тебя там озолотят. Хорошо тебе будет, народ вокруг нас водочку любит.

— Счастливый ты человек!

— Ня-ж не счастливый, трех праведных жен замотал, а неправедных не пересчитать. Только это счастье, чтобы бабы любили, можно бы каждому получить. Хочешь, тебя научу.

— Ну?

— Очень даже просто: вот видишь, под водой сейчас зеленая травка пузырьки пускает — это, значит, теперь лягушка проснулась. Вот как маломальски земля обогреется, пар пойдет и лягушка на лягушку полезет, тут и тебе надо... тогда на всю жизнь счастье пойдет.

Последние слова услышал другой человек: он на елке сидел и выслушивал в дупле зимовалых пчел.

— Это счастье, — сказал он, — от весеннего теплого воздуха. — И спустился с дерева.

Человек был тоже не молодой, и борода у него закрывала все лицо, виднелся только нос и глаза.

— Овчинники, — сказал Чурка Алпатову, — они у нас все пчелами занимаются, это дядя Григорий, ихний вожак.

Дядя Григорий поклонился Алпатову. Чурка стал ему все рассказывать с начала, как он храп услышал в кусту можжевельника и стал подползать и как разговорились о бабах и он дал ему верный совет.

— Это счастье, — повторил дядя Григорий, — от весеннего теплого воздуха. Муха, червяк, всякий болотный гнус от мороза не умирают, а только засыпают и от весеннего теплого воздуха опять начинают чудить: им смерти нет. А пчела и муравей умирают, как человек, трудятся и умирают. Приятель! — сказал Григорий и взял Алпатова за рукав. — Как умерла у меня жена, дела у меня не убавилось, а прибавилось: те же овчины, та же лошадь, корова, овчонки, и нас не двое, а я один стал. Да вот, бывало, домой приду, — мне бабья журьба не дает отдыху. А теперь как приду домой... тишина! Тут полюбил я пчелу, стал размышлять, и мне открылся свет. Всему дивлюсь теперь и за жизнь свою благодарю. — Григорий понизил голос: — И плотским грехом не занимаюсь.

Услышав последние слова, Чурка зевнул и ответил:

— Конечно, вы овчинники, дух у вас в избе постоянно тяжкий, ну, а как мы охотники, живем на вольном воздухе... — Чурка не договорил и вдруг крикнул:

— Глядитя: река пошла!

Это только мог Чурка заметить: река тихо пошла. Но скоро все зашумело, заскрипело, зарычало, и льдина полезла на льдину. Показался на гатях народ. Где-то за рекой колокол ударил, и народ валил к ледоходу, как в церковь к обедне. Все смотрели на Алпатова и дивились ему, а Чурка рассказывал всем, как этот человек ночевал в лесу, и не простой человек: может гнать чистый деготь, патоку и водку, сладкое и горькое.

Между тем на одной плывущей льдине оказалась корова. Тогда все забыли про Алпатова и многие бросились спасать. Потом оказалась плывущая дорога совсем с вешками. Дорогу узнали и проводили. Проплыла баня и даже сарай...

Алпатов видел на льдинах свое, как Снегурочка проплыла и вслед за ней царь Берендей, видел, плыли грязные льдины одна за одной, как звенья разбитой Кащеевой цепи. А великий художник, управляющий переменной цветов, ему говорил:

— Друг, земля моя усеяна цветами, тропинка вьется по ней, как будто нет и конца ароматному лугу. Я иду, влюбленный в мир, и знаю: после всякой и самой суровой зимы приходит непременно весна, и это наше, это явное, это день, а крест — одинокая ночь, зима жизни. Я художник и служу красоте так, что и сам страдающий бог, роняя капли кровавого пота, просит: «Да минует меня чаша сия». Я призван украсить наш путь, чтобы несчастные забыли свой зимний крест и дождались новой весны.

ЗВЕНО ОДИННАДЦАТОЕ

ИСКУССТВО КАК ПОВЕДЕНИЕ

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На этом автобиографический роман «Кашеева цепь» кончается.

И не потому он кончился, что исчерпано автором содержание его собственной жизни, а скорее напротив, кончилась юность Алпатова, и началась новая жизнь: старая правда встретилась с новой, между ними завязалась борьба. Стало невозможным писать о себе: писать автобиографический роман в те годы, когда все жизненные ценности предстали на суд.

Между тем как все на свете подлежало разбору, книги наши все выходили и выходили и тоже вместе с ценностями культуры подлежали пересмотру. Так и моя книга попала на суд читателя.

Мне писали: «Что же дальше-то стало с вашим Алпатовым, когда он попал на родину и ушел в природу? И что это за «природа»? Есть ли это место применения человеком творческих сил или место личного убежища в спасении от новых требований жизни?»

Много было писем в таком роде, и долго я не мог их понять. Мне казалось, что раз Алпатов попал в гущу родного ему народа, окружен его любимой природой, то не все ли равно, кем он сделался и каким родом творчества жизни он будет служить народу: будет ли он агрономом, торфмейстером, писателем, — не все ли равно? С моей точки зрения, всякий человек обладает к чему-то особым талантом. Новое общество должно быть таким, чтобы каждый входил в него со своим талантом. Вот таким цельным живым человеком и стал Алпатов, когда наконец в поисках любимого дела он после многих попыток нашел его при встрече с родиной.

В этом роде я и отвечал моим читателям, но они не унимались.

«Дорогой писатель, — отвечали они мне, — никто у нас точно не знает, что такое «природа», спросите любого, к каждый человек ответит по своему, начиная с дачника и кончая лесорубом. Мы догадываемся, что для вас природа есть место встречи с творчеством самой жизни и всего вашего поведения. Читая жизнь Алпатова, нам казалось, что вы к тому именно и рассказываете о ней, чтобы вывести дальнейшие ваши усилия в борьбе с

Кащеевой цепью, заключающей в эгоизм собственности все человечество. Нам нужен такой финал, такое звено, чтобы оно указывало нам путь. Пусть Алпатов и не разобьет на своем личном пути Кащеевой цепи, но мы должны знать, что случилось с Алпатовым в его неравной борьбе: узнав его ошибку, мы сами станем сильнее.

А может быть, как вы сами намекаете, ваш герой заменил свою беспредметную страсть к почти не знакомой ему девушке творчеством и жизнь его обращается в добрый пример?

Почему вы не напишете необходимый финал?»

Прошло тридцать лет со времени выхода романа и того обмена письмами с читателями. К этим тридцати надо еще прибавить, по крайней мере, двадцать, чтобы сомкнуться с тем временем, когда Алпатов вернулся из Германии и «ушел в природу».

Было это, значит, пятьдесят лет тому назад, и в эти полстолетия прошло столько великих перемен мировых, что положение мое с продолжением романа до наших дней стало явно безнадежным.

Через пятьдесят лет мне стало, однако, многое-многое ясно из того, за что боролся Алпатов, чего не находил.

Мне кажется даже по временам, что я разбил уже цепь моего заключения и, выйдя на свет, так обрадовался открывшейся жизни, что мне и хватило этой радости на мои полстолетия сознательной жизни, обращенной моей собственной волей в творческое поведение.

Где уж тут в мои восемьдесят лет написать мне роман до конца! Но мне кажется возможным рассказать здесь об Алпатове, как он сделался писателем после того, как «ушел в природу».

О той же мысли своей, которая освещает сейчас мою жизнь, — об искусстве как творческом поведении, — я непременно напишу отдельную книгу.

Сейчас же, прежде чем рассказывать, как я стал писателем, я поделюсь некоторыми мыслями из этой моей будущей книги.

ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ

Легко сказать — «моя жизнь», а попробуй-ка напиши, если прожил ее с 1873 года! Считаю свою трудную жизнь за великое счастье и об этом одном хотел бы написать.

Миллионы и миллионы проходят людей, и никто не спрашивает у них жизнеописания, а кто ты такой нашелся, чтобы как о редкости великой самому о себе заявлять?

На этот вопрос моей совести я так отвечаю:

— Всякое живое существо говорит о себе не только словами, но и формой своего поведения в жизни, никто не безмолвствует.

Попробуйте затаиться в лесу до того, что вас перестанут бояться живые существа и станут показываться. Тогда не только какой-нибудь еж или белка заговорят по-своему, но и среди ежей появится невиданный, и среди белок узнаешь небывалую. Появится белая, голубая, и щегол с цветной копеечкой на затылке, и так мало-помалу войдешь в процесс перемен.

Если войдешь глубоко в жизнь природы, то поймешь отдельно каждое существо, и они тем самым скажут о себе, а ты людям о них скажешь словами.

Так выпало мне на долю обращать поведение живых существ в слова, и вот отчего миллионы людей проходят, и от них не спрашивают жизнеописания, с меня же спрашивается.

Из старых писателей Грибоедов чудесно сказал: «Пишу, как живу, и живу, как пишу».

Таков и мой идеал: достигнуть в словесной форме согласия ее с моей жизнью.

Больше всего из написанного мною, как мне кажется, достигают единства со стороны литературной формы и моей жизни маленькие вещицы мои, попавшие и в детские хрестоматии.

Из-за того я их и пишу, что они пишутся скоро, и, пока пишешь, не успеешь надумать от себя чего-нибудь лишнего и неверного. Они чисты, как дети, и их читают и дети, и взрослые, сохранившие в себе свое личное дитя.

Мне представляется, что они живут, эти мои безделушки, как белки на елках, и, будучи литературными вещами, имеют свое определенное поведение, как всякое живое существо. Эти вещицы, как мне хотелось бы верить, будучи сделаны рукой человека, в то же время живут среди многих сотен тысяч людей, как существа природы.

Тут-то вот и спрашиваешь: «Каким же ты должен быть сам, ты, способный создавать существа почти живые, а иногда и лучше многих живых?»

Когда разглядываешь годовые кольца древесины на пнях или в лупу разглядываешь разветвления в зеленом листе, то с удивлением видишь:

ничего не повторяется. Ничего друг с другом не складывается, а вместе все делают одно: растут древесину и поднимаются к солнцу выше и выше.

Явно становится для каждого, что движение в природе всем живым существам вменяется как закон, и другой закон живого существа, чтобы каждый двигался по-своему, скажем, имел свое собственное небывалое у всех других поведение.

И я сам, все равно, кто я, писатель или земледелец, должен иметь и, наверное, имею свое собственное, единственное и небывалое в мире. Вот бы найти, вот бы задержать, вот бы его понять!

В молодости, бывало, споришь и дерешься из-за того только, что мысль, за которую держишься, не своя. И другой, кто спорит с тобой, тоже за чужую мысль стоит.

Но теперь у меня есть своя собственная мысль, и я далек от того, чтобы ее навязывать. Откровенно сказать, я затем ее выставляю, чтобы глубже понять себя.

И сейчас я пишу не для того, чтобы начать какой-нибудь спор. Сейчас по привычке смотрю в чистое зеркальце, называемое «природой», и сравниваю, как мое же собственное чувство, моя же мысль показываются в этом зеркальце. Миллионы миллионов всяких существ и каждое по-своему в нем показываются. Они силятся сказаться в реве, свисте, ржании, лае, щелбете. Так почему же все хотят сказаться по-своему, я же, посвятивший свое поведение в жизни на службу слову, буду молчать о себе?

ТРУДНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Дурные дела обычны и многочисленны, как мелкие насекомые, а добрые дела всеми любимы и непременно требуют для своего подтверждения выхода на сцену самой личности, самого героя. Они требуют, чтобы ты не только на словах показывался, но вышел бы сам, и все бы слышали и увидали не только слова, но и дела. Все бы сказали: «Вот хороший человек! За ним правда».

А кто так может выйти?

Вот отчего если приходится раскрывать свою душу в автобиографии, то гораздо легче раскрываться самому в своих грехах, как делал Руссо, чем в добродетелях, как мне хотелось бы раскрыться самому.

У писателя в такие глубоко преклонные годы, как мои, вполне

естественно и законно от чистого сердца может возникнуть потребность проверить, в чем сходятся его слова с его поведением и в чем они расходятся.

Значит, не будем понимать так, что человек пишет о себе из тщеславия или прячется за ложное смирение. Скажу наперед, мне очень хочется, чтобы моя биография показала бы: я жил, как писал, и писал, как жил.

ВЫСШАЯ ОТМЕТКА

В нашей старинной гимназии отметка за поведение могла быть только высшая — пятерка. Всякие другие отметки объединялись общим именем: «волчий билет». И с ним выгоняли из гимназии.

Сколько ни обижался я на старую гимназию, но необходимое высшее единство отметки за поведение берегу в себе как единственную для себя возможную и понимаю ее, как древний человек понимал свое первородство.

Может быть, даже в таком сопоставлении, как древнее первородство и наша нынешняя необходимость каждому быть самим собой, быть личностью, перекликаются. Там было — один первородный в семье, здесь открывается возможность каждому сделаться первым в своем окружении.

Мало ли сиживал я в карцере, но отметка за поведение, пока не выгнали, оставалась высшей, неопороченной и, если хотите, непогрешимой. И выгнали меня не с дурной отметкой, а с «волчьим билетом».

Так она, непогрешимая отметка, и до сих пор сохраняется в моей душе, и, может быть, оттого мне кажется, будто к хорошим произведениям искусства есть какой-то неведомый путь поведения.

Знаю очень хорошо, что если бы я вслух сказал среди поэтов и художников о каком-то поведении, то все бы смеялись. Я это знаю и таю про себя мысль о том, что в художественном произведении есть какое-то настоящее творческое поведение. И уже самое мое тайное — это что я кое-что в этом понимаю. Больше! С каких-то лет меня стало неудержимо тянуть выйти куда-то в люди и все им рассказать о том, что я таю.

И еще больше: бывает, и высказываюсь, но при этом всегда тайный голос меня упрекает: не есть ли такое высказывание — свидетельство наступающей старости, не лучше ли в другой раз не идти напрямую к читателю, а сделать новое усилие и написать новое произведение в

художественной форме. Вот до сих пор всегда я слушался того голоса и это новое усилие понимал в себе именно как поведение: сдерживать в себе понятие и открывать образы.

Примероз такого усилия мог бы я назвать множество, но чаще всего мне приходит в голову оно, когда я вспоминаю одного рыбака.

СЧАСТЛИВЫЙ РЫБАК

Очень осторожно верю про себя, но никому об этом не говорю, что я настоящий писатель и даже иногда в этом понимаю свое большое счастье. Хуже всего на свете для меня нравственное одиночество, тут же за своим любимым делом я всегда в обществе самых хороших людей.

Вот это и есть истинное счастье: работая, быть всегда в обществе хороших людей. Стоит мне только теперь в чем-нибудь запнуться, я позову одного из этих великих друзей, и он мне подскажет. И сейчас то самое желанное, о чем мне хочется сказать, я слышу опять от Грибоедова: «Пишу, как живу, и живу, как пишу».

Мне и хочется теперь больше всего написать такую книгу, чтобы совершенно откровенно показывала мою собственную жизнь как поведение художника, а с другой стороны, была бы художественным произведением.

Как это сделать?

Раздумывая об этом, я вспомнил из своей скитальческой жизни одного рыбака. Он вытащил из озера огромную щуку и с ней прошел по селу. Голова этой щуки торчала выше плеча рыбака, и продетая сквозь жабры веревочка не давала щуке дальше съезжать по спине. Хвост же рыбий, хотя человек был очень высокий, волочился по земле и поднимал пыль.

— Вот это счастье! — сказали на селе.

Так было и мне, когда я начал писать охотничьи рассказы, то же самое говорили:

— Вот это талант!

И я думал, думал об этом и спрашивал сам себя: что же это значит «талант»?

Как не чувствуешь своего голоса, записанного на пластинку, так сам и своего таланта не чувствуешь. А люди понимают талант как заготовленное от рождения счастье.

Признаюсь, был я в отношении себя, конечно, доволен похвалами, но

не удовлетворен.

Это самое переживал, по-моему, и тот счастливый рыбак: ему казалось он сделал особое усилие и заслужил свою щуку, они же его усилие называли «счастьем».

Село было большое, народу встречалось много, и все говорили:

— Какое счастье, как же ты ее вытащил?

Рыбак спокойно и чуть-чуть насмешливо всем отвечал:

— Без труда не вынешь рыбку из пруда!

Сколько лет прошло с тех пор, не помню, но рыбак не только не выходит из памяти, а, напротив, все яснее, и бывает, что я даже сам себя понимаю теперь по тому рыбаку и на похвалу «таланту» повторяю про себя: «Без труда не вынешь рыбку из пруда!»

Мне теперь кажется, что в искусстве поклонники таланта для того это и выдумали «талант», чтобы носителя счастья сделать своим идолом: прославляется идол, а сам творец, вложивший в достижение своего счастья столько героического труда, особого, рискованного, бывает мгновенного, забывается.

Труд, конечно, бывает разный, начиная от рабского повторения удара весла на галере, кончая свободным трудом художника.

Мне бы хотелось понимать форму свободного труда, как об этом говорит Грибоедов, а творческое поведение я понимаю как усилие в поисках своего места в общем человеческом деле и как долг в этом общем деле оставаться самим собой.

Мне всегда казалось, что каждый человек, если он добьется такого своего места в жизни, приносит для всех непременно что-нибудь новое, небывалое, и в этом и есть все наше творчество.

Я хочу взять свою собственную жизнь правдиво и вывести из нее поведение художника. Но нет, еще больше чего-то мне хочется...

Вот что я думаю: что, если бы не только художник, но и всякий бы понимал истоки своего труда и находил бы управление в личном своем поведении...

...Подумайте же, ведь это был самый простой рыбак, а между тем сказал такие мудрые слова! Эти слова каждый художник может включить в свое поведение как особое первоначальное усилие.

Без этого особого личного усилия в море искусства никто не поймает свою золотую рыбку.

ЗВЕНО ДВЕНАДЦАТОЕ КАК Я СТАЛ ПИСАТЕЛЕМ

МАТЬ-РОДИНА

Чтобы рассказать, как я стал писателем, мне нужно самому взять себя, как ученые берут капельку чего-нибудь на стеклышко и рассматривают под микроскопом: себя взять самого и размотать весь клубок поведения своего, намотанного на талант, как клубок ниток на щепочку.

Эта мысль пришла мне в голову в связи с моей внутренней уверенностью в том, что талант сам по себе и к чему-нибудь есть почти у каждого, но так называемые бесталанные люди не хотят или не могут по какой-нибудь слабости организовать свою жизнь согласно с талантом. Когда я взялся за перо, я был в этом до того уверен, что писал и думал о бесталанных, будто я открываю им, бедным, путь свободного, радостного труда. Мне казалось, что когда меня напечатают и поймут, то вот тут-то и будет достигнута желанная моя цель, что я вообще для примера пишу, но не для того, чтобы отличиться перед людьми.

Печатаю одну вещь за другой, я постепенно стал убеждаться, что оценка моего труда со стороны сводится к признанию во мне «таланта», то есть все дело не в «примере» моем, не в поведении, а будто бы в каком-то природном превосходстве перед людьми «бездарными».

Мало-помалу я убедился в том, что занятие литературным трудом на практике действительно сводится часто к таланту и счастью, иногда это даже бывало похоже на скачку с препятствиями, и это невольное сознание образовало грустный фон моей многолетней деятельности.

Но пришло время, и я вернулся к моему начальному строю мыслей, и теперь мне захотелось разобраться, нет ли в моем юношеском веровании зерна истины, а именно, что талант к чему-нибудь есть общее свойство почти всех людей, а поведение в отношении таланта есть именно личное дело, и что не талантом один человек отличается от другого, а поведением.

Начну разбирать эту мысль безо всяких особенных хитростей, придерживаясь больше рассказа о людях, с которыми встречался, и они оставили какой-нибудь след в моей жизни, влиявший на мое личное поведение.

Первым таким человеком была моя мать, и я делаю ее первым лицом в этом рассказе не потому только, что она меня родила. В этом человеке, кажется столь простом для других, я вижу, как в чистом зеркале, вот как Горький видел в своей бабушке, ту свою хорошую родину-мать, для которой стоит пожить на земле и постоять за нее.

У многих чувство родины очень связано с ландшафтом земли, на которой родился. Но я не любил в своей юности ландшафта моего родного елецкого края, эту черноземную землю, изрытую, рассеченную желтыми глиняными оврагами с мелкими дубовыми кустарниками: ни степь, ни лес, и никакого благоустройства.

Но чувство к матери-родине дает мне возможность каждый ландшафт, к которому я прикоснусь этим чувством, преобразить в мою родину. Мне даже и жить не нужно долго в каком-нибудь краю, мне довольно взглянуть на любой ландшафт с тем страстным чувством земли, какое было у моей матери, чтобы эта земля стала мне родной.

Здоровый человек была мать моя и до того радостный, что на несчастных людях надолго не любила задерживаться: ей самой жилось нелегко, и если что удавалось хорошее, то не от случая, а от себя.

Теперь, когда я, столько лет стоявший безотчетно на стороне матери, вынужден более внимательно отнестись к тем, кого считал тогда «бедными», я готов упрекнуть мать не за ее радость жизни, а только за несовременность ее выражения: современной тогда была не радость, а страдание, на которое шел человек за человека, начиная с Каляева.

Современна была тогда именно чувствительность к страданиям, и на этой почве вырастали такие писатели, как Глеб Успенский, «святые народники», вызывавшие в своих читателях и соответствующий образ поведения: сострадание. Я это до того понимал, что любовь свою к матери соединял с чувством радости, направленной против обязательного сострадания. У меня не было никаких доказательств правдивости этого жизнеощущения, но про себя я считал мое понимание более верным, всегда стоял за мать и бессознательно стремился к тому, чтобы искать для нее оправдания.

Поэтическое чувство природы, которое приписывают мне с тех пор, как я начал писать, вовсе не было с детства моим исключительным свойством: дети сами — природа, а это сложное чувство наживается. Это чувство начало расти во мне при первой разлуке с матерью, когда она отвезла меня в город и сама уехала в деревню. Вот тут-то, в слезах, в тоске, в отчаянии, показывалась мне прелесть покинутого мира, и родная природа вставала в воображении как счастье возможного свидания с матерью.

И так оно и пошло во мне, это счастье, как прерываемый и возбуждаемый электрический ток: свиданья чередовались разлуками, а из этого по человеческому свойству забвения худого при встрече с хорошим и зарождается как бы ток высокого напряжения: ток радости жизни.

Мать моя была источником моей радости, и я чувствую, будто это она дала мне поручение: как бы худо мне ни было, оправдать ее сокровенную сущность — радость жизни и сделать ее современной.

Так вот и в то еще время возникли корешки дела всей моей жизни построить свое поведение не на сострадании, а на той святой радости, лучше которой нет ничего на земле: лучше счастья.

Мальчишкой, бывало, проснусь раньше, чем следует, и в дырочку алькова смотрю на лицо матери. Она тоже проснулась, но в одиночестве она совсем не такая, какой мы все ее знали: странная, смутная, лоб сморщен, думает до того мучительно, что нет-нет и вздрогнет. Так станет страшно, забудешься, высунешь голову к ней, и она вдруг обрадуется, засияет, совсем будто солнце взошло.

На этих впечатлениях детства я и строю свое поведение в отношении того материала души, который называю талантом.

О внутреннем человеке писать — это значит писать не об одной только радости, но и о страдании, потому что самому трудно быть довольным собой. Если же писать о другом человеке, то это, по-моему, значит свое страдание переделывать в радость, как это явно делала моя мать: про себя одна, а человека увидит и вдруг становится радостной.

И так оно само собой стало выходить у меня, как у матери: если вырвешься из мучительного плена своего одиночества, не только человеку, но и веточке обрадуешься, и в этом просвете между стволами, в этих трепещущих листиках увидишь весь мир так, будто он есть великая кладовая сияющих драгоценностей.

Чего же тогда особенно раздумывать о поведении: все поведение художника должно быть таким же, как всякого существа, создающего бескорыстные ценности: это поведение состоит в поисках выхода из неизбежного страдания.

На родину свою я тоже как на мать смотрел тогда в дырочку алькова и видел ее страданья. А когда мне становилось неважно, брал палку, котомку свою и видел, как мать моя улыбается, и душа моя, расширяясь, получала особую силу любовного внимания ко всем существам, и через это входила в меня радость жизни.

Ничего нет лучше для меня весны света, когда все прекрасное еще впереди! Вот идете вы в таком свете, видите, как выходят на опушку леса

березки, греются в теплых лучах между елками, и тут же стоят разные сухие травинки. Вы идете вдоль опушки и на всю мелочь эту не смотрите. Чистый запах снега на солнце уносит вас в лазурь, к первым летним кучевым облакам.

Какая-нибудь былинка, длинная, желтая, с пустым колоском, изо всех сил добивается вашего внимания. Случайный ветер-сквозняк помог ей, она покачнулась, поклонилась, и тогда с поднебесных высот вы спускаетесь к ней, наклоняетесь, с удивлением разглядываете, изучаете эту желтую длинную былинку с пустым колоском.

Это внимание открывает еще вокруг на снегу темные точки ее семян, выбитых зимою щеглами. Вы находите в самом колоске одно уцелевшее зернышко, зазертываете его в бумажку и дома опускаете семя в цветочный горшок. Скоро на глазах ваших вырастает новая зеленая былинка, рожденная помощью вашего внимания к незаметным существам. Никому-то она не нужна, а вас радует.

И так вот вы идете, идете и радостным вниманием своим открываете то былинку, то птицу, то веточку, то зверька, и все далее, без конца по необъятной, неисходимой стране.

Так встретился на моем пути по моей стране великий странник Горький Алексей Максимович.

ЖИТИЕ

Не раз мы с ним беседовали. Помню, рассказывал я ему о себе за большим столом во время встречи Нового года с Шаляпиным во главе.

Дело это было после революции 1905 года.

Место мое было рядом с Горьким, и разговор у нас в нем вышел как раз о самом истоке того, что называется так неопределенно талантом. За столом говорун-литератор остроумно предложил выяснить немедленно, как кому представляется тот или другой писатель в своем происхождении, от чего кто начинается, и как пример для других сказал:

— Горький начинается от разбойничьих романов. Возможно даже — от самого разбойника Чуркина.

Горький с удовольствием хмыкнул и спросил меня:

— А вы от чего начинаетесь, Михаил Михайлович?

— Начинаюсь, — ответил я, — скорее всего от «женщины будущего»,

которая в первых же писаниях моих превратилась в сказочную Марью Моревну.

— Ну, расскажите мне, что это за женщина будущего, что это за романтизм? Покажите-ка руки.

Я показал.

— А я думал, у вас, наверно, голубым по телу и вытравлена Марья Моревна с сердечком и голубками.

— Ну вот еще, мой романтизм шел не по той линии. И я скорехонько рассказал, что в студенческое время я как химик поехал на Кавказ уничтожать на виноградниках филлоксеру: мне было тогда с чем-то двадцать лет. В Гори, у начальника филлоксерной партии В. А. Старосельского, нас съехалось из разных высших учебных заведений человек пятьдесят. В течение чуть ли не целого месяца Старосельский держал нас в Гори на обучении филлоксерному делу. Утром мы занимались, а вечером у Старосельского пили вино, всю ночь спорили, били стаканы и только что не дрались сами между собой, марксисты и народники.

Старосельский, старый петровец, был чистым народником, и за него стояли три четверти студентов. Я ничего еще тогда не понимал в этих спорах, но считал себя обязанным примкнуть к той или другой стороне. На одной часто повторялся Михайловский и Спенсер, на другой — Маркс, Чернышевский, Плеханов.

Я тогда еще мало прочел, но сердцем определялся мало-помалу на марксистов.

Народничество с детства меня окружало своей атмосферой необходимого сострадания и обязательного равенства по мужику: раз мужик страдает, то и я должен страдать. Мне, молодому, жить хотелось, а у народников «для себя», как мне представлялось, выхода не было. У марксистов же, в их бодро-задорном поведении, открывался для меня личный выход из народнического узкого круга идей к общечеловеческому смыслу.

Я принялся тут же за чтение «Капитала», и, когда мы, закончив филлоксерное обучение, разъезжались, каждый во главе филлоксерного отряда, мне поручили практическую работу: я должен был перевести на русский язык книгу пламенного трибуна социал-демократии Августа Бебеля: «Женщина в прошлом, настоящем и будущем», которая попросту у нас называлась «Ди фрау». У меня времени для работы над «Женщиной» было много. Рабочие окапывали лозы, рассматривали корешки и приносили мне подозрительные по филлоксере. Я же сидел где-нибудь под тенью

громадного орехового дерева и в этой прохладе писал, впитывал в себя кавказскую природу. Итак, «женщина будущего» мало-помалу превращалась у меня в поэтическую Марию Моревну.

— Да вы, сударь мой, — сказал Горький, — настоящий романтик, и это не жизнь у вас, а житие.

— Что же, у вас разве «жизнь»?

— Ну, я-то хоть рано писать начал, а вы что делали? Почему не взялись за перо и пропустили столько времени?

— А все из-за этрй женщины будущего. Чистоты жаждала душа вот такой, как бывает весной света на солнышке снег. Меня грязь напугала, та самая, как вы ее описываете в «Детстве», и у вас тоже эта жажда чистоты воплощается в бабушке.

У Бебеля же давался выход к женщине будущего через мировую катастрофу. Ничего похожего на такую романтическую катастрофу не было у Маркса, но у Бебеля, в его творчестве, было даже прямое обещание близости: мы будем свидетелями, как мир переломится и настанет желанное будущее.

В детстве няня внушала мне это чувство конца и собирала в мешочек свои ноготки, чтобы, когда затрубит архангел, эти ноготки бы срослись и можно было бы с помощью их взбираться по какой-то стене. Бывало, вечер настанет, только глядишь, только и ждешь и высматриваешь из темного окна: не началось ли, не загорается ли уже край земли и неба? Потом, когда вера эта в светопреставление прошла, ничто бы не могло меня вернуть к ней: ни музыка, ни поэзия, ни вдохновенная мистерия. Меня возвратила к этой вере цифра: Бебель, этот народный трибун, действовал на воображение счетом, и к моему возрасту как раз это и пришлось.

Но мировая катастрофа не наступала, и мало-помалу эта женщина будущего у меня превратилась в мою родину, и любовь к ней повела меня по пути странничества: я стал писать о земле, о птицах родных и зверях, как будто я родину свою потерял и она стала показываться мне в этих ветках, почках, березах, птицах, зверях...

— Очень уж хорошо о перепелах пишете, — сказал Горький, — до чего здорово о перепелах!

И, заметив, что мы отбились своим разговором от общества, вдруг всем сказал:

— Предлагаю просить Пришвина рассказать нам о перепелах!

Я не отказался, рассказывал о ловле сетью перепелов с такой подробностью и увлечением, что до крайности заинтересовал своим рассказом Шаляпина. Не сомневаюсь, что рассказ мой возбудил в нем

чувство соревнования, и после меня он с особенной выразительностью стал нам рассказывать, как он мальчиком в Казани гонял голубей.

В его рассказе все было так талантливо и необычайно, что все забыли о моих перепелах. В нашем хохоте стали принимать участие и люди с салфетками на плечах. Закончив вечер, Шаляпин им дал на чай сто рублей, — какие большие деньги это были в то время!

— Помните Шаляпина! — сказал он.

Я хорошо помню, с какой иронией поглядел тогда Горький на эту сотенную бумажку и тут же мне сказал:

— Вот это жизнь, а не как у вас — житие.

РИЖСКОЕ ДЕЛО

Рассказав теперь эту беседу с Горьким, я лет на десять забежал вперед того времени, в котором я впервые почувствовал возможность сделаться писателем. В то время я был в Риге студентом и после Кавказа пришел на практическую работу в социал-демократическую партию под руководством Данилыча (Василия Даниловича Ульриха).

Не один я пришел к этой опасной работе. Большинство юношей — моих товарищей, комсомольцев XIX века, в той или иной степени были под влиянием Женщины будущего и отличались от меня только тем, что я по своим способностям мог больше сказать, они же — больше делать, чем говорить. Не моя в этом вина: я старался делать больше всех, но я был юношей, до последней крайности неспособным к политической работе.

Мое положение в подпольной работе было почти как положение слепого на военной стрельбе. Я был чрезвычайно доверчив, влюбчив в человека, не умел вовремя догадываться о нужном, когда все молчат, плохо выдерживал в себе мысль, болтал.

Но самое главное, из чего вытекали все политические мои недостатки, это что логические выводы ни малейшим образом не убеждали меня. С огромным трудом перечитав всех классиков-экономистов от Смита до Маркса и новейших социологов — Зиммеля, Рилья, я делал выводы с помощью их о текущих событиях. Но приходил на собрание более решительный, разбирал логический мой вывод, и я, вместо того чтобы защищаться и спорить, тут же на собрании раскаивался, брал все назад и подчинялся своему противнику и верностью этой новой идее поправлял

свою логическую ошибку.

Я очень страдал от своих неспособностей, очень мучился и не мог, как теперь, утешиться и оправдаться своим исключительно образным мышлением. Из экономистов только черствый Рикардо совсем не поддавался моему тайному переводу рассуждений экономистов на язык образов.

Неспособный доверять логическим выводам, я про себя перешептывал выводы Маркса на образы, и какая-нибудь Марксова Золотая куколка, в которую превращаются все товары, и рядом с ними все человеческие ценности: дружба, любовь, искусство — в моем сердце переделывалась в сказочно-злое существо, вроде Кощей Бессмертного, и так все: Прибавочная стоимость, Экономическая необходимость, Акушеры, облегчающие исторические роды нового общества, и в особенности знаменитые, как это уж я сам назвал, Врата обмана. Через ворота фабрики, на которых написано: «Посторонним вход воспрещается», — Маркс вводит читателя посмотреть, как обманывается рабочий и как обирается он в момент своего производства.

Насколько я могу сейчас вспомнить, этот перевод «Капитала» на язык моего сердца породил во мне какую-то сказку, в которой я сам играл тоже немалую роль, вроде обманутого самим богом Адама: бог велел в поте лица обрабатывать землю, а сам землю эту отдал в руки богатых. Так нет же, не дамся, твоей же заповедью буду добывать себе землю! В таком роде я вел пропаганду среди рабочих в Риге, и Капитал, превращаемый мною просто в Обман, был им чрезвычайно понятен, и всемирная катастрофа в образе светопреставления, и безземельные Адамы, и в особенности Женщина будущего.

Общими усилиями мы, безусые мальчишки, в отношении чистоты Женщины будущего до того довели рабочих, что первое активное выступление их в Риге началось погромом публичных домов.

Хранится ли где-нибудь в архивах это рижское дело, на котором бывший тогда товарищ прокурора, известный потом Трусевич, сделал себе блестящую карьеру в министерстве внутренних дел царской России? Пусть оно и пропало, но я до конца жизни буду память о нем хранить в своем сердце как свидетельство самой жизни о том, что чистейшие романтические мечты юношей и рабочих с простыми, неиспорченными душами в существе своем вполне реальны. Они были так реальны, что не только можно было их воплотить в жизнь, чтоб разгромить публичные дома Риги, но и кое-кому сделать на них себе карьеру начальника полиции...

После тюрьмы и ссылки за эту Женщину будущего мне удалось вырваться в Германию, там явилась возможность хоть ежедневно бывать на рабочих собраниях социал-демократов. Очень просто на этих собраниях познакомился я даже и с самим автором «Женщины будущего» — Августом Бебелем. Та же немецкая деловитость, практичность привели меня к необходимости чему-то учиться в Германии, что-то знать для того дела, которому я служу. Если же глубже посмотреть, то тут, конечно, играло роль и полнейшее отсутствие у тогдашних немецких руководителей того, что я теперь робко называю «общественным романтизмом».

Неизгладимое впечатление в памяти моей оставила встреча в Тиргартене коляски Вильгельма II и поведение друга моего рабочего социал-демократа, у которого я жил на квартире. Никогда русский диакон при встрече архиерея не кадил с таким умилением, как приветствовал взмахами своей кепи этот социал-демократ рабочий своего императора.

Много на чужбине собралось в мою душу, но суждено было, что как раз тут-то, на этой встрече с императором, и треснул мой роман с немецкой социал-демократией, и это пошло мне на пользу: я крепко взялся за ученье и в течение двух лет не только подготовился к государственному экзамену, но между делом прослушал лекции многих знаменитых профессоров по истории, философии и наукам общественным.

Во время этого ученья относительно утраты горячего чувства к рабочему движению я рассуждал, как все в таких случаях при утрате своей юношеской мечты: рабочее дело есть дело, а не поэтическая мечта. Как ночь сменяется днем и год годом, так и социализм сменит капитализм, а к чему мне самому приложить руки, это будет видно, когда я выучусь немецкой науке и вернусь на родину.

ИГЛА ПРОФЕССОРА

После этого какого-то добросовестного сна я очнулся земским агрономом в городе Клину Московской губернии, и тут-то опять чувство природы, определившее меня в агрономы, привело меня в противоречие с той «природой», которую так неумело и тупо возделывали наши крестьяне. Тогда, в юности, в политической партии, при неспособностях даже, меня вела моя мечта, и я узнавал ее в товарищах. Теперь, в этой земской работе среди робких либералов, в моей душе ничего не осталось, я был

совершенно один: я погас и заболел непонятной мне душевной болезнью. Корни этой болезни, несомненно, питались моей мучительной и неудавшейся любовью к исчезнувшей невесте.

Самое тяжелое в этой болезни было то, что я чувствовал себя виноватым перед людьми здоровыми и таил от них свою болезнь.

Мне теперь думается, не из глубоких ли недр живой природы исходило это напряжение сил для укрывания своей тайной болезни. Так бывает на трудном перелете гусей, когда один из них начинает замечать, что силы его падают. Этот гусь уже знает инстинктом своим, что усталость надо скрывать, иначе товарищи неминуемо заклюют отстающего. И оттого он напрягает все силенки свои последние, чтобы только укрыть от спутников свою слабость.

Случалось, превозможешь себя, нарочно что-нибудь расскажешь веселое, а оглянешься вокруг: никто не смеется и только странными глазами глядят на меня.

А то, напротив, когда все серьезно что-нибудь обсуждают, вдруг вспомнишь наперекор всему что-то свое и улыбнешься. Кто-то заметит и спросит:

— Вы чему?

— Так, я своему.

И опять на тебя поглядит странный глаз.

Да, я был очень болен и в сто раз свою болезнь увеличивал тем, что боялся открыться больным среди здоровых людей. А вокруг были только здоровые, и деятельность моя агронома была самая здоровая деятельность и направлена была на общественное здоровье, на борьбу с кулаками. Мы, от земства, покупали по оптовой цене железо кровельное, гвозди, сельскохозяйственные машины, орудия и продавали их дешевле, чем кулаки. И в этой здоровой, честной, полезной деятельности, окруженный только здоровыми, я чувствовал себя как отстающий гусь и вечно в страхе ждал, что слабость моя откроется и здоровые гуси меня заклюют. Затаиваясь, иные в таком состоянии подполья завивают душу свою в спираль злобы, я же, напротив, часто думал, что именно я-то и плох, и не раз даже мне приходило в голову, что люди своих больных пережалели, и следовало бы им больше пожалеть тех здоровых, кто напрягает все силы в борьбе.

Тайна моей болезни была в том, что я стал с некоторого времени бояться острых предметов: кос, ножей, плужных отвалов и всего такого, чем я торговал ежедневно в земском складе. Каждый раз, как я видел острый предмет, меня тянуло схватить его и пустить в ход, и мне казалось,

что я могу наделать ужасной непоправимой беды. Я придумал от такого страшного действия заговор: в тот момент, когда рука моя тянется к топору или к ножу, я шепчу: «В себя, в себя», — то есть бить в себя, а не в людей.

Итак, я, распоряжаясь, подписывая бумажки, подчас отпуская шутки, необходимые в обращении с крестьянами, почти неустанно шептал про себя свой заговор.

И вот однажды дело дошло до того, что, увидев, как один покупатель, позвякивая, выбирает себе косу, я почувствовал — заговор мой не помогает. В холодном поту бросился я вон из склада и прибежал к себе домой. Я почувствовал необходимость немедленно, кому-то старшему, мудрому, авторитетному человеку выложить все, что есть у меня на душе, и просить помощи. Я вспомнил имя одного в то время очень известного психиатра, всеми уважаемого человека, и принялся писать ему покаянное письмо.

Писал все, что знал о себе, отдавал свою волю неизвестному мудрому старшему человеку. Закончив это страшное для меня послание, я поехал в Москву и позвонил к профессору Мержеевскому. Мне сказали в щелку наружной двери, что профессор сейчас уезжает за границу и принять меня у него нет времени. Я через горничную попросил милости у профессора, и мне открыли дверь.

В первой комнате мне попались на глаза чемоданы — профессор не обманывал меня, действительно уезжал. Я понял, что он честный, хороший человек и мне можно без колебаний отдать в его руки свою исповедь. Во второй комнате я увидел большой письменный стол, и за ним сидел небольшого роста седеющий профессор. Вид его был ничем не примечательный: я знал много таких профессоров, и вот именно эта обыкновенность лица его меня вдруг очень успокоила. Может быть, я, надумав себе какого-то высоко стоящего надо мной человека, которому предстоит мне отдать свою волю, теперь увидел обыкновенного и обрадовался: обыкновенного-то я, может быть, и надую...

Я сел в мягкое кресло и на вопрос: «В чем дело?» — подал свою исповедь. Профессор, очевидно торопясь уезжать, не стал ни о чем меня выпрашивать и принялся за чтение. Он медленно читал, раздумывая, повторяя: «Так, так, так...»

В этой исповеди у меня было одно центральное, очень трудное место о любви, где я указывал профессору о необходимости в этом тайны и объяснял эту необходимость тем, что любовь в существе своем есть рождение личности любящего, сказать же другому о своей личности можно только делами необыкновенными и небывальными. Но раз я не могу свидетельствовать делами, значит, нет во мне личности... Тут шел, конечно,

подробный рассказ о моей любви...

Я видел, как на этом месте профессор остановил свое чтение, взгляделся в меня. Я вспыхнул, как мальчик, он же отвел глаза, сказал свое «так» и продолжал медленное чтение.

Вспышка стыда подняла во мне такое волнение, что внутри все закружилось, всякая мысль сорвалась с места, и все пошло ходить ходуном. Ко всему этому при последнем «так» профессор сделал одно движение, которое меня как будто иглой пронзило насквозь с такой болью, что я ее и сейчас, через много лет, чувствую.

Случилось это так быстро, так неожиданно, как бывает — вдруг ужалит пчела играющую собачку, и она начнет от боли корчиться на земле.

Там, на письменном столе у профессора, рядом с пресс-папье, изображающим Эйфелеву башню, на мраморной подставке торчала длинная игла для приколки поступающих бумаг. Я-то, конечно, и писал профессору о тайнах любви, чтобы он по прочтении возвратил мне бумагу — мою исповедь, а я бы сжег ее, но профессор, сказав последнее «так», быстрым движением посадил мою исповедь, как жука, на иголку.

— Ничего особенного, — сказал он.

— Как же так, ведь я не владею собой!

— Принимайте ванны в двадцать семь градусов. Он торопился.

— Но как же работать?

— А вы разве можете работать в таком состоянии?

— Очень плохо.

— Не работайте. Он торопился.

Я встал и положил на стол империял. Он немедленно взял монету и с доброй улыбкой положил мне ее обратно в карман. Я поклонился и, стараясь не глядеть на иглу с моей исповедью, вышел.

ОПТИК

Образ мудрого человека, которому все свои тягости важно свалить и выйти от него обновленным существом, возник во мне скорее всего, как я думаю, на место рано умершего отца.

Как ни мужественна была моя мать в борьбе за существование, ее мужество выходило не из природы, а из необходимости жить и управлять делом. Страх обидеть свою мать у меня всегда был, но страха в смысле

необходимости подчинения руководящей воле, как это было бы к отцу, я никогда к ней не чувствовал. Мне был нужен отец, но отца я не знал, и, когда понадобился отец, я вообразил себе мудреца.

На этом примере с профессором я опять во всей яркости встретил вечно мучившую меня мысль о том, что очень часто умные, всеми признанные и ученейшие люди живут не своим умом и вообще не собой. Мучительно же было мне это понимание тем, что я был неспособен, как они, чужое выдавать за свое и в то же время ничем не мог доказать себя самого.

Для чего же мне это надо кому-то доказывать — этого вопроса сознательно я не мог себе поставить. Это не вопрос был для меня, а необходимость, скопленная из бесчисленных и, наверное, еще ранне-детских обид.

Мудреца, созданного моим воображением, я хотел найти себе самому признанием чужого ума, как своего собственного, и выполнять волю чужую, как свою. Мне думается теперь, что профессор не был так глуп, как я его понял тогда. Но скорее всего, поняв болезнь мою просто как болезнь роста, он отстранялся от меня как медицинский врач. Ему бы надо было по-человечески сказать: «Вылез грибок из земли — и расти сам, милый, все так сами растут!»

Он же как медик отстранялся по-своему: «Ванна в двадцать семь градусов!» Жаловаться тут не на кого — на том мир стоит: на росте. Но как же больно мне было от медицинского старца вернуться к своим острым орудиям.

Единственный день отдыха от страха своего и вечного повторения заговора от острых предметов бывал, когда продавалась последняя коса и я отправлялся в Москву за товарами.

Мы закупали все эти вещи по оптовой цене в Москве на Мясницкой у Кютнера. Однажды с этой целью я сел у вокзала на извозчика и поехал. И вижу, по Мясницкой какой-то парень идет с новым большим блестящим кухонным ножом.

— Стой! — велел я извозчику и, уплатив ему двугривенный, бросился к парню, чтобы отнять у него нож. Прочитав, однако, свой заговор, я опомнился весь в поту и, униженный, увидел себя возле большого дома с оптическим магазином внизу и множеством дощечек белых с черными буквами. На этих дощечках значились врачи всех родов, от зубных и до нервных.

Выбрав себе невропатолога, я поднялся на какой-то этаж и позвонил.

Небольшой человек с рыжими волосами встретил меня крайне

недоумевающим взглядом и с акцентом спросил: «В чем дело?»

Не помню, что я ему наговорил, но он был до крайности заинтересован моим рассказом и дружески просил меня успокоиться.

— Нет никакой болезни, — сказал он. — Вы просто перегружены разными теоретическими знаниями. Вам надо теперь разгрузиться от них в практической работе. Развивайте ваши склады, торгуйте.

— Но ведь я же вам говорю: боюсь острых предметов!

— Вы их скоро не будете бояться.

Он достал из ящика коробочку с пилюлями, налил стакан воды.

— Как называется магазин, где вы покупаете острые предметы?

— Торговля Кютнера.

— Обещайтесь: еду к Кютнеру и ни о каких острых предметах не буду думать со страхом.

Я обещался и принял пилюлю.

После того он вручил мне всю коробку и назначил, чтобы, принимая, всегда заговаривать себя таким обещанием.

— Через месяц вы будете здоровы, — сказал он и денег не взял.

Все вышло точно, как сказал этот мудрец. Я перестал бояться острых предметов, и мне надлежало только избавиться от особенного страха оставаться наедине с самим собой.

НА ПОЛУСТАНКЕ

И вот однажды я ехал из Москвы к себе на родину, в Елец. Было это на одном полустанке, страшном полустанке в середине России, страшном участке какого-то ада. Времени тут как будто совсем и не было. Поезда ждали по двенадцать часов, и никто эти часы не считал. Ожидать поезда было трудно, и душа моя не имела против этой мертвящей скуки в аду одиночества никакой защиты.

От скуки, только от скуки я выдумал себе немного пописать: взял лист бумаги и стал писать какие-то воспоминания из своего детства. И вдруг увлекся: радостное волнение впервые охватило меня, и я не заметил, как пробежали томительные часы ожидания. Когда я написал свои страницы, перечитал, поправил, добавил что-то, мне стало так, будто благодаря этому своему личному усилию истинный ад скуки обратился в желанный рай, и поезд мой пришел.

Тут-то я опомнился, и радость моя стала еще больше: я понял, что совершилось величайшее открытие в моей жизни — мне теперь нечего бояться себя и своего одиночества. Всегда, как только я останусь один, мне стоит взяться за перо, вспомнить о каком-то неведомом друге, к которому я обращаюсь со словом, и весь страх мой сменится радостью.

Находка моя явно направляла всю мою будущую жизнь, и тут же в поезде я стал решать: о чем же мне надо писать?

Рассмотрев написанное, я убедился, что выбрал самое простое, самое любимое в моем детстве: охоту с сетью на перепелов. В родной деревушке жил такой охотник Гусёк, с ним, как только себя помню, я ходил на охоту за перепелами. Мне казалось теперь, что нет в мире проще, чище, добрее Гуська, и нет ничего прекраснее наших с ним вечеров и утренних зорь.

Не важно мне было тогда знать, как я написал, и тем более не было у меня ни малейшей мысли о том, что это можно было бы напечатать и этим жить. Я обрадовался тому только, что прежние пустые и мучительные часы я теперь всегда могу заполнить прекрасным занятием: писанием о чем-то любимом.

Раньше меня охватывал страх остаться наедине с самим собой. Теперь я только и ждал, когда закончатся дела, чтобы остаться наедине, затвориться и, в себе самом разгораясь, выходить из своего одиночества в широкий мир.

Мало того, во время занятий своей агрономией народная речь стала мне музыкой. Я слушал, записывал слова, дивился этим чудесным коленцам русской речи, поворотам ее от грусти к простодушно-смешному и внезапному взлету на высоту человеческой мудрости.

Слова мне становились волшебными танцорами, и русский народ в своей простоте — неистощимым источником словесных богатств.

Если же это ловить и уметь передавать на бумаге, то вот и я тут при деле, и я тут могу быть самим собой в единстве с людьми.

Словно заря вставала мне впереди: всю жизнь, с детства, глядя на мать и на всех, я понимал труд как Адамово проклятье. Но тут выходило, что человек может победить грозного Адамова бога и выйти на свободу через радостный труд.

Всю жизнь я делал что-то не свое, и вдруг...

У меня теперь была цель писать о любимом, с этого раза я почуял в себе неиссякаемый запас силы внимания к людям, которая не покидает меня и теперь и, мне верится, никогда не покинет. Целебный источник выбился в душу мою из каких-то темных, неведомых недр, и с этого разу я стал независимым, перестал искать спасения в книгах и у мудрецов.

Однажды, проезжая на извозчике, я вспомнил по оптическому магазину тот дом, где жил мой спаситель. Я решил немедленно идти к нему — поблагодарить. И вот та же комната одинокого человека, тот же он сам, рыженький, столь незначительный с виду. Я рассказал ему все, горячо благодарил его и пробовал предложить ему деньги.

— Нет, — сказал он с блаженной улыбкой, — ведь я же не врач! Мне просто жалко стало, что такой прекрасный молодой человек мучается какими-то пустяками. Вот я и попробовал вас полечить своим средством: это была простая сахарная пудра.

В изумлении не знал я, что и сказать, и наконец спросил:

— Но вы же все-таки врач по нервным болезням?

— Невропатолог, — ответил он, — живет лестницей выше, вы ошиблись этажом, молодой человек. Я же шлифую стекла для оптического магазина: я оптик.

ВЫХОД

Когда я был юнцом, мне представлялось, что сознание человека движется вперед по прямой линии, как вагон на рельсах. Но с некоторого времени я стал понимать рост сознания, как в дереве из года в год нарастает древесина концентрическими кругами. По годовым кругам на пне свежесрезанного дерева можно разобраться в жизни всего леса за сто и больше лет, так точно по кругам нарастающего сознания, которые мы в себе чувствуем, можно тоже о многом догадываться.

Когда я находился еще в раннем кругу своей юношеской романтической любви, я не только не мог мыслить о своем переживании, но даже прятал от себя книги, могущие пролить на себя свет сознания. Теперь же я, как уцелевший старый дуб, стою на просеке, я не только могу для себя разбираться в нарастающих кругах сознания, но даже рассказывать с надеждой, что это кому-то годится.

В этом, наверное, и заключается удовлетворение от писания и часто даже радость: это выход на свободу сил, в себе заключенных. У нас этот выход сознания, а у них, деревьев, разрастание порослью.

Обращал ли кто-нибудь особенное внимание в лесу на старые пни, какой буйной силой папоротников, цветов, ягод они окружаются? Сам же пень видит тут, около себя, свое возрождение и убеждается в том, что не напрасно он жил.

У нас, людей, это перешло в жизнь сознания, и вот почему так радостно бывает излучать из себя накопленный опыт.

Вспоминаешь и просто диву даешься: я же сам ведь когда-то с такой болью и ужасом расставания сжигал любовные свои записочки или прятал их от чужого глаза в дуплах деревьев. А теперь с такой радостью я нахожу уцелевшие и, поставив номер на этом дорогом документе, укладываю его в своем архиве в особую папку любви, означенную римской цифрой.

С тех пор как психиатр посадил мою исповедь, как жука, на иглу, прошло пятьдесят лет непрерывно растущего сознания, но и то через всю эту древесину свою я определенно чувствую боль прокола своего сердца иглою либерального профессора, не взявшего с меня даже плату. Мало того, боль эта теперь даже приятна, потому что вызывает по смежности радость, поднятую находкой средства борьбы с одиночеством. Из этого чувства удовлетворения от писания мне и в голову не приходило сначала, что я буду непременно когда-то писателем. Вот то-то и замечательно, что совсем и ни капельки даже не было вначале хотя бы тайного замысла впоследствии прославиться и писать повести, как шить башмаки на заказ.

Я в это время не литератором делался, а постепенно заменял в себе одно чувство другим. Это был опаснейший момент в моей жизни, и удельный вес свой я теперь определяю не числом томов собрания моих сочинений, а лишь тем, что в опасный момент утраты своей возлюбленной, когда решается судьба самой своей самости, я обвинил в утрате своего счастья только себя самого.

Вот тут-то, в поезде, после того как я сделал на заброшенном полустанке свою первую счастливую запись, и состоялось то самое мое решение, о чем я никому потом никогда не сказал, и теперь мне в нем труднее признаться, чем в своих пороках. Из-за того приходится это сделать, что оно хорошо у меня получилось и будет совсем замечательно, если послужит кому-нибудь добрым примером.

Мне приходится для такого признания зайти с далекой стороны, начать с того, как устраивается в жизни большинство молодых людей.

Два поступка у каждого ложатся светом и тьмой на всю жизнь: один из этих поступков есть выбор любимого дела, может быть, и призвания. Другой поступок относится к выбору подруги жизни. Вот я теперь и должен признаться, как я осекся больно на том и другом и как потом выправился: как избавился от влияния неудач.

Сейчас видишь — почти каждый день у тебя на глазах молодые люди сходятся и расходятся. И кажется все это так «естественно». Но почему же самому-то было так трудно? Почему эта неудача легла на всю жизнь?

Скорей всего оно так бывает у многих, но только со стороны мало видно. Вопрос же о любимом деле и о жизненной подруге — это как две точки, и жизненные опилки, как на магните, располагаются — вокруг этих двух полюсов.

Так вот и вышло, что там и тут я до конца на всю жизнь осекся, дело меня обмануло, я его совсем не любил и оттого неумело работал. Незаменимая моя подруга растаяла, как Снегурочка.

Я раздумывал тогда, в поезде: если я в несколько часов исписал столько бумаги и был в этом счастлив, то почему бы такое занятие не обернуть в настоящее дело, не заниматься им радостно и легко? Дальше я думал так: я, конечно, сам виноват, что упустил свою невесту, и теперь вижу даже все свои ошибки; не будь их, она бы со мною осталась. Почему бы теперь в отношении этого чудесного чувства, связанного с писанием, не поступить, как с желанной невестой: не сделать в отношении нее ни одной ошибки?

Я видел ошибку свою в отвлеченности своего чувства. Вот почему в новом своем чувстве я хотел определиться родственным точным вниманием к любимому предмету. И еще другую ошибку свою я видел, самую главную, в том, что под предлогом возлюбленной думал только о себе и поднятую бурю в стакане эгоистической души принимал за мировое событие...

В новой радости своей я прежде всего почувствовал выход в безграничную ширь и готовность служить целиком, ничего не пропуская, до последнего своего издыхания, не обходя вниманием ни одного друга своего и даже ни одной травинки, ни одного колоска, ни пташки певчей, ни зверюшки.

Весь мир моей родины в безграничном, неведомом мне пространстве заиграл во мне, зазвенел, зацвел, засиял.

Я похоронил тогда все прекрасное, что было связано с утраченной невестой, бросил свою сомнительную для меня профессию, и на первых шагах самое лучшее мне было в том, что на смену страшного одиночества мне всюду явилась жизнь: где я — там и жизнь. И оттуда я запомнил на всю свою долгую жизнь: так, наверно, и нужно писать, чтобы это чувство жизненной всюдности и, может быть, некоторой своей личной власти над этим насыщало страницы.

Я возвращаюсь к тому, что сказал: в жизни молодого человека есть две величайшие трудности — служение любимому делу и встреча друга на всю жизнь. И вот в эти часы в поезде я связал между собою обе трудности в один узел счастья.

Более наивного нет ничего на свете, чем что произошло со мною: подругу свою я заменил тогда географией и стал служить делу землеописания совершенно так же, как невесте своей. Совершись такое со мною в шестнадцать лет — все было бы понятно, но мне было уже под тридцать, оттого мне так трудно делать столь наивное признание.

Вероятно, это самое угадал во мне Горький в самом начале моего писательства, и когда впервые мы с ним встретились в Финляндии и обнялись и наперебой стали друг другу рассказывать о святом своем ремесле, то Горький так и назвал это наше ремесло выходом, потому что одному так досталось от жизни, другому иначе, а как выход нашелся, об этом каждый рассказал по-своему.

— Да, да, — повторял Горький, — для нас с вами искусство было единственным и верным выходом!

Много мы говорили с Горьким в ту первую нашу встречу, но самое главное, что осталось мне от нее, это сходство лучей жизни в нашем разговоре о выходе.

Как теперь все становится понятным! Ах, живите же, люди, живите, как можно дольше, не обрывайте легким выходом трудную жизнь, пока наживете сознание на всей собственной жизни, и тогда, поверьте, все ваше лучшее оправдается. При свете этого сознания становится мне теперь понятным, в чем самая сущность освободительной силы искусства. На опыте собственной жизни я могу сказать, что при первом же веянии той большой правды искусства я почувствовал страстное желание морить свой одинокий эгоизм, глушить все иные свои желания, кроме единственного, и так вырастали все мои «надо», как берега реки, и сама живая вода — мое «хочется».

Да, не в одном только «хочется» состоит сущность искусства — это не искусство, а глупый снобизм. Искусство состоит в борьбе своего собственного «хочется» со своим же собственным «надо».

Матери своей я обязан во всем, что учила меня всегда наклоняться к земле, когда старая няня потеряет что-нибудь, и ползать на коленках до тех пор, пока не найдешь для старушки потерянного.

Когда меня стали печатать, я считал про себя, что мой главный читатель — моя мать и это для нее я пишу. А когда она умерла, я подчинился жизненному закону, любимое не умирает, а после исчезновения своего живет в тебе самом, как живая, движущая тебя сила.

Много лет должно было пройти, прежде чем мой выход определился. Много в дубахросло годовых кругов древесины, а в людях сознания, прежде чем я понял наконец этот выход вполне и хотел бы раскрыть в теме

своей работы «Искусство как поведение».

А если я ее так и не напишу, то после меня кому-нибудь это, наверно, удастся, и я знаю, мой камешек в основе этой светооткрывающей книги непременно будет лежать.

ВСТРЕЧА С РЕДАКТОРОМ

Спросить бы кого-нибудь, что легче и что труднее: написать о своей собственной любви или, скажем, о нефти?

По-разному ответят даже и на такой простой и, может быть, нелепый вопрос. Но за себя, конечно, могу я ответить, что мне гораздо проще написать о любви, чем о нефти, и я сейчас скажу, почему о нефти написать для меня много трудней.

Было время, когда я занимался торфом, вовсе не имея в виду того, что лет так через сорок я напишу о нем повесть «Кладовая солнца». Сначала я занимался торфом теоретически, как агроном. Потом перешел к болотам, записывая сказки людей, живущих издавна по берегам великих наших торфяных залежей. В третьем фазисе своей жизни я подошел к торфу как страстный охотник. После всех этих опытов я почувствовал в торфе как бы родную материю и, когда понадобилось, написал о нем повесть в одну неделю, и почти всякий читатель теперь скажет, что о торфе написано у меня не хуже, чем я писал о любви.

Конечно, не с одним торфом у меня так вышло показательно, что можно и о торфе писать, как о любви. Я о многом чуждом и далеком мне поначалу пробовал писать. И когда что-нибудь удавалось, всегда казалось мне, будто я сам приблизил к себе особым усилием предмет моего изображения. И что всякий поэт в душе может сделать то же, если пронзительно и остро его внимание к жизни.

Но что я мог сказать о нефти лет тридцать тому назад, если она для меня вся была где-то далеко, неприкосновенная, и чувствовать ее как живую солнечную энергию я никак не мог?

В первые годы революции мое участие в ней как писателя в этом и было, чтобы научить писать всех молодых людей во всем по себе: писать, как учил Грибоедов.

Правда этой моей домашней философии не умерла в борьбе за себя, и сейчас я держусь ее не меньше, чем было в то время, когда очерк как

литературная форма был на первом месте и вся масса писателей молодых брала авансы и отправлялась в далекие края ловить синюю птицу. Я был много старше этих молодых людей, но замечательно, что мой литературный путь давно перед этим тоже начинался устремлением в какую-то страну непуганых птиц, и в моем опыте даже было так, что этим путем я к чему-то пришел, освоил его и за свой поэтический очерк мог хорошо постоять.

Много было разных споров, но в конце концов мой путь был ласково отстранен, и вот именно за то, что он был рассчитан не на обыкновенного газетного корреспондента, а на поэта, хотя бы даже такого, как я, просто поэта в душе.

Сам ведущий писатель А. М. Горький, желавший мне только добра, бессознательно провалил мою затею такими словами: «Пришвину угодно свои поэмы называть очерками».

Но я и сейчас не соглашаюсь с Горьким: никаких настоящих поэм в моих очерках не было, но поэзия была в них руководящим началом, каким она бывает всегда в народном языке, если кто умеет слышать и понимать этот язык.

Как ни просто это понимание, но все-таки надо родиться хоть немного поэтом в душе, чтобы понимать народную речь и самому так говорить и писать. Но есть путь, который обходит поэзию, и там она в скором деле не бывает нужна.

Свинцовым газетным языком каждый может писать. А языком всего народа, поэтическим и музыкальным языком писать очень трудно. Вот этот легкий свинцовый путь языка покатился от очерка к роману, и появилось такое неверное суждение, будто можно усвоить какой-то скорый метод и о всем написать. Вот потому-то теперь я и думаю, что на простой мой вопрос: что легче и что труднее написать — о любви или о нефти, найдется много таких, кто скажет, что о нефти писать много легче.

Так вот и мы разошлись, и многим покажется непонятным, почему же я-то сам тянусь к очеркистам и не хочу называть себя настоящим поэтом?

Это вот отчего: до того много я чувствую в жизни поэзии, начиная с северных былин, кончая шепотом двух женщин у калитки, что как-то даже и стыдно себя самого называть поэтом. Мне стыдно, потому что искренно хочу оставаться с теми, кто относится к поэзии, как верблюд, переходящий пустыню, к воде: наливает в себя и, горбатый, потихоньку идет в долгий путь.

Так и я хотел бы относиться к поэзии. И без этой воды поэзии — ведь правда, если глубоко заглянуть, ни один настоящий,

самый скромный, труженик не может и шагу ступить в своем жизненном деле.

Не меньше тридцати лет тому назад шел я по Тверской улице почти что в отчаянии. Мне очень хотелось написать о себе, о своем детстве, о своей любви, о том, как в искусстве слова нашел я разрешение многих чисто нравственных вопросов. Но жизнь в то время так вела, что об этом стало неловко как-то писать, и я, уступая давлению времени, взял на себя труд написать о нефти, и тем, как мне казалось, написать нечто для себя небывалое.

После томительной душевной борьбы я взял аванс в одной газете и купил билет для поездки в Баку. Как и не соблазниться! Разве не я был одним из зачинателей художественного очерка, начиная с «Края непуганых птиц»?

Я был задавлен тем душевным грузом, который лег на меня: ведь я не мог писать по-газетному, я должен был и о нефти писать, как о любви, и для меня это было почти как подвиг.

Так я шел в отчаянии, и, как со мной часто бывает, в такие минуты отчаяния является мне на помощь мой неведомый Друг.

Этим другом оказался тогда редактор журнала «Новый мир». Так пришлось в трудную минуту, что этот умный и опытный человек на стуле редактора влиятельного журнала мне вдруг почему-то показался простым и располагающим к откровенности. Простым он был еще и потому, что никакой дипломатии или покушения на право мое оставаться самим собой у него не было. Мы встретились с ним, как издавна встречаются у нас на Руси молодые люди и говорят до петухов в мечтах о высоких вещах, хотя мы оба были уже далеко не молоды.

Мы пошли с ним в какой-то маленький ресторанчик, спросили вина и заговорили. О чем говорили, я хорошо помню и никогда не забуду.

— Меня, — говорил я, — на Руси перед выбором дела всегда встречает верный и безобманный закон обязательного выбора труднейшего: сделать трудное, а легкое само делается. Трудно в нефти найти и показать спрятанную под землей солнечную энергию, еще труднее приблизить ее к человеку и показать всем как нечто еще до сих пор невиданное, небывалое.

— Вы убьете себя на этом невозможно трудном деле, — сказал редактор, сделайте лучше так: покажите в описании своей собственной жизни, как зародилось, с чего взялось это стремление ваше к небывалому. Вам это сделать легко, а молодые пусть возьмутся за нефть и постепенно доберутся вашим следом и до солнечной нефти и, может быть, дойдут до мысли о преобразении всей природы.

В конце последующего длительного молчания я вынул из кармана договор с газетой и билет в Баку.

— Есть еще время возвратить и то и другое, а вы пишете автобиографический роман для нашего журнала и берите аванс, — сказал редактор.

Так и начался мой роман «Кашеева цепь».

ЛЕСНАЯ ТРОПА

В чувстве природы таится, как я понимаю, и мое чувство родины, в делах же моих определяется мое отечество. Проще говоря, все мое странничество, вся моя «охота» исходит из моего чувства родины, а собрание моих сочинений — это мой паспорт в отечество.

Слово, только слово было моим кораблем, на котором я плыл из недр природы в свое отечество. Но не в корабле, конечно, дело, а в самом движении и направлении. Не на одних только кораблях народ движется в свое отечество.

Некоторое время, пока я не понял, что кораблик мой плывет по верному пути, мне казалось удивительным, почему моя каждая работа о природе непременно выводит к людям. Тот край, например, который избрал я для первого своего изображения, впоследствии стал замечательным краем, по которому прошел Беломорский канал. По моей Журавлиной родине, где в мое время водились в таком множестве журавли, теперь прошел Московский канал. А моя река Нива, озеро Имандра, Хибинские горы, где я охотился на оленей и где описывал полуночное солнце! А мое маленькое Плещеево озеро, где я написал «Календарь природы», — оно больше всех удивило меня.

Помню, когда я жил на этом озере в одном заброшенном дворце и каждый день, начиная с первых дней весны света, записывал, будто я капитан и земля — мой корабль. И как тосковал я, что я тут один, что не могу созвать людей на этот праздник света, цветов, великолепных дуновений весеннего ветра и всяких чудес. А когда через десять лет множество людей прочитали «Календарь природы» и я приехал побывать в тех местах, то со мной были невидимо все мои читатели, и я с восхищением чувствовал, что на этом празднике весны они все присутствуют, и знал, что участвую в их собирании, и что, значит, путь мой

правильный, и что я не скитаюсь один по земле, а с многими плыву по верному пути в свое отечество.

Но нет, не на корабле плыву я в океан. Там, на кораблях, есть и компас, и руль, и на всяком месте определяются по звездам. Я не на корабле плыву, а лесной тропинкой иду в свое отечество, и тропа моя выбита босыми ногами многих людей.

Конечно, и мотор сделан руками человеческими, на воде и в воздухе твой предшественник непременно с тобой. Но там, на воде, поглощающей след, и в воздухе больше иллюзий в том, что ты совершенно один и не имеешь предшественников. На лесной же тропе часто даже своими собственными глазами видишь след босой ноги человека, и прямо по нем идут, присоединяясь, следы разных зверюшек и птиц.

Тропинка в лесу — это самая интересная книга, какую мне в жизни только приходилось читать. Не для тебя, конечно, начинал тропу человек. Он, может быть, поселился где-нибудь один, и стал ходить на базар в город, и размножился, возникла целая деревня в лесу, и расчистился лес большим кругом, и такой привычной стала тропа в город, что даже маленькие дети стали бесстрашно в город ходить по тропе. А что лучше может быть на тропе следов босых детских ног?

Конечно, каши не сварить из таких следочков, но поэзия не кашей питается, а только любовью: бесконечно трогательны на тропе следы твоих неведомых друзей. Бывало, не раз встретишь через много лет человека, а ты его уже забыл, а он тебя все помнит, и радуется, и просит посидеть на корнях дерева покурить и побеседовать.

И нигде на свете я не встречал такой любовной, в смысле добровольности, связи животных с человеком. Кто его просит, глухаря, выходить на песочек, открытый из-под мошка ногой человека? А поди-ка, вот нравится песочек дикому глухарю, выходит, клюет камешки, чешется, моется песочком, выберет солнечный луч, разомлеет в нем, ямку выкопает, ляжет...

Очень все привыкают и даже облениваются на благодетельной для всех тропе человеческой. Сколько раз случалось — белая куропатка со множеством детенышей тонким слухом своим поймет ход человека даже и на мягком мху. Вытянет шею в твоём направлении, ждет, и детеныши, подражая матери, тоже все вместе шейками вверх стоят, весь выводок, как опрокинутая борона.

Все думают вместе, одной материнской головой, что им следует делать: бежать или прятаться. Ну, конечно, не хочется и птицам покидать благодетельную тропу человеческую, спрячутся тут же за кочкой.

Заметишь это, покосишься на то место, где они залегли, и, посмеиваясь, дальше пойдешь...

Случалось не раз идти по бревнышкам, постеленным на версты, конечно, тоже людьми. И вот какая тропа складывается из этого человеческого дела при поддержке природы. На диком болоте, где чахлые елочки стоят по колено в черной, густой, как сметана, воде, возле бревнышек вырастает трава иван-чай почти в рост человека, с красными цветами, а если нет, то спирея, пышная и белая, как облако, с медвяно-ароматным запахом, привлекающим к себе насекомых. Тут, на бревнах, какие-то еще бесчисленные жучки-паучки собираются, мышки разные лесные, белка, задрав хвост, лупит впереди тебя по этим мостикам, трясогузки, поползни, птички-синички всех пород охотятся на глазах. Змея, заслышав шаг твой, медленно развертывается, так неохотно сползает в болото с такого приятного, надежного места.

И до того много всего на тропе: то и дело видишь, как наверху ветка качнулась, — это, и по слуху догадываешься, какая-то птица спорхнула или внизу дрогнула еловая лапка. Подтянешься на цыпочках и, бывает, успеешь схватить и догадаться, какой это зверек тут сидел и от твоих шагов убежал.

И вот больше всего что удивительно: обильней и тесней всякой жизни, кажется, нет нигде места, как на тропе, и в то же самое время никто никому не мешает, и все обязаны убежищем своим на диком болоте одному только человеку.

Есть тропы такие в нашем отечестве, что за сотни верст вокруг нет не только железных, а просто дорог, тропа — единственный путь через тайгу. Первые люди, пробивая для всех эту тропу, позаботятся и о бревнышках для отдыха и беседы и называют эти лавочки даже «беседками».

Вот случалось иногда мне сбиться с такой тропы, ну, уж тут и погибель недалеко.

Однажды случилось сбиться ночью с тропы куда-то в болото, и я понял: это болото то самое, какое идет к Печоре за сотни верст. Я завернул в ту сторону, где, по моим расчетам, должна быть тропа, но почему я мог знать, что и тропа эта завернула и я параллельно ей в бесконечность леса иду...

И вдруг на болоте, вдали, я увидел на рассвете среди мхов тонкие стебли и метелочки сладких злаков, столь необычных в болоте. Тонкая стена просвечивающих злаков как будто пересекала болото, и прямизной своей производила необычайно радостное впечатление, и заставляла сердце биться, в то время как ум еще не смел признать эту прямую человеческим делом в мире кривых веточек клюквы, обвивающих кочки сфагновых мхов.

И какая это была радость узнать, что это нога человеческая, обминая мох, уводила от него воду в тропу, осушала почву и на краях этих обминок тонкой стеной вырастали сладкие злаки.

Так издали по метелочкам злаков я узнал тропу человеческую и был спасен.

По сухой ли тропе на песочке, по замшелым ли бревнам на болоте, — на всякой тропе я, как хозяин и зачинатель, иду в полном радостном согласии с тем, кто прошел раньше меня, и в каждой избушке на пути своем пользуюсь оставленными для меня предшественником дровишками и часто сам готовлю дрова для идущих за мною, а бывает даже, оставляю и свою коробочку спичек.

Я увлекся рассказом о лесной тропе, но веду я свое слово к тому, как через писательство я нашел своих друзей и через них свое счастье.

С детства меня учили, что такое счастье невозможно, что для большого, настоящего счастья нужно всю душу свою положить за друзей и самому остаться ни с чем.

Но в долгой жизни оказалось, что тоже, конечно, отдаешь душу за друзей, только и добрые друзья, поняв достойного человека, пока он еще не отдал им всего себя, сами ему начинают служить и обильно, во много раз больше, платить за его добро.

Не часто выходит такая гармония, но я не о гармонии...

И вот скажу теперь, что был в лесу добрый медведь, и его полюбили, и когда он попал ногой в медвежий капкан и заревел, то вместе с ним и весь лес заревел.

Мало счастья было медведю, что попал он в капкан и заревел, но все-таки, правда же, много легче. Даже скажем и так: большое счастье досталось медведю, что, прощаясь с ним, как с другом, весь лес заревел.

Вот мне и кажется, будто я, как и весь русский человек, этим счастьем силен!

ВМЕСТО ПРЕАМБУЛЫ

В. Чуваков

(О романе М. М. Пришвина «Кашеева цепь»)

Весной 1917 года М. М. Пришвин, унаследовавший после смерти матери небольшой хутор, уехал из Петрограда на родину под Елец, намереваясь применить на практике свои знания ученого-агронома. Несколько позже он перебрался с семьей на родину жены, в Смоленскую губернию, в деревню Следово под Дорогобужем. М. М. Пришвин преподает в сельской школе, организует в селе Алексине, бывшем имении И. С. Барышникова, музей усадебного быта, работает на сельскохозяйственной станции, основанной еще до революции известным ученым-почвоведом А. Н. Энгельгардтом. Однако переезд писателя на жительство из столицы в глухую провинцию объяснялся не только конкретными обстоятельствами жизни М. М. Пришвина. Главным и определяющим было его стремление в переломную историческую эпоху связать свою жизнь и судьбу интеллигента с жизнью народа, проникнуться «народным сознанием» и найти в нем для себя опору. 26 мая 1920 года М. М. Пришвин записывает в дневник: «Нам, писателям, нужно опять к народу, надо опять подслушивать его стоны, собирать кровь и слезы, и новые души, возвращенные его страданием, нужно поднять все прошлое в новом свете» [Контекст 1974. Литературно-теоретические исследования. М., Наука, 1975, с. 323]. Это один из ранних откликов М. М. Пришвина на Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Призывая писателей «опять к народу», он ясно определяет свою гражданскую позицию, отделяет себя от тех литераторов, которые, не приняв Великого Октября, ушли в лагерь белой эмиграции. С другой стороны, программное заявление М. М. Пришвина о необходимости «поднять все прошлое в новом свете» свидетельствовало о том, что уже и тогда социалистическая революция в России была воспринята им как важнейшее историческое событие, знаменующее собою коренную ломку всего старого уклада жизни. Что же касается «стонов», «крови» и «слез», то здесь нужно отметить, что для М. М. Пришвина, размышлявшего над судьбой Родины в первые годы Советской власти, носителем подлинного «народного сознания» был не революционный пролетариат, а многомиллионное русское крестьянство.

Способна ли отсталая, темная, «мужичья» Россия воспринять идеалы Великого Октября? Этот вопрос волновал и тревожил М. М. Пришвина, потому что ответ на него имел самое прямое отношение и к его собственной жизни, писательской судьбе. Оказавшись в самой гуще народной жизни, М. М. Пришвин стремился связать свои гуманистические убеждения, свою любовь к народу с реальным «делом» строительства новой жизни. В деревне, отрезанной снежными заносами от ближайшего города, Пришвин заполняет страницы своего дневника наблюдениями над жизнью и бытом крестьян, по существу еще очень далеких от понимания смысла победы Великого Октября, но приветствовавших ниспровержение старой, угнетавшей их власти.

Осенью 1921 года М. М. Пришвин задумывает написать книгу в форме дневника, в которой были бы «вкраплены» художественные произведения. 11 декабря 1921 года, продолжая размышлять над будущей книгой, он пишет, что хотел бы изобразить в ней и себя самого в «образе хранителя Музея усадебного быта, помещенного в пяти уцелевших от разгрома комнатах бывшего Алексинского дома». В той же дневниковой записи М. М. Пришвин пытается для себя определить, как в его новом произведении субъективное «Я» автобиографического рассказчика, от лица которого должно будет вестись повествование, должно сочетаться с объектом отображения — народной жизнью. Для писателя это проблема соотношения духовного (личность героя) и материального (окружающая среда). Первоначально в центре внимания М. М. Пришвина оказываются теневые, отрицательные стороны народного быта, унаследованные от прошлого: корысть, стяжательство (одно время М. М. Пришвин полагал, что его новое произведение будет продолжением опубликованного еще в 1916 году рассказа «Чертова ступа», позднее название «Косыч»), повальное пьянство (набросок «Чан»). М. М. Пришвин высказывает опасение, что крестьянство, освобожденное Великим Октябрем от векового рабства, долгое время не сможет перейти от труда «рабьего», подневольного к труду свободному (набросок «Раб обезьяний»). Социалистическая революция избавила мужика от гнета помещиков, но как скоро народ осознает себя новым хозяином? Еще в рассказе «Адам» (1918) М. М. Пришвин изображает бессмысленный разгром крестьянами покинутой баринской помещицкой усадьбы. Особенно тревожит писателя проблема охраны природы и разумного, бережного использования ее богатств. С болью отмечает М. М. Пришвин факты порубки мужиками лесов, ставших по их понятиям «ничьими» после бегства помещиков, и об ущербе, наносимом бывшим охотничьим угодьям. И конечно, писателя не могла не волновать

задача охраны памятников архитектуры и произведений искусства.

15 апреля 1922 года М. М. Пришвин начинает и 29 июня заканчивает повесть «Мирская чаша» [Пришвин М. М. Собр. соч., т. 2. М., Худож. лит., 1982.]. Ее заглавие символизирует братство, единство людей, которые через страдания, муки, лишения идут к новой, счастливой жизни. На страницах «Мирской чаши» запечатлено много примет того неповторимого времени, переданных через восприятие их автобиографическим героем повести интеллигентом-демократом Алпатовым. Нельзя не отметить, что окрашенный в евангельские, христианские тона гуманизм Алпатова явно усложняет и драматизирует совершающийся в нем самом процесс перехода на позиции гуманизма социалистической революции. Но обращает на себя внимание и то, что в процессе работы М. М. Пришвина над «Мирской чашей» соотношение между автобиографическим героем и изображаемой писателем средой претерпевает существенные изменения. Хотя автор и относит действие повести к 1919 году, конкретный материал таких глав, как «Ампирный дворец», «Музей усадебного быта», «Сфинкс», «Чан», «О хлебе едином», принадлежит 1921 году, что подтверждается дневником М. М. Пришвина. Именно эти главы «Мирской чаши» убеждают в том, что писатель, отмечавший даже малейшие перемены в жизни деревни и в сознании крестьянства, преодолевает некоторые мучившие его сомнения. Новые впечатления М. М. Пришвина отодвигают на второй план возникший вначале в сознании автора собирательный образ «Раба обезьяньего», который блекнет, вступая в противоречие с тем конкретным жизненным материалом, что черпал автор из обновляющейся действительности.

Крестьянская масса изображена в «Мирской чаше» неоднородной, настороженно присматривающейся к новой, Советской власти в «гЪроде», к которому мужик издавна испытывал неприязнь, поскольку «город» и олицетворял для него старую власть. Задумываясь о перспективах утверждения в России социалистического строя, М. М. Пришвин обращает внимание на то, что ненависть крестьянства к уничтоженному революцией буржуазно-помещичьему строю ставит перед молодой Советской властью ряд сложных задач. И одна из них — это преодоление анархических настроений среди значительной части крестьянства, неприемлющей всякую власть, исходящую из «города». В главе «Чан» писатель, создавая выразительный образ злейшего врага Советской власти барона Кыша (сына попа, бывшего семинариста), отцовскую хитрость развивающего «на пути демократическом и прогрессивном», подчеркивает, что анархические настроения «безвластия» среди мужиков — это то оружие, которое

побежденный, но еще не сметенный полностью Великим Октябрем старый мир пытается обратить против строительства новой жизни в деревне. С большой художественной силой и глубокой правдивостью М. М. Пришвин изображает в «Мирской чаше» раскол в самом крестьянстве, обусловленный отношением к Советской власти. В главе «Контрибуция» представитель Советской власти в деревне матрос Персюк, ассоциируемый в сознании Алпатова с образом Петра 1, карающего стрельцов, убивает родного брата Фомку — связного в банде барона Кыша. Создавая один из ранних в советской литературе образ коммуниста, М. М. Пришвин остро полемизировал с романом Бориса Пильняка «Голый год». «Это не быт революции, — возмущался М. М. Пришвин в дневнике (запись от 9 августа 1922 года), — а картинка, связанные литературным приемом, взятым напрокат из Андрея Белого. Автор не смеет стать лицом к лицу к факту революции и, описывая гадость, ссылается на великие революции». Продолжая спор с Б. Пильняком, М. М. Пришвин писал ему 24 августа 1922 года: «Главный пункт нашего разногласия в оценке Персюка. Персюк мой вовсе не дурной человек, он высоко чтит образование <...>, он ценит «гуманность» и человек долга <...>, кроме того, он человек воли и дела («похож на Петра Великого»), — что подчеркнуто». Вместе с тем нужно признать, что сомнения, мучительные борения с самим собой героя «Мирской чаши» Алпатова, отвергающего насилие вообще, были близки настроениям самого М. М. Пришвина той поры. Поэтому в повести он, Алпатов, противостоит Персюку как идеальная личность, пытающаяся идти по крестному пути страдающего Христа. Для М. М. Пришвина и его зеркала в повести Алпатова не все вопросы строительства новой жизни, подсказываемые реальной действительностью, находили удовлетворявшее писателя объяснение. Это не могло не сказаться и на «Мирской чаше». Ее пестрый и многообразный фактический материал получил разную степень художественного осмысления. В первой главе «Ампириный дворец» ставится проблема охраны культурных ценностей и приобщения к ним еще находящегося на низкой ступени духовного, культурного развития крестьянства. В этом случае автор стоит над изображаемым, и иронический тон повествования, конечно, проистекает в данном случае от четкости, определенности авторской позиции, верно улавливающей историческую перспективу. И напротив, другие главы повести, когда М. М. Пришвин еще не может разрешить своих сомнений, представляют собой как бы стенографические записи споров, разговоров, размышлений с самим собой. Приметы времени, показ событий в их движении, становлении, постоянной изменчивости — все это в «Мирской чаше» создает тот конкретный и

реальный фон, на котором выделяется фигура Алпатова. «Мирская чаша» — своеобразное житие русского интеллигента, проходящего разные испытания и искушения на своем пути к народу. Важное значение в повести приобретает глава «Мистерия» (бред больного Алпатова), являющаяся своего рода пародией на поэму Андрея Белого «Христос воскрес» (1918), в которой Октябрьская революция изображена как «мировая мистерия». В больном сознании Алпатова вновь возникают образы крестьян, слышится разноголосица споров, суждений, в которых надо разобраться и самому герою произведения. В подсознании Алпатова все больше уясняется смысл активного, жизнеутверждающего гуманизма, который принесла и утверждала в глухой русской деревне социалистическая революция. По словам автора, «Алпатов, человек после смертельной болезни, принимает мир со всей печалью и радостью, готовый всегда умереть, преодолевает животный страх смерти и через это обретает счастье».

При жизни М. М. Пришвина (в 1922 году) было опубликовано только несколько отрывков из «Мирской чаши». И на это были свои причины. Сразу же после завершения повести М. М. Пришвин в декабре 1922 года начинает писать автобиографический роман «Кашеева цепь». В нем он совершает «прыжок в прошлое» героя «Мирской чаши» Михаила Алпатова, обращаясь к его детским и юношеским годам. Первые главы романа писались М. М. Пришвиным в деревне Дубровка близ Талдома Московской области. «Кашееву цепь» он называл «очерком своей жизни». Хронологические рамки романа намечались автором от конца царствования Александра II (1870-е — начало 1880-х годов) и до современности. «Мирская чаша» должна была войти в роман как одна из его составных частей.

Воссоздавая картину русской социальной и общественной жизни конца XIX — начала XX века, М. М. Пришвин, верный исторической правде, создает в «Кашеевой цепи» образы разоряющихся, теснимых «банком» дворян-помещиков и богатеющих сибирских купцов-колонизаторов, батраков, безземельных крестьян и духовенства, провинциальных интеллигентов-народников и первых марксистов-подпольщиков. Примыкая к таким классическим в русской литературе образцам «семейных жизнеописаний», как трилогия «Детство», «Отрочество» и «Юность» Л. Н. Толстого, «Семейная хроника» и «Детские годы Багрова-внука» С. Т. Аксакова, «Кашеева цепь» имеет и весьма существенное от них отличие. Это — философский роман, в котором на первый план вынесена личность автобиографического героя, проходящего

трудный путь познания себя и окружающего его мира. Что же касается отображенной в «Кашеевой цепи» предреволюционной эпохи, то ей в романе отведена роль социального и бытового фона. Историческая действительность со всеми ее реалиями и подробностями предстает в романе М. М. Пришвина сквозь призму восприятия ее Курымушкой-Алпатовым — художественно одаренной натурой, обостренно воспринимающей всякую несправедливость и верящей в силу добра. Автор романтизирует своего героя, приподнимает его над будничностью «бытия», в какой-то мере любит его. Жизнь Курымушки-Алпатова — это, по словам М. М. Пришвина, «медленно, путем следующих одна за другой личных катастроф, нарастающее сознание». Движущей пружиной сюжета романа является с большой тщательностью прослеживаемый автором самый процесс движения мысли героя «Кашеевой цепи», который «ставит свою лодочку на волну великого движения» и чье личное «хочется» определяется «в океане необходимости всего человека» [Пришвин М. Незабудки. М., Худож. лит., 1969, с. 35.]. Образ Курымушки-Алпатова — это не фотография молодого М. М. Пришвина, а более высокая, философски осмысленная ступень художественного обобщения и типизации конкретного автобиографического материала. Художественное своеобразие «Кашеевой цепи» в том, что познание будущим писателем Курымушкой-Алпатовым социальной действительности и своего места в ней представляет собой акт творчества, выражающийся в преобразовании результатов наблюдений героя над жизнью и его выводов в систему обобщенных символических художественных образов. Символический смысл имеет уже заглавие романа. «Кашеева цепь» у М. М. Пришвина — это, во-первых, собирательный образ социального зла, а во-вторых, условное обозначение всего дряблого, слабого, безвольного, что таится в душе человека и мешает ему выявить свое «я». В соответствии с философской концепцией романа автор называет его части «звеньями» той злой «Кашеевой цепи», которые Курымушка-Алпатов на своем пути к свободе должен разорвать. «Из своего детства, отрочества и раннего юношества я сделал сказку, которая еще не совсем пережилась мной, радуется меня», — писал М. М. Пришвин в 1925 году в «Автобиографии».

Курымушке-мальчику близок мир народной фантазии, который он населяет персонажами, взятыми из действительности. Неудачный побег Курымушки-гимназиста в таинственную и далекую «Азию» и развеянная при столкновении с действительностью наивная мечта о сказочной стране «Золотых гор» — начало проходящей через весь роман темы любви к Родине. Детство М. М. Пришвина прошло в небольшом имении в Елецком

уезде. Наблюдения над жизнью малоземельных крестьян в сознании Курымушки оформляются в легенду о «втором Адаме», который пришел на землю, когда «первый Адам», изгнанный богом за грехи из рая, уже заселил ее и для «второго Адама» свободной земли не осталось. Поиски счастливой страны «Золотых гор» для себя Курымушка в легенде о «втором Адаме» связывает с мечтой крестьянина-хлебопашца о свободном труде на своей земле. Впоследствии легенду о «втором Адаме» М. М. Пришвин называл одной из «главных» своих «жизненных тем». Прекрасная страна «Золотых гор» из сказки у героя «Кашеевой цепи» конкретизируется в поэтический образ зачарованной злым Кашеем, опутанной его цепями Родины, с ее несметными природными богатствами, с ее ширью, привольем, красотой, очищающей и возрождающей душу Михаила Алпатова. Вообще реальная действительность в романе сопряжена со сказкой, и наряду с реальным миром в «Кашеевой цепи» как бы сосуществует и другой, отраженный, сотканный из фантазии. Так, когда Алпатов читает работу Карла Маркса «К критике политической экономии», для него приобретает особый, «сказочный» смысл образное выражение К. Маркса о «золотой куколке», в которую превращаются все товары, а когда Алпатов переводит книгу Августа Бебеля «Женщина в прошлом, настоящем и будущем», то женщина будущего ассоциируется у него со сказочным образом Марьи Моревны. В этом смысле роман М. М. Пришвина дает материал для уяснения роли народного миропонимания и фольклора в становлении личности героя.

Особо следует остановиться на сложных взаимоотношениях героя «Кашеевой цепи» с природой. Не случайно многие главы романа носят такие названия, как «Аромат земли», «Светлолюбивая береза», «Флора и фауна», «Ток». Для Курымушки окружающий его с детства мир природы одухотворен, полон внутреннего очарования и тайны и, пробуждая фантазию мальчика, связывает его «сказку» с действительностью. Впоследствии Алпатов, с его сознанием «среднего интеллигент-материалиста», порвавший с практикой революционной борьбы («марксизм» его, по существу, был доктринерским пересказом чужих мыслей!) и переживший разрыв с невестой Инной Ростовцевой, обращается к природе, как воплощению «естественных законов» бытия, где «нет существенной разницы между человеком и зверем». Привнесение же в эти законы природы «чуда» любви и является началом творчества. Агроном Алпатов хочет осушить озеро, превращенное Кашеем в болото, и вернуть людям забытую ими легендарную «Золотую луговину». Картина весеннего ледохода на реке, которую видит Алпатов, вернувшийся на Родину из Германии, приобретает аллегорический, иносказательный смысл.

Это и напоминание Алпатову о детстве (из глубины его сознания всплывают сказочные образы Снегурочки и царя Берендея), и предвещение будущего (грязные льдины кажутся Алпатову разбитыми звеньями Кащеевой цепи).

В ходе работы над романом его план усложнился, хотя М. М. Пришвин, несмотря на переживаемые им сомнения, остался верен поставленной им вначале творческой задаче. Постепенно автор пришел к заключению, что «Кащеева цепь» должна состояться из трех романов, объединенных композиционно и личностью автобиографического героя. Проследив эволюцию центрального персонажа, М. М. Пришвин писал в 1933 году. «В романе Алпатов посредством любовной катастрофы со своих теоретических высот сведен вниз, к грубейшей жизни, где все его лишнее, не свое, мечтательное, нереальное уплывает весной в виде старых льдин, а сам Алпатов, присоединяясь чувством к реву весенней торжествующей жизни, принимается за дело». Автор предполагал закончить «Кащееву цепь» и проститься со своим героем в тот момент его жизни, когда Михаил Алпатов «понял себя самого как художника». К сожалению, этот замысел остался нереализованным. Из трех задуманных книг написаны были лишь две. Работу над третьей книгой М. М. Пришвин начал в 1943 году, но вскоре прервал ее, отвлеченный другими творческими планами («Повесть нашего времени», «Кладовая солнца»). Сохранившиеся в архиве писателя наброски третьей книги романа посвящены периоду первой мировой войны. В 1954 году, завершая вторую книгу «Кащеевой цепи» главой «Искусство как поведение», М. М. Пришвин пояснял: «Где уж тут в мои восемьдесят лет написать мне роман до конца! Но мне кажется возможным рассказать здесь об Алпатове, как он сделался писателем после того, как «ушел в природу».

Первое звено «Кащеевой цепи» — «Голубые бобры» — было закончено М. М. Пришвиным 12 февраля 1923 года. Первая книга романа (три звена) с подзаголовком «Хроника» стала печататься в 1923 году в журнале «Красная новь» (кн. 3,4,5 и 7). М. Горький взволнованно писал автору 20 ноября 1923 года из Берлина: «Кащеева цепь» тоже — превосходно! Не потому, что я хочу ответить комплиментом на Ваш мне комплимент, а — по совести художника говорю. Особенно понравилась мне глава «Кум». «Курымушка» — удивительная личность. И прекрасный Ваш язык говорит через разум читателя прямо душе его» [Горький М. Собр. соч. в 30-ти т., т. 29. М., Гослитиздат, 1955, с. 417 — 418]. Под названием «Курымушка. Повесть в 3-х частях» три первых звена «Кащеевой цепи» были выпущены в 1924 году издательством «Новая Москва». Готовя

«Кашееву цепь» для отдельного издания, М. М. Пришвин заменил заглавие третьего звена «Второй Адам» на «Золотые горы». Посылая «Курымушку» М. Горькому, автор сделал на книге такую надпись: «Юному сердцу Алексея Максимовича с родственным чувством. Михаил Пришвин, З.Ш.25, Москва». «Я сейчас работаю над продолжением «Кашеевой цепи», — писал М. М. Пришвин М. Горькому 1 декабря 1925 года, — то был Курымушка гимназистом, теперь будет студентом — эпо— . ха начала марксизма (золотая валюта, винная монополия и т. д.). Мне представляется, что если я напишу это, то вся современность так и раскроется, но это, Вы знаете, всегда что-то представляется, а выходит то, что надо. Трудная работа, упрямая, но, судя по первым трем книгам, все-таки дело свое проверну» [Лит. наследство, т. 70. М., Изд-во АН СССР, 1963, с. 328.].

В дальнейшем «Кашеева цепь» печаталась в журнале «Новый мир». Если первые звенья романа («Курымушка») критика приняла с единодушным одобрением, то продолжение — «Юность Алпатова» — вызвало у рецензентов разные суждения, которые касались как романа в целом, так и образа Алпатова.

Впрочем, и сам М. М. Пришвин был не удовлетворен «Юностью Алпатова», о чем признался 3 октября 1926 года в письме к М. Горькому: «Эта «Юность» меня раздражает: она «рациональна», скучновата, необходима, однако, перед звеном «Любовь» <...> А «Любовь» эту я хочу написать так, чтобы избежать в ней ошибок моей действительной любви: я не понимал в юности, что женщине, которую любишь, надо служить. Но, боже, как я усложняю свое писание, как далеко все от современности, как трудно об этом говорить, не написав...» [Там же, с. 334]

2 апреля 1927 года М. М. Пришвин известил М. Горького о выходе «Кашеевой цепи» в Госиздате. Теперь уже четверем звеньям романа в книге предпослано лаконичное авторское предисловие. «Кашеева цепь», — пояснял М. М. Пришвин, — задумана как цикл повестей, объединенных нарастанием событий в жизни Михаила Алпатова». Оставив без изменений текст первых трех звеньев («Курымушка»), писатель пересмотрел журнальный текст «Юности Алпатова», заменив заглавие четвертого звена на «Бой». Эпизод о зайце Пришвин переносит в начало книги и делает его своеобразным «зачином» уже для всего романа. В журнальной публикации «Юности Алпатова», отвечая читателям «Курымушки», принявшим ее «как автобиографию и семейную хронику», М. М. Пришвин писал: «Я против этого ничего не имею, лишь бы только с интересом читалась эта повесть без настоящих героев и без фабулы. А чтобы еще больше походило на жизнь, я назову в дальнейшем Курымушку настоящим человеческим

именем: пусть это будет Михаил Алпатов, младший из четырех сыновей хозяйки Марии Ивановны Алпатовой». Поясняя символику эпизода о зайце, М. М. Пришвин называет свой роман «сказкой», и очень близкой к его собственной жизни, и очень далекой. Во всех дальнейших переизданиях «Кашеевой цепи» автор каких-либо изменений в программный для него «зачин» романа не вносил.

В первом номере «Нового мира» за 1927 год М. М. Пришвин публикует пятое звено — «Весна света», которое мыслится им первой частью второй книги «Кашеевой цепи» (роман «Любовь»). 25 января 1927 года М. Горький писал автору: «Вчера с восхищением прочитал «Любовь», да и все мои читают ее также с радостью. Чудеснейший Вы художник <...> Особенно значительны те страницы «Любви», где Вы изображаете тюрьму» [Лит. наследство, т. 70, с. 338 — 339]. По-видимому, в том же году, посылая Ольге Форш первую книгу «Кашеевой цепи», М. М. Пришвин приложил журнальный оттиск «Любви»: «Я очень боюсь с «Кашеевой цепью» залезть пока в не дозволенный мне мир, перешагнуть свой предел и стать скучным, холодным» [Русская литература, 1973, No 2, с. 187]. Некоторые представления о плане второй книги романа дает письмо автора В. Полонскому от 17 мая 1927 года: «Вчерне у меня готово звено «Зеленая дверь», которая представляет из себя такую же цельную повесть листа в 2 1/2, как и «Тюрьма» <...> Надеюсь, что сдавая 1 августа «Зеленую дверь», я буду в том виде, как сейчас «Зеленая дверь», иметь новое звено «Vir ornatissimus russus», а когда это сдам — новое любовное и, наконец, брачное (все должно кончиться свадьбой). Мои звенья печатайте между другими романами, когда хотите, ведь роман мой весь разрывной и по замыслу...» [Новый мир, 1964, No 10, с. 199.]

Следующее, шестое звено «Кашеевой цепи» — «Зеленая дверь» — появилось в No 11 и 12 «Нового мира» за 1927 год. В No 4 «Нового мира» за 1928 год печатается седьмое звено — «Юный Фауст» — с авторским примечанием: «Хотя роман «Кашеева цепь» пишется так, что каждое звено его может считаться самостоятельным, все-таки не лишним считаю напомнить общее его содержание. В первом томе формируется личность с детских лет до убийства Александра II и до вступления юноши в цикл марксистских идей. Второй том — «Любовь» начинается изображением тюрьмы, в которой сидит Алпатов за свое «государственное преступление». К нему является невеста и предвещает ему скорое освобождение. Она зовет его по освобождении уехать учиться за границу и там ее разыскать...» До конца 1927 года в «Новом мире» публикуются звенья восьмое «Брачный полет» (No 5), девятое «Положение» (No 6) и завершающее вторую книгу

десятое звено «Живая ночь» (№ 7).

Обе книги «Кашеевой цепи» вошли в издававшееся в 1927 — 1930 годах Собрание сочинений М. М. Пришвина (т. 5 и 6).

Во втором издании Собрания сочинений М. Пришвина (М. — Л., ГИХЛ, 1929 — 1931) «Кашеева цепь» вышла с предисловием М. Григорьева «Пришвин и Берендеево царство». Без изменений роман (в двух томах) выпущен Издательством писателей в Ленинграде в 1932 — 1933 годах. В новом Собрании сочинений М. Пришвина (М., Гослитиздат, 1935 — 1939) автор дополнил роман циклом рассказов «Журавлиная родина» (1933), предложив их читателю в качестве третьей книги «Кашеевой цепи», но позже переменял свое решение.

За год до смерти М. М. Пришвин перечитывает свой роман. Дневниковые записи 1953 года свидетельствуют о глубоких размышлениях писателя как над своей творческой биографией, так и над судьбой автобиографического героя «Кашеевой цепи». Личная биография М. М. Пришвина и биография Алпатова никогда не были для автора равнозначны. Но по мере того как герой М. М. Пришвина взрослел, разрыв во времени между Алпатовым и автором все более и более сокращался. И перед писателем встала очень сложная задача: все так же используя факты своей (теперь уже писательской) биографии, избежать неизбежного «слияния» автора и героя «Кашеевой цепи». Дело в том, что, повествуя о жизни Курымушки-Алпатова, подводя героя к природе «как родине талантов», М. М. Пришвин предполагал для него иной вид творчества, не литературный. Третья книга «Кашеевой цепи» должна была рассказать о творчестве Алпатова инженера-торфмейстера, осушающего озеро-болото и превращающего его в «Золотую луговину». Теперь, заново перечитав роман, М. М. Пришвин решает написать к нему автокомментарий. 19 мая 1953 года он заносит в дневник: «Автобиографию, как предисловие, как смысл и вывод «Кашеевой цепи», начал было сочинять. И понял я, что «Кашеева цепь» есть песня мальчика о своей родине <...> Конец «Кашеевой цепи»: костер сгорел, началась открываться родина» [Пришвин М. Собр. соч. в 6-ти т., т. 6. М., Гослитиздат, 1957, с. 704.]. 2 июня 1953 года в дневнике появляется новая запись: «Отдамся работе над автобиографией, большой, включающей, как часть, всю «Кашееву цепь» [Там же, с. 707]. И еще, 24 июля 1953 года: «Надо приниматься за «Кашееву цепь», утопить эту книгу в автобиографии» [Там же, с. 733]. Но М. М. Пришвина не могло не волновать и другое. Возвратившись к своему роману после большого перерыва, он спрашивал себя — насколько художественный образ Курымушки-Алпатова близок и понятен современному читателю. Сумеет

ли он, читатель, рассмотреть за тем, что обусловлено в этом образе временем, ушедшей исторической эпохой (метания интеллигента в поисках личного счастья в революционной работе, в любви и, наконец, в природе), то, что составляет его главное содержание? 4 августа 1953 года М. М. Пришвин пишет в дневнике: «Начал внимательно читать «Кащееву цепь» и своими глазами уверился, что это очень ценная вещь и в своем роде единственная. И что самое главное, это роман не в прошлом, а скорее в будущем, что новой своей собственной редакцией я могу обратить на него внимание» [Там же, с. 735]. «Дочитываю «Кащееву цепь», — продолжает он развивать свою мысль в дневнике 24 августа 1953 года, — и понимаю так, что далеко я забежал в моем романе и что признание настоящее его еще впереди» [Там же, с. 747]. И наконец, запись от 25 августа 1953 года: «Начинаю не читать, а писать новую «Кащееву цепь» [Там же]. Интересны размышления М. М. Пришвина над судьбой героя романа. Дневниковая запись от 9 сентября 1953 года: «Алпатов ушел от себя самого в природу. Вот это, наверно, и было моей главной ошибкой в романе, что от себя самого невозможно уйти никуда и тем более куда-то «в природу» [Пришвин М. Собр. соч. в 6-ти т., т. 6, с. 755.]. Последняя запись от 6 октября 1953 года: «Вчера до конца понял себя и своего Алпатова, — в патриотическом творчестве и лично понятый марксизм обратился в патриотизм» [Там же, с. 766.]. Отказавшись писать третью книгу «Кащеевой цепи», М. М. Пришвин дополнил опубликованный текст романа двумя заключительными звеньями — «Искусство как поведение» и «Как я стал писателем», явившимися своего рода послесловием к этому произведению.

Для последнего издания «Кащеевой цепи» (вышло уже после смерти автора, в 1956 году) М. М. Пришвин подвергает существенной правке весь текст романа, напечатанный во втором томе его Собрания сочинений (М., Гослитиздат, 1936). Исключенная из первого звена глава «Абиссинская невеста» заменена двумя новыми: «Веточка малины» и «Хрущево». Для второго и третьего звеньев добавлены написанные в 1954 году предисловия (а для второго звена еще и послесловие «От автора»). В четвертом звене полностью снята глава «Теорема». Сокращены главы «Золотые горы» (третье звено) и «Акушеры» (четвертое звено). Опущена глава «Чан», ранее занимавшая место в четвертом звене между главами «Клавесины» и «Одумка». Кроме того, сличение текстов обнаружило еще тридцать четыре авторских исправления (вычерки, замены, устранение опечаток и проч.). Пометки М. М. Пришвина на листах наборного экземпляра «Кащеевой цепи» указывают на то, что и текст последнего прижизненного издания

романа автор не считал окончательным.

Среди многих реальных персонажей «Кашеевой цепи» назовем руководителя нелегальных марксистских групп в Ельце и Риге В. Д. Ульриха («Данилыч»), мать писателя (Мария Ивановна Игнатова), его дядю Ивана Ивановича Игнатова (Иван Астахов), двоюродную сестру народоволку Евдокию Николаевну Игнатову (Дунечка), философа и публициста В. В. Розанова (гимназический учитель географии по прозвищу «Козел»), Упоминаемый в четвертом звене (глава «Италия») безымянный художник, который «ушел в Италию», — родственник М. М. Пришвина по отцовской линии М. Н. Горшков (см. поздние рассказы М. М. Пришвина «Наш сад» и «Загадка»). Особо следует сказать об образе Ефима Несговорова. Под этим именем в «Кашеевой цепи» выведен революционер, «первейший» друг М. М. Пришвина, «очень хороший человек, честнейший до ниточки», будущий нарком здравоохранения Н. А. Семашко. Еще тогда, когда М. М. Пришвин только вынашивал замысел своего автобиографического романа «Кашеева цепь», он сопоставлял свой жизненный путь писателя с жизненным путем своего товарища — революционера-профессионала, большевика. В одном из писем того времени М. М. Пришвин рассказывал: «Я отражу события нашего времени. Чем проще писать, тем, конечно, труднее, но я всех богов прошу помочь мне, прийти на помощь, и быть как можно проще. Раскрываю вперед Вам мои материалы. Алпатов, живой герой, Вы его уже знаете, и другой, похож<ий> на него, но с иной судьбой, доктор, не знаю еще, как его назову. Множество людей других войдут сами, когда условимся о месте и времени». Н. А. Семашко позже изображен М. М. Пришвиным в рассказах «Охота за счастьем» и «Старый гриб».

Вадим Чуваков

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 3 ...там ездил на совет Гоголь к старцу Амвросию... — В последние годы жизни Н. В. Гоголь, переживавший глубокий душевный кризис, характеризовавшийся, в частности, усилением религиозно-мистических настроений, в поисках душевного покоя посещал Оптину Пустынь в Козельском уезде Калужской губернии. Церковный проповедник, иеромонах, старец этой пустыни Амвросий (А. М. Гренков, 1812 — 1891) впоследствии послужил прототипом образа старца Зооимы в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы».

Стр. 11 ...знаменитым в то время художником Сверчковым. — Речь идет о художнике, академике Н. Е. Сверчкове (1817 — 1898), получившем известность своими жанровыми картинами «Масленица в деревне», «Тройка», «грузный экипаж с пассажирами, едущий в знойный летний день» и проч.

Стр. 18 ...почему-то они ненавидят царя, такого хорошего, освободителя крестьян. — Имеется в виду подписанный Александром II в 1861 г. манифест об отмене крепостного права и «Положение» об устройстве крестьян.

Стр. 19 «Жандарм с усищами в аршин //И рядом с ним какой-то бледный, //Полуиссохший господин». — Неточная цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Еще тройка» (1868). У Некрасова: «Лет в девятнадцать господин».

Стр. 20 «Ах ты воля, моя воля...» — Псевдонародная песня неизвестного автора, прославлявшая «освободителя» крестьян Александра II.

Стр. 21 «Добрый папаша! К чему в обаянии...» — Из поэмы Н. А. Некрасова «Железная дорога» (1864).

«И звук его песни в душе молодой...» — Из стихотворения М. Ю. Лермонтова «Ангел» (1831), положенного на музыку А. Е. Варламовым (1831) и А. Г. Рубинштейном (1852).

Скородил (обл.). — Скородить — бороновать.

Стр. 22 Приотзынул (мест.). — Приотзынуть — приоткрыть.

Стр. 23 ...под работу в кружок... — Здесь: в значении обработать участок земли, примыкающий к уже обработанному.

Стр. 26 ...притаиться под глудкой! — Глуда, глудка (мест.) — комочек

земли.

Стр. 27 ...на чекмене... — Чекмень — род кафтана.

Стр. 39 Не Балда ли это?.. — Из «Сказки о попе и о работнике его Балде» А. С. Пушкина (1831).

Стр. 40 Царя убили! — Александр II был смертельно ранен бомбой, брошенной 1 марта 1881 г. народовольцами.

Стр. 57 ...в мантильках с гарусом... — Мантилька — короткая накидка без рукавов, отделанная сученой белой или цветной пряжей.

Стр. 66 ...у него есть своя книга. — Речь идет о книге Вас. Розанова «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения пауки как цельного знания». М., 1886. Экземпляр этой книги хранится в личной библиотеке Пришвина. На книге экслибрис Пришвина и его пометка: «Завет В. В. Розанова мне: — Поближе к лесам, подальше от редакций». В сентябре 1922 г. Пришвин в письме к издателю Яценко вспоминал: «Учиться я начал в Елецкой гимназии, и такой она мне на первых порах показалась ужасной, что из первого класса я попытался с тремя товарищами убежать на лодке по реке Сосне в какую-то Азию (не в Америку). Розанов, Василий Васильевич (писатель), был тогда у нас учителем географии и спас меня от исключения, но сам же потом из четвертого класса меня исключил за пустяковину. Нанес он мне этим исключением рану . такую, что носил я ее незажитой до тех пор, пока Василий Васильевич, прочитав мою одну книгу, признал во мне талант и при многих свидетелях каялся и просил у меня прощение («впрочем, — сказал, — это Вам, голубчик Пришвин, на пользу пошло»») (ЦГАЛИ). Мемуарные записи писателя уточняют: новая встреча Пришвина и Розанова состоялась в Петербурге в 1909 г. на заседании религиозно-философского собрания, а книга, которую Пришвин преподнес Розанову, была: «За волшебным коlobком. Из записок на Крайнем Севере России и Норвегии». Спб., изд-во А. Девриена, 1908. «Мальчик, — писал Пришвин, выгнанный из гимназии, носивший всю жизнь по этому случаю уязвленное самолюбие, находит своего врага в религиозно-философском собрании, вручает ему свою книгу с ядовитейшей надписью: «Незабываемому учителю и почитаемому писателю» и выслушивает от него комплимент. Вот победа! А он-то и не подозревал, с кем имеет дело». 28 сентября 1909 г., во время свидания, Розанов дарит Пришвину свою книгу (заглавие не установлено) с надписью: «С большим уважением на память о Ельце и Петербурге». Впоследствии, в декабре 1922 г., Пришвин напишет, что Розанов «вдохнул» в него «священное благоговение к тайнам человеческого рода» (ЦГАЛИ).

Стр. 80 «Наша жизнь коротка...» — Популярная студенческая песня-вальс.

Стр. 82 «Так жизнь молодая проходит бесследно...» — Романс, слова и музыка Л. Д. Малашкина (1879).

Стр. 83 ...попробуй-ка ты одолеть Бокля... — Английский социолог Г.-Т. Бокль (1821 — 1862), автор монументального исследования «История цивилизации в Англии» (1857 — 1861), считал движущей силой истории «рассудок» и утверждал, что исторический процесс следует изучать методами естественных наук и статистики. Популярность Бокля в 60 — 70-х годах XIX в. у русской либеральной и народнической интеллигенции в значительной мере объяснялась резкими выпадами его против рабства и деспотизма.

Стр. 94 ...ударил колокол Крестопоклонной недели. — По церковному календарю — четвертая неделя великого поста перед пасхой.

Стр. 99 ...трудное время набега генерала Мамонтова на Елец... — Во время гражданской войны в 1919 г. белогвардейский генерал К. К. Мамонтов (1869 — 1920), командовавший конным корпусом в вооруженных силах Юга России, совершил рейд по тылам советских войск Южного фронта. Ворвавшиеся в Елец мамонтовцы хотели без суда расстрелять Пришвина, и только чудом он остался жив. См. об этом в кн.: Пришвина В. Наш дом. 2-е изд. М., Мол. гвардия, 1980, с. 19.

Стр. 106 Есть малый словарь Павленкова. — Речь идет об однотомном Энциклопедическом словаре прогрессивного издателя Ф. Ф. Павленкова (1839-1900). Словарь был напечатан в 1899 г. в Петербурге и до 1913 г. выдержал пять изданий.

Стр. 107 ...кричат «под табак»... — Табак — деревянный набалдашник на упорном шесте, которым отталкиваются ото дна. Возглас «под табак» означает, что шест достиг дна.

Маргарит-книга — древнерусский сборник поучений, составленный преимущественно из проповедей константинопольского архиепископа Иоанна Златоуста (347 — 407).

Стр. 114 ...раскинулась степь, но совсем не такая, как у Кольцова... Имеется в виду стихотворение А. В. Кольцова «Русская песня» («Светит солнышко, да осенью...»; 1840).

Стр. 117 Дрепер (Д.-У. Дрепер; 1811 — 1882) — американский естествоиспытатель и историк культуры, создатель биологической теории исторического прогресса, автор труда «История умственного развития Европы»; Г. Спенсер (1820 — 1903) — английский философ и социолог: в труде «Система синтетической философии» (1862 — 1896) развивал

вульгарно-механистические взгляды на природу.

...роман «Что делать?» таинственного автора... — Речь идет о романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?», впервые опубликованном в журнале «Современник» за 1863 г. После расправы самодержавия с Н. Г. Чернышевским имя его запрещалось упоминать в печати. Перепечатать роман «Что делать?» стало возможным лишь в Полном собрании сочинений Н. Г. Чернышевского, вышедшем в революционные 1905 — 1906 гг.

«Знамена времени». — Имеется в виду роман в двух частях писателя Д. Л. Мордовцева (1830 — 1905), напечатанный в 1869 г. и запрещенный царской цензурой (был переиздан лишь в 1900 г.). Роман отразил настроения умеренного народничества.

Стр. 117 ...Ренан «Жизнь Христа»,.. — Книга французского историка и философа Э. Ренана (1823 — 1892) «Жизнь Иисуса» (1863) подверглась цензурным гонениям.

Кеннан — американский журналист и путешественник Джордж Кеннан (1845 1924). В 1886 г. изучал положение заключенных в русских тюрьмах и ссылке. Собранные материалы изложил в своей книге «Сибирь и ссылка» (русский перевод — в 1890 г.), запрещенной царской цензурой (см.: Меламед Е. И. Джордж Кеннан против царизма. М., Книга, 1981.).

Стр. 118 ...запрещенная «Крейцера соната» Толстого... — Повесть Л. Н. Толстого «Крейцера соната» в России впервые, с сокращениями по цензурным причинам, была напечатана в т. XIII Сочинений Л. Н. Толстого (М., 1891). Полный текст повести с 1890 г. публиковался за рубежом (издательства М. К. Элпидина в Женеве, книжного магазина Б. Бэра в Берлине и др.).

Стр. 123. ...скоро в Сибирь поедет путешествовать наследник, и с этим будет связана закладка железнодорожного пути через всю Сибирь. — В 1891 г. будущий царь Николай II, возвращаясь через Сибирь из путешествия по Дальнему Востоку, присутствовал во Владивостоке при начале работ по сооружению Великого сибирского пути. Строительство Сибирской железной дороги протяженностью свыше 7400 километров было завершено в 1905 г.

Стр. 129 Он занимался статистикой по книге Николая-она... — Псевдоним экономиста, народника, переводчика «Капитала» К. Маркса Н. Ф. Да-ниельсона (1844 — 1918). По-видимому, речь идет о его книге «Очерки нашего пореформенного общественного хозяйства» (1893), служившей главным экономическим обоснованием либерального народничества.

Стр. 130 ...нужно прочитать книгу Сеченова «Рефлексы головного мозга». — Книга основоположника русской физиологии И. М. Сеченова (1829 — 1905) дала обоснование рефлекторной природы сознательной и бессознательной деятельности. Первым изданием вышла в 1869 г.

Стр. 148 ДЛЯ говенья Марии Ивановне пришлось уехать в Шамордину пустынь. — Имеется в виду женский монастырь в селе Шамордино, расположенном неподалеку от Оптиной Пустыни.

Стр. 152 Акциз — в царской России косвенный налог на предметы потребления (табак, соль, спиртные напитки и др.), производимые внутри страны, и на однородные предметы, вывозимые из-за границы. Взиманием налога ведали губернские и областные акцизные управления, непосредственно подчиненные министерству финансов.

Стр. 153 ...нового романа Потапенки «На действительной службе»? Имеется в виду получившая широкую известность повесть И. Н. Потапенко (1856 — 1929), впервые опубликованная в 1890 г. в «Вестнике Европы»; пропагандировала либерально-народническую теорию «малых дел», культурническую работу интеллигенции в деревне.

Стр. 154 ...я смотрю на тот портрет, где он пашет... — Речь идет о картине И. Е. Репина «Л. Н. Толстой на пашне» (1878).

Стр. 155 ...все сочувствуют царю в его недоверии к Германии... Заключенный в 1882 г. между Германией, Австро-Венгрией и Италией военный Тройственный союз затрагивал интересы России. Отношения между Россией и Германией еще более ухудшились после вступления в 1888 г. на престол Вильгельма II и отставки в 1890 г. рейхсканцлера О. Бисмарка, считавшего войну Германии с Россией губительной. Для противодействия Германии Александр II искал сближения с Францией. В 1893 г. им был одобрен проект секретной франко-русской конвенции о совместных действиях в случае нападения Германии на Францию или Россию.

Стр. 158 Соломон — в 965 — 968 гг. до н. э. царь Израильско-Иудейского царства.

Стр. 160 ...читая социологию... Максима Ковалевского... — Основные труды по социологии М. В. Ковалевского (1851 — 1916) — «Современные социологи» (1905) и «Социология» (в 2-х т.; 1910). В данном случае, возможно, имеется в виду работа Ковалевского «Экономический строй России» (1899).

Стр. 161 ...искусство не расплывалось бы в одно удовольствие, а служило бы, как у Шиллера, высоким целям. — По-видимому, речь идет о статье Ф. Шиллера «Театр, рассматриваемый как нравственное

учреждение» (1784). «Театр, — пишет он, — есть учреждение, где удовольствие сочетается с поучением, спокойствие с возбуждением, забава с образованием...» (Шиллер Фридрих. Сочинения, т. 6. М., Гослитиздат, 1957, с. 24).

Стр. 166 ...братья, похожие на братьев Иосифа... — В Библии рассказывается о молодом пастухе Иосифе, проданном его братьями купцам, направлявшимся в Египет. Своему отцу Иакову братья показали одежды Иосифа, измазанные кровью козла, и сказали, что Иосиф якобы был растерзан хищным зверем (Книга Бытия, 37, 28 — 32).

Стр. 167 Духов день — по православному календарю, праздник, отмечающийся на следующий день после троицы, то есть в пятьдесят первый день после пасхи.

Стр. 170 ...монах... стал Парисом, старец с веткой в руке — Приамом. В древнегреческой мифологии Парис — сын царя Трои Приама.

Стр. 174 ...в «Илиаде» бой описывается... — Речь идет об описании в «Илиаде» Гомера (кн. 23) кулачного боя между Эпеем и Эвриалом на погребальных играх в честь Патрокла.

Стр. 175 «Народная воля»... «Черный передел» революционно-народнические организации, возникшие в Петербурге в 1879 г. Были разгромлены самодержавием.

Стр. 177 Мише вспомнились бабы у старца Зосимы из Достоевского... Имеется в виду глава «Верующие бабы» из романа Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы» (ч. 1, сн. 2). Одна из баб кается старцу Зосиме, что убила больного мужа-пьяницу.

Стр. 179 ...голосовали против ассигновки на флот, все Бебель разделяет и Либкнехт. — Организаторы и руководители социал-демократической партии Германии А. Бебель (1840 — 1913) и В. Либкнехт (1826 — 1900) неоднократно избирались депутатами германского рейхстага. Имеются в виду дебаты в рейхстаге при обсуждении проекта закона об усилении военного флота. Несмотря на оппозицию депутатов социал-демократов, закон об усилении военного флота был принят рейхстагом в 1898 г.

Стр. 179 Ты... Бельтова... еще не читал? — Под псевдонимом «Бельтов» в 1895 г. вышла в Петербурге книга Г. В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю».

Стр. 182 «Эрфуртская программа» — программа германской социал-демократической партии, принятая на партийном съезде в Эрфурте в октябре 1875 г.

Стр. 183 ...Раменова. — Фамилией Раменовы в романе «Кащеева цепь»

названа семья крупных орловских помещиков и буржуазно-либеральных общественных деятелей Стаховичей.

...о биметаллизме... — Биметаллизм — денежная система, при которой законным платежным средством являются два металла (например, золото и серебро).

Мы ему подсунули социал-демократа Шиппеля. — Речь идет о М. Шип-пеле (1859 — 1928), немецком социал-демократе, ревизионисте, в 1887 — 1890 гг. редакторе газеты «Берлинская — народная трибуна».

Стр. 184 ...похож на доброго учителя в известной картине Богданова-Бельского. — Известностью пользовались картины художника-передвижника Н. П. Богданова-Бельского (1868 — 1945), посвященные дореволюционной русской сельской школе. Очевидно, имеется в виду его картина «У больного учителя» (1897).

Стр. 185 ...научился по Туссену, самоучителю. — Имеется в виду кн.: Редкий А. П. Самоучитель французского языка для взрослых. Метода Туссэна и Лангеншейдта. Курс I, вып. 1-18. Спб., 1886.

...студента Петровской академии. — Петровская академия — высшее учебное заведение в Москве; готовила специалистов по сельскому хозяйству. Основана в 1865 г. (ныне Сельскохозяйственная академия им. К. А. Тимирязева).

Стр. 186 ...как у Иловайского: борьба добрых и злых индивидуальностей. — Такой взгляд на историю излагался в официальном учебнике по русской истории для средних учебных заведений Д. И. Иловайского (1832 — 1920), выдержавшем с 1860 по 1912 г. тридцать шесть изданий.

Стр. 187. Вы ведь, конечно, знаете социологическую формулу Михайловского? — Очевидно, имеется в виду формула теоретика либерального народничества Н. К. Михайловского (1842 — 1904) «Что такое прогресс?» (1869). «Прогресс, — писал он, — есть постепенное приближение к целостности неделимых, к возможно полному и всестороннему разделению труда между органами и возможно меньшему разделению труда между людьми» (Михайловский Н. К. Сочинения. 4-е изд., т. 1. Спб., 1906, с. 166).

Прозелит — новый, ревностный приверженец какого-либо учения или веры.

Стр. 190 ...табакерки идут с фабрики. — Табакерки — работницы табачной фабрики.

Стр. 192. ...взял себе институтку, и еще смольную институт/су, и с шифром даже... — Смольный институт — закрытое женское учебно-

воспитательное заведение для дочерей дворян. Основано в Петербурге в 1764 г. Шифр — резной вензель царицы, получаемый наиболее отличившимися воспитанницами института на выпускном акте; являлся одновременно знаком фрейлинского звания.

Стр. 195. Понятно и у Толстого... — Речь идет об «Исповеди» Л. Н. Толстого, опубликованной в 1884 г.

Стр. 196. ...спор какого-то Энгельса с Дюрингом о скачке в неизвестное. — Выражение «скачок в неизвестное» является перифразой последних слов философа-материалиста Томаса Гоббса (1588 — 1679): «Теперь я собираюсь сделать великий скачок в темноту». Ссылка Пришвина на Ф. Энгельса не точна. В работе Энгельса «Анти-Дюринг» (отд. 3, гл. 2), направленной против немецкого философа и экономиста Евгения Дюринга (1833 — 1921), употреблено выражение «прыжок из царства необходимости в царство сво-боды».

Стр. 210. «Как дело измены, как совесть тирана...» — Стихотворение поэта-революционера И. И. Гольц-Миллера «Слу-шай!» (1864), положенное на музыку П. П. Сокальским.

...вроде сожжения Содома... — По Библии, город у устья реки Иордан или на побережье Мертвого моря, сожженный за грехи жителей небесным огнем (Книга Бытия, 19, 24 — 25).

Стр. 204. ...когда настала тьма, земля содрогнулась, и завеса церковная разодралась. — По Евангелию, в момент смерти Христа на кресте (Евангелие от Луки, 23, 44 — 45).

Стр. 206. «Да минует меня чаша сия». — Слова из молитвы Христа (Евангелие от Матфея, 26, 39).

Стр. 208. Царь умер. — Александр III умер в Ливадии 20 октября 1894 г.

...как в басне о лягушках, полезли узнать, царь это или чурбан. Имеется в виду басня И. А. Крылова «Лягушки, просящие царя» (1809).

...он назвал претензии дворян на конституцию бессмысленными мечтаниями. — Из речи Николая II на приеме депутации дворян, земств, городов и казачьих войск 17 января 1895 г. Зачитывая составленный К. П. Победоносцевым текст речи, царь «усилил» ее смысл (в оригинале было: «беспочвенные мечтания»).

Стр. 213. Елду выгадал... — Елда (обл.) — ссора.

...притчу о евангельском браке, на котором не хватило вина. — На брачном пиру в Кане Галилейской Иисус превратил воду в вино. Не зная об этом, распорядитель торжества, отведав воды, ставшей вином, сказал жениху: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются,

тогда худшее; а ты хорошее вино сберег доселе» (Евангелие от Иоанна, 2, 1 — 10).

Стр. 218. ...у Гоголя черт луну в карман спрятал. — Речь идет о повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» (1832).

Стр. 219. ...и это стало похоже на известную картину в Третьяковской галерее... — Имеется в виду картина художника-передвижника Н. А. Ярошенко (1846 — 1898) «Заклоченный» (1878).

Стр. 225. Меринг (1846 — 1898) — философ, историк, литературный критик, один из руководителей левого революционного крыла германской социал-демократии; Каутский (1854 — 1938) — был одним из теоретиков германской социал-демократии и с 1883 г. редактор журнала «Нойе цайт».

Стр. 228. ...книгу Шекспира «Кинг Джон»... — Подразумевается историческая хроника В. Шекспира «Король Джон» (1596).

Стр. 230. Я принес вам новую, интереснейшую книгу Бернштейна. — Речь идет о книге правого социал-демократа, теоретика ревизионизма и реформизма Эдуарда Бернштейна (1850 — 1932) «Предпосылки социализма и задачи социал-демократии» (1899).

Стр. 232. ...Израиль вышел. — Имеется в виду включенная в библейский ветхозаветный канон вторая книга Пятикнижия «Исход», рассказывающая о возвращении евреев из египетского плена в Палестину («страну обетованную»).

Стр. 236. Прекрасная Дама — цикл стихотворений А. А. Блока «О Прекрасной Даме» (1905).

«Детей от Прекрасной Дамы иметь никому не дано». — Строка из стихотворения советской писательницы М. К. Шкапской (1891 — 1952), опубликованного в ее поэтическом сборнике «Кровь — руда» (1922).

Стр. 249. ...»закат Европы». — Это выражение восходит к заглавию книги немецкого философа Освальда Шпенглера (1880 — 1936).

...рассказ о Венере Милосской, как она выпрямила душу страдающего человека. — Из рассказа Г. И. Успенского «Выпрямила (Отрывок из записок Тяпушкина)» (1885). Герой рассказа — «скомканный» русской действительностью народник Тяпушкин испытывает эмоциональное потрясение, когда видит в Лувре скульптуру Венеры Милосской, которую воспринимает как идеальный образ гармонии и красоты, очищающий душу.

Стр. 250. ...привозили нам в детстве фотографии отца с сыновьями... Имеется в виду скульптурная группа «Лаокоон и его сыновья, обвитые змеями», выполненная жившими на острове Родос мастерами Агесандром, Полидором и Афинодором (ок. 50 г. до н. э.). Жрец бога Аполлона Лаокоон помогал троянцам в войне с греками и за это вместе со своими сыновьями

был задушен двумя вышедшими из моря змеями, посланными Афиной-Палладой.

...об умирающем гладиаторе. — Имеется в виду стихотворение М. Ю. Лермонтова «Умирающий гладиатор» (1836).

«Какой обед нам подавали!» — Ария Периколы из оперетты французского композитора Жака Оффенбаха «Перикола» (1868).

«Форвертс» (нем. «Вперед») — газета, центральный орган германской социал-демократической партии. Выходила с перерывами с 1878 по 1933 г. До 1900 г. редактировалась В. Либкнехтом.

Стр. 255. В Берлине уже давно была круговая железная дорога... Движение по окружной берлинской дороге было открыто в 1877 г.

Стр. 257. ...разве не знаете вы, что пишет Лев Толстой о войне? Имеется в виду статья Л. Н. Толстого «Додумайтесь!» (1904), написанная в связи с начавшейся русско-японской войной. «Все знают, не могут не знать главного, — писал Л. Н. Толстой, — что войны, вызывая в людях самые низкие, животные страсти, развращают, озверяют людей» (Толстой Л.Н. Поли. собр. соч. (Юбилейное издание), т. 36, с. 102).

Стр. 263. ...слышали о Пдульсене... — Немецкий философ-неокантианец Фридрих Паульсен (1846 — 1908).

Так у Вагнера, и у Шмоллера... — Речь идет о немецких экономистах Адольфе Вагнере (1835 — 1917) и Густаве Шмоллере (1838 — 1917). Последний преподавал в Берлинском университете с 1887 г.

Стр. 270. ...вспомнился пудель из «Фауста»... — В первой части «Фауста» В. Гете искушающий Фауста Мефистофель появляется в облике пуделя.

Стр. 271. ...адвокат Гейне — Волфганг Гейне (1861 — ?), правый социал-демократ, депутат рейхстага.

Стр. 273. И показался Вильгельм — Вильгельм II Гогенцоллерн (1851 1941), с 1888 г. германский император.

Стр. 279. ...имматрикуляция новых студентов... — занесение в списки.

Там, в Йене, теперь читает Геккель, в Лейпциге — Оствальд и Вундт. Э. Геккель (1834 — 1919) — немецкий естествоиспытатель, биолог-дарвинист. По книгам немецкого физико-химика и философа-идеалиста В. Оствальда (1853 1932) Пришвин учился в Риге. С разрешения ученого Пришвин и другой студент Рижского политехнического училища, С. Бродский, записали и опубликовали лекции В. Оствальда «Научные основания аналитической химии» (Рига, 1896). В. Вундт (1832 — 1920) — немецкий психолог, физиолог, философ-идеалист.

Стр. 280. ...о замечательной работе Бюхера «Работа и ритм». — Книга

немецкого экономиста и статистика Карла Бюхера (1847 — 1930) «Работа и ритм» была издана в Лейпциге в 1896 г.

Стр. 286. Рахманый (обл.) — смирный, простоватый, тихий.

Стр. 289. ...желает повидать зал на Вартбурге, где состязались певцы Вольфрам и Тангейзер... — Вольфрам и Тангейзер — певцы в опере Р. Вагнера «Тангейзер и состязание певцов в Вартбурге» (1845). По свидетельству В. Пришвиной, будучи студентом, Пришвин прослушал эту любимую им оперу тридцать семь раз (см.: Пришвина В. Наш дом. 2-е изд. М., Мол. гвардия, 1980, с. 205).

Стр. 291. ...Бисмарк, объединивший все провинции... — Первый рейхсканцлер Германской империи Отто Бисмарк (1815 — 1888) осуществил объединение Германии под главенством помещичьей Пруссии.

Стр. 294. ...веймарский герцог с поэтами Гете и Шиллером. — Гете приехал в Веймар по приглашению восемнадцатилетнего герцога Карла-Августа в 1775 г. и остался там до конца жизни. Ф. Шиллер жил в Веймаре с декабря 1787 г. до смерти в 1805 г.

Стр. 295. ...читает по-немецки вслух его «Ифигению». — Имеется в виду драма В. Гете «Ифигения в Тавриде» (1787). Впервые показана на веймарской сцене в 1779 г.

Стр. 295 ...что Моисей мог добыть воду из скалы ударом жезла... — По библейскому сказанию, во время скитаний евреев по безводной пустыне в поисках «земли обетованной» Моисей ударом жезла «извел воду» из скалы (Книга Чисел, 20, 8 — 11).

...что жезл Аарона расцвел... — По библейскому сказанию, Моисей, исполняя волю бога, просил начальников племен принести в святилище свои жезлы из сухого дерева, на которых были написаны их имена. К ним был добавлен жезл с именем Аарона, старшего брата Моисея, и только его жезл «расцвел» — на нем появились почки, цвет. Это был знак избранничества Аарона богом (там же, 17, 1 — 8).

Стр. 296. ...египетский Апис... — священный бык у древних египтян, почитавшийся как «живое подобие» бога Пта в Мемфисе.

Стр. 297. Цвингер — дворцовый ансамбль в Дрездене (1711 — 1722), художественный музей.

...вспомнил... с кажу-поэму о юноше Нолли и какой-то девушке... Имеется в виду сказка Кота Мурлыки (псевдоним писателя Н. П. Вагнера; 1829 — 1907) «Минна и Нолли», вошедшая в его книгу: Сказки. 2-е изд. Спб., 1881.

Стр. 299. ...в яловочных... сапогах... — В сапогах из коровьей шкуры.

Стр. 302. ...бессмертную славу грека, уничтожившего храм Дианы...

Имеется в виду житель древнегреческого города Эфеса Герострат, поджегший в 356 г. до н. э. храм Дианы, чтобы прославиться.

Стр. 304. Какой-то итальянец... украл из Лувра «Джиоконду»... «Джиоконда» — картина Леонардо да Винчи, написана им в 1503 — 1506 гг. С 1871 г. хранилась в Лувре. Была похищена из музея 8(21) августа 1911 г., обнаружена в декабре 1913 г. во Флоренции и возвращена в Лувр.

Стр. 305. ...тихонько напевает «Лорелею»... — Лорелея, в немецком фольклоре, сказочная дева-сирена, обитающая в водах Рейна и заманивающая своим пением плывущих по реке на подводные скалы. Здесь имеется в виду стихотворение Г. Гейне «Лорелея», ставшее народной песней.

Стр. 307. ...к профессору Рейну... — Вильгельм Рейн (1847 — 1929) автор трудов по методике и практике преподавания в школах для народа.

Стр. 308. ...летописец Нестор... — Нестор (XI — начало XII в.) — монах Киево-Печерского монастыря, которому приписывается первая редакция «Повести временных лет».

Стр. 312. ...не знал ни Риле, ни Зиммеля... — Речь идет о немецких философах-неокантианцах А. Риле (1844 — 1924) и Г. Зиммеле (1858 — 1941).

...понятия не имел о гносеологии... — Гносеология — теория познания, раздел философии.

Стр. 317. ...послушать... Лампрехта... — Имеется в виду немецкий Историк, автор многотомной «Истории Германии» Карл Лампрехт (1856 — 1915).

Стр. 318. ...»Prolegomena» Канта и «Этика» Спинозы. — «Пролегомены» предварительное изучение. Речь идет о труде И. Канта «Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки» (1783), в которой, признавая существование вещей вне нас, И. Кант утверждает, что человек может судить об этих вещах лишь по тем представлениям, которые возникают у нас в результате воздействия вещей на наши органы чувств. Главный труд голландского философа-материалиста Б. Спинозы (1632 — 1677) «Этика» был закончен в 1675 г. и в 1677 г. опубликован в его «Посмертных сочинениях», запрещенных за «кощунственные и безбожные учения»

Стр. 320. Kirche, Kinder, Küche — в переводе: церковь, дети, кухня. Выражение, определяющее круг обязанностей немецкой женщины. В таком значении стало крылатым.

Стр. 324. Так говорил Заратустра — название известного произведения Ф. Ницше (1844 — 1900), написанного в 1883 — 1884 гг. В России отрывки

из этой книги впервые были напечатаны в 1898 г.

Стр. 328. ...он подвигает к себе книгу «По ту сторону добра и зла»... — Одно из основных сочинений Ницше (1886).

Стр. 327. Бурш (нем. «парень») — в Германии студент старших курсов университета, принадлежащий к студенческой корпорации.

Стр. 328. ...на... заседании буршенгерихта... — Буршенгерихт — суд чести студентов-корпорантов.

...не со всяким вильдером... — Вильдер (от нем. «дикарь») презрительное прозвище студентов-иностранцев.

...на шлегерах. — Шлегер — род оружия для фехтования, предназначенного для нанесения рубящего удара.

Стр. 330. ...в... турухтаньих... боях... — Турухтан — птица из семейства бекасовых, обитает на болотистых равнинах Северной Европы.

Стр. 331. ...расставляют по всему столу зейдели. — Зейдель (нем.) пивная кружка.

Стр. 332. ...разные филистры... — Филистр (нем.) — член корпорации, закончивший курс учения.

...на коммершах своей юности... — Коммерш (нем.) — студенческая пирушка.

Стр. 339. Ендова — здесь: котловина, овраг.

Стр. 352. Микарэм — у католиков четверг на третьей недели великого поста.

Стр. 369. ...начиная от Гераклита... — Древнегреческой философ-диалектик (конец VI — начало V в. до н. э.).

Стр. 379. ...кончает Сорбонну... — Сорбонна — второе название Парижского университета, получило распространение с XVII в. (по имени духовника короля Людовика IV Р. де Сорбона).

Стр. 389. ...чтобы сказать о мире всего мира всем — всем!» — Речь идет о первом документе Советской власти — Декрете о мире, написанном В. И. Лениным и принятом II Всероссийским съездом Советов 26 октября (8 ноября) 1917 г.

Стр. 392. ...приклеивает синдетиконом. — Синдетикон — жидкий рыбий клей.

Стр. 396 ...крендель булочной, описанный Блоком... — Имеется в виду стихотворение А. Блока «Незнакомка» («Чуть золотится крендель булочной...»: 1906).

Стр. 404. ...профессора Кайгородова... — Речь идет о профессоре Петербургского лесного института, орнитологе и ботанике, Д. Н. Кайгородове (1846 — 1924).

Стр. 408. ...когда безумный Евгений грозил: «Ужо тебе!» — Из поэмы А. С. Пушкина «Медный всадник» (1833).

Стр. 411. ...похоронили на литературных мостках. — Место погребения общественных деятелей, ученых, писателей, мастеров искусств. Расположено в северной части Волкова кладбища в Петербурге (Ленинграде).

Стр. 423. Осечище (обл.) — участок леса, вырубленного и сожженного на месте под пашню.

Стр. 424. ...шунял ее... — Шунять (мест.) — журить, увещевать.

Стр. 425. ...пошел к лядам... — Ляда (мест.) — пустошь, покинутая и заросшая лесом земля.

Стр. 436. ...Грибоедов чудесно сказал: «Пищу, как живу, а живу, как пишу». — Неточная цитата из письма А. С. Грибоедова П. А. Катенину от 1827 г. У А. С. Грибоедова: «Я как живу, так и пишу свободно и свободно». См.: Грибоедов А. С. Сочинения. М. — Л., Гослитиздат, 1959, с. 558.

Стр. 437 ...гораздо легче раскрываться самому в своих грехах, как делал Руссо... — Речь идет об «Исповеди» (1766 — 1778) французского писателя Жан-Жака Руссо (1712 — 1778). Отстаивая ценность душевной жизни, автор порой вступает в спор с самим собою, не скрывая отрицательных черт своего характера.

Стр. 442. ...страдание, на которое шел человек за человека, начиная с Каляева. — За убийство 4 февраля 1905 г в Москве генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича член боевой организации партии эсеров И. П. Каляев (1877 — 1905) был приговорен к смертной казни через повешение.

Стр. 444. ...от самого разбойника Чуркина. — Имеется в виду лубочный роман Н. И. Пастухова (1822 — 1911) «Разбойник Чуркин. Народное сказание «Старого знакомого» (1883 — 1884).

Стр. 445. ...уничтожить на виноградниках филлоксеру... — Филлоксера вид тли, поражающей корни виноградной лозы.

В. А. Старосельский (1860 — 1916) — участник революционного движения, в 1905 — 1906 гг. исполнял обязанности губернатора Кутаисской губернии. С 1907 г. — большевик. Видный специалист по виноградарству.

Стр. 446. ...как вы ее описываете в «Детстве»... жажда чистоты воплощается в бабушке. — В воспоминаниях о М. Горьком «Любимая земля» Пришвин писал: «...я в его бабушке, главной героине его «Детства», узнавал черты матери-родины с такой силой, какой не дает даже воспоминаие о любимой моей покойной матери» (см.: М. Горький в воспоминаниях современников. М., Гослитиздат, 1955, с. 355).

Стр. 447. Л. Смит (1723 — 1790) — шотландский экономист и философ; Риль Алоиз (1844 — 1924) — немецкий философ-неокантианец.

...черствый Рикардо... — По-видимому, имеется в виду труд английского буржуазного экономиста Давида Рикардо (1772 — 1823) «Начала политической экономии» (1816), на который неоднократно ссылается К. Маркс в «Капитале».

Стр. 448. ...Марксова Золотая куколка, в которую превращаются все товары... — Образное сравнение из работы К. Маркса «К критике политической экономии» (1859), гл. 2 — «Деньги, или просто обращение» (см.: Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. М., Госполитиздат, 1959, т. 13. с. 75).

...известный потом Трусевич... — Речь идет о сенаторе А. И. Трусевиче, бывшем товарище прокурора Петербургской судебной палаты в 1906 — 1910 гг., директоре департамента полиции и с начала 1917 г. члене Государственного совета.

Стр. 451. ...позвонил к профессору Мержеевскому. — Врач-психиатр И. П. Мержеевский (1838 — 1908), в 1877 — 1893 гг. профессор и директор клиники душевных болезней.

Стр. 464. ...редактор журнала «Новый мир». — Речь идет о критике В. П. Полонском (1886 — 1932), редактировавшем «Новый мир» в 1926 — 1931 гг.

Спасибо, что скачали книгу в [бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru](http://royallib.ru)

[Оставить отзыв о книге](#)

[Все книги автора](#)